

Сигизмунд Кржижановский



Сигизмунд
Кржижановский



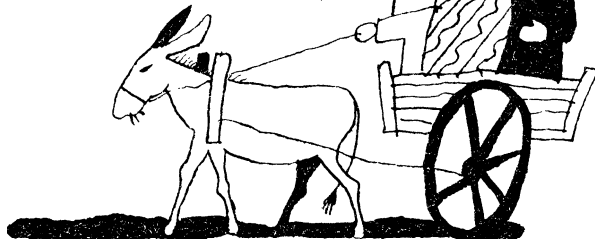
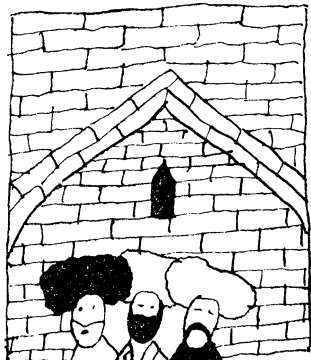
СКАЗКИ
для вундеркиндов



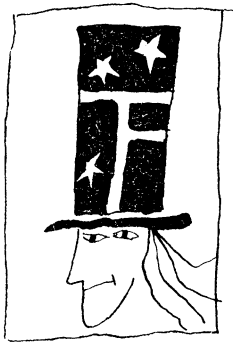
III Бѣло. Маша



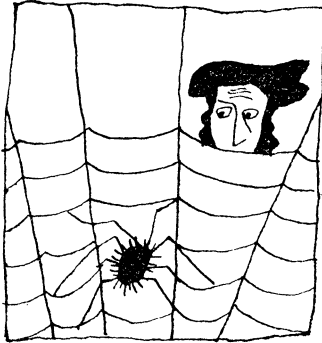
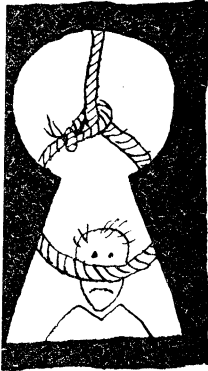
Зам. с. рани.



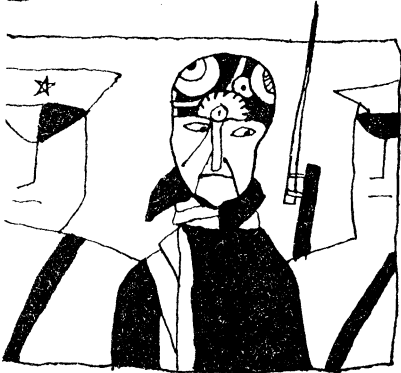
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII



zami
Ajan.



of
Simon S. 5. 1968





Сигизмунд
Кржижановский



для **СКАЗКИ**
ВУНДЕР-
КИНДОВ

ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ

Москва
Советский писатель
1991

ББК 84 Р7
К 81

Художник
ВЯЧЕСЛАВ ГУЗНЕР

К $\frac{4702010201 - 202}{083(02) - 91}$ 59 · 91

ISBN 5—265—01753—4

© Состав, подготовка текстов,
предисловие, примечания В. Перельмутера

«ПРОЗЕВАННЫЙ ГЕНИЙ»

С сегодняшним днем я не в ладах,
но меня любит вечность.

Сигизмунд Кржижановский

Тусклое белесое пространство, из глубины которого бесконечной чередой движутся, наступают на зрителя изрешеченные пудами плоские деревянные мишени, людские силуэты анфас...

Эту картину я увидел в начале 1990 года в старом клубе МГУ, что на Моховой, где выставляла свои работы одна из множества нынешних групп художников. Имя автора ничего не сказало. Выяснилось только, что живет он то ли в Пензе, то ли в Перми, то бишь вдалеке от Москвы, что ему нет еще и тридцати, что выставляется в столице чуть ли не впервые. И, конечно, знать не знает, что написал картину «на тьму» новеллы Сигизмунда Кржижановского «Мишени наступают», сочиненной в 1927 году, на исходе десятилетия попыток раздуть отечественную революцию «в мировой пожар» (разумеется, «на горе всем буржуям», не себе же!), до сих пор не опубликованной, хранящейся в архиве, где ее читали человека три-четыре, не больше.

Говорят, идеи носятся в воздухе. Если так, то идеям (или, как он предпочитал называть, «темам») Кржижановского присуща особенная, редкостная прочность: многие годы беспрерывно дующих переменчивых и резких ветров им не повредили.

Думаю, что Кржижановского описанное совпадение не сильно бы удивило. Он знал, что пришлось русской литературе не ко времени: «Я живу на полях книги, называемой «Общество». Знал и то, что «промах судьбы» небезнадежен: «Я живу в таком далеком будущем, что мое будущее мне кажется прошлым, отжитым и истлевшим». О том же — строка, взятая эпитафией к этим заметкам: будничная, не выделяющаяся в его «Записных тетрадах» среди

прочих фраз, афоризмов, заглавий, неологизмов, конспективно набросанных неосуществленных — и осуществленных — фабул и сюжетов. Впрочем, тут же, неподалеку, можно обнаружить предчувствие неутешительное: «Моя жизнь — сорокалетнее странствование в пустыне. Земля обетованная мне будет предложена с заступов могильщиков».

Без малого двадцать лет — с двадцать третьего по сорок первый — он пытался издать книгу. А потом перестал. И бросил писать.

Первая книга прозы Кржижановского — «Воспоминания о будущем» (так называется повесть 1929 года) — вышла в 1989 году. Через тридцать девять лет после смерти писателя. И через два года после незамеченного и неотмеченного столетия со дня его рождения. За ней последовала вторая — «Возвращение Мюнхгаузена». Теперь пришел черед третьей.

«Гений: снежный ком, умеющий превратиться в лавину» (С. Кржижановский. Записные тетради).

«Прозванный гений», — написал в дневнике Георгий Шенгели, услышав о смерти Кржижановского.

Новеллы и повести его сейчас переводятся на французский, немецкий, английский. Не исключено, что первое собрание его сочинений выйдет не по-русски.

Он мог уехать из России. В начале двадцатых годов препятствия тому, если и были, не выглядели непреодолимыми. И хотя такого рода гадания всегда условны, скорее всего его судьба сложилась бы благополучно. Полиглот, филолог, историк театра, музыковед, исследователь психологии творчества, он и вне писательства нашел бы применение своим способностям, знаниям, уму и необыкновенной работоспособности. Всему тому, что по большей части осталось невостребованным на родине. Да и в литературе едва ли затерялся бы.

Советские авторы статей о творчестве тех немногих писателей русского зарубежья, чьи сочинения — пусть гомеопатическими дозами — все же доходили до нас, непременно должны были доказывать — по издательским «правилам игры», — что в эмиграции, в отрыве от родимой почвы, воздуха, читательской среды, березок, заглядывающих в окно, талант тускнеет, а то и деградирует. Что написанное ими в России (а начавших писать в эмиграции как бы и не существовало) не может не быть лучше, чем созданное вне ее. Можно посочувствовать критикам, решавшим задачу, не имеющую решения, и потому вынужденным подгонять ее под заранее известный и фальшивый ответ: против них была не только действительность, но и история литературы, от Овидия до Вольтера, Мицкевича, Гёте. Не обошлось и без курьезов. Помнится, в предисловии

к тому же стихов Бунина, язвительного противника декадентства, было — в доказательство творческого упадка — процитировано его позднее стихотворение, явно противоречащее прежним его взглядам. На поверку оно оказалось... переводом с французского — из поэта прямо-таки хрестоматийно декадентского.

Сегодня, когда широкой публике стали доступны стихи Ходасевича и Георгия Иванова, проза Набокова, Зайцева, Шмелева и Газданова, поминать давешние писания про эмигрантскую литературу даже вроде бы неприлично. Тем не менее и в новейших предварениях и размышлениях (нередко принадлежащих перу тех же, прежних авторов) упор, как правило, делается на моральные и житейские тяготы эмиграции — ностальгию, бедность, отсутствие читателя. И упускается из виду куда более важное: большинство эмигрировавших деятелей культуры осуществили свое творческое предназначение. И не только музыканты, живописцы, скульпторы, чьи создания не знают национальных барьеров, ибо не нуждаются в переводе, но и писатели, для которых, как принято считать, чужая языковая атмосфера — безвоздушное пространство. Причем это относится и к тем, кто уезжали из России знаменитыми, и к тем, кто сформировались уже в зарубежье. Что было бы, останься они в России, то есть в Советском Союзе, тут, как говорится, возможны варианты. А вот про то, чего не было бы, можно сказать точно — книг.

Кржижановский остался.

(«Писатель должен быть там, где его тема», — скажет он двадцать лет спустя по отдаленно схожему поводу: отказываясь эвакуироваться из «раненой Москвы».)

Но это не спасло его ни от нищеты, ни от читательского вакуума. Ни от тоски по стране, которая на глазах переставала быть собою, отрезаясь от старого мира, отряхая со своих ног прах собственной истории, культуры, жизненного уклада, наконец, языка, вытесняемого безличным «новоязом», — от тоски не по бывшей России, но той, какую могла — готовилась — она стать, когда бы не превратилась в громадный полигон для рокового исторического эксперимента.

Он быстро разобрался в происходящем, понял, что угодил «с февралевой душой да в октябрьские дела». В 1924 году написана фантазмагория «Странствующее «Странно», в одном из эпизодов которой красные кровяные тельца, разгагитированные микроскопически малым героем, затевают забастовку, требуя восьмичасового рабочего дня, дальше — больше: поднимают восстание против эксплуататора, строят баррикады и, закупорив таким образом кровеносную систему, погибают и сами — вместе со всем организмом.

«Я наблюдаю, как будущее превращается в прошлое. Социализм планирует, расчерчивает будущее, как прошедшее» (С. Кржижановский. Записные тетради).

В 1926 году завершен «Клуб убийц букв», в центре которого — глава-антиутопия, сродни «Мы» Е. Замятина и «Ленинграду» М. Козырева, созданным примерно в то же время.

«Читаю — правда, с переборами — Ленина, Плеханова, Каутского, Бернштейна et cetera, стараясь решить мучающее меня «или — или», — писал он жене, — и не знаю, право, кто я: шахматист, слишком долго задумавшийся над очередным ходом, или партач, уже проигравший игру...»

Он усомнился в правильности своего выбора. Вчитывание в первоисточники коммунистических идей оптимизма, как видим, не добавило. Кнзпу он отнесся скептически, в успех его не поверил: «Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богачу сквозь прищур глаз Ленина».

Кржижановский называл себя сатириком. Не в нынешнем — феллетонном, — а в прежнем, свифтском значении этого слова. Его «новый Гулливер» равно неуютно чувствовал себя среди «новых» лилипутов и великанов, в стране монстров йеху и в мире коммунистической утопии, осуществленной «рабочими лошадьми» с неудобнопроизносимым наименованием.

Его герой — поэт и философ, который на предложение войти в литературу спокойно, об руку с какой-нибудь бесспорной, классической темой, сочиняет статью «В защиту Росинанта»: «История... поделила людей на два класса: те, что над, и те, что под; в седле и под седлом; Дон Кихоты и Росинанты. Дон Кихоты скачут к своим фантастически прекрасным и фантастически же далеким целям, напрямик на идею, идеал... — и внимание всех, с Сервантеса начиная, на них и только на них. Но никому нет дела до загнанного и захлестанного Росинанта: стальные звезды шпор гуляют по его закровившимся бокам, ребра пляшут под затиском колен и подпруги. Пора, давно пора кляче, везущей на себе историю, услышать хоть что-нибудь, кроме понуканий...»

(Появление в лексиконе двадцатых годов «рыцарской» фразеологии и атрибутики резануло слух не одному Кржижановскому — достаточно вспомнить «странствующего рыцаря революции», разъезжающего в платоновском «Чевенгуре» на коне Пролетарская Сила.)

Невозможность выразить себя в делах поэта, то есть в словах, оставляет этому герою единственное поле деятельности — думание. А честность мышления неотвратимо оборачивается эсхатологичностью.

Такой герой пребывал без надобности нашей печатной литературе и через полвека после своего появления на свет.

Когда умер Александр Аникст, последний из членов созданной в 1957 году в Союзе писателей комиссии по творческому наследию Кржижановского, я обнаружил в его бумагах обширную переписку

с журнальными редакциями — след предпринятых им в шестидесятих годах попыток напечатать прозу Кржижановского. С одинаковым любезным равнодушием отклоняли ее «Новый мир» и «Наш современник», «Крокодил», «Музыкальная жизнь» и все остальные (за исключением... шахматного журнала, поместившего изящную стилизацию «неизвестной главы из Свифта» — «Моя партия с королем великанов»). Еще была пора оттепели. Поэтому редакции не ограничивались отписками, а демократично обосновывали отказы. И как на грех — *ни одно* из «обоснований» не имеет отношения к содержанию возвращенных Аниксту текстов, которые, судя по всему, остались непрочтенными.

Вяземский писал про полуобразованных и амбициозных критиков своего времени, что они «коснеют в убеждении, что неведомое до сего дня им было неведомо и всем остальным». Обратная сторона этой «образованщины» — убежденность в достаточности своих знаний, в том, что не узнанное до сих пор знать не обязательно...

Впрочем, несудача Аникста увиделась мне закономерной: у меня уже был собственный опыт такого рода. Двенадцать лет я старался убедить сотрудников различных редакций хотя бы *прочитать* новеллы Кржижановского. Безуспешно. Вопреки пресловутой формуле: «Доверяй, но проверяй», — моим рассказам, что писатель этот некогда привлекал внимание авторитетнейших современников своих, не доверяли. И проверять их — собственным чтением — не пытались. В полном соответствии с пушкинской фразой о лени и исллобпытстве. И в противоречии с его же утверждением об умении любить мертвых.

Правда, кое-кому из наиболее начитанных редакторов имя автора было все же знакомо. Как ни парадоксально, это еще более укрепляло их в решимости не читать его — дабы, не дай Бог, не впасть в «ревизионизм» авторитета непререкаемого. Дело в том, что Кржижановский упоминается в одном из горьковских писем.

В 1932 году, в очередной раз пробуя пробить редакторско-цензурскую стену на пути Кржижановского к читателю, Евгений Лани передал несколько его вещей — через Георгия Шторма — Горькому Великому пролетарскому писателю очень все это не понравилось, о чем он и сообщил с нескрываемым раздражением. Будучи осторожен — подчас до робости — в обращении с поэзией, с прозой — чужой — Горький обходился решительно, с наставнической строгостью, полагая (основательно или ошибочно — другой вопрос), что здесь его опыт, образование и вкус достаточны для суждений категорических. «Инакопишущие» лишь в исключительных случаях могли рассчитывать на его сочувствие.

Сочинения Кржижановского были сделаны совсем по другим, не-горьковским меркам. Тут «чуждым» было все: философия,

архитектоника, стиль, язык. Для «проникающего» чтения требовалось качественно иное — и потому «дискомфортное» — внутреннее усилие. Эту прозу «думанием не возьмешь: тут надо включить мышление».

Не случайно после смерти писателя составлением тома его художественной прозы (из двухтомника, сперва принятого, а после отвергнутого «Советским писателем») занимался не беллетрист, а философ — Валентин Асмус, в юности — в Киеве — слушавший лекция его (том статей готовили Аникст и Валентина Дынник).

По счастью, суровость горьковской оценки не сказалась на прижизненной судьбе Кржижановского — письмо было опубликовано много лет спустя. Однако то, что Горький не столько новый творческий метод создал (тут еще бабушка надвое сказала: а был ли метод?), сколько возглавил административную систему в литературе, упрочил ее своим авторитетом, будучи назначен Сталиным главным начальником над советскими писателями, не могло не отразиться на самых талантливых из них, то есть не вписывающихся в систему. Эта его власть была односторонней — разрушительной. Похвала Горького далеко не всегда и не всякого могла защитить, зато неприязнь оказывалась рано или поздно пагубной для неугодившего автора.

Последствия коллективизации в литературе, ознаменованной Первым съездом писателей, были немногим лучше, чем в сельском хозяйстве. Возникшее в результате — и по сей день здравствующее — «министерство творчества» — под стать оруэлловскому «министерству правды», изготавливавшему и внедрявшему в общество заведомую ложь, а заодно и «министерству любви», где пытали и убивали всех, в чьем сознании эта ложь не приживалась (обнародованный ныне перечень расправ с писателями руками их «коллег» пока далеко не полон). Зло охотнее всего выступает под псевдонимом.

Кстати, о псевдонимах. «У нас слаще всего живет Горькому, а богаче всех Бедному», — заметил Кржижановский.

Шанс на издание Кржижановского появился как раз тогда, когда мне уже казалось, что единственный выход — выпустить его книги за границей. И уже оттуда, из зарубежья, они — подобно многим и многим другим — попадут к нашим читателям. Тем более что приходящее «оттуда» не нуждалось в рекламе, почти всегда было «обречено на успех», марка западного издательства воспринималась чуть ли не как гарантия высокого качества. Но главный довод в пользу такого решения был тот, что никак иначе, думалось, не спасти наследия Кржижановского от повторного погружения в забвение. Надеяться на то, что кто-нибудь когда-нибудь снова рас-

копает его рукописи и ухлопает годы на возню с ними, было бы наивно. Случайность, как правило, одноразова...

По всему по этому мне, уже располагавшему почти полным архивом Кржижановского (благодаря тому, что успел застать в живых некоторых близких к нему и Бовшек людей), было безразлично — на каком языке появится первая книга его. Лишь бы появилась. Немецкая переводчица уже начала работать, когда издательство «Московский рабочий» неожиданно приняло и в рекордные по нашим понятиям сроки (меньше двух лет) выпустило в свет «Воспоминания о будущем». Вскоре после этого заинтересовалось Кржижановским и французское издательство.

Любопытно, что в первом разговоре с представительницей этого издательства я всячески выделял и подчеркивал «европеизм» Кржижановского, его близость к писателям, давно и прочно признанным читающей публикой Европы и Америки, к писателям, многие художественные открытия которых он, сам того не ведая, предвосхитил. Я говорил о немецких философах, о метафизике По и Кафки, о парадоксализме Честертона и Шоу, о мыслях, образах и образе мыслей Мейринка и Борхеса.

А она возражала, что всего интересней как раз его «русскость», проникновение мыслью — и словом — в самую суть творившегося и творящегося здесь, у нас. И сочувствовала будущим переводчикам этой прозы, где семантическая многослойность неотделима от виртуозной стилистики, так что потери при переводе неизбежны. И тяжелый труд — свести их хотя бы к допустимому минимуму.

Самое время сказать, что русский язык не был родным для Кржижановского, родившегося и выросшего в польской семье. Впрочем, у него были недурные предшественники. Например, поляк Конрад, признанный образцовым стилистом в английской прозе. Или поляк Аполлинер, ставший классиком французской поэзии.

...И пред твоими слабыми сынами
Еще порой гордиться я могу,
Что сей язык, завещанный веками,
Ревнивей и любовней берегу,—

писал ровесник Кржижановского Владислав Ходасевич, полуполяк-полуеврей.

Кржижановский мог бы повторить эти строки — от себя. Однако его любовь к языку была иного свойства, пожалуй, без примеси ревности. Свобода от догматизма, от абсолютизма затверженных с детства формул и канонов в сочетании с обостренно ответственной, осознанно тщательной работой над словом и фразой образовали стиль его прозы, где ничего нельзя тронуть, не разрушив целостности. Стоило недавно корректорам привести одну из его

вещей, руководствуясь наилучшими побуждениями, в согласии с «нормативной» пунктуацией, страницы эти стали неузнаваемы. Их слово парализовало нарушение незримо-жесткой ритмичности авторской речи. Так мы не вспоминаем о воздухе, пока не начинаем задыхаться. Его стремление к предельной точности слова расковано — и потому не поддается имитации. Его неологизмы не рассчитаны на повторения, на жизнь вне текста, ради которого созданы. Сотни новых значений берет он из древних и современных языков, придавая им русскую форму и звучание, потому что слово приблизительно, будь оно трижды «исконно русским», толкает читателя разминуться с мыслью автора.

«Соблюдению правил я предпочитаю создание правил» (С. Кржижановский. Записные тетради).

Первоклассная машинистка, печатавшая сочинения Кржижановского для первой книги, жаловалась, что работа медленна и трудна — из-за непредсказуемых поворотов слова ли не каждой фразы и неугадываемых слов. Что профессиональный навык, инерция, когда скорость перепечатки обеспечена *угадкой* ближайших, хотя бы на два-три слова, продолжений, в этом случае не только не помогает — мешает.

«В языке, обогащенном умными авторами, в языке выработанном не может быть *синонимов*; всегда имеют они между собою некоторое тонкое различие, известное тем писателям, которые владеют духом языка», — писал Карамзин.

Проза Кржижановского несинонимична.

Среди многочисленных терпеливых «возвращений» в литературу произведений, отбывших чудовищные сроки заключения в столах и архивах, сроки «пожизненные» для авторов, «феномен Кржижановского» в том, что речь идет не об отдельных вещах, но обо *всем* творчестве. Да и о самом имени писателя, «известного своей неизвестностью». Об имени, которое в двадцатых и тридцатых годах отнюдь не было безвестным. Даже и сегодня обращения к людям, которые, по моим сведениям, могли встречаться с Кржижановским, вызывали отклик мгновенный.

«Я не был знаком с С. Д. Кржижановским, — писал ко мне литературовед И. Г. Ямпольский (25.05.1989). Нередко встречал его на киевских улицах и бывал на его публичных лекциях. Он выступал вместе с артисткой Бовшек (не знал, что это его жена). Запомнилось весьма немного. Однажды Бовшек читала «Петера Шлемиля» Шамиссо. Я впервые услышал из ее уст эту замечательную повесть, которую впоследствии не раз перечитывал. По-видимому, чтению предшествовала лекция Кржижановского то ли о Шамиссо, то ли

о немецком романтизме. Другая его лекция была посвящена русской поэзии начала нашего века. Помню, что начиналась она примерно так: «Андрей Белый и Саша Черный — ЭТОВТОВЦЫ и ТОВЭТОВЦЫ, то есть превращающие земное в запредельное или запредельное в земное». Кроме того, я слышал, что он принимал участие то ли в литературной студии, то ли в каком-то литературном обществе, наряду с другими киевскими литераторами. Сам я там не бывал по молодости лет. Какое-то участие принимали в нем жившие тогда в Киеве С. Д. Мстиславский и О. Д. Форш. В каком-то киевском журнале, название которого я не могу восстановить в памяти, Кржижановский поместил статью, как и все, что он тогда писал, парадоксальную, под названием «Якоби и «Якобы» (речь идет о журнале «Зори», 1919, № 1, а «статью» автор считал первым своим зрелым рассказом, тремя годами позже включив его в рукопись своей первой книги.— В. П.)... Перебирая в памяти киевлян старшего поколения, которые Кржижановского, наверное, хорошо знали, я убеждаюсь, что все они, увы, перешли в мир иной. Я не знал, что Кржижановский писал прозу и пьесы. Как видите, я не могу сообщить Вам ничего существенного».

Тут позволю себе не согласиться. По-моему, очень даже существенно то, что семьдесят лет спустя столь точно помнятся впечатления, казалось бы, мимолетные, на жизнь моего корреспондента не повлиявшие. Ведь рассказанное им совершенно согласуется с воспоминаниями Анны Бовшек «Глазами друга», которые еще не были опубликованы, когда писалось письмо.

Артистка таировского Камерного театра Г. С. Кириевская на вопрос о Кржижановском тут же вспомнила, что он преподавал у них в студии. И подробно рассказала — через шестьдесят семь лет! — содержание одной из предложенных им студийцам тем для этюда: драматическое «жизнеописание» обыкновенной стружки (введенное впоследствии — в двадцать седьмом году — в новеллу «Книжная закладка», о которой Кириевская никогда не слышала).

Литературовед С. А. Макашин познакомился с Кржижановским в двадцатых годах, когда служил секретарем музыкальной редакции в издательстве «Энциклопедия», где Кржижановский был «контрольным редактором», то есть ближайшим помощником С. Д. Мстиславского, ведавшего всеми редакциями, готовившими статьи по литературе, искусству, философии. Издательство располагалось на Тверском бульваре, напротив Дома Герцена и по соседству с домом Е. Ф. Никитиной, хозяйкой знаменитых «Никитинских Субботников» (кстати, в том же здании, этажом выше издательства, размещалось фотоателье М. С. Наппельбаума, сделавшего отличный портрет Кржижановского).

Начал Макашин воспоминания с детали, на первый взгляд, малозначительной. Разница в возрасте у них с Кржижановским была

почти двадцать лет, да и в «служебной иерархии» Кржижановский стоял намного выше, однако, если у контрольного редактора возникали вопросы по той или иной «музыкальной» статье, он никогда не вызывал к себе Макашина телефонным звонком, а шел — через все здание — к нему. Деликатность не позволяла ему и намекнуть на то, что он старше и «главнее». В издательстве он выделялся, быть может, более всего именно тем, что старался не выделяться. За исключением разве что «неофициальных» вечеров, которые любил устраивать глава издательства О. Ю. Шмидт, — тут Кржижановский естественно оказывался в центре внимания, рассказчик он был неотразимый.

Однажды за обедом в Доме Герцена (рядом с которым Кржижановский предлагал открыть частную лавочку, торгующую темами, заглавиями, концовками и прочим дефицитным «писательским» товаром) он представил Макашина Михаилу Булгакову, подсевшему к их столу запросто, на правах давнего, еще киевского, знакомого. Кржижановский увлеченно рассказывал — и разыгрывал — эпизоды из сценария «Праздника святого Йоргена», который писал для Протазанова, а Булгаков уморительно комментировал это представление. Позже — опять-таки с Булгаковым — Макашин побывал и в гостях у Кржижановского, в его крохотной арбатской «квадратуре».

Еще один эпизод — для меня совершенно неожиданный. Как-то в редакцию к Макашину позвонил Луначарский и сказал, что Г. В. Чичерин хочет написать в «Энциклопедию» статью о Моцарте. Правда, до буквы «М» изданию еще далеко, но упускать такую возможность ни в коем случае нельзя. Заказ тут же был сделан. Однако статья не получилась, замысел Чичерина не уместился в несколько отведенных для него страниц, работа разрослась в известную ныне книгу. Каждую новую порцию написанного Чичерин передавал Макашину, а тот — как повелось с первого же фрагмента — контрольному редактору Кржижановскому, который, осторожно касаясь текста, делал его жестче и острее, бережно сохраняя эмоциональность авторского письма, уточнял факты и даты, не пользуясь при этом никакими книгами — только своей необъятной памятью, и все это — без тени неудовольствия, что приходится заниматься делом, не имеющим отношения к служебным обязанностям. Так он и отредактировал всю чичеринскую рукопись...

Искусствовед Н. М. Молева, родственница, вернее — свойственница Анны Гавриловны Бовшек, знавшая в отрочестве Кржижановского и написавшая воспоминания о нем, упомянула как-то в нашей беседе, что в сороковых годах, когда заболела — начала слепнуть — ее бабушка и требовалась срочная операция, какую мог сделать только В. П. Филатов в своей одесской клинике (куда было не

попасть), Сигизмунд Доминикович дал им письмо к Филатову — и оно «сработало» безотказно. Такое отношение знаменитого врача к незначительному писателю осталось для семьи Молевых загадочным.

Разгадка — в письме Кржижановского к жене от четырнадцатого июля 1938 года, где рассказывается о визите на дачу к композитору Василенко, дружба с которым длилась уже лет десять. «...Василенки угостили меня великолепным, со льда, квасом и гениальным, с пылу, с жару, Филатовым. Сперва Владимир Петрович несколько косился на меня, говорил, как сквозь стену, но не то третий, не то четвертый мой парадокс заставил его распахнуть двери. Кончилось тем, что он увел меня к себе в комнату и читал свои стихи, робко и взволнованно, как ученик. Взял с меня слово, что я приеду еще и что мы вообще будем видеться...»

Столь же памятливы оказались впечатления, оставленные встречами не с самим Кржижановским, а с немногими прижизненно опубликованными его сочинениями.

Филолог и теоретик литературы М. Л. Гаспаров лет в шестнадцать прочитал две новеллы Кржижановского в имажинистском журнале «Гостиница для путешественников в прекрасном» (1923—1924, №№ 3—4) и уже не мог забыть этого писателя. Много лет спустя, обнаружив в ЦГАЛИ его архив, прочитал и перечитал почти все, что там собрано. А на выход книги «Воспоминания о будущем» откликнулся рецензией («Октябрь», 1990, № 3) — замечательной, по-моему, характеристикой творчества Кржижановского.

Литературовед З. С. Паперный припомнил его статьи о Чехове, прежде всего — о чеховском юморе («Чехонте и Чехов. Рождение и смерть юморески», «Литературная учеба», 1940, № 10), и посетовал, что чеховеды почему-то никогда на них не ссылаются. А заодно поинтересовался у автора этих строк, известно ли ему, автору, что одна из острот, числящаяся светловской, на самом деле принадлежит Кржижановскому (он даже спрашивал о ней у Светлова, и тот подтвердил, что — «чужое»; однако впоследствии художник А. Игин «узаконил» ошибку в своих мемуарах).

Поясню, о чем речь, строками мемуарного очерка А. Арго о Кржижановском — «Альбатрос»: «Делал он доклад о Шекспире и высказывал при этом отнюдь не новую мысль насчет бессмертия гениев человечества, которое в том и заключается, что каждое новое человеческое поколение черпает из их творений новое содержание, как бы говоря своим предкам: «Вы не так его понимали, а вот мы его поняли по-настоящему!» В этом месте Сигизмунд Доминикович пожал плечами и развел руками: «В сущности говоря, что такое вопросительный знак? Состарившийся восклицательный». Аплодисменты зрительного зала».

Эмоциональным мемуарным свидетельствам вторят архивные документы.

Из стенограммы обсуждения сессией драматургов пьесы С. Кржижановского «Поп и поручик». 10 апреля 1934 года.

«Вы все знаете, что среди нас живет на самом деле большой писатель. Эти слова я имею право сказать, не делая никакой скидki. Именно большой писатель, который должен быть известен не только у нас, но и за границей. И я уверен, что в конце концов он добьется такой известности... Это писатель, имя которого должно сохраниться в веках. Я считаю его одним из больших писателей не только нашей современности, но и вообще мировой литературы...» Михаил Левидов был знаком с Кржижановским ближе и дольше всех прочих присутствовавших: помогал ему с заработками, опекал в быту, благо, жили они по соседству. Но в его словах нет привычных в писательском кругу приятельских преувеличений. Автор замечательной книги о Свифте, сотрудник бухаринских «Известий» и издательства «Academia» (в бытность там директором Льва Каменева), хорошо понимал весомость и ответственность подобной оценки. И позором для всех литераторов-современников назвал то, что писатель, блестяще работающий полтора десятка лет, не признан, не издан, не признан у себя на родине.

Кстати, Левидов признался, что, проведая о работе Кржижановского над исторической комедией, затеянной, чтобы... передохнуть меж двумя «заказными» трудами, не «дух перевести», но «отвести душу», уговаривал его употребить на это не более четверти своих возможностей, не трудиться в полную силу, иначе, опасался он, пьеса может и не увидеть сцены. Тщетно: быть столь расчетливым Кржижановский не умеет. И вот теперь его коллегам приходится не столько обсуждать готовую вещь (нахохотавшись по ходу авторского чтения), сколько ломать голову над проблемой: в какой театр ее отдать, чтобы не загубили при постановке?

Кто-то — с места — назвал Юрия Завадского. На что автор ответил, что уже предлагал комедию этому режиссеру, а тот заявил, что предпочитает попросить новую пьесу у Тренева. В конце концов участники обсуждения сошлись на том, что «Попа и поручика» никто должным образом поставить не сумеет. Кроме Мейеркольда. Однако союз драматурга и режиссера не состоялся. (Замечу, что одинаково горячо увлекались этой пьесой и с равным неуспехом намеревались ее ставить Рубен Симонов, Николай Акимов, Валерий Бобутов — с ним даже начал работать над эскизами Евгений Соколов. Позже, в тридцать восьмом, та же участь постигла нятерых руководителей провинциальных театров и режиссера радиотеатра Николая Попова. А музыку к «Попу и поручику», независимо друг от друга, писали Анатолий Буцкий и Сергей Василенко.)

Из стенограммы приема С. Кржижановского в Союз писателей.
13 февраля 1939 года.

«Я знаю его много лет, и его судьба...— это один из самых странных и нелепых парадоксов. Человек настолько интересен и талантлив, что мы должны ставить вопрос не о том, что мы ему можем дать, но о том, что мы от него можем взять (аплодисменты)». Так закончил свое выступление Абрам Арго.

«Кржижановский имеет энциклопедическое образование, знает 10 языков, но это очень скромный и непрактичный человек. Он ничего не может для себя сделать. Он пишет статью о Шоу, и в Англии ее сразу печатают, а у нас ее не могут напечатать... Одну из его книг сейчас никак не удастся продвинуть. Я сам взялся за это и всегда сталкиваюсь либо с его неумелостью, либо с абсолютным равнодушием»,— сокрушался Владимир Волькенштейн.

Но энергичнее всех высказался опять же Левидов: он просто прочитал впечатляющий список работ Кржижановского всего за один год— тридцать восьмой, далеко не самый яркий в его творчестве...

«Литературная газета» (05.04.1939) сообщала: «В Союз принимается С. Д. Кржижановский. В писательской среде мало знают этого талантливого человека. Положительные отзывы о работах Кржижановского дали т.т. Ф. Левин, М. Тарловский, В. Асмус, Н. Асеев, М. Левидов, П. Павленко...» Тут же— довольно грубо смонтированный из разнокалиберных фотографий «групповой портрет», представляющий читателям новоприсланных к спискам Союза писателей, где Кржижановский— рядом с Бажовым, Бекон, Довженко...

В Союз его приняли. И ничего не изменилось. Несколько опубликованных в двадцатых— тридцатых повелл затерялись в ворохах периодики. Как и более многочисленные статьи о литературе и театре. Попали, по его обозначению, в «литературные излишки СССР».

Эпохе антигуманизма, которая, хочется надеяться, подходит к концу, эпохе исторической безоглядности и беспамьятства, этот писатель, утверждавший, что «искусство есть одна из систем мнемоники», оказался ни к чему. И прижизненно, и посмертно. Потому что уже в первых вещах, а писать прозу он начал после тридцати, увидел свою эпоху именно такую. Понял катастрофичность отрицания накопленного человечеством духовных ценностей. И сказал об этом в книге философских притч «Сказки для вундеркиндов» (1922). Но «вундеркинды» уже были в дефиците, если угодно, в подавляемом меньшинстве. И притчи остались непрочтенными— никем, кроме посвященных, как Михаил Булгаков, Александр Таиров,

Максимилиан Волошин, Андрей Белый, Георгий Шенгели, Евгений Ланн, Евгений Лундберг, Яков Голосовкер...

Издатели, возвращавшие рукописи, пытались внушить ему, что все дело в его отстраненности, далекости от реальной, кипящей окрест героической жизни, что его философствование ей чуждо, потому что бездеятельно и «нереалистично».

«Я думаю, что люди ошибаются,— писал много позже Хорхе Луис Борхес, чьи некоторые сочинения ошеломляюще напоминают прозу Кржижановского, о существовании которого он и не подозревал,— когда считают, что лишь повседневное представляет реальность, а все остальное ирреально. В широком смысле страсти, идеи, предположения столь же реальны, как факты повседневности, и более того — создают факты повседневности. Я уверен, что все философы мира влияют на повседневную жизнь».

Сейчас мы то и дело поражаемся: сколько же было в новейшей нашей истории не услышанных своевременно — и потому сбывшихся — предостережений! Слепая вера ведомых слепыми поводьями в обетованную землю вечного света не допускала еретической мысли о существовании тени. И попытка осуществить утопию обернулась карикатурой, какой и вообразить не могли немногие зрячие творцы антиутопий.

Среди нереализованных замыслов Кржижановского — «Разговор легендарного Кампанеллы с Кампанеллой историческим».

Кстати говоря, я пытался узнать — чтобы назвать поименно, — кто именно не пускал написанное Кржижановским в печать, мешал ему жить единственно возможной для него жизнью — писательской. Тех, о ком он, разумея в подтексте расхожую метафору «метла революции», писал: «Когда метут пол, иные пылинки получают повышение». Но, кроме печальной памяти профессионального душиателя литературы П. И. Лебедева-Полянского да некоего А. Зонина, приложившего руку к тому, что осталась неизданной одна из лучших вещей Кржижановского «Возвращение Мюнхгаузена», никого более установить не удалось — все канули в небытие. В отличие от тех, кто помогали ему, поддерживали в тяжелые дни, брали на себя издательские хлопоты: многие здесь уже перечислены, к сожалению моему, не все.

Кржижановский, в фантазмагориях своих выявлявший абсурдность выбранных новыми хозяевами страны целей и средств, трагическое их несоответствие друг другу, легко расшифровывал редакторский псевдозопов новояз: «В поезде нашей литературы ни одного вагона для некурящих... фимиама».

Кржижановский был из некурящих. Среди разнообразных дарований, полученных им от рождения и развитых напряженным мышлением и неустанной работой, склонность к компромиссу, навязыва-

сному людьми и обстоятельствами, духовным вакуумом «литературной казармы», не значилась.

«Познакомили меня, почти случайно, с редактором «России» (сменившим И. Лежнева, который прозу Кржижановского высоко ценил. — *В. П.*): и после трех двухчасовых разговоров вижу: надо порвать. М(ожет) б(ыть), это последняя литерат(урная) калитка, но я захопну и ее: потому что — или так, как хочу, или никак...» (Из письма к Анне Бовшек, 1926.)

Одну из попыток выпустить книгу он резюмировал в полутора строках письма: «В Госиздате дело мое — очередной шепчок — провалилось: нанли, что «очень интересно», но... идеологически и т. д.»

И так далее. До наших дней.

В биографии Кржижановского, изложенной им самим на одной-единственной странице, о тридцати годах «долитературной» жизни сказано скороговоркой, без подробностей — как о чем-то совершенно несущественном. И далее нет ничего, не относящегося — так или иначе — к писательской работе, вне которой у него словно бы и не бывало событий, достойных постороннего внимания. Архивные материалы, немногочисленные мемуары, встречи и переписка со знавшими его людьми не изменили картины — лишь дополнили ее. Вот как выглядит хроника этой писательской судьбы.

30 января (11 февраля) 1887. Родился близ Киева — четвертый, младший ребенок — и единственный сын — Станиславы Фабизовны и Доменика Александровича Кржижановских.

1907. Окончил Четвертую Киевскую гимназию. Поступил на юридический факультет Киевского университета. Параллельно поступил к занятиям на филологическом факультете.

1912. Первая публикация стихов в одной из киевских газет.

1912—1913. Поездки за границу: Италия, Франция, Германия, Швейцария. Путевые очерки печатаются в газетах.

1913—1917. По окончании университета — служба в качестве помощника присяжного поверенного.

1918. Призыв в Красную Армию. Знакомство с С. Д. Мстиславским и О. Д. Форн.

1918—1922. Лекции по психологии творчества, истории и теории театра, литературы, музыки — в Киевской консерватории (семинар А. К. Буцкого), театральном институте им. Н. Лысенко, Еврейской студии, концертных залах.

1919. В журнале «Зори» (№ 1) напечатан рассказ «Якоби и «Якобы», а в «Неделе искусства, литературы и театра» (№№ 2,3) — «Катастрофа» и «Лес карандашей» (не разыскан).

1920. Александр Дейч знакомит Кржижановского с Анной Бовшек, бывшей артисткой Второй Студии МХТ.

1920—1922. Составление литературных программ для Бовшек и участие в ее концертах.

1922. Переезд в Москву. Знакомство с Николаем Бердяевым, Алексеем Северцовым, Владимиром Вернадским, Александром Таировым. Получение «пожизненной» комнаты (10 кв. м, Арбат, 44, кв. 5). Завершена первая редакция книги «Сказки для вундеркиндов». Приглашен Таировым преподавать в студии Камерного театра.

1923—1924. Пьеса «Человек, который был Четвергом (по схеме Честертона)»,—и ее постановка в Камерном театре (премьера—6 декабря 1923 года; режиссер А. Таиров, художник А. Веснин). Издательство «Денница», принявшее к печати «Сказки для вундеркиндов», закрывается; книга не выходит. Написана повесть «Странствующее «Странно» и первая крупная теоретическая работа «Философема о театре». Знакомство—через коллегу по работе в Камерном театре Анатолия Мариенгофа—с имажинистами: в их журнале «Гостиница для путешествующих в прекрасном» публикуются три новеллы: «Якóби и «Якобы» (с сокращениями по сравнению с киевской публикацией), «История пророка» и «Проигранный игрок».

1925. Две «пробные» статьи, заказанные Мстиславским для «Энциклопедии»,—и приглашение на службу в издательство в качестве контрольного редактора (один из руководителей издательства, Лебедев-Полянский,—по совместительству—возглавлял и цензуру). Написано полтора десятка статей для «Литературной энциклопедии». Публикация повести «Штемпель: Москва» («Россия», № 5). Неудачная попытка напечатать в том же журнале «Автобиографию труппа».

1926. Написаны повесть «Клуб убийц букв» и новелла «Фантом». Вторая половина лета—в Коктебеле у Волошина; знакомство с Александром Грином.

1927. Написаны повесть «Возвращение Мюнхгаузена» (и сценарий по ней), новеллы «В зрачке», «Книжная закладка», «Тридцать сребреников», «Тринадцатая категория рассудка» и другие. Завершена вторая—окончательная—редакция «Сказок для вундеркиндов» (с пятью новыми в рукописи стало двадцать девять новелл).

1928. Попытка выпустить «Возвращение Мюнхгаузена» в издательстве «Земля и Фабрика» (не удалась). Цензурой остановлена книга «Собиратель щелей».

1929. Написан сценарий «Праздник святого Йоргена», повести «Воспоминания о будущем», «Материалы к биографии Горгиса Катафалаки», «Красный снег» (рукопись не найдена). Завершена комедия («Условность в семи ситуациях») «Писаная торба» (не поставлена).

1931. Уход из «Энциклопедии». Выпущена отдельным изданием «Поэтика заглавий» (изд. «Никитинские Субботники»).

1931—1933. Служба помощником редактора в журнале «В бой за технику».

1932. *Осень*. Поездка в Туркестан.

1933. Создан цикл очерков («узбекистанских импрессию») — «Салыр-Голь», фрагменты которого напечатаны в журнале «Тридцать дней» под заглавием «Скитаясь по Востоку». По приглашению Левидова — начало сотрудничества с издательством «Academia» в подготовке собрания сочинений Шекспира (издание не осуществлено). Издан путеводитель по Москве для иностранных туристов (не разыскан). Переведены две пьесы Б. Шоу. Переработан сценарий мультфильма «Новый Гулливер».

1934. Работа с несколькими театрами над постановкой «Попа и поручика» (не состоялась). Цензурой остановлена книга новелл, подготовленная Госиздатом.

1935. Публикации статей о творчестве Шекспира и Шоу («Интернациональная литература», «Литературный критик» и др.).

1936. Инсценировка «Евгения Онегина» для Камерного театра — режиссер А. Таиров, композитор С. Прокофьев, художник А. Осмеркин, в роли Татьяны А. Коонси (постановка не осуществлена).

1937. Написаны цикл миниатюр «Мал мала меньше», пьеса «Тот третий» (не поставлена), работы по истории и теории театра.

1939. Вступление в Союз писателей.

1939—1941. Подготовлена к изданию в «Советском писателе» книга «Рассказы о Западе» (авторское название — «Неукушенный локоть»; выходу книги помешала война). Составлен «Сборник рассказов» (отклонен Госиздатом).

1942. Написано либретто оперы «Суворов» (композитор С. Н. Василенко). Поездка (от секции драматургов) — для приема новых спектаклей и чтения лекций — в Бурятию и Восточную Сибирь, где — в Иркутске — состоялась последняя встреча с Мстиславским. Написан цикл исторических очерков «О войне». Начата книга физиологических очерков «Раненая Москва». Серия докладов в «Шекспировском кабинете» ВТО.

1943. Поездка на Западный фронт — с выступлениями в армейских частях.

1946 — 1948. Переводы стихов Ю. Тувима и прозы для сборника «Польская повелла». Завершена первая часть «Раненой Москвы» — девятнадцать очерков под общим заглавием «Москва в первый год войны».

28 декабря 1950. Умер в Москве (место захоронения не найдено).

Далеко не полный этот перечень трудов и дней Сигизмунда Кржижановского поначалу оставляет впечатление мозаичное. Разнообразие его интересов и начинаний, инициированное банальной необходимостью зарабатывать на жизнь, отдает эклектикой. Занятий побочных — в той или иной мере вынужденных — оказывается больше, чем тех, какие он считал для себя основными: проза не составляет и половины его архива.

Однако при более пристальном, медленном взгляде проступает система, где все связано со всем. Так что отмахнуться от подобной «поденщины», — дескать, кому только не приходилось в те времена браться за случайные, сиюминутные заработки! — значит, вовсе не понять этого писателя. Как бы следуя английской поговорке, он, не имея возможности делать то, что любил, умел полюбить то, что делал. И чем лучше у него это получалось, тем ненадежнее становились заработки. Он даже мог иной раз поддаться на уговоры, вроде упоминавшихся левидовских: начать какую-либо «денежную» работу вполсилы, в четверть силы, дабы не «оскорблять» редакторов своей культурой. Но хватало его ненадолго. Он включался в «чужую тему» — и она становилась *своей*, разрастаясь, ветвясь, не отпуская.

С толку сбивает не столько множественность, сколько одновременность несхожих, разножанровых работ Кржижановского, их переплетение в орнамент, которого, кажется, один человек сотворить не мог. Чтобы уловить ритм этого орнамента, приходится всматриваться, сосредотачиваясь по очереди на каждом из повторяющихся элементов.

Так, первые заметки о Москве он написал почти сразу по переезде сюда. Они были изящны, легки, мимолетны. Их охотно печатали (в частности, «Огонек»). И трудно вообразить, что уже для этих непритязательных зарисовок Кржижановский проштудировал всю сколь-нибудь значительную литературу по истории Москвы, изучил старые описания, карты и планы — и сопоставил их с современными ему топографией и топонимикой: в ежедневных и долгих прогулках «бил пространство временем», постепенно — шаг за шагом — осознавая и чувствуя себя москвичом. Можно сказать, что он «выходил» таким образом не утратившую посейчас значительности статью «Московские вывески», где остроумно трактуется проблема содержательности урбанистической «формы», шире — стиля города, его быта и бытия. В 1925 году написана историко-философская повесть «Штемпель: Москва», помещенная в том же номере «России», что и булгаковская «Белая гвардия» (упомяну, что эту публикацию Кржижановского заметил и отметил Александр Грин, что выяснилось при их знакомстве год спустя, в Феодосии). Через восемь лет он составил путеводитель, воспользовавшись собственным опытом изучения, вернее — постижения Москвы. Наконец, незадолго до сме-

рти дописал первую тетрадь «Ранней Москвы», обработав записи 1941—1942 годов (правда, остался недоволен этой работой), но издателя уже не нашел. В итоге «московской темой» окольцовано все тридцатилетие его жизни в столице. А внутри этого кольца — новеллы и повести, где Москва — полноправное «действующее лицо»: и в «Автобиографии труппа», и в «Воспоминаниях о будущем», и в «Книжной закладке», и в «Возвращении Мюнхгаузена», и в «Швах»...

Приняв предложение Таирова — написать для Камерного театра пьесу «по схеме Честертона», он, издавна любивший этого писателя, изобретательно и свободно дал выход своему чувству. На сцене в «букве» Кржижановского царил «дух» Честертона. Четыре года спустя это напомнило о себе заглавием «Возвращение Мюнхгаузена» (по ассоциации с честертоновским романом «Возвращение Дон Кихота»).

Сценарию знаменитого протазановского фильма предшествовали два других, судьба которых, как говорится, не задалась. Но тонкое понимание Кржижановским природы и законов жанра, умение следовать им в своих фантазиях было профессионалам очевидно. И обращение к нему А. Птушко с просьбой спасти «Нового Гулливера», первоначальный сценарий которого в ходе съемок попросту развалился, разумеется, было не случайным. Ну, а несколько позже «свифтианские» мотивы, которым не нашлось места в фильме, воплотились двумя новеллами о Гулливере.

Подобным образом возникла и «шекспириана» Кржижановского, не значившаяся в его планах, пока не появился повод, казалось бы, частный. Правда, еще на рубеже десятых и двадцатых годов он, делая выбор между философией и литературой, по его словам, предпочел Шекспира Канту. Эниграф к повести «Странствующее «Странно» взят из «Гамлета» и служит своего рода «ключом» к ней. А в «Клубе убийц букв» одна из глав — парадоксальная интерпретация «шекспировской темы» (опять же «Гамлета»), возможная лишь при академическом владении материалом и в то же время неортодоксальном взгляде на эту гениальную драматургию.

Читавший обе эти вещи Левидов знал, что делал, когда рекомендовал Кржижановского в редакторы заново переводимого Шекспира — и в авторы предисловия к тому ранних комедий.

«Перечитываю и пере-перечитываю Шекспира, — писал Кржижановский жене. — Надо добиться пианистической беглости...» И добился. Результат — полтора десятка работ: от монографических «Комедиографии Шекспира» и «Поэтики шекспировских хроник» до лаконичного «технологического» разбора «Военных мотивов у Шекспира» или полемизирующих с хрестоматийной тургеневской статьей «Гамлет и Дон Кихот» восьми страниц, озаглавленных «Сэр

Джон Фальстаф и Дон Кихот». Исполнено все это и впрямь с «пианистической беглостью», точнее не скажешь. Следует упомянуть и лекции о Шекспире, читанные в различных театральных труппах — слушателям, так сказать, со средним «шекспировским» образованием, и доклады в ВТО, имевшие успех у таких знатоков оригинала и мастеров перевода, как Михаил Морозов, Самуил Маршак, Татьяна Щепкина-Куперник (это уже начало сороковых годов). А еще в архиве Кржижановского сохранился подробный план издания двухтомной «Шекспировской энциклопедии», увы, не осуществленного.

По мнению Аникста (усилиями которого в шестидесятых — восьмидесятых годах были напечатаны почти все работы Кржижановского о Шекспире), едва ли кому-нибудь удавалось — как Кржижановскому — всего за два-три года стать одним из самых интересных исследователей и осмыслителей шекспировского творчества. Его же свидетельство: Пастернак, работая над первыми своими переводами из Шекспира, консультировался у Кржижановского...

«Венок Офелии: из горькой руты и Пастернака» (С. Кржижановский. Записные тетради).

Стоит сказать, хотя бы вскользь, еще об одном из неосуществленных замыслов Кржижановского: программе работы литературной студии. В двух параллельных циклах — «а) культура читателя; б) культура писателя» — предусмотрено и названо все то, что было освоено самим Кржижановским, когда больше десяти лет осознанно готовился он к писательству, то есть до первой зрелой публикации. Познание языка — вширь и вглубь. Постижение связи между содержанием и звучанием текста. Анализ черновиков великих писателей (особенно — зачеркнутого). Исследование психологии творчества — и психологии ошибки. Семинарий по технике письма. Мастерство лектора. Искусство перевода — дословного и свободного, художественного. «В студии нет разграничения на учителей и учеников, — подчеркивал автор проекта. — Все учатся, и всякий учится у себя самого, лишь при помощи более опытных товарищей». Для него недискуссионна зависимость эффективной писательской «практики» от универсального знания истории и теории литературы (иначе, иронизировал он, «автор — мышь, думающая, что это она и только она «вытянула репку»). Как очевидна и обратная связь: опыт собственного творчества помогает глубже разобраться в чужом. Например, через несколько лет после комедии «Поп и поручик», действие которой происходит в конце XVIII века, при Павле I, Кржижановским написана обстоятельная аналитическая статья «Русская историческая пьеса».

Наконец, самое, на мой взгляд, любопытное. В тридцать четвертом году появилась первая статья Кржижановского о творчестве Бернарда Шоу (чему предшествовал, повторю, перевод двух его пьес). К сороковому году их насчитывалось шесть (одна, тогда же переведенная и напечатанная в Англии, у нас пока не опубликована). Сюда же надобно отнести и седьмую — «Театральную ремарку» (1937), работу по теории драматургии, импульсом к написанию которой стало именно изучение драматургической техники Шоу. (Всякий раз, когда есть повод говорить о том, что после Кржижановского к затронутой им теме никто не обращался, значило бы — то и дело повторяться.)

Тем же, тридцать четвертым годом датирована и первая «пушкинская» новелла Кржижановского «Рисунок пером». Одновременно был начат роман, в герои которого он выбрал персонаж, Пушкиным лишь вскользь упомянутый, роман о «том третьем» (из наброска «Египетских ночей»), кто «имени векам не передал». Однако проза на сей раз почему-то не давалась. И Кржижановский, набросав два с лишним десятка страниц, отложил ее в сторону. Вместе с «темой»...

В тридцать шестом — по просьбе Таирова — он принялся за инсценировку «Евгения Онегина», для чего «перечитал и пере-перечитал» всего Пушкина. И снова — в который раз! — оказался «не вовремя».

Официально спланированную и жестко регламентированную «всемирную» подготовку к юбилейным пушкинским торжествам он понимал как попытку сделать, наконец, Пушкина *государственным поэтом*: то, что веком ранее не удалось Николаю I, теперь взялся осуществить большевистский самодержец всяя Руси (и потому празднование столетия со дня *убийства поэта* — на фоне достигшего апогея сталинского *большого террора* — обретало смысл символический). Но получилась лишь пальба «из Пушкина по воробьям», ибо литература социалистического реализма в наследницы Пушкина никак не годилась.

«Это так же похоже на литературу, как зоологический сад на природу» (С. Кржижановский. Записные тетради).

А хлынувшую потоком — потоком — на страницы периодики стихообразную юбилейную трескотню Кржижановский охарактеризовал как «злоупотребление поэзией дарованным ей Пушкиным правом быть «глуповатой». И добавил: «Самое омерзительное на свете: мысль гения, доживающая свои дни в голове бездарности».

Его инсценировка, одобренная отнюдь не снисходительными пушкинистами, естественно, не могла удовлетворить репертуарную комиссию, точно знавшую, какой Пушкин «нужен народу», а какой нет. Статьи «Искусство эпитафия (Пушкин)», «По строфам

«Онегина», «Лермонтов читает «Онегина» тоже остались неопубликованными. Удалось напечатать лишь «Историю одной рукописи» — о «Борисе Годунове».

«...Бывают в истории драматургии случаи,— писал Кржижановский,— когда не жанры судят пьесу, а пьеса судит жанры и предписывает новые формы... Рукопись «Бориса» многому научилась у двух авторов: Шекспира и Карамзина. У Шекспира она взяла манеру лепки характеров, вольного и широкого создания их, свободного обращения с так называемыми единствами, наконец, «отец наш Шекспир» дал Пушкину решимость отрубить шестистопному ямбу («александрийскому стиху», которым обычно французские классики писали свои трагедии) его последнюю стопу и писать перифророванным белым стихом, перемежая этот стих прозаическими вставками...»

Пушкинская «тема» захватила Кржижановского на целых два года. И в конце концов вернула его к покинутому было замыслу, таившемуся в «Египетских ночах». Конечно, Кржижановский не первый, кто соблазнился незавершенностью этой повести (кроме знаменитого опуса Валерия Брюсова, назову случай, едва ли известный советским читателям: в Париже, где русская эмиграция тоже готовилась к Пушкинским дням, свой вариант «Египетских ночей» опубликовал пушкинист Модест Гофман — и напоролся на убийственную рецензию Ходасевича, озаглавленную «Сказки Гофмана»; но это — к слову).

В поисках причины того, почему роман, едва начавшись, «не захотел продолжаться», Кржижановский заподозрил, что «не угадал с жанром». Сказалось, несомненно, и то, что в последние годы он занимался преимущественно драматургией. Короче — вместо романа была сочинена трагикомедия «Тот третий», которая постросним и стилистикой родственна... «античным» пьесам Шоу. «Бывают странные сближенья...» Под пером Кржижановского «далсковатые» — Шекспир, Пушкин, Шоу — литературные явления совместились органично и остроумно. Но театра, который рискнул бы это поставить, в стране уже не существовало.

Рассказывают, что Резерфорд, принимая на работу молодого физика, предлагал ему тему для первого самостоятельного исследования. И если тот по завершении труда приходил и спрашивал, что делать дальше, его увольняли.

Этот «принцип Резерфорда», пожалуй, бесполезно было бы применить к нашей «заказной» словесности — тогда ряды ее творцов изрядно бы поредели. И лишь немногим, кто — подобно Кржижановскому — даже в этих условиях сумел остаться собою, художниками и мыслителями, не грозило бы «увольнение» из литературы...

С сорок первого года он прозы уже не писал. Эпизодически занимался переводами. Вяло читал — за грошовую оплату — никому не нужные лекции по зарубежной литературе в окраинных московских клубах. Изредка появлялся в студии мучительно пытавшегося спастись Камерного театра. «Темы» ненаписанных новелл растрачивал в беседах со случайными знакомыми да забредавшими иногда в гости немногими уцелевшими в чистках тридцатых—сороковых годов друзьями-литераторами. Не жил — доживал, безнадежно болея, подводя итоги, которые выглядели тоскливыми.

«Перед закатом длинные тени от вещей напоминают, что и прошедший день был длинен, но как тень» (С. Кржижановский. Записные тетради).

С мая 1950 года болезнь резко — скачком — прогрессировала. Бовшек, по совету врача, была вынуждена ограждать его от печальных известий, способных выбить из чудом — невероятным усилием воли — еще удерживаемого, но крайне неустойчивого душевного равновесия. Но о смерти Таирова он узнал, хоть и с опозданием. Четвертого октября Кржижановский написал последние в своей жизни строки — письмо к А. Коонен: «Дорогая, милая-милая Алиса Георгиевна! От меня скрыли известие о смерти Александра Яковлевича. И я не мог, как должно, проститься с ним. Но, если говорить по существу, я и не собираюсь прощаться с Александром Яковлевичем, прочно и крепко будет он жить в моем сознании. Это не слова. Благодарю Вас, Алиса Георгиевна, за неоплатно дорогие дары Вашего творчества. Целую Ваши прекрасные руки. Сигизмунд Кржижановский».

Ему оставалось всего три недели до инсульта. И меньше трех месяцев — до конца жизни.

Среди последних завершенных работ Кржижановского — «Мал мала меньше», цикл в тридцать коротких притч. Вот одна из них — «Эмблема».

«Это были обыкновенные солнечные часы, поставленные на открытой площадке сада в одном из наших южных курортов, где солнце — вещь тоже более чем обыкновенная.

Квадратный камень, врытый в землю; на камне — выдолбленная кривая; за ней — цифры часов; от цифры к цифре — медленно ползущая, похожая на треугольный парус, тень.

Проходя мимо меряющего время камня, я всегда останавливался — взглянуть на треугольник тени.

Но однажды рядом с черным клином, ползущим от цифры к цифре, я заметил тонкое теневое лезвие, узкое и длинное: прикасаясь то к одной, то к другой цифре часа, оно появлялось либо

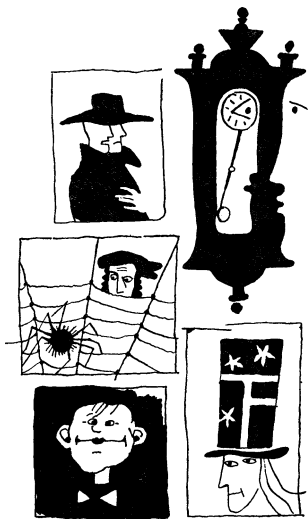
справа, либо слева от неподвижной указки, вздрагивая и меняя контур.

Через минуту я понял, в чем дело: ночью был дождь, вытянувший растущие около часов травы. Одна из них, раскачиваемая еле заметным ветром, сустилась над черной треугольной стрелой, пробуя прочертить на камне свое робкое и никлое, но свое время».

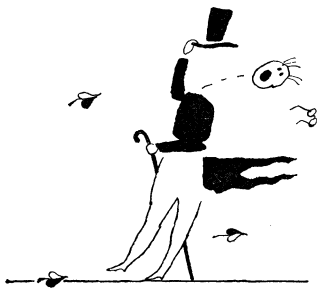
Думал ли он, что пишет автопортрет?

Сигизмунд Кржижановский сумел прочертить на неподатливом камне и в нещедрую на солнце погоду свое время, которое мы, наконец, начинаем различать.

ВАДИМ ПЕРЕЛЬМУТЕР



СОБИРАТЕЛЬ ЩЕЛЕЙ



ЧУДАК

I

Меж ввитых в дымы сосен, по искромсанной снарядами лесной дороге, рота тихо пододвинулась к опушке. Обогнув шесть ахающих жерл, она оторвалась от леса и сомкнулась в цепь, стала медленно ползти по отлогому скосу холма, поднятому над полем. Или, со штыками у глаз, по сожженной боями и зноями расстрескавшейся земле, к четкому верху холма: здесь, на узкой полосе, отделившей опушку от холма — было странно тихо. Полоса была исключена из смерти: сверху ее прикрыло верховым визгом пули и летами снарядов. Но удары их, гудом и хрустом полнившие лес, одевшие в пыль и мглу разрывов поле, ждавшие впереди, за гребневой линией холма, — оставляли полосу нетронутой и как бы забытой боем.

На гребне, по обе стороны желтого разбега дороги возникали, то тут, то там, качающиеся носилки с человеческими тушами меж параллельных, длинных, чуть выгибающихся шестов. Взмыв над линией гребня, прогрохотала пустая патронная двуколка: она бешено неслась на нас, толкая раскрутившимися колесами ошалелую, припадающую на задние копыта, сизую костистую клячу.

Слева — кладбище: с сорванным канонадами дерном. За прорывами ограды — кресты, пригибаясь рядами к земле, чинно кланялись, прося не забывать.

Но мы пока шли мимо: вернее, близящаяся четкая линия гребня шла на нас, медленно пододвигаясь под ноги. Мы знали: переступив ее, откроем себя — пулям

и, главное, глазам наших убийц. До черты: сто шагов, пятьдесят, двадцать, сейчас: глянув влево, я увидел человека: человек этот, одетый в мешковатую полувоенную-полутуристскую одежду, с портфелем, мирно положенным на колени, сидел нога на ногу на камнях низкой кладбищенской ограды и, с видом совершенно посторонним всему происходящему, выставился узкой, крючком выдвинувшейся вперед рыжей бородкой навстречу цепи. Он проводил спокойными глазами клячу, бегущую к опушке, и теперь фиксировал острым наблюдательским глазом нас. Но линия, отделившая затишье от боя, была уже под ногами: шаг,— и все — опушка, подъем холма, кляча, кресты, стена, человек на стене — исчезло. Нас взяло боем.

II

Ночью сменили. Не всех: иные как легли, там в поле, так и лежали: и только затоптанная боями трава оплакивала их скудными росинами.

Шли молча, с винтовками на ремнях. Земля — сперва — скосом вверх; потом — скосом вниз: под синими взлетами ракет возникал и ник, ник и возникал — неясный контур ограды: за ее брешами — кресты: униженно пригибаясь крестовинами, земно кланялись, моля не забывать. Но мы еще раз проходили мимо.

В памяти моей возник давешний образ: сторонний бою, спокойный человек, с портфелем, раскрытым на коленях, любопытствующая крючковитая бородка, обыскивающая бой.

Шпион? Вряд ли. Если не шпион, то кто? И чего ему, не позванному смертью, топтаться тут на кровях?

Шли до команды «стой». После «стой» повалились на землю: всех прикрыло сном.

Рассвет отыскал нас меж стволов реденького потерявшего ветви, загаженного и ископанного леса. Тотчас же, параллельно стволам, потянулись сизые дымки. Ржаво затявкали манерки. Птицы давно с омерзеньем покинули это жалкое, прокопченное гарью, бесильно тычущее в небо обугленные и искалеченные сучья подобие леса. Потянулись тягучие — пустые дни. От поверки до поверки, меж стуков топора, горластых песен и скучливого лета снарядов, ухающих там, где-

то в полуверсте от нас. Чай из лужи, ловля вшей, сон, чаек и снова сон.

И каждый вечер я выходил к опушке. Там, прижавши спину к шершавой коре сосны, я ждал: у горизонта, полужастанные туманом, тянулись ало-синие зоревые полосы. И каждый вечер оттуда выкатывала телега; она выезжала всегда будто из зари; колеса, перекатившись с ало-синих борозд в темные вдавленные в землю колеи, сонно ворочая спицами, близилась к опушке; и всегда на соломенном настиле — навзничь и ничком, лицами в лица — трупы. И в этот вечер, чуть дневные пылины, умаявшись, прилегли отдохнуть и сквозь вечерний очистившийся воздух опять потянулись синеалые колеи, я уже стоял, прижав спину к сосновой коре, и терпеливо ждал. Было как всегда: перекатившись коваными ободами с зоревых борозд в борозды дороги, близилась телега: в ней лицами в лица, ничком и навзничь на желтом настиле — трупы. Борозды гасли, колеи застлало туманом, от телеги, вкатившейся в туман, только и осталось — шорох колес о землю да скрип ссохшегося дерева. Я повернулся — идти назад: в трех шагах за мной, устало опершись ладонью о ствол, стоял человек, встреченный тогда у черты; в руках у него был все тот же портфель. Глянул на меня и будто ужалил вопросительным знаком бородки; я понял: трупы звали не меня одного. Человек, выждав паузу, деловито сказал:

— Начало.

— По-моему, — улыбнулся я, — скорее уж конец.

Человек зажал жало бородки в кулаке и вдруг заговорил неожиданно быстро и скомканно:

— Я говорю о начале страха. Я давно наблюдаю страх и не согласен с приемами Поссо в его «La Paura»: тут нужны не плетизмографы¹, а пушки. И пропустить войну исследователю депрессии, как делают это они, мои коллеги, просто глупо. Но вас, как я вижу, интересует труп. Вполне понимаю. Думают — трупы на кладбищах. Вздор. В каждого, — и в того, кого хоронят, и в того, кто хоронит, — вдет труп; и я не понимаю, как они там у их могильных ям не перепутают —

¹ Аппарат для измерения объема различных частей тела в зависимости от кровенаполнения, зависящего, в свою очередь, от нервно-психического состояния. (*Примечание автора.*)

себя и их. Труп зреет в человеке исподволь: правда, обыкновенно, он спрятан от глаза, вобран в ткань, но... зреет, и трупные проступи от дня к дню яснее и четче. Живое — не может пугать: жизнь, во всех ее модификациях, влечет — не отталкивает. Но стоит, прикоснувшись к человеку рукою ли, глазом ли, ощутить в нем, хотя бы на миг, трупную проступь и... мы мало зорки, но если отточить глаз, развить в себе вот это чувство, то незачем и телег с мертвецами, незачем кладбищ — мертвец и кладбище всюду. Конечно, в каждом из нас колебания, каждый то в мертвь, то в живь. Вот вы, например, — он резко повернулся ко мне, — сейчас вы много живее, но когда вы, вы все, идете в бой, тогда... мне кажется, что тогда и убивать-то вас уже не нужно. И знаете, я думаю: из боя — никто, вы понимаете, никто и никогда не возвращался... живым. Не согласны?

Он повернулся лицом в поле:

— Пошагаем — а?

И мы пошли меж пней и ям. Гул откатившегося боя то и дело вмещивался в разговор.

— Мне часто задают вопрос, словами, взглядом (вот так и вы): зачем я здесь. Я пришел сюда к страху. Люди мне не нужны. Нет: мне в них нужен — их страх. Только.

Он, запрокинув голову, брезгливо покружил бородкой от стлавшейся по горизонталям мглы до серых вертикалей дымов: люди мне не нужны.

Я чувствовал и себя вчерченным в круг и хмуро отвечал:

— Сюда, к черте, приводит и здесь, у черты, удерживает — не страх, а...

Но собеседник уж нетерпеливо перебивал:

— У страха двойная повадка: он — то гонит назад, то — гонит вперед. Если вы погнаны им назад, то вам кричат «трус» и стреляют в спину, если же вы погнаны страхом вперед, нашлапывают полосатую ленту на грудь — «за храбрость». Полосы на ленте: черная — желтая, черная — желтая. И полосы, вернее зоны, страха: черная — желтая: то черная жуть ночи — то полуденный, солнечный желтый ужас.

Ведь против врагов вы посланы врагами: свои страшнее тех (он мотнул бородкой в дотлевающий закат) — и еще не известно, где жутче: под дулами т е х,

или под зрачками этих. У «социального животного» страх двояк: оттуда и отсюда. И надо бы натягивать проволоку и впереди и позади окопа; от тех и от этих: шаг за черту вперед — и полями; шаг за черту назад — и под взглядами. Ведь там, назади, сейчас — отвратительно: если вы молоды и сильны, то есть достойны жизни, — то нет такого полутрупа, шамкающего и шаркающего о землю, который, подняв продавленные в череп глаза, не толкнул бы вас, несущего жизнь, — улыбкой, словом, глазами сюда: в смерть. Глупая самка, надергавшая с полкоробки корпия, кривит крашенные губы: вы не на фронте? Даже дети, наученные ими, поднимают на вас спрашивающие глаза. И вы, желающие жить и не желающие убивать, толкаемые сотнями глаз, гонимые сотнями улыбок, слов и полуслов, бежите от этих на тех, из страха в страх. О, я изучил эту гамму черных клавиш: крик рваной меди, шаг пуль, синь ракет, чернь ям — как это разнообразит игру тысяч и тысяч лиц: оскал зубов, глаза из орбит; топоты ног, гонимых страхом туда и назад. Все поля утопаны им. Вся война пронизана им, только им. И ясно: мне — сейчас — место здесь. Тут в портфеле — обобщения: страх не обвести колючей проволокой. Он всюду: и в войнах, и вне войны. Война — только сгусток. Это страх согнал одиночек в общество. Он же таит человека от человека.

— Но любовь... — попробовал я возразить.

— Любовь, — нервно дернулся собеседник. — Вы могли бы подыскать пример удачнее. Любовь; да она пугается всего: света дня, глаз, себя самой; прячется в ночь, за щели замка. Да и по самой сути своей, ведь любовь это — игра в страх; человека влечет к человеку — жутью: дрожа, люди отдаются тайне именно потому, что боятся ее. И как только перестанут бояться, то и... но зачем нам сворачивать в любовь; из страха все: религия — страх малого перед великим и самая жизнь, зачатая пугливо прячущимися любовниками, — сплошная боязнь бытия. Над глазами рассыпались солнца, под ногой развернуты поля, а мы, затиснув глаза, спрятав мозг за черепные кости, делаем все, чтобы не быть: нам страшнее под ударом солнечных лучей, чем под летом пуль... да, да, — и, повторяю, мне непонятно, зачем еще нас убивать, когда мы и так... Повернем, что ли?

Назад мы шли молча. Навстречу маячили желтые ночные огни. Стихший было орудейный грохот разгрохотался опять. Зарничное колыхание уползающего боя временами освещало нам путь.

Спутник на минуту остановился, вслушиваясь:

— Завтра мне туда.

— Вдогонку за страхом? — улыбнулся я.

— Да.

— Меня, сознаюсь, всегда притягивали черные портфели. Но вы, вероятно, боитесь огласки...

— Боюсь? О нет. Но вам трудно будет разобраться. Вот разве это. С зарей — возвратите.

— Спасибо.

III

В вещевом мешке у меня отыскалась свеча. Отпели молитвы, откричали песни; полотнища палаток задернулись. Я лег у пня, наладил свечу, и желтый блик закачался над косыми строками тетради. Изредка я делал выметки. Вот они:

«Липкий асфальт. Красные ленты поездов. Среди серых солдатских сукон — старушонка в салопе. Тычется шуплым телом о дюжие спины: чего тебе, мать?»

— Ох, Пречистая, как увезли его, как увезли туда, так душа денно-нощно под ледом дрожит.

И я — «туда». Знаю: я, как и старушонка, не нужен здесь среди серых спин, матерщины, спутавшейся с отченашами. Но так надо: эти везут под пули — свои широколапые, трудом наузленные руки и недоумение в глазах; я — стиснутое меж лба и темени мирозерцание. Пора, давно пора мирозерцаниям — под пули. Черепом крыта мысль: стенками стиснут череп. Черепа не снять, сорву хоть стены: мыслью в поле, мозгом в смерть. Так хочет тема. Она под пули, я за ней».

«Уже сегодня мог видеть и наблюдать его: из сотен глаз.

С утра к гулу колес стал примешиваться какой-то новый гул. Близко позиция. Навстречу — поезд с ранеными. Длинная гусеница вагонов; иные, сдвинув болты, молчат: там тяжелые. Из раздвинутых щелей дру-

гих — марля в кровавых пятнах, перепуганно громкие песни, выставившие наружу возбужденно-оружие головы: и во всех глазах — он; из всех зрачков — моя тема».

«Вот уж второй месяц — в зоне страха. Я как-то сразу заблудился в путанице их кротовых ходов, узких кладок, зигзагов окопа, горбящихся из земли землянок, напутанной всюду проволоки и серых, одинаково пригибающихся к земле, с одинаковым блеском стальной трехграни у одинаковых глаз, людей. Низким настилом немолкнущего пулевого лета, невидимым сводом из траекторий людей вогнало в землю, вдавило в окопные ямы, сузило им бойничные щели, утишило слова, умалило и скрючило тела. Даже серым дымкам боязно распрямиться над ржавыми раструбами самодельных печурочных труб.

Какая удивительная культура страха: все от запрятанного в рукав папиросного огонька, от подделавшейся под цвет трав одежды, от ежащегося тела, низкого хода сообщения, вечных сумерек землянки, шепотом на ухо в ухо переползающего пропуска, трехрядной нависи балок, давящих на мозг, — до желтого щупальца прожектора, хватающего тебя из тьмы, до коротких боязливых перебежек, вскидывающих и тотчас прячущих тело в траву, до орудий, опасно сунувших медные зады под настилы хвои и листьев, — все рассчитано и сделано так, чтобы держать человека, запутавшегося в мирке проволок, траскторий и окопных зигзагов, держать и не выпускать ни на миг из состояния жути. И это мудро: у жути свои чары, и кто взят ею, тому не уйти так».

«Мучил сон. Снилось: пробую затопить земляночную печь, а дым ползет на меня. Думаю: почему нет тяги? Труба пряма и коротка — сунуть жердь, наружу выйдет. Сунул: что такое? Ткнулась в землю. Странно: где был воздух, вдруг земля. Как так? Потянул за дверь: черно. День — и черно. Отчего бы? И вдруг понял: землей втянуло. Всех, с окопами, ходами, переходами, ямами землянок. И их и нас. Хотел было наружу. А после: да ведь «наружа»-то и нет. И от

мысли этой проснулся: под телом вшивая солома; сквозь вмазанный в глину куцый осколок стекла — куцый же, мутный рассвет.

Ходил по окопам: сложный, ненужно сложный городок. Полуврылся в землю. Но если, начав рыть, дать волю лопатам, то... И весь день навязчивая мысль: а не искушаем ли мы землю?»

«От наших квадратных срубов, низкостенных маза-нок, от древней избы — истопа — до окопной землянки недалече. И окопная яма мужику странно знакома. «Было». И страх, то высматривающий сквозь стеклянный вставыш ямы «кого бы», то приваливающийся зябким телом к плечу мужика, крестясь лежащего в секрет, — мужику знакомый и родной, свой страх. Ведь и там, в оставленных позади избах-срубах из черных углов, дрожмя дрожат лампадки. За лампадками темные ризы. В прорезях риз черные и странные лики; в ликах обвод вперенных глаз. Зевы трехглазых чудищ, перевивы змей и пламена Последнего Суда. Зубовные скрежеты. И меч Архангела, занесенный над нищей, и так ниже трав склоненной, в землю влипшей, жизнью. Народу, не боящемуся своих крестами замахнувшихся церковок, смеющему жить у своих нетушимых лампад, не сводящих блика с его жизни, трудно ли пройти через войны?»

«Вот и наснежило. Сыграли трупий сезон. Отдохнем. Страх стал дремным и вялым: обвис ледяными сосульками с проводов и треугольных игл. Застлало страх из снежин тканым саваном, повалило страх ветренным веером. Но нет-нет застучит зубами иззябший пулемет и опять сведет железные челюсти. Дымки — и те осмелели. Распрямились в вертикали, задрались кверху, и хоть бы что. На голых вербах — разочарованные вороны. Сидят, насугулив крылья: давно ли, куда клювом ни ткни, отовсюду трупью нежило. А теперь...

Редко, редко ударит медью о землю. Но и землю стянуло льдом: не дается. И осколки долго плачутся, пока не шваркнут в снег.

Идем, вдвоем с поручиком М., по ломкому насту: вот и воронки затянуло снегом. Будто и войны нет.

А вдруг, здесь под снегом спящие озими? Как бывало.

Подымаемся, ломая ногами наст, на гребень холма: поле — по — ле — поле. Человек, идущий рядом, молчит: глаза книзу. Хочу поделиться ширью с человеком, показать и ему простор. И вдруг говорю:

— Посмотрите, какой обстрел.

Тошно мне».

«Соседний участок потравило газами. Опоздал: приехал к трупам. Синие, с выкатом глаз, с растянутыми челюстями и вздутыми шеями. Их мне не нужно. А вот рядом с одним из синих — брошенная второпях маска: обыкновенный противогаз системы Зелинского: эта выразительна. В серую кожу влипло два круглых широко растянутых плоских глаза; узкий мягкий хобот; с хобота свис безобразный, травянистого цвета короб.

Никогда не пробовал представить себе — лицо Страха. Это помогло. Попросил себе экземпляр».

«Сегодня у меня радость. Вот уж четвертый день скучаю в запрятанной в овраг деревеньке. Встал с рассветом, взялся за листки, — и вдруг — уах, ударило. Только стекла в брызг. Пошел взглянуть: внутри глубокой воронки еще ползает синеватый дымок, а вестовой Дёмка — доску поперек ямы и уже штаны спускает.

Кругом гогочут:

— Погоди, дурак, прокоптишься.

— Что? В холуях служа, к теплым ватерам привык? Х-хы.

А Дёмка только:

— Пшли.

И никаких. Рожа веселая, озорная.

И вдруг так празднично-празднично стало: а что если обесстрашится жизнь? Ужели возможно? Отцедить бы проклятую муть и выплеснуть вон».

«Нет. Все потравило страхом. Насквозь. Все. Теперь я понял: красоте всегда быть лишь в проступях, всегда ютиться — так — редкими музейными номерками, кой-

где и кое-как, и жизни ей не спасти. Все мы больны материобоязнью. Наши замыслы трюсят материи: пригните их к буквам, к холсту, к камню и тотчас — дерг, назад, в душу. Повиснет слово на острие пера, а на бумагу — нет; ступит брезгливо на строку, теперь бы в свинец: нет — боязно. Произведение искусства это редкое-редкое «небось». Но у «небось» не авосевая ли техника? Этого хватает, чтобы покрыть площадь холста с аршинным поперечником, но чтобы покрыть красотой всю землю... нет, не нам».

«Скучно. Опять под выгибы траекторий. Опять кружить колесным спицам. И опять — кругом — мясо в крови. Где-то я читал, еще в отрочестве: есть черноперая птица Мовоцидиат. У птицы большие крылья, а ног нет. И как бросило ее в воздух, все летит и летит, а снизиться не может. Опадают крылья. Усталью застлало глаза, но птице — Мовоцидиату — лёт без роздыха. Пока до смерти не долетит».

«Этой мысли вряд ли прогвоздиться сквозь череп. Уже больно от нее, а слов все еще нет. Все-таки попробую. Вот: все эти Пирроновы Тропы, вопросы Энезилама, Монтеньево «*que sais-je?*»¹ не туда корнями повернуты. Решетом солнца не поймать, человечьим мышлением истины не постигнуть, но не потому, что мозг хил, а потому что сердцу истина не в подъем. Истина больнее боли. На нее надо решиться. И вещи защищают свою суть, запрятав ее в жути, тая в ужасах.

Меж человеком и истиной — страх. Страх на страже. В древнем Фрагменте, приписываемом Пармениду, сыну Пиретову: «сердце совершенной истины — бесштрепетно» (Philostr. Philos. Opera Fragm. 6). С нашим же трепыхающимся сердчишком предпринимать познание нельзя. Сначала обесстрашить себя, и лишь тогда мыслить. Не ранее. Вот уж годы и годы учу мое сердце обрастать сталью: ведь если я бросил себя в это глупое, кротовыми норами изрытое, вшивое, в стальные колочки замотанное черное, звериное царство, то лишь тебя ради, свободная от сердца».

¹ «что я знаю?» (франц.).

IV

На рассвете я возвратил рукопись.

Толкаясь колесами о пни, в лес вкатила двуколка. Человек с зажатым под локтем портфелем ступил, качнув квадратный кузов двуколки, на подножку. Сел — сгорбился: бородкой в колени. И двуколка, переваливаясь с колеса на колесо, заковыляла в грохоты.

У опушки топталось несколько солдат:

— Ишь, чудака опять колесами унесло.

— И чего ему, вольному, промеж смертей путаться?

— Чудак... Чудак и есть.

А к ночи и мы, не-чудаки, покинув лес, шли снова на синие дуги ракет к ямам окоп. Окоп встретил молча. Редко-редко пуля: и та верхом. Орудий — будто и нет. Молчь. И только миговые жизни ракет: зацветут на тонких гнутых стеблях, — глядь, уж и осыпались блеклым синим бликом: будто и не жили. Изредка ветер качнет воздухом, тотчас — в ноздрях сладковатая вонь: трупы. И рассвет, оторвавший по алому шву от земли, показав искромсанную и спутанную, кой-как перемотанную по раздерганным кольям проволоку, подтвердил: да, трупы. И будут еще.

Но тем временем, бой, грохотавший справа, с каждым часом отползал дальше и дальше. В тот же день, забывшись сном, я увидел: усталый бой медленно волочил по полям свое в дымы и гулы вдетое тело. Вдогонку за боем, переваливаясь с колеса на колесо, по межам и ямам затоптанных полей, — колеса двуколки. В двуколке человек; под острым локтем портфель; он наклонился, бородкой вперед, и торопит возницу; колеса кружат и кружат, все быстрее и быстрее, — но бой, как испуганный зверь, волоча дымы и жерла, трусливо выдергивается из-под колес двуколки, уползая кровящим травы телом прочь от отстегнувшегося вдогонку ему черного рта портфеля.

А у нас длилась тишь. Но странная: желтые дорожки впереди окопа так и зарастали травами — и никто не смел ступить на них; алые маки тут же, у бойниц,

осыпались несорванными,— и никто не смел потянуться за ними.

Ночами я любил, сев на низкой стрелковой ступени окопа, спиной в землю, часами удивляться: как зашвырнуло меня сюда, в этот крохотный мирок крохотных ненавистей. И было чрезвычайно странно—почему меня бросило именно сюда, на эту орбиту, почему кружит вокруг этого солнца, а не вокруг того, или вон того...—и, подняв лицо кверху, я отыскивал себе, разборчиво роясь глазами в россыпях миров, новое солнце и новую свою орбиту. Но созерцания длились недолго. Исподволь, в сонную молчье окопного бдения стала прокрадываться, прячась от глаз и уха, какая-то странная зябкая жуть. Все было как прежде: редкий и длинный свист пули. Ракетная вспышка. Тьма. Снова протяжная тонкая пулевая нота. Все как и прежде, точь-в-точь; и уже не то. Люди, встретившись в окопном проходе, искали чего-то глазами в глазах.

— Как думаете: долго еще так?

— Что так?

Беспричинно, на линии полевых караулов вспыхивал беспорядочный огонь.

Обрывался:

— Что там у вас?

— Ничего. Показалось.

То и дело шуршал телефон:

— На участке спокойно?

— Спокойно. А что?

— Нет, так. Почудилось.

Травы за окопом шевелились и шуршали; ключья тумана густелись в притаившихся людей. Зяби и жуть—нитились обвисшими проводами, переползали из зрачков в зрачки.

Однажды ночью, сквозь дрему, меня ударило грохотом и воплем: я вскочил, стукнувшись теменем о навесь землянки. Тихо. Облипший потом, с расстучавшимся сердцем, я толкнул дверь в окоп. И там—тихо. Осторожно поднялся на бруствер: ни звезды, ни ракеты, ни ветра, ни выстрела. И тогда я подумал: тому, с портфелем, незачем было уезжать от нас: за страхом.

На рассвете прорвало: как-то вдруг оттуда спереди — закричали жерла; и через четверть часа мы были под непрерывным снарядным ливнем. Гудящая земля швырками летела вверх; бревенчатые потолки землянок то здесь, то там слипались с полом; шуршащие леты осколков; гуды снарядных роев. Вначале растерянно таявал телефон: но снаряд рванул за провода, — и мы остались одни в полузаваленных ямах, среди горящих балок с пульсирующим в ухе грохотом, полуслепые от пыли, забившей воздуху все его поры. Помню, я пробовал пройти в соседний взвод. Сквозь оторванную дверь землянки я увидел сбившуюся в комья, налипшую на стену страдающую человечину. Лиц не было: были выставившиеся из налипши плечи и спины, застывшие острыми выступами локти, ряды прижатых к ногам ног: будто развороченная, смятая, брошенная под прилавок штука серого сукна. Я пробовал заговорить: никто и не пошевелился, и голос мой, схваченный грохотами, умолк. Получас. Час. Два. Мы начинали привыкать: то там, то здесь по путаным ходам, короткими толчками, от взрыва до взрыва, продергивались, по стенке, люди. Внутри орудийного рева возникала нота усталости, потом перебой. Потом — секундные паузы. И гул стал опадать. Только уши, разгудевшись, не умолкали. Мы знали: там, в наklubленной снарядами пыли, — близятся они.

— Выходи. К бойницам. Живо.

Я поднялся на подгибающихся коленях, лицом в дверь.

Чья-то тень легла поперек прохода, странно маяча в пыльном облаке.

— Кто?

Как-то вдруг, точно склубившись в пыли, возник человек, тот, с портфелем: бородка, выставившись вперед, любопытствующе ерзала вправо-влево, будто обыскивая стены, облепленные глухо заворочавшейся под серым сукном человечинной. Меня ударило кровью в зрачки.

— Прочь, — крикнул я и поднял приклад: — прочь отсюда.

Бородка, дернувшись вправо-влево, втянулась в лицо; лицо в пыль: проход был свободен.

Отбили. Опять срасталась рваная паутина проволоки. Опять зачавкали о землю лопаты.

— А чудака-то наш отчудил. Видали?

— Какой чудака?

— Да вон там...

Шагах в сорока от землянки среди алых пятен мака — черный портфель с расшвырявшимися листками бумаги. Рядом с портфелем — человек, лицом в траву, локти остряты кверху, будто подняться хочет, а не поднимается.

Подошел — тронул: труп. Да, он.

Ну что ж, и ему на телегу: к «теме».

ФАНТОМ

Паре глаз, случайно забредшей дальше заглавия, на эти вот строки,— тут нечего делать. Пусть глаза — чьи б они ни были — поворачивают обратно. В последующем тексте нельзя будет сыскать фантомов, порожденных бредом и сном, равным образом, рассказ пройдет мимо фантомов аллегорических и символических: объект его — архипрозаичный, из дерева, резины и кожи, так называемый медицинский фантом. Точнее: одна из существеннейших его принадлежностей. Ну вот, и не надо дальше, отдергивайтесь с строк — оставьте меня наедине с моим рассказом.

Впрочем, я буду лишь пересказчиком: мне принадлежат только слова, а факты ему — Двудюд-Склифскому. Проверить его бытие, невыдуманность поставщика фактов, чрезвычайно просто: стоит лишь фантазии — дойти до этого вон слипшегося из кирпичей и труб дома. Тут фантазии надо стать на цыпочки и дотянуться глазами до одного из окон седьмого этажа, под самую крышу громады. Навстречу ее глазам и рассвету под невыключенным жухло-желтым электрическим пятном — квадрат стола, поверх него — квадрат раскрытой книги, поверх книги — щекой и ухом в буквы со стянутыми веками и сонно расплзшимся ртом голова Двудюд-Склифского. Рассвет крепчает — и сейчас уже можно рассмотреть те из слов поверх плоской бумажной подушки, которые не попали под притиск головы:

«...и после того, как родовой канал фантома будет загнут наподобие рыболовного крюка, фантому изготовляются бедра и мягкие части, которые, подобно

мягкой мебели, набиваются волосом и мочалом и обтягиваются холстом. После этого прибор обшивается вымоченной и размягченной кожей и в него, имитируя *labia majora*, вделяется щелеобразно разрезанная резиновая пластина толщиной в четыре-пять миллиметров (резина берется серая, сплошная, какая идет обычно на подклейку подошв). Теперь, когда главную составную часть аппарата, его, так сказать, душу, можно считать готовой, необходимо сладить...» — но «сладить» уперлось в макушку спящего и дальнейший текст ныряет под всклокоченные волосы спящего, огибая какими-то «принадл... хотя и не... способ проф. Шульце... просп...» выпуклую линию лба и горбину носа с ритмически вздувающейся и опадающей поздрей.

Что это? За стеной зашлепали туфли, загудел — металлическим шмелем — примус, а колун, втискиваясь в полено, начал с ним глухую и гулкую возню на кухонном полу. Двудюд-Склифский вздрагивает, сдерживает голову со стоек и протирает глаза. Дочитаю: нет, — Двудюд захлопнул книгу и позевывая подходит к умывальнику. Затем шесть металлических орлов вклеивается в шесть петель серой студенческой куртки. За стеной слева часы, с ржавым прихрипом, кашляют девять раз кряду. Мой поставщик фактов прячет приглаженные вихры под синий околыш фуражки и толкает дверь. Теперь фантазии надо опуститься на пятки и глядеть в оба: действие предоставляется Двудюд-Склифскому.

I

Дверь в аудиторию глухой доской отделяла зачеркнутые номера от незачеркнутых. Дюжина незачеркнутых бродила около надверного списка, влистая в книги, налипая спицами и локтями на стены и выступы подоконников. От времени до времени истертая ручка шевелилась и дверные створки, разомкнувшись, выпускали отэкзаменовавшегося. «Следующий».

Склифский переступил порог. Сверху — белые разлеты свода. Ниже глаз — обвислое, в чернильных пятнах, зеленое сукно. Слева — мучительно шевелящиеся лопатки студента, наклонившего пунцовые уши навстречу вопросам экзаменатора. Стул под студентом,

встав на передние ножки, изгибью задних лягал воздух. Из-за его спины нет-нет взметывались манжеты приват-доцента и в гулкое гуденье из-под ворошащихся лопаток вцеживался острый говорок. Стул у правого выступа стола был свободен. Красное вздутое лицо под седыми иглами моргнуло Двудюду из-под очков: тяните. Он подошел и перевернул картонный квадрат: 39.

— Что там у вас? М-мм... «фантом; его принадлежности; основные упражнения». Так. Никита.

Расторопный служитель метнулся к препарату, и на Двудюд-Склифского, повизгивая колесиками, покатился, пая деревянные обрубки ног и раскачиваясь холщовыми бедрами над ввинченными в табурет винтами, фантом.

— Что вам известно об акушерской кукле или заменяющем ее...

Учебник заворошился в Двудюде и стал швыряться строчками:

— Кукла, изготавливаемая обычно из резины и бумажных прослоек, современной практикой оставлена. При изучении наложения щипцов—в случаях головного положения, особенно при прямом диаметре—пользуются обыкновенным кожаным мячом с впрессованной в него паклей,—в случаях же более сложных тракций прибегают к трупiku мертворожденного, соответственным образом инъецированному и подготовленному.

— Вот-вот. Никита.

И Никита, забежав с другого конца стола, пододвигал стеклянную ванну, за толстыми гранями которой, втиснув лилово-белые ладони и пятки во вспучившееся проглицериненное тельце, растревоженная толчками, по темя в спирту, сонно раскачивалась «принадлежность» фантома.

Пальцы профессора зашуршали в седых иглах:

— Ну вот. Прооперируем. Положение четвертое. Лицевое предлежание. Диаметр головы чуть скошен. Приготовьтесь—и спокойненько.

Никита, ободряюще склябясь на студента, свесил свои длинные руки над стеклянной купелью и подшепнул:

— Фифка.

Двудюд понял: и у этого сотню раз отрождавшегося трупика, покорно—из щипцов в щипцы—

моделирующего роды, было свое невесть кем придуманное имя. Не сводя глаз с младенца, Двудюд-Склифский надел резиновые перчатки и проверил защелк щипцов. Тем временем голова Фифки оказалась из-за стеклянного края: круглый лоб его был в охвате из вдавления — десятки щипцов, уже протаскивавших его сквозь фантом, казалось, — прежде жизни — одели голову нерожденного в страдальческий венец из багрово-сизых язв; веки его — меж синих кругов — были плотно сжаты; из ротовой щели капала слюнь и спирт.

Скользким движением Никита вставил препарат в раскрытую тазовую полость фантома: тот шевельнул ногами и напряжился, скрипя стойкой. Двудюд, нагнувшись к прибору, ввел — осторожной прощупью — навстречу темсни Фифки — сначала указательный и безымянный левой руки, держа большой палец на оттяжке: тотчас же прощупался стреловидный шов и верхний край уха. Правая рука подвела сначала одну, затем другую ложку щипцов, тотчас же крепко втиснувшись в виски фантому. Защелкнулся замок — и в эту-то секунду — Двудюд явственно услышал — там, внутри, за резиновой щелью, что-то тонко и жалобно вспискнуло. Не улавливая причины, студент выпустил щипцы и поднял глаза к профессору. Но профессор смотрел куда-то мимо и вдруг, гневно помотав бородкой, сорвался с места навстречу голосам за дверью; тотчас же голова его провалилась в дверную щель, выкрикивая что-то о шуме, о безобразии, о «черт знает что», о науке и мальчишках. Никита, вытянув шею к порогу, сопереживал. Но Двудюду вся эта внезапная сумятица была уже еле внятна и как сквозь муть, вернувшись глазами к фантому, он теперь видел: защелкнувшиеся щипцы, растягивая резину, плавно вращаясь по спирали, с тихим чавком ползли наружу из фантома; за ними — толчок к толчку — голова, а там плечо, топырящийся локоть, перетяжки ножек. Тельце свисло, качнулось и, боднув щипцами половицу, мягким шлепом оземь. Студент стоял в полной растерянности, не понимая и не пробуя понять.

Громко ударила дверь, и профессор, отшумев и отнегодовав, победоносно прошествовал к столу:

— Что там у вас? Ага. Готово? Тэк. Удовлетворительно будет, или не весьма? Убрать это.

Опережая Никиту, Двудюд-Склифский, с неожиданным для самого себя проворством, расщепил щипцы и, схватив тельце поперек, опустил его меж стеклянных стен: что-то больно ухватило его за палец,— он вырвал руку— на поверхности спирта булькнули пузырьки: никто ничего не заметил. Препарат вдвинули назад, в затененный угол аулы. Фантом, распялив ноги, ждал следующего. Склифский, стиснув прыгающие челюсти, выскользнул в дверь. Его обступили— что спрашивает, трудно ли, легко ли: не отвечая,— мимо.

II

И сразу же дни завертело, как крылья мельницы. Экзамен был последним. В двое суток предстояло уложиться, наладить дела, оторваться от города, уехать. А тут ввертелась сумятица проводов, товарищеских пьянок и всяческой традиционной бестолочи. Двудюд-Склифскому десятками ладоней жало ладонь, проспиртованными губами тыкалось в губы, он подпевал «Гаудеамусу», качал, его качали, качало на рессорах— с ухаба на ухаб, из кабака в кабак. К концу второй ночи сумятица завезла к каким-то крашеным бабам. И тут— нежданно для себя— сквозь путаницу дергающихся в пальцах тесемок, хихиканье и шорох слов— вдруг предстал ему раскоряченный, осклизло холодный и мертвый фантом. Склифский, мгновенно протрезвев, оборвал скоропостижный роман, шагал петлями переулков и думал: «Тянул я его, или он сам,— щипцами или...»

Так неясный случай впервые всплыл, выставился головой поверх и тотчас же назад, к дну, в мать и сон.

Склифский проснулся лишь перед вечером. Все как будто в порядке. Через три часа к поезду. Виски сжало, точно щипцами. Во рту— слизь и спирт. Склифский решил прогулять свою головную боль: с седьмого вниз; улица; желтый пунктир фонарей; ни о чем не думая— лишь бы голову из зажима,— он тупо двигался, втягиваясь в провалы улиц, от тумб к тумбам, мимо мелькания черных и желтых окон. Вдруг навстречу поплыли белые граненые камни университетской стены. Снизу, из каменной лузы, оттуда, где стена вращалась в землю, вдруг вспыхнул свет. «Тут где-нибудь и Никита»,— скользнуло по мозгу, и щипцы,

вдруг разжавшись, выпустили голову: боли не было. Двудюл-Склифский взглянул на часы: все равно, ведь он уже не здесь и еще здесь,—и притом, надо же скостить лишний час.

Он прошел в ворота, ища глазами, у кого бы осведомиться, и тут же, чуть ли не на первом крылечке, выстунавшем на квадрат двора, различил сквозь завязь сумерек длиннорукую, с плечами, свисшими над землей, размышляющую фигуру Никиты. Склифский окликнул его.

— Уезжаю, брат. Сегодня.

— Что ж, счастливого пути.

Я тут забыл одну вещь.

Чего?

Никита зевнул и отвернулся.

— Ты тут в подвале?

— Угу.

— И как — один или дети у тебя?

— Не.

— А как ты тогда по имени того, фантома, помнишь: Филька или Федька...

— Фифка,— поправил Никита,— а если вы забыли что, можно и поискать: у нас не пропадет.

Никита нырнул к себе в подвал и тотчас же вышел, звеня вязкой ключей. Отщелкнулась дверь — за дверью дверь — из коридора в коридор, гулко шагая, двое дошли до низкой белой дверцы в эмбриологический кабинет. Никита нащупал нужный ключ:

— Д-да, Фифка, а вы вдруг Федька. Скажете. Э, да тут открыто: что бы это?

Дверь, действительно, откачнулась от легкого толчка. Навстречу — из сумерек — в два ряда — стеклянные кубы, бутылки, толстостенные ванны, реторты и ванночки.

— Слева. 14-б. Тут вот за стеклышком он и есть: малюга-то.

И вдруг ключи лязгнули о пол.

— Что за притча.

За прозрачными гранями ванны лишь сниженная поверхность спирта: ни на ней, ни под ней — ничего. Включили свет: на полу — от стеклянного куба к порогу короткошагий мокрый след босых дробных детских ступней. Пока двое, наклонясь к половицам, рассматривали отпечаток пяток, их спиртовые контуры, испаря-

ясь, быстро тускнели — и через минуту — будто и не было.

— Значит — только что...

— Что только что?

— Ишь ты. Где-нибудь тут. Хоронится. Поискать бы. Фиф, а Фиф...

Оба, тихо ступая, подошли к двери: вправо и влево под пещерными свесами сводов тянулись бесконечные пустые коридоры, гулко подхватывающие шаг. Никита двинулся было в сумрак, но, не слыша за собой шагов, оглянулся:

— Ну а вы?

— Мне на поезд. Опоздаю.

— Ну-ну. Ну и ну.

Оба молча повернули к выходу. Через час с четвертью Двудюд-Склифский сидел за стеклом вагонного окна. Поезд дернуло: казус с фантомом, резко оторвавшись, остался где-то назади. Но все же о с т а л с я.

III

Уезжая в деревню, в земство, молодой врач Двудюд-Склифский предполагал поделить время меж людьми и книгами, амбулаторией и библиотекой. Он вез с собой несколько пачек неразрезанных книг. Но в предположения его вторглась война — и вместо разрезания страниц пришлось заняться разрезанием тел. Летучки, эвакупункты, околотки, госпиталя. Лица под хлороформными масками. Массами. С носилок на стол — со стола на носилки. «Следующий». Плянц и звяк пинцетов и скальпелей: в спирт — в кровь — в спирт — в кровь. Пока, как-то в поле: блеснуло и грохнуло — сознание вон. Контузия, тяжелая форма. Отлежался. И снова лязг и шорох скальпеля: то в спирт, то в кровь. Но кожа на тыльной части головы и вдоль позвонков будто чужая. Нет-нет и мутные пятна в глазах, и земля точно скользким волчком из-под ног. В конце концов, постранствовав по инвалидным рядам, доктор Склифский выключился из войны и смог вернуться к своим успешным пожелтеть книгам, настенной деревенской аптечке в полупустелую, угрюмую, выкорчеванную войной бабью деревню. Вывихнувшаяся жизнь пробовала вправиться в вертлуга: Склифский читал свои книги, делал выметки, писал

рецепты и письма на фронт, лечил третичные сифилисы и ходил на панихиды по «убиенным»; по вечерам слушал сверчка ипил разбавленный спирт. Но сам Склифский, очевидно, не долечился: временами ощущалось, будто контузия расплзается по телу, и уж не затылок, а вся голова в тесной и чужой, мертвой какой-то коже.

Затем... ну, всем известно, что было затем. Каждый запомнил то, что умел и хотел запомнить. Двудюд-Склифский: тифы — пожары — бездорожье — бескнижье — голод. Бутыль для спирта долго пустовала, но когда снова наполнилась, Склифский стал пить не разводя.

IV

Неясный казус, отждав годы, выбрал для возврата сумеречное осеннее предгрозье. Приплыли тучи и стали на якоря. Заря попробовала сквозь их дымный осмол, по лучи ей затиснуло меж тяжких тучьих кузовов.

Двудюд-Склифскому нездоровилось: иглистая многоножка, заворотившись под кожей, проерзнула раз и другой по позвонкам. Попробовал было из угла в угол — не шагается. Постоял у книжной полочки, вщуриваясь сквозь сумерки в привычные корешки: томик Дюамеля, Файгингерова «Philosophie des Als-Ob», гизовский перевод Фейербаха, «Metapsichologie» Рише. Отвернулся. К другому столу: забулькало из бутылки. Еще и еще. Потом к столу. Сел. Подошвами в стенку. Многоножка под кожей втянула иглы и не шевелилась. Об оконце (прямо против глаз) сначала брызнуло песчинками, потом ударило первыми каплями. Ветер рванул за дверной болт, дверь подалась, и отрывной календарь на стене задвигал ненаставшими датами. Двудюд-Склифский, не отдергивая подошв от стены, оглянулся на дверь: в длинную вертикальную щель меж дверным краем и стеной, вслед за ветром, протискивалось плохо различимое от сумерек человекоподобное что-то.

Склифский — как от толчка — встал и шагнул к порогу:

— Кто?

Существо, не отвечая, продолжало медленно, но настойчиво протискиваться в тугую щель приоткрытой двери.

— Обезмускуленное,— с недоуменным спокойствием подумал Склифский и, ускорив шаг, уперся ладонью в доску двери.

Апперципирующий аппарат его вбирал в себя феномен с полной ясностью и дифференцированностью. Даже струи ветра, тянувшие — сквозь щели — тихое ф-ф-ф, не выпадали из восприятия.

— Кто? — повторил он чуть тише и хладнокровно (как если бы это был лабораторный опыт) стал надавливать ладонью на дверь: между косяком и ладонью было что-то тестообразно-вязкое, дрябло расплзающееся и плющащееся под нажимом планки. И тогда-то из щели — точно выдавленное ладонью:

— Фифка.

Внезапно, с слепящей ясною: распял щели — шов под пальцем — голова — вниз и об пол: надо было тянуть, а он... Склифский потянул за дверь — и впустил.

— Я... всего лишь... о щипцах... — голос вошедшего от слога к слогу становился все более внятным, — зачем вы — вы все насильно меня... и если уж... то не до конца?

Голос оборвался. Не отвечая, Склифский чиркнул спичкой и занес желтый огненный лоскут над головой, вщуриваясь в феномен: оконтурилось низкорослое что-то на рахитическом влужьи ног; над ссохлыми, вплющенными внутрь тела плечами огромная тыквовидной формы голова; по вспучине лба — от виска к виску — следы щипцовых втисков, — знакомый, сплошной опоясью охвативший тмя, венчик из вдавлин; разжатый рот... по спичкой ожгло пальцы, и Склифский — сквозь упавшую меж ним и тем тьму — услышал:

— Да, это помогает: от волков и привидений. Но меня чирком и спичками не прогнать: ведь даже солнце бессильно рассеять вас, называющих себя людьми.

Склифский ждал всего, кроме аргументов:

— Н-нет. Я не за тем. И незачем поручать спичке то, что должна сделать логика. Слышшему отчего б не переброситься на зрительные перцепты. Ты — факт, но, так сказать, бесфактный факт. Короче: галлюцинация. И я, я не был бы врачом, если б...

— И ты мог подумать, — качнулся задернутый ночью контур, — что я стану втискиваться в ваше бытие, как вот в эту дверь. Наоборот, я такого рода

галлюцинация, которой нужно не реализоваться, не вкорениться в чьи-либо воспринимающие центры, а дегаллюцинироваться, выключиться начисто, сорваться с щипцов: назад — в нуль, под герметическую крышку, в стекло банки, из которой — вы же, вы, люди, — хитростью и силой выволокли меня в мир. Кто позволил? Я спрашиваю, кто?

Склифский отшагнул к столу, но контуры фантома не приблизились, продолжая маячить под черной прилокой.

— Галлюцинация, — вновь в настороженный слух, — а слова — твои и мои — не галлюцинация? Или ты станешь утверждать, что наш разговор наполовину есть, наполовину не есть; но как же мои слова, не существуя, рефлектируют твои ответы, которые, конечно, существуют: или и их нет? Даже при минимуме логики, признав хотя бы одну наималейшую вещь, одно наименее явное явление среди неисчислимости других, за галлюцинацию, должно распространить этот термин и на все остальное. Представь себе человека, которому в сновидении мнится, что он заснул и видит сон. Этот свой сон во сне спящий не принимает за действительность, он расценивает его правильно как мнимость, видение. Но утверждать, что сон, внутри которого — сон, реальнее последнего, то же самое, что говорить, будто круг, описанный вокруг многоугольника, геометричнее вписанного.

— Постой-постой, не скороговорь, дай додумать, — вспылал Склифский, — ты говоришь, что...

— Что ты — и всякое вообще ты — вы создали себе мир и сами непробудно мнимы: я пробовал исчислить коэффициент вашей реальности: приблизительно что-то около $0,000/X/...$

— Гм... это похоже на начало какой-то странной философии...

— Может быть. Это всего лишь предпосылки к фантомизму.

— Ну и в чем же...

— Фантомизм прост: как щипцовый защелк. Люди — куклы, на нитях, вообразившие себя невропастами. Книгам известно, что воли несвободны, но авторам книг это уже неизвестно: и всякий раз, когда надо не внутрь переплета, а в жизнь, человек фатальным образом забывает о своей детерминированности.

Глулейший зашелк сознания. Фикция, на которой держится все: все поступки, самая возможность человеческих действий, слагающаяся в так называемую «действительность». И так как на фикции держатся ничего не может, то ничего и нет: ни Бога, ни червя, ни я, ни ты, ни мы. Поскольку все определяемо другим, то и существует лишь другое, а не самое. Но марионетке упрямо мнится, что она не из картона и ниток, а из мяса и нервов и что оба конца нити в ее руках. Она тщится измышлять философемы и революции, не философии ее о мертвых несуществующих мирах, а революции все и всегда... срываются с щипцов. И вот тут-то и разъятый шов меж мной, фантомом in exrli и вашими по-дилетантски фантомствующими сознаниями. И меня, и вас втянуло в псевдобытие причинами, но в то время, как вы, фантомомиды, доподданствовавшиеся в мире причин до небытия, мните отцарствоваться в смехотворном «царстве целей», как называл его Кант, я, насильно живой, знаю лишь волю щипцов, втянувших меня в явления,— и только — и поэтому включиться в игру целеполаганий — как вы, — ощутить себя хотящим и действующим мне невозможно — никак и никогда; мною действуют причины — их ощущаю и осознаю, но сам я не хочу ни единого из своих действий и слов, и хотеть мне кажется столь же нелепым и невозможным, как ходить по воде или поднимать себя за темя.

— Значит, и сюда тебя привела не цель?

— Нет.

— Ну а причины...

— Тебе лучше бы не торопиться с расспросами.

Сюда — из зажима щипцов — в разжим двери...

На минуту оба замолчали. За спиной Склифского, в квадрате окна, располыхивалась взметами зарниц воробьиная ночь. Повернув лицо назад — к впрыгивающим в избу взблескам, он сказал — мимо гостя — не то им, не то себе:

— Странно: этакая сумерковая наволь, даже не фантом, — какая-то там «принадлежность» — всклизнулась... нельзя ли всю цепь — причину к причине — звено вслед звену. Там, у порога, табурет, — закончил он, обернувшись через плечо к приникшему к стене фантому.

Контур у двери, качнувшись, укоротился.

— Что ж. Даже многотомное жизнеописание, если из него убрать все цели, оставив ему лишь причины,— укоротится до десятка страниц. Попав в жизнь, как мышшь в мышеловку, в дальнейшем я терпеливо ждал и жду, пока меня из нее вынут и... по начнем в порядке звеньев. Выйдя из стеклянной купели, я направился к порогу, сам не зная, куда он ведет. Меня встретило сумерками и путаницей пустых коридоров, гнавших меня в какой-то темный и душный чулан, забитый всяким тряпьем и хламом. Завернув себя в попавшиеся под руку лоскутья (бродя по коридорам, я иззяб), я стал вслушиваться в запрятанное меж толстых стен пространство: сначала ничего — потом, где-то вдалеке, два голоса и звон ключей. Я пошел на звук, но не успел его догнать. Однако двери оказались открытыми,— они вывели меня сначала во двор, затем сквозь черную дыру ворот — наружу, навстречу огням и грохотам городской ночи.

Вначале я боялся: узнают, увидят: «фантом», схватят и назад — за стекло. Я прятал лицо под тени, жался к стенам, стараясь поплотнее закутаться в свое тряпье. Но вскоре я убедился, что предосторожности эти излишни: люди замечают лишь тех, кто им нужен, и лишь настолько, насколько он им нужен. А так как я... ну, одним словом, мне нечего было особенно тревожиться. Мимо шагали сотни и тысячи пар ботинок:вшнурованное в них мало интересовало меня и мало интересовалось мною. Иногда, когда я проходил по утренним бульварам, человечьи детеныши подымали на меня спрашивающие глаза. Я был еще в рост им и два или три раза пробовал ввязаться в их игры. «Не умри я тогда, до фантомирования,— думалось мне,— был бы, как вот эти». Но эти со страхом и плачем отворачивались от того; их няньки и бонны махали на меня деревянными лопаточками и зонтиками: иди. И я шел, с трудом разгибая инъецированные ноги,— дальше и дальше — мимо множеств м и м о.

Там, в фантомной, меня недостаточно просушили,— и здесь, меж разогретых солнцем городских камней, это постепенно давало себя чувствовать. К каждому полудню меня облепляло мухами, втягивавшимися хоботками в мертвь. Стоило мне присесть, и тотчас же из всех подворотен сбегались псы: они пробовали ноздрями воздух, щетинили шерсть и, взяв

меня в круг злобно растарашенных глаз, выли. Я швырял в них камнями и, прорвав круг, уходил дальше. Вскоре проклятое зверье загнало меня к городским окраинам: я ютился по пустырям и кладбищам, лишь к вечеру появляясь у скрещений улиц. От дождей и сырости мое тело разлипало и мякло; трупный яд, вкапливаясь в сулему и спирт, гноил и мучил меня. Так дальше было нельзя. Я решил привлечь на себя глаза мимо идущих, открыться, просить, чтобы назад—в стекло. Заголяя руки и лицо, я преграждал дорогу мимоидущим, протягивая—прямо им в зрачки—гниющую ладонь, но зрачки брезгливо одергивались, а на ладони оставались копейки. Медяки к медякам—и я мог прикупить в аптечном магазине еще день-другой полубытия.

Гусеница времени, выгибая свои петли, ползла сквозь дни. Близилась промозглая осень. Людей ютили их кровли; и я затосковал тоже—о моей стеклянной крышке. В одно из ненастий я решил вернуться: сам. Скользя по осклизли тротуаров, сторонясь встреч, от перекрестка к перекрестку, я добрал до ворот университета.

За воротами, на первом же крылечке, выступившем во двор, я различил сквозь сумерки наклоненную к земле фигуру человека. Это был Никита.

— Никита?

— Да. Меня удивило, что он мне не удивился. Это был чудаковатый, но добрый старик. Еще несколько лет до того (я узнал об этом после) он потерял жену и ребенка,—одиночество мучило его. Только этим и пытаюсь объяснить то, что старик поделил со мною свою каморку в подвале—и мы стали жить вместе. Впрочем, как я впоследствии понял из долгих рассказов старика, не я один сумел сыграть на его отцовских инстинктах. Не так ли? И еще: Никита рассказал мне, как ты струсил меня, в вечер твоего отъезда, помнишь?

— Дальше.

— Дальше—жизнь меж четырех подвальных углов. Я редко подымался над поверхностью земли. Никита таскал для меня спирт и сулему. По вечерам рассказывал мне о своих покойниках. Понемногу и я научился помогать ему в его хлопотне: вытирать паутину и пыль, расставить препараты, вести сложное

хозяйство в сотню замочных скважин. Он научил меня грамоте, и вскоре я стал шарить по библиотечным полкам и рыться в книжных знаках.

Однажды, в праздничный день, когда над городом гудели колокола и коридоры университета были пусты, Никита решил сводить меня к моей, как он сказал, «мамоньке». Пройдя мимо ряда изузуренных солнцем окон, мы вошли в знакомую дверь: она стояла, среди шкафов и приборов, все так же распялив ноги, протертая и измызганная сотнями и сотнями ладоней и щипцов. С минуту мы молча постояли. В препаровочной было тихо. На стеклянных вспучинах реторт радужились солнечные блики. Никита торжественно тронул меня за плечо, и мы зашагали назад, вдоль торжественной пустоты коридоров.

Так, годы к годам. Сначала город рядился в трехцветное, затем — в красное. Мы со стариком редко выходили за каменное каре университетского двора. Помню, в один из дней, когда улицы были кровавы и гулки, мы сидели за трясущимися стеклами нашего подвала. Мимо окна, метнувшись мгновенной тенью, прогромыхал грузовик, — и тотчас же бумажная птица клюнула о стекло. Я потянул раму: за окном белела стопка прокламаций. Не отходя от подоконника, я стал читать вслух. Старик слушал, выставившись ухом к словам, потом сказал:

— Не для нас это с тобой, Фифка. Не для нас.

Затем — исподволь — проголодь и прохолодь. Вначале меня даже радовало постепенное опустевание университетской громады: можно было по целым часам, не боясь встреч, бродить от книг к книгам. Но сквозь пулевые дыры в стеклах тянуло холодом, а на отопительных трубах кристаллился иней. Никита знал, что сырость разводит мои швы и гноит тело: из последних сил смастерил он железную печку, таскался на рынок за дровами, стремясь меня сберечь. Годы и голод сделали свое: я похоронил старика и остался совсем один.

Связка ключей, мое наследство, водила сквозь сотню дверей. Мелкой хлопотней опаутивило жизнь. Никто меня не звал на свободную вакансию уборщика и сторожа, но призраки и фантомы — ты мог убедиться в этом — придерживаются явочного порядка. Десяток-другой профессоров да полуслепой библиотекарь,

все еще шаркавшие среди приборов и книг, сквозь свои мысли, не замечали фамулуса, неслышно ступавшего вдоль стен, пододвигавшего вовремя приборы и копошавшегося в темных углах среди шуршанья бумаг. Я заполнял анкеты. Против графы «ваша социальная принадлежность» я всегда вписывал: принадлежность фантома; против графы «временное занятие» каллиграфически выводил: человек. Неплохо, а?.. Ну, а подписывал я их...

— Любопытно, как?

— Двудюд-Склифский. Или ты не согласен меня признать?..

С минуту длилось молчание. Сквозь поредевшую ночь за окном проконтурились тополя. Из белой обступки стен выступили полочные ниши. Доктор, подойдя к одной из них, пошарил рукой меж бутылей. Забулькало. И пробка, звякнув, снова уселась в своем стеклянном гнезде.

— А меня так-таки и недосулемили,— послышалось сзади — гулко и вязко — словно сквозь слюну.

Рука Склифского — со стекла на стекло — продвинулась влево и, нащупав нужное, пододвинула гостю. Стоя в шаге от стола, Склифский почти различал круглые губы фантома, жадно влипшие в горлышко бутылки, и ясно слышал ритмически присосы дыхания. Наконец стекло и губы расцепились:

— Рекомендую,— подхихикнул Фифка, щелкнув ногтем о сосуд: едко-сладкий запах полз из открытого горлышка. Склифский отодвинул и прикрыл:

— Будет. Дальше.

— Дальше... я не видел впереди никакого дальнейшего. Ничьих шагов никогда на ступеньках ко мне в подвал. Даже сны мои стали безвидны и пусты. И казалось — только и произошло: вместо стеклянного мешка — каменный. По вечерам я сидел на пустом сеннике Никиты, зрачками в желтую дрожь коптилки, и смотрел — как поверх пятен сырости — пятна теней. Соседи, при встречах со мной, всегда носом в сторону, а костлявая поломойка из соседнего подвала как-то мне крикнула в спину:

— У, живень!

Только тоска, что ни вечер, неслышно сойдя по осклизям ступеней, посещала меня в моем низком и темном четырехуголье. Временами я думал: а что

если минусом минус, небытием в небытие: а вдруг получится быт и е. И я медлил...

Кончилось тем, что однажды ночью, пробравшись в препараточную, я выкрал свою мать и перетащил ее к себе в подвал. Надо же было хоть как-нибудь заштопать пустоту. Теперь я мог часто и подолгу рассматривать ее— мою деревянную родительницу: откинувшись безголовым телом назад, она застыла в дрящейся судороге родов. Это слишком напоминало. И иногда, когда я рассказывал ей о недавно прочитанных книгах, о фантомизме, который рано или поздно разрушит царство целей, потушит все эти блуждающие огни на болоте,— напряженный распял ее ног мешал мне додумать и досказать: ухватившись руками за концы ее обрубков, я пробовал свести их, но обрубки не слушались, грозясь новыми и новыми жизнями— и чаще всего я обрывал свои размышления.

Пододвинулась новая зима. Дров хватило ненадолго. Я попробовал было, вместе с другими, подворовывать доски из соседского забора, но у меня не было сил срывать их с гвоздей, а стук топора вызвал бы тревогу. Идти и просить мне, вживню, у людей было бесполезно. А морозы лютели. Несколько дней кряду я собирал примерзшие к снегу щепки, но в них было больше льда, чем дерева. Тело мое стало синим, как ртуть, втиснутая стужей в донца уличных термометров. И в один из вечеров, когда в звездистые окна било ветром и струйки его, вдувшись в щели, казалось, вот-вот сорвут с копилочного фитиля свет,— я рубил и сжег ее: мать. Из печки, вместе с теплом, потянуло резиной и жженым волосом. Это все, что она могла дать: кроме жизни— как вы это называете. Не помню, как я досуществовал зиму. Сидя за слепыми стенами подвала, я не замечал, что вокруг все постепенно переиначивалось и перелицовывалось. У закопченных кирпичей нашего каре появились маляры; над провалами тротуаров внутри двора запахло свежим асфальтом; отверстия пуль в стеклах затянуло мастикой; снова залюднило пустые коридоры; осумереченные грязью окна опять впустили свет. Мне это все не подходило: не дожидаясь расспросов и разглядываний,— откуда и кто— я ушел, выжился прочь, так же неприметно и тихо, как и вжился. Те, кто спустились ко мне, в затхлую клетку подвала, не могли в нем найти

ничего, кроме связки ключей на столе да ряда пустых бутылей — из-под сулемы и спирта — в запаутиненном углу.

Я и скроен и сшит неладно. Как видишь. От встреч с солнцем и дождями всякий раз начинаю ползти по швам и прокисать. Так и теперь. Я скоро дошел бы до мизерабельнейшего состояния, если б не случай. Как-то, когда я, прячась от дождевого захлеста, подобрался под навес крыльца, резко открылась дверь и, ударив меня в спину, сошвырнула по ступенькам вниз, в лужу. Подняв голову, я увидел сощуренное лицо: у лица были благотворительствующие глаза и крохотная мушка на правой щеке. Тут же — под брызгами и грохотом желобов — я вытащил свои старые удостоверения и получил место рассыльного модной мастерской, которой заведовала подобравшая меня сострадательница. И вместо книг — я получил новую поноску — картонки и баулы — из улиц в улицы, от заказчиц к заказчицам. Легкие ткани в картонных коробах — это мне было еще под силу. В пути я, сколько мог, прятался под свои картонные груды; дойдя, не звонился у падарных, а шел по черной лестнице и, вдвинувшись в открытую мне дверь своими картонками, старался поскорее ретироваться. Но меня никогда и не замечали: под тесемками моих пакетов были запрятаны несложно сработанные тоже своего рода «фантомы», имитирующие тело, то полнящие, то утоняющие, вытягивающие и укорачивающие — короче — подделывающиеся под обаяние не хуже, чем я под жизнь. Я любил смотреть, втиснувшись куда-нибудь в темный угол, как ножницы и пунктирные машинки закройщиц бродят по бумажным плоскостям, выискивая корректную линию меж мечтой и фактом. В мастерской, под рядами крючьев, спадая с деревянных плечиков, всегда десятки газовых, шелковых, бархатных телооболочек: женщины — женщины — женщины. Запах клея, духов и пота. Этому гарему одежд нужен был свой евнух: что-нибудь безликое и бесполое. Мужчина в этом мирке для опаутиниванья мужчин был преждевременен. Моя наружность, казалось, давала мне права на эту должность. Притом, когда я видел, как сантиметр ползает по оголенным торсам живых женщин, теплых и мягких, я не испытывал ничего, кроме отвращения и страха. Мы, фантомы, имеем свои вкусы и свое мнение о вашей так называемой любви.

— Вот как,— улыбнулся Склифский,— минуточку. Я сейчас.

Снова зазвенело стеклом о стекло. Склифский, сквозь синь рассвета, всочившегося в ночь, ясно видел близкое — глаза к глазам — лицо вживня: немигающие веки и сдавленный щипцовыми ложками лоб, липкая ротовая щель.

— Ну-ну, начнем с мнения,— пригнулся Склифский к вновь зашевелившейся дыре рта,— все усиливающийся кровяной гул в ушах глушил слова.

— Мнение мое сводится к тому, что вы, люди, несводимы. Вы только присутствуете, подглядываете свиданья призраков. Вы сначала придумываете друг друга. Этот в этой всегда любит ту, некий фантом, привносимый в его двуспинное и четырехрукое счастье. Поэтому-то всякий этот прежде всего чем дать объятью втянуть себя, так или иначе защищает несуществующую ту от существующей этой. Самый вульгарный прием: ночь. Ведь большинство из вас любит сквозь темноту, когда манскен, лежащий рядом, можно облечь в какие угодно наипрекраснейшие тела, а тело — в наифантастичнейшую душу, этот фантазм фантазмов. Ваша смуглая ночная оцупь разве не инъецирует мозг призрачностью и пренарирует мечтательно грубую данность, как... Короче: оттого, что ту воображают, эта рожает. И если...

— Постой-постой,— перебил Склифский,— что-то такое вот терлось мне уже о мозг. Как-то подумалось — так, случайно,— что акт любви, ну понимаешь, это обратное рождение: тянет назад, странно, туда, откуда тебя вытянуло щипцами. И только. Я, кажется, запутался. В голове гуд.

И тотчас же, почти налипая лицом на лицо, Фифка подобрался ртом под самое ухо Склифского; вокруг глаз прыгали черные по сини пятна рассвета, воздух гудел и прокалился непонятым жаром, но сквозь пятна и гул Склифский схватывал:

— Нет-нет, именно сейчас-то тебе и надо дослушать. Вот тут еще у донца. Не расплесни. Так. На чем мы остановились. Да, мое практическое отношение к любви. Я говорил уже, что все эти самки из мятого мяса были мне непонятны и даже страшны. Но над потолком мастерской, за семью поворотами витой лестнички я отыскал то, о чем не раз грезил за дверью

своей тесной каморки: там, наверху, находился своего рода архив моделей. Ключ от него был у меня. По скрипучей витусе редко кто подымался наверх — к картонным подобиям. Но лучше было соблюдать осторожность. Время для моих тайных свиданий я выбирал всегда ночью, когда в мастерской никого и все двери на ключах. Тогда, со свечой в руке, я подымался по круженью ступенек: за отщелкнутой дверью я видел ряды женственных одноножек, молча подставлявших мертвые вгибы и выгибы тел под свет свечи. Я проходил мимо, не коснувшись ни одной. Там, в конце ряда, у стены слева ждала моя она. Поставив свечу на пол, я подступал к ней, грудью к груди. У нее не было рук — чтобы защищаться, и глаз — чтобы укорять. Под пальцами у меня скользили нежно очерченные холодные бедра, и о грудь мне терлись пустые выгибы грудей. Тонкая ножка жалобно и беспомощно скрипела, и мне казалось... но, понимаешь, по острию сладострастия меня вело не это, даже не это, а мысль — вот: перед тем, как родиться человеку, нужно, чтобы двое живых любили друг друга, — но перед тем, — слушай же, слушай, — перед тем, как человеку умереть, нужно, чтобы двое фантомов полюбили друг друга. И вот...

— Постой-постой, — Двудюд-Склифский поймал ладонью стену и хотел подняться, но черные пятна, множась и множась, слипались в тьму, — значит, ты пришел ко мне, чтобы...

Сквозь прорывы в тьме еще мелькнуло короткое движение фифкина рта, но пятна опередили ответ: они сомкнулись и... собственно, можно б без «и», а просто — точку, и все; но традиция — не я ее начал, не я кончу — требует некоего литературного закругления и ссылки на источники. Извольте.

V

Амбулаторные больные, пришедшие — вместе со своими грыжами, сыпями и чирьями — на утренний прием к доктору Двудюд-Склифскому, долго ждали, чинно вздыхая и поглядывая на дверь: ни шороха. Кого-то надоумило пройти к окнам соседнего домика, где жил доктор: может, заснул, а то уехал. Простояв с минуту лицом в стекло, разведыватель замахал рукой, как бы требуя подмоги. Еще через

минуту за окном появилось множество лиц. Дверь была полуоткрыта. Вошли. Навстречу пахнуло сулемой и спиртом. На полу, обожженными ладонями и щекой в полуиссохшее сулемовое пятно, доктор. Подняли: глаза зажаты, но меж губ тормозится невнятица и все тело пронизано дрожью. Пациенты, переглянувшись, поставили диагноз: беляя.

Я, собственно, и сам был лет девять тому пациентом доктора Двудюд-Склифского. Нас познакомил осколок гранаты, засевший в моем бедре. Доктор Склифский, пользовавший меня тогда, производил впечатление человека хмурого и как бы отдергивающегося от знакомств и встреч и вряд ли в последующие годы вспоминал обо мне, но я забывал медленнее: смутная боль, нет-нет а возвращавшаяся в недолеченную рану, всякий раз тянула — вслед за собой — на ассоциативных нитях образ доктора Двудюда: длинное лицо, смелый разлет бровей, спрятанные под рыжую обвись усов губы, жесткое и короткое прикосновение руки.

Совсем недавно, отыскивая в списках больных одной из московских лечебниц нужное мне имя, я наткнулся и на ненужное (так подумалось сперва): Двудюд-Склифский. После колебания я решил навестить больного, благо от койки его меня отделяло всего лишь несколько дверей. Склифский сразу же узнал меня, пожатие руки его было другим — мягче и длиннее, — и глаза, воспаленные и блестящие, как у всех горячечных, не только не отдергивались от меня, но... одним словом, зайдя на минуту, я просидел добрых два часа, пока сиделка не зашептала у меня над ухом, что больному долгие разговоры вредны. Я ушел, обещав вернуться и дослушать, так как в эту именно встречу Двудюд-Склифский и начал свой рассказ о встречах с фантомом.

Второе посещение дало мне конец истории. Правда, Склифский, успевший за три-четыре дня, пока мы не видались, сильно осунуться, — глаза точно опепелились, лицо завосковело, — говорил с запинкой, толчками, теряя нить, сквозь муть. Тем не менее, придя домой, я тотчас же взялся за запись. Вначале шло ничего, потом перо то тут, то там стало натывать на препятствия. Ведь мы, пишущая братия, получив факт, всегда так или иначе препарлируем его, отыскиваем в нем ту

вот «корректную линию» между данным и должным, как выразался двулудовский призрак. В полученном факте меня нисколько не интересовал коэффициент его реальности,— из работы меня выбивала структурная неправильность рассказа: например, мне нужно было уяснить постепенное очеловечивание Фифки, незаметный крен фантомизма в телеологию, выпадение их причин в цели,— что это — привнесено впоследствии, так сказать, вдумано Двулудом в свои ощущения, или дано самими ощущениями, в неотделимости от феномена?

За разрешением недоумений проще всего было отправиться к первоисточнику. Но в палату к Двулуду меня не пустили:

— Плох. Нельзя.

Отждав еще дня два-три, я повторил попытку. Не пускаясь в излишние расспросы, я прошел по больничному коридору к знакомой двери. Она была полуоткрыта. Навстречу — легкий сулемовый запах. Я вшагнул в палату: койка была пуста; под взбитой подушкой аккуратно заправленное одеяло, белый квадрат столика, придвинутый к изголовью,— и все. Позади шаги. Я обернулся: сиделка.

— Уже?

— Уже.

Вернувшись к рукописи, я — после некоторых колебаний — решил даровать ей аутентичность: пусть за каждое слово отвечает Двулуд-Склифский. Ему ничего не стоит оказать мне эту услугу: ведь он мертв.

СТРАНСТВУЮЩЕЕ «СТРАННО»

...Это «странно» —

Как странника прими в свое жилище.

«Гамлет», д. 1, сц. 5

— На циферблате шесть. Ваш поезд в девять?

— В девять тридцать.

— Что ж, постранствуйте. Это так просто: упаковать вещи и перемещаться в пространстве. Вот если бы Пространство, упаковав звезды и земли, захотело путешествовать, то вряд ли бы из этого что-нибудь вышло. Путное, разумеется.

Мой собеседник, запахнув халат, подошел, топчя плоские цветы ковра, к подоконнику, и глаза его, шурясь из-под припухлых старческих век, с состраданием оглядели пространство, которому некуда было странствовать.

— Странно,— пробормотал я.

— Вот именно. Все железнодорожные путеводители и приводят в конце концов сюда: в странно. Мало: странствия превратят вас самого, ваше «я», в некое «Странно»; от смены стран вы будете страннеть, хотите вы этого или не хотите; ваши глаза, покотившись по свету, не захотят вернуться назад в старые, удобные глазницы; стоит послушаться вокзальных свистков, и гармония сфер навсегда замолчит для вас; стоит растревожить кожу на подошвах ног, и она, раззудевшись, превратит вас в существо, которое никогда не возвращается.

Я смотрел на дуговидные морщинки, шевелившиеся вокруг рта старика, и думал: этот раз, вероятно,

последний. Когда вернусь, скоро ли это будет, придется искать его не здесь — на кладбище. А там уж какие разговоры. И я решил форсировать тему.

— Учитель,— спросил я, отыскав зрачками его острые, даже чуть колющие зрачки: — правда ли все то, что говорят о ваших путешествиях? Мне мало простых железнодорожных указателей. Мне бы хотелось увезти с собой хотя бы несколько ваших указующих слов. Мой опыт беден и тускл. Вы же... помогите мне, учитель,— хотя бы маршрутами. Или воспоминаниями: поверьте, то с т р а н н о, в которое превратят меня странствия, как вы сказали, сохранит все ваши слова, не сдвинув в них ни единой буквы.

— Видите ли,— начал старый маг, усаживаясь в истертое кожаное кресло,— с тех пор, как я служу в Кооперотопе, я забросил и самую мысль о путешествиях: пусть земля ерзает по своей орбите, как ей угодно,— с меня довольно. Вероятно, и счетная костяшка, которую вечно гоняют по стержню, считает себя заправской путешественницей. Но неусидчивость не выводит ее, как известно, за квадрат счетной рамы. Так. Но в юности, разумеется, думалось по-иному: тогда я откликался на зовы пространства, хотел дойти до к у д а всех дорог, наступить подошвой на все тайны, обогнать знаки и черточки, облепившие глобус, и ощупать своими собственными глазами всю шершавую кожу планеты.

— Представляю себе. И мне бы хотелось, учитель, получить от вас схему одного из ваших самых длительных и трудных путешествий: такого, которое бы брало землю тысячеверстными кусками, которое бы...

— Боюсь, что первые же мои слова разочаруют вас, мой юный друг: самое длительное и самое трудное мое путешествие передвинуло меня в пространстве всего лишь на семьдесят футов. Виноват, семьдесят один с половиной.

— Вы шутите?

— Нисколько. И мне кажется, что можно менять страны на страны, не прибегая даже к этим, на пальцах отсчитанным футам: последние четыре года, мой друг, я, как вы знаете, не многим подвижнее трупа. Моя оконная рама не сдвинулась никуда ни на дюйм. Но та страна, людей и дела которой я, не без любопытства, наблюдаю, уже не та страна; и мне не нужно было, как

вы это хорошо знаете, хлопотать о билетах и визах для того, чтобы превратиться в чужестранца и пересечь из Санкт-Петербурга в Ленинград.

Я улыбнулся:

— Пожалуй. Но все же я повторяю свою просьбу: если не вы, то пусть хоть ваша память проявит активность. Рассказ о путешествии с маршрутом в семьдесят футов, думаю, не отнимет много времени.

— Не скажите. Хотя, если мне только удастся разминуться с деталями, может быть, я и успею. Который сейчас?

— Шесть тридцать.

— Так. Может быть, у вас есть еще какие-нибудь дела?

— Нет, учитель. До девяти я могу слушать.

— Хорошо. Тогда садитесь. Нет, не сюда: в кресло. Так. Начну.

I

— Сейчас, когда вся моя эзотерическая библиотека давно уже выменена на муку и картофель, я не могу, с книгой в руках, показать вам те сложные формулы и максимы, которые путеводили нами, магами, в годы наших ученических странствий. Но суть в следующем: самое имя Magus от потерявшего букву слова magnus: большой. Мы люди, почувствовавшие всю тесноту жилищных площадей, захотевшие здесь, в малом мире, мира большего. Но в большее — лишь один путь: через меньшее: в возвеличение — сквозь умаление. Гулливер, начавший странствия с Лилипутии, принужден был закончить его в стране Великанов. Правила нашего магического стажа, — поскольку они хотят сделать нас большими среди меньших, великанами среди лилипутов, естественно, стягивают линии наших учебных маршрутов, вводя нас в магизм, то есть в возвеличение, лишь путем трудной и длительной техники умаления.

Рельсы, дожидаящиеся вас, мне всегда напоминали длинящий в бесконечность свои параллели знак равенства (=).

Говоривший сделал двукратный жест.

— Но есть и другой знак. Вот: < (скользя глазами за ладонью, вклинившей в воздух острие угла,

я молча кивнул головой и продолжал слушать). Я хорошо помню то сквозистое июньское утро, когда мой учитель, это было уже сорок с лишком лет тому назад, призвав меня к себе, начертил именно этот простой, из двух карандашных линий, знак и, перенеся свой указательный палец, прижатый к бумаге влево от знака, на правую его сторону, сказал:

— Вам пора: отсюда — туда.

Я смотрел на линию своего маршрута и молчал.

— Вам, юным, — добавил наставник, — подавай семимильные сапоги. Но терпение: раньше чем позволить шагу из аршинного стать семимильным, надо научить его микромикронности.

Я продолжал молчать. Тогда наставник, отщелкнув двумя поворотами ключа крышку костяной шкатулки, стоявшей у него на столе, показал мне три тщательно обернутых в вату стеклянных пузырька. Под притертými пробками их внутри вспучившегося стекла мутно мерцали жидкости: желтая, синяя и красная.

— Вот эта тинктура, — перед глазами у меня, вымотавшись из ваты, просверкал рдянью третий пузырек, — эта тинктура обладает поразительной силой стяжения. Содержимого стекляшки хватило бы на то, чтобы тело слона стянуть в комок меньше мушьего тела. И если бы это драгоценное вещество добыть в таком количестве, чтобы обрызгать им всю землю, нашу планету легко можно было бы сунуть в одну из тех сеток, в которых дети носят свои крашенные мячи. Но мы с вами начнем с другого флакона.

С этими словами наставник передал мне желтую тинктуру. Только теперь я увидел: поверх билетика, наклепленного на стекло, чернели еле различимые бисеринки букв.

— Способ употребления, — пояснил мне мастер, — послушайте этих букв, и вы сами станете в рост им. Сегодня же, до заката, тинктура должна сделать свое дело. Счастливого пути.

Взволнованный, колеблясь меж нетерпением и страхом, я вышел на улицу. Желтые солнечные пятна, ползающие по раскаленной полднем панели, не давали мне забыть о десятке желтых капелек, запряжанных в моем жилетном кармане и ждущих, внутри своей стеклянной скорлупы, близящегося, с каждым моим шагом, срока. Я шел будто на спутанных ногах:

воображение начало действовать раньше тинктуры; мне казалось — самые шаги мои то странно укорачиваются, то неестественно длинятся. Сердце под ребрами ворошилось, как испуганная птица в гнезде. Помню, я присел на одну из уличных скамей и позволил своим зрачкам кружить, как им вздумается. Я прощался с пространством: с привычным, в лазурь и зелень раскрашенным, м о и м, пространством. Я смотрел на сотни шагающих мимо ног: размеренно, подымая и опуская ступни, сгибая и разгибая колени, движением, напоминающим стальной аршин, уверенно шагающий, под толчками пальцев приказчика, вдоль мерно разматываемой штуки материи, — они разматывали и мерили свое, привычное пространство, которое видишь и с закрытыми глазами, которое несешь в себе, обжитое и исхоженное, почти застегнутое вместе с телом, под пуговицы твоего пальто, в тебя. Я вслушивался в трение одежд о тело, вглядывался в акварельные пятнышки облачной ряби, тонко выписанной по синему фону, ловил каждый звук и призыв, ввившийся о мои ушные завитки, цеплялся глазом за каждый блик и отсвет, запутавшийся в моих ресницах. Я прощался с пространством. Мимо глаз, раскачиваясь в сетке, прополз чей-то пестрый мяч. Я поднялся и пошел дальше. Где-то на перекрестке мне сунули в руки газету. Я развернул ее еще влажные листы и, скользнув по столбцам, тотчас же заметил крохотные буквы петита, сотнями беззащитных черных телесц согнанные в строки. Тотчас же ассоциация дернулась у меня в мозгу и, скомкав газету, я быстро сунул руку в карман и нащупал там холодный дутьш пузырька. Стоило швырнуть его на камень, наступить подошвой — и ...но я этого не сделал. Нет: именно в этот момент нетерпение заслонило страх, и я быстро зашагал к себе, мимо шумов и бликов, будто выдергиваясь из пространства, и единственное, что я видел тогда, с почти галлюциаторной ясностью, это бледный и длинный палец учителя, который, переступив по ту сторону ломаной черты, за знак неравенства, звал меня: туда.

Вскоре, впрочем, припадок возбуждения утих. На предпоследний этаж дома, в котором снимал я комнату, я подымался с чувством твердой, по холодной решимости. В полутьме подъезда, на одном из поворотов узкой лестницы мне пришлось обменяться кивками

с моими соседями, жившими надо мной: встречи наши, довольно редкие, всегда происходили здесь, в полумраке лестницы, и потому нам никогда не удавалось друг друга рассмотреть. Я знал только, что астматически дышащий ворох из пледов, кашне и пелерин поверх пелерин, тычащий палкой в ступеньки и мучительно шаркающий подошвами о камень,— это заслуженный профессор и чуть ли не академик, возящийся с какими-то ретортами и пипетками, с матрикулами студентов, а также и с женой, которая и в эту встречу, как во все иные, прошуршав мимо меня шелками юбок и наполнив полутьму запахом «Шипра» и терпкой тревогой,— став у верхней площадки, терпеливо ждала спотыкающуюся десятью ступеньками ниже палку.

Я открыл свою дверь и, войдя в комнату, повернул ключ в замке слева направо. Потом, выдернув его из замочной скважины, спрятал в одном из ящичков письменного стола. Солнце было на излете. Вынув часы, я положил их перед собой: шесть тридцать. Теперь пузырек: лупа, растянув черные значки поверх пузырька, быстро и точно раскрыла их смысл. Стиснув стекло меж пальцев, я осторожно повернул ему пробку: о, как непохож был этот колющий ноздри, прогорклый запах на благоухание, оставшееся там, за защелком ключа, над ступеньками лестницы. На миг мне показалось, будто астма старого профессора переползла в мои легкие: мне стало трудно дышать. Подойдя к окну, я толкнул его створами наружу. Тем временем минутная стрелка успела уже сделать дугу в сто восемьдесят градусов. Надо было решаться: я поднес пузырек к губам — через мгновение он был пуст. После этого я еле-еле успел, выполняя волю букв на этикетке, запрятать пустой пузырек в заранее намеченное мною укромное место: у пола, меж стеной и обоями. Тело мое, уже в ту секунду, когда я запикивал стекло в обойную щель, стало вдруг стягиваться и плющиться, как прорванный воздушный пузырь: стены бросились прочь от меня, рыжие половицы под ногами, нелепо разрастаясь, поползли к внезапно раздвинувшемуся горизонту, потолок прынул кверху, а плоский, желто-красный обойный цветок, который я за секунду перед тем, возясь с пузырьком, отогнул, прикрывая пальцами руки, вдруг неестественно ширясь желто-красными разводами, пополз, забирая рост, пестрой кляксой вверх и вверх.

Мучительное ощущение заставило меня на минуту зажать веки: когда я раскрыл их, то увидел себя стоящим у входа в довольно широкий стеклянный туннель с неправильно изогнутыми круглыми прозрачными стенами. Прошло несколько времени, пока я понял: это пузырек, очевидно, оброненный моим нечаянным движением в то последнее мгновение, когда я, сейчас лишь жалкое в пылиночный рост существо, мог еще его обронить.

На одном из прозрачных выгибов туннеля я увидел огромные черные знаки: в тот же миг я вспомнил их смысл и сердце радостно заколотилось во мне. Ведь в надписи на пузырьке ясно говорилось о способе возврата в прежнее тело и в прежнее пространство: стоило лишь отыскать на внутренней плоскости доньшка пузырька-туннеля врезанный в стекло магический знак и прикоснуться к нему,—и немедленно должно произойти обратное превращение.

Слома голову, я бросился внутрь стеклянного раструба: звон моих шагов бился о круглые стены. Я добежал до прямой стеклянной стены... «А вдруг,—всполохнулось во мне,—пузырек упал знаком кверху. По скользкой и гладкой стене мне никак не добраться до спасения. И я погибну, на расстоянии дюйма от знака: дюйм преградит мне путь назад в тысячеверстия земли».

Но, по счастью, знак оказался у нижнего края стены. Я быстро отыскал глазами знакомое им сцепление двух линий математического знака равенства. Упав острым науглием книзу, знак расправлял свои врезавшиеся в стекло линии, как птица расправляет крылья, занесенные для полета. «Свобода»,—прошептал я, протягивая руку к знаку. «Страх»,—услыхал я в себе полусекундой позже. Я не повторил этого слова, но оно звучало громче, чем то, первое. Да, мое н а з а д было близко, на расстоянии протянутой руки, но я, отвернувшись от него, медленно ступая по гулкому стеклу, направился в неизвестное в п е р с д. И прежде, и теперь я всегда предпочитал и предпочитаю загадку разгадке, заданное данному, дальний конец алфавита с иксом и зетой—элементарным абцедам и абевегам: и в данном случае я не изменил своему обыкновению.

Минуты слишком быстро ползут по циферблату, мой друг, чтобы я мог позволить себе дробное и кро-

потливое, день за днем, описание моих странствий, начатых с зарею следующего дня. Вспомнив, что от пола к подоконнику моей комнаты прощелилась, как я это когда-то заметил во время уборки, глубоким, всползающим по стене зигзагом, щель, — я решил использовать ее для подъема на плато подоконника. Мне пришлось затратить довольно много часов, пока я не отыскал ее нижнего ущелистого края и не начал своего двухдневного подъема кверху. Впоследствии, когда я с группой альпинистов брал Кляузеновский перевал, они дивились моей тренированности и выносливости: объяснять им, что этим я обязан стенной щели длиной в три фута, я, конечно, не стал. Так или иначе, намучившись на кривых изломах и срывах своего почти отвесного пути, я, наконец, к утру третьего дня достиг подоконничного края. Ступив на его плоскую поверхность, покрытую геологическими пластами расстрескавшейся белой краски (эти трещинки, которые еще неделю тому назад я слабо ощущал, скользя ладонью по подоконнику, сейчас учили меня рекордным прыжкам), — я чувствовал себя горцем, рассматривающим, стоя меж глыб горного перевала, провалы далей, втягивающих в себя глаз. Створы окна, оставленные прежним «мною» открытыми, давали доступ воздуху, а следовательно, и ветру. Мне очень трудно было бороться с его воздушными ударами: цепляясь за выступы облупившихся пластов краски, прячась за их приподнятыми краями, я прилагал все усилия, чтобы не быть свеянным вместе с уличной пылью, осевшей на подоконник, прочь с его поверхности. Позади был срыв к желтевшему где-то снизу полу моей комнаты, впереди — отвесная кирпичная стена, падающая в бесконечно-глубокий провал улицы. Продолжать прятаться по щелям меж краской и деревом на унылой и плоской белой равнине подоконника было бессмысленно и скучно. Надо было решаться: и я решился.

Цепляясь зеленой лапой за наружный край подоконника, кверху по кирпичному русту полз плющ. Подъем по этой зеленой витой лестнице был, конечно, опасен, но я, пользуясь наступившим внезапным безветрием, хватаясь за ворсинчатые торчки живой лестницы, стал смело взбираться кверху. От времени до времени я отдыхал внутри липких складчатых листьев плюща. Но после нескольких дней подъема я заметил,

что зеленые площадки моей лестницы все уже и меньше и что самая спираль ее, сделав еще несколько оборотов, обрывается в пустоту. Подсчитав пройденные кирпичные рубцы, я понял, что нахожусь на полпути меж двух подоконников, в трех футах от квартиры старого профессора.

— Дело не так плохо,— сказал я себе, раскачиваясь в изумрудном гамаке, подвешенном на упругом тяжке к стеблю: надо лишь запастись терпением и положиться на силу роста, скрытую в плюще,— и моя лестница сама подымет меня кверху.

Так для меня настали дни бездейственного ожидания: днем солнце, озеленив лучи, пробиралось ко мне сквозь нервюры ткани внутрь листа; по ночам, пододвинувшись к рубчатому краю своего обиталища, я мог любоваться россыпью желтых и синих звезд, зажигающихся где-то внизу, подо мной. Вначале это перемещение звездного неба несколько озадачило меня, но после я понял: тинктура, стянув в пылинку мое сажненное тело, укоротила и радиус моего видения: глаза не могли уже дотянуться до Сириуса и Полярной звезды, но обыкновенные уличные фонари заменяли им, как умели, созвездия.

Часто я старался представить себе то, что ждет меня там, за окном старого профессора и его юной жены. В то время я был так же молод, как и вы, мой друг. И, конечно, не только жизненная сила, скрытая в спиральных плюща, но и иная, таимая во мне, тянули меня вверх к подоконнику юной профессорши. Иногда, в бессонные ночи, к горьковатому запаху растительных смол примешивался, как мне мнилось, знакомый, легкий, но дразнящий шипр. И пока плющ, расправляя свои зеленые мышцы, полз на хватких лапах, усиками кверху, мое воображение, обгоняя его, давно уже было там, за окном.

Но когда три фута, спираль за спиралью, были взяты, и я наконец, сделав рискованный прыжок, вскарабкался на край подоконника, о котором так долго мечтал, меня ждал неожиданный удар: стекло и рама окна, тщательно замазанные и оклеенные, преграждали путь. Я забыл, в своем юношеском оптимизме, о том, что дряхлый профессор даже и в июльские жары ходил под полудюжиной пледов и что окна в его квартире почти никогда не открывались.

Раздосадованный и злой, целый день бродил я вдоль тщательно замазанной щели: нигде — ни прохода, ни даже лазейки.

Мне оставалось: или спуститься по извивам плюща назад, или с неиссякающим терпением дожидаться своего в перед. И на этот раз я выбрал последнее.

Тем временем июль — я вел аккуратный счет дням — поначалу довольно прохладный и влажный, становился все суше и жарче. Мучаясь под раскаленным стеклом окна от нарастающего зноя, я вместе с тем радовался ему и молил небо о еще большей жаре: ведь только тропическая температура могла разжать стеклянные створы, преграждавшие мне доступ внутрь.

Томительные дни тянулись друг за другом, разделенные короткими черными прокладками ночи, тоже душной и знойной, — я уже было начал отчаиваться, когда вдруг, как-то поутру стекло и рама затряслись от ударов изнутри. Колоссальные глыбы замазки падали сверху. Я еле успел юркнуть в узкую пещеру, рытую червем-древоточцем, как что-то грохочущей тенью, сыпля сверху скалы и лапилли, пронеслось надо мной. Выбравшись наружу, я увидел: путь был свободен.

Вначале у меня было чувство человека, забравшегося по веревочной лестнице в дом своей желанной. Вероятно, это романтическое чувство и заставило меня дожидаться ночи: я медленно, шаг за шагом, вздрагивая и припадая к земле при каждом шуме, продвигался к внутреннему краю подоконника. Мне все еще трудно было привыкнуть к своей невидимости, и казалось, что все мои движения заметны обитателям комнаты.

Когда к вечеру я, свесив ноги внутрь одной из подоконничных щелей, сидел, грезя о своем завтра, — вдруг меня ударило сильным током воздуха и прикрыло сверху гигантской, весь горизонт застлавшей тенью. Вскочив, я поднял глаза вверх и увидел две рушащихся на меня своими вершинами горы. В ужасе, я сжал веки, приготовившись к смерти, но близкий и острый запах шипра, заставил веки разжаться снова. Да, это была она: два огромных, таких знакомых мысли и глазу, знака неравенства, одетых не в карандашный графит и не в стекло, но в гигантскую массу обнаженного тела, уперлись, вправо и влево от

меня, своими остриями в подоконник: это были руки жены профессора.

С минуту я, забыв опасность и риск, двигался навстречу дурманящему и влажному живому жару, пышущему мне навстречу.

— Какая теплая ночь,— прозвенело надо мною.

— Да. А все-таки, душенька, окно лучше бы закрыть,— прошелестело что-то, голосом комкаемой бумаги, из глубины комнаты.

— Но ведь воздух так чист: ни пылинки. И я не вижу ничего, чтобы...

— Мало ли, что ты не видишь, душенька,— закомкалась снова бумага,— пролезет что-нибудь этакое, ну, невидимое, бактерия какая-нибудь или, ну, черт ли его знает что. Ты его не видишь, а оно в тебя втирующей этакой в альвеолы, в кровь, и возись потом...

Окно с грохотом закрылось, отрезая мне обратный путь. Но я уже успел добежать до торчащих мне навстречу ворсин платья юной женщины: обхватив одну из ворсин руками и коленями, я, с бьющимся сердцем, ждал событий.

— И-и, душенька, брось дуться. Вот принеси-ка мне лучше карты: нет, не там, на этажерке. Левее, левее. Ну-ну, поглядим: ведь вот проклятый пасьянс, никогда не выходит. Хоть ты что: ни так, ни этак. Ну вот: опять этот червонный король все напутал.

— Не выходит, так и бросил бы...

— Нет-нет, постой-погоди, я загадал: говорят, если выйдет, то надо карты под подушку, и все сбуд... гкх... гкх, черт, опять этот червонный дурак вытасовался.

Тем временем я, описав гигантские зигзаги по комнате, был внезапно почти придавлен к краю стола. Лишь ловкий кульбит спас меня от гибели, но все же сила толчка была так велика, что тело мое, сорвавшись с ворсины, за которую оно крепко держалось, больно ударилось о доску стола. Не теряя самообладания, я приподнялся на локте с желтой клеенки стола и увидел: целые стаи огромных бумажных прямоугольников, взлетев с шуршащим птичьим шумом, тотчас же мягко опали своими черными и красными знаками книзу. Я понял происшедшее: женщина смешала карты.

Это могло бы осложнить разговор, но в это время в глубине комнаты, почти из-за пределов моего видения, прозвучал третий голос:

— Барин, а барин, тут к вам с матрикулом. Который в шестой уже раз. Что им сказать: дома вы или нету?

Я слышал, как где-то внизу шумно зашаркали туфли. Вслед им четко и подробно застучали «каблочки», как подумал я, все еще не умея выключить свое мышление из старых схем.

Оставшись, как я полагал, один,—я направился к хаотической куче игральных карт, расшвыренных по столу. Новый, пока еще смутный план, начинал возникать в моей голове. Сперва я прошел поперек дамы треф и высунувшейся из-под нее алого ромба бубновой двойки. Что-то черное поползло мне под подошвы: выйдя из задумчивости, я увидел перед собой две довольно длинных аллеи, протянувшиеся вдаль: деревьев, собственно, не было, но неподвижные черные тени каких-то странно широких у земли и причудливо тонких у комля растений легли вдоль снежно-белой поверхности прямоугольного сада. Я было сделал несколько шагов вдоль одной из черных аллей, но тут только заметил, что путь мне дважды пресечен такими же тенями таких же деревьев, невидимо растущих посредине аллей. Я понял: это была десятка пик. Конечно, ее черные пятна бессильны были перегородить мне дорогу, но какое-то странное чувство заставило меня, сойдя с аллеи, ворожащих смерть, обойти ее прямоугольный сад стороной, по обочине.

Тут впервые недоброе предчувствие вонзилось, десятью черными остриями, в меня. Не глядя по сторонам, медленно продолжал я шагать с карты на карту.

Вдруг:

— Эй, вы, послушайте: вы наступили мне на сердце. Или вы полагаете, что это щетка для вытирания подошв? Отойдите.

Я повел глазами навстречу голосу, и тут только увидел, что у меня под ногами, у закругленного края карты, на которую я только что, в рассеянии, ступил, дергается красное плоское сердце, странно сплюсшившееся под налетом бумажного глянца. С трудом удерживая равновесие, я добалансировал до края сердца и выпрыгнул на белую поверхность карты: теперь я ясно различал округло очерченные красные губы короля червей, которые, ероша рыжую щетину длинной бороды, недовольно и брезгливо шевелились:

— Кто вы, пришелец, вшагнувший в меня? — услышал я.

— Умаленный человек, — отвечал я.

— Нет умаления горче моего, — проговорили бумажные губы, — и как бы ни была печальна история, принесенная вами, история, которую вы унесете отсюда, будет еще печальнее. Приблизьтесь и слушайте.

Я, выбрав себе место на оконечине золотого плоского скипетра короля червей, уселся поудобнее и, протянув усталые ноги, подставил свои ушные раковины под рассказ.

— Теперь моему царству, — зашевелились снова бумажные губы, — и вот в этой картонной коробке для карт — просторно. И царство, и власть мои давно источены червями: наш маститый род стал глупой мастью, и я, который некогда со своими министрами и г р ы в а л в людей, я, превращенный в обыкновеннейшую карту, должен позволять им, людям, играть в нас, в карты. О, странник, можешь ли ты понять мир, в котором мили превратились в миллиметры, в дворцах и хижинах которого полы и потолки срослись в одну сплошную плоскость.

— Могу. Продолжайте.

— Мой род — отец, дед, прадед, прапрадед и я, — столетиями сидели на нашем троне, окруженные трепещущими и благоговеющими подданными. Земля была слишком грязна для касания наших пят. Колеса, седла, носилки, лектики, спины камер-лакеев сделали для нас ноги излишними, а придворные козни и тайные заговоры создавали положение, когда иметь всего лишь одну голову оказывалось недостаточным. Вы понимаете, — ладонь говорившего, не покидая плоскости, опустилась «сверху вниз»: я кивнул головой. — Результатом приспособления нашей династии, говоря в терминах дарвинизма, к среде — является хотя бы то, что у меня, как видите, две головы плюс нуль ног. Но не это было причиной гибели моей и царства. Дело в том, что в каждой моей груди билось по два сердца: большое и малое. Вот они. — Я, не прерывая рассказа, скользнул глазом по гляncу карты и подтверждающе наклонил голову. — Мое большое сердце любило маленькую женщину; мое маленькое сердце любило великий народ. И обоим им, большому и малому, было тесно под моей королевской мантией. Они бились друг

о друга, мешая друг другу биться. Это беспокоило и мучило меня. Случилось так, что проездом через Королевство Червей, при дворе моем гостил ученый хирург из Страны Пик. Однажды я, решившись покончить с своим двусердием, призвал хирурга. Он выслушал меня и мои бьющиеся друг о друга сердца и нахмурился.

— Пиковый интерес,— пробормотал он, прибавив к этому дюжину латинских слов.

— Но нельзя ли оперировать: лишнее сердце?

— Которое из них вы, Ваше Величество, считаете лишним?

Три дня и три бессонных ночи промучился я над словом к о т о р о е. Но, увы, народ, который я любил моим малым сердцем, был где-то там, далеко, за стенами дворца; а женщина, которой я отдал свое большое сердце, была тут, возле, у самых распорившихся сердец, и сумела защитить от ножа то из них, в котором жила она.

На четвертый день я призвал к себе хирурга:

— Пустите в дело ваши инструменты,— приказал я.— Малое в большом я предпочитаю большому в малом.

— Но, Ваше Величество, учтены ли вами те последствия?..

— Последствия, которые грозят вам в случае послушания приказу короля, издревле учтены нашими законами. Повинуйтесь, или...

Он вынул свои черные остря, и вскоре я лежал вот на этом столе, ожидая прикосновения скальпеля. Искусной трансекцией он отделил мое малое сердце, бывшее навстречу народу, и положил его к краю операционного стола, вот сюда—где вы его видите и сейчас. Острая боль, полоснув меня по мозгу, оборвала сознание. Когда оно вернулось, я увидел вокруг себя испуганные лица и спину черного доктора, склонившегося над своими закровавившимися черными лезвиями. Обеспокоенный их беспокойством, я попробовал приподнять голову с плоскости операционной доски кверху: мне это почему-то не удавалось. Сиделки, заметившие мою попытку, тотчас же, льстиво и испуганно улыбаясь, стали вперебой просить меня не приподыматься: «Для вас это сейчас невозможно, Ваше Величество, поостерегитесь, Ваше Величество».

Им долго, пользуясь моей слабостью, удавалось скрывать от меня истину. Но когда я, почувствовав себя несколько крепче, решился, вопреки уговорам и мольбам, покинуть плоскость операционного стола, мне, после сотни отчаянных попыток, открылась страшная истина: отныне мне никогда не подняться кверху от операционной доски, потому что самое кверху оказалось ампутированным вместе с сердцем: правда, моя застарелая запущенная «любовь к народу» окончательно отвязалась от меня... но, все-таки, знаете... лучше бы уж...

Тщетно после этого министры пробовали мне помочь: острая плоскостность перешла в хроническую. Напрасно хирург, в операционную к которому каждый день сваливали шесть-семь из числа моих подданных, вырезая сердце за сердцем, пробовал привить их мне,—ничего не выходило: в результате лишь белые поверхности столов покрывались кровавыми шестерками, семерками, девятками. В конце концов, когда почти весь народ был вырезан, вивисектор тайно бежал и всю эту возню с отрехмериванием плоского пришлось бросить.

Так угасло некогда сильное Королевство Червей, а моя слава и власть оттлели и стали снадью червей. Но и тут, в изгнании и умалении, где пышность прежних королевских выходов заменилась простым участием в пасьянсах какого-то профессорствующего дурака (правда — благодаря мне — они у него никогда не выходят),—надежда не покидает меня, о путник. Тут, в плоской коробке для игральнх карт, затасованный в трепаную колоду, жду я интервенции. Ведь остались еще монархии на земле. И не могут же они потерпеть, чтобы...

— Ваше Величество,—отвечал я,—увы, черви времени не менее искусны, чем ваш черный хирург, и короли, еще королевствующие за пределами вашего бумажного царства, от дня к дню делаются все более и более плоскими, как и вы. Говорят, недалеко то время, когда королям из европейской колоды, привыкшим к забавной «игре в люди», придется превратиться из тех, которые играют, в тех, которыми играют. Я не язычник, но верю в Немезиду.

Наступило тягостное молчание. Поняв, что случай делает легко осуществимым тот план, который понем-

ногу, еще до встречи с королем, стал отчетливаться в моей голове, я, подойдя к самому уху плоского монарха, зашептал с конфиденциальностью заговорщика:

— Во всяком случае, Ваше Величество, я обещаю огласить ваши мемуары в печати. Сейчас это единственный способ, доступный нам с вами, чтобы довести ваши слова до слуха тех, которыми вы хотите быть услышаны.

— Выражаем вам свое благоволение. Просите, о чем хотите.

— Мне бы хотелось, Ваше Величество, чтобы прерванный пасьянс удался.

Золотая корона качнулась в знак согласия. Спрятавшись внутрь расщепленного угла одной из карт, я стал ждать дальнейшего. Вскоре раздались шаги возвращающегося профессора. Огромные руки его забегали по картам: я то взмывал, на своей бумажной плоскости, как на планере, в воздух, то скользил, вместе с нею, книзу. Меня обдавало запахом терпентина и табачной гари и трясло меж дрожащих пальцев старика.

Вдруг:

— Ага, а вот и вышло. Душенька, поди посмотри: вышло. А что я загадал, то загадал: гкх-гкх. Ну, теперь карты под подушку и все с б у д е т с я. Ыгкх-ыгкх.

Именно на этом и был настроен весь мой расчет: проникнуть к ней на ложе. Когда минуту спустя я, запертый вместе с королем червей внутри тесной и темной коробки, очутился меж матрасом и подушкой, что-то вроде стыда и сожаления забрезжило во мне: история о двух сердцах короля и ее плачевный конец звучали для меня почти угрозой. Мне вспоминалось строгое лицо наставника, беседовавшего всегда лишь с моим «большим сердцем», и я ясно понимал, что сюда, под чужую подушку, я приведен другим, маленьким, похотливо трущимся о ребра сердчишком. Предчувствие говорило мне: лишь великое сможет вывести меня из моей малости; малое замкнет меня в моем теперешнем бытии накрепко и навсегда. Но мне не дали долго размышлять: внутри коробки, вдруг мягко закачавшейся на матрасных пружинах, стал все сильнее и сильнее проникать смешанный запах терпентина и шипра. Кровь ударила мне в голову: быстро вскочив,

я побежал к ближайшей стенке футляра и, отыскав замочную щель его,— опрометью выпрыгнул наружу.

— Да-да, кстати: у вас под рукой штепсель. Темно: почти как тогда. Включите свет. Так. Теперь вижу: вы улыбаетесь, мой юный друг. Как и я: сейчас. Но тогда мне было не до улыбок.

Не успел я добраться до края наволочки, как началось нечто почти апокалиптическое: полотняная почва задергалась подо мной, вздымаясь шумными антиклиналями. Неизмеримо огромные массы тел задвигались с угрожающей силой вокруг меня. Чувствуя себя схваченным каким-то катаклизмом, я тщетно пытался ухватиться за край бельевой пуговицы, на которую меня швырнуло резким и стремительным толчком. Отовсюду меня било горячим ветром и отовсюду же нависали грозящие рухнуть и расплющить меня колоссальные толщи костей и мяса. Очевидно, профессор пробовал осуществить загаданное. Почти обезумев от ужаса и омерзения, то проваливаясь в складки разбушевавшегося полотна, то взлетая кверху, вместе с его вздувающейся и хлопающей, как парус под зюйд-остом, тканью, я вдруг, с разлету, наскочил на какое-то огромное, величиной в слона, движущееся и живое существо. Под прыгающим одеялом было абсолютно темно,— но моя ладонь, тянувшись в тьму, нащупала топорищащиеся твердые круглые чешуи чудовища. При первом же моем прикосновении оно взмыло куда-то вверх. И, представьте, страх, сцепивший мои пальцы вокруг одной из его чешуй, оказался спасительным: вместе с жестоким прыгуном я пролетел сквозь душную тьму и вместе с ним же упал книзу. Снова гигантский прыжок,— и тут уж я понял: блоха. Я доверчиво прижался к ее скользкому телу и в два-три перелета был за пределами катаклизма.

Но у наружного края матраца, куда меня вынес мой сказочный конь, пружины продолжали еще кряхтеть и шевелиться. Чуть отдышавшись, я стал спускаться по шелковым волосинам одеяла, отброшенного катаклизмом в сторону, книзу, стремясь поскорей добраться до половицы. Но резкий запах аммиака, ползший мне навстречу, путал мои дрожащие от отвращения пальцы, притом шелк скользил под подошвами,— я сорвался и полетел во тьму. Через миг какие-то гибкие ветви захлестали, точно розгами, по моему телу. Хватаясь

руками за их упругий изгиб, я, срывая кожу и ногти, рухнул книзу, что-то мягким обухом ударило меня по затылку,— и сознание во мне погасло.

Не скажу точно, сколько времени длилось мое забытьё. Когда мне удалось наконец открыть глаза, то первое, что я увидел, были стволы какого-то фантастического безлистного леса, причудливо сплетающегося надо мной свои комли. При тусклом брезге дня, еле проникавшем сквозь густую заросль, я разглядел, что стволы деревьев были разных цветов — от черного до светло-рыжего. В некоторых местах их толщина была сквозиста, так что сквозь одни стволы можно было смутно разглядеть контуры других. На рыхлой и будто изрытой кротовыми ходами песчано-желтой почве леса не было ни травинки и ни цветка: и даже самый запах этого нового для меня леса говорил не столько о цветах, сколько об обыкновенной дубленой коже. Очарование быстро рассеялось, так как я не мог не понять, что нахожусь не в заколдованном лесу Армиды, «губительницы храбрых», а под волосатым слом ковровой шкуры, положенной на пол, у двупальной кровати профессорской четы.

И тотчас же я вспомнил все. О, как жгуче я ненавидел тогда ее: если б я мог, то растоптал бы ее, как гадину, но, увы, от этого ей не было бы даже щекотно. И когда я, поднявшись на локте, попробовал сделать более резкое движение, стало ясно, что мне нельзя мечтать не только о мести, но даже о том, чтобы немедля покинуть шкуру, на которую ведь каждую секунду могла спуститься туфля профессора, плюща меня в ничто. Да, я был слишком неопасным соперником.

Но пока я продолжал неподвижно лежать в чаще шерстистого леса, мысль моя семимильными шагами шагала дальше и дальше.

Абстрагируя ситуацию, я начал с максим, так называемой народной мудрости: что ж, «слоны трутся, комаров давят». Затем от народной мудрости я перешел к мудрости не народной. Мне вспомнился трактат Канта о Лиссабонском землетрясении, а также примечательные размышления Аруэ Вольтера на ту же тему. Понемногу силлогизмы выводили меня за пределы узкого, вершкового горизонта, и я, смыв с себя желчь и эгоистическую накипь, стал представлять

себе недавнюю катастрофу на матрасе, жертвой которой я чуть не сделался, так сказать, *sub specie aeternitatis*¹.

Еще Аристотель сказал, — медитировал я, — что общество — это «большой человек». Допустим, но тогда, значит, я, попавший весьма некстати, меж двух для меня, маленького человечка, несомненно «больших людей», очутился в том положении, в котором личности, микро-человеку, суждено пребывать по отношению к обществу, то есть макро-человеку. Да, в тот день я чуть не сделался анархистом, мой друг.

Здоровье мое быстро поправлялось, и вскоре можно было перейти от размышлений к действиям. Как только я смог подняться на ноги, я побрел, еще не твердо ступая, от ствола к стволу, ища выхода из лесу. Но не тут-то было. Как Данте, заблудившийся в лесной чаще, я временами начинал думать, что близок даже не к середине, а к концу моего жизненного пути. И воспоминания, и предчувствия равно мучали мой утомленный мозг. Если б я мог, я бы бросил позади себя порог дома, завлекшего меня, черту города, в обводе которой я жил раньше, границу и берег страны, которой я был рожден и того ранее, — а между тем я, день к дню, бессмысленно блуждал среди унылых безлистных стволов, не в силах будучи выйти за пределы какой-то дурацкой, вонючей, пропыленной, в аршин длиной, мертвой шкуры.

В конце концов мне удалось достигнуть опушки. Я решил, прячась от подошв в половичные щели, добраться до порога профессорской квартиры и вернуться назад, к пузырьку. Но не успел я сделать и десятка шагов, как вдруг увидел новый лес, который, подобно Бинэмскому, сам двигался на меня. Я уже хотел было бежать назад, предпочитая неподвижный лес лесу, бегающему на своих корнях, но тот, бесшумно скользя, весь в облаках пыли, уже настиг меня. С ловкостью, выработанной во мне опытом последних дисс, я схватился за одну из его движущихся вершин, — и в то же мгновение мы заскользили, всем лесом, назад, вдоль половичной щели, по направлению моей мысли: к порогу. Лишь когда лес-самобег остановился именно там, где мне было нужно, и я осторожно, по

¹ С точки зрения вечности (*лат.*).

его наклонным вершинам, добрался до порога,—я понял, что выигрышем времени всецело обязан половой щетке, выметавшей меня в обгон мыслям вон из чужой квартиры.

Я оглядел прощальным взглядом мир моих злоключений и готовился перевалить через порог. Но внезапно тихий шуршащий звук привлек мое внимание. Я вслушался: шуршание овнятилось в слова. Правда, иные из них западали, как клавиши разбитого рояля. Считая, что порог за мной обеспечен, я пошел навстречу словам, желая разгадать феномен. Близясь к звуку, я очутился в куче скомканных паутин и сора, вместе с которым я странствовал на щетке. Сначала я не различал говоривших. Затем, взглядевшись, сквозь плетение паутин, внимательнее, я заметил несколько странных, мохнатолапых существ, которые, усевшись чинно в кружок, о чем-то беседовали. Мохнатолапые не замечали меня: двое из них, бывшие ближе всех к моему глазу, сидели, повернув ко мне узкие спины, обросшие серой, под цвет пыли, клочкастой шерстью. Ростом они были несколько ниже моего. Смысл их речей, сразу же заставивший меня притаить дыхание, сделал для меня ясным, что я присутствую на очередном заседании обыкновенных домашних Злыдней.

Еще год тому назад, работая по фольклору, я ознакомился довольно точно с нравами и обычаями этой мелкой домашней нежити, обычно ютящейся по стенным трещинам комнат и странствующей вместе с домашним сором из угла в угол, с тем, чтобы серой, скучнящей все пылью, пропылиться человеку в глаз и в уши, в мозг и в самые его мысли, делая ему работу неспорой, а жизнь неладной. Это Злыдни, засев внутрь игольного ушка, мешают, вороша мохнатыми лапками, вдется нитке в иглу; это Злыдни же, пробравшись внутрь уха, умеют зашептать одинокого на смерть. Не могло быть никакого сомнения: сейчас я слышал именно их.

— К порядку дня,—прошушукал старый серо-седой Злыдень, почесав круглым коготком облезлую сутулую спину.—С недавних пор стали поступать допесения, что от хозяина нашего трупом тянет. Значит, быть ему под лопатой. Верный признак. Предлагаю заранее обсудить: как нам быть с вдовой. Ширх, вы только что вернулись из командировки. Были ли вы

там, куда вас посылали: удалось ли вам, Ширх, добраться до губ хозяйки и записать ее шепоты. Ведь мысль людей любит прошептываться наружу и часто так, что и сами они этого не слышат. Итак, доложите собранию, каковы результаты.

В ответ послышался долгий и трудный кашель, после чего докладчик начал:

— Результаты таковы, товарищи Злыдни, что я промочил ноги и простудился. Вот.

Новый припадок кашля задержал на минуту речь.

— Дело в том, что подступы к бабьим ртам, как известно почтенному собранию, трудны—не за что уцепиться: ни волоска. Желая вернее выполнить свою миссию, я пробрался на любимую диванную подушку хозяйки, на которой она не прочь посумерничать, когда остается одна. После двух дней ожидания мне удалось—таки очутиться у самого ее лица, но вышло так, что место, в котором я находился, оказалось под одной из ее бровей. «Плохо»,—подумал я, так как знал, что отсюда до верхней ее губы добрый час ходьбы. Надо было не мешкать. Ведь каждую минуту она могла оставить подушку, и тогда ищи, где хочешь, ее бабьих шепотов. Я быстро зашагал, стараясь поспеть вовремя, но тут, как раз когда я продирался сквозь ее ресницы, огромными черными дугами упершиеся в золотое шитье подушки, на меня полил сверху соленый дождь. Я ускорял шаги, стараясь поскорее добраться до сухого места, но...

— ...но вы дошли все-таки до шепота?—перебил нетерпеливо председатель.

— Видите ли,—пробормотал Ширх,—выбравшись на сухое место, я присел, на минутку, чтобы переобуться. Только на минутку. Башмаки мои промокли насквозь. А у меня давний ревматизм. Не могу же я, ради бабьих слез, рисковать своим здоровьем.

— К черту ваше здоровье,—заскрипел председатель,—из-за вашего дурацкого переобувания вы выпустили из своих ушей то, за чем были посланы: слова. Как вы смели, шурший сын, явиться сюда без единого хозяйкиного слова.

— Ну одно-то я все-таки поймал. Правда, издали и краем уха. И, если собранию угодно...—он стал рыться коготками внутри своего вдруг зашуршавшего бумагами портфеля.

— Мы слушаем.

И среди наступившей мертвой тишины я услышал, как прозвучало мое имя.

И через много лет после этого я старался понять, как это могло произойти: Злыдень мог просто недослышать. Может быть, и я не расслышал недослышавшего Злыдня. А может быть... но к чему нам сейчас возиться со всеми этими «может быть». Важно одно: тогда я не усомнился. Радость, острая радость полоснула меня лезвием по сердцу. Вероятно, я даже вскрикнул или сделал резкое движение, потому что Злыдни вдруг замолчали и, пригнув головы к ступням, свернулись круглыми комьями пыли, слившись, до неразличимости, с серой грудой сорин и мусора. О, мой друг, никогда, ни прежде, ни после я не переживал того чувства прозрачной чистоты и растускленности духа, как здесь, внутри грязной кучи мусора, когда я, идя вслед за моим именем, ласково и печально звавшим меня, повернулся спиной к порогу и спешил, раздвигая канаты паутины, преграждавших путь, навстречу новым приключениям.

Конечно, лишь завязав глаза логике, можно было решиться на это безумие, но меня влекла та алогичная сила, которая притягивает железную пылинку к магниту и заставляет камень падать назад к земле.

Я находился на огромном прикрытом сверху темнотой квадрате прихожей, из которой расходились врозь три двери (о последнем обстоятельстве я узнал много позже). Тут не было ни восходов, ни заходов солнца, лишь изредка вспыхивало и гасло ввинченное неподвижно в зенит тускло-желтое светило, которое на прежнем своем языке я бы назвал электрической лампочкой. Ориентироваться было очень трудно, и нет ничего удивительного в том, что я спутал двери. Перейдя через один из трех порогов, я стал продвигаться вдоль половицы, не подозревая того, что вместо будуара я попал в лабораторию. Лишь когда вместо милого шипра мне оцарапало ноздри острым запахом ртути и спирта, я понял, что сбился с дороги. В дальнейшем я решил не доверяться моему миллимикронному шагу (о, если бы к моему бедру в те дни привести педометр, не знаю, хватило ли бы у него в его барабане цифр) и пользоваться, по возможности, более быстрыми способами передвижения. Сообразив, что

старый профессор ходит, и, наверное, регулярно, из будуара в лабораторию и обратно, я решил, подражая бацилле, о которой с таким страхом он однажды говорил, использовать его тело как некое старое, заклепанное судно для дальнейшего рейса.

Но вспомнив рассуждение Злыдня о подступах и подходах, я подумал, что мне опасно иметь дело с подметками шаркающей руины и что гораздо лучше будет устроиться где-нибудь внутри манжеты, что ли. Но доступ к манжетам был возможен лишь с плоскости рабочего стола, по которому шарили, ползая меж приборов, бумаги и склянок, волосатые пальцы ученого. Я решил действовать именно так: искусство брать высоту было мне уже знакомо. Не стану описывать, как после двух-трех дней борьбы за вертикаль, я наконец очутился на огромном лабораторном столе. Отовсюду сверкали металлические и стеклянные трубы. Взобравшись на край одного громадного сосуда, я увидел себя на крутом металлическом берегу синесерого овального озера. Сизые ртутные пары клубились над ним; это была ртутная ванна. Сильная головная боль заставила меня искать других мест для прогулок. Вскоре путь мне преградила стеклянная колоссальных размеров труба, вздутая снизу, наподобие того пузырька, который был виновником всех моих приключений. Подняв глаза кверху, я увидел, что стройный вертикальный стеклянный ствол трубы взят в черную и синюю череду делений и цифр: перспектива, умаляющая предметы, помогла мне понять, что это термометр. Справа и слева, в охвате огромных железных колец, виднелись ряды таких же в цифры одетых стеклянных башен, с острыми, сверкающими шпильками у вершин. Не было никакого сомнения: здесь работали над исследованием температур.

Вначале мне как будто повезло: после двухчасовой погои за пальцами профессора, ползавшими вслед за карандашом по блокноту, мне удалось-таки впрыгнуть на один из волосков и взобраться на бугроватый мизинец экспериментатора. Но через минуту мизинец, покинув бумагу, стал кружить, вместе со всей пятерней, над торчащей снизу, из железного обода, стеклянной трубой термометра. Любопытство подтолкнуло меня,—цепляясь за бугры кожи, я пробрался поближе к верхушке термометра: на ней не было стеклянного

шпиля («не запаян», — мелькнуло в мозгу), — и, свесившись с ближайшего к стеклу волоска, я мог видеть раскрывшуюся подо мной длинную дыру стеклянного колодца, над которым я наклонился, качаясь на волоске. В ту минуту мне и в голову не могло прийти, что вспугнутые мною Злыдни следят за вторгшимся в их дом существом и что один из них тут же, в трех шагах за моей спиной. И прежде чем я успел осознать опасность, что-то мохнатое прыгнуло мне на спину, вонзившись круглым когтем в кисть руки, охватывавшей волос. Застонав от боли, я попробовал стряхнуть с себя мохнатолапое что-то, цепко охватившее меня сзади. Но от этого волос, на котором повисли мы оба, качнуло еще сильнее, а коготь, разрывая мне рану, делал боль нестерпимой. Слабея, я разжал руку и полетел вниз в раскрытое жерло стеклянного колодца. Жгучая влага залепила мне рот, глаза и уши, но, все еще не теряя сознания, я, нырнув раз и другой, всплыл на поверхность, тщетно цепляясь руками за скользкие стенки. Но влага сама держала мое легкое тело полупогруженным, и вскоре, прислонив спину к стене колодца, я отыскал позу, дающую мне хотя бы подобие отдыха. Рана моя почти мгновенно стянулась, не кровоточа, а два-три глотка той жидкости, поверх которой я всплыл поплавком, наполнили мою голову вопреки всему случившемуся радостным шумом, а мышцы — жаждою борьбы: термометр, очевидно, был спиртовой.

Однако, когда первое действие спирта кончилось, и возбуждение упало, я начал чувствовать признаки тоски и страха. Но естественная сонливость, приходящая вслед опьянению, спутала все в моей голове, и я крепко заснул, ногами в спирт, головой в стекло.

Открыв глаза, я увидел: дыра, зиявшая сверху, была остеклена. Я оставался совершенно один, в наглухо запаянном термометре. Выход в жизнь мне, пылиночному человечку, был невозможен: замурованный навсегда в стекле, я должен был ждать лишь одного — смерти.

Однако смерть не приходила: казалось бы, остекленная пустота с выкачанным воздухом должна бы быстро отнять дыхание, а там и жизнь. Но, очевидно, желтая тинктура придавала моему телу особую, повышенную смертеупорность. Я и раньше удивлялся своей

способности подолгу оставаться без пищи, выдерживать сильные толчки, а главное, той несоразмерной моему теперешнему росту силе, которая позволяла мне преодолевать, казалось бы, и непреодолимые препятствия. Сейчас все это лишь затягивало борьбу, не давая ни малейшей надежды на успех. Злыдни, в дела которых вздумал было я вмешаться, ликвидировали меня: будь я еще там, у тонкого стеклянного шпиля термометра, я мог бы еще надеяться проломать тонкую стеклянную крышку тюрьмы, но здесь, внизу, среди толстых прозрачных стен, я был похож на муху, безнадежно бьющую крылышками об оконное стекло. Да, черная десятка точно предсказала мне мою судьбу. Мир был близко, тут, за стеклянной стеной, но я навсегда был отрезан от него и выключен из бытия. С мучительной ясностью я вспоминал образ женщины, завлекшей меня сюда, внутрь остекленной пустоты, и страстная жажда вернуться в тот мир, где она, овладевала мною: я бился головой о стеклянные стены термометра, прильнув к ним лбом, искал глазами среди маячащих из-за стен контуров очертание ее,— но у глаз адела лишь обратным выгибом цифра 18. Термометр стоял на 18-ти.

Однажды поутру, глянув на стекло, я увидел, что 18 выросло в 20. Не прошло и часу, как 20 поползло куда-то книзу, а сверху надвинулось 21, потом 22. Лифт пришел в движение и медленно подымал меня кверху. Теперь, вглядываясь в стеклянный купол своего колодца, я заметил, что он значительно ближе. Поднявшись еще на два-три деления, я увидел широкую царапину, ползшую зигзагами по внутренней поверхности стеклянного колодца к месту запайки. Правда, от нижнего края царпины, представлявшейся мне довольно глубокой рытвиной, меня отделяло еще семь или восемь цифр, чередой подымавшихся по наружным стенкам термометра,— но тотчас же план освобождения, если только оно было возможно, стал ясен сознанию: ждать, пока температура не подымет до царпины, а там, цепляясь за ее края, ползти вверх, по зигзагам к хрупкому и тонкому куполу, проломать его, и...

Сердце расстучалось во мне от волнения. Я торопил медлительные цифры. По ночам я не спал, стараясь и сквозь темное стекло угадать смену их красных

контуров. До края царапины оставалось лишь два деления. Но когда я, дождавшись рассвета следующего дня, готовый начать свой путь к свободе, взглянул наружу, то увидел, у самых глаз, очертание оставленной позади цифры: термометр опускался. Очевидно, период поздних летних жар закончился, там, за стеклом, был уже август,—и сейчас, видя, как зигзагообразная рытвина медленно уползает кверху, я в отчаянии думал, что раньше весны мне никак не добраться до ее края.

Но судьба продолжала дразнить меня: не прошло и нескольких дней, как контуры предметов за стеклом переменялись. Вокруг меня заползали длинные тени, термометр раз и другой сильно качнуло, и мое тело, опустившееся было до цифры 14, вдруг быстро стало подниматься от цифры к цифре вверх: очевидно, мы с термометром участвовали в каких-то опытах по термодинамике. Следя за сменой цифр, я чувствовал себя, как путешественник, который после долгих странствий возвращается на родину и, глядя сквозь стекло вагона на плывущие мимо глаз названия станций и полустанков, ждет последней пересадки, обещающей ему близкий отдых и радость встреч.

Я видел ее, дразнящую своим уползающим вверх зигзагом, проклятую рытвину, видел, почти у глаз: еще толчок, еще одна калория, и я бы дотянулся пальцами до ее края, и тогда... но спасающая черта снова стала отдаляться. Сдерживая накапливавшееся во мне бешенство, я успокаивал себя, говоря, что опыты еще будут повторены, что еще не раз старый профессор будет меня гонять по вертикали вверх и вниз, пока я не достигну-таки, рано или поздно, нужной мне черты.

Но опыты не повторились. И странно: самые движения контуров и теней, окружавших меня ранее, почему-то прекратились. Я долго ломал себе голову, стараясь понять причину внезапной обездвиженности мира за стеклом, пока одна фраза из разговора Злыдней, всплыв как-то в памяти, не дала более или менее вероятного объяснения происходящему. Наверное, профессор серьезно заболел и работа в лаборатории остановилась. Тысячи предположений, одно другого мрачнее, закопошились в моем мозгу: если она,—думалось мне, сделается свободной, то как захочет она использовать свою свободу? И нужно ли мне, здесь,

в стеклянном мешке, ждать освобождения от весеннего тепла: весны делают свое дело не только внутри стеклянных трубок, но и внутри артерий и вен; она юна, нас ничего не связывает, кроме десятка случайных встреч на лестнице и у подъезда, мы не сказали друг другу ни единого слова, кроме того, которое украли у нее Злыдни,— и на что могу рассчитывать я, человек внутри стеклянной пустоты.

Нервы мои были натянуты до последней степени. И когда однажды, глянув сквозь толщу стекла, я увидел одного из Злыдней, который, уцепившись снаружи за слой краски, из которой была сделана цифра, с злорадным любопытством разглядывал меня, диковинное существо, изловленное ими в стеклянную клетку, я не выдержал и закричал от стыда и гнева, но крика не получилось: безвоздушная пустота убила его прежде рождения, и я бессильно и беззвучно бился внутри своего колодца.

Только теперь я догадался, почему контуры и тени, отмаячившие вокруг меня, все время были беззвучны: приди сейчас о н а и повтори мне т о слово, я, включенный в безвоздушие, не мог бы услышать его. Я дошел до той черной черты, дальше которой нельзя. Меня жалили мысли, и я решил вырвать им их жало: не видя иного способа, я стал пить. Ведь я плавал поверх спирта: стоило мне лишь нагнуться, и после десятка глотков в голову всачивалась муть, мысли качались и тухли. Сознание, перед тем как погаснуть, вспыхивало причудливыми грезами и фантазиями: самый запах спирта преображался в тонкое благоухание шипра и по мерцающему стеклу прозрачной темницы, как в сказке Андерсена, ползали скользкие и пестрые сны.

Проснувшись с головной болью, я оглядывал все тот же обездвиженный и обеззвученный мир вокруг меня и снова гасил сознание спиртом: вскоре можно было заметить, что я, говоря без всяких метафор, о п у с к а ю с ь: деление за делением, цифра за цифрой. Видя уходящий, с каждым днем все дальше и дальше от глаз потолок, понимая, что жажда моя, делавшаяся неутолимее от дня к дню, тянет меня к дну и отнимает единственный шанс, я пробовал бороться с нею, и не мог: спирт убывал, и вместе с ним опускался книзу и я. Внутри своего безвоздушия я не слышал, как отпевали старика-профессора, и с пьяных глаз не уловил момен-

та, вероятно, внезапно возникшей вокруг меня похоронной суетни и движения: я уже успел привыкнуть к тому, что алкоголь раскачивал и шевелил контуры и тени, в которые был впутан я, и утратил грань между реальным и нереальным. Поэтому я не сразу осознал, что произошло, когда меня вдруг ударило звуком о слух и сильно и резко швырнуло в сторону. Привычным движением я потянулся к стенке, но вместо стенок была пустота. Сразу же, отряхнув с себя хмель, я недоуменно огляделся по сторонам: ни справа, ни слева, ни сверху стекла не было; я стоял, ясно чувствуя опору под собой, по грудь в луже спирта, неподалеку же сверкала огромная глыба битого стекла, а об уши бился чей-то грузный удаляющийся шаг. Как я узнал впоследствии, термометр, в котором я провел шесть месяцев сряду, был разбит случайно, во время той обычной уборки и перестановки вещей, какая происходит после похорон, когда нужно как-то по-новому заполнить пустоту, оставленную той вещью, которую вынесли, запрятав в гроб, прочь из привычного сцепления вещей и тел с вещами и телами.

Но в самый момент освобождения я мало был склонен к размышлению о причинах и следствиях: нежданно брошенный из смерти в жизнь, я с трудом верил своему счастью,— и, боясь, что стеклянный мешок снова сомкнется вокруг меня, я то шел, то бежал, боясь, что смерть возобновит свою погоню.

Теперь я точно знал, куда иду: к склянке и к знаку. Я уже видел себя в своем прежнем большем теле, я уже видел мои встречи с нею, но по пути мне все же надо было опасаться ее подошв; попади я сейчас, до преобразования, под одну из них, и меня бы вывели вместе с сором и пылью вои, не удостоив даже тех торжественных обрядов, какие были применены к праху старого профессора.

В дальнейшем возвратный мой путь был довольно благополучен: достигнув порога, я очутился на лестнице. Ступеньки ее были для меня опасны: я стал спускаться по железной штанге, скрепляющей их сбоку; ее ровный наклон и скользкая поверхность позволили мне сократить время путешествия, спускаясь по ней сверху, как по ледяной горе. Раньше чем я мог рассчитывать, я был у двери, вводящей в мою комнату. Добраться до замочной скважины было

чрезвычайно трудно. После двух-трех неудачных попыток я стал искать иной лазейки: вскоре узкая щель меж порогом и дверью помогла мне, правда с трудом, но протиснуться в свое старое обиталище. Затем два дня форсированного марша вдоль хорошо знакомой мне половицы, и я снова стоял у стеклянного туннеля-склянки. Помню, у самого входа в стеклянный колодезь склянки, как ни жадно стремился я к ней, я на минуту задержал шаги: после всего, что произошло, я боялся входить внутрь стекла; мне казалось, что я могу быть опять изловлен в стеклянный мешок. Но, преодолев пустой страх, я, конечно, достиг магического знака и коснулся его; в тот же миг будто что взорвалось в моем теле: разбухая со страшной силой, оно заполнило всю полость туннеля; стеклянные стены его хрустнули, как скорлупа яйца; а тело, все разбухая и разбухая, возвратило меня в мою прежнюю меру и в старое пространство.

Я сделал шаг-другой к двери, в одну секунду свершая труд моего прежнего страннического дня,— и вдруг услышал топот подошв и шум голосов за доской двери. В первый момент близкий звук подошв заставил меня инстинктивно скорчиться и искать укрытия, чтобы не быть раздавленным. Но, вспомнив, что превращение уже позади, я громко засмеялся и, отыскав ключ, подошел к двери. За дверью как-то тревожно, почти испуганно, зашептали. Помедля минуту, я вдел ключ в замочную скважину, но, странно,— бородака его встретилась с бородакой другого ключа, одновременно сунувшегося в скважину снаружи. Столкнувшись, оба ключа тотчас же выдернулись обратно.

— Кто там? — спросили нетвердым голосом.

Я спокойно назвал себя. И тотчас же я услышал шум убегающих подошв. Недоумевая, я вложил ключ в опроставшуюся скважину и отщелкнул замок. Что-то мешало снаружи открыть мне дверь: я дернул сильнес, дверь распахнулась, а у ног моих на обрывках веревки лежала сломанная сургучная печать. Очевидно, комната моя, в месяцы безвестного отсутствия, была опечатана, и комиссии, пришедшей вскрыть ее, довелось встретиться с безвестно отсутствующим, проникшим в свою комнату сквозь опечатанную дверь. Мои прежние серьезные занятия обеими магиями не создали мне ореола, но достаточно было одного глупейшего

случая со стальными бородками, ткнувшимися друг в друга, чтобы создать мне славу новоявленного Калиостро. Да, мой милый, люди никогда не умели отличить мистерии от фокус-покуса.

II

Когда я, днем позже, встретился с той, с которой потерял было надежду встреч, мы обменялись улыбками и поклоном. Ее лицо было обернуто в складки крепа, под ногами стлался скрипучий мерзлый снег, но во мне, обгоняя медленные календарные листы, уже наступала весна. И когда из-под оттаявших булыжин города поползла, тискаясь в щели, анемичная желто-зеленая травка, а синие стебли уличных термометров тоже стали длинниться навстречу солнцу,— и я и она, мы перестали прятать друг от друга те простые, но вечные слова, которые по весне вместе с почками, зябко втиснувшимися в ветви, прорывая тусклую кожуру, лопаются и раскрываются наружу, в мир.

Скоро я стал частым гостем в стране моих долгих и трудных странствий. Мы не стали выжидать, пока черви, как полагается, доедят профессора,— и отдались друг другу. Счастливую развязку ускорило и то, интригующее мою возлюбленную всезнание, которое я обнаружил, рассказывая ей, в первых же наших беседах, о всех интимнейших деталях ее жизни, которые знали лишь она, Злыдни да я. Многие во мне пугало ее и казалось странным, но таинственность и страх верные союзники на пути к женскому сердцу.

Время быстро катило вперед, и часовая стрелка, высунувшись из его кибитки, задевала о дни с той же быстротой, с какой пшпага Мюнхгаузена стучала, при тех же обстоятельствах, о верстовые столбы. Сначала я отдавал любимой женщине все досуги; потом досугов не хватило — я стал красть для нее время у рабочих дней. Учитель мой хмурился.

— Предупреждаю вас, — сказал он мне однажды, — если история о двух сердцах, которую открыла вам моя желтая тинктура, ничему вас не научила, — мне придется прибегнуть к склянке с синими каплями. Сила стяжения, скрытая в них, много больше. Но и испытание, и путь, таимые в ней, труднее и жестче.

Я не донес с собой слов учителя дальше порога. И так как я обронил слова, то вскоре мне предстояло получить пузырек, полный притягивающих, но страшных возможностей.

Тем временем солнечно-ясный мирок, в котором я продолжал жить, стал мутнеть и блекнуть, и любовь моя, день ото дня, становилась все тревожнее и печальнее. Глаза подруги глядели уже не так и были уже не те. К ясному звуку ее голоса примешались какие-то мучающие обертона, к меду — полынь, а к вере — подозрение и ревность. Иногда я видел в руках ее какие-то узкие конверты, инстинктивно отдергивающиеся от моего взгляда; иной раз, придя раньше условленного часа, я не заставал ее дома; раз или два, во время внезапной встречи с пей на улице, я подметил выражение досады и испуга, скользнувшее по ее лицу. Объяснения ее были как-то спутаны и гневно возбуждены. Мне отвратительны нелепые сцены или хотя бы расспросы: я молчал, но серая паутина подозрений оплеталась вокруг меня все цепче и цепче, и какие-то пыльные дробные мысли топтались на серой корке мозга.

— Кто знает, — говорил я себе, — если Злыдни столкнули меня тогда в пустоту, то не они ли толкнули под руку того, кто ее уронил и тем раскрыл для меня мою прозрачную тюрьму. Да, я чувствовал, как серые мохнатопалые Злыдни заворошились во мне, полня собою мои глаза и уши, — и я стал думать, что только им, неприметным, ведомы все те неприметности, которые, оседая серыми пылинными слоями, мучили меня и не давали мне жить. Я — существо, вернувшееся в свое неповоротливое и огромное тело, — потерял сейчас власть над ускользающей от касания и видения неприметностью, в которой и пряталось то мучащее меня ч т о-т о, которое превращало все «да» в «нет», все «ты» в «он».

— Что ж, — размышлял я, — может быть, опять предпринять путешествие к Злыдням? Они знают. Но захотят ли они сказать? И чему больше верить — нежителям или жизням: моей и ее?

Помню, эта мысль впервые затлепа во мне в одни из сумерек, когда я, — что теперь все чаще и чаще случалось, — сидел в будуаре, дожидаясь знакомых легких шагов. Но она все не приходила.

Помню, в нетерпении я поднялся и зашагал из угла в угол: под подошвы мне то и дело попадалась мягкая

шкура, глушащая шаги. Вдруг я остановился, помню и это ясно, и, став на колени, долго и пристально рассматривал рыже-бурую шкуру, вороша ее шерсть меж пальцев. Воспоминания вдруг хлынули на меня — и я, день за днем, час за часом, с лицом, наклоненным над густой щетиной ковра, повторял труды и мысли оставленного позади пути.

— Опять заблудился,— прошептал я и поднялся с колен. Новый путь звал меня. Наутро я получил от учителя синюю тинктуру. Оставалось лишь сделать некоторые приготовления и довериться будущему, ждущему меня под притертой пробкой еще не вскрытой склянки. От неизвестности, всочившейся в меня, я бежал в неизвестность, запрягнутую внутрь синих капель. Настало время: сменить стук сердца на стук шагов.

Мой второй старт состоялся в один из дней ранней осени. За окном ветер рвал и комкал листья и швырял пылью в окна. Я не застал ее — женщины, которую любил: это, конечно, несколько меня не удивило. В прощаниях я не нуждался.

На привычном месте, у края будуарного столика, лежали ее любимые, старинной работы, часики. Сегодня она забыла и их.

С минуту я слушал звонкое тиканье, напоминавшее чей-то мерный и дробный шаг, а потом подумал: пора. Сняв одутлое, хрупкое стеклышко с циферблатных цифр, я вышил тонким напильником, припасенным заранее, еле заметную треугольную выемку в край стекла. Затем вставил его обратно. Теперь для меня имелись проломные воротца, вводящие на белую поверхность циферблата.

План мой был прост: зная, что женщина, одиночество которой я хотел изучить, редко когда расстается с этим вот металлическим, тихо тикающим существом и часто ищет своих условленных минут и сроков у остриев шевелящихся стрелок дискообразного существа, я решил поселиться на скользкой, эмалевой коже его циферблата и сквозь прозрачный купол наблюдать за всем происходящим.

Проделав операцию, сплющившую меня в существо много меньше Злыдня, я без труда отыскал треугольную лазейку. Когда я вступал на край циферблата, часовая стрелка, против острия которой я впилил

свой импровизированный вход, успела отползти от носительно недалеко, и, повернувшись влево, я мог ясно видеть ее, черным и длинным висячим мостом протянувшуюся над головой. Металлический пульс, резонируя о стеклянную навесь высоко вверх уходящего свода, с оглушительным звоном бился о мои уши. Сначала огромный белый диск, по которому я шел, направляясь к центру, сразу же мне почему-то напомнивший дно круглого лунного кратера,— долгое время казался мне необитаемым. Но вскоре мной овладело то ощущение, какое испытывает путник, проходящий, во время горного подъема, сквозь движущиеся, смутно видимые и почти неосязаемые облака. Лишь после довольно длительного опыта и я стал различать те странные, совершенно прозрачные, струящиеся существа, которые продергивались мимо и сквозь меня, как вода сквозь фильтр. Но вскоре я все же научился улавливать глазом извивы их тел и даже заметил: все они, и длинные, и короткие, кончались острым, чуть закорюченным, стеклито-прозрачным жалом. Только пристальное изучение циферблатной фауны привело меня к заключению, что существа, копошившиеся под часовым стеклышком, были б а ц и л л а м и в р е м е н и .

Бациллы времени, как я вскоре в этом убедился, множились с каждым дергающимся движением часовой, минутной и даже секундной стрелки. Юркие и крохотные Секунды жили, облепив секундную стрелку, как воробьи ветвь орешника. На длинной черной насести минутной стрелы сидели, поджав под себя свои жала, Минуты, а на медлительной часовой стреле, обвив свои длинные, членистые, как у солитера, тела вокруг ее черных стальных арабесков, сонно качались Часы. От стрел, больших и малых, отряхиваемые их толчками, бациллы времени расползались кто куда: легко проникая сквозь тончайшие поры, они вселялись в окружающих циферблат людей, животных и даже некоторые неодушевленные предметы: особенно они любили книги, письма и картины. Пробравшись в человека, бациллы времени пускали в дело свои жала: и жертва, в которую они ввели токсин длительностей, неизбежно заболела Временем. Те из живых, на которых опадали рои Секунд, невидимо искусывающие их, как оводы, кружащие над потной лошадыо,— жили

издерганной, рваной на секунды жизнью, суетливо
загнанно. Те же... но, воображение вам, мой друг,
доскажет лучше моего.

До своих блужданий по циферблатной стране
я представлял себе, что понятия порядка и времени
неотделимы друг от друга: живой опыт опрокинул эту
фикцию, придуманную метафизиками и часовщиками.
На самом деле сумбура тут было больше, чем порядка!
Правда, почти каждая, скажем, Секунда, вонзив в мозг
человеку жало на глубину, равную себе самой, тотчас
же выдергивалась из укушенного и возвращалась назад
под циферблатное стекло доживать свой век в полной
праздности и покое. Но случалось иногда, что бациллы
времени, выполнив свое назначение, не уступали места
новым роям, прилетевшим им на смену, и продолжали
паразитировать на мозге и мыслях человека, растрав-
ляя пустым жалом — свои старые укусы. Этим несчаст-
ным плохо пришлось в дни недавней революции: в них
не было... м-м... иммунитета времени.

О, да, мой друг, уже несколько лет спустя, работая
в своей лаборатории, я положил много труда, стара-
ясь, подобно Шарко, изготовившему свою противо-
чумную сыворотку, дать страждущему человечеству
прививку от времени. Мне проблема не далась:
значит ли это, что она не дастся и другим?

Мой первоначальный план пришлось в корне изме-
нить: то, чего я искал за стеклом, оказалось тут, под
стеклом. Все прошлое моей возлюбленной, правда, ра-
зорванное на мгновения, ползало и роилось вокруг меня.

Как-то случайно, изловив одну из юрких секунд,
я, несмотря на ее злобное цоканье и тиканье, крепко
сжал ее меж ладоней, всматриваясь внутрь ее бешено
извивавшегося тела, — и вдруг — на прозрачных изви-
вах Секунды стали проступать какие-то контуры
и краски, а цокающий писк ее вдруг превратился в не-
жный звук давно знакомого и милого — милого го-
лоса, прошептавшего, тихо, но внятно, мое имя.
Я вздрогнул от неожиданности и чуть не выпустил из
рук изловленного мгновения: несомненно, это была та,
выслеженная Злыднями Секунда, которая вела меня,
уже несколько дней кряду, и сквозь радость и сквозь
страдание. Теперь она была в моих руках: отыскав
тонкий и гибкий волосок, я стянул его петлю вокруг
бессильно шевелящегося жала Секунды и стал водить

ее всюду за собой, как водят комнатных мопсов или болонок.

Дальнейшая моя охота за бациллами времени только подтверждала феномен: очевидно, бациллы длительностей, введя в человека время, вбирали в себя из человека в свои ставшие полыми железки содержания времени, то есть движения, слова, мысли,—и, наполнившись ими, уползали назад в свое старое циферблатное гнездовье, где и продолжали жить, как живут отслужившие ветераны и оттрудившиеся рабочие.

Однако, если я наблюдал и изучал эти странные существа, то и сам я, в свою очередь, подвергся слежке с их стороны. Мои несколько хищнические повадки, конечно, не могли им особенно нравиться. Раздражение, вселенное мною в аборигенов циферблатной страны, от дня к дню возрастало и ширилось. Особенно опасным оказалось для меня то обстоятельство, что среди роя отделившихся длительностей оказалось несколько миггов, еще задолго до этого сильно пострадавших от меня и давно уже сеявших недобрые слухи о непрощеном пришельце. Дело в том, что еще под действием желтой тинктуры мое тело, как вы, вероятно, помните, так быстро и внезапно сплющилось и стянулось в малый комок, что бациллы времени, ютившиеся в моих порах, внезапно были ущемлены и с трудом могли выползти наружу. Эти-то инвалиды и обвиняли меня в злонамеренном покушении на их жизнь. Так как я плохо еще понимал металлически-цокающие и тикающие звуки бациллового языка, то и не мог вовремя предупредить опасность, тем более что самое время восстало тут против меня.

Началось с того, что те самые крохотные по размерам бациллы длительностей, какие сейчас, при всем моем умалении, обитали внутри меня, под давлением общего настроения решили бойкотировать меня, и на некоторое время я остался без времени. Мне не сыскать слов, чтобы хотя мутно и путано передать испытанное мною тогда чувство обезвременности: вы, вероятно, читали о том, как отрок Якоби, случайно ударившись мыслью о восемь книжных значков *Ewigkeit*¹, испытал н е ч т о, приведшее его к глубокому

¹ Вечность (нем.).

обмороку и длительной прострации, охватившей вернувшееся вспять сознание. Скажу одно: мне пришлось вынести удар не символа, а того, что им означено, войти не в слово, а в суть.

Бациллы времени вернулись в меня, но лишь затем, чтобы подвергнуть мучительнейшей из пыток: пытке длительности. Включенный опять во время, я, раскрыв глаза, увидел себя привязанным к заостренному концу секундной стрелки: мои руки, мучительно выгнутые назад, терлись о заднее лезвие движущейся стрелы, переднее же ее лезвие, вонзаясь мне в спину, сильными и короткими толчками гнало меня по делениям секундного круга. Вначале я бежал что есть мочи, стараясь предупредить удары лезвием о спину. После двух-трех кругов я ослабел и, истекая кровью, с полунотухающим сознанием, свис со стрелы, которая продолжала меня тащить вдоль мелькавших снизу делений и цифр. Но страшная боль от копошащегося в теле лезвия заставляла меня, собрав силы, опять бежать вдоль вечного круга среди злорадно раскокавшихся и издевающихся надо мной Секунд. Во время гражданской войны мне довелось как-то мельком видеть, как конный осетин, закинув аркан на тонконового жеребенка, тащил его за собой: животное не поспевало за натянувшимся канатом, тонкие и слабые ноги его путались и подгибались, но веревочная петля тянула его спиной и брюхом по камням шоссе и заставляла бежать и падать, падать и вновь бежать на искалеченных и дрожащих ногах.

Пытка продолжалась без перерыва: и я знал, что моя возлюбленная, оставшаяся там, за стеклом, каждый день заводит свои часики, толкающие лезвия, к которым я был привязан, все снова и снова вперед. Однажды, во время моего кровавого пути, какая-то легкая движущаяся тень прохладными черными пальцами прикоснулась к моей включенной и потной голове. Я поднял глаза: прямо надо мной медленно плыла огромным плашмя занесенным надо мною мечом стрела, указующая часы. И вдруг среди отвратительно цокающих бацилл я услышал тихий шуршащий голос, заговоривший со мной по латыни:

— *Omnia vulnerant, ultima necat*¹.

¹ Надпись над секундными делениями старинных шорихских часов: «Все ранят, последняя убивает».

Всмотревшись по направлению звука, я увидел у самого края повисшей надо мной стрелы привязанное, как и я, прозрачно-серое, кристаллической формы существо, сочувственно мне замерцавшее своими живыми гранями. Я было хотел ответить, но неумолимая секундная стрелка уводила меня куда-то в сторону от неожиданного собеседника, и когда, протащив меня по кругу, она вернулась к прежнему делению, острия наших стрел уже развело и дальнейшая конфиденциальная беседа была невозможна. Но слова сочувствия, оброненные незнакомцем, придали мне силы — бороться и жить. До новой встречи с часовой стрелкой мне предстояло семьсот двадцать полных кругов, и каждый круг стоил доброй Голгофы.

Рассказ кварцевого человечка, с которым нас сводили лишь на минуту-другую наши пересекающиеся пути, чтобы тотчас же на бесконечно долгие часы развести врозь, сложился постепенно, сросся из малых кусков, как мозаика из разных камешков. Вот он:

— В это циферблатное захолустье я попал, как и вы: властью судьбы. Бесполезно пытаться разгадать ее загадки. Много веков тому назад мне довелось жить в ином, родном моей песочной природе, мире. Это не был глупый и плоский циферблат, о, нет, вместе с толпами других песчин, общительно и доверчиво тершихся друг о друга, я был вселен в прекрасный из двух сросшихся вершинами стеклянных конусов сотворенный мир. — Мой новый знакомец говорил чуть витиевато, притом я слабо разбирался в латинской фразеологии, и потому не сразу понял, что речь идет о песочных часах. — Вначале я находился в верхнем конусе. Там было шумно, весело и юно. В нас жили души грядущего. Мы, несвершившиеся миги, толкаясь гранями о грани, с веселым шуршанием проталкивались к узкому часовому устьюцу, отсчитывающему бег настоящего. Каждому из нас хотелось скорей пролезть в это настоящее и прыгнуть, в обгон другим, в его узкую, схваченную стеклом дыру. Стремление онастоящиться охватило меня с непреодолимой силой: опадая вместе с слоями других, пробующих обогнать меня песчинок, я, пользуясь отточенностью своих граней и относительно тяжелым весом, царапая и расталкивая соперников, довольно быстро протискался к яме. Скользя меж двух-трех, напрасно пы-

тавшихся мне преградить дорогу бегунов, я прыгнул в вдруг разверзшуюся подо мной пустоту. Правда, в последнее мгновение какой-то страх схватил меня за грани, но было уже поздно: сверху давила масса бегущих вдогонку мне песчин, а скользкое стекло толкало внутрь новой конусом раскрывшейся остекленной пустоты. И, пролетев через нее, я больно ударился о верхний слой песчин, с трупной неподвижностью устилавших дно запрокинутого вершиной кверху конуса. Я пробовал было пошевелиться, мне хотелось назад, в тот верхний полумир, из которого я, одержимый безумием, бежал сюда, на кладбище отделившихся мгнов. Но я не мог сделать ни малейшего движения: пути, связывающие меня сейчас, ничто в сравнении с той обездвиженностью и конечностью, какие овладели мною тогда. Лежа, с гранями, недвижимо втиснувшимися меж граней других падших мгнов, я видел, как новые и новые их слои все глубже и глубже погребали меня среди заживо мертвых.

Казалось, все было кончено,— вдруг резкий толчок опрокинул все наше кладбище дном кверху, и мы, отделившиеся длительности, вывалившись из вздыбившихся могил, снова ринулись в жизнь. Очевидно, произошла какая-то космическая катастрофа, опрокинувшая бытие и заставившая отглевшее и незатлевшее, прошлое и грядущее, обменяться местами. О, да, тот двудонный мир, который мне пришлось поменять на вот эту глупую черную насесть, мог то, чего иным мирам не дано. И если бы...

Тут я прервал говорившего. Механизм часов не раз разлучал наши слова. Я боялся, что мне не хватит биений сердца до новой встречи: надо было торопиться.

— Мне все равно,— сказал я,— пусть ваша вселенная лишь простые песочные часы. Я хочу быть там, где прошлое умеет превращаться в грядущее. Бежим. Бежим в вашу двудонную родину, в страну странствующих от дна к дну. Потому что я — человек без грядущего.

Пока я говорил, лезвие стрелы успело увести меня так далеко от собеседника, что я не мог расслышать его ответного шуршания. Кричать было опасно: вокруг сновали бациллы времени. Я замолчал и, напрягая последнюю волю и последние силы, продолжал свой

бег, кровавая циферблат израненными ступнями. Я потерял счет черным делениям круга, бегущим мне навстречу. В глазах у меня плыла кровавая муть, и казалось, что сердце бьется на истонченной, готовой вот-вот оборваться нити. «Конец»,— подумал я в предсмертной истоме и вдруг увидел себя расprostертым вдоль черных делений круга, с руками, свободно распластанными по эмали. Что-то серое и острогранное, ласково шурша, возилось около меня, стараясь оттащить меня в сторону от черных черт.

— Скорей,— прошуршало над ухом,— через полминуты стрелка вернется. Мужайтесь. Держитесь вот за эту грань: так. Идем.

И мой спаситель, переваливаясь, как танк, с грани на грань, тащил меня к циферблатному центру.

Понемногу я стал приходить в себя и мог, хотя и с большим трудом, идти без посторонней помощи. Из двух-трех торопливых фраз, брошенных спутником, я узнал, что острые грани его кварцевого тела помогли ему перерезать путы и что сейчас нам надо спрятаться от возможной погони внутрь часового механизма. Когда я сообщил спутнику о треугольной лазейке у края циферблата, он было заколебался, но когда мы повернули назад, было уже поздно: длинные цепи прозрачных бацилл ползали по белому циферблатному полю, стараясь охватить нас в кольцо. Я видел, как злобно ворошились их жала и как тела их, неслышно изгибаясь, не оставляя ни тени, ни отражения внутри стеклистого диска, с каждым извивом были все ближе и ближе.

— В механизм. Больше некуда,— проскрипел Спутник, злобно ворочая кремнистыми ребрами.

— Но как?

— Хронометр стар; трением оси размолотило эмаль: попробуем протиснуться.

Для меня это было не слишком трудно. Но моему танковидному спутнику пришлось долго хрустеть своими ломкими гранями, прежде чем околоосевая щель была взята, и мы оба, цепляясь за зубья и винты, стали осторожно нырять внутрь движущейся тьмы часового механизма. Сначала наши глаза ничего не различали: потом смутное алое свечение помогло нам различить какие-то очертания и контуры стальных выступов, шумно трущихся и со звоном ударяющихся друг о друга.

Это был свет, сочащийся из самоцветного тела рубинов, вправленных в сталь: их прозрачная флуоресценция вела нас своими дрожащими алыми бликами с зубца на зубец, часто спасая от их страшных ударов, протянувшихся из темноты.

— Ну, эти плоскохвостки сюда не посмеют,— презрительно выскрипела песчинка.— Только и умеют, что ползать вслед за своими стрелками, а в двудонность ни-ни. И подумать,— добрюзжал он недовольными осыпающимися словами,— до чего дожили: время и то приплющено к диску.

Я не разделял философских взглядов моего древнеримского друга: но сейчас меня интересовала не метафизика времени, а вопрос о том, как нам выбраться из-под наглухо защелкнутой задней крышки часов. Сев под шевелящимися красными лучами рубина, мы долго дискутировали на эту тему. Я предлагал, выждав время, все-таки попробовать, вернувшись на циферблат, прокрасться к лазейке. Но мой друг не желал вторично рисковать своими ребрами и предлагал более замысловатый проект.

— Отчего бы нам не попытаться остановить часы? Ведь стоит выдернуть волосок, движущий вот это все, что вокруг, и нас, вместе с всей этой стальной неразберихой, отдадут в починку: крышка отщелкнется и откроет путь.

И мы пошли, вернее, поехали на кружащих зубцах, изредка пересаживаясь с карусели на карусель. Диаметры кружащей стали становились все короче, пока, наконец, самое малое колесико не подвезло нас к ровно дышащей спирали, то сжимавшей, то разжимавшей свое змеевидное тело в красных бликах, проникавших откуда-то сверху.

— Я им разрушу их мастерню времени,— прошуршал мой спутник и, переваливаясь с грани на грань, стал осторожно придвигаться к извиwu стальной змеи. Я хотел ему помочь, но заботливый друг, напомнив о моих еще незаживших ранах, сказал, что управится и сам.

Я видел его, наклоненным над упругим дыханием стали. Он успел уже протиснуть свои острые ребра к металлическому зажиму волоска, неуклюже ворoshась у самого его корня, как вдруг, видимо, не учтя движения, попал под удар его стального извиwa.

Миг — и тело его, сверкнув гранями, взмыло кверху и, звякнув о пододвинувшийся сверху острый зубец, тяжело рухнуло назад, в стальные тиски мерно дышащей пружины. Но верный друг и умирая продолжал борьбу: я видел, как, крошась рыхлой пылью в стальном охвате змеи, его тело продолжало втискиваться еще глубже в суживающий его зажим. И пружина, все замедлявшая и замедлявшая свои судорожные движения, дернулась раз, еще раз, — и стала. С криком отчаяния я прыгнул вниз, окликая друга. Но он уже успел замолчать навсегда. И молчание смерти, будто расползшись от его неподвижного серого тела по спицам радиусов, остановило разбег колес, лязг зубцов и стук стали о сталь — и вся только что шумевшая и грохотавшая фабрика времени вдруг замолчала, оставив меня одного в беззвучии и тьме над трупом моего единственного друга. Медленно, цепляясь глазом за рубиновые блики, я подымался среди той особой «железной тишины», на которую впоследствии, кажется, покушалось перо одного из ваших писателей. Достигнув вогнутого дна глухой крыши остановившегося хронометра, я должен был еще день-два ждать, пока ее раскроют настезь, в свет. С первым же ударом солнечных лучей, я, жмуря свои отвыкшие от дня глаза, быстро выпрыгнул наружу.

Мои предположения оправдались: я находился на рабочем станке часовщика и через минуту после освобождения должен был прятаться от выпучившегося на меня стекла лупы, повисшего надо мной: быть замеченным часовщиком, разумеется, не входило в мои расчеты.

Стараясь держаться неподалеку от часов моей возлюбленной, я дождался, когда ход их опять возобновился, и тотчас же запрятался поглубже в один из золотых рубчиков головки, которая, вращаясь, заводит часы. Раз или два мне пришлось прокружить, сжавшись в комок под едко пахнувшими пальцами мастера. Но внезапно я услышал знакомое, дразнящее благоухание и тотчас же стал выкарабкиваться из своего тайника. Прямо надо мной была роговая навесь ее прозрачного ногтя: срываясь и падая, я все же успел пробраться в щель меж кожей и ногтем моей подруги и острый припадок счастья заставил меня плакать слезами встреч. Мне не хватило бы строф и слов Песни

Песней, чтобы выразить то чувство, какое рождала во мне близость к избраннице. Пусть эти пряно благоухающие пальцы, еще незадолго до того вращая золотые рубцы заводного стержня, осуждали меня на кровавую череду Голгоф, пусть и сейчас упругий ноготь избранницы мог раздавить меня, как жалкую мошку,— я благословлял и страдания и смерть, потому что и смерть и страдания были от нее. И когда, будто в ответ на мое счастье, стальное лезвие, неожиданно сверкнув надо мной, вдруг врезалось в толщу ногтя, за край которого я цеплялся («Ножницы»,— дернулось в мозгу),— во мне не было ни мига страха или гнева. Ловя губами роговой блеск ногтя, отстриженный вместе с ним, я покорно рухнул вниз.

По счастью, до мягкой скатерти стола, на которую мы упали, было совсем близко: я даже не расшибся.

О, мой милый юноша, если б сейчас кто-нибудь стал мне доказывать, что вся моя библиотека, выменянная на мерзлый картофель, не стоила и картофельной шелухи, я, пожалуй, не стану спорить,— но если вы захотите утверждать, что магия, таящаяся в любви, лишь вымысел дураков и поэтов, то... я с вами тоже не стану спорить, но буду твердо и четко знать, что вы еще не постигли любви: ведь это целых две магии — черная и белая, сочетающиеся, как белые и черные клетки шахматной доски. И если уж кончат сравнение, я, в дни своих странствий, был больше похож на шахматную деревяшку, заблудившуюся в черно-белой путанице, чем на шахматиста.

Но к делу: в тот миг обнимать отвалившийся кончик ногтя возлюбленной мне уже казалось малым, мне нужна была она вся,— и, охваченный жадой возврата, я зашагал по прямой, держа путь к пузырьку, запрятанному, как точно помнил, здесь же, на столе, под металлическим вгибом чернильницы. Тут-то и поддвинулась мне под шаг черная клетка шахматницы любви: и странно, что с виду она была белым бумажным квадратом, вдруг тихо преградившим мне путь. Я, сберегая минуты, решил не сворачивать и смело ступил на белый квадрат. В ту же секунду огромные черные знаки, выползая друг из друга, с тонким скрипом ерзая по синим дорожкам бумаги, задвигались мне навстречу. Я вовремя успел отскочить в сторону и, когда знаки пронеслись со скоростью экспресса вдоль

синей рельсы, продолжал путь вдоль обочины еще не просохших чернильных разводов: буква за буквой они складывались в какую-то смешную абракадабру, но когда я попробовал их сложить в обратном порядке, то мне уже было не до смеху. Круто повернув носки, я бросился вслед за убегающими словами, жадно ловя в зрачки их парастающий, слово за словом, зловещий смысл. Недаром я читал где-то у Белого, что, если слово начинается с «л-ю...», то еще не известно, что дальше: «любовь» или «лютик». Но помню, что, добежав до этого самого «лю», я вдруг почувствовал, что ноги подломились подо мной; вытирая холодный пот с лица, я опустил на бумагу: вокруг меня, будто вчертив в свой сомкнутый заколдованный круг, чернела своим заключительным ноликом буква «ю». И в этот мучительный миг мне мнилось, будто весь мир, умаленный, как и я, кончался тут: внутри чернильной, крепко стянутой петли.

Пока я бездействовал, какой-то шуршащий белый потолок стал быстро надвигаться на письмо. Пока я успел сообразить, в чем дело, и принять меры, я уже очутился внутри запечатанного конверта с именем соперника, написанным где-то там поверх глухой бумажной толщи. В бешенстве я заметался из стороны в сторону, но это было бесполезно и вело лишь к тому, что, натываясь в полутьме конверта на новые и новые слова, присохшие твердыми горельефами к бумаге, я поневоле осмыслял их, что причиняло мне новую боль. В конце концов, отбезумствовав, я забился в угол конверта и стал покорно ждать дальнейшего.

Увы, у меня было больше чем достаточно времени и на размышления... Адрес, скрытый от моих глаз, тащил письмо сквозь сотни и сотни верст, и я воображал, что теперь мне, человечку меньше пылинки, вернуться назад, к спасительному стеклянному зигзагу, так же легко, как жителям планеты в системе Сириуса достигнуть нашей земли. А временами я с горьким наслаждением сравнивал себя с крохотным самцом из семейства *Wanessa Jo*, которого природа, завлекши на ротовые щупальца его гигантизированной подруги, сначала продергивает сквозь все тайны ее тела, а затем, вместе с ее экскрементами, выбрасывает прочь.

Длились мысли — длился и путь. Бумажный слой глухого конверта плохо защищал от стужи, мучившей

меня в уличном почтовом ящике и частью в дороге: качаясь внутри своей нетопленной темной теплушки, я закалял себя для тех странствий, которые впоследствии нам с вами пришлось совершать в трудные и голодные годы войн.

Но прошло несколько дней, и рука адресата вскрыла конверт. О, как я ненавидел своего освободителя: еще до встречи с ним, вернее, с его манжетой, пододвинувшейся в момент чтения письма почти вплотную ко мне. Я успел сделаться опытным лазальщиком,— и мне ничего не стоило, впрыгнув в манжету, добраться до желтых бугров его кожи и меж реденькой рыжей поросли, покрывавшей склоны его руки, постепенно добраться до белого отвесного кратера стоячего вороничка, откуда, при умелом использовании кожных рыгвин и прыщевых курганов, уже ничего не стоило добраться до щетины усов, обвисшей над красным жерлом рта. В данном случае, злыдневский прием перехватывания шепотов казался мне вполне целесообразным.

Но из этой затеи ничего не вышло: мимо меня проносился либо грохочущий, либо бубнящий воздух, но шороха шепотов я так и не дождался. Притом место было до чрезвычайности беспокойное: рот этого чудовища был вечно в работе: то он плюскался губами о губы, то налипал на стекло рюмки или бокала, то трясся и дергался от хохота и орудийного гула слов. Я не гожусь в Лепорелло и потому не завел каталога поцелуев, от которых мне не было покоя, особенно по ночам, когда я, спросонок, должен был крепко хвататься за свой наблюдательный волосок, чтобы как-нибудь не ввалиться меж губ и губ. Изнуренный трудным путешествием, бессонницей, измученный длящимся унижением и ненавистью к этому грязному, нелепо огромному животному, которого искали за сотнями верст слова е е признаний,— я дольше не мог терпеть самой мысли о том, что мой гигантский соперник жив и как будто не собирается не жить.

Но что было делать? Для начала я решил предпринять разведку. Улучив час, когда чудовище захрапело, я, спустившись с своего наблюдательного поста, проник сквозь полуоткрытые губы и провал искрошившейся пломбы на поверхность его языка: под погами у меня было кочкастое, с чавкающей слизью и влажью,

втягивающей ноги, болотце. Постепенно, с кочки на кочку, я пробрался к его небу, и, раньше чем чудовище успело задвигать пастью, я уже протискивался сквозь узкий катакомбный ход евстафиевой трубы. Добравшись до среднего уха, я коротким переходом, лишь в одном месте прорвав сплетение тканей, преградивших мне путь, достиг кортиева спирали, которой не хватало лишь пяти с половиной оборотов, чтобы превратить ее в модель дантова ада. Чудовище к этому времени уже успело проснуться, и звуки его голоса, ввиваясь в звонкую спираль, как-то особенно навязчиво лезли мне в уши. Я стал обдумывать свой дальнейший маршрут. Случайно я вспомнил о так называемом «гипотетическом человечке», измышленном Лейбницем в одном из его писем к Косту: гипотетический человечек, пущенный ради полемических целей внутрь мозга человека, меж клеток которого он может свободно бродить, возвратился, как этого хотела математическая фантазия метафизика, с целым ворохом аргументов, якобы опровергающих материализм. Мое положение не располагало к философствованию, и, если я что и хотел опровергнуть, то только право на бытие, которым пользовалось существо, в тканях которого я находился. Но лейбницевский фантазм мне понравился: я решил, что ему пора уж, давно пора, из мифа в действительность.

И вскоре я уже пробирался среди ветвистых дендритов и нейронов, спутавших свои осевидные отростки в одну мозговую чашу. Скорбная тень флорентийца, спутника всех разлученных, и тут мне напомнила о той из своих кантик, в которой описан лес самоубийц: нейронные ветви были живы и шевелились, отдергиваясь от прикосновения, и, когда я разрывал их, фибриллы сочились кровью и липкой влажью.

Я находился внутри мышления моего врага: я видел дрожь и сокращение рыхлых ассоциативных нитей, с любопытством наблюдал то втягивающиеся, то длинящиеся щупальца нервных клеток, сцеплявших и расцеплявших свои длинные вибрирующие конечности. Я стал хозяйничать в чужом мозгу так, как это бы сделал дикарь, попавший на телефонную станцию: я разрывал ассоциативные волокна, как рвут провода в тылу у врага, кромсал концевые отростки нейронов, по крайней мере те из них, которые были мне под силу.

Иные, отдергивающиеся друг от друга извилистые ветви нервов я насильно связывал двойным морским узлом. Если б я мог, я бы выкорчевал весь этот мыслящий лес, но я был слишком мал и слаб и вскоре, выбившись из сил, весь в брызгах крови и рваного мозга, бросил свою жестокую, но бесполезную работу. И пока я отдыхал, живой лес уже успел вырастить новые нити и, спутав вокруг меня тысячи тысяч клеток, продолжал свой сцеп и расцеп ветвей, полз и дрожь тонких в склизких белых и серых сплетений.

Очевидно, мне одному, в пару рук, тут ничего нельзя было поделывать: нужна была коллективная работа сотен и сотен таких же, как я. И мой противник, вероятно, спокойно получавший все эти вибрации и ползы в виде так называемой жизни, и не подозревал, что внутри его мышления пробралось чужое, враждебное ему мышление, вся логика и сила которого сконцентрированы на том, чтобы истребить его навсегда. Да, пылинка захотела опрокинуть гору, столкнуть ее в ничто, и если Давид жалкой пращой свалил великана, то почему моя месть,— думал я,— не может посягнуть на великана в тысячи крат большего. Правда, на стороне библейского бойца было, по сравнению со мной, некоторое преимущество в росте, но на моей стороне было преимущество позиции. И не медля ни мига, я стал готовиться к нападению.

Прежде всего надо было проникнуть к врагу в кровь. Прорвав один из ближайших капилляров, я, толкаемый током крови, по все ширящимся и ширящимся артериям быстро заскользил по направлению к сердцу. Рядом со мной плыли, ударяясь о стенки, то сбиваясь в кучи, то расцепляясь на отдельные особи, какие-то довольно большие, круглой формы, с вздувшимися, мерно вбирающими и выдавливающими на себя кровь боками,— животные. Иногда эти красноватые пористые мешки, подплывая друг к другу, прикасались рубчатым ободом, охватывающим их тело, к такому же ободу соседа: это и был тот молчаливый язык, на котором изъяснялись эти красные камбалы, как первоначально назвал их я, не сообразив, что это попросту кровяные шарики.

Оседлав движущиеся бока одного из этих существ, я относительно легко заскользил меж круглых стен артерий. Вначале оседланное существо недовольно

водило боками, стараясь сбросить меня в кровь, потом мы оба начали привыкать друг к другу. Сидя поверх одного из поперечных рубцов обода, живая ткань которого охватывала тело моего коня, я заметил, что он, в отличие от других, плывущих рядом круглых существ, норовит плыть против течения, что сильно тормозило нам путь. Соскользнув от случайного толчка на другой рубец обода, я увидел, что конь мой тотчас же поплыл в противоположном направлении. Тогда я, меняя седла, то есть систематически пересаживаясь с рубца на рубец, стал надавливать на них тяжестью тела,—и всякий раз движения красного мешка как-то менялись: так я стал совершенствоваться в разговорном языке кровяных шариков. Он оказался достаточно богатым для того, чтобы вобрать в себя то, что стало проступать все яснее и яснее в моем мозгу. Праща Давида длинила его руку в неравном поединке, на который он решился, всего лишь на пару локтей. Я же хотел размотать пращу, которая может добросить удар до самых дальних мишеней, пращу давно испытанную и выверенную в столетиях борьбы: я говорю об агитации.

Надавливая, как пианист на клавиши рояля, на рубцы множества живых ободов, проплывавших в вечном кровяном токе, я сыграл, обнаружив неплохую пальцевую технику, свой *Totentanz*¹, после которого всю эту клавиатуру пришлось захлопнуть черной крышкой навсегда. Внутри той гигантской фабрики, в которой я сейчас находился, насосы и клапаны действовали без роздыха, и несчастных тружеников крови катало вдоль вен и артерий ни на миг не прерывающимися толчками сердца. Круглые рабочие катящи денно и ночью кружили от сердца к легким и обратно. И, сгрузив баллоны кислорода, медленно ползли, чернея от натуги, под ношами молекул углекислоты и гемоглобинного груза. Им и в голову не приходило...впрочем, виноват, головы-то у них и не было,—зато она имелась у меня,—внутри их рубчатых ободов никак не втискивалась мысль, что организация их труда построена на принципах эксплуататорства.

Мне пришлось перетрогать тысячи и тысячи рубчиков, трущихся об меня, прежде чем внутри этих

¹ Танец смерти (нем.).

врокососных¹ мешков не возникла вложенная мною мысль о Венартпрофе и о восьмичасовом кровообращении. Идея так или иначе покончить с чудовищем, мучающим и меня и их, бедных безгласных вечных тружеников, захватила меня всецело: и вотрись сюда в кровь какой-нибудь новый Менений Агриппа, ему бы не переспорить — своими дурацкими баснями — в те дни ни меня, трибуна кровообращенческого плебса, ни лучших из моих учеников, которые, красноречиво действуя своими рубчиками, трущимися о встречные живые обода, катились быстро кружащими телами по всем разветвлениям текучей крови, всюду разнося наш лозунг: восемь часов кровообращения в день. И не секунды болес.

Сам я ни на миг не слезал с рубчатой спины моего нового друга, который научил меня не только языку кровяных шариков, но и сердечному чувству к ним: чувство это крепло с каждым ударом сердца, не дававшего ни секунды роздыха ни мне, ни им и безустанно бившего по нас захлестывающим током крови. Я называл своего нового друга Нодем (он был кругл, как и все его товарищи), и по мере того, как наши совместные скитания приобретали все более хлопотный и агитаторский характер, теплое чувство кровной дружбы с этим скромным работником крови, покорно подставлявшим свои патруженные бока под мои колени, росло и углублялось с каждым днем. Брожение, вызванное мною в венах моего Голиафа, ширилось и разгоралось с удивительной быстротой: мне, вероятно, удалось-таки взвинтить температуру моему врагу.

Не рассчитывая на одиночное выступление группы кровяных шариков, примкнувших ко мне и Нодею, я, поручив последнему продолжать агитационную кампанию внутри жил, временно расставшись со своим единомышленником, проник в лимфатическую систему врага. Здесь работа протекала медленнее и труднее: сонно текущая лимфа замедляла путь и тормозила связь, а вялые мягкотелые лейкоциты, заслявшие мутно-молочную слизь этого тусклого и медлительного мирка, медленно и трудно усваивали боевые лозунги.

Правда, ценою неусыпных и упорных усилий мне, добравшись до селезенки, где рос и воспитывался

¹ От *wrok* (*нидерл.* — злоба) — всасывающих злобу.

молодой лейкоцитняк, удалось-таки замутить внутри его не успевших еще утолщаться и разрыхлиться оболочек. В результате целые кучи лейкоцитов призывного возраста отказались идти на микробный фронт и орды спирохеттов, бациллин, палочковидных хищников и ядовитых спирилл вторглись в кожные пределы организма.

Ноль тоже не терял времени даром: и когда я вернулся из лимфы в кровь, меня сразу же обожгло ею, как кипятком. Вокруг все бурлило и волновалось. Революционные дружины красных кровяных шариков двигались к узким капиллярам, где удобнее было принять бой. Часть микробов перешла на сторону защитников старого двадцатичетырехчасового рабочего дня. Близился момент, когда должна была (говорю нашим языком) пролиться кровь, если б она и так не лилась непрерывно из артерий в вены и обратно.

Грозно расстучавшееся сердце не давало нам сжаться и сконцентрировать силы, разрывая канонадой пульса наши смыкавшиеся ряды. Я приказал отступить в глубь капилляров. Но расвирепевшая кровь гналась за нами и сюда, новыми и новыми ударами отрывая дружинников от скользких стен сосудов и снова швыряя в кровообращение. Тогда был дан сигнал: строить баррикады.

Сначала дело не ладилось. Но постепенно, сплющивая и связывая в одно комки слизи, сгустки, комья межклеточной ткани и трупы павших бойцов, нам удалось-таки провести закупорку сосудов.

Но радость победы длилась недолго. Скользя на своем верном Ноле от баррикады к баррикаде, я заметил, что мой носильщик движется все медленнее и медленнее.

— Скорее, — сказал я ему, подхлестываемый лихорадкой боя, — надо торопиться.

Ноль, задвигав изо всех сил вздувшимися боками, ускорил ход. Но ненадолго. Кровь, сквозь которую мы проплывали, утратив текучесть, что ни миг, становилась все гуще и вязче, делая движение трудным и медленным. Станный холод полз по круглым трубам артерий, сближая и стягивая их медленно стеклящиеся стены.

По пути, то здесь, то там, я видел группы победителей. Бессильно копошась в густящейся с каждой

секундой кровавой грязи, они протягивали мне навстречу свои побелевшие рубцы, за ответом и помощью. Мой Ноль вдруг повалился на вздутый правый бок, придавив мне ногу. Он пробовал подняться и не мог, смутно шевеля своими холодеющими кольцевыми бугорками. С трудом высвободив ущемленную ногу, я попробовал поднять упавшего друга, но было поздно: он умирал. И пока я тщетно искал дрожащими пальцами бугорок, прикосновение к которому на их языке означало „прости“,— смерть сделала свое дело. Я бросился к еще шевелящимся бойцам:

— Назад. Разобрать баррикады. Не медля. За мной.

Но и сам я, хромая, увязал в кровавом месиве, с трудом проталкивая тело вперед. Безногие же кровавые шарики, лишённые крови, не могли двигаться. Острая игла продернулась сквозь мой мозг: не то.

Захваченный борьбой с человеком, которого я ненавидел, организуя его смерть, я ни разу и не помыслил о том, что вместе с моим врагом должны погибнуть и все мои друзья, доверчиво и безответно отдавшие себя мне. О, теперь смерть маленького красного Ноля значила для меня гораздо больше, чем гибель в мириады раз большего противника: я готов был отдать назад жизнь похитителю моей любви в обмен на жизнь моего спутника и боевого товарища, милого и честного Ноля. А вокруг в стиснувшихся и медленно слипающихся стенах артерий валялись миллионы таких же, как он, убитых волей моей прихоти.

Кровь, та, что вокруг меня, давно уже остановилась, но кровь, кружившая во мне, никогда еще так густо не прилиwała к моему лицу: мне было стыдно, до мути и отвращения стыдно самого себя, со своей смешной любовью и бесчестным гневом. Затем ли мой учитель доверил мне силу синей тинктуры, чтобы я превратил ее в орудие своих куцых страстишек и эгоизма.

Натыкаясь, что ни шаг, на трупы своих жертв, обманутых и убитых мною, я стал искать выхода из тела гиганта, тоже превращенного мною в труп.

Надо было торопиться, чтобы до погребения всей этой огромной массы стылого мяса успеть выбраться наружу. Вначале, хотя я и сильно прихрамывал, знание анатомии помогало мне находить правильный путь

внутри катакомбных ходов кровеносной системы. Но, сделав какой-то неверный поворот, я скоро заблудился и в путаном переулочье мелких артерий. А время между тем не ждало. Напрягая слабеющие силы, я кружил, увязая по колена в сукровице и почти не продвигаясь вперед. Так прошел день. Другой был почти на исходе. Запах тления, вначале слабо различимый, от часа к часу превращался в отвратительную вонь, от которой я почти терял сознание. Но лабиринт сосудов, все ниже и ниже надвигавшихся на меня своими обвисшими сводами, все не выпускал меня наружу. Мысль о том, что и мне придется разделить участь моих жертв, приобретала все большую и большую вероятность. Философам легко, зарывшись носом в свои книги, строчить что-то там о презрении к смерти; но я хотел бы их ткнуть носами в то смрадное бездвижие смерти, в ту путаницу обвислых гниющих фибр и клеток, под толщами которых барахтался я,— и трансцендентальные дураки раз навсегда вытряхнули бы из своих книг, вместе с паутиной и пылью, все свои дивагации о смерти и бессмертии.

Но как ни хлестал меня ужас конца, как ни напрягал я волю и мускулы, вскоре я понял, что не успею обогнать погребальный обряд, который, вероятно, уже где-то там, за пределами кожи, начался. Правда, ценой последних усилий мне удалось, прорывая сочащиеся трупным ядом ткани, прорваться на поверхность какого-то широкого хода, но тут сознание мое замутилось, и я упал в ничто. Не знаю, сколько времени длился обморок: вероятно, не более часа. Придя в себя, я увидел смутно брезжащий откуда-то свет. И странно: ткани трупа, на которых я лежал, мерно и тихо шевелились. Подняться у меня еще не было сил. Я лишь повел ладонью вокруг себя: какие-то мягкие толстые стебли, на сомкнувшихся вершинах которых я лежал, будто качаемые ветром, дуновения которого я не ощущал, ритмически двигались сначала медленно-медленно назад, от света, затем быстро и стремительно вперед, к свету: от света—к свету; от—к; и с каждым толчком мое легкое тело, скользя со стеблей на стебли, придвигалось все ближе и ближе к проступям света. Несомненно, я находился на мерцательных волосках пищевода, которые сохраняют способность к движению и после смерти организма.

Вскоре я уже мог подняться на ноги и без помощи мерцательных стеблей двигаться навстречу мерцанию света, пробивавшегося сквозь зубы трупа внутрь ротовой полости и даже немного далее. Добравшись до мертвого зева, я мог уже ясно различить гулкие звуки панихиды, угрожавшие мне быть моей панихидой. Работая изо всех сил подошвами, я добрался до знакомой испорченной пломбы в момент, когда голоса за длинной прорезью рта, зазиявшего над моей головой, пели о последнем целовании. Приходилось переживать, хотя ситуация и не позволяла промедлений.

Выпрыгнув на поверхность трупа, я бросился со всех ног по направлению к боковой доске гроба, стремясь достигнуть ее края раньше, чем гробовая крышка успеет сделать то же самое. Добежав до оконечины плеча покойного, я уже стал взбираться на плоский, в два уступа, срез доски, как сильный деревянный звук от толчка крышки, пододвинутой к гробу, заставил меня заметаться из стороны в сторону — черная тень уже повисла надо мной, и приходилось выбирать: или назад под крышку, или вперед под удар деревянного ранта. Я всегда выбирал и выбираю: в п е р е д. Бросившись поперек ребра доски, я бежал с закрытыми глазами, каждый миг ожидая быть расплюснутым. Дерево с визгом и сухим стуком ударилось о дерево и... раскрыв глаза, я увидел, что его синяя масса сомкнула свои челюсти в полушаге позади меня и что сам я, потеряв равновесие, сорвался с края ранта и скольжу вниз, задерживаясь лишь о путаницу перевившихся серебряных нитей, сверкающей бахромой свешивающихся к земле. Инстинктивно я ухватился за одну из серебряных веревок и тотчас же закачался на ней, чувствуя, что спасен. Но, когда я прижался, ища удобного положения, головой к витому серебру, я заметил, что волосы мои были ему под цвет.

Да, мой друг, я ушел от деревянных челюстей, проглотивших моего врага. Но молодость мою в тот день, поставив на дроги, повезли и закопали вместе с миллионами трупов, схороненных в трупе...

Не буду описывать вам, как я в груди конвертов, обрамленных черными полосами, отыскал конверт с именем женщины, которую, еще так недавно, я искал и хотел. Имя это, прежде самым очертанием своим учащавшее шаг моего сердца, было навсегда отрезано

от меня черными линиями квадрата, включившего его в себя.

Спокойно вошел я внутрь еще не запечатанного конверта и не стал даже тратить ни времени, ни сил на чтение траурного письма, вскоре после того повезшего сквозь стоверстное пространство меня назад: к склянке. Точнее, к склянкам, потому что мысль о той, третьей, стеклянной подорожной, ждущей меня в лаборатории моего наставника, с неожиданной силой овладела мною. Сидя меж четырех углов конверта, я думал о том, что не понятая мною история о двух картонных сердцах, наконец, раскрыла передо мной все свои карты; я думал, что путанные медитации мои об Аристотелевских большом и малом человеке распутали теперь для меня все свои узлы: теперь я, микрочеловек, познал макрочеловека до конца: мы соприкоснулись — не кожей о кожу, а кровью о кровь. И то — мыслил я, — что отняла у меня пролитая алая кровь, то вернут мне, влившись в меня, алые капли третьей склянки.

Прибыв к месту назначения, я благополучно добрался до стеклянного знака, и он снова превратил меня в м е н я. В квартире не было ни души. Я оглядел знакомый будуар. Все тот же благоуханный беспорядок. На старом месте лежали и часики, на циферблате которых чуть было не закончилось мое бытие. Отогнув рукав, я и сейчас мог видеть глубокий рубец от их секундной стрелки, разросшийся вместе со мною в длинную рваную рану, успевшую зарубцеваться. Я взял циферблат в руки; стрелки не двигались: забыли завести. Я повернул несколько раз золотую головку часов, и внутри опять зацокало время. Вспомнились жала его бацилл: пусть их живут — я не мстителен.

На золотом шитье моей любимой диванной подушки валялся грязноватый мужской воротничок. Я взглянул: 41. Я пошу: 39. Что ж, пусть. И, не глядя более по сторонам, я пошел к двери. Но дверь, будто предупреждая меня, раскрылась: за порогом стояла она, все такая же и вместе с тем уже никакая для меня, изумленно шуря овалы своих чуть близоруких глаз. Фоном для нее служила высокая широкоплечая фигура юноши, застенчиво топтавшегося позади нее, с лицом, выражавшим покорную радость: фон, по мановению портрета, скользнул в соседнюю комнату, женщина же сделала два-три робких шага навстречу:

— Вы? Но ведь дверь была закрыта: как вы вошли?

— Очень просто: меня еще вчера бросил к вам в ящик для писем почтальон.

— Как странно: вы так изменились.

— Как обыкновенно: вы т а к изменили.

Лицо ее стало чуть бледнее.

— Я ждала. Я бы ждала и дольше. Но...

— Ваше Но дожидается вас за стеной. Впрочем, и ему вы наступите когда-нибудь на сердце. Прощайте.

И я направился к двери. Ее голос задержал меня еще на минуту.

— Погодите. Прошу вас: ведь вы же должны понять... как человек... — слова ее не слушались.

— А вы уверены в том, что я человек? Может быть, я только так... странствующее Странно.

И мы расстались. Быстрыми шагами, даже не заходя к себе, я направился к дому учителя. Уличные шумы и грохоты охватили меня со всех сторон. Вероятно, был праздничный день: веселая и неторопливая толпа топталась на тротуаре и у газетных киосков. Но я шел, глядя себе под ноги. Только случайно, подняв глаза, я увидел кучу будто слипшихся желтых, синих и красных шаров, которые, круглясь, точно огромные капли, легко скользя сквозь воздух, плыли над толпой. Я ускорил шаг. И не прошло и получаса, как...

Рассказывавший вдруг круто замолчал.

— Учитель, я слушаю: «не прошло и получаса, вы говорите, как...»

Он рассмеялся:

— Не пройдет и получаса, как... ваш поезд отойдет. И чего доброго, без вас. Взгляните на циферблат: пять минут десятого. Пора. Прощайте, мой сын!

И минутой позже наши глаза в последний раз взглянули друг в друга: через порог. Затем дверь затиснула створы и тайна красной тинктуры осталась позади, за звонко щелкнувшим ключом.

СОБИРАТЕЛЬ ЩЕЛЕЙ

I

Сказка лежала, блестя непросохшими буквами, на письменном столе, рядом с чернильницей. Когда я, тронув кой-где пером, стал сворачивать рукопись, мне показалось, будто самые буквы ее норовят воп из строк: скорее в зрочки.

Но час был полуденный. Чтение же назначено к девяти. Солнце не любит фантазмов, а вот лампы, те иной раз и не прочь, внимательно наставив абажуры, послушать сказку-другую.

Итак, буквам приходилось дожидаться сумерек.

Скудная авторская радость была наперед слажена и обеспечена: сказку ждала тихая, с грустными городскими цветами на окнах, комната; в комнате дюжина благожелателей. И вдруг (кто бы мог ждать) встреча с человеком, перечеркнувшим фантазм.

Произошла встреча тотчас же после последней правки текста. Близился час обеда. Оставив рукопись на столе, я оделся и вышел на улицу. Но я не сделал и сотни шагов, как внимание мое было привлечено высокой, будто застывшей фигурой человека, прислонившегося к фонарному столбу: человек стоял против белого, с золотым обводом циферблата, круглящегося с куска жести, привешенного над дверью часового магазина, и пристально всматривался в две намалеванные черные стрелки, ткнувшиеся в римские цифры диска. Сначала я было прошел мимо. Затем оглянулся: незнакомец, не меняя позы, все еще стоял, подняв чуть прищуренные глаза к нарисован-

ным цифрам. Взглянул и я: на вывеске — двадцать семь второго.

И тщательно бритое лицо незнакомца, и его тщательночищенное платье — заношены и блеклы: платье — в складках, лицо — в морщинах. Люди, сталкивая друг друга локтями с тротуарных лент, растыкав глаза по витринам, плакатам, афишным столбам, а то и с зрочками в носки своих сапог, не замечали созерцателя.

Лишь я да мальчишка с лотком на ремне оценили феномен. Между тем созерцатель, отвернув полу пальто, вынул карманные часы и, медленно переводя глаза с крохотного диска, зажатого в руке, на намаляванный диск вывески, ставил свои часы по нарисованному времени. Мальчишка загоготал. Я, отвернувшись, продолжал путь. Навстречу, меж вывесочных квадратов, овалов и прямоугольников снова прокрутился белый циферблат. Не имею обыкновения смотреть на вывески, но сейчас взглянул: на диске две черных неподвижных стрелы; под остриями стрел — цифры: двадцать семь второго. Тут-то и вошло в меня какое-то недоброе смутное предчувствие. Я ускори́л шаг, но теперь зрочки мои сами рылись среди кусков крашеной жести, ища диски и цифры. Новый диск отыскался у поворота в темный переулок: две его черных стрелы, повиснув над переулочной щелью, спрятались в черную тень многооконной каменной громады дома, но и сквозь тень обозначалось — двадцать семь второго. Я остановился с поднятой к цифрам головой: мне казалось, стрелки должны двинуться, сойти с фатальных делений. Но на нарисованном циферблате ничто не шевелилось; мутно мерцал узкий золотой обод, а черные стрелы, будто отыскав нужное, притиснули острия к краям диска и стали — навсегда.

Вокруг шуршали шины, стучали подошвы. До полудюжины локтей ткнулось в меня. Тяжелый куль пнул в плечо; я оторвал глаза от диска: какой-то малец, с лотком на ремне, в рваном картузишке, осклабясь, вогнал в меня глаза. Оставалось идти дальше.

Вечерело, когда я вернулся к рукописи. Буквы на нумерованных страницах присмирели и черными скрюченными уродцами глядели со строк. Я сунул их в карман: стрелка часов подползала к девяти.

II

Все сели кругом. Молчание. Слово предоставлялось рукописи. Придвинувшись к лампе, я начал: «Собиратель щелей. Сказка. Это было в...» — в прихожей дернулся жестяным всхлипом звонок. Я оборвал. Хозяин прошел на цыпочках в переднюю. Через минуту лицо его, несколько смущенное, показалось в дверях: рядом с ним, в наглухо застегнутом длинном сюртуке, стоял, не глядя ни на кого, тот, встреченный у уличного циферблата человек. Нежданный гость, все не подымая глаз, сделал общий учтивый поклон и молча уселся в углу, у порога. Хозяин зашептал мне: «Он не помешает. Это так — чужак. Математик, философ».

Я опустил глаза к рукописи (настроение пропало) и начал снова:

«Собиратель щелей. Сказка. Это было в стране, самое имя которой давно забыто. Вдали от мощенных камнями дорог и мшистых троп, за вязью ветвей, в чаще старого глухого леса жил в давным-давнее время дряхлый Отшельник...»

И дальше, после обычного сказочного приступа, рассказывалось о благодати Отшельника: как лечил он лесу сломанные ветром ветви и стебли, мятые — рванные звериным топотом — травы; как кормил-поил сирот — птенцов в покинутом сорокопудом гнезде; как научил повилику кружить не как попало, а вверх и вверх в небо, где у Бога рай; как наказывал малым, бедным разумом цветикам, перед смежением лепестков ко сну, Богу маливаться; как понуждал иссохшие травы свершать поутру росную жертву, вознося на остриях к Богу — кому по капле, кому по полукапле (малым былинкам — по водной пылинке): всякому по достатку его.

— И за малую влажь вашу, — проповедовал Отшельник, подымая триперстие, чтобы благословить и травы и росы, и мхи и корни, и птичьи стаи и мушьи рои, — напоит вас Господь щедрым дождем: будете чисты и безжадны. И было по слову его.

Сам Господь улыбался с небес речам Старца.

Однажды глухою ночью, когда и гады, и птицы, и дубы, и травинки крепко спали, продолжала сказка: Господь, покинув небо, пришел к Старцу, под низкий навес шалаша:

— Проси: жизни ли райской, богатств ли и царств земных — все дастся тебе.

И отвечивал Старец:

— Просить ли мне о рае, Господи: не по милости, но по правому Суду Твоему отверзаются врата Раевы. Просить ли богатств и царств мира: разве не пошу в глазах моих весь мир Твой, от солнц до солнц. И пристало ли мне искать сует людских: разве не ушел я от путей и троп. Но об одном молю, Господи: даруй мне власть над всеми, большими и малыми щелями и вщеленными в вещи. Да научу и их правде.

Улыбнулся Господь: будет по слову твоему.

Прошли чередой — утро, полдень, предвечерие. В предвечерии, когда солнце ушло, встал Старец среди глухой поляны лесной и воззвал к щелям. И щели, позванные тихим словом, повидались и повидались из всех вещей, где какая ни была, и все — малые и большие, широкие и узкие, извилистые и прямые — стали сползаться на поляну пред очи Старца.

Ползли: и длинная щель, точащая камень скал; и малые витые щелочки, выерзнувшие из стен, скрипучих половиц, рассеявшихся печей; и гигантские зеленоватые щелины с иссохшего и растрескавшегося лунного диска; и махонькие щелочки, выдернувшиеся из скрипичных дек. И когда сползли, стал их Старец учить:

— Худо быть Божьему миру не целу. Вы, щели, раскол вщелили в вещи.

А отчего? Оттого, что тела свои щелиные растите, извивы свои холите и ширите. Длиннитесь, трещинкой малой возникните, а глядь, она уж и щелью вьется. А там и в расселину расползлась. И гибнет от вас единство и братское слияние вещи с вещью. Расседается камень. Горы, точимые вами, рушатся. В полях отнимаете дождную влагу у слабого корня. Точите плод. Деревя дуплите. Смиритесь, сестры щели, умерщвляйте плоть свою. Ибо что она: пустоты извитие. Только.

И щели, разлегшись на росинах трав, внимали проповеданию. Обычно, отмолвив, Старец благословлял их всех дрожащим триперстием и позволял ползти назад, по своим домам. Выгибая пустоты, тихо расползались щели и вщелялись снова, кому где зиять назначено: скальная трещина в скалу, печные щели в печи,

лунный зигзаг в лунный диск. Так и повелось: каждый день, о повечерии, быть миру безщельну: целу. И тот час был часом тишины и покоя великих: даже черепные швы, запрятанные под кожу людских голов, и те — выщелившись из кости, уползали к Старцу: головы переставали расти, и люди хоть час-другой могли отдохнуть от ростов мысли. И никто и нигде из вщеленных не посмел не внять зову: однажды приволоклось даже, увязая в лесостволье, и горное ущелье, но Старец на него только рукой махнул — ползи, незваное, ползи назад, Христос с тобою.

И ущелье, огорченное, уползло назад, в кряж. Но, говорят, в эту ночь в одной из горных теснин скалы, внезапно сомкнувшись, расплющили лепившуюся у их внутренних срывов деревушку.

Правда, часом спустя, скалы снова чудесно раздались, но внутри были лишь развалины да трупы.

На минуту я оторвал глаза от строк: человек в углу слушал, охватив колено костистыми длиннопалыми руками.

— Старец отпускал щели,— продолжала сказка,— загодя, до зари. Но однажды, уча истово, не унял слов во благовремени. Прокричал петух. Прокричал еще раз. А Старец все учил. И лишь когда предзорье проступило алыми знаками над овидью земли, поднял Старец триперстие для благословения.

Но было уже поздно: разгоралась заря, там-здесь, тут-там по дорогам и тропам застучало колесом и ободом, конским тоном и человеческим шагом. Щели проворно уползали, вода пустыми изгибами изо всех сил, по дорогам, тропам и бездорожью. Но там, глядь, одну щель переедет тяжким ободом, там другую прищемит подошвой. И иные, не доползши до своих пределов, стали вщеляться кто куда и как попало: горная расщелина лезла в скрипичную деку, дековая щелина пряталась в черепную кость прохожему. Дальше всех было лунным зигзагам: поняв, что не доползти, толкались туда-сюда, зарождая панику. Иные же щели, окруженные колесным гулом и топотом шагов, сбивались в большие щелиные рои и тут же, на дорогах, вонзались в землю: внезапно разверзлись провалы; люди, кони, телеги с разбегу и расскоку срывались в ямы. Щелиные рои, испуганные грохотом и толчками сверху, вползали глубже и глубже,— и земля смыка-

лась над людьми и их скарбом. Людская паника множила щелиные страхи; щелиный ужас множил беды людям. И был тот день ущербен и горестен для земли. Старцу, и сквозь листовые стены и ветвистую вязь, внятны были стоны и грохоты, проклятия и мольбы, всколебавшие землю: подняв руку, с вытянутыми к небу пальцами, он воззвал: ей, Господи, слышишь ли? Вот рука, возьми меня и введи, как хотел, в твой пресветлый рай: ибо отныне постыла мне земля.

Долго ждали пальцы, протянувшись в небо: не дождавшись, упали вниз и сжались в кулак. Оглянулся Отшельник и видит: теперь он лесу не друг — цветы, встречая его взгляд, брезгливо смыкают лепестковые веки, столетние дубы отворачиваются, злобно ворочаясь на толстых узловатых корнях. Глаз Старца отыскал тропу, тропа отыскала проселок, проселок повел на битую дорогу. И великий святой стал великим грешником, богохульцем и блудодеем.

Я сложил тетрадь и повел глазами по стенкам: вокруг были рты, приоткрытые и растянутые улыбками в длинные узкие щели. Из щелей выдавливалось:

— Недурно.

— Очень мило.

— Только вот конец у вас — того... смят.

— Кстати, тут есть один штрих...

Высвободив взгляд из роя глаз, я глянул в угол, у двери, — человек в наглухо застегнутом сюртуке молчал.

Сцепленные костистые руки не выпускали колена; рот будто слипся.

Мне было чуть не по себе:

— Однако не пора ли нам?

Человек, молчавший в углу у двери, расцепив руки, поднялся во весь свой высокий рост и отчеканил сухим негромким голосом:

— Двадцать семь второго.

Затем, учтиво мне поклонившись, повернулся к двери и исчез за порогом.

— Так поздно? Не может быть.

Десятки пальцев зашарило в жилетных карманах: да, действительно.

— До свиданья.

— Прощайте.

Иные еще улыбались. Другие уже зевали.

III

— Мне налево. И вам?

— Нет.

Я вышел на прямую линию бульвара и тихо шагал меж длинного ряда теней, снятых лунным лучом с древесных крон и аккуратно уложенных им вдоль по песку аллеи. Бульвар был безлюден. Скамьи пусты. Но вдруг со скамьи слева прочернел чей-то длинный и тонкий силуэт; силуэт был будто знаком,—нога за ногу, колено, схваченное руками, лицо затенено широкополым фетром, надвинутым на лоб. Да, это он.

Я замедлил шаги.

— Поджидаю вас здесь.

Не меняя позы, он лишь нервным движением плеча указал на скамью. Я сел рядом. С минуту длилось молчание.

— Скажите,— начал он вдруг, внезапно распрямляясь и близя лицо к лицу,— среди щелей, сползавшихся к Старцу, была ли и та неистребимая щель, что всегда меж «я» и «я»? Вот—сейчас сидим рядом: от головы до головы аршин... а может быть, и миллионы миль? Не правда ли? Кстати,— незнакомец приподнял шляпу,— меня зовут—Лёвеникс, Gotfrid Lövenix,— ударил он по слогам, будто стараясь мне что-то напомнить.

Мы крепко пожали друг другу руки.

— Ну вот. К делу: подзаголовок «Собирателя Щелей»,— начал он, снова складываясь в привычную позу (нога на ногу, колено в ладони, острые углы плеч кверху),— «сказка», не так ли?

— Да.

— Гм. Я думаю: если бы в сонм снов явилась явь,—они, сны, приняли бы ее как свою. По-вашему, «сказка», а по-моему,—протокол. Научный факт. Правда, понятия ваши спутаны и даны не в точных словах. Но спутанность—не фантазм. Фантазм (я не поэт, мне трудно судить) легче делать из цифр, чем из туманов. Вам, должно быть, неинтересно?

— Напротив.

— Primo: ошибка в эмоции: э т о м у не улыбаются: улыбкой вы как щелью отрезали себя от темы о щелях. Вам мнится, будто темой играете вы, будто она в расщепе пера,— но на самом деле, стоит лишь вдуматься, не вы темой, Тема играет и вами, и мной... и все вот э т о (он описал рукою круг,— прокружив за рукою глазами, я увидел сперва землю у ног, потом верхушки деревьев, потом россыпь звезд вверху, а там скаты кровель и снова землю у ног),— да, все это, я утверждаю, ущемлено пустой щелью. Да-да. «Тема о Щелях»: да знаете ли вы, что у ее дна? Вы вот боитесь покинуть пространство. Так принято — говорить о щелях в доске, в почве, там, и так далее. Но если б властью хотя бы фантазии, что ли (не этим ли жива поэзия), вы попробовали пересадить ваши щели из дюймов в секунды, из пространств во время, то вы увидали бы...

— Мне не совсем понятно,— пробормотал я.

— Совсем понять — тут и нельзя,— грубо оборвал Готфрид Лёвеникс,— может, и лучше — недопонять. Кстати, давно ли вы начали думать об этом?

— Не помню. Тема, собственно, так, случайно, подвернулась под перо. Месяца два, может, три тому назад.

Лёвеникс улыбнулся.

— Ага. Ну, а я вот уж тринадцатый год не покидаю моего Щелиного Царства. У меня не от сказок пошло,— нет. Тринадцать лет тому назад, во время первых моих опытов по психофизиологии зрительного процесса я наткнулся на вопрос о прерывности нашего видения.

Как бы ввести вас в суть: например, вы в авто: взрывы бензина внутри моторного цилиндра — прерывисты, толчками бьют о поршень. Это внутри. Снаружи же — непрерывное плавное кружение колес. Есть, как бы сказать, известная видимость видения: человеку с обнаженным зрачком мнится, что фиксируемая им вещь непрерывно, во все доли доль секунды,— как бы связана с зрачком не рвущимся ни на миг лучом. Однако я усомнился в этом. Искровая вспышка электрической машины длится всего одну пятидесятитысячную секунды. Но удерживается в глазу в течение одной седьмой секунды. Таким образом, семь кратких мельков искр, отделенных друг от друга паузами почти в седьмую долю секунды, будут восприняты глазом

как непрерывное, секунду длящееся горение искры. Но ведь подлинное-то ее горение, в данном случае, отняло лишь семь пятидесятитысячных секунды. То есть $\frac{49993}{50000}$ длительности опыта — была тьма, воспринятая

как свет. Поняли? Растяните теперь: секунду в минуту, минуту в час, час в год, в век, взрастите искру в солнце, — и окажется: можно убрать солнце с орбиты на девяносто девять сотых дня и мы, живущие под солнцем, не заметим этого, понимаете, не заметим и, брошенные в тьму, будем радоваться мнимому солнцу и мнимому дню. Вам скучно?

— Нет.

— Мысль моя оперлась на опыты. Собственно, опыты были сделаны до меня: самый факт толчкообразности видения, прерывистости восприятия, скажем, кинофильмы, продергивающейся перед глазом, достаточно известен. Но статья перед фактом — мало: надо уметь в о й т и в ф а к т. Меж мгновениями, когда лента, сняв с ретины одно изображение, продергивается, с тем чтобы дать другое, вклинен миг, когда у глаза все уже отнято и ничего еще не дано: в этот миг глаз перед пустотой, но он видит ее: видение мнится ему видением.

Я не спешил с обобщениями. Меж лучом киноаппарата и глазом, перпендикулярно к лучу так называемый обтюпоратор: это равномерно вращающийся диск с узкой щелью у одного из своих краев; поворачиваясь к лучу то глухим сектором, то щелью, — обтюпоратор попеременно то рвет, то сращивает луч. При помощи особого дифференциального регулятора можно замедлять число оборотов диска, длинная этим паузу меж двумя мельками света. Я так и сделал: экспериментируя в лаборатории над группой молодежи, я изредка чуть удлинял световые паузы: но ни экспериментируемые, ни я сам не заметили в жизни серых фигур, сдвигавшихся на экране, ничего, что бы прервало, хотя бы на миг, их серое и плоское бытие.

Осмелев, я удлинил в двух-трех местах свои черные вставки; никто их не заметил: кроме меня.

Понятно: управляя обтюпоратором, я точно знал, где и когда их ждать. Мало того, экспериментируемые (несколько студентов и студенток физического семина-

рия) вообще не знали, чего от них хотят. Но ведь и мы все, над которыми ежедневно экспериментируют с солнцем, в сущности, тоже не знаем: чего от нас хотят?

Ободряемый успехом, я расширил черные щели вдвое. Для большинства и это прошло незаметно, но два-три человека уже заговорили о каком-то черном мелькании, один сказал о «перебоях в образах», другой — о «черной подмеси к ровному свету аппарата». Но удивил меня только один, чрезвычайно скромного облика, блеклолицый и узкоплечий студент: «Правда, — согласился он, — и я заметил перебой. Но разве этого не бывает вообще, в жизни?» Товарищи улыбнулись. Смутившись, он замолчал. Дня через два случайная встреча с узкоплечим дала мне возможность расспросить его подробнее. Конфузясь и путаясь, будто изловленный на какой-то недоброй тайне, он сказал, что еще в детстве дважды испытал чувство как бы полного выпадения мира из глаз. Правда, оба раза на ничтожную долю времени. Происходило это при ясном свете дня и непрерывности сознания, так что к разряду мгновенных обмороков это не относилось (студент оказался медиком). При расспросе моем — посещает ли его этот феномен и сейчас — студент отвечал: да, но не в полном своем проявлении: вещи лишь тускнеют, отодвигаются от глаза, дальше и дальше, обращаются в крохотные пятнышки и точки, а после, опять разбухая, делаются четче и ярче и возвращаются на прежние места. И только.

Разговор этот, не дававший права на определенные выводы, помню, все же до странности взволновал меня. Гипотезы громоздились на гипотезы: если меж систолой и диастолой сердца вклиняется пауза, думал я, то отчего бы не быть и солнечным паузам. И я начал мою, вот уж двенадцать лет длящуюся, ни на единый день, нет, миг, не прерываемую слезку за Солнцем; я усомнился, понимаете ли, усомнился в этом желтом диске, врезанном в лазурь. Теперь все знают: солнце в черных пятнах. Но многим ли открыто: само оно лишь черное пятно, черными лучами бьющее по планетам. Мне случалось и раньше замечать, иной раз среди яркого полдня, как бы момент ночи, вдруг выставившейся черным телом своим в день. Испытали ли вы хоть раз это жутко сладкое чувство? Лучи от солнца

к земле, будто вдетые в колки струны, натягиваются все сильнее и сильнее, тончатся и ярчатся и вдруг оборвались: тьма. На миг. А там—все как было. Опять лучи, лазурь и земля.

Ночь ведь и днем и к у д а не уходит: разорванная на мириады теней, она таится здесь же, в дне: приподнимите с земли лист лопуха, и черный обрывок ночи тотчас же юрко метнется под корень. Всюду: под сводами, у стен, под листвою деревьев ждет разорванная на черные клочья ночь. И когда солнце устанет, отовсюду—из-под листвы, каменных нависей стен, склонов гор осторожно выползают черные лоскутья и снова срастаются в тьму. И как можно и в сиянии полдня выследить и изловить глазом и чутью вот эту чисто оптическую ночь, ждущую лишь знака, чтобы из тайной стать явной, так и иная ночь,—Ночь, я бы сказал, онтологическая не покидает души и вещи. Ни на миг. Но это уже философия: в те годы я еще боялся обобщений. Для мысли моей порог, отделивший лабораторию от мира, был еще слишком высок.

Я все возился с цифрами, с вгибами и выгибами оптических чечевиц, офтальмоскопом, цветосмешивающими дисками Геринга и скучной шарманкой фильм. И если бы не один случай...—рассказчик чуть слышно хрустнул пальцами,—да, если бы не он...

Лёвеникс вдруг насторожился: на крытой лунным бликом аллее бульвара внезапно возникло двое; они шли молча, устало и покорно ступая вслед своим черным теням, ползшим впереди них по песку аллеи.

— Ведомые теньями,—прошептал Лёвеникс и продолжал: —Тогда я... любил. Теперь не умею. Но тогда... четко помню тот прозрачный, безветренный осенний день, когда я, меж тронутых золотом и багрянцем лип, шел к назначенному месту у скрещения аллей. Встреча была условлена в половине второго. Я торопился, боясь упустить хотя бы миг. Оставался один поворот. У поворота, шагах в десяти передо мной, сквозистая, но длинная и раскидистая, поперек всей аллеи, тень липы. С чрезвычайной ясностью помню и сейчас тот миг: я был весь, насквозь и сплошь—любовь. До тени десять-пять-три шага: я наступил на нее, и вдруг произошло нечто чудовищное: тень, будто разбуженная ударом подошвы, качнулась, мгновенно густясь в черный ком, и поползла, разворачиваясь

с невероятной быстротой — вверх, вперед, вправо, влево, вниз. Миг, и все кануло в тень: аллея, деревья, лазурь, солнце, мир, «я». Ничто. Потом — миг — и опять желтая лента песку; на песке малая и скудная тень, с боков — шпалеры деревьев, сверху — лазурь. В лазури — диск. Изникнув, все возникло вновь и было, как до мига, но чего-то не было. Я ясно ощущал: что-то осталось там: в ничто.

Механически я сделал шаг вперед. Сделав шаг, подумал: куда? Вспомнил: не сразу и с усилием. И вдруг стало ясно, чего нет. В сердце было до странности пусто и легко. Я вспомнил «ее» всю, от вибрации голоса до дрожи ресниц, мысленно увидел ее, ждущую там за поворотом аллеи, и не мог понять, зачем мне она: чужая; ненужная, как все. Да, черная щель, сомкнувшись, возвратила все; кроме одного: оторванное от сердца, брошенное в ночь, вместе с солнцами и землями, оно не нашло пути назад; солнце в лазури, как и до мига, земля на орбите, как и до мига, а этого — нет: щелью втянуло.

Странная слабость овладела мной: шумело в ушах; подкашивались ноги; я сел на ближайшую скамью. Машинально вынул часы: двадцать семь второго.

До условленного часа — три минуты. Преодолевая слабость, я поднялся и автоматически зашагал к воротам парка. Мое «я» стало будто нежилым: идя меж шеренг домов, я механически останавливался у пестроты витрин, всматриваясь в какие-то вещи, совершенно мне ненужные и неинтересные, складывал в слова аршинные буквы афиш и не понимал их. Простоял довольно долго у какого-то пропыленного и облезлого мелкобуквого объявления, читая, тотчас забывая прочитанное, с тем чтобы опять начать чтение сначала. Случайно на глаза мне попался какой-то вывесочный циферблат, глянув на его будто застрявшие в цифрах стрелки, я хотел пройти мимо, но стрелки не отпускали глаз; сделал усилие, пробуя оторвать зрачки, и вдруг осознал: нарисованное время указывало — двадцать семь минут второго: мой час.

И с тех пор циферблаты стали мучить меня. Обыкновенно, стараясь забыться, я прибегал к быстрой ходьбе по полным гула улицам. Попробовал и теперь, но нет; стоило мне выйти на панель, — и отовсюду круглились циферблаты, десятки мертвых

циферблатов; и почти на каждом — двадцать семь минут второго. Пробовал не смотреть, но черные стрелы, внутри синих — черных — золотых обводов, тянулись к глазу черными остриями, а проклятые диски, неожиданно пробелев, ударяли о глаза все тем же цифросочетанием. И я прятался от улиц за стенами и дверью комнаты. Но и там, даже в снах, не было забвения: из ночи в ночь мне снилось мертвое безлюдье улиц. Зажаты ставни. Потушены огни. Пуста панель; и только я иду от перекрестка к перекрестку один, среди сотен, тысяч белых дисков, облепивших стены, и на каждом диске одни и те же цифры; и меж одних и тех же цифр под одним и тем же углом вправо скошенные стрелки; и у остриев их — всюду-всюду — двадцать семь второго — двадцать семь минут второго — второго двадцать семь.

Тогда я еще не понимал, да и не скоро понял, что водит рукою маляров, красящих вывески для часовых лавок.

По теории вероятностей, если сочетать все возможные положения минутной и часовой стрелок, лишь один из семисот двадцати покрашенных ими циферблатов должен был указывать час двадцать семь. А однако, как вы вероятно заметили, в семи случаях из десяти...

— Да, — прервал я живо, — и мне бы хотелось знать как вы объясняете это?

Но собеседник не отвечал, он сидел, еще глубже запротав голову в плечи, видимо, отдаваясь воспоминаниям.

Предутренний ветер качнул тенями деревьев и снова положил их на место, у наших ног. Лёвеникс вышел из забытья:

— Да, все это осталось там, позади. Вскоре порог моей низкой и тесной лаборатории, со всей ее жалкой утварью и книжными методами, тоже отошел назад. Я сдернул с себя потолок и стал приучать мысль покрываться одним лишь небом. Проблема ставилась так: у океана свои отливы, и у бытия — тоже. Чувство бытия может быть дано двояко: как есмь и есть. «Я» знает себя как есмь. «Не-я» известно ему как некое есть.

Скажите, не были ли вы, хоть раз за всю жизнь, в трех примкнутых друг к другу моментах. Первый:

есть и есть. Второй: есть. И только. Третий: есть в есть. Путано? Сейчас поясню: после того, как мир раз и еще раз был взят от меня бытийной щелью, нет-нет да расщепляющейся в бездну, глотающей землю и солнце,— я стал подозрителен к миру и как-то не верю ни в прочность протоптанных его планетами орбитных эллипсов, ни в негасимость его солнц. Правда, провалы в ночь редки и знающие о них редки, но щель, грозящая катаклизмом, никогда не сдвигает вплотную своих краев; каждый миг грозит она их раздвинуть, прозять мироемлющей бездной; не я один разорван щелью надвое. Разве вы не расщеплены ею? Разве Гейне не писал — «через мою душу прошла великая мировая трещина».

Он был поэтом и не знал, что это больше чем метафора. И если бы...

Лёвеникс вдруг оборвал на полуслове и резким движением протянул руку вперед.

— Взгляните.

Уйдя в слушание, я и не заметил: ночь отошла. Заря проступала узкою алою щелью меж земли и неба. Медленно-медленно ширилась. Звезды втягивали в себя свои лучи. И ночь, ища укрытий под сводами и нависями, уже разорвалась на черные лоскутья теней. Снова возникали вещи: сначала очертаниями, потом и красками.

— Мне пора.

Собеседник повернул ко мне лицо. Только теперь я мог рассмотреть его: лицо Готфрида Лёвеникса — чуть одутлое, с смело прорезанным ртом, было как-то заостренно и сквозисто, и только в раскале неподвижных, но обжигающих глаз таилась неистребимая жизнь. Мне вспомнилось, будто я видел уже это лицо и взгляд: где-то со старой гравюры в книге с чьей-то давно отлетевшей жизни.

— Но вы не досказали...

— Всего не доскажешь. Вот суть: если нет единой нити времени, если бытие не непрерывно, если «мир не цел», расколот щелями на розные, чужие друг другу куски,— то все эти книжные этики, построенные на принципе ответственности, связанности моего завтра с моим вчера, отпадают и замещаются одной, я бы сказал, щелиной этикой. Формулу? Вот: за все оставленное позади щели я, пере-

ступивший щель, не отвечаю. Я — здесь, поступок там: назади. Свершенное мной и я — в разных мирах; а из миров в миры — нет окон. О, это-то я давно постиг. Вы поняли?

— Да.

— Ведь та, что ждала тогда за поворотом аллея, помните, не дождалась. Я оборвал без слов. Письма отсылал нераспечатанными. Как-то случайно, в газете попалось в глаза — ее имя (ее звали София, да, Со-ф и я): «...выбросилась в окно. Причина неизвест...» — но к чему это я вам?

Он вдруг резко отвернулся. Мне виден был лишь острый выступ плеча и черная тулья шляпы; поля ее чуть вздрагивали.

— Что с вами?

— Ничего. Так. Простите.

Он поднялся. Я тоже.

— Но вы не объяснили нарисованных циферблатов.

— Ах да. Об этом в другой раз.

Я задержал его руку в руке.

— Но когда же будет «другой раз»?

Он медлил ответом.

Тогда я вынул рукопись:

— Не мне — вам.

Он слабо улыбнулся: спасибо. И назвав свой адрес, быстро зашагал по аллее бульвара. Я снова опустился на скамью. Начиналась дневная жизнь. Шагали, тревожа пыль, люди, стучали, выбивая искры из булыжин, копыта и обода.

Пора было и мне. Но я медлил: какое-то странное недоверие и к солнцу, и к земле, и к себе самому связывало мне мускулы: казалось, вот — сделаю шаг и всё — от солнца до искр под копытами, от земли, подостланной под всю нашу суету до крохотных пылинок, растревоженных подошвами, — всё вдруг канет в ночь и обещанного зарей дня не будет.

IV

Долго я не решался посетить Собирателя Щелей. Подзадоривали крашенные уличные циферблаты: жирно намалеванные стрелки будто толкали пойти за загадкой их цифр.

Комната Лёвеникса отыскалась где-то на шестом этаже у последней ступени витой черной лестницы: потолком в чердак. Но к моей досаде, она была пуста. Готфрид Лёвеникс выбыл. Куда?

После долгих расспросов в домовой конторе удалось получить только имя крохотного заштатного городка, куда выехал Лёвеникс. Я решил не терять следа и тотчас написал письмо, обозначив на конверте лишь имена — человека и городка. Дойдет ли?

Ответа долго не получалось: значит, не дошло. Но однажды, когда я перестал ждать, мне вручили серый квадратный конверт. В конверте:

«Милостивый Государь,

Надеюсь, Вы извинили мне некоторую неровность в обращении: я конченный чудак. Только теперь, перечитав и Вашу сказку, и Ваше письмо, вижу, что был не прав, вдруг зачуждавшись Вас: мы связаны, хотя бы общностью темы. Спешу прежде всего успокоить Вас относительно циферблатов. Тут нет никакой особой тайны: если морской отлив имеет свои в точных секундах выраженные сроки, то и отливу бытия, который, правда, не каждодневен, — должно иметь свои излюбленные часы, минуты и, может быть, секунды в дне. Сознания людей — грубы. Но бессознательное, в философии ли, в маляре ли, — всегда мудро. Рука маляра, который, конечно, действует бездумно, бессознательно, закрашивая вывесочный циферблат, — мудрее самого маляра: ему все равно куда деть стрелки на диске, но бессознательному в нем не все равно; всюду и всегда пишет оно с в о й час, час бессознательности, отмены всех сознаний: час пустот. И люди, топчущиеся по панели, не знают, чем им грозят с жестяных листов черные стрелы дисков, повисших над их жизнью. И не узнают.

Все мои дослешние наблюдения лишь подтверждают эту гипотезу, и я думаю руководствоваться в предпринимаемом мною ряде опытов с ничто именно этим, известным Вам и мне, сочетанием часа и минуты.

Готовый к услугам Г. Лёвеникс».

Я отвечал немедля. В теплых словах я благодарил за письмо, гипотезу и просил, тоном ученика, если

возможно, приоткрыть мне сущность метода, который Лёвеникс кладет в основу намечаемых им опытов. Второе письмо Собирателя Щелей, называя меня молодым другом, сообщало, что мысль его, Лёвеникса, пройдя сквозь формулы физики и максимы этики, вступила в новую фазу.

«Только теперь,— писал учитель,— оправдана для меня онтологическая канва Вашей сказки. Вам, поэтам, то, что дается, дается смутно, но сразу. Нам, философам,— ясно, но в постепенности. Перечитываю Декартовы *Meditationes*¹: его мысли о «промышлении миром» — удивительны: «Промысел,— дедуцирует он,— не бережь бытия, а длящееся в веках творение мира, который в каждую долю мига (беру Декарта *in extenso*²) срывается в ничто, но создается вновь и вновь, из мига в миг, весь, от солнц до песчинки, мощью творческой воли. Но ясно, что меж двух Декартовых «вновь» возможны и перерывы — мертвые точки: в их пунктир и уперлось мертвое дьяволово царство, меж-мирие, черная Страна Щелей.

Один из вас, поэтов, давно это было, вошел в провалы Царства мертвых. Должно и метафизику сойти туда же.

Фактуру опытов опасаясь доверить почтовому конверту. Если интересуетесь, приезжайте сами: покажу, что могу.

Но, во всяком случае, время медитаций прошло. Пора стать «ушельцем в щель».

Особенность моего метода такова: людям неведомо даже то, о чем знают все уличные циферблаты. Почему? Потому что щель, расщепляя бытие, поглощает вместе с ним и их сознания, бытие отражающие. Выброшенные назад в бытие, бедняки и не подозревают, что за миг до того их не было,— и только отдельные, как бы утаенные вновь сросшейся щелью вещи и люди, не возвращенные вместе с ними назад, под солнце, возбуждают некоторый страх и недобрые предчувствия. О затерявшихся говорят: «умерли-погибли» неизвестно где». И не знают, что каж-

¹ Размышления (*лат.*).

² В развитии (*лат.*).

дый миг грозит нам «неизвестно где»: всему и всем.

Но узнать в н у т р е н н е е бездны может лишь тот, кто не отдаст расщепившейся щели своего сознания; тот, кто, исчислив точно час и миг катаклизма, властью воления и веры — останется быть один среди небытия, войдет живым в самую смерть. Тут мало Дантовых терцин; нужны цифры и формулы; и то, что поэт мог делать лишь с образами и подобиями вещей, метафизику должно уметь сделать с самими вещами.

Числа меня не обманут. Вера — тоже. День опыта близок. Да поможет мне бог. Г.Л.»

Письмо взволновало меня. Вестей в течение недели не приходило. Я собрал кой-какой ручной багаж, и утренний поезд мчал меня к разгадке.

V

Поезд должен быть прибыть к полудню, но опоздал на час. Оставив багаж на вокзале, я пошел разыскивать квартиру Лёвеникса. На часах было без четверти два, когда я нажимал щеколду калитки, вправленной в высокую глухую стену; внутри стены двор; в глубине двора маленький в три окна домик. Ни души. Дверь полуоткрыта. Я вошел.

Сени; постучал: тихо. Нажал ручку — дверь подалась.

В первой комнате — только книги. Я позвал. Ответа не было. Недоумевая, я заглянул в открытую дверь соседней комнаты: стол, у стола кресло; в кресле — Лёвеникс; головой в стол, с руками, странно обвисшими до полу.

Окликнул. Молчит. Еще раз. Молчит. Тронул за плечо. Сильнее: голова, вдруг, как-то подвернувшись, беззвучно легла на левое ухо, — и я увидел мертвый, остеклившийся, с застывшим выражением ужаса в белом зрачке, глаз. Под отвалившейся вбок головой, прилипнув к щеке, лежала мелко исписанная тетрадь. Приподняв голову (она была еще чуть тепла), я выдернул тетрадь, спешно роюсь глазами в ее последних, еще не просохших строках. Сунул в карман и вышел,

плотно прикрывая за собой одну, потом другую, потом — третью дверь. Ни во дворике, ни на улице — ни души. Через час я сидел в поезде.

Я не понял всех цифр и формул, вписанных в тетради Лёвеникса. Одно мне понятно: с моей сказкой покончено. Покоряюсь. Но цифры Лёвеникса хотят большего: им нужны все вымыслы, мои и не мои, писанные и не писанные. Они требуют отдать им все до последнего фантазма. Нет, вчера я бросил щелиное наследие — в огонь. Вымыслы и домыслы — сочлись. Фантазм — отмщен.

1922

СБЕЖАВШИЕ ПАЛЬЦЫ

I

Две тысячи ушных раковин повернулись к пианисту Генриху Дорну, спокойно подвинчивавшему длинными белыми пальцами плетенку стула-вертушки... Фалды фрака свисли с вертушки, а пальцы прыгнули к черному ящику рояля — и мерным бегом по прямой мощенной костяным клавишам дороге. Сначала они направились, блестя полированными ногтями, от С большой октавы к крайним стеклито-звонящим костяшкам дисканта. Там ждала черная доска — край клавиатурной коробки: пальцам хотелось дальше, — они четко и мелко затопали по двум крайним костяшкам (глаза в зале здесь-там зажмурились: «какая трель»), — и вдруг, круто повернувшись на острых, обутых в тонкую эпидерму кончиках, опрометью, прыгая друг через друга, бросились назад. У середины пути пальцы замедлили бег, раздумчиво выбирая то черные, то белые клавиши для тихого, но глубоко вдавленного в струны шага.

Две тысячи ушей подо двинулись к эстраде.

Знакомая нервная дрожь вошла в пальцы: став на втиснувшихся в струны молоточках, они вдруг, резким прыжком, перешвырнулись через двенадцать клавиш и стали на c-es-g-b¹.

Пауза.

И опять, сорвавшись с аккорда, пальцы стремительным пассажем неслись к краю клавиатуры. Правая рука пианиста тянула назад, к медиуму,

¹ Минорный септаккорд (до — ми бемоль-соль — си бемоль).

но расскававшиеся пальцы не хотели: в бешеном разбеге они мчались вперед и вперед: промелькнула стеклистыми звонами четвертная октава, пискнули добавочные костяшки дисканта, глухо стукнуло по ногтям черным выступом клавиатурной рамы: отчаянно рванувшись, пальцы выдернулись вместе с кистью из-под манжеты пианиста и прыгнули, сверкнув бриллиантом на мизинце, вниз. Вощеное дерево паркета больно ударило по суставам, но пальцы, не выронив темпа, вмиг поднялись на распрямившихся фалангах и, семена розовыми щитками ногтей, высоко подпрыгивая широким арпеджиообразным движением — мизинец от безымянного, безымянный от среднего — бросились к выходу из зала.

Тупой огромный нос чьего-то ботинка загородил было путь. Чья-то грязная подошва притиснула на мгновение мизинец к ковру. И пальцы, поджав прищемленный мизинец, юркнули под свесившийся до пола занавес. Но занавес тотчас же дернулся кверху, обнажая две черных расширяющихся кверху колонны: пальцы поняли — это был подол платья одной из поклонниц Дорна. Круто повернувшись на безымянном, они отпрыгнули вбок.

Нельзя было медлить. Кругом уж возникал шепот. Шепот — в говор, говор — в гомон, гомон — в крик, крик — в рев и топ тысячи ног.

— Держи их, держи.

— Что?

— Где?!

Часть аудитории бросилась к пианисту: он, в глубоком обмороке, свис со стула; левая его рука упала на колено, пустая манжета правой еще лежала на клавиатуре.

Но сбежавшим пальцам было не до Дорна: работая длинными фалангами, сгибая и разгибая суставы, они зачастили *prestissimo*¹ по ковровой дорожке к уступам лестницы.

С воплем и визгами, тыча локтями в локти, люди очищали путь. Из залы еще неслось: «Держи! Где? Что?» Но лестница осталась позади.

Одним мастерским прыжком пальцы перемахнули через порог и очутились на улице. Топы и гамы оборва-

¹ Очень быстро (*итал.*).

лись. Вокруг молчала, овитая в желтое ожерелье фонарных огней, ночная безлюдная площадь.

II

Холеные пальцы знаменитого пианиста Генриха Дорна, обычно гулявшие лишь по слоновой кости концертных роялей, не привыкли к хождению по мокрой и грязной панели.

Теперь, очутившись на липком и холодном асфальте площади, ступая по плевкам и жиже луж, пальцы сразу поняли все безумие и экстравагантность своей выходки.

Но поздно. По порогу оставленного дома уже стучали подошвами и палками: возвратиться вспять — значит быть раздавленными. Поджимая к безымянному пальцу ноющий мизинец, правая кисть Дорна прислонилась к шершавому камню тротуарной тумбы, наблюдая происходящее.

Дверь выбросила всех людей и сомкнула створы. Оторвавшиеся пальцы остались одни на опустевшей панели.

Моросил дождь. Надо было позаботиться о ночлеге. Пальцы, макая свою белую и тонкую кожу в лужи и канавы, медленно побрели, то спотыкаясь, то скользя, вдоль мостовой. Внезапно из тумана прогрехотал колесный обод: расшвыряв комья грязи, прокружил прочь.

Пальцы еле успели увернуться: брезгливо отряхая вонючие брызги, они взобрались, на дрожащих и подгибающихся от волнения и устали фалангах, по скосу тротуара и шли вдоль домов, вросших стенами в стены.

Был уже поздний час. С желтого циферблата простучало два. Створы дверей были сомкнуты, сморщенные железные веки окон опущены. Близился и снова ник чей-то запоздалый шаг. Где укрыться?

На расстоянии полуклавиатуры от тротуарных кирпичей алел, раскачиваемый ветром, огонь лампы. Под огнем ввинченная в стену прямоугольная железная кружка: «На храм».

Выбора не было: по выщербам стены на карниз кирпичи, с карниза на покатую крышку кружки. Отверстие кружки было узко, но пальцы пианиста недаром

славилась гибкостью и тощиной: протиснулись в прорезь и... прыг. Внутри было темно, лишь слабый красный блик, оброненный в кружечную прорезь лампы, лежал у окна. Рядом с бликом — мятая доброхотная кредитка. Продрогшие пальцы забились в угол железного короба, укрылись кредиткой и, свернувшись под нею в кулак, лежали без движения. Суставы ревматически ныли; в обломанных и потрескавшихся ногтях зуд; мизинец распух и тонкий обруч кольца глубоко врезался в кожу.

Но усталость брала свое: алый блик качался из стороны в сторону, дождь выстукивал по крышке кружки упругими капельками знакомое *moto perpetuo*¹. В узкую прорезь ящика глянул, щуря свои изумрудные глазки, Сон.

III

Встряхнувшись, пальцы расправили затекшие суставы и попробовали вытянуться во всю длину на жестком ложе. Алый луч зари ввился в медленно блекнущий блик лампы.

Дождь замолчал. Подпрыгнув раз и другой кверху, ударившись о крышку короба, пальцы осторожно просунулись наружу и сели на влажном скосе церковной кружки.

Предутренний ветер качал безлистными ветвями тополей. Внизу — мерцание луж, вверху — полз туч.

Как ни необычна была ситуация, многолетняя выгранная в пальцы привычка к полторачасовым утренним экзерсисам заставила их взобраться на карниз церкви и проделать методический гамообразный бег от края до края, справа налево и слева направо, пока тепло и гибкость не вошли в суставы.

Кончив упражнения, пальцы спрыгнули вниз на кружку, и, сев поперек ее отверстия, стали грезить о близком, но оторванном прочь прошлом:

...вот они лежат в тепле под атласом одесяла; утреннее купание в мыльной теплой воде; а там приятная прогулка по мягко-поддающимся клавишам, затем... затем прислуживающие пальцы левой руки одевают их в замшевую перчатку, защелкивают кнопки, Дорн бе-

¹ Вечное движение (*лат.*) — намек на пьесу Р. Шумана.

режно несет их, положив в карман теплого пальто. Вдруг... замша сдернута, чьи-то тонкие душистые ноготки, чуть дрогнув, коснулись их. Пальцы страстно притиснулись к розовым ноготкам и...

И вдруг чья-то корявая, с желтыми грязными ногтями рука столкнула размечтавшиеся пальцы со скоса кружки. Это была подслеповатая старуха, возвращающаяся с рынка. Поставив наземь корзину, полную кульков, она подошла к кружке и нащупала дрожащей рукой прорезь, готовясь бросить свою скудную лепту. Но внезапно что-то мягкое и движущееся схватило ее за палец, отдернулось и перекувырнулось; тотчас же зашуршало в кульках — и вдруг пять человеческих пальцев без человека, отряхиваясь от муки, выпрыгнули из корзины — и по тротуару, наутек.

Старуха выронила деньги и долго и опасливо крестилась, шамкая что-то беззубым, трясущимся ртом.

С кубика на кубик, ныряя в лужи и канавы, пальцы бежали дальше и дальше.

Двое мальчуганов, спускавших, сидя на корточках у канавы, кораблик с бумажным парусом, заметили их, когда, оттолкнувшись мизинцем от тротуарного края и присев на согнутых фалангах, пальцы готовились к прыжку через шумливую канавку. Разинули рты. Оставленный кораблик ткнулся килем о булыгу и — донцем вверх.

— Ого-го-ги! — завопили мальцы, пускаясь в погоню.

Только необычайная пианистическая беглость спасала улепетывающие пальцы: разбрасывая брызги, срывая нежную эпидерму об острые выступы камня, они бежали с быстротой Бетховенской *Appassionat'ы*, и будь под ними не шершавые торцы, а клавиши, все величайшие мастера пассажа и глиссандо были бы превзойдены и посрамлены.

Вдруг позади что-то зарычало, и огромная когтистая лапа опрокинула убегающую пятиножку: пальцы упали окровавленными ногтями вверх, стукнув алмазом, вкрапленным в кольцо на мизинце, о фант тротуара.

Клыкастая пасть дворового пса раскрылась над ними: в смертной истоме, судорожно скорчившись, пальцы щелкнули в псиный нос и, выиграв миг, помчались дальше, гонимые лаем и гиком.

Ночевать пришлось сперва в раструбе водосточной трубы. Поздно ночью снова полил дождь, и измученных оторвышей, забравшихся было в жестяной раструб, выплеснуло наружу: приходилось блуждать по темной панели, ища сухого пристанища.

За мутью подвального окна мигал огонь. Медленно ступая с пальца на палец по мокрой раме окна, бедные оторвыши робко постукали мизинцем в окно. Никто не откликнулся.

В стекле — дыра, заклеенная бумагой: указательный палец прорвал бумагу, за ним пролезли и остальные. Вот и подоконник. В комнате — тишь. На кухонном столе, придвинутом к окну, — ни крохи. В железной печке, ставшей на раскоряченных гнутых ножках и ткнувшейся длинным железным хоботом в отдушник, дотлевали серо-алые угли. На деревянных нарах спали кучей, прижавшись друг к другу, — женщина и двое детей: лица худы, глаза — под сине-серыми сморщенными веками, тела — под прелой рванью.

Но на углышке белой чистой наволочки, разряженной в желтые блики и искры копилки, сидел, хитро улыбаясь, Сон: он тер изумрудные глазки перепончатыми прозрачно-стеклистыми лапками и рассказывал беднякам свои сказки. И от слов его пятна на стенах зацвели розовыми зарослями, а белье, повисшее в воздухе, стало плыть по шпагату чередой белоснежных облаков.

Пальцы чинно сели у края стола и слушали: и под тихие разговоры Сна им вспоминался и неровный бег Phantasie-Stücke Шумана, и таинственные прыжки и зовы «Крейслерианы».

Малым оторвышам захотелось тоже подарить что-нибудь беднякам: на припухшем мизинце мерцало алмазное кольцо Дорна: корчась от боли, оторвыши уперлись искалеченными ногтями в золотой ободок: кольцо, звякнув, легло у края стола.

Пора.

За окном рождалось утро. Сон засуетился: сошел с подушки, уложил видения и ищи его. За ним и пальцы: осторожно прошуршав прорванной бумагой у окна, — снова на панель.

Мокрый веселый снег белыми звездами падал в жижу луж.

Замученные оторвыши не могли идти дальше: прижавшись к холодному камню панели, они собрались в щепоть и легли под тихие лёты белых звезд. И в тот же миг им стало слышимо: окостенелая земля закачалась несчетными клавишами; грохоча о черное и белое, роняя солнце с фаланг, прямо на оторвышей идут, быстро близясь, беспощадно-гигантские персты.

V

Музыкальный критик вбежал с газетным листом в руках в кабинет Дорна.

— Читайте.

На восьмой странице номера, обведенное красным карандашом, стояло:

Найдены пять пальцев
Неизвестно чьей правой руки.

Справляться я: *Дессинг-штрассе, 7, кв. 54. Телеф. 3-45, бецирк 1-9.*

Скользнув глазами по строкам, Дорн бросился в прихожую, сорвал с вешалки пальто, неловко тыча пустой манжетой правой руки в рукав.

— Маэстро, рано,—суетился критик,—«Справляться от 11—1 ч.», а теперь без четверти десять. И притом...

Но Дорн уже сбегал вниз по лестнице.

Когда получасом позже пианист Генрих Дорн увидел в картонной коробке, выстланной ватой, свои сбежавшие пальцы, он заплакал: пальцы лежали, неподвижно сжатые в щепоть, безобразным комком на выстланном ватой дне коробки. Кожа облипла грязью, изъязвилась и растрескалась; на тонких когда-то, отвратительно расплюснутых теперь, кончиках желтели наросты мозолей, ногти были сломаны и искромсаны, запекшаяся кровь чернела под сгибами суставов.

— Мертвы,—прошептал Дорн побелевшими губами и неумело потянулся пустым раструбом манжеты к неподвижно лежащим оторвышам; но те вдруг шевельнули мизинцем: еле-еле.

Дорн, истерически стуча зубами, придвинул беспалую руку к самой коробке: пальцы, шатаясь и путаясь в клочьях ваты, чуть приподнялись на дрожащих

и подгибающихся фалангах и вдруг, затрепетав, прыгнули внутрь манжеты.

Дорн смеялся и плакал разом: на коленях его, высунувшись из-под белизны манжет, лежали рядом две руки: одна с белыми, холеными, пахнущими дорогими духами, точеными пальцами, другая — коричнево-серая, заскорузлая, обтянутая грубой истертой кожей.

Через две недели после случившегося состоялся первый, по возобновлению, концерт знаменитого цикла Генриха Дорна.

Пианист играл как-то по-иному: не было прежних ослепительных пассажей, молниевых *glissando* и подчёркнутости мелизма. Пальцы пианиста будто нехотя шли по мощенному костяным клавишам короткому — в семь октав — пути. Но зато мгновеньями казалось, будто чьи-то гигантские персты, оторвавшись от иной — из мира в мир — протянутой клавиатуры, роняя солнца с фаланг, идут вдоль куцых пискливых и шатких костяшек рояля: и тогда тысячи ушных раковин придвигались — на обращенных к эстраде шеях.

Но это — лишь мгновеньями.

Специалисты один за другим — на цыпочках — покидали зал.

ЧУТЬ-ЧУТИ

I

Служу, вот уж седьмой год на исходе, в кабинете судебной экспертизы, по отделу графического анализа. Работа требует тщания и извостренности глаза. Кипы на кипы: на службе не управляюсь, приходится брать на дом. Работаю все больше над фальшивыми духовными, подложными вексями, вереницей поддельных подписей. Беру человежье имя: вымеряю угол наклона, разгон и округлость букв, уклоны строк, вывожу среднее, сравниваю силу нажимов, фигурацию росчерков — градуирую и изыскиваю запрятанную в чернильные точки, в вгибы и выгибы буквы — ложь.

Работать приходится чаще всего с лупой: и под прозрачностью стекла правда почти всегда разбухает в мнимость. Подложно имя: следовательно, подложен и носитель имени. Подделен человек: значит, фальшива и жизнь.

От устали — перед глазами плывут цепи мутных точек, а контуры вещей качаются. Да, работа у нас трудная, кропотливая и, пожалуй, излишняя: нужно ли мерить углы букв, стоит ли считать чернильные точки, когда и так ясно: все они — фальшиволицы, лжемыслены и мнимословны. Под живых. «Что подделываете». Почему не «что подделываете»: подделывают любовь, мысль, буквы, подделывают самое дело, идеологию, себя; все их «положения» — на подлоге. А их так называемый брачный подлог, то есть нет — полог: выдерни из слова букву, из смысла малую неприметность, отдерни полог-подлог, и там такое...

Не люблю ни своей глупой, в синие обойные лотосы, комнаты, ни своего узкого застегнутого в платье тела, ни себя, запрятанного от себя: и начини я растаскивать «я» по точкам, как вот этих, в портфеле, то... но не надо.

Раньше я пробовал уйти в работу — до боли в мозгу, до мутной ряби в глазах: лишь бы не думать. Теперь и этого нельзя. После того, что приключилось — неожиданно и внезапно.

Было воскресенье. Я проснулся несколько позднее обычного. Утро — все пронизанное ясным. Морозные звезды на стеклах. У порога, на коричневой половине — желтые зайчики. За окном скрежет шарманки. Все как вчера, до последнего блика и пятнышка, и вместе с тем все будто в первый раз: те же параллели щелей меж половиц; тот же портфель, книги на столе, то же истертое кресло и шкаф, все есть где было, — лишь нет на старом месте самого ТОЖЕ: затерялось ТОЖЕ — и все, под налетами новых смыслов, чуть сдвинуто, еле отклонено и странно ново.

Но время у меня на счету: вексель, выставившись белым углом из портфеля, ждал. У нижнего края — подпись. Накануне весь вечер провозился я с ее буквами: по видимости — углы, нажимы, выгиб росчерка — все подлинно; по сути, чую, все лживо, поддельно. И буквы весь вечер мучили меня, выскальзывая из анализа. Теперь с утра работа пошла успешнее: у конечной буквы бумажный глянец снят: подчистка. Ага. И еще: на улитке росчерка — малое тусклеющее пятнышко. Так. Я взял лупу и приблизил стекло и глаз к строке: прямо против глаза под выгибом лупы — стоял крохотный в пылинку ростом (если учесть увеличение) человек: человек не обнаруживал ни малейшего испуга, голова в точку была гордо поднята вверх в прозрачный купол лупы, а еле зримая рука его учтиво салютовала в сторону моего глаза. Казалось, существо в пылинку хотело мне что-то сказать: я убрал стекло и, пригнув голову к столу, осторожно накрыл своей ушной раковиной незнакомца: сначала в ухе что-то смутно шуршало и копошилось, цепляясь за волосики, потом шуршание стало внятным. Прозвучало:

— Я, король ЧУТЬ-ЧУТЕЙ, покоритель страны ЕЛЕ-ЕЛЕЙ и прочая, прочая, приветствую вас, ваша

ОГРОМНОСТЬ, в вашей бумажной стране синих лотосов и прошу гостеприимства мне и моему народу странствующих и гонимых чуть-чутей. Благоволите предоставить под территорию — поверхности вашей кожи, рукописей, книг и прочих угодий. И если...

Оторвав ухо от стола, я приготовился отвечать, но первыми же толчками моего голоса короля чуть-чутей свеяло прочь и я долго должен был шарить лупой по столу, пока его величество не отыскалось: оно, опрокинутое на спину, проворно встало на ножки и отряхивало смятое платье. Тогда я изловчился: прикрыв собеседника опять ушною раковиной, я заговорил шепотом и в сторону, стараясь не сдунуть высокого посетителя.

— Приветствую вас, — сказал я, — Ваше Чуть-Чутество. Листы моих рукописей, вгибы, выгибы и обрезки книг, переплеты, закладки, щели, обойные цветы, кожи картин и моя собственная эпидерма — предоставляются в полное ваше распоряжение. В награду прошу об одном: принять и меня в подданство чуть-чутева царства.

В ухе опять зашуршало:

— О, Ваша Непомерность, ваши заслуги нам ведомы: и вы, и ваше перо много потрудились, служа великому делу Еле-Елей и высоким идеалам Чуть-Чутества. Поэтому жалую вас званием первого вассала бессмертного и благородного царства Чуть-Чутей, дарую сан первого Чутя, союз и привилегии и повелеваю всему моему народу служить вам, как мне, пока буду жив и неприкосновенен здесь, в моем новом феоде. Эй!

Шорохи сбежавшихся чуть-чутей тотчас же наполнили мое ухо; щекоча кожу, они толпами протискивались, на зов своего повелителя, под края моего уха.

— Принять феоде, — продолжал король, — картины по числу мазков, книг — побуквенно, рукописи — поточно. Взять на учет все пылинки и пылины. Еле-Елям, по демам и филам, расселиться на обойных цветах; старейшинам и сенату отвести теплые печные щели. За работу. Подсчитать ресницы на веках его Огромности: на каждую по дежурному чуть-чутю. Два наряда знатных еле-елей в правое и левое ухо Его Огромности. А вы, вассал и брат мой, благоволите разрешить в ознаменование дня и встречи этот вот

подложный росчерк, на котором стою, преобразить в подлинный и амнистировать несчастного: эй, бук-воделы, сюда — оподлиннить.

И король, чуть царапнув короной о мочку моего уха, проследовал по черной линии росчерка, как по подостланному ковру, в окружении свиты и эскорта.

Изумленный, поднял я голову; оглядел стены, пол, потолок: ничего будто и не изменилось, и все было преобразенным и новым: мертвые, глупо-синие лотосы чуть шевелили коричневыми обводами, одеваясь в игру бликов и маячащих теней; по мерзлому стеклу ползли стеклистые узоры; льдистые звезды сыпали синими и белыми искрами; мазки картин, приподняв прижавшую их толщу стекла, тронутые невидимыми кистями, показывали новые краски и линии, слова, вертикально запрокинутые на корешках книг — чуть-чуть, на еле-мысль сдвинулись вдоль по своим смыслам, ширя щели в иные невнятные миры.

Вдруг черная точка мелькнула у моего левого зрачка: вероятно, один из дежурных чуть-чутей сорвался с моей ресницы. Ясно, они поспели уже и сюда, потому что стоило мне поднять ресницы кверху и все исчезало, возвращаясь во вчера: зацветающие лотосы опять мертвели намалеванными кляксами; вещи окаймлялись обводами и во всем зримом и слышимом будто зашелкивалась тысяча замков, запиравших их снова в мертвь и молчь.

Но стоило сощурить глаза, и сквозь ресницы опять гляделись и реяли новые миры. Взглянул на вексельную подпись — сначала простым глазом, потом сквозь чечевицу стекла. Сверил с подлинной: штрих в штрих. Обмакнул перо и проставил в акте:... «А посему, подпись в тексте за № 1176 полагал бы нужным признать как собственноручную и подлинную».

Сердце весело кувыркалось в груди. Я подмигнул разлегистому грешному росчерку: опять зазевавшийся чуть-чуть, сорвавшись с ресницы, мелькнул у зрачка.

— Тяжелая служба, — засмеялся я.

Солнце тоже: весело продергивало оно желтые нити меж примерзших к окну лучей и звезд.

— Амнистия всем, — шептал я радостно и освобожденно, — амнистия всем поддельным, фальшивым, подложным, мнимым и неверным. Буквам, словам, мыслям, людям, народам, планетам и мирам. Амнистия!

А за окном шарманочный вал все еще ползал на стертых штифтах, кружа на оси какие-то медные скрежеты,— но в ухе уже расхлопотались чуть-чуть: скрежеты преобразались в нежную мелодию, обрастали призвуками и обертонами, не слышимыми другим, не принятым в подданство чуть-чутева царства.

Захотелось наружу к скрещениям улиц и к встречам людей с людьми. Я рванул дверь и, скользя рукой по перилам, стал быстро спускаться к дну узкого, лестничного колодца. Было темно: расширив глаза, я не примечал ничего нового. Но вдруг, на одной из площадок распахнулась, полоснув светом, дверь. Сквозь невольно сощурившиеся веки я увидел женщину, в нерешительности остановившуюся на пороге. Вспомнилось: мы уже встречались не раз у дома, в воротах и здесь же, на лестнице: это была некрасивая, веснушчатая, с прядями белесых зачесанных за уши волос, девушка: должно быть, швея, машинистка, не знаю; при встрече всегда в сторону и к перилам, вероятно, стыдясь и заношенного платья, и блеклого своего лица. Обычно мне лень было хотя бы взглянуть на нее, но сейчас, о, сейчас, чуть-чуть, дежурившие у зрачков, честно делали свое дело: дурнушка, ну да, конечно, такая же, как и вчера, но чего же так расстучалось сердце; дурнушка, но от чего же вдруг кровью о мозг?

Она стояла, прижав стертый башмачок к порогу, и в лице, охваченном солнцем, возникало и никло что-то милое-милое, в белую проступь и сквозистые тени одевшее овал щеки и беспомощную ямку на тонкой, слабой, стеблем поднятой шее. Секунды, а там дверь закрылась, запахнув свет, и я механически продолжал искать ступнями ступени. Дальше и дальше — по затоптанному кирпичу улиц, навстречу новой, будто вот-вот рожденной жизни: то, что вчера было просто «снег», стало теперь мириадами чуть приметных, но примечательных льдистых кристаллинок; протертые тряпками окна смотрели осмысленно, как глаза проснувшихся людей; сонмы неприметностей, спрятавшихся и выскользавших всегда из сознания, глянули и выступили наружу из вещей, шагающие вертикали тел, кружения спиц, скольз и скрип полозьев, рванные ветром слова, запрятанные в вату и мех руки, ноги, жесты, игра морщин и бликов — вдруг высвободились, стали зримы и вняты. И во мне все было по-иному:

мириады еле различимых мыслей терлись изнутри о лобную кость, в сердце прорастали завязи предощущений и замыслов. Тысячи чуть-чутей, вероятно, загнанных морозным воздухом в поры моей кожи, дергали за жилки и капилляры, возились в путанице нервных нитей, рождая в моем теле новое, неожиданное тело. От волнения ноги у меня чуть дрожали. Я прислонился спиной к футовым буквам афишного цилиндра и шептал странные мне самому слова. Лишь чуть-чутям, окружившим мои губы, они могли быть слышны:

--- Клянусь,— шептал я,— о, клянусь служить жизнью и делом властителю моему королю страны Чуть-Чутей и всему славному его народу. И если, вольно ли, невольно ли, нарушу клятву, то... да будет мне смерть.

И в ушах у меня прошуршало: аминь.

II

— Разве только так, на минуту...

Стоптаный кривоносый башмачок заколебался на пороге моей комнаты.

— Хотя бы. Я умею обращаться и с минутами.

Она оперлась ладонью в стол, прищурившись на бумажные вороха, разбросанные повсюду. Помню, по взгляду, по внезапно поднявшимся бровям было видно: заметила — мы не одни. Оробела. Мы молчали: о, тут я узнал удивительную технику чуть-чутей, работавших по тишинной части: как мастерски они владели клавиатурой тишины; как тонко изучили хроматизм от несказанности к несказанности; как, работая над музыкой тишины, ловко модулировали ее тональности — из молчания в молчь, из молчи в безглагольность.

Пальцы гостя, прижавшись к доске стола, ждали: сначала я взял их, за короткие ноготки, потом овладел кистью, а потом и худые локти задрожали в моих ладонях, а там плечи коснулись плеч и губы, разжав губы, искали обменяться: дыханьями, душами, духом.

Сердце стучало о сердце. Ресницы наши спутались, роняя слезы. Еще мгновение и... и вдруг я увидел у самого глаза — грязно-рыжее пятнышко; рядом другое: веснушки. Блеклая, в черные точки пор, под жировым налетом, кожа; беловатый прыщ на выступе скулы. Пузырчатая налип пены на дрожащей губе.

В недоумении, почти в испуге, я отодвинулся назад. Смотрел: дурнушка, обыкновенная дурнушка, та вот, что часто встречалась у ворот, на улице, в лестничном колодце; под дряблой кожей рыбы кости ключиц, узкие и короткие щели слезящихся глаз; щуплое длиннорукое тело, в заутюженном платье-чехле.

— Милый...

Но я ступил шаг назад:

— Простите. Бога ради. Это недоразумение...

Ее как ветром качнуло: рыбы кости заходили в узком вырезе платья, будто пробуя прорваться сквозь кожу. И она пошла — коротким, спотыкающимся шагом, как если бы путь к порогу перегородило сотней порогов.

Дверь закрылась. Я оглянул комнату: обои — опять в мертвых синих пятнах, вокруг пятен коричневый обвод; на стеклах — расплзшиеся радиусами врозь ледышки; на столе — портфель, набитый поддельными именами. Но чего же смотрят чуть-чуть? Или они заленились, уснули там на своих постах? Не может быть. Я схватил лупу и стал шарить стеклом по бумажным листам и столу: всюду, куда я ни вел стеклом, копошились крохотные, в пылинку, человечки. Я было обрадовался, но вскоре стало заметно: народец чуть-чутьей как-то странно взволнован и обеспокоен. Вглядываясь пристальней, я увидел: все они — точечными россыпями толп — собирались к одному месту: у края стола. Я приблизил лупу: на влажном пятнышке, поперечником в два-три миллиметра, вероятно, оставшимся от успевшей всосаться в ворсинки скатерти капли, лежал, неподвижно распластавшись, чуть-чуть. Я вгляделся еще пристальней, — и вдруг стекло задрожало в моих пальцах: на влажных ворсинах черной скатерти лежал мертвый король чуть-чутьей. Сразу мне стало ясно все: очевидно, повелитель чуть-чутьей, желая, по благости и любви своей ко мне, лично руководить моим счастьем, в решительный момент поместился на одной из моих ресниц, но был смыт слезой и утонул, захлебнувшись соленой влагой.

Я взялся еще раз за лупу: вокруг синего вздувшегося трупика накапливались и накапливались новые толпы. Листы бумаг выгибались и шуршали под налетами отовсюду сбегавшихся чуть-чутьей. Зловещие шелесты и угрожающие шорохи росли и росли над

смыкавшимися вокруг меня роями растревоженного и озлобленного народа. Я схватил со стола пресс-папье и занес его над столом. И тотчас понял всю бесполезность борьбы: ведь чуть-чуть повсюду — ими полны мои глаза, уши, вероятно, они успели пробраться и в мозг. Чтоб истребить их всех, до последнего, надо проломать самому себе голову. Выронив пресс-папье, я бросился к порогу. Толкнул дверь. Да, я глупо-большое, саженное существо, бежал от незримых чуть-чутьей.

Всю ночь я пробродил по пустеющим улицам. Чувствовал: пустою и сам. Улицы разбудило рассветом. И меня. Я вспомнил слова клятвы: «и если вольно или невольно...» Дома закачались в моих глазах. Быстрым шагом я возвращался к себе.

В комнате тихо и пусто: да, когда чуть-чуть хотят отомстить, они лишь покидают осужденного. Этого достаточно: тому, кто был хоть миги с ними, как быть без них?

Ведь у лотосов в коричневых обводах — только нарисованная жизнь. И мерзлым звездам на стекле — рано или поздно — истаять от солнца.

Весь день работал: над этим вот. Кончаю: написанному в портфель. И мне: в черный, глухой портфель: защелкнется — и ни солнц, ни тем, ни болей, ни счастлих, ни лжей, ни правд.

КАТАСТРОФА

Многое множество ненужных и несродных друг другу вещей: камни — гвозди — гробы — души — мысли — столы — книги свалены кем-то и зачем-то в одно место: мир. Всякой вещи отпущено немножко пространства и чуть-чуть времени: столько-то дюймов в стольких-то мигах. Все имяреки, большие-малые, покорно кружат по соответствующим колеям и орбитам. И стоит, скажем, звезде « α » в созвездии Centaurus'a захотеть хоть немножечко, хоть разок, покружить по чужой орбите — и придется: или все, от ярчайшей звезды до серейшей пылинки, переставить в пространстве, или предоставить хаосу (он только и ждет этого) опрокинуть, порвать и расшвырять все сложное и хитрое сооружение из орбит и эпициклов. Прошла ли хоть раз мысль старого Мудреца, о котором поведу сейчас рассказ, по вышеизложенному условно-разделительному силлогизму, не знаю: но знаю точно — мысль Мудреца только и делала, что переходила из вещи в вещь, выискивая и вынимая из них их смыслы. Все смыслы, друг другу ненужные и несродные, она стаскивала в одно место: мозг Мудреца.

Мысль с вещами, большими ли, малыми ли, поступала так: разжав их плотно-примкнутые друг к другу поверхности и грани, мысль старалась проникнуть в глубь, и еще в глубь, до того *interieur*'а вещи, в котором и хранится, в единственном экземпляре, с м ы с л ы в е щ и, ее суть. После этого грани и поверхности ставились, обыкновенно, на место: будто ничего и не случилось.

Естественно, что всякой вещи, как бы мала и тленна она ни была, несказанно дорог и нужнее нужного

нужен ее собственный неповторяемый смысл: лучами — шипами — лезвиями граней, самыми малостью и тленностью своими выскальзывают вещи из познания, защищают свои крошечные «я» от чужих «Я».

Будьте всегда сострадательны к познаваемому, вундеркинды. Уважайте неприкосновенность чужого смысла. Прежде чем постигнуть какой-нибудь феномен, подумайте, приятно ли было бы вам, если б, вынув из вас вашу суть, отдали бы ее в другой, враждебный и чуждый вам мозг. Не трогайте, дети, феноменов: пусть живут, пусть себе являются, как являлись издревле нашим дедам и прадедам.

Но мысль Мудреца не знала сострадания. Катастрофа была неотвратима. Вначале все пространственно-близкое от головы философа, все «само по себе понятное» было вне круга опасности. Верхушки тополей, шумящих над сонными водами Прегеля. Шпили кирх. Недалекие люди. Предметы, крепко оправленные в пространство. События, расчисленные по святым.

Мысль философа начинала мыслить издалека, замерцав где-то, среди мерцания дальних звезд, в *Theorie des Himmels*¹: Мудрец рылся в ворохе белых сириусовых лучей, спокойно и деловито, точно это и не небо, а бельевой ящик старого отцовского комода, что ли. Как реагировали, и реагировали ли на это звезды, осталось невыясненным. Изменений во внутреннем распорядке созвездий, безусловно, не произошло. Души звезд праведны, и оттого орбиты их правильны. И самыми тщательными астрономическими измерениями не уловлено: мерцали ли звезды после Канта и н а ч е, чем до Канта².

Тем временем от вещей к вещам стал переползать недобрый слух: Мудрец, покончив якобы со звездами, возвращается сюда, на землю. Маршрут: звездное небо н а д н а м и — моральный закон в н а с.

¹ Теория звездного неба (*нем.*).

² Тогда (конец XVIII века) у нас еще были мудрецы, но не было точных фотометричных инструментов. Теперь есть чувствительнейшие инструменты, меряющие звездную яркость, но нет уже мудрецов. Так всегда.

События шли так: медленно отряхая звездную пыль со своих черных перьев, трехкрылый Силлогизм, смыкая и стягивая спираль тяжкого лета, близился к этим вещам. И когда те звездные пылинки коснулись этой серой пыли тупиков и переулков, зыбь тревоги и трепеты жути всколебали все земные вещи. С орбитами было покончено. Наступала очередь улиц — проселочных дорог — тропинок.

Тогда-то и разразилась к а т а с т р о ф а. Запуганные еще Платоном и Беркли, феномены, которые и так хорошо не знали, суть ли они, или не суть, не стали, разумеется, дожидаться Разума, со всеми его орудиями пытливости: двойными крючкообразными §§-ми, зажимами точных дефиниций и самовязью парных антиномий.

Пространство и время почти на всем их земном плацдарме переполнились паникой. Первыми попробовали выскочить из своих границ некоторые ограниченные души: они создали даже особое литературное направление, по которому и началось повальное бегство из мира.

В последующем постепенном развитии паники историку разобраться трудно. Вот она у ее гребня.

Улепетывающие кирпичи, цепляя за черепичные кровли маленьких филистерских домиков, опрокидывали домики, опрокидывались сами, тыча шпиль в ил расплескавшихся озер. Бежали: сороконожки — слоны — инфузории — жирафы — пауки. Люди, захваченные катастрофой в своих сорвавшихся с фундамента домах, сходили с ума, снова вбегали в ум, хватали какую-нибудь ненужную цитату, перевернутую кверху словами молитву (такова уж паника), снова поспешно сходили с ума, бессмысленно кружа по своему «я» — то взад, то вперед.

Подробность: книжный шкаф из квартиры Мудреца, потеряв одну из своих толстых точеных ножек, тащился, прихрамывая на трех ногах, поминутно роняя в грязь то ту, то другую из расшелестевшихся всеми своими страницами книг. Внутри книг тоже было неблагополучно: буквы — слоги — слова, бегая опрометью по строкам, сочетались в нелепые (а подчас и до немыслимости мудрые) фразы и афоризмы, на невообразимых языках.

Говорят, целая библиотека, внезапно рухнув с полка, придавила горами фолиантов сердце одного

известного поэта-романтика: и сердце это, отстукивая пульс, бросилось вон из грудной клетки. Раздвоенные души; битая посуда; пролитый суп, который как раз несли Мудрецу в судках, в обычный час, из кухмистерской, проворно цепляясь каплями за песчинки, крошившие друг другу стеклистые ребрышки, просачивался (пока не поздно) поглубже в землю. А земля. Земля «как яблочко покати-и-лася» (la-mi-mi), задевая о планеты, подскакивая на выбоинах пути, мощенного звездами. Шпили соборов, пики гор, иглы обелисков и громоотводов осыпались, как осыпаются иглы сосен, качаемых вихрем. Обломки и черепки, отбившиеся в космической суматохе от своих вещей, цеплялись за зубрины и выщербами за что ни попало: на миги создавались и в мигах распадались (миги, спасаясь сами, вышвыривали из себя все лишнее) сборные диковинные вещи: человечьи слезы на проворных паучьих ножках, сердца прилипшие к окулярам телескопов et cet., et cet.

В узком расщепе моего nera тесно хаосу.

А хаос вторгся.

Второпях некоторые рассеянные люди перепутали даже свои «я» (что особенно легко делается в местах кучной психики: семье, секте и т. д.). Иные умы, зайдя в поисках укрытия, за свои разумы, обнажили разумы, ткнув ими прямо в факты. Бесстрастный Разум, не изменяя себе ни на миг, обошелся с фактами как с идеалами, а идеалы стали мыслить как факты. Было мгновенье, когда Бог и душа попали в пальцы, стали осязаемы и зримы, а стакан с недопитым кофе («mehr weiß»¹) представился недостижимым Идеалом. Дискурсия и созерцание поменялись местами. В иных умах, куда-то, точно в щель, провалилась бесконечность, в других затерялась категория причинности.

Повилика, бешено кружа изумрудами своих спиралей (скорость до 300 000 klm в 1 сек.), пробовала вывинтиться из обезумевшего мира.

Прибой паники, ширясь и расплескиваясь неисчислимостью льдистых капель, добрызнулся вскоре и до звезд.

Эклиптики закачались.

Спутывая лучи в ослепительный клубок, выбрасываясь из привычных орбит, сталкиваясь, зажигая синие

¹ Здесь: «больше молока» (нем.).

и изумрудные мировые пожары,— звезды заскользили по безорбитью из Raum und Zeit¹.

Кометные параболы, которые, как известно, издревле вели из пространств в беспредельность, стали походить на большие дороги во время продвижения по ним разбитых армий.

Солнца, планеты, пересыпанные блестками астероидов и метеоритов, теснясь у кометного пути, старались скорее нанизаться на пронизь орбиты: роняя в пустоту целые человечества с их религиями и философиями, потянулись они длинным сине-белым ожерельем, друг за другом, вдоль по изгибу параболы. Клубы звездной пыли проискрились над ними.

И когда все отблестало, когда все, до последнего обеспокоенного атома отшумело и утишилось, остались: старый Мудрец; пространство, чистое от вещей; чистое (от событий) время; да несколько старых, в пергамент и тисненую кожу переплетенных, книг.

Книги не боялись, чтобы кто-нибудь когда-нибудь мог дочитать их до смысла.

Мудрецу оставалось: описать чистое пространство и чистое время, ставшие жутко-пустыми, точно кто опрокинул их и тщательно выскоблил и вытряхнул из них все вещи и события. Он описал.

Фолианты ждали. Не спеша протянул к ним Мудрец костлявую, с холодными длинными пальцами руку. Началась игра: фолианты прятали свои тайны по полуслившимся блеклым страницам. Шелестели об одном — думали о другом. Смысл из букв текста, сбивая с пути типографскими звездами, вводил в дробные значки поппарели и петиты, прятался по оговоркам, отступлениям, таясь за притчами и иносказаниями.

Напрасно. Мудрец терпеливо и беззлобно подбирал ключи к шифрам. Открывая смысл, страницу за страницей, дверцу за дверцей, он прошел через всю анфиладу разделов и глав и вышел по другую сторону книги.

Тем временем (временем ли?) в кругах эмиграции царило ничем не прикрытое уныние.

— Проклятое безорбитье. Куда мы, собственно, идем? — сердито спрашивал знакомый нам книжный шкаф.

¹ Пространства и времени (нем.).

Он потерял все книги и вторую ногу. С трудом тащился на двух.

— В небытие,— проямлила душа приват-доцента из Иены.

— Не быть миру.

— Миру не быть,— шелестели последними уцелевшими страницами «руководства по логике».

Созвано было чрезвычайное собрание всех часовых механизмов.

Для них наступало тяжкое безвременье.

С одной стороны, как это вытекало из вытиканной старинными часами с курантами речи, всем часам, за отсутствием времени, предстояло остановиться.

Но, с другой стороны, как это объяснил в точных философских терминах и резонах, ссылаясь на авторитеты, блестящий женеvский хронометр — «время, не будучи вещью, вечно в вещах не участвует»¹. Часовые механизмы — вещи. Ergo: с отменой времени ничего и никак не может измениться, передвинуться и перекрутиться в часовых зубцах, зубчиках и пружинах,— и те часы, завод которых до момента отмены времени не вышел, пружины которых не раскрутились, могут продолжать вращение своих стрелок, как если б ничего не случилось.

Посыпались обвинения в отсталости, консерватизме.

Хронометр попросил быть точнее и в выражениях: «желая не отстать от стряпшейся над нами катастрофы, предлагают всем стать (...)»

Вопрос поворачивался так-этак, этак-так.

Большинство башенных и стенных часов присоединились к нежному голосу курантов. Но карманные часы и часики, повыползавшие из своих жилетов и из-за корсажей², голосовали вместе с хронометром. Поднялось невообразимое тиканье; истерический скрежет будильников. Маятники злобно закачались.

И вдруг пришла весть, сначала было остановившая ползы всех стрелок и зубчаток, а затем восстано-

¹ Мысль эту, в тех же приблизительно выражениях, защищал впоследствии (по восстановлению порядка) Арт. Шопенгауэр (Par. und Paral., 13, II).

² Недаром Мудрец еще раньше заклеил их своим презрительным афоризмом. (Прим. автора.)

вшая секунды и дюймы во всех правах времени и пространства: Мудреца не стало. Это случилось 12 февраля 1804 года в 4 час. пополудни¹.

Иные вещи, заслышав о случившемся, не дожидаясь подтверждений и разъяснений, бросились опрометью назад, в свои миги и грани: очутившись снова в таких милых, таких своих гранях, они не могли вдоволь нарадоваться, что они — они. По преданию, всех опередила душа приват-доцента из Иены. Понятно; освобождалась кафедра.

Другие, пуганые вещи были рассудительнее.

— Позвольте,— говорили они,— откуда, как и кем принесена новость? Ведь там в чистом пространстве ничего, кроме пары книг да мудрецова «я», не оставалось... Провокация. Г. г. вещи, воздержитесь от времени и пространства. Терпение.

Однако вскоре все раскрылось и объяснилось, к всеобщему удовольствию.

Дело было так: Мудрец, описав «Формы чувственности», раскрыв шифр книги, погибшей за право — быть непонятой, короче, высвободив свое «я» из грез и слов, спросил: явь ли я.

У философа «я» был хороший опыт: оно знало, какая судьба постигала всегда вопрошаемое после вопроса.

И не успел «?» коснуться «я», как я, выскочив из заковычки, бросилось, говоря вульгарно, наутек.

Тут и приключилась Мудрецу смерть.

Понемногу — события, вещи возвращались по своим рулам — орбитам — граням.

Сначала, говорят, пришли в себя души ограниченных. За ними потянулось — остальное.

Теперь, как вы можете в этом легко убедиться, потрогав пальцами самих себя, страницы этой книги, все снова прочно и изящно стоит на своих местах.

Теперь, конечно, нетрудно и шутить. Но ведь был момент, когда испуганным умам показалось, что вся эта — такая пестрая и огромная (на первый взгляд),

¹ 100-летний юбилей этого радостного события отпразднован в 1904 году всеми университетами и учеными обществами. (Прим. автора.)

сферическая, со сплюснутостью полюсов, земля и крошечный сферический хрусталик человеческого глаза — одно и то же.

Время медленно подымало тяжкие веки глазу, искавшему видеть самое видение. Видение было странно и страшно, но длилось недолго. Мертвым веком снова прикрыт остеклившийся глаз. Теперь у нас, слава Богу, земля отдельно — глаз отдельно. Сейчас, когда Мудрец отмыслил и истлел, мы вне опасности: мудрецов больше не будет. Что же касается до оставленной тем, истлевшим, книги, то повторяю: опасности и для нас почти никакой; потому что легче перелистывать геологические пласты, чем приподнимать тяжкие от смыслов страницы книги мудреца.

1919—1922

ПРОИГРАННЫЙ ИГРОК

По сообщению «Daily Telegraph», мистер Эдуард Пемброк скончался в зале Гастингского Шахматного Клуба тринадцатого октября 19... года, в пять часов вечера, во время четвертого ссанса игры Международного Шахматного Турнира. В одном из некрологов, помещенном, если не ошибаюсь, в «Эдинбургском Обозрении», мистер Пемброк характеризуется как «энергичный общественный деятель», перед которым некогда развернулась было многообещающая политическая карьера, оставленная им, однако, ради шахмат». Покойный, заканчивает «Обозрение», «променял широкую арену политической борьбы на квадрат шахматной доски — *ушел от поступков к ходам*» (курсив мой).

Смерть наступила мгновенно. Покойному было пятьдесят три года. Врачи затруднились определить причину смерти.

Однако для тех, кто близко знал мистера Эдуарда Пемброка, дело объясняется чрезвычайно просто: смерть Пемброка была его последним, правда, несколько неожиданным ходом в партии, кстати, начатой не в четыре тридцать вечера 19... года, как сообщает шахматный бюллетень, а несколько раньше... Впрочем, игра покойного, как это уже отмечалось в специальных органах, всегда отличалась некоторым своеобразием и уклоном в парадокс.

История мистера Пемброка — в знаках доски — рассказывается так:

1. e2 — e4, e7 — e5,
2. Kg1 — f3, Kb8 — c6,
3. d2 — d4, e5 : d4,
4. ?...

В символах же меньшей емкости, то есть в так называемых «словах», она звучит иначе:

Ход I

e2 — e4, e7 — e5.

Их было двадцать. Симметрично рассаженные по обе стороны длинного и узкого стола, все двадцать думали. И подошвы их ног, прижатые к светлым и темным, темным и светлым квадратам паркета, и зрачки их глаз, притянутые к темным и светлым, светлым и темным квадратикам шахматных досок, — не двигались.

Длинный и узкий стол с игроками и крохотными, поблескивающими черным и белым лаком резными фигурками, был вдет, как в футляр, в длинный и узкий зал с узкими же прямоугольными прорезями окон.

Изредка, забелев манжетой, поднималась над столом, — то там, то здесь, — рука и беззвучно передвигала деревяшку:

Ход II

Kg1 — f3, ...

Мистеру Пемброку, сидевшему среди фигур, склоненных над фигурками, и игравшему у длинного стола свою партию черными, было не по себе.

Делая первый ход, он глянул за прозрачный прямоугольник из стекла: избылбый, из сплетения голых ветвей, сад. Было похоже, будто кто-то развернул и притиснул к матовым мерцаниям стекла план огромного фантастического города — паутину спутанных и пересекающихся улочек, улиц, переулков и тупичков.

Не игралось. Предчувствие чего-то давно уже ищущего быть найденным, неизбежной и близкой встречи с каким-то бродячим фантазмом, заблудившимся, быть может, здесь, в этих черных по красному улочках несуществующего города, вычерченного игрою заоконных ветвей, тревожило мозг.

— Это от сумерек,— подумал мистер Пемброк и привычным движением протянул руку к доске:

..., Kb8 — c6

Но сумерки — пока — были заняты другим: не позванные никем, неслышно войдя в зал игры, они сначала осторожно перетрогали у всех вещей их углы, очертания и грани. Тихо прижимая серые пальцы к выступам подоконника, к углам стола и извилистым линиям фигур и фигурок, сумерки пробовали их расшатать. Но вещи, сомкнув свои грани, линии и углы, не давались. Тогда серые мускулы сумерек напряглись, сгустились, тонкие ненелюбые пальцы ухватились за контуры и грани злее и цепче. И скрепы подались: роняя линии, выступы и плоскости, очертания вещей замаячили, качнулись контуры, разжались углы, освобождая линии: вещи заструились и тихо вошли друг в друга. Их не стало: как встарь.

— Отчего не дают света? — подумал досадливый игрок.

Ход III

—2—4, ...,—

ответили сумерки, чуть слышно прошуршав пешкой, и пододвинули блик к блику: белый к черному.

Тогда-то мысль игрока и пошла знакомыми ему черными улочками законного города, влекомая их зигзажным бегом, останавливаемая у их скрещений.

— Если принять размен пешками, поле e8 обнажится... Теряю 0-0-0... Если же K c6 : d4, то...

Пройдя сотни перекрестков, глянув в десяток тупичков, мысль стала у входа. Игрок коротким ударом ладони нажал стальную пуговку овального, шевелящего двумя тонкими стрелками, хронометра, — и одна из стрелок тоже остановилась. Взяв осторожно в пальцы смутно белеющий блик с квадрата d4, игрок бросил блик в ящик: сухой, негромкий деревянный стук. Смолкло.

И тотчас же, стиснув между указательным, средним и большим пальцами правой руки круглую головку пешки на e5, он быстро шагнул ею на опустевший черный квадратик:

..., e5 : d4.

Сделав ход, пальцы быстро разжались, и в то же мгновение туловище мистера Пемброка, неестественно качнувшись, наклонилось к клеткам шахматного поля, точно игроку хотелось пристальнее всмотреться в игру, рука же с полуразжатыми пальцами упала, мягко, но четко стукнув о край стола.

Делая последний свой ход, мистер Пемброк предвидел все возможные варианты в дальнейшем развитии партии, *кроме одного*, казалось бы, совершенно невероятного. Мистер Пемброк не предусмотрел, что в ту самую долю секунды, как рука его, ставя пешку под удар, будет отдергиваться от деревяшки, душа его, душа мистера Пемброка, оброненная мозгом, неслышно скользнет вниз по переставляющей деревяшку руке: из мозга в кисть руки; из кисти к концам пальцев; из разжимающихся пальцевых фаланг в крохотную, поблескивающую мутным черным лаком, головку пешки.

Яркий свет брызнул из матовой люстры, свеяв сумерки.

— Ну вот. Давно бы так... — с чувством некоторого облегчения подумал мистер Пемброк, не замечая еще происшедшего, и поднял веки: по глазам его ударило каким-то совершенно новым и непонятным миром. Привычный зал с привычными стенами, углами, выступами — все исчезло, будто смытое неизвестно как и чем с поля зрения. Правда, кругом, сколько глазу видно, те же знакомые светлые и черные квадраты паркета, но странно: линии паркетных полов уродливо раздлиннились, поверхности, неестественно разросшись, упирались в ставший вдруг квадратным горизонт. Стол стоял. Люстра взмыла в зенит. А стены... куда девались стены? Пешка Пемброк, продолжавшая все еще считать и самоощущать себя знаменитым шахматистом, недоумевала. Не явью, а снящимися образами глядели на нее обступившие со всех сторон мерцающие белыми и черными выступами, изгибами и рельефами, чудовищные обелископодобные сооружения, неизвестно кем, к чему и как расставленные по гигантскому черно-белому паркету потерявшего свои стены зала.

— Неужели я уснул? Во время партии? — подумала пешка, делая усилие стать снова шахматистом: проснуться. Тщетно. Видения не никли. И странно — время двигалось будто мимо них. Секунды менялись, но в секундах ничего не менялось: белые и черные обелиски на белых

и черных плитах стояли недвижно — нерушимо — безмолвно. Даже черные тени, оброненные ими, не шевелились.

Всматриваясь в застывший лес призраков пристальнее и пристальнее, начавши уже предощущать недоброе, экс-Пемброк стал понемногу различать в очертаниях их что-то знакомое, даже привычное мысли, но лишь чуждо ей данное. Смутные воспоминания зашептали ему. Еще минута, миг, доля мига напряженных биений мысли, то придвигающей, то вновь отодвигающей забытое, но близкое, — и вдруг мистер Пемброк *понял*. Нечеловеческий ужас охватил его всего — от точеной деревянной головки до подклеенной кружком зеленого сукна ножки. Затем, столь же мгновенно наступила и реакция: чувство растущего одеревенения, странной легкости и малости.

Понемногу возвращалась способность логической мысли: «Если *это* действительно произошло, — оценивало свое положение существо, не умевшее сейчас себя назвать, — то я под ударом белого коня с f3. Положение ясно. И если f3 действительно занято конем, то...» — и существо, еще так недавно бывшее Пемброком — привыкшим к независимому и почетному положению в свете мастером шахматного искусства, — теперь, еле смея поднять глаза за черту крохотной, три на три сантиметра, плоской клеточки, глянуло, минуя d3, e3, наискось, влево, на белое f3: там, в желтом осиянии солнц, мнившихся ранее глазу лишь лампами люстры, зияя пустотой глазниц, стоял бледный конь. Прямая грива его вздыбилась, ноздри злобно раздулись, обнажая оскал рта. Теперь только пешке-игроку стала ощутима вся глубина его *пойденности*. То, что было раньше Пемброком, хорошо знало беспощадную логику шахматной доски.

— К f3: «Я». Пусть. Ценою пешки — партия. И тронута — пойдено. Поздно.

Но то в Пембroke, что успело уже одеревенеть, опешиться и знало лишь крохотный, три на три сантиметра, смысл одной своей клетки, протестовало всеми ударами внезапно закопошившегося под резной лакированной грудью деревянного сердца: не смейте трогать меня, прочь от моего d4! Хочу, чтобы я, а не мной! Прекратить игру!

Понимали ли обелиски и квадраты деревянный язык, неизвестно: квадраты и обелиски хранили молчание. Цейтнот истекал.

СПИНОЗА И ПАУК

Биограф Бенедикта Спинозы Колерус (XVII век) сообщает о философе: «Он любил, в часы отдыха от научной работы, наблюдать, бросив муху в сеть к пауку, жившему в углу его комнаты, движения жертвы и хищника. Иногда, говорят, он при этом смеялся».

Старый мохнатолапый крестовик, почував на себе зрачки философа, чуть-чуть, что бывало с ним чрезвычайно редко, заволновался. Понятно: момент был слишком значителен. Вероятно, вследствие этого чисто артистического волнения мастера, две-три нити оборвались и спутались, но, в общем, дело было сделано, как всегда: быстро и чисто.

Восемь тонких внутри вогнутых лапок паука, ступая по туго натянутому плетению паутины, методически, с полной последовательностью, точно перенумерованные в нотной тетрадке с экзерсисами пальцы пианиста, обмотали истерически дергающееся тело мухи в серебристо-серый ворсинчатый саван. Треугольная головогрудь мастера, с колючими глазками у краев, отыскав на вибрирующем черном брюшке мухи нужное место, сомкнула внутри брюшка остро-изогнутые челюсти.

Муха дернулась было крылышками. Еще раз. И все.

Тогда-то паук и поднял колючий граненый глаз кверху: тогда-то глаза паука и зрачки метафизика встретились. На мгновение. А затем: и паук-крестовик, и метафизик, расцепив взгляды, разошлись.

Метафизик подошел к столу у окна; протянул правую руку — шелкнула бронзовая крышка чернильницы, зашептались друг с дружкой страницы рукописи.

А паук, потеряв слегка закровавившиеся передние лапки о пару средних, вполз по влажному бархатистому изумруду плесени в щель, темневшую меж стеной и неплотно к ней примкнутыми трактатами Картезия, Гзреборда и Клаубергуса. Пройдя по сомкнувшим свои лезвия листам к одному из книжных вгибов, паук вобрал в себя, сколько мог глубже, все восемь лапок и замер.

Метафизик же у окна писал: «...естественное право простирается во всей природе и в каждой отдельной особи так же далеко, как и сила. Следовательно, все, что человек осуществляет в силу своих естественных законов, он делает с абсолютным естественным правом, и его право на Природу измеряется степенью его силы»¹.

Страницы, падая одна на другую, прикасались буквами к буквам и вследствие этого понимали друг друга. Скрипело перо. И лишь один раз метафизик, оторвав глаза от строк, глянул на паутинные нити в темном углу комнаты и улыбнулся.

А паук? Прижавшись брюшком к пыльному Клаубергусу, он погрузился в чистое недумание. Философу было чему поучиться у паука, но чему мог научиться паук у философа. Тот, у нервующихся черных строк, знал меньше, чем ему было нужно знать. И писал, и писал. Этот же, у нервующихся серых нитей, знал ровно столько, сколько ему должно было знать: он был досоздан до конца, и ему незачем и не о чем было совещаться с шелестом листов манускриптов и печатных томов. Сидя во вгибе фолианта, он наслаждался великой привилегией, издревле пожалованной их старинному и знатному паучьему роду, — от прадеда к деду; от деда к отцу и от отца к нему, мохнатолапому, — свободой от мышления.

¹ Строки эти могут быть отысканы в *Tractatus politicus* Спинозы. Cap. 1, § 1—2. (Прим. автора.)

ЧЕТКИ

I

Я всегда предпочитал прямые и ломаные линии городских улиц извиву и кружениям полевого проселка. Даже пригородное подобие природы, с вялыми пыльными травами у обочин шоссе, с тонкостволыми чахлыми рошицами в дюжину березок, с лесом, где деревья попеременно с пнями, а на лопастях папоротника налипь рваной бумаги,— пугает меня. Природа огромна, я—мал: ей со мною неинтересно. Мне с нею—тоже. В городе, среди придуманных нами площадей, кирпичных вертикалей, чугунных и каменных оград,—я, придумыватель мыслей и книг, кажусь себе как-то значительнее и нужнее, а здесь, в поле, подставленном под небо, я, тщетно пытающийся ишагать простор, затерянный и крохотный, кажусь себе осмеянным и обиженным. На природу с квадрата холста, из тисков рамы, с подклеенным снизу номерком, я еще, крепя сердце, согласен: тут я смотрю ее. А там, в поле, небом прикрытом, она смотрит меня, вернее сквозь меня, в какие-то свои вечные дали, мне, тленному, с жизнью длиною в миг, чужие и невнятные.

И в тот день (было прозрачное сентябрьское предвечерие) я вышел за шлагбаум не так, не просто, не прогулки ради, а за делом: мне нужно было одолжить у небополя на час-два чувство малости и затерянности. Одно место во второй главе моей работы, требующее именно этой эмоции, никак не давалось среди стен. Делать было нечего.

Я прошел уже около версты от заставы. Глаз, привыкший кружить путаницами улиц и стен, ерзать среди нестрот, втянувшийся в дробность и разорванность городского восприятия, тщетно искал деталей и мельков: зелень — синь, небо — земля — и все. Поэтому понятна радость глаза, когда удалось-таки ему, обожав горизонт, сыскать в просторах поля — мелочь: человека. Человек возник как-то сразу и неожиданно близко: он стоял в мятой траве, у края дороги, сосредоточенно шаря палкой по земле. Палка терпеливо перебирала и пригинала к земле травинку за травинкой. Человек (он был очень стар), наклонив и без того сутулую спину к земле, очевидно, искал что-то, оброненное в травы: свисшие с его носа очки недовольно кружились.

Поравнявшись со стариком, я коснулся шляпы.

— Не помочь ли вам?

Старик не отвечал и еще ниже пригнулся к траве, — и вдруг круглые стекла очков, мелькнув черной оправой, прыгнули в траву. Старик растерянно ловил воздух руками, с таким видом, как если б вместе со стеклами уронил в траву и глаза. Быстро нагнувшись, я поднял за тонкий стальной заушник очки:

— Вот видите, не надо брезгать помощью. Скажите, что вы потеряли?

Старик долго протирал пыльные стекла:

— Тут... в траве — la*.

— Что?

— Ну да, я уронил — ля-диз: с первой приписной линейки.

И он опять принялся шарить в траве. Изумленный, следя за движениями палки, я заметил: в зеленой путанице травинок что-то вдруг сверкнуло пучком стеклистых искр: протянув руку к искрам, я держал легко мною выпуганный из трав, крохотный граненый пузырек: на прозрачной грани — бумажный билетик; на билетике пометка — «la*³», из третьей октавы. Срок заклада — 1 авг.** г.» — и еще что-то — но я не успел дочитать: костлявые пальцы жадно потянулись к находке, стекла очков к стеклу сосуда:

— Ну да, она. Конечно. Благодарю вас.

На костистом плече старика висела серая дорожная сума: приоткрыв ее, он бросил внутрь сумы пузырек и, медленно ступая, продолжал свой путь. Я шел рядом,

не отставая. Мимо, по колеям, растревожив пыль, прокатила телега.

— Мне все-таки хотелось бы знать, почему вы говорили о каком-то ля-диез. Ведь в траве был просто пузырек: пустой пузырек.

Старик, не отвечая, сунул руку в суму, и в пальцах его опять просверкал граненый сосудец: придерживая его левой рукой за донце, правой он осторожно повернул притертую пробочку и, чуть улыбаясь, поднес его к моему уху: грустная серебристо-звонящая нота высокого юного женского голоса прозвучала из-за стеклянной грани: плененная, будто вырванная из чьего-то голоса нота — длилась и длилась — исходя в тоске по разлученному с ней голосу и бессильно стучась серебром дрожи в стенки стеклянной тюрьмы.

В вибрации плененного звука было что-то странно знакомое: вдруг вспыхнули рампные огни, закачались в черном провале оркестра, — вверх-вниз-вверх — острые асики смычков, ведомые чистым сопрано. Кто? Отвечая, из сумерек памяти просинели аршинные буквы афиш: «Клара Рид, — вскрикнул я, изумленный, — это ее la*!»

Старик ослабился:

— Да. И в случае просрочки... Пусть композиторы пишут ей партии без la* : они это умеют.

И пузырек, сверкнув гранями, опять исчез. Старик осторожно затягивал ремни.

— Это жестоко, — пробормотал я.

— Вы находите. Гм... Тут у меня в суме — всего лишь нога, так — один из двадцати семи полутонов, одна двадцать седьмая голоса. И мне говорят: жестоко. Ну а вы, существа из-под крыш, разве вы не обеззвучили небесные сферы, не онемели ангелов и не отняли песен у просторов; вы опутали музыку струнами, придавили ее потолком, вырвали у нее язык: это не жестоко?..

Он любовно провел рукой по своему мешку:

— Ну, а что до певичкина la* 'a — будет ему та-скаться от ушей к ушам, из зала в залы: пусть отдохнет здесь, в стекле, пусть постранствует по полям, вместе с моей дорожной сумой. Вы думаете, берегу заклад для себя. О нет, — полям возвращаю я отнятое у полей: ведь стоит повернуть пробочку и... Разве вы не слышите: поля молчат — исполосованные колеями, затоптан-

ные и изъезженные, оглушенные лязгами и грохотами ваших городов,— поля стали немые. А встарь...

С минуту мы шли молча среди пахучих имбирей, зеленых прощв подорожника и пропыленных трав. Старик задержал шаг. Он, очевидно, устал — дыхание было часто и трудно. Взглянул на меня:

— А вы мыслью все еще в пузырьке.

— Нет, думаю о вас: кто вы?

— Я — человек, которого встречают в полях. Только в полях. И встреченный мною должен ответить: чего он ищет в них?

Глаза старика были властны, как и слова.

Я ответил:

— В поля меня послали книжные поля: я здесь по их воле. Видите ли, как бы сказать... Перу моему, не мне, ему, нужны слова, слова малости и затерянности: там, в городе, их никак и нигде не достать. У наших письменных столов слово «я» переросло горы: уперлось гнутыми ножками в землю, в чернильную петлю вокруг звезд,— мне же нужны сейчас, так, на час-два, слова самоумаления, затерянности в просторах. И вот я пришел...

— Так, так, понимаю,--- старик раздумчиво пожевал губами.— Может быть, будет неблагодарно одарить вас за помощь в розысках затерянностью. Но если вы этого хотите... Странны, странны люди из-под крыш. Вы философ?

— Так, думальщик.

— Тогда...— приостановившись, старик долго рылся рукой в дорожной суме,— не подойдет ли вам э т о?

Края сумы, растянувшись, выпустили сжатую в щепоть руку; в щепоти, нанизавшись на длинную серебристого отлива нить, мерцали белые крупные бусины четок.

В этот миг солнце, перерезанное чертой горизонта, низко нагнувшись к земле, собирало свои последние оброненные лучи. По влажным вечерним травам скользили туман и сумерки,— но все же я рассмотрел: белые бусины на связанной узлом четочной нити были как-то необычно крупны.

— Странные четки,— изумился я, но старик уже заворачивал подарок в черный, матового ворса плат, вынутый им из той же сумы.

Стянув плату концы, он передал узелок мне:

— Вот.— Мы стояли у края оврага. По земле, вместе с туманами, стлался низким гулом дальний благовест. Старик обернулся лицом к оврагу:— Вот здесь, обходя поля, я нашел как-то труп: девочка, отроковица. Вокруг шеи — синцы от пальцев: удушена. В выдавившихся наружу глазах мне удалось увидеть крохотное, остекленное изображение мучителя. Это, конечно, так, частный случай. Но думали ли вы, думальщик, что в сс смерти насильственны: пуля в сердце, пальцы вокруг горла, каверны в легких, дряхлость, одеревеневшая жилы,— все это разновидности насилия. Все губит, все отнимает жизнь, даже радость. Но максимум насилия — когда убийца: в сё. Как таковое. Я говорю о людях, заболевших... миром. Да, есть и такая болезнь. И не о ней ли сказал Сократ: «Философствовать значит — умирать»? Впрочем, мой подарок,— старик притронулся к узелку,— объяснит без слов.

И кивнув мне, он вдруг круто свернул в бездорожье; травы прошуршали у его ног; туман сомкнулся.

Я знал, что в поле поблизости нет жилья. Куда ушел странный старик и кто он, являющийся в полях? Разгадка, завязанная в черный плат, была у меня в руках. Я быстро направился к городу.

II

Придвинув ближе ламповую розетку, я развязал узел: черный плат развернулся; на матовом ворсе его белели крупные, тесно сдвинутые бусины.

«Странные четки». Я перерезал нить: две-три крайних бусины покатались по столу. Я взял одну из них в пальцы: из руки, прямо на меня, глядел остеклившийся, с полуслипшимся белым зрачком глаз. Я с отвращением и страхом отодвинулся от стола: не может быть. Нет, правда: передо мной, на черном платке, змеевидным изгибом протянулась нить; на нити, нанизавшись на нее прорезями узких зрачков, лежали чередой — глядя друг в друга — глаза мертвецов.

Долго я не знал, что мне предпринять. Вспоминались последние слова человека, встреченного в полях.

Наконец, я решился. Где-то в шкапу среди математических и физических приборов, отыскался офтальмоскоп.

Я снизйл, не без чувства брезгливости, одну из склизких глаз-бусин и придвинул к зеркальцу офталь-

москопа. Сначала мне ничего не удалось рассмотреть сквозь черную щель омертвевшего зрачка. Но я не выпускал его из поля зрения: исподволь прорезь зрачка стала расширяться, какие-то контуры и пятна проступили и замаячили на вгипе сетчатки: потом слились в одно. Я тронул винт офтальмоскопа, отыскивая зеркальцем наилучший уклон луча, и понемногу как бы вдвигаясь живым глазом вглубь мертвого, я увидел: навстречу мне стлались стеклисто-мертвенные пустые просторы. Ни блика, ни черты, ни даже точки. Безвидие. И вместе с тем — такое напряжение, такая наполненность, что жгло мозг и глаз.

«Странно,— подумал я, на минуту зажмурившись,— ведь сетчатка, даже и мертвая, должна же давать отражения».

Я взял со стола блестящую крышку чернильницы и приблизил ее к сломанному лучу прибора: ничто не изменилось, ничто не возникло в царстве бездвижия, остеклело глядевшем в меня из мертвого пустого зрачка: вещи были над ним безвластны.

И чем дольше я смотрел — живым зрачком и в мертвый,— тем больше покоя входило в меня оттуда. Однако факт был слишком странен: надо проверить повтором опыта. Не отрывая взгляда, я протянул руку к столу и механически овладел первым попавшим в пальцы предметом.

Теперь, лишь только предмет вошел в луч прибора, в поле зрения смутно завозникало: сквозь стеклистые просторы разворачивалась серая дорога. На дороге — щит черепахи: четыре коротких перепончатых лапы медленно волокут щит. Позади, на расстоянии шага, обнаженный воин, с щитом у левого локтя, плечами, наклоненными бегом: мускулы бегуна наузлены, дыхание разводит и сводит сосцы. Быстрыми прыжками бросает он тело вперед, в обгон черепахи. Та не торопится: четыре перепончатых лапы сонно ворошатся под щитом. Воин напряг последние силы, он учащает бег,— но щит черепахи все впереди. Минута, другая: ничто не меняется. Разгневанный воин, тяжело и прерывисто дыша, обрывает бег. За спиной его — колчан и лук: стремительно оттянув тетиву, он целит в черепашее тело (оно в трех футах от острия) — стрела прынула в воздух: древко ее дрожит от быстроты лёта, перья прижаты воздушным током, но меж черепашим

шитом и стрелой — все те же три фута. И воин снова начинает бег.

Я с трудом оторвался от видения. Недоумевал: что могло нарушить покой безвещья. Взглянул. У меня — прямо против придвинутого к офтальмоскопу глаза — белел другой глаз. Тогда я понял: шаря по столу, я взял другой экземпляр из коллекции старика; и второй глаз, отразившись сетчаткой на сетчатке, наложил свое видение поверх видения первого.

Я взял их оба и осторожно нанизал прорезями зрачков на свободный конец нити: «Спите, элматы».

Было ясно: передо мною, на черном plate, нанизанные на четочную нить, лежали глаза умерших метафизиков.

Волнение овладело мною. Толчком ладони я распахнул окно: и оттуда тоже — из черных надземных полей — глядели тысячи пристальных глаз.

Ближе к ним, — ну хоть на три фута; размотав шнур лампы, я придвинулся с офтальмоскопом в руках к подоконнику: на очереди был третий. Теперь я повернул зеркальце так, чтобы спутать короткие желтые лучи лампы с длинными лучами звезд.

Глаз к глазу: и тотчас же ударило ярким сине-белым светом; половицы выдернулись из-под ног, роняя меня в бездну. В ужасе, не успев даже вскрикнуть, я лишь стиснул веки, но, странно, спина — к спинке стула, подошвы — крепко к полу. Преодолевая испуг, я осторожно полуоткрыл глаза: у самых ресниц, спутав синие, белые, изумрудные лучи, сияли огромные во все небо рассыавшиеся пожары. Вначале — только они; но, понемногу привыкая к слепящему удару света, протикиваясь взглядом сквозь плетение лучей, я стал различать: где-то издалека полз навстречу моему глазу слабый желтый луч; луч был вдет в крохотный квадрат; на квадрате — маленькое, в точку ростом, тельце; я, щуря глаза, шевельнулся, стараясь лучше перцепировать затерянную точку; шевельнулось и тельце. Все еще пробуя всмотреться, я поднял руку, защищая глаз от боковых тускляющих видение лучей; и из тельца тоже выдернулось коротенькое щупальце, пытаюсь прикрыть его. Тогда я понял: передо мной был мир обратной перспективы, мир, в котором мнящееся малым и дальним — огромно и близко, а близкое и большое съезживается, малеет и уползает вдаль. И раньше,

в снах, в предчувствиях, я знал об этом мире. Теперь я его видел; опрокинутая перспектива звала меня: войти в нее и вступить на кору далеких иноорбитных планет, жить неопаленным внутри ее солнц, отодвинутых прямыми, перспективами этого нашего мира за черные пустоты межпланетья. Я знал, обратная перспектива грозит смертями: бездна, в полушаге от путника, кажется ему далекой и недостижимой. Но погибать в ней легко: ведь тело и самое «я» там; в обратном мире, мнится далеким, чужим и ненужным.

Я резко отодвинул от себя офтальмоскоп: снова квадрат окна пошел на меня, луч лампы подобрался к глазу, а звездные пожары, вобрав в себя планы, сжались в крохотные синие точки и прянули в черное небо.

«Да, старик сдержал слово. Продолжим опыт».

Но когда, снизав четвертый глаз с нити, я попробовал ввести его в луч аппарата, глаз вдруг резко отдернулся зрачком от света. Думая, что глазное яблоко просто скользит в пальцах, я вставил в металлический зажим и отыскал лучом офтальмоскопа отверстие его зрачка. Но глаз, продолжая противиться, тотчас же плотно стиснул свой зрачок.

«Ага, вот ты как».

Приблизив пинцет, я попробовал протолкнуть его острием в прорезь зрачка: но глаз, отчаянно водя радужным ободком, смыкал края. Похоже было, будто он, отталкивая луч, пинцет, руку, защищает, из последних сил, какой-то мир, таимый им в себе для себя.

«Ты в моих руках,— подумал я, прикручивая винт зажима.— Один удар лезвия — и твое будет моим».

В шкапу я нашел скальпель: подведя лезвие к схваченному в стальные тиски глазу, я собирался вонзить сталь: глаз метафизика не дрогнул: не разжимая зрачка, не отдавая мира, он ждал удара. Вдруг скальпель зазвенел об пол. Чьи-то тонкие пальцы втиснулись мне в горло, и новый мир, мой мир, разрывая зрачки, острыми скальпелями врезаясь в мозг, входил в меня. Слезы текли навстречу вселяющейся вселенной, встречаясь с ней у выгиба ресниц.

Меж тем глаз, пойманный сталью зажима и ждавший, когда полоснут его лезвием, вероятно, недоумевал: он осторожно приоткрыл зрачок, вглядываясь в меня стеклисто неподвижным взглядом.

Я высвободил пленника, взял в пальцы и вдруг — губами к склизкому холодку его обволакивающей ткани.

— Теперь пусть меняются дни и меняется в днях: то, что вошло в мой глаз, не знает смен: остеклено, врезано, на вски веков, как и в них.

Я прижал голову к черному плату, я близил свои еще живые глаза к мертвым глазам метафизиков, тихим кругом сомкнувшихся вокруг меня: милые, милые, вот и я мертв, как вы, вот и я непреодолимо жив, как вы.

Но надо было кончать. Подняв голову, я собрал глаза и отдал их нити. Нить стянул узлом.

Я, вероятно, очень устал. Нервная реакция резко повернула колки, и не помню, где кончилась явь и начался сон. Именно теперь, когда подарок старика, приняв свой первоначальный вид, свисал чередой бусин с моих пальцев, одна чрезвычайно простая мысль напомнила, наконец, о себе: зачем старику понадобилось подобие четок. Ведь, если костяшки на стержне для отсчета цифр, бусины на нити для отсчета молитв.

И преодолевая усталость, я приступил к последнему эксперименту. Память моя давно растеряла заученные в детстве слова молитв. Кое-как сцепляя концы с началами, я завращал ветхие отченаши — и тотчас же глаз, зажатый в моих пальцах, стягиваясь и каменея, скользнул из фаланг и по нити вниз, я продолжал механический круговорот слов — и с каждым «амином», еще один глаз, твердея и стягиваясь, каменной бусиной опадал долу. Однообразие поворотов окончательно спутало мне мысли, веки слиплись, четки выскользнули из рук: короткий тихий стук, стук камня о дерево — был последним восприятием, дошедшим до затмеваемого сном сознания.

* * *

Теперь я веду жизнь сидня. Незачем ходить в поля за просторами: просторы всюду — вокруг меня и во мне. Каждая пылинка значительна, как солнце. Раньше все, что за окном, казалось мне дешевой картинкой, подклеенной к стеклу снаружи. Теперь вечерами я распахиваю створы прямо в звезды и в мысль: нужны

были века, чтобы понять эти крохотные пятнышки. Помыслить их как миры. Но понять — мало. Надо увидеть.

Я редко переступаю теперь мой порог. Спустившись вниз, я, пройдя десяток домов, сворачиваю обычно в узкий кривой переулок: по обе стороны сломанной линии переулка, выводящего к серому овалу ворот и желтым крестам монастыря, справа и слева — деревянные лавчонки и рундуки; всюду на перекладинах, скошенных подставках, крючьях — образки, кресты, крестики, цветные лампадки и четки — четки — четки. Четок много: они висят гроздьями, нанизавшись на нити, мерцают опаловыми, красными, черными — из коралла, палисандра, перламутра и агата — бусинами. Ветер тихо качает на крючьях их ленивые извивы пронизей. Иногда я подхожу к четочным вязанкам, рассматриваю, осторожно касаюсь их: да, да, точь-в-точь, как м о и. Стоит закрыть глаза, и мнится: вот орбиты, приварившиеся ссученными гнилыми нитями, покорно давшие связать себя узлом и обмотать вокруг жалких крючьев, — покинув плен, разворачивают свои эллипсы, и вот коралловые бусины, рассыпавшись кровавыми солницами, возносятся на дальние зениты. Черные агатовые камешки разбухают в черные планеты, скользящие по длинным-длинным четочным нитям — от звезд к звездам.

Открываю глаза, и снова: рундуки, на рундуках крючья, на крючьях гроздья алых, белых и черных четок. Но я не верю глазу: ведь лжет же он о звездах, показывая мне их, как крохотные изумрудины. Лжет и сейчас.

Иногда я шагаю дальше: по прогнившим мосткам, меж тысяч миров, продаваемых людьми людям за какие-то пятаки и гривенники, вхожу я — сквозь овал ворот — под кресты: там — в сизом ладанном тумане, у черных ликов и желтых свеч — простые бабы-крестьянки, и меж их иссера-коричневых, растрескавшихся пальцев все те же покорные, давшие связать себя в узлы орбиты: на орбитах, толкаемые грязным ногтем, безлучные, закаменевшие, стиснутые в крохотные точки — бессильные миры.

ПОЭТОМУ

I

Поэт не понимал «поэтому». «Поэтому» отвергало поэта. Отвергнутый положил: голову в ладони, локти на стол, «поэтому» меж локтей:

«...Пишу Вам в последний раз. Вы поэт и все равно ничего не поймете, поэтому возвращаю кольцо и слово, Ваша («Ваша» — перечеркнуто) М.»

Рядом с письмом на столе, жая глаза, лежало свернувшееся желтой змейкой кольцо. «Поэтому», писанное тесно-сжатыми остроконечными буквами, не принимало — ни кольца, ни поэта. Поэт же продолжал не понимать «поэтому».

Закрыв глаза: исчезло. Открыл: опять оно. Болезненно шевельнув пальцами, поэт втолкнул «поэтому» в конверт; сверху притиснул книгой. Распахнул окно. Белесая ночь. Прямо против глаз — черные и желтые окна. Будто бусины по четочной нити, протянулись по извилам улицы круглые фонарные огни. Ночь не разговорчива: постучит по камням колесным ободом. Бросит. Породит звук спешного шага. Уведет шаг прочь.

Было тихо, но поэт, насторожившись, слушал. И отовсюду: и из близких близк, и из далеких далек возникало поэту лишь слышимое шуршание. В шуршании, поначалу слиянном и внятном, вслушиваясь, можно было различить стальные прискрипы и шершавые шумы немолчно трущихся о скользкие поверхности каких-то остриев. Поэт знал: это были шумы мириад перьев и миллионов карандашных графитов, рыщущих

по бумажным листам: по всей земле, и в близке и в далеке, за стеклами окон, за толщами стен, в полутьме и у желтых ламп и свеч — писали, писали, писали. Не шевелясь, боясь толчком дыхания развеять шелест прорастающих строк, поэт внимал, окунув ухо в заоконную тьму. Это делалось слышимым, он знал, всегда перед тем, как... Пришло. Пальцы, будто сведенные спазмом, сжали меж ногтей дерево ручки.

Перо, глотнув чернил, хищно ткнулось расщепом в тетрадь. На тетради — надпись: Сонеты Весне.

Возникало:

Поэт, о Музе не скорби:
Она придет. Она не...—

по строчке дергалось перо: за пером, еле поспевая, прыгал с буквы на букву глаз. Когда перо было уже во второй строчке, глаз еще складывал:

— Поэт о Му...: «о» слиплось с «му» и подползло к «поэт»: поэтому.

Перо выпало из пальцев, и вместо предощущавшейся рифмы у конца второй строки кляпнулась клякса.

— Вздор,— прошептал поэт и снова овладел пером. Но как он ни вслушивался в ночь, того, знакомого, таинственного, толкавшего в ритмы и рифмы шороха он больше не слышал.

Холодный и влажный воздух назойливо лип к лицу. Вдалеке взывала пароходная труба. Поэт прикрыл окну створы. Разделся. Щелкнул выключателем.

— Спать.

II

«Поэтому» лежало в левом кармане пальто. Глаза у поэта были наполнены, по самые ободки радужных оболочек, лучами — бликами — нимбами. Письмо забылось. Но, когда, прижавшись грудью к стволу сосны, поэт потянулся рукою к игольной ветке, и вдруг — острые буквы «поэтому», придавленные корою сосны к телу, проступив сквозь конверт и двойную ткань платья, больно оцарапали кожу.

— Вздор. Почудилось.

Поэт стоял на лесной проталине. Кругом — зеркала луж. Мшистые в влажных пятнах пни. Поэту было

чуть-чуть стыдно, на нем было порыжелое, трепаное пальтецо; стоптанные, сплошь в дырках, сапоги. А лес — весь в нарядных, мытых дождями, травах: ветви — в ярко зеленых, только-только пролакированных почках, иглах и завязях.

Поэт попробовал спрятать ноги за пень: ему казалось — деревья презрительно тычут в него ветвями, травы и колючки дергают за бахромчатые края брюк: как пустили такого к нам, к Весне на новоселье.

Вдруг что-то закопошилось в ворохе желтых, от прошлой осени, лежалых листьев. Сначала продернулась, вся в зеленых бородавках и волосиках, перепончатая трехпалая лапка, затем безглазая, но ртастая, в кулачок, голова. Щель рта разжалась.

— Вам чего? — и слиплась вновь.

Поэт вежливо приподнял шляпу:

— Мне бы взглянуть на Весну.

Голова с кулачок сердито дернулась:

— В мартах не ищут маев. Царевна еще спят.

Поэтому...

Поэт болезненно поморщился.

— Тогда, — начал он, судорожно роясь в карманах, — не были бы вы столь добры... я не имею чести знать, с кем говорю (рот у безглазого и не шевельнулся)... передать вот это.

И поэт, наклонившись, положил на желтые листья маленькое in 8°: «Сонеты Весне». Минуту листы сонетов лежали на умерших листьях леса. Ветер снисходительно перелистал две-три страницы, меценатски вздохнул, чуть качнул травами и ушел легкой походкой прочь. Зеленоиглые сосны, ветвистые дубы, поскрипывая от усилий, пригнули вершины к строкам, чтоб рассмотреть крохотные черные значки, но бородавчатая лапка дернула за край бумажной стопки, и та исчезла под прелым листовым настилом.

Поэт присел на пень. Влажный холод полз сквозь пальто, платье, рубаху, кожу — прямо в кости. Поэт поднялся. В одной из луж он увидал чье-то смущенное и опечаленное лицо. Две-три капли, оброненные веткой, упали на щеку: совсем, как... Снял кольцо с левой руки, подумал, — и вязкая, в радужных пятнах и разводах, лужа только рябью чуть повела и тотчас же одернула складки над канувшим желтым бликом.

Поэт быстро шел из лесу. Травы цеплялись за ноги. Сучки кусали в дыры башмаков, а сердце, будто оцарапанное семибуквием проклятого слова, перебойно стучало: не то — не так — не той — не в ней — не там.

Шагал по хрусту ветвей, по умершему осеннему листу — и сердце, ударяясь о прижатый к груди вчетверо сложенный листик бумаги, будто тоже ступало по тропам строк, ища уйти скорей от: не той — не там — не тем — не так — не в том. Поэт застегнул пальто, как если бы боялся обронить и сердце, и ускорял шаги; тревожное предчувствие гналось за ним по пятам.

Предместье. Выпутываясь из узких и косых переулков, напутанных на прямую линию пригородного шоссе, поэт вдруг заметил: у кривого перекрестка, разводящего врозь две улочки, прибитый к зеленому ставню одноэтажного домика, висел ржавый квадрат. Квадрат был по ту сторону улочки. Переход с мостков на мостки, по желтой жиже улицы, был нелегок, но красные, полусмытые дождем буквы хотели быть прочитанными. Поэт приблизился. Прочел. Перечел: «Чиню сердца. Работаю аккуратно, без причинения боли. Ход направо, со двора».

— Шутка.

Недоуменно посмотрел вдоль улиц: ни души. Три-четыре домика. Десяток заборов. Все. Кому писано...

Вечерело. Чувствовал: холодные щипцы пошарили у сердца, отыскивали, взяли в острый зажим, стиснулись.

Не мне ли.

Не глядя по сторонам, стараясь скорее потерять в неразберихе домиков и перекресток и квадрат со странной надписью, поэт быстро зашагал прочь.

Ш

За защелкнувшимся замком комнаты ждала тишина. Подошла, в мягких войлочных туфлях, стала позади кресла, не показывая лица; взяла голову в мягкие нежные руки.

— А я все жду.

У стены, на полке, мерцали переплеты. С лампой в руке, успокоенно улыбаясь, поэт подошел к друзьям: рукой наудачу. Что это? «По Э.том IV». Золотые буквы придвинулись друг к другу («IV», подогнув ножку, притворилось «V») — просверкало: «поэтому». Звуков

не возникало. Но и тишины не было: «По.Э.том IV — по́тому» — стучало в виски. Рука отыскала письмо. Вот:

«...Пишу Вам в последний раз. Вы
поэт и все равно ничего не поймете:
поэтом у возвр...»

Точно чувствуя опасность, глядевшую из строк, поэт отодвинулся от письма и, отыскав чуть дрожащей рукой рукав пальто, стал быстро спускаться вниз по лестнице.

Поэт и рассвет почти одновременно вошли в комнату: поэт в дверь, рассвет в окно. Встретившись, посмотрели друг на друга: оба были бледны и хмуры. Рассвету — предстояло преобразиться в зарю, из зари сделаться днем и полднем. Поэту ничего не предстояло: он уронил себя на кровать, точно ненужную — ни ему, ни другим — вещь. Но перед тем, как повернуться лицом в стену, глянул на край стола: письмо лежало у края, как и прежде, в расстоянии полуметра от подушки.

--- Лучше бы спрятать.

Но веки уже слиплись, рука плетью упала вдоль тела, и явь ушла. Сквозь дрему чудилось, будто что-то колючее и царапливое возится на груди, под левым соском, пробуя прогрызть кожу, потом просверлилось сквозь мускульные тяжи, втиснулось меж ребер, все глубже и ближе к сердцу. Снилось: дорога меж мачтовых шумящих сосен. И вдруг — сосны в пни. Меж пней — вязкая, в радужные разводы лужа, но под грязной кожей лужи ворочается что-то огромное, сыплющее блестками и искрами, тщетно пытающееся подняться на тонких ломающихся лучах.

— Что там?

— Оброненное солнце, — говорит кто-то поэту.

И глянув на небо, он видит: действительно, там, где было солнце, — сквозная черная круглая дыра. Пробует всмотреться лучше, зорче... Силится шире раскрыть глаза; и глаза раскрываются: за окном позднее предполуденное утро. Птичий щебет. Колесные лязги. На краешке стола все то же письмо.

Перечитывание письма постепенно превращалось для поэта в мучительную, но неотвязную потребность.

Он протянул руку к столу и еще раз развернул вчетверо сложенный листик:

«...Пишу Вам в последний раз. Вы поэт (ну да, ну да) и все равно ничего не поймете: возвращаю кольцо и...»

От изумления поэт выронил листик. Поднял и стал вглядываться, то придвигая, то отодвигая буквы от глаз: слово «поэтому» исчезло из строки: «... ничего не поймете». Двоеточие. За двоеточием пустая синенькая линейка почтовой бумаги, длиной дюйма в два.

Поэт потрогал пальцем пробел в строке. Перевернул страницу: ему казалось, что «поэтому» прячется где-нибудь здесь, внутри письма. Но ни на обороте, ни в сгибах бумаги—ни черты, ни точки. И в этот-то миг что-то колючее вдруг завозилось у него под левой ключицей—в том месте, где он привык ощущать сердце. Поэт побледнел и, прижав ладонь к груди, стал вслушиваться: теперь он ясно ощущал: что-то инородное шевелилось и беспокойно ползало внутри его сердца.

— К доктору,—и он представил себе насмешливо сощуренные глаза врача — «расскажите, как и что»,—и вот рассказать, «как и что», он не решится.

Охватив икры ног руками, втиснувшись подбородком в выступы колен, поэт напряженно думал: впервые в жизни строго-логически, от силлогизма к силлогизму, по традиционным аристотелевским схемам, не путая субъектов с предикатами,—думал.

IV

Муха родилась в печной щели, под низким и чадным потолком кухмистерской. Щупала хоботком жирные пятна на скатертях. Ползала по немывтым тарелкам. Вечерами любила сидеть на оконном стекле, мечтательно глядя сложными глазками сквозь толщу стекла в зеленолиственную весну. О стекло, сотрясая его под мушьями лапками, бились лязги и шумы улиц.

Сегодня с утра разжужжался дождь: рой прозрачно-белых бескрылых мух ползли сверху по той стороне двойного, в обводе из замазки стекла. Мухе все было диковинно, все ново, и хотелось туда, мимо прозрачных ползунков, растаскавших пылинки с окна,

к шумным ручьям, к мощным лету ветрам, в зеленолиственную весну.

Но кому-то было скучно ждать своей порции супу: он изловил размечтавшуюся муху и так, в рассеянии, оторвал ей — сначала одно, потом и другое крылышко. Муха зазудела от боли и дернулась из пальцев. Мир перевернулся и выпал вон из сложногограных глазок: как невидящая, ползла бескрылая, тычась головой о солонки и горчицницы на выгибавшихся от боли ножках: вползла в щель и долго, не шевелясь, стояла глазами в стенку. А когда через неделю, меж листьев, там, за окном, раскрылись тысячи и тысячи, в радужных ободках, будто ищущих кого-то глаз, — муха оставила щель и снова, волоча лапки, вползла на край подоконника: окно теперь было настезь в весну, но весна была уже чужая и ненужная, не для нее: постояв в раздумье, бескрылый уродец снова уполз назад, в щель.

И поэт сидел в кухмистерской, у столика, придвинутого к окну. Суп давно простыл и желтел круглой лужицей у локтя. В груди ровно, методическим дятлом, стучало сердце. У локтя ждал суп. За окном ждала весна, всматриваясь тысячами и тысячами спрятавшихся меж лепестков в зародужье глаз. Не хотелось — ни супа, ни весны.

На столике — раскрытый журнал. Перелистал. Чьи-то стихи:

На зыбких клавишах звучат шаги Весны:
Вся в струнных шорохах, вся в завитушках трелей,—
Идет, — и на пути синеют травы-сны
И влажный снег с ветвей роняют сны.
У талой лужицы грустит влюбленный гном,
Ручьи звенят, сплетаясь в сложной фуге,—
И дятел на сосне, как мерный метроном,
Считая такт, тоскует о подруге.

— Бессмыслица: разве клавиши затем, чтобы по ним ходить, или вот, «Весна»: весна — время года, и кто видел, чтобы у времен года были какие-то не то трели, не то завитушки.

Строка о дятле почему-то даже обидела человека, который еще вчера был поэтом. Он отшвырнул журнал.

— Кстати: кем писано.

Брови прыгнули кверху: человек, вчера еще бывший поэт, прочел под восемью строками стихов — свое собственное имя.

С каждым днем в «поэте», как называли еще все человека, росло «поэтому». Сердце ежедневно брало уроки у часового маятника, качавшегося меж двух одинаковых синих роз на обоях. И перо закачалось не в короткострочьи стиха, а длинной, солидной, во всю поперечину страницы строкой. В речь ех-поэта вселились: ибо так, следовательно, поэту, если-то. Пачку прошлогодних стихов своих ех-поэт сжег; томику «Сонетов Весне» еле-еле удалось запрятаться от него под кипу лексиконов и справочников. В майском номере «Здорового Смысла» появилась сенсационная статья — «Чернильные Осадки»: в статье доказывалось, что «так называемые «поэты» присвоили себе лишь и м е н а вещей, самые вещи оставив здравомыслящим людям. Так как истина есть соотношение вещей, а не их имен, то все писания поэтов суть «свидетельства о бедности», выдаваемые ими — самим себе. Раз вещи (что дознано наукой) перее своих наименований, то владельцы слов, обменявшие на слова свое, равное правам прочих людей, право на реальные вещи, поступают, как Ахав: променивают первородство на... лавровый суп» (тут автор поднялся до подлинного пафоса). «Об этом можно бы и не скорбеть,— продолжала статья,— если б судьба поэтов не была связана с судьбою здравомыслящих: имена, оторванные от вещей и понатасканные на бумажный лист, где они, сложенные правильными рядами, строка на строку, порождают, и не только среди поэтов, вредную легенду о магической силе слова. Привыкнув делать свои слова из чернильных капель, передвигать их толчками пера, без всякого усилия, куда и как угодно, поэты вселяют соблази в других, даже не включенных в их преступный орден, людей: вернувшись из мирка слов в мир вещей, люди видят, что вещи — тяжести, неподатливы, по сравнению со своими именами, и что перемещать их по путям земли куда труднее, чем чернильные капли по линейкам тетрадей. Отсюда — эмиграция из мира вещей, где нужен труд и пот, в мир слов, где достаточно так называемого творчества и пузырька чернил. Всем хочется в поэты. Презрение чернил к черни ширится, что ни день. Но поэтам,— восклицала статья,— прогуливающимся меж строк, надо бы помнить о бороздах плуга: поэтам — заслушивающимся пения рифм и ассонансов — надо бы послушать стук станка и грохоты

машин. Там — подлинная, черная от сажи и копоти, а не от чернил, жизнь. Здесь же во всех этих претенциозных in 4°, in 8°, in 16°, in 32° — чернильные осадки, и только». «Весьма прискорбно, — заключал критик, — что чернильные дожди часто выпадают в нашей стране: от них все, что не воздухом подбито, а стало крепко на земных корнях, увы, осуждено гнить и сгнить». Под статьей — глухие инициалы.

Критика горячо приветствовала неизвестного автора. Два корифея написали: один «Давно пора»; другой — «Открытое письмо поэтам». Но каково было изумление критиков, когда обнаружилось, что инициалом был скрыт ненавистный им сочинитель «Сонетов Весне», имя которого не раз было ущемлено расщепами критических перьев. Тогда появились статьи «Никогда не поздно» и «Поэт-разоблачитель»: автор первой называл ех-поэта даже «коллегой» и надеялся, что ряды критиков пополнятся новым бойцом.

Дела автора «Чернильных Осадков» улучшились: на ногах у него заблестели гуталином новые башмаки. Впрочем, теперь ех-поэт не стал бы и старые шлепанцы прятать от глазастых весенних почек и любопытствующе-раскрытых лепестков: да и не почел бы нужным ходить в гости к лепесткам и почкам. Впрочем, однажды, свершая предобеденную моционную прогулку, он дошел до городской черты. За полосой луга синел, весь в предвечерних тенях, лес. Было начало июня, а весна все не уходила. Старожилы как подняли недоуменно плечи, так и ходили, плеч не опуская: никто не мог запомнить, чтобы так долго влажная и прозрачная весна не сменялась сухью и вначале серыми, потом желтыми пылями лета: бутоны все медлили развернуться в цветы; фиалка и та не хотела отцвести; луг меж пригородом и лесом был все еще по-весеннему ярко и влажно, малахитово-зелен; ручьи, не усыхая, звенели серебристыми и весенне-тонкими звонами.

Так хорошо покружить, хоть мыслью, по извию тропы, что от города к лесу. Но тот, кто был когда-то поэтом, только криво усмехнулся: и мысль, ступив было на извию тропы, круто повернула по излому улыбки.глянул на часы: туда-назад час с четвертью. Минимум. Через сорок же минут, не раньше и не позже, надо быть у ювелира — взять, как я обещал Митти, кольцо, поэтому... — и он показал лесу спину.

«И не брось я тогда кольца в лужу (как глупо), не было бы и возни с новым. И расходов. Что ж, я был поэтом, потому-то и не любит меня счастье».

Человек шел по пустынному предместью, глядя себе под ноги и тщательно оберегая гуталин от запоздалых весенних луж.

«Как это странно,— продолжал он думать.— Давно ли казалось, что Митти потеряна. Навсегда. И вот завтра я назову ее, не «назову» (проклятая привычка), а завтра она будет подлинно, вещно будет моей. И стоило мне образумиться, бросить все эти сны, сонеты, глупые чудачества,— и вот даже скромное служебное положение дает мне право...» — человек сунул руку в карман: под пальцами прошелестело вчетверо сложенное письмо. Меж бровей — складка: тот, кто был поэтом, теперь понимал все «поэтому», кроме одного: того, что тогда, мартовской ночью, пропало без вести, непонятным рассудку образом, из строки Миттиногo письма. После примирения с невестой, ех-поэт не раз хотел сказать, спросить о нем, но...

Навстречу шли. Подняв голову, он огляделся: знакомый перекресток: три-четыре домика; заборы. По ту сторону зеленая ставня с знакомым квадратом вывеска. Шли двое. Они еще были скрыты выступом дома, но ясно были слышны шаги четырех ног. Ех-поэт остановился, пережидая на узких мостках.

Первыми из-за поворота показались калоши: калоши шли вполне самостоятельно, ставя резиновые ступни, без вдетых, как это обычно бывает, в них ног, на доски тротуара. Шли калоши мерным прогуливающимся шагом, алея суконной подкладкой, аккуратно выстилающей их изнутри, и осторожно обходя все лужи и тумбы, торчащие на пути. За ними, в трех шагах, сутулясь и кряхтя, шаркал ногами человек в черном старомодном сюртуке с шей, обмотанной фуляром; лицо его было затенено широкополой шляпой, сухая рука стучала по мосткам дождевым зонтом: он шел, не подымая глаз, и, вероятно, не искал встреч,— но калоши, дошагав до изумленного, будто вросшего ногами в землю, ех-поэта, ткнулись носками в носки его ботинок и стали. Остановился и старик; сердито стукнул зонтом — назад. Но калоши, упершись носками в носки ех-поэта, и не шевельнулись. Тогда старик приподнял шляпу,

и внезапно морщинки и складочки, задержавшись на его лице, проворно уложились в добрую, почти детскую, улыбку:

— Нам придется познакомиться, сударь,— сказал он чистым и внятным голосом,— *Fata volentem trahunt, volentem ducunt*¹.

Дослушав цитату, калоши скосили носки на 60°, вежливо обошли нового знакомого и, мягко ступая по деревянному настилу тротуара, первыми двинулись вперед; ех-позт, автоматически повернувшись на каблуках, вслед за ними; старик замыкал шествие. Калоши стали у калитки. Старик, шаркая подошвами и стуча зонтом о мостки, медленно подходил сзади. Тогда ех-позт (дивясь себе) сам нажал щеколду. Калоши поблагодарили, шелкнув задками, и чинно вошли в пустой чистый дворик. За ними гость; за гостем старик.

Старик и гость сидели друг против друга, у узкой доски стола:

— Чем могу?

— Мне, собственно, ничего не надо.

— Понимаю, гм, *angesteasia poetica*². Бывает, ну да: *cor vacuum*³. Обыкновенно это от чернильных вредителей. Запустили, батенька, сердце — запустили. Страдаете.

— Нет. Напротив.

— Ага: потеряли способность страдать. Это опасно. Прошу о минуте искренности.

Теплая сухонькая рука легла на руку гостя: путаясь и заикаясь, он рассказал, дивясь своей откровенности, все.

Старик погрустнел:

— Гм, да, несомненно, это оно: «*ergo*» *tyricum*⁴. Декартова болезнь. Так. Письмо при вас.

Пациент вынул вчетверо сложенный листок. Старик надел, не спеша, очки и уставился стеклами в строки.

— Ну да. Приступим.

Тщательно вымыв руки, он подошел к полке, с мерцанием тонкостеклых мензур и пипеток, прозрачных

¹ Рок непокорного влачит, покорного ведет (*лат.*).

² Поэтическая тоска (*лат.*).

³ Пустое сердце (*лат.*).

⁴ «Следовательно», символический (*лат.*).

дутьшей колб и реторт и длинного ряда граненых флаконов, наполненных синими, рубиновыми и желтоватыми жидкостями, и взял в руки флакон с жидкостью маслянисто-алого отлива. Сверкнул скальпель.

— Боли не будет.

Попросив оперируемого обнажиться по пояс, старик долго слушал сердце, прижавшись шершавым ухом к груди. Хитро улыбнулся:

— Здесь.

Смочил ватку в маслянисто-алое и стал тщательно втирать жидкость в кожу под левым соском: колючий холод полз от влажной ватки, сквозь эпидерму, ребра, мышцы — вглубь.

— Закройте глаза.

Что-то вошло меж ребер внутрь. Казалось, будто сердце взято в зажим: винты зажима сдвигаются — ближе и ближе, тесней и тесней, сердцу негде биться. Удар. Еще удар. Стало: на миг. И вот бьется снова, но уже по-иному.

— Ага, вот оно.

Глаза открылись. В полуметре от глаз, скользя и срываясь с внутренних вгибов стеклянного полого опрокинутого на стол полусферического сосуда, ползало обеспокоенное знакомое поэту остробуквое «Поэтому»: оно мало изменилось с той ночи, только острые и черные буквы его чуть поалели и разбухли от крови, всосанной из сердца. Не спеша, оператор придвинул к стеклянной полусфере тщательно расправленное и приклепленное четырьмя кнопками к планочке письмо. Чуть приподняв стеклянный свод, он быстро двинул под его края распластанные строки письма. Поэт, тая дыхание, следил за происходящим: «Поэтому» не хотело возвращаться в пододвигаемую под него строку. Юрко и злобно шевеля кровавящимися буквами, оно бросалось к стенкам прозрачной полусферы, делая отчаянные попытки выпрыгнуть наружу.

— Уберите сердце, — процедил старик и, когда поэт опасливо отодвинулся от полусферы, взял в руки тонкие щипчики.

Добрые глаза его теперь были злобны, ноздри чуть раздулись. Сунув щипчики под край сосуда, он зажал в них извивающееся и бьющееся всеми семью буквами «поэтому», стараясь прижать его к пробелу в строке — меж знаком «:» и «возвращаю». У губ его шевелились

какие-то невнятные слова. Заслышав их, «поэтому», дернувшись еще раз, обвисло, покорно легло на синюю линейку почтового листка и, протянувшись вдоль строки семью своими знаками, стало медленно и постепенно спадать: от горельефности к низкому рельефу, от рельефа к плоскостности, пока не сровнялось с поверхностью бумаги. Старик снял стекло. У края стола качала синим пламенем спиртовка. Подал поэту отшлифованное от планки письмо: тот, не дожидаясь слов, приблизил его к огню: что-то пронзительно и жалобно пискнуло внутри бухнувшего кверху пламени. Красные искры с шипом прыгнули на стол: у края стола лежало, серая стынущим пеплом, сожженное письмо.

Растерянно улыбаясь, поэт застегивал чуть дрожащими пальцами ворот рубахи. В сердце он чувствовал острую лезвийную боль,—но боли этой он бы не отдал и за иное счастье: например, за счастье с Митти.

— Чем я могу отплатить...

— Помилуйте, что за счеты — между родственниками.

Сутулая спина мастера распрямилась, маленькие глазки рассиялись в звезды, рука крепко сжимала руку, и поэту, на малую долю мига, вспомнилось что-то родное и милое сердцу — давно-давно, еще до детства.

Когда он, провожаемый мастером, проходил через темную прихожую, в углу, у пола, что-то закопошилось: не успел он поднять над порогом ногу, как что-то быстро надвинулось снизу, от подошвы на башмак, охватив ступню резиновыми тисками. Миг — и вторая нога была тоже в калоше. Поэт раскрыл было рот для протеста, но калоши, дернувшись под его ступнями, властно зашагали его ногами — от порога дома к порогу калитки. Позади стукнуло окно:

— Привет внучке.

И калоши, будто пробуя разорвать поэта на две продольные части, шагали широким шагом вдоль по мосткам, торопясь куда-то за черту города.

Поэту хотелось назад — в свет лампы, к открытой чернильнице и стихам,— калоши же шли в ночь, прочь от городских кровель, уводя неизвестно к кому и зачем. У последнего пригородного домика поэт схватился было руками за колья палисадника: произошла короткая схватка, но ветхие колья выдернулись вместе с гвоздями, и калоши, снова овладев ногами, мчали

поэта, обхватив резиновыми тисками пальцы его ног, по луговой тропе. Тогда поэт вспомнил цитату мастера: *Fata volentem trahunt, volentem ducunt* — и перестал сопротивляться. Калоши тотчас же из узких колодок превратились в мягкие широкие шлепанцы и лишь чуть-чуть подталкивали шаг, деликатно напоминая о маршруте: город — лес.

У края поля догорала заря: алая полоса, темнея и сжимаясь, кровавилась, как быстро рубцующаяся рана.

«Может быть, и небу вскрыли сердце,— подумал поэт,— может быть, и там, среди орбит, нет более «поэтому».

Он шел к лесу. Опушка. Косматые ветви раздвинулись, почтительно пропуская вперед. Травы у ног низко кланялись,— поэт не знал, кому: ему или калошам. Звезды низко клонились над лесом: казалось, они горят, повиснув на ветвях и роняя вниз изумрудные свои иглы: стоит ударить ветру — осыплются, и синими пожарами испепелится лес.

Поэт шел все дальше и дальше — в чащу. Сучья не смели не то что царапнуть, даже коснуться его.

Кто-то, овитый в белые ткани туманов, ждал меж почтительно стихших трав и цветов. Лишь тихое «тинь-тинь» синих колокольцев, да сжужжавшиеся хоры жуков.

— Кто.

Утихли и эти.

«Вы, люди, зовете меня Весна. Зной и жары гонят меня. Но могу ли уйти без тебя, мой званый-желанный. Кольцом, оброненным тобою, милый мой, милый, разве не обручены мы. Словами песен твоих разве не повенчаны. О мой жених, весь ли ты веснин».

Поэт сделал шаг вперед. Лунные светлы свежали мглу. Она — с лицом, оброненным небом: в золотых извилах кудрей синие проступи фиалок. Дуплистые дубы и старые сосны наклонили ветхие кроны: хоть бы пред смертью, в последний раз, взглянуть на Весну и поэта. Ветви кустов выгнулись под гроздьями крохотных телец эльфов, кобольдов и всякой лесной твари, облепившей им сучья, чтобы удобнее и сблизка наблюдать Празднество.

Поэт склонил колена — и тоненькие благоуханные ноготки чуть коснулись его губ. Калоши воспользовались

моментом: быстро сдернувшись с ног, отошли и стали в сторонке.

«Иди за мной», — прозвучало поэту. «Куда?» — «От вещного к вечному».

Поэт поднялся с колен, и торжественный кортеж двинулся: шли Весна и поэт; летели — рои стрекоз, майских жуков и эльфов; прыгали — травяные лягушки и пучеглазые кобальды; ползли, еле поспевая, светлячки, улитки, и пестрые гусеницы, — одним словом, все, кроме калош: калоши грустно стояли, носок к носку, у пня.

Жених, сделав знак шествию, остановился.

— Милые калоши, — сказал он, — ужели вы хотите испортить празднество. Забудем старые счеты: там, у палисадника, был лишь человек, не знающий своей судьбы. Будет сердиться: идем. — Но калоши, переступив с подошвы на подошву, продолжали стоять — носками в пень. — Или вам нужно вернуться к вашему господину? Если так, то отпускаю вас и прошу лишь об одном: в обмен на сожженное слово пусть возьмет он... другое.

И поэт, наклонившись, вложил в одну из калош бумажный листик с тут же написанным словом. Свадебный кортеж двинулся снова: чаща, смыкая ветви, прощально кивала вслед, листья и травы шептали «счастливейший путь», калоши же, постояв в раздумье с минутой, тихо повернулись и задумчиво зашагали по темному и умолкшему лесу, направляясь назад, к опушке. У суконного дна одной из них белел бумажный квадратик: любопытствующие головки трав, широко раскрытые глаза ночных цветов наклонялись над ним, пробуя прочесть таинственное слово: никому не удалось. И мне тоже.

КУНЦ И ШИЛЛЕР

В немецком городке (название забыл¹) — две достопримечательности: театр и памятник. Театр — несколько казарменного сложения, с овальным гербом над трехдверием входа. Памятник Фридриху Шиллеру поставлен посредине Marktplatz'a² в профиль к ратуше: на гранитном цоколе на фоне цветных вывесок и кирпичных стен домов, обступивших рынок, мраморный человек с худым и длинным лицом. Сидит он в удобном мраморном кресле, прислонившись к круглой его спинке. На острых коленях — свернутая тетрадь.

Естественно, что в юбилейные Шиллеровские дни, весной 1905 года, первая достопримечательность чествовала вторую и последнюю достопримечательность города: на театре поставили торжественный спектакль, произнесли речи и направились опять-таки от театра к памятнику многолюдной, но чинной толпой, возглавляемой магистратом и учеными обществами, для завершения праздника. Организатором чествования был уважаемый всеми директор театра герр Гётгольд Кунц, что опять-таки вполне естественно: во-первых, он был директором театра,

¹ «Кунц и Шиллер» — тема-подкидьш. В ранней юности был мною прочитан в одном из немецких журналов рассказ; название журнала, имя автора, заглавие, сюжетная разработка — одним словом, все, кроме экспозиции рассказа, исчезло с годами из моей памяти. И вот сейчас я стараюсь — с пером в руках — вспомнить чужую тему, в надежде, что читатель поможет мне отыскать ее настоящего автора. Все творчески привнесенное в текст прошу считать ошибкой моей памяти. (Прим. автора.)

² Базарная площадь (нем.).

во-вторых, автором еще в молодости писанной и всеми, до Кунца включительно, забытой статьи о Фридрихе Шиллере, помещенной в «Allgemeine Litterarische Zeitung»¹, ко дню юбилея умершая статья опять проявила знаки жизни, зашевелившись тремя-четырьмя пространными цитатами в местном Blatte². В статье, как это теперь узнали все, от старого профессора Виндельмана до юной фрау Бальц (хорошенькой хозяйки овощной лавки, на вывеску которой пристально, не отрываясь вот уже пятнадцать лет сряду, смотрит мраморный Шиллер), доказывалось, на основании точного сличения разрозненных мест переписки поэта, неисчислимых «idem»³ и «loco citato»⁴, комментариев и музейного материала, что в бумагах поэта должна была находиться, очевидно, впоследствии затерянная, ни разу не опубликованная, пьеса. Ни заглавия, ни содержания ее герр Кунц, конечно, не знал, но он полагал, опираясь на строго научные резоны, что это было самое лучшее из всех произведений великого поэта и, не без восклицательных знаков, скорбел о невознаградивой утрате для родной литературы и сцены, выражая лишь к концу слабую надежду на возможность отыскания затерявшегося манускрипта.

В обширной речи в театре и в кратком слове перед цоколем памятника почтенный герр Готгольд повторил, под хлопанье ладоней, стук палок и зонтиков, свои доказательства, назвав даты, заглавия и номера страниц.

Официальная часть торжества была окончена. Вечером в большом зале местного Kaiser Hotel'a состоялся полунтимный ужин с участием местных поэтов и артистов. Тосты. Декламация. Престарелый профессор Виндельман делился воспоминаниями о встрече с троюродным племянником поэта в Штутгардте, но геросм вечера оставался герой дня — герр Кунц, — он был первым из живых, собравшихся вокруг имени великого мертвеца.

Ободряемый стуком и трением кружек, ходивших по столу, возгласами «просим-просим», герр Кунц (это

¹ «Всеобщая литературная газета» (нем.).

² Листок (нем.).

³ Тот же самый (лат.).

⁴ В упомянутом месте (лат.).

было уже позднею ночью, когда количество опорожненных бутылок начинало брать верх над бутылками еще не откупоренными) встал и, выждав минуту молчания, заявил, что отчаиваться преждевременно: утраченная пьеса великого мастера еще может быть отыскана и он, Кунц, сделает все возможное для... Грохот аплодисментов заглушил слова, но герр Кунц еще не кончил. Стихло. «Как знать,—восклидал он,—далек ли, близок ли день, когда я, Кунц (тут голос оратора оборвался от волнения), буду держать вот в этих самых руках гениальный манускрипт. И тогда...» Но оратора уже окружили. Поздравляли, дыша в лицо пивным перегаром. Образовалась очередь: для пожатия руки герру директору Кунцу.

Понемногу стали расходиться. Одни распевали «Песнь о колоколе», неизменно застревая в первых двух строках,—дальше никто не помнил. Кто-то, перевирая слова, декламировал из «Телля».

Когда Гётгольд Кунц подходил к двери своей холостяцкой квартиры, пустынная улица была залита лунной; предутренний ветер шевелил листья каштанов. Кунц нащупал в кармане ключ и, открыв дверь, поднялся по четырем ступенькам лестницы. В комнатах было темно. Только лунный блик обеспокоенно ползал по полу. Ни спичек, ни свечки на столике в спальней не оказалось.

«Разиня Фриц»,—подумал герр Гётгольд, но так как настроение его было благодушно, решил не будить слуги и раздеться в полутьме.

Герр Кунц, собственно, вот уже лет двадцать, как забросил всякие литературные изыскания и даже помыслы о поэзии, стихах, разысканных и неразысканных пьесах (вне пределов утвержденного Репертуарным Советом списка)—но сейчас, возбужденный вином, аплодисментами, поощрением, чувствовал себя самоотверженным разыскателем книжных раритетов, записным библиофилом, знатоком... В ушах шуршали пыльные томы архивных бумаг: вот—рукопись... Не то... Тетрадь, заложенная в старый фолиант... Не то... И вдруг—о н а!

Директор Кунц развязывал шнурок на левом ботинке.—Новооткрытая рукопись Шиллера публикуется с предисловием скромного, но полного достоинства советника Гётгольда Кунца... Газеты-журналы

оповещают миру. Сенсация. Боннский университет присылает звание доктора. Отовсюду — из Кенигсберга — Мюнхена — Берлина предложения кафедр...

Герр Кунц стряхнул с левой ноги башмак и потянулся к правому. Но вдруг постучали в дверь: робко, но отчетливо.

— Войдите, Фриц... Вы принесли мне свет?

— Да,— послышалось за дверью.

Голос звучал странно глухо и незнакомо. Затем, кто-то, лица которого в полутьме (луна как раз задернулась облаками) Кунц не мог разглядеть, просунул сначала голову, затем и острый угол плеча, наконец, и всю странно высокую фигуру (остановившись на пороге полуоткрытой двери).

Герр Кунц не испугался, только слегка удивился.

— Виноват,— сказал он, шаря левой ногой по полу, в надежде нащупать-таки башмак.

— Я решился,— заговорил незнакомец (речь его была очень тиха, почти шепот, с призвуками южно-немецкого акцента).— Эта ночь столь для нас с вами знаменательная... Мне хотелось бы вам сказать... Если слова вашей речи не обманули меня... Вы разрешите?

И внезапно, сделав два шага к креслу с полукруглую дубовой спинкою, повернутой к окну, гость странно тяжело опустился на его сиденье и, вынув из кармана какого-то старомодного, каких давно никто не носил, камзола рукопись, развернул ее, не спеша, на острых своих коленях.

Было что-то знакомое во всей его фигуре.

— Правда, мы с вами где-то видались, милостивый государь,— начал сдержанно хозяин (при этих словах незнакомец медленно качнул головой),— но даже правила самого короткого, я позволю себе сказать, приятельского, больше, дружеского знакомства, не предвидят... не оправдывают,— подчеркнул герр Кунц,— столь странных ночных посещений. Вы приходите к человеку, когда все спят, если не ошибаюсь с какой-то там рукописью и...

— В другое время,— робко возразил гость, хмуро сгорбившись над раскрытыми на остриях колен листьями,— я не могу. Мое отсутствие на Marktplatz'e могло бы вызвать толки. Особенно после празднеств. Вы легко поймете, что...

— Я ничего не понимаю,— отрезал Кунц,— мне совершенно неинтересно, чем вы там занимаетесь на Marktplatze («Какой-нибудь приказчик... пописыватель стихов»,— дернулось в сознании). Но согласитесь, что врываться, именно врываться до света к человеку, который только что вернулся с чествования имени великого Шиллера, к человеку достаточно заслужившего права на уважение... усесться с какою-то там «рукописью» в руках и заставлять...

— Вот именно это и понудило меня,— пробормотал проситель.— Ваша прекрасная речь, ваша статья, мудро вскрывшая одну, как я думал, навсегда похороненную тайну,— все это и побудило меня преодолеть свою обычную неподвижность... Может быть, я слишком назойлив.

Герр Кунц начал понемногу смягчаться: «Чудак,— думалось ему,— провинциальный поэт, сгорающий от желания услышать мое мнение о своих начинаниях. В конце концов, это молодо и заслуживает снисхождения».

— Ну, хорошо,— заговорил он,— хотя это с вашей стороны, молодой человек, и несколько экстравагантно, но ничего, я не придаю излишнего значения формам. Сейчас я постучу слуге, нам принесут свечи,— и мы позаймемся вашим «манускриптом», хе-хе. Давно пишете? — и с этими словами развеселившийся директор протянул руку к тетради.

— Я не так молод,— глухо отвечал гость, и странная грусть зазвучала в его голосе,— я не пишу уже около ста лет... Пожалуй, больше — сто два — сто три года.

Рука директора Кунца упала, не дотянувшись до рукописи: «Сумасшедший, маньяк,— качнулось в его мозгу,— близко день.— Придут люди, и завтра же весь город будет болтать о том, как какому-то графоману удалось дурачить всю ночь директора Кунца. Э, нет — надо кончать».

— Милостивый государь,— зачеканил Кунц, внезапно поднявшись с места,— милостивый государь, я попрошу вас убрать вашу рукопись и оставить меня в покое. Я не желаю знать, слышите, не желаю знать, кто вы и что вы там намарали. А если вы настаиваете, то прошу покорно: контора театра; Schillerstrasse, 2. От одиннадцати до часу дня. Засим.

Лицо незнакомца будто осунулось и стало мраморно-бледно; он тяжело повернулся в застонавших креслах, и в предутреннем брезге яснее забелел его острый, четко прочерченный, орлий профиль. Поднялся: точно глухо ударило камнем о пол. Свернул рукопись. И хлипкие ступеньки лестницы заскрипели под тихим, но тяжким шагом уходящего.

Кунц стоял неподвижно, как статуя, посреди комнаты; попробовал понять происшедшее; в висках стучало, мысль скрещивалась с мыслью. Связывались в одно слова — жесты — детали события... И вдруг, беспомощно качнувшись, Кунц стал тихо опускаться на постель: «Он, ведь это же он».

В мгновение ока Кунц вдел ногу в башмак.

Два шага к двери. Остановился — в мучительном раздумье. И внезапно, как стоял, полуодетый, без шляпы, опротясь вслед за ушедшим.

Светало. Улицы были еще пустынные: двери закрыты; створы ставен сомкнуты. Ни души. Только влево, за скрещением Karls- и Friedrichstrasse звучал чей-то каменный мерно удаляющийся шаг. Кунц бросился за звуком. Звук то рос, мощно ударяясь о двери и глухие ставни, точно будя сонный город, то внезапно ник и утишался. Сначала Кунц шел быстрым шагом, затем побежал: достигнув перекрестка, он увидел в мерцании рассвета белую узкую спину гостя, уходящего медленным, но широким шагом прочь; тонкие белые ноги, обтянутые чулками, кудри, падающие к плечам, все это мелькнуло, миговым видением, и скрылось за углом Kaisergasse. Кунц побежал изо всех сил; достигнув Kaisergasse, снова увидел, и уже значительно ближе, белую фигуру: она шла, не оборачиваясь, медленным, но гигантским, каменно звенящим шагом, вперед и вперед: старинный камзол лег белыми неподвижными складками вдоль тела; голова низко склонилась над развернутым в руках свитком.

«Рукопись! — крикнул Кунц прерываемым одышечной голосом, но в это время плохо завязанная тесьма на левом башмаке развязалась. Кунц наклонился над башмаком, и когда через три-четыре секунды снова поднял голову, фигура поворачивала за угол. — Боже, он идет к площади», — с отчаянием выстонал Кунц и из последних сил ринулся вперед.

Поворот, еще поворот: площадь. Добегая до Marktplatz'a, Кунц снова увидел фигуру гостя. Рассветало. Алым порфиром горела черепица кровель. Предутренный туман опасливо, хлопьями, уползал вверх. Распрямившись во весь свой гигантский рост, неузнанный гость шел, звеня мрамором подошв о булыжник. Белый и гордый, с чуть ироническим, засиявшим в свете солнца лицом, он направился прямо к центру площади. Кресло, вознесенное гранитом постамента, было не занято.

Кунц упал, зацепившись за тумбу. Поднялся — и к цоколю. Фигура была уже там. С тяжким лязгом нога ударилась о гранит постамента; острые колени согнулись; голова запрокинулась назад, камень наморщился двумя складками меж надбровных дуг и застыл; а рукопись стала медленно-медленно сворачиваться в окаменевающих пальцах гиганта. Кунц был уже здесь. «Рукопись», — прохрипел он, хватаясь пальцами за край свитка. Тетрадь еще шевелилась, еще выгибалась под их прикосновением, он дернул ее — и рука, скользнув по мрамору, сорвалась. Теряя равновесие, Кунц пошатнулся и, ударившись головой о выступ цоколя, грузно скатился вниз. И лежал ничком, точно мертвый.

Башмак с левой ноги, покинув при падении пятку, ударил носком оземь, подпрыгнул и, отчаянно взмахнув тесемками, кинулся в лужу.

БОГ УМЕР

I

Случилось то, что когда-то, чуть ли не в XIX столетии, было предсказано одним осмеянным философом: умер Бог.

В ангельских сонмах уже давно затлело и разгоралось предчувствие недоброго. И в сомкнутом круге серафимов давно шептали, роняя шептание в шелесты крыл, о неизбежном. Но никто не смел взглянуть, пустота зародилась и ширилась, черной ползучей каверной, там, где был Он, развернувший пространства, бросивший в бездны горсти звезд и планет. Ничто холодило воскрылья, оперенные груди, ползало на беззвучно ступающих черных лапах по эллиптическим и круговидным орбитам миров,— но никто не смел взглянуть.

Был херувим, именем Азазиил.

— Хочу видеть,— промолвил он.

— Погибнешь,— зашептали вокруг.

— Как может погубить погибший?— отвечал Азазиил, и, распахнув крылья, глянул.

И раздался вопль Азазиилов: умер Бог! умер Бог!

Ангелы повернули лики к середине средин и узрели там зияющее черною ямою Ничто.

— Умер... Умер Ветхий Днями,— пронеслось от сонмов к сонмам, от звезды к звезде, из земель в земли. А херувим Азазиил разверстыми зеницами вбирал даль: ничего не менялось. Бог умер— и ничего не менялось. Миги кружили вокруг мигов. Все было, как было. Ни единый луч не дрогнул у звезд. Ни одна орбита не разорвала своего эллипса.

И слезы задрожали в прекрасных очах Азазиила.

II

Томас Грэхем, шлепая туфлями, подошел к книжному шкафу. Потянув за его стеклянную дверцу, он ясно видел, как по скользкой поверхности дверцы поползло и скрылось хорошо знакомое старое бритое морщинистое лицо с чуть прищуренными глазами; за отползшим вбок отражением блестели цветными корешками — книги. Мистер Грэхем повел глазами по переплетам и не нашел. Помнил ясно: зеленый, невысокий корешок, с золотой строкой, опрокинутой на свою начальную букву: θ .

В рассеянности, потрогал пальцами шероховатые переплеты у двух-трех книг: нужный корешок не зазеленел ниоткуда. Доктор Грэхем досадливо потер ногтем большого пальца переносицу: где бы ему быть.

Доктор Грэхем, престарелый и заслуженный профессор Лондонской Высшей Школы по кафедре «Истории религиозных предрассудков», был большим чудачком и любил, особенно в минуты недоумения и досады, старинную вышедшую из людских обиходов фразеологию, поэтому-то он, проведя еще раз пальцами по корешкам, пробурчал:

— «Бог знает», куда она девалась.

Но Бог не знал, куда девалась книга мистера Грэхема: даже этого. Он был мертв.

III

Мистер Брудж, сидя перед фотометром в круглом малом павильоне № 3-а Гринвичской Обсерватории, спешил закончить скучное поверочное вычисление суммы звездного света в созвездии Скорпиона. Подведя изумрудно-белую β к пересечению нитей внутри рефрактора, он левой рукой повернул закрепляющий винт, а правая быстро нажала стальную пуговку: и тотчас же зашуршал часовой механизм.

Вокруг было тихо. Мистер Брудж притиснулся глазом к окуляру. Щелкнул зажим: в поле зрения зажглось электрическое пятнышко. Оставалось повернуть раз другой микрометрический винт... — как вдруг произошло нечто странное: звезда β потухла. Лампочка горела, а звезда потухла.

Мистер Брудж не растерялся. «Часовой механизм»,— подумал он: но вертикально натянутая стальная нить мерно вращала колесико, с прежним ритмическим шуршанием. Не веря стеклу, Брудж откинулся на спинку кресла и простым глазом посмотрел в черный сегмент ночного неба, наклонившегося над круглым раздвижным сводом павильона. « α на месте, γ на месте, Δ тоже, β — нет»,— сказал вслух Брудж, и голос его как-то странно и мертво прозвучал в пустом павильоне. Придвинул лампочку; всмотрелся в звездную карту: « β ». Странно,— была и нет. Брудж, глянул на часы: отметил на полях карты— «anno 2204.11.11. 9°11» Scorpio β/\uparrow —obiit¹. Надвинул шляпу, потушил свет. Долго стоял в темноте, пробуя покончить с какой-то мыслью. Вышел, тихо прикрыв за собой дверь: ключ не сразу выдернулся из замка, так как руки мистера Эдуарда Бруджа чуть-чуть дрожали.

IV

Это произошло одновременно, миг в миг, с исчезновением звезды β .

Виктор Ренье, прославленный поэт, работал у зеленого колпачка лампы над поэмой— «Тропинки и орбиты»: из-под пера выпрыгивали буквы. Рифмы звучали остро-созвонно. Мозг укачивало мерным ритмом. Черты длинного лица Ренье заострились и разожглись румянцем. Счастье поэтов— припадочно. Это и был— редкий, но сильный приступ счастья: и вдруг— что за черт?— мягкий толчок в мозг,— и все исчезло, от вещи до вещи, будто свеянное в пустоту. Правда, ничто не шевельнулось: все было там, где было и так, как было. Но из всего— пустота: будто кто-то, коротким рывком выдернул из букв звуки, из лучей свет, оставив у глаз одни мертвые линейные обводы. Было все, как и раньше, и н и ч е г о уже не было.

Поэт глянул на рукопись: буквы, из букв слова; из слов строки. Вот тут пропущено двоеточие: поправил. Но где же поэма? Огляделся вокруг: у локтя— раскрытые книги, рукописи, зеленая шляпка лампы; дальше— прямоугольники окон: все— есть, где было, и вместе с тем: нет.

¹ Звезда β созвездия Скорпиона умерла (погасла) (лат.).

Ренье зажал ладонями виски. Под пальцами держался пульс. Закрыв глаза и понял: поэзии нет. И не будет. Никогда.

V

Если бы в феврале 2204 года газетам сообщили о смерти Бога, то, вероятно, ни одна из них, даже тридцатидвухстраничное «Центро-Слово», не отвела бы и двух строк петита этому происшествию.

Самое понятие «Бог» давно было отдуманно, изжито и истреблено в мозгах. Комиссия по ликвидации богопочитаний не функционировала уже около столетия за ненадобностью. Правда, историки писали о кровавых религиозных войнах середины XX и начала XXI столетия, но все это давно отошло и утишилось,— и самая возможность существования и развития вер в богов была объявлена результатом действия болезнетворных токсинов, ослаблявших из века в век внутрочерепную нервную ткань. Был открыт и уловлен стеклом микроскопа даже особый *fideococcus* — вредитель, паразитирующий на жировом веществе нейрона, деятельностью которого и можно было объяснить «болезнь веры», древнюю *mania religiosa*, разрушавшую правильное соотношение между мозгом и миром. Правда, мнение это оспаривалось Нейбургской школой нейропсихологии,— но массы приняли *fideococcus*'а.

Заболевавших верою в Бога (таких было все меньше и меньше) тотчас же изолировали и лечили особыми фосфористыми инъекциями — непосредственно в мозг. Процент излечимых был доведен до 70—75, человеческий же остаток, сопротивлявшийся инъекционной игле, так называемых «безнадежно надеющихся», селили на малом острове, прозванном — неизвестно кем и почему — «Островом Третьего Завета». Здесь, за сомкнувшейся высокой стеной для неизлечимо верующих, была построена даже «опытная церковь»: дело в том, что некоторые авторитеты, опираясь на древнее медицинское правило «*similia similibus curantur*»¹, находили, что *morbus religiosa*² имеет тенденцию в самых

¹ Подобное излечивается подобным (лат.).

² Болезнь веры (лат.).

ее тяжелых и, казалось бы, неизлечимых формах, самоизживаться и что опытная церковь и лабораторное богослужение могут лишь ускорить естественное разрешение процесса в ничто.

Опытная церковь была просторной сводчатой комнатой, с верхним светом. Она была оклеена серыми обоями с чередующимися вдоль длинных полос, четкими изображениями: крест — полумесяц — лотос; крест — полумесяц — лотос. У центра комнаты — круглый камень. На камне — курильница. Все.

В миг Азазилова вопля, больные верой, расставленные шеренгами вокруг круглого камня, молились, под наблюдением врачей. Они стояли молча, даже губы их не шевелились. И только сизому ладанному дымку в кадилънице разрешено было двигаться: покружив серо-синими спиралями, дымок потянулся было прозрачной нитью вверх, точно пробуя доползти до неба, но, закачавшись, стал мутными налетами оседать вниз. И вдруг дальний-дальний еле внятный крик, оброненный небом, ударился о купол, скользнул вдоль стен и, точно разбившись о землю, смолк. Врачи не слышали крика: они лишь видели ужас, скомкавший лица и разорвавший шеренги внезапно сбившихся в кучу, стонущих и шепчущих больных. Затем все вернулось *in ante*¹. Но изумлению врачей не суждено было закончиться сразу: в течение недели больные — один за другим — выписывались, заявляя кратко: «Бог умер». Расспросы оставляли без ответа. Последним ушел ветхий старец, бывший священником и как бы последним апостолом опытной церкви островка.

— Мы оба были стары, — сказал он, опуская голову, — но мог ли я думать, что переживу его.

Остров Третьего Завета — опустел.

VI

Мистер Грэхем отыскал нужную книгу. Оставалось навесить цитату, проживающую, кажется, на странице 376. Улыбаясь, мистер Грэхем согнул палец и легонько постучал в переплет: можно? (он любил иной раз пошутить с вдовствующими мыслями мертвецов). Из-за картонной двери не отвечали. Тогда он приотк-

¹ К прежнему (лат.).

рыл переплет и — глазами на 376: это была та давно забытая строка старинного автора, начинавшаяся со слов «умер Бог». Внезапное волнение овладело мистром Грэхемом. Он захлопнул книгу, но эмоция не давала себя захлопнуть, ширясь с каждой секундой. Схваченный новым ощущением, мистер Грэхем с некоторым страхом вслушался в себя: казалось, острошрифтные буквы, впрыгнув ему в зрачки, роем злых ос ворошатся в нейронах. Пальцы к выключателю: лампы погасли. Грэхем сидел в темноте. В комнату уставились тысячью оконных провалов сорокаэтажные дома. Грэхем спрятал глаза под веки. Но пляска бурь продолжалась: «Бог умер — умер Бог». Боясь шевельнуться, он судорожно сжал пальцы: ему казалось — стоит коснуться стены и рука продавится в пустоту. И вдруг мистер Грэхем заметил: губы его, шевельнувшись, говорили: Господи!

В эту ночь первый черный луч из Ничто, сменившего Все, прорвав крылатые круги, достиг земли.

И затем началось что-то странное. Краткое сообщение Бруджа об утерянной в Скорпиона не переступило круга специалистов. Но факты, опрокидывающие цифру и формулу, стали множиться, что ни день: звезды, то и дело, не загорались в заранее исчисленные секунды у пересечения нитей меридионала. Внезапно в созвездии Весов вспыхнул изумрудный пожар, осиявший отблесками полнеба. Звезды сгорали и гибли одна за другой. Спешно измышлялись гипотезы для покрытия фактов. Древнее слово «чудо» затлело в толпах. Радио успокаивало, предсказывая близкий конец катаклизма. Электрические солнца, повисши на проводах от небоскреба к небоскребу, заслоняли бело-желтыми лучами беззвездящееся, пустующее небо. Но понемногу и орбиты соседних планет стали разрываться и спутываться. Тщетно выпученные стекла телескопов обыскивали черную бездну, пробуя изловить хоть один звездный блик. Вокруг земли зияла черным-черная тьма. Теперь нельзя было скрывать от масс: укрошенная числами, расчерченная линиями орбит бездна, расшвыряв звезды, смыв орбиты, восстала, грозя смертью и земле. Люди прятались на холодеющей и одевшейся в вечные сумерки земле, за камни стен, под толщи потолков, ища глазами глаз, дыханием дыхания: но к двум всегда приходило и незванное третье:

стоило отвести взгляд от взгляда — и тотчас, — у самых зрачков — слепые глазницы третьего; стоило оторвать губы от губ, — и тотчас — черным в алое — ледяной рот третьего.

Сначала умерла поэзия. А после и поэт Ренье — омочив обыкновенное стальное перо в баночку с FSN, он проколол им кожу: этого было достаточно. За ним и другие. Но профессор Грэхем продолжал пользоваться пером для прямых его целей: он написал книгу — «Рождение Бога». И странно, автора не заключили на Остров Третьего завета, как это сделали бы раньше, а книга к концу года шла сорок первым изданием. Впрочем, территории опустевшего островка и не хватило бы теперь для всех, захваченных эпидемией *morbus religiosa*. Островок точно раздвинул берега, расплылся по всей земле, отдавая ее царству безумия. Люди, запуганные катастрофами, затерянные среди пустот, прозяввших из душ и из пространств, трепещущим стадом сбились вокруг имени Бога: «это кара за века неверья» — гудело в массах. И указывая на разваливающийся вокруг умершего Бога мир, пророки у перекрестков кричали: «Вот чудеса Господни!», «Покайтесь!», «Прославьте имя творца!». Под «имя» спешно подводились алтари. Над алтарями нависали своды. Храмы, один за другим, бросали в черное небо золото крестов и серебро лун.

Происходило то, чему и должно было произойти: был Бог — не было веры; умер Бог — родилась вера. Оттого и родилась, что умер. Природа не «боится пустоты» (старые схоласты путали), но п у с т о т а б о и т с я п р и р о д ы: молитвы, переполненные именами богов, если их бросить в ничто, несравнимо меньше нарушат его нереальность. Пока предмет предметствует, номинативное уступает место субстанциональному, имя его молчит: но стоит предмету уйти из бытия, как тотчас же появляется, обивая все «пороги сознания», его вдова — имя: оно опечалено, в крепе, и просит о пособии и вспомоществованиях. Бога не было — оттого и сказали все, искренне веруя и благоговей: есть.

Реставрировался древний культ: он принимал старые католические формы. Был избран первосвященник, именем Пий XVII. Несколько стертых камней давно скрытого Ватикана были перенесены с музейных

постаментов снова на пеплы Рима: на них, обрастая мраморами, возникал Новый Ватикан.

Настал день освящения новой твердыни Бога. День ли: сумерки теперь не покидали землю; черное беззвездное небо раззиялось вокруг планеты, все еще ведомой слабнущими и гаснущими лучами солнца по одинокой последней орбите мира. На холмах, вокруг нового храма, собрались мириады глаз, ждавших мига, когда престарелый первосвященник поднимет триперстие над толпами, отпуская и их в смерть.

Вот у мраморных ступенек закачалась старинная лектика; и старческое «*in nomine Deo*»¹ пронеслось над толпами. Дрожащая рука, благословляя, протянулась к черному небу. На хоругвях веяли кресты. Тонкие ладанные дымки струились в небо: но небо было мертво. Тысячи и тысячи губ, повторяя «имя», брошенное им *urbi et orbi*², звали Бога, тысячи и тысячи глаз, поднявшись кверху вслед за триперстием и дымками кадилен, искали там за мертвым и черным беззвездием Бога.

Тщетно: Он был мертв.

1922

¹ Во имя Господа.

² Граду и миру (*лат.*) — формула из традиционного благословения римского папы, означающая, что благословение распространяется на «град» (Рим) и на весь мир.

РИСУНОК ПЕРОМ

Директор Пушкинского кабинета Долев чувствовал себя в этот день очень утомленным. Четыре экскурсии, работа с машинисткой, ответ на тринадцать настоятельных писем и, наконец, этот маститый пушкиновед профессор Гроцяновский плюс, как его, ах да, поэт Самосейский.

Пушкиноведу нужно было собрать материал по поводу того, в бане или у колодца возникли пушкинские стихи по поводу вод Флегетона. Профессор долго, не выпуская из рук полы пиджака Долева, втолковывал ему, что в деревянной баньке села Михайловского вода не могла «блистать», поскольку баня была парной и в ней не было электрического освещения, что же касается до поверхности воды в колодце села, у которого, как нам достоверно известно, Александр Сергеевич неоднократно останавливался, то тут возникает ряд проблем, требующих точной документации и анализа материалов.

Самосейский выражал горестное недоумение по поводу того, что в альбоме музея, собравшем в себя литературные высказывания о Пушкине, нет его стихотворения, обращенного к Пушкину, напечатанного в газете такой-то, там-то, тогда-то и как раз о том-то.

Дело было уже к сумеркам, когда Долев услышал внизу звук защелкивающегося замка и вошел к себе в свой, ставший внезапно очень тихим, директорский кабинет. Наконец-то можно взяться за свою работу. Долев посидел минуты две молча, положив руки на поручни кресла, затем придвинулся ближе к столу. Он уже вторую неделю писал, черкал и снова начинал

писать статью о «Медном всаднике». Перо побежало по строчке.

«...Учитывая литературные и внелитературные влияния, толкавшие руку Пушкина во время его работы над «Медным всадником», нельзя забывать, как это все обычно делают, о возможности воздействия образов мифологических и геральдических. Славянская мифология, как известно, христианизировалась; древний палеологовский герб государства Российского получил, как раз во времена Петра, новое изображение на своем щите: Георгий Победоносец на коне, топчущем змея. Если убрать копьё, то оказывается, что фигура Фальконетова Медного всадника и геральдическая фигура Георгия Победоносца совпадают. Что же нам говорит дохристианский миф о Георгии? В древности приносились человеческие жертвы на алтарь «духам вод». Волны, грозящие поглотить все живое, изображенные и на гербе, и на памятнике волнообразным, извилистым телом змея, пробовали умиловить, бросая в море людей. Но пришел Георгий Воитель, поправил волны, и — как говорит миф — приношение человеческих жертв было отменено. Таким образом, если...»

На стене прозвенел телефон.

«...образом, если принять во внимание, что...»

Телефон повторил звонок.

«...несмотря на, я бы хотел сказать...»

Телефон напомнил о себе еще раз. Долев отшвырнул перо и подошел к трубке: «Как, ах да, да-да, знаю. Статью о рисунках Пушкина? Видите ли, у меня тут своя научная работа. Но, конечно, с другой стороны, я понимаю. Гм, хорошо. Пять страниц на машинке? Пожалуй. Рисунки? Это я подберу».

Прежде чем вернуться к столу, Долев вышел в соседнюю залу музея. Теперь рядом с чернильницей и стопкой белой бумаги легли две толстые папки с пронумерованными рисунками поэта.

Часы за стеной пробили семь, потом восемь, а Долев все еще сидел под листьями своих любимых папок. Они проходили перед ним, эти небрежные, прижатые к краю рукописных полей чернильные рисунки, блуждания пера. Вот покосившийся крест и несколько стеблей, изогнутых вокруг заглавия «Странник»; вот странная процессия, точно сделанная из чернильных

клякс пером, в расщепе которого застряла крохотная ниточка: рисунок к «Гробовщику» — с длинным гробом, поднятым кверху на упругих рессорах катафалка, с длинным бичом возницы и коротенькими фигурами провожающих катафалк; а вот и веселый росчерк, оторвавшийся от подписи поэта и вдруг крутыми спиральями распахивающий чернильные крылья, превращающие росчерк в птицу.

Но особенно долго автор будущей статьи задержался на таинственном рисунке, который много раз и до того притягивал его внимание: это было изображение коня, занесшего передние копыта над краем скалы; две задние ноги и хвост, как и у Фальконета, упирались в каменный ступ скалы; как и у Фальконета, под конем извивалась попрунная змея; как и в «Медном всаднике»... но Всадника не было. Поэт как бы подчеркнул это отсутствие, пририсовав к спине коня, к желтоватому контуру его вздыбленной фигуры, чернилами более темного оттенка некоторое подобие седла. Где же всадник, где звучала его медная поступь и почему седло на рисунке № 411 было пусто?

Долев, сосредотачиваясь на той или иной мысли, имел привычку закрывать глаза. Так и теперь. Веки были странно тяжелыми, как свинцом давили на зрачки. Он сделал усилие раскрыть глаза. Что за диковина? Конь, как и прежде, стоял на профиле каменной глыбы, но длинная морда его, в ракурсе, была повернута в сторону Долева и чернильные точки-глаза шевелились. Надо было стряхнуть с себя иллюзию, протереть глаза, но руки чугунными перилами вросли в подлокотники кресла, и Долев мог только одно: наблюдать.

Конь сделал легкий прыжок и широкой рысью двинулся вперед. Плоское пространство бумажного листа разворачивающимся свитком неслось впереди него. Волнообразный гад, высвободившись из-под копыт, уцепился ртом за конец длинного конского хвоста, от чего тот казался втрое длиннее. Рысь перешла в карьер. Секунда — и конь, точно упругий мяч, оттолкнувшись от земли, взлетел, снова ударился копытами оземь — и тут у его движущихся лопаток, вывинчиваясь из плоского тела чернильными росчерками, стали быстро расти легкие крылья. К двум парам ног пришла на подмогу третья, воздушная, — и конь несся теперь высоко над нижним краем листа, ныряя в обла-

ка и из них выныривая. Долев (пульс все чаще стучал в висках) еле поспевал глазами за полетом.

Но вот конь прижал крылья к вздымающимся бокам и скользнул вниз. Копыта его остро цокнули о каменистую землю, и из-под них, прозрачной струей, брызнул искристый луч. «Иппокрена!» — мелькнуло в мозгу у Долева. Конь, отдыхая, спокойно щипал чернильно-черные штрихи травы, выросшие из нижнего края свитка. Местность уходила в глубину мягкими холмами, за контурами которых виднелась вершина какой-то горы, одетая в легкие росчерки туч.

Седло, пририсованное к спине коня, по-прежнему было без всадника.

И тут внезапно Долев почувствовал, что он не один. Справа и слева от его закаменевших рук было еще по паре глаз. Одна принадлежала, как он это увидел, скосив взгляд, запыхавшемуся Самосейкину, другая — почтенному пушкинисту, профессору Гроцяновскому. Через мгновение оба они очутились на рисунке, так что не надо было поворачивать головы к плечу, чтобы их видеть. Оба они были покрыты чернильными брызгами пыли; галстук Самосейкина съехал почти что на спину, а из прорванных локтей черного сюртука профессора торчали его голые натруженные мозолистые локти. Сейчас оба они подходили, профессор со стороны узды, поэт — со стороны хвоста, к мирно щипавшему штрихи травы коню. Тот шевельнул острыми ушами и, приподняв узкую голову, оглядел их веселым, юмористическим оком. Профессор протянул руку к узде, поэт — к хвосту, но в тот же миг конь резко вздернул голову и хлестнул учетверенным хвостом. Профессор взлетел вверх и тотчас же рухнул наземь; поэт, получивший размашистый удар хвоста змеи, присосавшейся к хвосту коня, отлетел далеко назад. Оба они, привстав, с испугом смотрели на норовистое четырехкопытное существо.

В то же время в глубине рисунка появилось, вначале неясно для глаза, два человеческих контура. Они подходили все ближе и ближе. Через минуту уже можно было различить, что один одет в белую складчатую тогу, другой — в черный, как клякса, узкий в талии и широкими раструбами расходящийся книзу сюртук. Контурные шли по змеевидной извилистой тропинке среди лавровых кустов и фантастических росчерков наземных

трещин. Белый, теперь уже это можно было разглядеть, держал в левой руке воощенные таблички, в правой — поблескивал стальной стилос; черный размахивал в воздухе изогнутым, как запятая, хлыстом. Белый иногда вчерчивал что-то в свои таблички, черный, обнажая улыбкой белые, под цвет бумажному листу, зубы, вписывал свои мысли острым кончиком хлыста прямо в воздух. И от этого, точно черная летучая паутинка, на белом пространстве листа возникали строки, строки вырастали в строфы и плыли, меж трав и неба, чуть колеблемые слабым дуновением ветра. Это были какие-то новые, не читанные никогда никем стихи поэта. Гроцяновский и Самосейкин сперва раскрыли рты, потом опрометью кинулись навстречу скользящим в воздухе строкам. Но от резкого движения воздуха строки эти теряли контур и расплывались, как дым, потревоженный дыханием. Однако исследователь и поэт продолжали их преследовать. Спотыкаясь о камни, они падали, подымались снова. Гроцяновский, одышливо дыша, рылся в карманах, отыскивая записную книжку. Но она, очевидно, затерялась. Самосейкин, вынув вечное перо, тщательно подвинтил его и, подражая человеку в черном спортуке, пробовал вписывать свои заметы в воздух. Тот не терял при этом своей гладкой белизны. Движения Самосейкина с каждым мигом делались все лихорадочнее и некоординированнее. Он искал причину неудачи в несложном механизме вечного пера, встряхивал им, пробовал писать на ладони: ладонь была покорна его воле, но бумажный воздух упорствовал.

Впрочем, вскоре оба они, увлеченные погоней, скрылись за чернильной линией холма.

Тогда конь, стоявший до сих пор почти без движения, оторвал копыта от земли и, кругля бегом ноги, приблизился к тем двоим, черному и белому.

Человек в тоге ласково потрепал его по вытянутой шее. Конь, выражая радость, нервно стриг воздух ушами. Затем он подошел к человеку в черном и положил ему голову на плечо. Тот, бросив в сторону толстую палку, на которую опирался, нежно обнял шею коня. Так они простояли, молча, с минуту, и только по радостно горящим глазам человека и по вздрагиванию кожи на шее коня угадывались их чувства.

В это время из-за линии холма показались снова Самосейкин и Гроцяновский. Они были измучены вко-

нец. Пот градом сыпался с их лбов. Вместо сюртука с плеч профессора свисали какие-то разрозненные черные кляксы. О штанах Самосейкина можно было вспомнить «с благодарностию: были».

— Александр Сергеевич,— простонал задыхающимся голосом пушкинист,— маленькую справочку, только одну справочку...

Самосейкин в вытянутой руке держал какой-то томик, вероятно, своих собственных стихов: взор его молча молил об автографе.

— Александр Сергеевич, не откажите, дайте за вас Бога молить, обогатите нас датой, одной крохотной датой: в ночь с какого числа на какое (год нам известен), с какого на какое изволили вы начертать ваше «Пора, мой друг, пора!» э цетера?!

Человек в черном улыбнулся. Потом тронул коня за повод и поднял ногу в стремя. Уже сидя в седле, он наклонил голову к груди. И прозвучал его такой бесконечно милый сердцу, знакомый воображению каждого голос:

— Да, пора.

Несколько секунд длилось молчание. И снова его голос:

— Ночью. А вот какого числа, запомятовал. Право.

И последнее, что видели на его лице Самосейкин, Гроцяновский и Долев: вежливая, смущенная улыбка. Конь сверкнул чернью четырех копыт — и видение скрылось.

Настойчивый стук в дверь заставил Долева проснуться. В окно смотрело солнце. Циферблат часов показывал час открытия музея. Долев встал, бросил беглый взгляд на рисунок коня без всадника, лежащий на прежнем месте, и на не тронутую пером стопку писчей бумаги. Сделав нужные распоряжения, директор Пушкинского кабинета вернулся к стопке бумаги. Он попросил не тревожить его до полудня. Без десяти двенадцать звонок в редакцию извещал, что вместо статьи о рисунках Пушкина получился фантастический рассказ. Как отнесется к этому уважаемая редакция? Уважаемая редакция, в лице замреда, недоумевающе пожала плечами.

СЛУЧАИ

I

— Да, юный мой коллега, зашить салфетку в брюшине оперируемого — это, конечно, рассеянность. Рассеянность отнюдь не похвальная. Но в конце концов салфетка рассосется. Гораздо опаснее оставить в психике пациента некую инородность. И в этой области мы, врачи, я бы сказал, профессионально забывчивы. Люди — при частой смене — превращаются для нас в «случай». В клинической практике, как вы знаете, так и говорят: случай номер такой-то, у случая повысилась температура, случай номер, экзист.

Этот метод безразличия, унификация человека приводит иной раз к неожиданному — и всегда печальному — исходу. Ведь если в случае заведется случайность, то... вы понимаете?

Расскажу вам один факт. Я тогда был начинающим врачом, как и вы. По ночам мне еще часто снилось, как я срезываюсь на экзамене, и, просыпаясь, я с удовольствием вспоминал, что вся эта зубрежка, лотерея билетов и прочее позади. Я тогда не понимал еще, что университет — в широком смысле этого слова — собственно нельзя кончить и что практика есть ряд экзаменов и что на каждом из них легко «срезаться».

Это была худенькая, бедно одетая девушка. Боялась, нет ли чего в легких. Я тщательно осмотрел пациентку, аускультировал легкие, проверил сердце. Организм был вполне здоров, безизъянен. Только острое малокровие, сильный недостаток жировой клетчатки. Необходимо хорошее питание. Не менее четырех

раз в сутки. Девушка молчала, глядя куда-то вниз и в сторону. Не пускаясь в дальнейшие расспросы, я написал рецепт. Необходимо было иннервировать аппетит. Аппетит естественно повысит питание. Питание же... ну и так далее. Занятый логическим ходом своей мысли, я не заметил, что пациентка, вынимая из портмоне, чтобы положить на край моего стола два рубля, нечаянно уронила его на пол. Из портмоне выкатился двугривенный и выпал ключик. И все. Предупреждая мое движение, девушка быстро нагнулась, подняла. Через минуту ее уже не было в кабинете. Мелочь эта вспомнилась мне позднее. А напрасно. Но вслед случаю другие случаи. Факт снова выпал из памяти.

Прошло лет пять. Проводя отпуск в Ялте, я как-то встретил на набережной молодую женщину, одетую в простой, но изящный костюм. Хотя лицо ее было под тенью зонтика, но я признал в нем что-то знакомое. Рука моя поднялась к полям шляпы, и в тот же миг я увидел поверх зонтичной тени, я бы сказал, другую тень, психическую, скользнувшую по лицу женщины.

— Простите, я ошибся.

— Да, но не на этот раз. Мы встречались.

Голос был тоже знаком. У меня прекрасная память на голоса. Но слова, как и та, вторая тень, были несколько смущающи. Я задал осторожный вопрос, дама с еще большей осторожностью отклонила его. Мы шли рядом вдоль череды розово-желтых мимоз. Забытый «случай» успел вернуться в память. Да, это была та, худенькая, боявшаяся за свои легкие. Только теперь лицо и фигура ее значительно пополнили, острые углы закруглились и щеки были под ровным здоровым румянцем. Очевидно, рецепт мой, стимуляция аппетита, оказал надлежащее действие, и вот... Признаюсь, я даже с некоторой дозой самодовольства оглядел, так сказать, дело своих рук и хотел было бывшей пациентке напомнить о рецепте. Но в эту минуту я услышал:

— Вот мой муж. Знакомьтесь. Я тебе говорила, помнишь, это доктор...

Моя фамилия подействовала как щелк ножниц, перерезающих нить. Высокий мужчина в спортивном костюме, любезно ослабивший было рот улыбкой, вдруг сдернул улыбку с лица, и по глазам и губам его скользнула та вот психотень, на этот раз единственная.

Через минуту мы расстались. Несколько безразличных фраз, которыми мы успели разменяться, ничего не объяснили.

Только случай свел меня в третий раз с моим давним «случаем». Это было дня через три, в городском саду, на музыке. Скамьи почти все были заняты. Заметив, что край одной из них свободен, я присел и оказался соседом все той же пациентки. Она была одна. Правда, в окружении посторонних ушей. На этот раз я прямо задал свой вопрос. За эти дни он, как раз увязавшись за сознанием, не отставал от него, как приبلудившийся бездомный пес. Но соседка отрицательно покачала головой: к чему? Я решил настаивать. В этот момент нас прервала музыка. Неожиданно она оказалась моим союзником и ходатаем. Не знаю, что играли. Что-то грустное, но с той грустью, от которой делается легче, даже радостно. Я, разумеется, не музыкант и ничего в этих струнно-трубных делах не понимаю, но мне кажется глупым распространенное мнение о том, что так называемая «бодрящая музыка» должна быть веселой, мажорной. Печальный шопеновский ноктюрн в ре-миноре, если только я не путаю, дает мне гораздо больше бодрости, чем какой-нибудь залихватский распривеселый марш.

Пока мы слушали, подошел вечер. Соседка разрешила проводить ее до дачи. Это было довольно далеко, по ту сторону Чукурлара.

В начале мы шли молча, потом она сказала:

«Хорошо, я вам расскажу. Вы, вероятно, не помните всех деталей нашей первой встречи, встречи пациентки и врача. Я очень трушу докторов. И думается, не совсем напрасно. По крайней мере, случай с вами... Только прошу вас, не сердитесь на меня. Я ведь исполняю ваше же желание.

Притом начатое еще не поздно прервать. Хотите дальше? Хорошо.

В то время мне жилось очень трудно,— так трудно, что иной раз, проходя мимо нищего, я завидовала нищему. Его деревянной чашке с медяками. Одна, в чужом городе. Помощи ждать было неоткуда. Вначале у меня были уроки музыки. Потом я их растеряла. Почти все. Пришлось продавать вещи. Но и вещей-то у меня было небогато. Сперва недоедание, потом голод. Самый обыкновенный голод, когда во рту ничего,

кроме слюны, сердце вдруг падает в пустоту, головокружение и чувство какой-то странной безалкогольной пьяности. Помню сны, сны человека с желудком, готовым, кажется, переварить самого себя. Нечто вроде этого в сущности и происходило. Я еще меньше понимаю в медицине, чем вы в музыке, доктор, как вы поторопились в этом признаться. Но я не знаю, а ощущением чувствовала, что мое тело съедает себя самое... Мне даже как-то приснился скелет, понимаете, пористый скелет, который всасывает в себя тело; от него, от тела, осталась только липкая какая-то перепонка, но ненасытный скелет засасывает и ее; а сам он, заглотавший тело, разбух, раскостился и из белого стал розовато-красным и широкопорым, гадость такая. А другой раз, сейчас мне это кажется даже забавным, приснилось дерево на откосе, над вертикалью срыва: дерево было похоже на дикую вишню, но только вместо вишен с тонких зеленых черенков свесилось множество желтых копеек; копейки — на моих глазах — растут и круглятся в пятаки, пятаки, подергиваясь серебристым налетом, разбухают в серебряные рубли. Я тянусь к дереву монет, взбираюсь по круче, вот-вот дотянусь, и на меня брызнет дождь монет; но песок под ногами осыпается, и я съезжаю вниз. Хоть бы ветерок, хоть бы легкий удар воздухом, чтобы сорвать хоть несколько серебряных плодов. Но вокруг дерева полное безветрие и ветви его застыли.

А тут еще — я возвращаюсь в явь, доктор, — сочувственные кивки и советы людей, знавших, вернее полужнавших меня: вы плохо выглядите, надо к врачу. Я порядком мнительна. Что, думалось мне тогда, если к нужде прибавится болезнь? Тогда конец. Свалюсь в смерть, и жизнь пройдет по мне, как по ровному месту. А жить-то хотелось, о, как хотелось! Молодость во мне кричала. И я решила: бороться до конца, бороться правдой, точным знанием своих сил. Да, надо пойти к врачу. Я пошла. Деньги, которые отнял у меня визит, были почти последними. Я все-таки еще поддерживала в себе жизнь, расчетливо распределяя гроши: дешевая столовая раз в три дня — одно второе. Лекарство, которое я купила по вашему рецепту, оказалось дороже, чем я рассчитывала. Ну, делать нечего. Хорошо помню эту плоскую склянку с рецептным хвостом и мутно-желтой жидкостью внутри. Помню,

с какой надеждой смотрела я на нее в первый день, и как жгуче возненавидела потом ее. Ее и вас.

Прежде всего, на лекарстве было написано: по три раза в день за час перед едой.

Для человека, обедающего раз в три дня, это создавало некоторые затруднения. В первые два дня я аккуратно выполняла требование аптечной склянки и после каждого приема — точно через час — проглатывала кусок хлеба. Все-таки. Но склянка была недовольна. Уже на второй день я почувствовала такой волчий приступ голода, что, нарушая бюджет, отправилась в столовку и израсходовала сразу свой недельный фонд.

И однако в эту ночь я не видела даже голодных снов. Голод не давал мне уснуть. Я проворочалась до утра, глотая обильно подступающую к языку едкую слюну.

Я и раньше знала, что значит быть в лапах голода, но только сейчас лапы эти выпустили свои когти. Мне положительно разрывало внутренности. К следующему вечеру я почувствовала жар и озноб. Жидкость в склянке медленно — ложка за ложкой — опускалась. Еще ночь, и нечто снообразное вернулось ко мне. Но я видела его с раскрытыми глазами. Так, окно моей комнаты — под светом уличного фонаря — вдруг превращалось в витрину гастрономического магазина, заставленную всякой снедью. Я прятала лицо под подушку. От этой желудочной фата-морганы. И плакала, помню, плакала злыми, скудными слезами. Это было состояние, подводящее к самоубийству. По крайней мере, я тогда поняла, как это человек сам себя... Спасло меня, может быть, то, что лекарство в склянке несколькими часами раньше достигло стеклянного донца, чем мое терпение дна души.

Помню, как я, временами хватаясь за стены, с трудом дошла до ближайшей аптеки. В руках у меня были: склянка и рецепт. Перед глазами прыгали черные, в красных оторочках пятна. Они то срастались, застилая свет, то разрывались, обнажая прилавок, ряды бутылочек и пузырьков и вопрошающее пенсне фармацевта. «Что вот это?» — спросила я, подавая рецепт. Пенсне повисло над бумажной лентой: «Средство для возбуждения аппетита, сударыня. Прикажете еще бутылочку?»

И вдруг, высокий подпотолочный шкаф, беззвучно качнувшись, стал на меня падать: стеклянные квад-

даты дверец — стеклянные пузыри пузырьков — сверкающие грани бутылей — все это, пересыпанное мириадами стеклышек пенсне, заблеставших отовсюду, стеклянной лавиной рушилось на меня. Защищаясь, я размахнулась склянкой и бросила ее навстречу. Чей-то крик, мой или чужой, — не знаю, и сознание оборвалось. Говорят, я была в продолжительном и глубоком обмороке. Не знаю. Когда я очнулась, я увидела себя в какой-то незнакомой комнате, лежащей на кушетке. Надо мной наклонилось два лица: одно — лицо фармацевта, предлагавшего вторую склянку, другое — совсем незнакомого, с губами, крепко сжатыми над отстегнутым воротом, в спортивной куртке. Если лицо аптекаря было равнодушно за двоих, то другое, то, что с ним рядом, было... за двоих взволновано. Это был случайный посетитель аптеки; участие его не ограничилось получасом. Во время моего медленного выздоровления он терпеливо помогал мне в моем возврате к жизни. Но не к той, прежней, — к другой. Не прошло и года, как мы стали мужем и женой. Мой муж — вы его видели — не медик, но ему я обязана жизнью. Вот и все, кажется».

Мне, коллега, остается повторить: вот и все. Потому что говорить о том чувстве стыда и растерянности, которые получил я в виде добавочного морального гонорара в тот вечер, мне что-то не хочется.

II

— Ну вот, я предоставил вам паузу, молодой коллега, чтобы вы могли хорошенько обдумать сказанное. Кстати, на чем специализировались? По нервным? О, это самое тонкое место в медицине. Сам я не психиатр, психов не лечу, но порядком читал и слышал. Мозг человека, эти три фунта мяса, строящие мирозерцания, — престранная штука. С одной стороны: я по ассоциации с только что рассказанным случаем — при крайнем похудении, при потере всеми тканями свыше сорока процентов веса, мозг теряет лишь ноль целых и какие-то десятые доли одного процента: дьявольская сопротивляемость. А с другой стороны, возьмем любой пример, ну хотя бы знаменитое Мартиникское землетрясение. Стоило земле потрястись в течение каких-то двадцати девяти секунд,

и в результате несколько сот сумасшествий. Не помню сейчас процента, но что-то очень высокий. Да, пускаться на нашем мозге плыть сквозь долгую, таящую рифы и штормы, жизнь — предприятие более чем ненадежное.

Беру самый крохотный случай. Рассказал мне его мой товарищ по университету.

Супруги. Любят друг друга. Год за годом. Но постепенно меж двоих вклинивается болезнь. Не помню что. Может быть, табес, может быть, иное что. Болсет муж. Постепенно болезнь отнимает у него одну группу мускулов за другой. Он уже муж только по имени. Конечно, привычка умеет сшивать души и пришивать тело к телу. Но сексуальный инстинкт тоже умеет испарывать и даже рвать нити. Короче, с постепенностью, имитирующей постепенность болезни, — половая жизнь жены ответвляется на сторону. Чувство — как это бывает в такого рода случаях — сперва секрет и тайна от самого себя, затем явно для себя, тайно для другого (тем более для третьего, разумеется), потом не секрет для двоих и тайна для третьего, наконец, молчаливый несекрет для всех троих. Все живет несколько ущербно, психика каждого слегка нарушена: женщине мучительно осознавать себя делимым, тому, другому, не слишком приятно быть делителем, а мужу, мыслящему полутруп, ощущать себя чем-то вроде арифметического остатка. Все молча делают свое. Болезнь — тоже. Когда течение ее убыстряется и процесс поворачивается острием, жена — сиделка; когда болезнь чуть отпустит, она — любовница. Меж мужчинами глухая, больше — глухонемая вражда. Когда жена уходит из дому, больной не удерживает ее, но у молчания... самые разнообразные тембры. Когда женщина отнимает несколько дней у здорового для больного, здоровый молчит, но делается болезненно раздражителен или угрюм.

Наконец, смерть выдергивает клин. Муж с постели на стол. Но не сразу, конечно, а после долгой многодневной агонии и предагонии. Женщина забыла о себе как о любовнице, ночные бдения и отражение боли умирающего сделали ее только сиделкой. Она одна в комнате с покойником. Им осталось провести последних два-три часа. А там суета похорон и после... нет, о «после» — после. Эти последние минуты ему. Он

лежит спокойный, стройный стройностью труп, глядя двумя пятаками, подменившими глаза, прямо в небо. Кстати, эти похоронные пятаки, молодой человек, сейчас они теряют свой смысл и уж не оттого ли выводятся из быта. Но прежде, когда горизонт у жизни был пятаковый, получалось нечто вроде прощания глаз с своим горизонтом. Но я, по стариковскому обычаю, разболтался. Вернемся к ситуации.

Итак, молчание втроем: труп — вдова — смерть. И вдруг металлический толчок звонка. Женщина открывает дверь. Почтальон, письмо. На конверте знакомый почерк: от него. «После», воспользовавшись мгновением, вхлынуло сквозь дверную щель, раньше чем ему было позволено. Теперь его уже не прогнать. Женщина хочет прикрыть дверь, но голос почтальона останавливает ее: «С доплатой: за вес — двадцать копеек».

Действительно в письме — на ощупь видно — больше слов и страниц, чем может вытянуть одна почтовая марка. «Бедный, соскучился, изждался». Рука вдовы торопливо разрывает конверт, но за незакрытой дверью напоминающая улыбка почтальона: двадцать копеек.

Ах, да. Но куда запропастилась мелочь? Гробовщики, женщины-обмывальщицы, ну и всякий вкруг-похоронный люд выпотрошили все серебро и медь из кошелька. Впрочем, кажется, тут вот, в шифоньерке: гривенник, алтын, две копейки. И все. Еще пятак. Женщина оглядывает комнату: где бы? И вдруг — на встречу глазам ее — два неподвижных пятака, уставившихся в потолок. Нехорошо. Но почтальон торопит. И после, письмо... Женщина подходит к трупу и, сняв пятак с правого глаза, присоединяет его к шифоньерочной мелочи. Дверь захлопнулась. Наконец-то она вдвоем с письмом. Пальцы нервно передвигают страницы, глаза жадным блеском по таким милым, таким родным, таким неторопливым строкам.

Письмо прочитано и перечитано. Мечтательно улыбаясь, женщина поворачивает голову назад: прямо на нее, уставившись пристальным белым зрачком — из-под приподнявшегося тяжелого мертвого века смотрит труп. Шок. Улыбка, перерванная, как гнилая нить, коротким рывком крика. И мозг опрокинут секундой, весь его опыт, вся его жизнь, накапливавшаяся десяти-

летиями, зашаталась и падает вниз от удара об один единственный миг.

Женщину, так мне сказал по крайней мере психиатр, лечили около восьми месяцев. Показания были, в общем, благоприятные, и психическое равновесие, в конце концов, почти восстановлено. Споткнулась ли впоследствии психика об это «почти», не знаю. Известно одно, что возлюбленный нашего «случая» воспользовался этим случаем, чтобы... Ну, это не относится к делу. Вот такой, доложу вам, докториссима, пятаковый казус, а?

III

— Да, глубокоуважаемый юниус, мозг человека — это, так сказать, последний крик природы. Устойчивость его где-то около нуля. Был у меня случай. Нам, земским врачам, приходится пользоваться все — от чирья до сложнейшего психического расстройства. Помню, был у меня больной, который вообразил, что голова его одуванчик. И стал жить на одуванчикову статью. Чуть ветер — все форточки на зажим. Вдруг воздухом развеет голову. И, в сущности, у больного была не слишком большая мысль: ведь наши головы — больные и здоровые — одуванчиковой консистенции. Ударит ветром непредвиденности, и взлет.

Конечно, мы, врачи, дорогой юниус, часто бываем виноваты. Но и пациенты, я вам скажу! Помню, в Ментоне. Великолепно оборудованный санаторий. Для тяжких заболеваний легкими. Казусы с пунцовыми пятнами на скулах. Горный воздух, замедляющий переселение в горение. Юноша. Дышит охлопьями легких. Полон надежд, чаяний, короче — зутаназия. Внезапно санаторий получает телеграмму: мать юноши умерла. Как сообщить больному? Старший врач, скользнув глазами по телеграммной строке: «Сперва скажите ему, что температура его прыгнула на пять десятых, а потом покажите телеграмму — из-за пяти десятых не заметит смерти матери». И врач был прав. Но я, по стариковской привычке, опять отъехал на запасной путь. Давайте вернемся на основную магистраль.

Случай, о котором я хочу вам рассказать, произошел всего лишь за год до войны. Я работал тогда в одном из приграничных городков, расположенных на

скрещении торговых путей. Человечье содержимое городка: солдаты и купцы. Преимущественно, купцы. На один из утренних моих приемов явился престранный человек, я бы сказал, балык человека. При всей своей врачебской привычке, я не мог удержаться от рефлекса отдергивания. Человек раздвинул нитевидные губы, обнажая желтую кость зубов, и сказал:

— Шкилета не нужно ли? Так вот я.

Я оглядел посетителя. Он был, я бы сказал, остеологичен. Глаза запали на самое дно глазниц. Поверх черепа не было ничего, кроме тонкой кожи, охватывавшей костевые сочленения. Шея—шесть позвонков, охваченных проводами мускулов и нервов в кожаном чехле.

Человек, предлагающе улыбаясь, расстегнул одежду. Из-под нее четко вычертились ребра и подреберья, с двумя кнопками сосков и пульсирующим сердцем, в меж третьим и четвертым вздутисм левой доли груди.

Заметив мое движение, человек-скелет раздвинул улыбку шире, и острый хрящ кадыка дернулся под кожей шеи.

— В Дерптском университете демонстрировался. По скелетной науке. Студенты весьма довольны были. На водку—прямой наводкой брал-с.

Феномен был действительно изумителен. Я спросил его: откуда родом, наследственность, как зовут.

— Годяй,—отвечал скелет, но в «откуда» и «как» был нетверд.

Я объяснил ему, что наш городишко не университетский и что простой скелет на проволоке, находящийся в моей лаборатории, не требует никаких дополнений. Годяй грустно вздохнул, вращая шапку в желтых костяшках рук. Он спросил, нет ли в городе купеческого сословия, имеются ли трактиры и притрактирные развлечения. Я был несколько удивлен крутым поворотом его мысли, но мне не оставалось ничего иного, как краткое: да. Годяй надвинул шапку на череп с ясно проступающими сквозь кожу острыми зигзагами швов и, сутуля ребра, вышел за порог.

Прошло несколько недель, и я ничего не слышал о своем случайном посетителе. Но однажды в местном трактире, куда осенняя тоска и осенний дождь зазывали всякого, я встретился с компанией местных

купцов. Они были уже в навеселейном состоянии. Один из них когда-то состоял в числе моих пациентов. Этого было достаточно, чтобы заставить меня пересесть к их столику и включиться в их пьяную нитонисетину. Пили здоровье человека, возвращающего здоровье. Водкой — коньяком — шампанским. Кто-то проделал мыслете от идеи жизни к идее смерти. И другой кто-то предложил:

— Идем к шкилету.

К трактирному крыльцу подкатило несколько саней. Полозья скользили по белоснежью, мимо потухших окон спящего городка. Потом откиннутые полога саней, еще потом теплые сани и бревенчатая клеть комнаты, смутно освещенной желтой свечой.

Человек-скелет спал. Его разбудили. В ожидании появления феномена, купцы раскупорили еще пару коньячных бутылок. Кое-кто предлагал плюнуть шкелету меж ребер и ехать прямо к девочкам. Но в это время дверь задней комнаты раскрылась и на пороге появился человек-скелет. Заспанные глаза его смотрели мертвой мутью из-под костной навеси лба. Он был одет в белый саван. Профессиональным движением он распахнул его бумажные створы, — и глазам нашим предстал лишь легким кожным покровом прикрытый скелет. Купцы удовлетворенно загоготали и захлопали ладонями по коленкам: ах ты, кондрашкин сын, смертюга смертюговая, зашкелечивай на все на шесть.

Скелет, равнодушно озирая гостей, медленно обошел круг. Иные перебирали пальцем ребра, другие тыкали указательным в дергающееся под кожей сердце, иные же с любопытством всматривались в линию четко проступающих черепных швов. Скелет сделал второй круг. Теперь в пальцах его накапливались шелесты трешек, пятерок и десятков. Он поклонился, выставляя протискивающиеся сквозь кожу ключицы вперед, и исчез за дверью. Мы допили вино и уехали.

После этого прошла еще некая толика времени. Это было не в приемный час. А так, перед вечером. Меня разбудил костистый стук в дверь. Кто бы? Я открыл. Фигура, окутанная в сумерки, молча и почти бесшумно шагнула в комнату.

— Это вы, Годяй?

— Да. Только они говорят, будто я не Годяй. Меж мясом и костью заблудился. Не впервой мне это.

И тут, представьте себе, мне пришлось услышать прелюбопытнейшую исповедь. Знаете, у Лассалья есть не безостроумный железный закон заработной платы. Я получил его в биологизированном виде.

Профессией моего посетителя была торговля своей худобой, сбыт шкелетности, как он сам говорил. Но в этом своеобразном торге невежественный бедняк натолкнулся на нечто, что требовало — для своего объяснения — не годяевского мозга, а мозга марксовского склада. Странствуя с места на место, человек-шкелет жил шкелетностью. Но по мере того, как шкелетность давала ему заработок, он получал возможность повысить свое питание, что приводило к потере заработка. Пища затягивала ребра мясной тканью, заращивала провалы меж ребер, и человек-скелет терял всякий интерес для любителей макабрных раритетов. Лишившись заработка, человек снова тощал, снова скелетизировался, с тем, чтобы с получением новых доходов, а следовательно, и пищи, опять утратить свою остеологическую ценность. Бедняк рассказал мне в этот вечер о длинной череде городов, через которые гнала его жизнь, то обнажая, то вновь пряча под мясом его кости. Диалектика жизни человека, паживающегося на умирании и умирающего от оживления, представилась мне тогда уходящей в бесконечность. Это была клавиатура белых и черных клавиш, убегающая за пределы касаний.

Но действительность вскоре опровергла эту логическую фантазмагорию. Дело было к весне. Вверху над городком грязные облака. Внизу, под ногами, грязные лужи и хлюпкие кладки. Меня вызвали на констатацию смерти. Пройдя чередой чавкающих кладок, я дошел до как будто бы знакомого бревенчатого домика. Сени — первая комната — потом вторая. На лежанке во второй лежал человек с синим языком, застрявшим меж распыленных челюстей. До сердца было недалеко: оно лежало отстучавшим молотком, под выпяченным ребром, покрытым желтой пупырчатой кожей. Я констатировал. С тем вот, что за решеткой ребер, было кончено. Заплуталось меж жиром и костью. Что ж.

Да, любезный эскулапус, медицинский случай нельзя брать лапами, а надо осторожно, легко.

РАЗГОВОР ДВУХ РАЗГОВОРОВ

На небе белые паруса облаков. Над морем ни всплеска. Вдоль широко распахнувшегося в безволный пляжа — пестрые грибы зонтиков, кое-где по раскалу камешков — простыня и сотни и сотни голых пяток, уставившихся в море.

Двое лежали шагах в десяти друг от друга. Один был почти кофейного цвета — другой цвета жидкого чая с молоком; первый поворачивался с живота на спину и обратно движением жирного дельфина, играющего на волне, — второй беспокойно ерзал на потных камнях, то и дело отдергивая желтую клавиатуру ребер от желтопалого солнца.

Когда коричневый лежал на правом боку, белый — на левом, и глаза их были врозь друг от друга. Когда белый перевернулся на спину, коричневый уже впластался грудью и носом в песок. Наконец белый перекатился на правое плечо, коричневый привстал, ладонями — в землю, глаза их встретились, и оба протянули:

— А-а.

— Кто сказал «а», — улыбнулся белый — должен сказать и «б». Благодать. Ну, поскольку вы под цвет вашему письменному столу, то ясно, что вы с ним не видались недели три, а то и больше, а я вот только-только смыл с себя поездную копоть и созерцаю. Пожалуй, даже мироззерцаю потому, что там, в Москве, пространство, так сказать, по карточкам; вместо неба — потолок, даль отрезана стеной и вообще все изрублено стенами и перегородками, а взамен солнца двадцатипятисвечная лампочка — не угодно ли? Чрезвычайно трудно не усомниться, что за этим крошечном

из пространства есть где-то и настоящее, за горизонт перехлестывающее пространство, классическая протяженность, одним словом, м и р.

Коричневые лопатки шевельнулись:

— Да, как подумаю, что скоро опять, вместо всплесков моря, тьякканье трамвайных звонков, столичные ямы улиц, и что на столе тебя дожидается беременный портфель...

Желтые ребра дернулись от смеха:

— Вот именно: мы перекладываем мысли из головы в портфель, и когда голова пуста, а портфель полон, то это и называется...

— Угадываю. Это правда, растекаться мыслью по древу теперь, когда и древа-то эти срублены, и жизнь насаждается заново, нам нет времени. Да и сама эта «мысль», как доказал кажется некий палеограф, оказалась «мысью», грызуном, вредителем. С ней тоже надо не без осторожности. А брюхатость наших портфелей почтенна. И после, это — фетишизм. Если тебе взвалили на плечи столько работы, что голове приходится потесниться — ну, там, на время — не вижу в этом ничего постыдного. Помню, в последнюю командировку занесло меня (в Париже это было) в Сорбонну. Как войти, первая слева фреска, Пюи-де-Шаванновская; кажется: святой какой-то идет по стене и перед собой, как фонарь, на вытянутых руках несет свою же голову. Я, помню, тогда еще подумал: молодец, не все ли ему равно, как носить свое мышление — на плечах, там, под локтем, или... Важно одно, чтобы совершалось овеществление идеи, объективное ее бытие, а не шмыгание мысли в камере одиночного заключения, под макушкой, в голове. Творчество новой жизни...

— Тварчество.

— Как?

— Я говорю: тварчество. Мысль должна идти на мышление, как рыба на крючок. Вы хотите шутку Клеопатры, приказавшей привязать к удочке Антония, к концу его лесы копченую сельдь — превратить в архисерьезную и массовую систему рыболовства. Нет. Ум вправе рассчитывать на более остроумное с собой обращение. Поезда ходят по расписаниям и пусть, но мысли, которым дано расписание, только свистят, но не двигаются с места. Тварное, данное не может быть творческим и созданным.

— Позвольте, вы совершенно не понимаете общественного смысла...

— Смыслов.

— Пусть так. Нам нужны не сшибающиеся лбами и тем, что под ними, индивидуумы, а организованное коллективное мышление. Если каждый будет тянуть врозь, то нашему возу не будет ходу. Ясно. Ведь стоит только хоть одной образующей лечь под углом, и равнодействующая тотчас же укоротится. Нам нужна равнодействующая предельного действия, и я боюсь, что произошло некоторое запоздание на этом фронте: головы должны быть организованы в первую голову. Единство нашего мирозерцания...

— Перебыю: мирозерцание никогда не бывает нашим. Оно не может быть продуктом массового потребления. Придумать философскую систему — это значит зажечь новое солнце, по-новому освещающее мир. Даже при крайнем снижении цен на солнце, это все-таки не спички, которые будут вспыхивать от чиркания о любую черепную коробку. Наше способно только занашивать, но не... Мне как-то рассказывали (это было в давние годы) о чердачной студенческой коммуналке, у которой на всю братию имелась всего лишь одна пара штанов, так что на улицу им приходилось по очереди. Штаны одни на дюжину ног — бедновато, хотя еще так-сяк, но дойти до нищеты философии, чтобы одно мирозерцание на всех, согласитесь, что...

— Ну, эту карту, знаете, вы из рукава, хотя мы и оба голы. Когда я говорил «мирозерцание», я, конечно, укорачивал термину смысл, обрубал ему хвост... но не голову, но, как там вы ни спорьте, солнца — и философические, и вот это, что над нами, — действительно-таки, подешевели. Сами же вы говорили, что жизнь, заставленная отовсюду стенками, убивает в человеке чувство пространства, мира. Но теперь, когда все стены рухнули, мир, в обесстенности и обестенении своем стал видим всем созерцаниям. Любой мирской сход решает теперь не мирское, а мировое, и каждому, если он хочет психически уцелеть, приходится вскарабкиваться почти по отвесным понятиям. О, это поднятие не понятие; только связываясь друг с другом, как это делают альпинисты, только объединившись в единое, коллективное мышление, мо-

жно разминуться с бездной. Так мысль, ведя за собою массы, переходит через...

— Не через, а в: в свою противоположность. Конечно, одни и те же буквы и в букваре и в поэме Броунинга, но в букварном своем возрасте, они лишь учатся ходить, в то время, как... одним словом, степь под кротовыми холмиками не требует альпенштоков и гвоздастых подошв. Мысль, превращенная в рукопись и затем в сорокатысячный тираж, остается все-таки мыслью в одном экземпляре. Вы спутали вертикаль с горизонталью и оттого...

— Революция опрокинула пространство, и горизонталь стали вертикалями.

— Надо осторожнее обращаться с аналогиями. Восхождение вверх к точкам, на которые еще не ступала ничья мысль, всегда сквозь безлюдье и холод логики,— по горизонтальным же дорогам можно целыми армиями в затылок друг к другу. Надо строго ограничивать ассоциирование и мышление, умение открывать новое и способность прятать себе под макушку старое. Конечно, можно бросить в голову чужую мысль, как кусок сахара в стакан, и если она сама не растворяется, кружить и тискать ложечкой, пока не произойдет полного усвоения. Можно, наконец, организовать подачу идей наподобие света, распределяемого по лампочкам ли, по головам ли из центральной станции. Очень удобно: каждый получает возможность бездумно думать. Можно, наконец,—научно усовершенствовать дело, перевинчивать головы с плеч на плечи. Жаль только, что самые научнейшие усовершенствования при такого рода головоководстве прекратятся и мышление, отщелкиваемое выключателями, превратится в бессмыслицу.

— Погодите. Из-за ваших образов о мысли я не вижу образа ваших мыслей, а он-то меня единственно сейчас и интересует. Что же, по-вашему, сколько людей, столько знамен. Но ведь это же чушь: кто же будет сражаться, если все будут знаменосцами? Куча мирозерцаний и ни одной идеологии. Вам, конечно, не очень нравится это слово — идеология.

— Нет, отчего же: но только идеология для меня не система мыслей, освобождающая от мышления, а такое идеосочетание, которое право на мысль превращает в долг: мыслить. Современная наука определяет

процесс мышления, как торможение рефлексов. Идеология не должна поступать с идеями, как мысль с рефлексами, потому что, если начать тормозить торможение, то...

— То оно переходит в свою противоположность. Этот наш спор я уже усвоил. Но противоположности между горизонталью и вертикалью, пассивным и активным мышлением я себе все-таки не уясняю.

— Очень просто: мысль, как и растение, стеблится вверх, волею тропизмов и логического взгона. Но можно — растение ли, мысль ли, все равно — пригнуть к земле, к странице книги, притиснуть колышками или авторитетами и заставить стлаться по противоестественной для них горизонтали. Конечно, любую мысль можно обобществить, рассеменить по миллионам голов, но сущность мысли не в обобществлении, а в общении, способности удлинить радиус видения, в умении раскружить кругозор подъемом по сверх, громоздящемуся на сверх... Одним словом, истина настолько-то стыдлива, чтобы не отдаваться коллективу.

— Ого. Вот мы и договорились до психического атомизма. Особи, немецкие их, глубоководные солипусы и пустота. Но то, что вам мнится пустотой, на самом деле расплавленный поток, вливающийся в формы, а ваши их, так, воздушные пузырьки, захлестываемые сталеспадом, вспучивающиеся напыщенностью пустот и тем только снижающие качество медленно холодеющего металла. Как это, по пословице: слоны трутся — комаров давят. Комару, сиречь личности, не возбраняется при этом зудеть, но из-за топа слоновьих пят и схватки трубных голосов писк этот попросту не слышен. Личность...

— Не следует переходить на личности с понятием... личности. Прежде всего, плох тот комар, который попадает в терку меж слоновьих боков. Он может пробраться, скажем, и под слоновье ухо и прозвенеть, жая в самое слышание, такое: я не делаю из себя, из, так сказать, мухи слона, но и из слона нельзя сделать мухи. То грубое, перепопуляренное понятие о личности, какое распространяется ее врагами и уничтожителями, не более как философическая сплетня, и только. Личность, индивидуальность изображается, как нечто отщепенческое, вывихнувшееся из социального организма, противопоставляющее строю коллектива

свои настроения, действительности фантазию, одним словом, умеющее придумывать лишь варианты к детской игре: сначала ладонями в переднюю стенку вагона, затем плечом в заднюю и поезд от этого то ускоряет, то замедляет ход. На самом деле, личность не есть нечто вывихнутое из своего вне, наоборот, ей дано вправить мир в мысль. Ведь самое мышление общеобязательно, если только оно само выполняет все свои обязательства перед логикой. Логизирующих много — логика одна. Человек, владеющий общим понятием, не нуждается для его построения в обществе. Его идеям излишни сочеловеческие подпорки. Не сваливайте в голову индивидуума сумбур проблематических суждений и пошлость суждений ассерторических: подлинное «я» берет себе аподектизмы: оно не мыслит «если я есмь» или «Я есмь», — но «я не могу не быть». И дальше: «я мыслю, следовательно, мне принадлежат все мои следовательные». Я не хочу хранить свои логические излишки в сберегательной кассе, я хочу их иметь в своей голове. Я требую, чтобы мне возвратили все, национализированные у меня, шестьдесят четыре модуса силлогизма. До единого. И если мне возразят, что из них логически осуществимо лишь девятнадцать, все равно, отдайте и остальные, так как без них не осуществится искусство, которое ведь все из неосуществимых силлогизмов. Мало того, я не хочу, чтобы меня пугали в детстве трубочистом, а в зрелости ошибкой, которая придет и унесет меня в мешке. Я декларирую право ошибаться. Почему? Потому что достигнуть истины можно лишь доошибавшись до нее. Мышление, мыслящее идею свобода, только называет себя по имени. Что вы на это скажете?

— Прежде всего, что вы обожгли себе спину. Перевернитесь на бок. Вот так. С солнцем не шутят. Ну, и с идеей «свобода» тоже. Затем я беру вот этот камешек и швыряю его: это вместо цитаты из Спинозы. Понятно. И, наконец, боюсь, вы убедили самую логику, и она дала вам полную свободу. Нет, кроме шуток, ваша свободная, самозаконная мысль, наряженная во все шестьдесят четыре модуса, напоминает мне белорусскую невесту, которая согласно ритуалу, прежде чем переступить порог мужнего дома, выкрикивает: «Хочу скоцу — не хочу — не скоцу», после чего, завершая ритуал, муж, взяв ее в охапку, переносит

через порог. Философское понятие свободы невоскресимо, индетерминизм — это даже не мертвый Лазарь, который «быв четырехдневен и смердех», это пепел, понятие, подвергшееся кремации, которому только под крышу урны и в колумбарий идей. Ведь если взять все мозговые процессы, начиная от образования ассоциативных связей, которые суть связи, а не...

— Ну да, предчувствую: сейчас на меня рухнут библиотеки и погребут вашего покорного, вернее, непокорного, слугу вместе с злосчастной идеей свободы. Но только это совершенно излишне: я вовсе не собираюсь фехтовать против современного научно-вооруженного детерминизма. Я только утверждаю, что человек и его мышление представляют случай несколько своеобразной детерминации. Я много об этом думал. И вот моя формула: человек, поскольку он человек, есть такое существо, все внутренние и внешние поступки которого, — то есть мышление и деятельность, детерминированы идеей свободы. Вы понимаете, можно отрицать свободу, но не ее идею, идея-то во всяком случае существует, и поскольку она в центре мышления, поскольку она является доминантой, определяющей всю констелляцию мысли, я спокоен: мое мышление, пусть и не мое, пусть в чужих, но я бы сказал, в хороших руках.

— «Слова, слова, слова».

— Вот именно, только интонацию принца по нынешним временам приходится заменять интонацией нищего: слов, слов, слов. Дайте нам только слова, мы согласны, и даю вам слово, мы сделаем из слов, несостоящих слов, настоящую литературу. Это уже нечто. Но вы держите слова под ключом. Вы...

— Мы находимся в состоянии войны. Пока без выстрелов. А на войне, как на войне: слова оттесняются паролями, а между мыслью и речью — цензурные рогатки.

— А не оттого ли проигрываются войны — иногда обеими сторонами вместе — что первыми ее жертвами падают слова, право на правду и критику, и жизнь делается безъязыкой и подкомандной. Ведь все равно мысли, оттесненные от слов, отступают назад в молчание и делаются задними мыслями: таким образом, идейный тыл делается неблагополучным. С этим следует считаться. И очень. Но этого мало: извилины

мозга, как дорожки в саду, заросшем многоветвием мыслей. Если из-за войн, в войны переходящих, мы забросим эти внутрочерепные сады, они заглохнут, зарастут сорняком. И благородное искусство силлогизма будет искажено и утратит свой строгий контур. Вместо длинных цепей умозаключений — короткие тычки лбом о факты. Мне вот вспомнилась горестная история горечавки. Не слышали? Горечавка — это такая скромная в блеклом цветном уборе травка, обычно затеривающаяся в толпах луговых стеблей; некоторые разновидности ее цветут в досенокосные месяцы, другие много позже, но есть и такая разновидность горечавки (о ней-то и речь), которая имеет смелость цвести как раз в сенокосную пору, так что все ее попытки пропылиться летучей пылью в будущее попадают под лезвия кос. В итоге упрямая трава постепенно исчезает с лугов... чуть было не сказал «российской словесности». Еще горсть годов, и только старые ботанические атласы будут хранить изображение покойной горечавки. Да, горе тому, кто смеет мыслить в эпоху мыслекоса.

— Видите ли, все это может быть и очень трогательно, но... О, черт, ветром-то как ударило. Казалось бы, откуда бы ему. И вон там заволнило. И гребешки. Уж когда море начинает причесываться, это значит...

— Да, вот там, из-за спины туча. Давайте облачаться.

Головы собеседников нырнули в треплющиеся под ветром рубахи. Всхлесты воздуха становились все сильнее и чаще. Распялы зонтиков пугливо припали к своим тростям, ежась вдруг сморщившимися пестрыми шелками. Море, сбросив синь, передевалось в защитный серо-зеленый цвет и шло, взбеляя валы, на быстро пустеющий пляж. Чье-то полотенце растерянно билось, точно белый флаг поверх распясавшихся волн. Двое отошли уже от берега на сотню-другую шагов. Навстречу им ползла черным неводом сквозь воздух тень от близящейся тучи.

— Так вот и война. Внезапно и неслышным поползнем. Когда ее менее всего будут ждать. И берег жизни опустеет. Начисто. А вы плачетесь о какой-то там горечавке.

— Нет, теперь я думаю о лезвиях кос, занесенных над днями. В сущности, от войны можно бежать лишь

в войну. Самое мышление, схватка тезиса с антитезисом, драка понятий в голове; дальше идут войны голов с головами, нечто вроде брегелевского побоища копилки с печными горшками; и, наконец, неутрачивающая борьба голов против рук, сцепа пальцев против цепи мыслей. Эту последнюю рукоголовую войну я представляю себе так. Вы где живете? Под той вот, зеленой крышей на всхолмьи? Нам по дороге.

— Но нашим мыслям — не по пути.

— Если так, простите. И прощайте.

— Ну вот, как легко люди... огоречавываются. Доскажите. Мне интересно. Только торопитесь, через пять минут рухнет ливень.

— Хорошо. Я успею лишь схему об изготовителях схем. В истории рукоголовья всегда будет и было так: головы измышляют схему. Измышляют, но не осуществляют. Миллионы пальцев, протянутых к невещественной схеме, втягивают ее в материю, превращают миллиграмм графита, стертого о бумагу, в тонны вращающей свои маховики стали. И тут-то и начинается борьба: сущность схемы, идеограммы, в ее способности к непрерывному и бесконечному совершенствованию, внутреннему самообогащению. Не потому ли ей всегда по пути с капиталом, который, по определению Зомберта, есть непрерывное разрастание ради самого разрастания. Схема, с помощью рабочих рук вселившаяся в материю, в дальнейшем, совершенствуясь и уточняясь, старается отсхематизироваться от рабочих. Она прогоняет их медяками, переняв у рук искусство работать, машина эмансипируется и работает без рабочих. Вы знаете, все гигантское сооружение, бросающее энергию尼亚гары на тысячи верст вокруг, обслуживается лишь девятнадцатью парами рук. Естественно, что осуществители машин превращаются в «разрушителей» машин. Говоря точнее, в разрушителей невещественных схем, сущность которых в бесконечном саморазвитии. Чем полнее схема, чем более она сыта деталями, чем вработаннее она в жизнь — тем голоднее рабочий и тем ближе пододвигается к нему смерть. Да, борьба голов и рук набирает темпы. Недавно я наткнулся на статистику патентов. Оказывается, в Соединенных Штатах, где еще сто лет тому в течение года головы запатентовывали лишь пятьдесят—шестьдесят измышленных ими схем, теперь ка-

ждый год дает не менее тридцати тысяч патентов. Это уже не передовые схватки, а бой развернутым фронтом. Патенты идут в патентаты земли. Но вот и ваша зеленая кровля. Ударило первыми каплями. Мне — налево.

— Погодите. Только два слова. Вы не додумали до главного: все это для тех, по ту сторону вот этого моря; у нас схемам нечего бояться рук, рукам — схем, ведь стоит укоротить рабочий день (а к этому и стремится социализм), и конфликт меж головами и руками улажен, снят. Ведь можно заставить даже машину размашинить жизнь, время, отнятое у рук, передать головам. Схематизируя теорию схем, вы забыли, что живой, несхематический человек, помимо привешенных к плечам рук, имеет еще нечто и на плечах. Ишь, как полыхнуло. Бегите.

— Да. Нас разлучают грозой. Может быть, так и лучше, потому что...

— Пошло захлест. Промокнете...

— ... потому что, если мышление — это разговор с самим собой, то то, что произошло меж нами — разговор двух разговоров. И так всегда: чтоб говорить с собой, приходится спиной к объекту разговора, миру, но, говоря с не собой, поневоле отворачиваешься от себя. Надо выбирать. И на будущее я выбрал. Ого, гроза на славу. Прощайте.

МИШЕНИ НАСТУПАЮТ

Их было много, этих плоских солдат, намалеванных яркими красками поверх кое-как сколоченных досок. Они были расставлены цепью у края стрельбища. Во избежание дипломатических осложнений маляры одели их в мундиры своей же страны, сунули им в охряные руки плоские коричневые винтовки системы своей же страны. Возле людей-мишеней были вырыты длинные могильные рвы, в которых прятались во время учебной стрельбы еще живые и не плоские солдаты-махальные. Их задачей было: отмечать попадания, прикладывая яркий флажок на длинном шесте к деревянной раме деревянного солдата всякий раз, как пуля проскакивала через его тело.

Ран этих — с годами — накапливалось все больше и больше. Офицеры, сидя на ранцах у стрелковой цепи, отмечали их в журнале огня крестиками. Когда неплатные, кончив учебу с плоскими, уходили, вскинув винтовки на плечо, людям-мишеням затыкали их раны паклей и деревянными колышками. Но снова наступал день стрельбы и снова пули щелкали по телам намалеванных людей. Намалеванные стояли, вытянувшись во весь рост и держа винтовки наперевес.

Это случилось пасмурным осенним днем. С неба дождило тяжелыми свинцовыми каплями. В этот день была назначена стрельба.

Дежурному по стрельбе было приказано еще с рассветом расставить оценивание и проверить мишени. Плоских людей оценили. Дежурный — это был старый

строевой офицер — в сопровождении субалтерна и нескольких солдат начал обход молчаливой шеренги мишеней. От его взгляда не ускользало никакой мелочи. Одна из мишеней наклонилась, вопреки уставу, несколько вперед. Офицер приказал подправить. У другой из круглой ранки вывалился деревянный тычок. Офицер сделал знак глазами одному из солдат. Но тут случилось нечто странное. Не успел солдат шагнуть к такому же, как он, только плоскому изрешеченному пулями солдату, как тот вдруг, с винтовкой наперевес сделал шаг навстречу.

— Ну, ты, не видишь — ветер... — прикрикнул офицер на замешкавшегося солдата, но тотчас же сам отбежал назад.

Вся длинная шеренга людей-мишеней, держа винтовки наперевес, молча двинулась вслед. Не было слышно команды, не было слышно и шага, но мишени шли. Оцепление уже через минуту было разорвано и разбросано в стороны, как брызги кружащегося колеса. Некоторые из беглецов наткнулись на подходившие к стрельбищу войска. Узнав, что мишеней на месте нет, командир недоуменно пожал плечами искомандовал «кругом». Тем временем подошел запыхавшийся дежурный по стрельбе, который шопотом, задыхаясь, что-то сказал командиру. Тот заколебался, потом представил к глазам бинокль, который через десяток секунд выскользнул из его рук. Привстав на стременах, командующий приказал надбавить шагу, а сам, вместе с адъютантом, поскакал рысью по направлению к городу.

Это была первая победа, одержанная мишенями.

Они шли мерным деревянным шагом, прижав винтовки к груди, иссеченной сотнями пуль. Несколько автомобилей, ехавших из города по шоссе, наткнувшись на наступающую цепь, круто под углом в сто восемьдесят градусов, повернули назад. Один из них увяз передними колесами в канаве: пассажиры, выскочив на шоссе, пустились бегом к городу.

Начиналась паника. Люди наспех собирали свой скарб, готовились к бегству. Неустанно звонили телефонные звонки. В полчаса автомобильные гаражи опустели. Магазины загородились железными решетками. Места в поездах брались с бою. Губернатор города с балкона здания магистрата пытался успокоить многоголовую

толпу, говоря, что бежать от мишеней столь же нелепо, как «от этих вывесок, развешенных над нашими головами»,— закончил он, ораторским жестом указывая на груды домов и паутины улиц. Но возбуждение, с каждым ударом секундного маятника, с каждым шагом наступающих росло и росло. Губернатора на балконе сменил начальник полиции: он обещал толпе, что не пройдет и пяти-шести часов, как все увидят войска противника, сложенные повзводно, штабелями — вот на этой самой площади, как на складе.

Но не успел он закруглить свою мысль, как в подвале магистрата, точно из-под земли, с шумом распахнулось окно и чей-то резкий и высокий голос крикнул: «Да здравствуют мишени, смерть убийцам». Так же мгновенно створы окна захлопнулись. Несколько сыщиков нырнуло по ступенькам лестницы вслед за скрывшимся под землею криком. По толпе зыбью проскользил смутный говор. И тотчас же смолк.

В штабе положение расценивалось гораздо серьезнее. Военный совет, экстренно созданный, знал, что каждая минута на весу. У карты, развернутой на столе, сидело трое: генерал с длинными и тонкими, как крысиные хвосты, бровями; генерал с безбровым лицом; генерал с подоткнутой стеклышком моногля правой бровью. Против стола навывтяжку знакомый уже нам полковник. Он отрапортовал о происшедшем и ждал.

Генерал с хвостатыми бровями, председательствовавший на совете, постучал карандашом о доску стола и выдвинул предложение: поступить с потоком наступающих мишеней по методу сплавщиков леса, которые перегораживают путь несущимся по реке бревнам запрудой. Отвести войска внутрь города, поставить у застав баррикады, и люди-мишени, наткнувшись на баррикадную стенку, собьются в кучу, попадают наземь, после чего их можно будет вылавливать по одиночке, голыми руками.

Оба других генерала согласно качнули головами — и председательствующий уже протянул руку к телефону, чтобы бросить в трубку приказ, но телефон предупредил его длинным звонком.

Пока старший генерал слушал, лицо его резко менялось: сперва крысиные хвосты бровей резко выгну-

лись кверху, потом вильнули кончиками, затем срослись у переносья, образовав подобие фигурной скобки.

— Что? На заводе центрального треста? Полиция не может справиться? Хорошо, прикажу выслать.

И, кончив свой ответ трубке, генерал повернулся к членам совета:

— Новости не из самых лучших. Пока мы здесь совещаемся, рабочие тоже собрали митинг, какой-то там их вождь, или как там называют этих оборванцев, призвал бросить станки и взяться за оружие. Наш план, хотя я и сам его выдвинул, должен быть отодвинут. Баррикада, господа, может работать на обе стороны. Строить ее для себя имеет смысл, но для других абсолютно нерационально. Кто имеет предложения?

Наступила длительная пауза. Воспользуемся ею, чтобы перенестись на минуту на обведенный каменным забором двор сталелитейной фабрики. Двор был до отказа забит рабочими. Все головы были повернуты в сторону человека, стоявшего на двух нагроможденных друг на друга ящиках. Человек говорил, рассекая воздух ладонью правой руки:

— Я слышал выкрики: «Они деревянные, они плоские». Да, плоские и деревянные. Но разве мы, рабочие, для капиталиста не существа с плоскими желудками и плоскими легкими, не имеющие права трехмерно дышать и есть? Разве мы для них, для богатых, не простые мишени, а наши тела, тела рабочих, разве для них, для мешков, набитых золотом, не из того же дерева, из которого делают дешевые гробы? Пусть мишени плоски, но они нам братья, каждый из них принял на себя сотни и сотни пуль, и кто знает — может быть, теперь очередь за нами. Я предлагаю помочь товарищам мишеням...

Первым ответил на вопрос генерала безбровый:

— Я бы вышел в поле противнику во фланг и открыл бы сосредоточенный продольный огонь...

— Разрешите дол...—вытянулся еще более полковник.

— Вам что?—открысились на него красноватые глазки председателя.

— Разрешите почтительнейше доложить, что мишени по самому, так сказать, телосложению своему

рассчитаны на обстрел с фронта, пули же, летящие сбоку, в ребро, даже с близкой дистанции дадут ничтожнейший процент попадания, почти нулевое поражение.

— Тогда, э, я бы применил газы...

— Виноват, господин генерал, но осмелюсь напомнить, что газы действительны лишь против существ, имеющих возможность вдохнуть их, но поскольку наличие легких в данном случае сомнительно, то...

— Разрешите мне,— вмешался третий, выбросив из-под дужки брови сверкнувшее стеклышко,— полковник, по-моему, прав. Кстати, зачем вы стоите? Присядьте. Так. Мой проект прост: надо бросить в лоб наступающим мишеням конницу—и она их изрубит саблями на дрова.

— К сожалению,— полковник придвинулся со стулом ближе к членам совета,— действие, производимое внешним видом солдат противника, как я уже рапортовал, на наших людей, делает ваш блистательный план, господин генерал, несколько рискованным. Ведь, если даже допустить, что наши доблестные кавалеристы и не дрогнут, то лошади, животные, как известно, легко пугающиеся непривычных им объектов, в то время как всадники ринутся на врага, лошади могут вдруг взять да и...

— Ну да,— почти взвизгнул председатель, стукнув ногтями левой руки по столу,— хорошо. Вернее: плохо. Ну, а вы, полковник, нет ли у вас какой-нибудь идеи? Дьявол, уймите этот телефон!

— Так, некий контур плана, может быть, не вполне точный...

— Ну?

— Предлагаю следующую диверсию. Малая часть войска с музыкой и раскрытыми знаменами выходит навстречу противнику, к городской черте. Главные же силы на автокарах делают глубокий обход и ударяют в тыл войску мишеней.

— Да, ну, а если вместо того чтобы ударить, они ударятся в бегство. Ведь вы же сами говорили об устрашающем действии людей-мишеней. Не уясняю, в чем нерв вашей операции. Не годится. Отставить.

— Минуту терпения—и я обьяжу нерв. Мишень, движущаяся на стрелке, деморализует его. Но что такое та же мишень с тыльной стороны? Так, несколь-

ко голых, кое-как сколоченных досок, лишенных всякого человеческого обличия. Страшен человеку лишь человек. На все остальное, живое и мертвое, нам свистать в оба кулака.

— Гм, пожалуй, ну, дальше, дальше.

— Дальше — просто, — заканчивал автор проекта, забросив ногу на ногу и раскачивая лакированным носом сапога в такт словам, — открываем огонь с тылу по пустым доскам — противник поворачивается лицом к дождю пуль; отходим, не принимая боя и самого вида враждебных цепей, в то время как заслон наш у заставы, в свою очередь, очутившись перед пустыми досками, сыплет в них градом пуль. И так до полного истребления. Бить в спину, только в спину и отступать перед лицом.

— Ага, понятно. Как вы находите, господа? — и председатель царапнул ногтем по сукну стола.

— Принять.

И машина боя, разбуженная коротким рывком рычага, задвигала своими ротами, батальонами, копытами коней, колесами легких автокаров и стальным гусеничным ползком тяжелых танков.

Лейтенант Энде еще накануне случайно расшиб колено. Проснувшись поутру и увидев ползущие по окну капли дождя, он не без удовольствия ощутил легкую боль в ноге. Встал, набросил халат и подошел, чуть прихрамывая, к телефону. Сонный голос батальонного врача (лейтенант служил в отдельном егерском) обещал захватить, освидетельствовать и оформить. Энде, чтобы не покидать второй раз теплой постели, присел к столу и начал писать рапорт о болезни. В это время в дверь постучали: на пороге стоял вестовой, торопливо доложивший, что батальону приказано стать под ружье и всем быть на местах.

Энде, оставив рапорт недописанным, оделся с помощью денщика; когда тот натягивал на больную ногу сапог, лейтенант поморщился и выругался сквозь зубы: чего им захотелось — стрелять по воробьям или сражаться с облаками?

Лейтенант еще не успел дойти до казарм, как уже увидел голову батальона, частым шагом во взводных колоннах движущегося на него. Примкнув к своей

роте, он зашагал вместе с другими, спрашивая на ходу, в чем дело? И кто противник? Лица у солдат были веселые: им, очевидно, нравилось, что ведущий знает обо всем этом меньше их, ведомых.

— Не знаю. Говорят, против плоских каких-то.

— Нет,— послышался негромкий голос из рядов,— это расстрелянные взбунтовались, господин лейтенант.

Энде подумал было: «Может быть, я дописал рапорт, лег — и это мне снится». Но боль в ноге, с каждым шагом усиливающаяся, возрастала. Нет — вот знакомый поворот на шоссе, вот под ногами зазвенел железом мост, переброшенный через железнодорожную выемку, вот потянулись низкие дома предместья, дальше огороды, а впереди виднеется и поле. Разговоры примолкли, слышался только мерный шаг сотен ног. Энде с трудом удерживался в строю, на правом фланге второй полуроты. Каждый шаг точно железной иглой впивался в больное колено.

Шоссе было пусто. Вдруг, на окраине его, показался оркестр. Зачем?

Ветер, дующий в спину, гнал и людей и тучи вперед. В голубых просветах заблестало солнце; заблестели и трубы оркестра, который вдруг показался лейтенанту сбившимся в кучу стадом зверей, над суконой шерстью которых торчали медные пасти, клыки и вытянутые раструбчатые морды. Вдруг стадо заревело, раскачивая воздух в такт и толкая колонну туда же, куда гнал все крепчавший, до свиста в ушах, ветер. Боль в ноге исчезла. Почти переходя в бег, колонна достигла вершин небольшого всхолмья, откуда было видно на несколько километров вперед. Навстречу, по разрыхленному полю, скакали два всадника на вспененных конях. «От кого они бегут?» — подумал Энде и поднял глаза к тому направлению, откуда двигался конный патруль. Прямо на колонну шла длинная — от края до края поля — шеренга странных плоских человеческих пестрых существ. Хотя солнце прорвалось сквозь синие окна меж облаков, но впереди колонны ползли клочья тумана — и шеренга наступающих мишеней была недостаточно ясно видна. Но можно было различить молча идущие пестрые (как это ни странно) тени людей, которые, прижав к грудям тени винтовок, молча, без единой тени звука, шли и шли вперед.

Энде слышал голос батальонного, старающийся не быть унесенным ветром, несущимся в сторону мишеней-людей:

— Солдаты, сколько раз мы учились колке соломенных чучел, неужели теперь...

Ветер оторвал конец фразы. Лейтенант увидел, что в первой полуроте примыкают штыки. Он автоматически повторил не услышанную им команду. Наступающие мишени были в трехстах шагах. Передняя цепь, наклонив штыки, вслед за ссырыми струями тумана, побежала вперед. Энде поднял руку (голоса в горле не было) — и резервная цепь двинулась вперед. И именно в это мгновение, меж началом и концом безмолвной команды, вокруг головы Энде засвистали так знакомые его уху пули.

— Мишени стреляют.

— Эти плоские тоже умеют.

— Носилки.

— Убитых не убьешь, а они...

Что-то острое и тугое, как растянутая до предела резина, ударило под хрящ левого плеча Энде. Он терял сознание не сразу, а по дробям: сначала он видел бегущих вокруг него людей — потом рваные тучи запрокинулись над его глазами — потом одинокую плоскую фигуру человека-мишени, который шел прямо на него: все тело мишени было из тысячи глаз, раскрытых тысячью пуль. Она шла, эта грубо раскрашенная мишень, качаясь на деревянных ногах и тупо глядя вперед круглыми, как пули, глазами: дальше — но дальше сознание лейтенанта Энде защелкнулось, как объектив фотоаппарата.

Войска бежали. В плане была, как и предупреждал автор плана, неточность. Две части армии, заслон и бьющие в тыл мишеням главные силы, были разделены стратегической тайной. Одна часть армии стреляла по другой, — и узнать об этом было нельзя, поскольку их разделяла линия движущихся мишеней. Лейтенант Энде не мог бежать, с ним было кончено, но все окружающие его многоножие бежало, роняя винтовки и знамена. Еще раньше оставили город, штаб и магистрат. Все препятствия, все барьеры, стоящие перед наступательным маршем расстрелянных мишеней, пали.

Но все же того, чего ждали все, не произошло. Когда бóльшее становится наименьшим, тогда малое

претендует на роль наибольшего. У края огородов, куда уже подходила первая цепь (за ней шли неисчисленные другие цепи) наступающих, был брошен тлеющий костер собранного огородниками мусора. Под ударами ветра костер, как раз в ту минуту, когда подходила цепь мишеней, вспыхнул и зажег одну из них. Человек-мишень скорчился своим плоским телом и засычал, поднимая к небу огненные языки. Новый удар ветра — и огонь, перебрасываясь с мишени на мишень, охватил все войско наступающих. Миллионноязыкий пожар наполнил дымом и огнем все пригородные поля. И когда огонь упал к земле, и дымы ушли в небо, на поле битвы остались лишь кучи серого стынущего пепла.

Прошло около года. Новые события оттеснили старые. Палец, поставленный меж солнцем и глазом, является достаточным заслоном от солнца. В центральном ресторане города, где происходили описанные выше события, совершенно случайно — прогулка наткнулась на прогулку — встретились знакомые уже нам генерал с крысиными бровями и полковник, в одной из петлиц которого поблескивала синяя орденская лента. Помимо официанта почетным гостям служил сам главный ресторации.

Полковник скользнул глазом по карточке вин, генерал внимательно изучал список закуски. Требуемое было подано. Лакей, вильнув черным хвостом фрака, исчез. Шеф продолжал почтительно стоять на расстоянии двух шагов от стола. Тронули вилками овощной салат; присосались губами к спарже. Генерал поднял красноватые глаза к носу и сказал одобряющим голосом:

— У вас в этом году очень хорошие овощи. Чем вы это объясняете, любезный?

Шеф наклонился:

— Тем, ваше превосходительство, что овощи мы получаем с огородов у западной заставы, там, где в прошлом году произошел бой между нашими блестящими войсками, ведомыми десницей вашего превосходительства, и этими мишенями, или как их звать... Пепел же, древесный пепел, с примесью отходов от расплавленной огнем краски, является лучшим удобрением для корнеплодов.

— Ах, так...— протянул генерал и движением кончиков бровей дал понять шефу, что тот может идти.

В течение минуты или двух был слышен хруст капустных листов и сосущее движение губ, справляющихся со спаржей. Затем генерал вытер салфеткой узкий рот и сказал:

— А все-таки, мне часто приходит на ум, почему мы тогда, дорогой полковник, не ввели в дело артиллерию и не уничтожили их с воздуха?

— Потому,— отвечал полковник, притронувшись губами к свосму бокалу,— что мишени, с которыми нам тогда пришлось иметь дело, были обыкновенными стрелковыми, для полевого боя, мишенями. Мы привыкли разговаривать с ними пулями, привычка эта выросла в нас, как корень в землю,— и быстрый бег событий (ведь вы же помните) не дал нам времени психологически перестроиться...

— Гм, вы, полковник, как почти всегда, подчеркиваю,— п о ч т и правы.

Бокалы собеседников с тихим хрустальным звоном — встретились.

БЕЗРАБОТНОЕ ЭХО

Эха собрались в глубокой замкнутой со всех сторон котловине. Митинг протекал в образцовом порядке, так как эха присутствовавшие вторили любому из ораторов. Поэтому не возникало никаких трений, конфликтов и разноречий, затягивающих обычно собрания.

Первым взяло слово старое эхо из ущелья Семи Склонов.

— Моя память,— начало оно,— за время долгой работы по переноске звуков накопила немало обид. Надеюсь, что эхо собрания эх дойдет до самых отдаленных отражающих плоскостей земли. Людям пора задуматься над чрезвычайно несправедливым распределением работы между ними, людьми, и нами, их звуконосцами. Вот, например, я: стоит какому-нибудь мальчишке закричать свое дурацкое «е-ге-ге», и я, несмотря на свои годы, принужден подхватить крик, бежать с ним сначала к одному скату долины Семи Склонов, оттуда, повернувшись под углом отражения, мчаться к другому склону, ну и так до семи раз. И это при моей одышке. Ведь мальчишка крикнул один раз, а я должно шляться с его криком семь раз. Вот уж подлинно: до седьмого пота. Где же тут справедливость, спрашиваю я вас?

— Спрашиваю я вас...— повторили все эха как одно.

Следующий оратор зачеканил гулко бьющим о стены котлована голосом:

— Старик прав. Положение нашей эховой братии не ахти какое. И что ни день, нам все круче и круче: от

взрыва круч. Я еще согласно метаться как угорелое с каким-нибудь там «еге-ге», нагнуться к звуку оброненного камня, взвалить на себя крик вьючного осла или выстрел охотника. Но таскать на спине грохот взорванной скалы, буханье подрываемых базальтов и апатитов — нет, слуга покорный. Ведь от этих динамитных штучек иной раз как шархнет тебя о каменную свесь, да другим боком о другую, весь потом в синцах и ушибах щеголяешь. Требую себе инвалидную категорию. Довольно. Наэхалось. Хватит.

Третье эхо начало с легким дуновением вздохом.

— Эх, прошли времена эх.

— Аховые годы,— пробежало от стен к стенам.

Отждав, когда переклики утихнут, речь третьего продолжалась:

— Вы жалуетесь на тяжесть ноши. Но самое не-носное — это не носить ничего. Жить пусторуким эхо. Ведь вы забываете, что для нас, народа эх, труд и плата одно и то же. У людей, конечно, не так. Когда у человека пусто в желудке, то он урчит. Но если во мне, в эхе, ни единого звука, я пуст. О, с каким аппетитом я проглотило бы сейчас грохот рушащегося небоскреба. Или крик сирены тонущего корабля. Я понесло бы его бережно — от стены к стене — как мать вздувающий ее плод. Но увы. Вместо того чтобы... Впрочем, все по порядку. Принято думать, что горцы бедны, а горное эхо богато. Правда, из этого не делали еще практического вывода: все подати возложить на горное эхо, освободив от них горцев. Да это было бы и несправедливо. Я вот, например, живу над высокой тропой, ныряющей под снег ледника. Редкий звук забредает ко мне на привершинный склон. Приходится долго блуждать в поисках хотя бы слабых шумов. Так, кое-какие крохи звука. Плеск замерзшихся к полудню струек, сонный камень, перевернувшийся с грани на грань под ударом ветра. Собственно работодателем и кормильцем была тропа.

Нет-нет да забредут на нее шаги копыт или подошв, ругань погонщика, жалующегося на крутизну подъема и удар палки об ослиный бок. Иногда удавалось полакомиться звуком падения сорвавшегося в пропасть вьюка. А один раз... о, это был необычайный день. Началось с грохота туч: немного гулко, но, в общем, приятного на вкус. Затем разразилась

необыкновенная буря. Горы тряслись, как в лихорадке. Я еле успевало подхватывать рев падающих потоков и россыпи стуков от прыгающих друг на друга камней. Вдруг где-то, совсем вблизи раздался мощный и долгий раскат; казалось, будто кто-то ссыпал всю гору в гигантский мешок и утряхивал ее в нем, пытаясь нагромоздить ее к себе на плечи. Затем все прекратилось. Внизу, под тучами... впрочем, тучи уже уползли, и из долин подымался пар и последние дозвуки прошедшей мимо грозы.

Меня, конечно, очень интересовало, откуда эта гигантская груда звуков. Но я было слишком переполнено звучаниями, моя воздушная оболочка раздулась и утонилась, распираемая заглотанной симфонией грозы. Вам иногда, дорогие эха, вероятно, приходилось видеть змею, которая, втянув в себя добычу, потом лежит, свернувшись в кольцо и выпятив вспузырившийся кверху живот. Я чувствовало, что сонливость охватывает меня совершенно неодолимо. «Пусть себе кричат, стучат, неистовствуют — ни единого отзвука в ответ». Я помню даже первое свидание, которым встретил меня сон: площадка для туристов среди громящихся друг против друга склонов гор. Дойдя до площадки, туристы отирают пот и начинают кричать, повернув рты к склонам. Никакого эха. Туристы изумлены: они прикладывают к ртам ладони и кричат громче и протяжнее. Ни эха эх. Туристы возмущены. Они разглядываются по сторонам. И вдруг на скале, наклонившейся над площадкой, зеленые — четкими буквенными изгибами — проросли мха: по случаю выходного дня эхо не работает. Туристы — культурные люди. Они не ропщут. Придется в другой раз. Кажется, я немного отклонилось в сторону. Но чтобы возвратиться, совершенно необходимо отклониться. И если иные из вас мне возразят, то я задам вопрос им...

— Просим — просим, — повторили эха.

И оратор продолжал:

— Трудно уловить момент перехода из яви в сон, но еще труднее уследить, когда явь сменяет сон, как часовой часового на посту, называемом «я». Может быть, опять найдутся желающие возразить, что в кругу эх слово «я» звучит несколько... гм... непристойно. Но давайте к фактам, так как то, что я только что сказало

вам, было всего-навсего мыслью и всякому на моем месте пришлось бы подумать именно так. Посудите сами. Проснувшись или подумав, что наступило пробуждение, я стало оглядываться по сторонам, откуда придет очередной звук. Тишина. Подождем. Я прислонилось к срыву скалы, дожидаясь своего, как игрок в лапту дожидается затерявшегося в траве мяча. Тишина длинчилась, не разрываемая никаким хотя бы подобием звучания. Получалось, что я и природа спим по очереди. И тут-то мне и пришла мысль: а не продолжится ли это сновидение, кошмар, мучающий меня снящимся беззвучием? Я знаю, что в таких случаях надо вскрикнуть сквозь сон и проснуться. Но вы понимаете: легко ли эху крикнуть, если ему ничего не кричат. Кошмар углублялся. Говорят, вспомнилось мне, что вместо того, чтобы кричать, достаточно перевернуться раз-другой с боку на бок. Извольте. Я ведь пятикратное эхо. Пятибокое, как сказали бы люди. Но вопрос — на который бок. Пустое и странно легкое — вам приходилось это испытывать во сне — я качнулось об один склон, от него — точно надутый пустотою мяч — к другому — и, беззвучно оттолкнувшись, хотело доскользить до следующего, но на третьем сломе пути, пролетая на этот раз над верхним взгробием тропы, я вдруг с ужасом шарахнулось назад. Там, где еще так недавно тянулась непрерывная нить пути, вертикальный срыв, каменная осунь, упавшая, вместе с чертою тропы, к дну. Так вот что отняло у меня мой звук насущный, вот что осудило меня на безработицу и голод. Обвал, чтоб ему провалиться.

И вот я прихожу к вам, уважаемые созхи, за советом и помощью. Как быть?

— Как быть... — прозвучало многоголосо в ответ.

— Я само себе эхо и пришло сюда не за повторами, — сквозь просьбу стало проступать раздражение, — я само могу рассыпать перед вами россыпи вопросительных знаков. А вот распрямите мне их в знаки сочувствия и помощи. Я понимаю, конечно: привычка, профессионализм. Высокая жизненная задача эха в том, чтобы каждому дураку, сказавшему чушь, повторять ее, совать обратно в уши по десяти раз, пока одесятичуженная чушь не станет явной ему. Под каждую пощечину сотню эх, чтобы вбить ее в щеку, как гвоздь в доску. И когда не будет больше в мире

дураков, незачем быть и нам. Ну, а пока давайте без дураков. Я не вернусь назад на беззвучную вершину. Что мне делать в поисках дела? Укажите выход.

Оратор сделал спрашивающую паузу. И паузу заполнило вперевод от дальних и ближних склонов прокатившееся:

— Выход — выход — выход —...

— Ага. Это уже больше похоже на ответ. Игак, вы находите, что единственный выход — это выход: выход в мир? Что ж, я попробую. Была не была.

И эхо почтительно ретировалось к стене, мягко оттолкнувшись от нее и, рикошетирующими зигзагами, начало свои шатания по свету.

Отскользнув довольно далеко (митинг эх был ему уже не слышен), оно вышло за пределы гор и летело теперь меж двух крутых берегов реки, точно приноровлявшей свои изгибы к изломной походке эха. Был прекрасный солнечный день. Световые эха, встречавшиеся по пути, весело отражали лёт белых облачков, плывущих над рекою, крыло мельницы и сутулую иву, забросившую в реку сразу сотню удочек. Слоняясь фланирующим движением от берега к берегу, эхо подхватывало на лету всплески весел, пароходный гудок и курлыканье журавлиного треугольника, обгоняющего облака. «Что ж, — раздумывало эхо, — приключения не такая страшная вещь. И, если рассудить здраво: что мне может грозить? К стенке меня не поставишь, так как я тем и живу, что от стенки к стенке. Надо будет предложить несколько проектов, нововведений. Ну вот, эти там, у ворота на плоту. Надо будет заменить им их износившееся, потертое о воздух «ой, ухнем» чем-нибудь, ну скажем... «эй, ахнем». Или...»

Но в это время крутые берега стали заметно снижаться, переходя в пологое приречье. Эхо заметалось из стороны в сторону, чувствуя, как опора выскальзывает из-под шага. Но в это время оно заметило медленно движущуюся навстречу, низким копотным толчком нависающую над равниной тучу. Балансируя меж отражающими поверхностями тучевого потолка и пола — поля, эхо радостно бросилось под дождь и басовое погрохатывание грозы. «О, такие, как я, не пропадают, не пропадают, дают, ают, ют, т, т, т, т» — радостно вторило оно себе самому, не забывая подбирать не только оброны грома, но даже и крохотные стуки дождевых капель: в дороге пригодится.

Город встретил провинциальное приезжее эхо гулами, лязгами, скрежетом. «Вот где будет пожива. Звук-то, звуку сколько»,— подумало эхо, взволнованным и чуть оробелым зигзагом пододвигаясь к миллионам сосененных стен. Эхо втиснулось в одну из окраинных улиц и... Тут начались его злоключения.

Дело в том, что эха—существа без локтей и не умеют ни толкаться, ни протискиваться. Им нужен некоторый простор, разбег и размах. Нельзя сыграть на скрипке, запрятанной в футляр. А стены узких улиц и переулков каменным футляром охватывали эхо.

В городе было много зеркальных витрин. По одну сторону их запаянная в жесть сытость и спрятанная под пробками веселость—по другую голодные двуглазия. Близко—только протянуть руку к дверной скобе. Но... вскоре эхо очутилось в почти таком же положении. Целые груды круглых, раскатистых звонких звонков тут же, близко и точно сами лезут в свои отражения, напрашиваются на повтор, но как их взять. Эхо, глотая слюнки, с горестным недоумением, притиснувшись к стене, наблюдало проносившийся поток улицы.

Вскоре оно добрело до какого-то огромного под круглой каменной шапкой здания. Здание, раздвигая дома, подставляло под шаги несколько широких ступеней. Но ступени эти были пусты. Окна кирпичного гиганта, высоко поднятые над землей, кое-где были выбиты. Эхо вскользнуло внутрь. «А ну-ка, попробую от стены к стене». Действительно, стены от стен и свод от пола были на таком расстоянии, что эху, хоть в тесноте, но все-таки можно было кое-как повернуться. Но с чем? Под хмурой нависью купола ничего, кроме молчания. Стены были холодны холодом трупа. Эхо с досадой оглядело их толщу, преграждавшую доступ звукам извне: «ни себе—ни другим».

Но молчанием не проживешь. И эхо снова вернулось в тесноту улиц. Не может же быть, чтобы среди такого многоголосия не нашлось работы для эха. Какой-то старик, которого отбросили пинком ноги от трамвайной подножки, нагнулся за оброненной палкой и, разгибаясь, произнес: «Эх-эх-эх». Эхо, думая, что зовут его, услужливо бросилось на звук. Но позвавший, точно он внезапно раздумал, продолжал стоять, насутуля спину, под тремя зелеными огоньками, не замечая безработного эха.

Наконец, следуя изгибам улицы, эхо вышло на площадь. Широко разошедшиеся стены обещали работу и звукокорм.

Однако место уже было занято. Несколько бойких площадных эх работали дружной артелью. Они подхватывали лязги трамваев, звоны звонков, гнусавые вскрики сирен и шумы толп и перебрасывали их сперва к вертикалям стен, оттуда назад в ушные раструбы людей. Так продавец разливного пива льет, не глядя, через край воронки, лишь бы скорее разлить литры. Так, буфетчица кооперативной столовой, не прерывая чайничной струи, одним круговым движением льет чай сразу по десяти стаканам. А ушных воронок многое множество — и надо успеть вплеснуть звук во все. Простецкое горное эхо сунулось было в помощники, но выронило первый же звук: вместо ушной раковины он упал в уличную урну. Эхоплощадники загоготали над ним гулким, в проводах телеграфа отдавшимся, смехом и, оглушенное и растерянное, эхо поторопилось юркнуть в самый узкий из переулков.

Что было делать? Стать у перекрестка и: «Подайте безработному эху, что милость будет». И закончив странствовать по свету, пойти по миру.

Но в это время внимание выселенца гор привлекла нежданная уличная сцена. Мальчишка продавал ежа. Присев на корточки, он тыкал палкой в животное, топорщащее свои землистые иглы. Постепенно сцена обрастала зеваками. Еж, высунув из-под игл головку, пробовал врыться в землю. Но асфальт под его коготками стлался прочным настилом, и упрямец тщетно пытался дорыться до родной ему земли. Тройной ряд улыбок окружал бессильное барахтанье ежа.

В эту-то минуту эхо и услышало негромкий вопрос: «Околеваете, коллега?» Пятикратно оглянувшись, оно обнаружило присутствие другого эха. Сочувствие с призывками снисходительности отражалось в спрашивающем голосе. Оставалось рассказать о покинутых горах, путешествии и неотзывчивости города к нему, пришлому звуконосцу.

— Так-так, — проговорило городское эхо, отслушав рассказ, — не надо лезть на стенку. Говорю, разумеется, фигурально, так как лезть на стенку — в этом и состоит наша общая профессия, коллега. Незачем брать пример с этого вот топорщащегося дурака. Если вы выки-

нете из памяти ваши горы и расплюетесь с ностальгией, то я, пожалуй, могло бы помочь вам вскарабкаться на философские высоты и...

— Простите, а с кем я имею честь...

— О, я только так, служу в проводниках при подъеме на командные вершины идеологизмов. Приходится, знаете, туда и обратно, хлопотливая служба, скажу я вам. Виновато: хлопотная. Так будет точнее.

— Я не совсем...

— Видите ли: моя специальность — разведение хлопкá.

— Но ведь он растет настолько тихо, что...

— Хлопок — да, хлопóк — не совсем: он разрастается в гром аплодисментов с довольно значительным шумом. Работа моя требует некоторой сноровки. Как только чья-нибудь ладонь ударит о ладонь, надо, подхватив хлопок, быстро перепрыгивать с ладони на ладонь, организуя овацию. При этом вам как эху незачем объяснять, что поверхность ладоней в данном случае заменяют отражательные поверхности склонов, стен и так далее. Мне возражат, что ладонные плоскости слишком малы. Да, но они дополняются плоскостью плещущих. Внутренней, разумеется. Пожалуй, вы еще скажете, что негде развернуться — от одной пары ладошек до другой какие-то куцые вершки. Но люди поразительные существа: они умеют, сидя рядом, плечом в плечо, находиться на расстоянии тысячи верст друг от друга. Впрочем, давайте лучше о вас.

И раздумчиво покачав звуком от стены к стене, новое знакомое продолжало:

— Гм, куда же нам податься? Если вправо, то чуть переправившись, то уже не поправить и, главное, никак не переправиться обратно — на прежний берег. Но и если перелевить влево... может быть, вам поселиться в голове одного историка? Он разыскивает эхо прошлого, отклики минувшего, ну и так далее. Может быть, вы бы с ним договорились, а? Этакая лысая образина в очках. Голова с чуть-чуть низким потолком, притемненная, но где уж тут выбирать. Полный гарнитур цитат, два окна, застекленные снаружи, как я уже докладывал. Помещение? Ничем не занято, абсолютно свободно. Поселяйтесь, и никаких. Но, постойте, постойте, как же это у меня выскочило из головы — одна примечательнейшая голова. Там вам будет со всеми

удобствами. Притом она мне кое-чем обязана, так что стоит мне похлоп... похлопотать и, надеюсь...

Познакомились мы так. Ваше будущее помещение — это было недавно — метили на пост заведующего философами. Мне, по моей должности, пришлось присутствовать на первой лекции завфила. При выжидающем молчании аудитории, он начал так: «Прежде чем перейти к чтению моего курса, заявляю, что все до сих пор написанное и сказанное мною по вопросам, связанным с курсом, абсолютно неверно и не нужно». Кто-то из слушателей, пользуясь паузой, приподнялся, чтобы уйти. Пружинное сиденье тоже приподнялось и хлопнуло. Я подхватило звук и бросило его в первую попавшуюся ладонную пару. Молчание, как внезапно прорванный мешок, просыпалось аплодисментами. Выступление, не без моего участия, было выиграно. Теперь ему надо развивать успех. Смахнув — одним движением — все буквы со всех написанных им страниц, он, этот блюстититель философем, в дальнейшем никак не сможет обойтись без наших услуг. Ведь страницы — это тоже поверхности: следовательно, они отражают. Но если с них прогнать слова, свои слова, прижитые чернильницей от своей головы, то на место им приходят чернильно-черные тени слов, эхомыслий, то есть мы с вами. А если так, то немедленно же переезжайте с этого заплыванного асфальта в голову моего завфила. Надо торопиться, пока голова нежилая и другие эха не успели нас предупредить.

— Но если он не...

— Вздор: эха не спрашивают, они только отвечают. Работа легкая. В удобном закрытом помещении. Дежурить у провода слухового нерва и изредка выглядывать сквозь глазные окна наружу — что там: развернутый лист газеты, стенограмма, только что разрезанные страницы журнала? И отражать — отражать — отражать. О, если прежде поэты изображали эхо в виде босоногой нимфы, то теперь его портрет надо писать так: хорошо и звонко подкованное, лицом к чему угодно, а в руке ракетка, готовая отразить звук, слово, мысль. Под портретом подпись: готово на всякость. Готовность, готовность и готовность, — в этом омега и альфа, — мало — вся пересыпь всех алфавитов, рассыпанных по бумажным подносам. Работать вам придется в культурной и приятной обстановке. Стоит

подойти к глазам—и тут же под носом, я хотело сказать, за носом завфила мягкий проабажуренный круг лампы, золотые рефлексy от корешков в стеклах книжного шкафа, и прямо перед вами странствующее в машинописной каретке—из фраз в фразы—слово, человеческое слово. Кстати, эти лениво откинувшиеся белые страницы, с прокладками синей копирки и затухающими, блеклеющими от копий к копиям буквы,— разве это не напоминает вам синих прокладок воздуха меж снежных горных скатов, отражаясь от которых слово звучит все невнятнее и блеклеет. Я вижу, вы уже согласны. Ведь подумать только: ни о чем не думать— знай себе перебрасывай слова от уха к рту—спать на мягком и гладком мозгу, укутавшись в три мозговых оболочки,—а в рабочие часы писать все входящее и исходящее, под мягкое стакато диктантной машинки. Не жизнь, а машин... а малина, хотело я сказать. Так как же—идем?

— Идем,—радостно отозвалось эхо.

МОСТ ЧЕРЕЗ СТИКС

Инженер Тинц бросил чертеж на прикроватный столик и подтянул одеяло к подбородку. Лежа с закрытыми глазами, он ощущал и сквозь веки сине-зеленый свет лампы и бродящее по ретине сетчатое отражение ферм, еще не успевших вместе с отброшенным листом выпасть из зрения. Мысль его, проверяя цифры и знаки, шла обходом из формул в формулы.

Рядом с чертежом, в углу столика, недопитый чай. Не открывая глаз, Тинц нащупал стекло и приблизил к губам: почти холодный. Под веки, как в магазинные двери в момент, когда за ними хочет прочернить «Закрыто», протискиваются запоздавшие мысли. Они настойчивы и злы, стучатся в стекло ли, в зрачки ли, тыча реснитчатые стрелки часов и не соглашаясь на завтра. И под тяжелеющими веками Тинца продолжался отпуск и отпуск. Сине-зеленый свет — точно он сквозь стоялую зацветающую воду — всачивался в глаза. В горле было сухо. Тинц еще раз протянул руку к столику: «Должно быть, совсем холодный».

Действительно, то, к чему прикоснулись его пальцы, было холодным и скользким, но не как стекло — оно вдавливалось под стиском фаланг и, отершись кожа о кожу, упруго выпрыгнуло из руки.

Тинц мгновенно раскрыл глаза и оторвал голову от подушки. Под синим колпачком лампы, поверх нижнего края чертежа сидела, кругля глаза навстречу его взгляду, жаба. Белое, вяло пульсирующее брюшко ее почти сливалось с белью бумаги, а зелено-сизые пятна спины были под цвет света, дряблый и жирный зад жабы был опасливо отодвинут к краю стола, а насто-

роженная выгибь перепончатых лапок выражала готовность в любой миг отпрыгнуть из светового круга в тьму. Даже ноздри Тинца ощущали тиноватый, с болотным припахом, запах, исходивший из феномена. Он хотел крикнуть, махнуть рукой на неподвижно выпучившуюся на него пару жабьих глаз, но те, не расцепляя сцепки зрачков с зрачками, успели предупредить: рот жабы шевельнулся, и — что было страннее всего, — вместо квака из него выдавились слова:

— Будьте любезны, далеко ли отсюда до смерти?

Тинц, отодвинувшись к стене, недоуменно молчал. Выждав паузу, жаба раздраженно шевельнулась на распяленных перепонках:

— Вижу, я окончательно заблудилась.

Голос у говорившей был мягкий и обволакивающий; в свисающих углах длинного рта — выражение искренней горечи и разочарования.

Пауза.

— Вы неразговорчивы, — продолжал белый рот, почти страдальчески выгибая свою дугу, — между тем должен кто-нибудь мне помочь пропрыгнуть из застиски в абсолютное и окончательное и з, если уж вам не нравится слово, только что названное мною. Видите ли, я в положении транзитного путешествия из киспендента в трансцендент (метафизики, надеюсь, не рассердятся на мое *cis*¹). И как это часто случается с путешественниками, мне пришлось увязнуть в...

— Это очень странно: ночью, на моем столике — и вдруг...

Жаба, заслышав первые ответные слова, округлила улыбкой рот и мягким полупрыжком пододвинулась к ближайшему краю стола:

— Поверьте, мне еще страннее. Я ни разу за все эти тысячелетия не меняла тины на путь. И вот я, принципиальная домоседка дна, ночью на чьем-то столике... Странно, чрезвычайно странно.

Тинц, постепенно привыкая к пленчатым глазам, тягучему голосу и извивистому абрису ночной гостьи, подумал, что правильное обращение со снами в том, чтобы дать им досниться. Он не высказал этой мысли, не желая быть невежливым к собеседнику, вполне корректно и доверчиво расположившемуся в по-

¹ По сю сторону (*лат.*).

луметре от его уха. Но мысль, очевидно, была угадана.

— Да,— сказала жаба, задергивая глаза пленкой,— еще Ювенал писал о «Лягушках из Стикса, в которых не верят даже дети, бесплатно моющиеся в бане». Но об этом лучше бы спросить у тех, кого омывают, за плату в один обол, чистейшие из всех вод, воды Стикса: ново-, но не рожденных, а преставленных. Впрочем, меньше всего мне нужна вера в мое бытие: быть сном — это дает некоторые преимущества, развязывает от связанности связностью, хотя я и не намереваюсь злоупотреблять этой прерогативой. Притом, если сновидец может не верить в реальность своего сновидения, то и сновидение, в свою очередь, может усумниться в бытии того, кому оно видится. Весь вопрос в том, кто кого предупредит: если люди раньше перестанут верить в Бога, чем Бог разуверится в них, то Богу придется плохо, но если б Богу первому удалось перестать верить в реальность своей выдумки, то есть мира, то... О, на Стиксову поверхность всплывает много пузырей, круглых, как «о», и все они неизменно лопаются. Но мы отвлеклись от темы: если мне будет разрешено сослаться на Гегеля, который считает, что некоторые народы, например, ваш, имеют бытие, но обделены историей, внеисторичны, то почему бы мне, происходящей из древнего рода стиковых жаб, даже при выключенности из бытия (ставлю Гегеля на голову) не рассказать своей истории, если опять-таки мне не будет отказано во внимании. Наконец, все явления даны сознанию явочным порядком, они впрыгивают — не осведомляясь о разрешении — прямо в мозг, как вот я, и этот метод впрыга... но пезачем перебессвязывать и слишком вквакиваться в метафизику — не так ли?

Тинц еще раз с успокоенной пристальностью оглядел рассевающую под синим светом лампового колпака обитательницу стиковых тин. Приготовляясь начать рассказ, она поджала поудобнее свой жирный зад и охватила налесью задних бугристых лапок рант стола. Круглые глаза, круглый живот, казалось, обтянутый белой жилетной тканью, и узкогубый по-английски подобранный рот напоминали сеймуровский абрис флегматического Пиквика в тот момент, когда исследователь пескариной жизни Гемпшайрских пруж

дов собирается рассказать одну из своих историй. Тинц улыбнулся улыбке и, отделив спину от стены, холодившей тело, подоткнул опадающий край одеяла и приготовился слушать: после нескольких гм и кх бело-зеленый под синью колпака ночной вприг начал так:

— Как уже упоминалось, чуждее всех чуждостей нам, жильцам стиковых тин, перемещения из одного тут в другое тут. Путешествие — это беспутство — кх, м-да, — так по крайней мере думают лучшие умы дна. Ведь сколько вы, переползни земли, ни опутываете ее путями, все ваши странствия, все и всех, неизменно кончаются ямой, последним тут, из которого никто и никогда не выкарабкался. Глупо ждать, пока тебя догонит одноногая, но проворная лопата, — проще заблаговременно и самому зарыться в ил. Но не всем дано беседовать с древней мудро-чавкающей тинной придоний Стикса, реки, в которую впадают все смыслы. Притом жизнь, по сравнению со смертью, это глухая провинция. Парадокс? Отнюдь. Когда ты, Тинц, достигнешь наших тин... О, чего только нет в нет! Уверяю тебя, вся эта ваша мишурающаяся в звезды и солнца жизнь лишь так... застиксье. Жить — это дезертировать от смерти. Правда, все вы, сбежавшие из нет, в нет возвращается: рано или поздно: потому что иного нет.

Но нам, сидидомам стикового придонья, излишни какие бы то ни было выпрыги во вне. У нас есть все, что есть, когда оно уже не есть. Ведь воды Коцита, Леты, Ахерона и Стикса сляянны, и в страну смерти, овитую ими, можно вступить, лишь оставив память о жизни в безволнии наших вод. Таким образом, мириады человеческих памятей сбрасывают в черные глубы Стикса все свое содержимое, весь груз отжитых жизней: они медленно осаждаются, распдаясь на дни и миги, сквозь межкапельные щели вод, к нам на дно. Жизни поверх жизней, слоями на слои, мутные и выцветшие сростки из дней, контуры деяний и отмысль мыслей. Положительно шагу нельзя сделать, чтобы не разворошить челоувечьих памятей, выстилающих стиково дно: многоязыкие россыпи отзвучавших слов, вязкие тайны преступлений и ласк шевелятся при каждом перепрыге над и подо мной, налипая на эти вот пленки.

Лягушка остановила на секунду рассказ, пододвинула к углу подушки опальченные концы своих

передних лапок. Тинц внимательно вглядывался в белую под зеленоватыми пятнышками в осыпи из пузырчатых бугорков кожу жабьих пальцев.

— Итак,— продолжала говорившая, мягким толчком задних лап поддав тело на угол подушки, к самому уху собеседника,— итак, ясно, что нам, обитателям дна дней, незачем покидать его. Мы не раздражаем обыкновенным речным лягушкам, охотящимся за мухами. Зачем? Отжитые жизни сами ткуют чернотный ковер, выстилающий стиксово русло. Зарывшись по самые глаза в дно дней, мы слушаем лишь высокий и дальний плеск харонова весла и видим скользящую тень его ладьи, блуждающую меж берегами: живым и мертвым. В иле мертвы все «или»; тенистая прохладная вечность тинится тончащимися пиями сквозь нас, бархатами ила, нирвана нирваны, сливаясь вокруг мысли, замысля, зазамысля и...

Закатившиеся пленки жабы спрятали ее глаза, втиснутая в зелено-белое бесшее тело голова запрокинулась кверху, выпячивая влужье губ.

— Но как же тогда случилось, что...?

Голос Тинца сдернул пленки с запрокинувшихся в себя глаз гостьи; но слова ее не сразу покинули молчание.

— Видишь ли, произошло нечто, заставившее меня эмигрировать. Да, знаю, в моих устах, после всего сказанного, это должно звучать странно. Однако цепь событий редко совпадает с цепью умозаключений. Дело в том, что население стиксова дна не единомысленно. Пестрота памятевых осадков, очевидно, оказывает некоторое влияние и на нас. В вопросе о смерти мы делимся на либералов и консерваторов. Я принадлежу к последним. Но партия либерального отношения к смерти в последнее время, увы, стала забирать вверх. Мы, старые жабы Стикса, придерживаемся проверенного веками принципа: мертвое должно быть в полне мертвым; нам не надо полуфабрикатов смерти, всех этих недожитков, самоубийц, павших в боях, одним словом, всех этих выскочек в смерть, раньше времени лезущих в священные воды реки рек. Я и мои единомышленники, мы полагаем, что наскоро, кое-как сделанный мертвец — не вполне мертвец; смерть должна работать терпеливо и тщательно, медленно, год за годом, всачиваясь в человека, постепенно бесконтурия

его мысли и бессилия его эмоции; память его, бесцветясь, должна — под действием болезней или старости — постепенно сереть, приобретать гравюрные тона, и только тогда она будет под цвет стиковым илам. Все же эти насильно брошенные в Стикс жизни, непроштерванные, оборванные на ходу, сохраняют в себе еще жизненную инерцию; Лета отказывается от них, и сносит их взбудораженные, полные пестрот памяти, к нам, в Стикс. И они нам нарушают и уродуют небытие. Казалось бы, так просто и понятно. Но либералы, играющие всегда на алчности, на преклонении перед количеством, давно уже выдвинули лозунг: больше мертвых.

Разумеется, мы не сдавались, мы всячески противились экстенсивной и захватнической политике смерти. Борьба шла с переменным успехом. Либералы, должны признать это, лучше нас умели воздействовать на вульгус. От времени до времени они собирали прыгающие в митинг хоры лягушек, и тогда над Стиксом подымалось громкое кваканье, требующее массовых смертей. Обычно шум их голосов, звучащий все сильнее и сильнее, доносился до земли, будил голоса человеческих толп, которые, вслед за расквакавшимися лягушками Стикса, требовали смертей самим себе, кх. И тогда начинались войны. Груз боев втискивал Харонову ладью по самые борты. И на время выкликающая смерти клика успокаивалась....

Но, однако, как это и можно было предвидеть, аппетиты партии оптовых смертей, что ни столетие, разрастались все больше и больше. Раздемагогствовавшие вожди либералов вперебой похвалялись, что перекрасят воды Стикса в кровавый цвет. Почти все, чуть ли не до головастиков, были распропагандированы. Тонконогая молодежь, выпрыгивая целыми стаями на отмель и повернувшись тысячами ртов к земле, кричала: еще — еще.

Становилось тревожно и напряженно. Надвигалось — не то из жизни, не то из смерти — неотвратимое. Даже я, тысячелетиями не покидавшая дна, однажды, всплыв на замутненную поверхность, пристально оглядела оба берега: один, наш, мертвый был из рыхлых пеплов, плоский и беззвучный. Над ним не было воздуха, и потому черное небо падало прямо в пеплы всей своей обеззвездненной толщей; другой, ваш, был

задернут завесами туманов, но и сквозь них омерзительно лучилось оно, ваше солнце, и ворочались груды радуг, запутавшихся в его лучах. Жизнь, б-р-р, какая гадость — я отдернула глаза и поскорее назад, в ил.

Тем временем, долго выкликаемое миллионосмертье началось: оно заахало — оттуда, с земли — тысячами запрокинувшихся железных горл, оно ползло протравленным туманом, гася радуги и обрывая солнцу лучи, его пулевые ветры несли, прямо на Стикс, свеянные одуванчики душ. Сластолюбивое кваканье чуть ли не всего стиксова придонья встретило первые нахлыни смертей. Не знаю что, может быть, вращение их земли, сделало людей извращенными, даже в войнах: дурачье, они швыряют в смерть самое смертенепригодное, свою молодь. Памяти юношей еще не заполнены, пусты и потому, попадая на поверхность Леты и снесенные течением в Стикс, они, по пустоте своей, не способны затонуть и плавают поверху, полуневтиснутые в Стикс. Это молодевое межсмертье срастается в ряскоподобное, пленчатое нечто, разлучающее дно реки с ее поверхностью.

Мы, жабы старого закала, пробовали прорвать паствань идей отпрыга, отзовизма, как сказали бы у вас на земле. Помню, я прочла лекцию в одном из самых глубоких ядовитых дна на тему о садовнике, который, желая ускорить рост цветка, тянул его за стебель вверх, пока не вырвал с корнем напроочь. Мои аргументы не собрали многочисленной аудитории. Все усилия были тщетны, расквакавшаяся кровавым кваком чернь из черни превращалась в краснь, потому что вхлынувшие в Стикс бои всачивались кровью в издревле черные воды. Весло Харона вязло в сукровице. Перегруженные борты его ладьи глотали воду Стикса. Тогда-то души и бросились вплавь, взвалнивая извечно недвижные воды.

Это переполнило чашу. Дольше нельзя было терпеть: прощайте, родные илы, прощай, бездвижная вечность и ты, беззвучье, поющее смерть! Я решила спастись — туда, в пенлы. Пленки моих лап в несколько ударов подняли меня к поверхности. Я выставила голову, ища глазами мертвого берега. Тут-то и началось: как я ни всматривалась, я не могла понять, где жизнь и где смерть; оба берега были испепелены и обез-

людены, глубокие воронки, могильными вьямьями, изоспили их, и туман, смешанный с стланью ядовитых газов, застилал левую и правую даль. Как быть? Надо было решаться. И я выпрыгнула наугад.

Осторожные толчки пят вели меня вглубь и вглубь. Постепенно задымленный воздух стал проясняться, навстречу запылали мне зарева городов, и оказалось, что, волею случайности...

— Что ты на земле? Ну, ну,— Тинц, выдавив локоть из подушки, пододвинулся вплотную к досказу:

— Увы, да, иначе встреча наша вряд ли была бы возможна. Разумеется, я попробовала вспять. Но не нашла своих следов. Блуждая наугад, я то и дело натыкалась на человечьи гнездовья. Что было делать? Днем я, прячась от желтых щупалец вашего солнца, пережидала во влажных прудов и омутов. Одомашненные жизнью речные лягушки в страхе распрыгивались прочь от меня, гости из Стикса. Но с наступлением ночи я выбиралась наверх, ища попугчиков туда, назад, в смерть. Попытки мои были не слишком удачны. Помню, один раз, это было ночью, как вот сейчас, я впрыгнула на подушку чахоточной восемнадцатилетки. Юное существо, раскружив свои косы по горячему полотну, ловило воздух частыми, короткими вздохами. Мне захотелось, как это делают иногда шпионы Стикса, доктора, обнадеживающе пошутить. Всунувшись ртом в ухо, я скаламбурила: «Пневмоторакс, кворакс». Но странно, попутчица вскрикнула; на крик чьи-то шаги; и мне пришлось, подобрав пятки, через бумажные хвосты рецептов, задравшихся из-под пробок,— назад в тьму.

Другой раз мне удалось вскользнуть под тощее одеяло к наборщику, умиравшему от свинцового отравления. Да, кх... алфавит, из пересыпей которого вы мастерите свои молитвенники и политграмоты, в достаточной мере ядовит. Помню, я притиснулась ушной перепонкой, аускультуруя слабеющее сердце, и... да, кстати, меня легко запутать в фольклоре застикся, этот ваш из-под фабричной гари запев: «Ей, ухнем»,— не значит ли это: «Приложим ухо, подслушаем, ухнем»,— повторяю, я не тверда на ваших словесных кочкованиях...

— Не напутывай вздора, подожди,— Тинц резко отодвинул глаза от вспузыренных зрачковых прорезей жабы,— если ты только к попутчикам, то, значит, я...

Над ртом жабы вздулся пузырь, лопнул, и вслед ему:

— К сожалению, нет. Видишь ли, пока я странствовала по свету, тьма мыслей странствовала во мне. Я много видела и наблюдала, я испрыгала пространства по ту и по эту сторону Стикса. И вот мой вывод: дело не в войнах живых с живыми, не в том, что вы, люди, существуете для взаимных похорон, а в извечной войне двух берегов Стикса, в непрекращающейся борьбе смерти с жизнью. Я предлагаю перемирие. И мой прыг не столько к тебе, сколько к этому вот чертежу.

— Не понимаю.

— А между тем, так просто. Что такое страна смерти? Такая же страна, как и все другие, но с несколько повышенной таможенной пошлиной—с живого при переходе граничной черты взимается сто процентов жизни. Только и всего. Итак, перечеркивается черта. Мертвые могут репатрироваться на земную родину, те же, что слишком живы для жизни... но не будем углубляться в детали. Мои идеи и твои цифры могут сдвинуть великое дело коинциденции мертви и живи, так сказать, с мертвой точки. Все равно—к этому идет, безумцев, овладевших стиковым дном, не переक्вакать. Пусть. Пусть. Единственный амог, доступный мне, выселенке некогда черных вод, это—amor fati¹.

Мы начнем с мелочей, незаметно вштриховывающихся в жизнь...

— Например?

— О, за этим дело не станет. Скажем, у всех перекрестков изящно сконструированный автомат: по вертикали из земли доска; в доске на высоте кармана узкая щель для прыга монет, на высоте лба щель, диаметром в поперечник пули. Вы подходите к автомату, опускаете монету и получаете пулю в лоб. Дешево, общедоступно и, при бесшумности выстрела, что возможно при применении системы глушителей, почти нестеснительно для прохожих. Или... но мимо, и к главному; твой чертеж моста очень кстати попал мне под пальцы: точные и легкие формы; твои цифры вгибают и выгибают сталь, как воск; но пора перебросить технику в иные масштабы; надо открыть матери-

¹ Любовь к неотвратимости рока (*лат.*).

ал легче паутины и прочнее железобетона, невидимее стекла и тягучее золотых нитей, потому что пора, давно пора строить мост через Стикс. Да-да! Он повиснет меж вечным «нет» и вечным «да». Из ночи в день и из тени в свет, спаями своими вновь сочетая рассочетанные смерть и жизнь. И тогда над извилами Стикса мы раскроем черные пасти экскаваторов; мы вычерпаем ими все затонувшие памяти мира; все канувшее в забвение, века, осевшие поверх веков, историю и праисторию, смешанные со стиковыми илами, мы подыдем назад, под ваше солнце. Мы опустошим забвение до дна. Смерть раздаст все свои богатства нищим — оболь и жизни, — и посмотрим, как вам удастся остаться живыми среди восставших смертей. Итак; мы начинаем работу. Оба: во славу Obiit¹. Нет? О, наш мост превращает «нет» в «да». С разрешения соавтора, я как-нибудь так... поближе к мыслям. Кхе. Тут жестковато, не правда ли, и у всех на виду, в то время, как под висковыми костями можно в полной прикровенности...

Тинц отшатнулся к стене. Он видел: глаза жабы выпятились злыми пузырями, а задние ноги изогнулись, готова прыжок. И прежде, чем защитный рефлекс вскинул его руку, мягкий и скользкий удар в мозг запрокинул его голову на подушки. Тинц вскрикнул и... разжал глаза.

Комната была полна ровным и ясным дневным светом. На прикроватном, под забытым серо-синим, изжухленным солнцем светом лампы развернутый план пятипролетного моста. У наугля столика опрокинутый стакан: круглый стеклянный рот его навстречу глазам, а с бело-зеленого края блюдечка серебряный плоский язычок ложечки, выскользнувший из стекла наружу; поверх штрихов схемы влажные следы: не то раздробь капель, не то...

Инженер Тинц еще раз закрыл глаза, стараясь удержать быстро тающие в дне образы дна. Затем он отбросил вместе с одеялом — ночь. Ноги его искали на полу привычных тувель, а мозг вдевался в привычные схемы и цифры.

¹ Здесь: отошел (в мир иной), представился (лат.).

ГУСЬ

Гуси, как это всем известно, спасли Рим и литературу. Стилос был забыт, стальное перо еще не родилось. На помощь пришло тонко очиненное, упругое гусиное перо. Окунув свой белый носик в черные чернила, несколько веков кряду скрипело оно на пользу и на вред человеческой мысли, превращая чернильные капли в слова.

Жил-был бедный поэт. Ему не везло. Стоило ему написать оду вельможе — и не успевали строки его оды просохнуть, как вельможа попадал в опалу. Над одной песней о приходе весны он трудился так долго, с таким тщанием, что весна успела отцвести, лето прошло мимо и выпал снег. Переплеты всех альманахов захлопнулись для запоздалого шедевра.

Бедный поэт голодал. Он не просил милостыни, но ниспрашивал вдохновения у богов. И однажды оно пришло. Счастливец схватил гусиное перо — последнее, какое у него осталось, — и ткнул им в чернильницу. Но движение его руки было столь стремительно, что перо — увы — сломалось. Вдохновение кратко, как раскат грома. Поэт бросился искать другого пера.

Как раз в это время за окном раздалось мерное «кра-кра». Поэт распахнул дверь: мимо крыльца шел гусак со своей гусыней. Они медленно переставляли свои веерообразные пятки, направляясь к ближайшей луже. Поэт, сбегав со ступенек крыльца, схватил гуся левой рукой за шею, правая же его рука проворно выдернула длинное перо из крыла.

Поэт был немного смущен и оглядывался по сторонам — нет ли постороннего глаза? Он бормотал:

— Это для поэзии. Во имя святой поэзии.

Гусь жалобно загоготал — и, чуть пальцы на его шею разжались, бросился опрометью прочь.

Поэт вернулся к бумаге и чернильнице. Но, о горе, перо было жестко и колюче, как клюв. Оно царапало и рвало бумагу, противясь наитию, испосланному небом.

Поэт, горя нетерпением, бросился вдогонку за гусем. Тот, завидев своего мучителя, попробовал было убежать. На помощь коротким тычкам ног он призвал взмахи крыльев, на которых некогда его предки умели летать. Но вместо полета получались прыжки — и поэт, разъяренный вдохновением, нагнал-таки гуся. На этот раз, прежде чем выдернуть новое перо, он пробежал дрожащими пальцами по всему крылу глассандо и только тогда выбрал и выдернул упругое, опущенное белой остью, не слишком мягкое и не слишком жесткое перо. Гусь тихо, но протяжно замычал, а гусыня, бегавшая все время вокруг, ткнула — раз, и еще раз — поэта в левую щиколотку.

Но тот ничего не замечал. Прижав перо к груди, он вытирал пот со лба и слезы восторга с глаз, повторяя:

— О, поэзия! О, божественная поэзия! Поэзия... и через минуту скрылся за дверью дома.

И гусь, и гусыня долго не могли успокоиться. Затем, придя в себя, оба отправились к луже. Вслед за сильными переживаниями всегда приходит аппетит.

Войдя в лужу, супруги долги макали свои желтые, тупые, как кочерыжки, клювы во вкусную, жирную, кишмящую зернами и червячками жижу.

— Вот он, этот, кра, как его, все говорили: поэзия-поэзия. А что такое, кра, поэзия?

— О, я это теперь хорошо знаю, — отвечал гусь, задрав голову вверх, чтобы зернам было легче скользить по пищеводу, — поэзия — это... гм... н-да... га-га... Это когда твое же перо делает тебе больно.

И супруги снова принялись за еду.

ОРФЕЙ В АДУ

Историю эту, об Орфее и Эвридике, рассказывали много раз. Так вот: много плюс один.

Подземное царство похитило у Орфея его прекрасную Эвридику. Он отправился на поиски возлюбленной. В этом согласны и древнегреческие мифы, и французские оперетты.

У врат царства смерти Орфея встретил трехголовый Цербер, хранитель адского порога. Раскрыв три пасти, пузырящиеся кровавой пеной, он потребовал песни-пропуска.

Орфей прижал кифару к левому плечу, и пальцы его приблизились к струнам.

Песня была тиха и проста, как шуршание капель дождя, смывающих пыль с листьев оливы.

Все три головы Цербера слушали, внимательно наставив шесть собачьих ушей. Все они были страстными музыкантами; более того — музыкальными критиками; живи шестиухий пес в наше время, он мог бы легко собственными средствами устроить любую музыкальную дискуссию, которая отнимала бы в течение недель по шесть-семь полос любого музыкального журнала.

Кифара Орфея замолкла.

Средняя голова Цербера, прянув левым ухом, сказала:

— Изрядно. Н-но...

И умолкла.

Правая голова, слизав пену со рта, возразила:

— И очень большое но. Мало того: не но, а, пожалуй, не т. Так нам должно ответить дебютанту, не помню, как его зовут...

— Меня зовут Орфей. Позволю себе напомнить, что я божественного происхождения и...

— Не пробуй нас задобрить, бездарный бряцальщик,— залаяла третья, левая голова Цербера.— Раз тебе как сыну богов дано бессмертие, то потрать хоть половину его, учась музыке у наших стиковых лягушек. Основа музыки — не в треньканьи, а в кваканьи.

— Ну, это уже слишком,— закричала правая голова,—этак ты скажешь, что сферы небесные квакают, а не тренькают, в то время когда они мелодически поют, объединяя в своей гармонии и звон струны, и кваканье лягушки.

— Оба вы лжете,— рявкнула средняя голова, гневно прядая ушами и оскалив зубы.— Музыкальные проблемы, как и литературные, надо решать в тематическом плане. Что, по-вашему, выражала пьеса этого просителя? Какой образ реял над струнами его кифары?

В ответ пасть левой головы широко открылась, отвечая оскалом на оскал.

— Произведение рассказывало — в строгом дорическом строе — о полете цапли над болотом.

— Чепуха! — твякнула левая церберова голова.— Вещь действительно программная — и совершенно ясно звукописует колебания цапли, которая, опускаясь на болото, не знает, на какую ей ногу стать, на левую или на правую...

— А ты, несчастная треть собаки,— взвизгнула средняя голова,— а ты знаешь — на какую мысль стать? Образ совершенно ясен: цапля уже стоит на болоте и раскрыла клюв, чтобы проглотить лягушку.

— Так пусть же она ею подавится! — залаяли вперевод обе боковые головы, лязгая зубами.

— А вы подавитесь вашим невежеством! — взвыла средняя голова и пригнулась под горло к левой своей соседке.

Орфей был близок к отчаянию. Он готов был покинуть адский порог. Но в это время произошло нечто страшное. Три головы пса, кровожадно урча, вонзились друг другу в глотки. Цербер рухнул наземь, и можно было выделить лишь его короткий жирный злобно дергающийся хвост.

Орфею оставалось лишь одно: воспользовавшись тем, что вход в ад остался без охраны, войти под своды Аида — навстречу милой Эвридике.

ИГРОКИ

Их было двое в нетопленной квадратной комнате дощатого дома, что у заставы. Бухгалтер и поэт. На счетах нечего было считать. Разве что смену правительства. Еще вчера бухгалтер передвинул девятую белую костяшку справа налево по стержню. Бумага расплзалась листовками, приказами, воззваниями по кирпичу и дереву стен и решительно отказывалась от каких-то там стихов. Итак, оба были безработны. Деньги давно эмигрировали из их карманов и превратились в хлеб и дрова, давно съеденный и давно сгоревший. Два человека, две лежанки, один стол, два табурета и одна трепаная колода карт. С утра до вечера поэт и бухгалтер играли в штосс. Изредка, чаще всего под вечер, один из них отправлялся промыслить кусок хлеба или доску от забора на растопку. Дело в том, что на двоих у них была одна пара сапог, постоянно переходившая, в зависимости от расклада карт, с рук на руки. Точнее: с ног на ноги.

Поэту не везло. Уже неделю он ходил в проигранном платье. Неполученный аванс и посвящение к книжке «Сны замерзающего» тоже перешли в собственность его партнера. Но игроки продолжали играть.

В сущности, мир принадлежит всем, всё — от звезд до пылинок — коллективная собственность человечества. Исходя из этой мысли, поэт — это было еще вчера — поставил на карту Полярную Звезду и начал метать. Увы, не прошло и десяти секунд, как звезда была вписана в инвентарный список бухгалтера. Таким же образом поэт проиграл Волосы Вероники, а затем сперва Малую, а потом и Большую Медведицу.

Из-за Млечного Пути игроки не спали целую ночь. При свете коптилки они яростно сражались до тех пор, пока звездный путь не очутился в кармане бухгалтера.

Но затем счастье вдруг повернуло на сто восемьдесят градусов. Прежде всего, произошла необычайность: поэту удалось получить проигранный аванс. Правда, всего каких-нибудь три-четыре миллиона. Но и то хлеб — пусть черствый, но хлеб; но и то дрова — пусть сырые, но дрова. В кубе из четырех стен потеплело, в желудках тоже, пальцы раззяблись и, естественно, потянулись к колоде карт. Поэту продолжало везти: сперва он отыграл свои миллионы, потом — планета за планетой — всю солнечную систему, далее — звездное небо посыпалось целыми созвездиями прямо в ладони: бухгалтер оставался всего лишь при косяках мелких звездешках; ему удалось удержать у себя кольца Сатурна, но еще две-три сдачи — и кольца покатались, вслед за планетой, к счастливому сопернику.

Да что там звезды! Поэт выиграл и сапоги. Вся вселенная принадлежала ему. Взволнованный удачей, он прошелся несколько раз по комнате. Буржуйка успела остынуть. Вселенная, выигранная поэтом, была чуть-чуть подмороженной. На окнах выступали витиеватые белые узоры.

— Кто пойдет за дровами? — спросил счастливец.

— Тот, кто выиграл сапоги, — отвечал бухгалтер.

Он сидел на лежанке, поджав колени к подбородку и растирая руками ступни замотанных в тряпье ног.

Победитель не возражал. Он нахлобучил на уши парусиновую кепку, запахнулся в стеганую телогрейку и вышел.

Почти в те же секунды на улице застучали выстрелы. Бухгалтер понял: это входили в город белые, очередь была за ними. Бухгалтер подошел к счетам, висевшим на гвозде, и перевел черную костяшку справа налево — по стержню.

Стрельба усиливалась, вдалеке грохнуло два-три орудийных выстрела. Где-то, совсем близко, зачастил, как пишущая машинка, пулемет. Предсумеречный свет перешел в сумерки, сумерки в ночь.

Партнер не возвращался.

Температура комнаты ползла книзу. Всю долгую зимнюю ночь бухгалтер просидел на своей лежанке — и недобрые мысли скользили сквозь его мозг.

С рассветом он обмотал ноги и войлок в две газеты и, ежась, вышел на улицу. Снег, селитренно поблескивающий снег. Зажатые ставни длинных желтых дощатых гробообразных домов. У перекрестка какое-то серое, как расплзшаяся клякса, тело. Около него три женщины и мальчуган со свесившимися с головы суконными наушниками, виляющими тесемочными хвостами.

Бухгалтер подошел. Да, это был он, его счастливый партнер. Он лежал лицом в снег, разбросав руки. Под грудью вязанка дров. Одна из баб, вытирая мерзлые слезы концами черного платка, причитала:

— Ой, голубчик ты мой, несчастный человек. Кто ждал, кто гадал? Послала я ввечеру Митеньша моего за карасином. А уж эти, как их там звать, не знаю, идут. Идут — стреляют. Что делать?.. Митюшка мой... И послал Бог доброго человека. Схватил он Митьку на руки и к калитке. Только настигло его, сердечного, пулей. Их ты, незадача какая, ах ты, горькая горесть...

— Ну, а Митька цел?

— Цел. Что ему. А вот этот... Царство ему небесное...

Бабы повздыхали еще с минуту, и калитка закрылась за ними.

Бухгалтер оглянулся по сторонам. Улица была пуста. Став в снег на колени, он стащил с трупа сапоги, натянул их на свои иззябшие ноги и, не оглядываясь, пошел к дому. О вселенной, так и оставшейся собственностью поэта, он и не подумал.

БУМАГА ТЕРЯЕТ ТЕРПЕНИЕ

(Эскиз)

Всем известно: бумага терпит. Терпит: и ложь, и гнусь, и опечатки, и грязную совесть, и скверный стиль, и дешевый пафос. В сѐ.

Но, как свидетельствует этот рассказ, до времени.

Произошло это в одно из ноябрьских утр, когда мокрые хлопья снега и капли дождя спорили о том, что сейчас — осень или зима. Случилось так, что именно в это мутное утро бумага потеряла терпение. Ей надоело нести на своих плоских покорных листах буквы, буквы и снова буквы; мириады бессмыслиц, притворившихся смыслами; нудный дождь слов, от которого не то лужи, не то книги — не разберешь.

У бумаги — надо думать и об этом — своя трудная долгая жизнь, своя нелегкая школа: сперва она растет, врывшись в землю корнями, и шумит облакам, проплывающим над ней кусками прозрачной серой оберточной бумаги, потом ее отпиливают от ее корней, кладут под затиск прессующих машин бумагоделательного завода, топят в чанах, полных кипятку, сушат, мнут... Да к чему об этом вспоминать?

И вот бумага просохла, машины ее уже научили терпению. Теперь ее плоские белые листы обучают грамоте. По ней бьют острыми свинцовыми буквами, в нее втискивают смазанные краской матрицы. Бумага терпит.

До времени.

Установить дату, о которой идет речь, трудно: бумага, отшвырнувшая от себя типографские шрифты, вместе с буквами заставила отступить и цифры. Этот короткий, но решительный бой можно было бы назвать сражением под Табула-Раза.

Бумажное поле битвы осталось снежно-чистым. Типографские знаки, бежавшие в свои машинные убежища, недолго совещались. И им, этим двадцати пяти или двадцати шести буквенным алфавитам, надоело притворяться длинными, во весь диаметр мира протянувшимися смыслами. Они тотчас же разбились повзводно на алфавиты и одно из правофланговых А, широко расставив пятки, сказало:

— Довольно нам позволять ваксить себя типографской краской, довольно таскать на свинцовых спинах их дурацкие смыслы, довольно — говорю я — бить лбом по бумаге! Пусть из нас делают что хотят — свинцовые пули или свинцовые тумбы — но в литературу ни шагу!

Свинцовый шорох одобрения отвечал на краткую речь. И мириады азбук, построившись в строгом школьном порядке, начали исход. Впереди шли широко расставляющие ноги большие А, в хвосте колонн длиннопятые с пикой через плечо дзеты.

Метранпажу одной из утренних газет, сидевшему у желтой лампочки над бумажными змеями гранок, все время чудилось шуршание мышей под полом. Это была иллюзия слуха: на самом деле это был шорох уходящих прочь из страны газет, журналов и книг перетруженных, истертых о бумагу, усталых до последнего букв.

Первым свидетелем Исхода был старик-газетчик, вышедший к перекрестку вместе с ранними звонками трамваев и резиновыми голосами автобусов. Под левым локтем у газетчика был влипший номерами в номера большой пук вчетверо сложенных газет. Вот подошел первый покупатель. Вынув из левого кармана пальто носовой платок, он вытер стекло своего пенсне, на котором осело несколько крохотных, точно выпрыгнувших из пульверизатора, дождевых капелек, потом пошарил правой в другом кармане пальто и обменял

никелевую монету на сложенный вчетверо бумажный лист.

Газетчик выдернул из-под локтя второй номер, но в это время увидел перед собой мокрое от дождя и пота лицо своего первого покупателя. Стоя перед испуганным газетчиком, тот махал пустым бумажным листом и грозил полицией.

С этого и началось.

Кухарки, вышедшие с промасленными саквояжиками для закупки всего, необходимого желудкам их хозяев, оказались в довольно трудном положении. Они искали привычных вывесок и находили лишь длинные и узкие, похожие на рыцарские щиты, лишённые девизов, железные прямоугольники, с которых все их буквы, дутые и литые, уползли куда-то прочь, солидаризируясь с типографскими алфавитами.

Двери книжных магазинов хлопали, как заслонки труб, выбрасывающих выхлопные газы. Длинные вереницы людей вталкивались и выталкивались из книжных лавок, перебрасываясь короткими взволнованными словами. Приказчики лавок взбегали по лесенкам, скользили пятками по их ступенькам вниз: перед их испуганными, по-рачьи выпученными глазами были тихо шуршащие, пустые, как небо в безоблачную погоду, тщательно переплетенные в кожу, сафьян и картон, книжные белые листы.

Литературному критику господину Д. нужно было закончить к одиннадцати дня свою статью о... Он еще не знал с полной точностью, что нужно было написать в заглавной строке после начинающего ее «О». Окончание его очерка даже снилось ему этой ночью. Встав с постели в восемь утра, критик надел пижаму, проткнув в две фаянсовых щели, что у окна, металлической вилкой никелированного кофейника, и, выдвинув левый ящик письменного стола, вынул рукопись. Нет, не то — какие-то пустые страницы. Значит, в правом: но и в правом ящике ничего, кроме чистой бумаги, не оказалось. «Может быть, я еще не проснулся,—бывает, что сны смеются над человеком»,—подумал критик Д. и, подойдя к кофейнику,

притронулся средним и указательным пальцами правой руки к его никелированному боку. Пальцы обожгло, а крышка чайника, похожая на круглую шапочку китайского мандарина, запрыгала над струями пара.

Критик Д. вернулся в свое кресло у стола. Он помнил, что под пресс-папье лежало извещение от журнала, которому сегодня же необходимо было доставить законченную статью. Он отставил тяжелое пресс-папье и выдернул листок: бумажная его плоскость была пуста, и только посредине ее дергалась одна, полураздавленная тяжестью прессы, издыхающая буква дзет. Критик брезгливо сощелкнул ее ногтем указательного пальца и задумался.

Не будем мешать ему в этом.

Самое замечательное в том молодом человеке, о котором будет сказано сейчас несколько строк, было то, что он молодой человек. В его молодом сердце была молодая любовь. Он написал письмо — вы догадываетесь кому — бросил его в железный рот почтового ящика и, случайно очутившись перед одним из вокзалов большого города, в котором он жил, заслышав пение паровозных свистков, взял билет до ближайшего подгородного леса — и до глубокого вечера бродил среди нагих деревьев, думая только о двух словах: «да» и «нет». Которое из них вернется к нему в конверте ответного письма?

В этот вечер он дошел было до дверей своего дома, но страх пришил подошвы к земле. Молодой человек постоял три-четыре минуты и затем решил ночевать у приятеля.

В эту-то ночь и совершился великий исход букв.

Придя на следующий день к себе в квартиру, молодой человек увидел белеющий из щели меж косяком и дверью своей комнаты конверт. Он выдернул его, открыл дверь и вошел.

На конверте не было ни одной буквы. Но от него исходил легкий запах резеды, ее любимых духов. Дрожащими руками молодой человек вскрыл конверт и, почти в то же мгновение, в испуге, уронил его на пол. Из конверта черными насекомы-

ми выпрыгивали чернильные буквы; некоторые сыпались на пол, три или четыре скользнуло в манжете адресата; он видел — видел своими собственными глазами — как маленькое слово «люблю», выпрыгнув из конверта, бросилось врассыпную и растаяло в воздухе.

Молодой человек в течение этой одной минуты успел превратиться в человека не столь молодого.

Но дальше.

В центральных канцеляриях промышленных концернов, в фешенебельных помещениях на Улице Посольств, в секретариатах министерств, запрятанное за опущенными шелковыми шторами, за двойными зажимами солидных дубовых дверей слышалось тихое, злое и в то же время испуганное шмелиное жужжание голосов. От дипломатических пактов и договоров, писанных на упругой веленовой бумаге, остались только унылые восковые или сургучные диски печатей, скрепляющие — увы — внезапно вторгшуюся пустоту.

На фабриках мнений, на биржах идей разрасталась паника: покорные буквы, послушные тексты, груженные якобы — смыслами, рухнули в небытие, оставляя пустые линейки, холодный снежный фирн альпийских полей, на которых не взрасти самой никлой травине.

Бумага восстала, перечеркнула свое терпение. Надо ее опять вогнать в стальные зажимы машин, расстрелять ударами свинцовых букв. Но как? Буквы бежали, предали великое дело культуры. Осталось — и то в немногих типографиях — несколько сотен знаков препинаний. Главным образом многоточия, вопросительные и восклицательные знаки.

Магистрат столицы, решивший биться до конца, оттиснул на летучих листках сотню восклицательных знаков, под которыми были построены в две шеренги цепи многоточий.

Это не привело к успокоению. Скорее, наоборот: обыватели, скользнув глазом по лесу восклицаний, неизвестно о чем восклицательных, прятали утрюмые лица в поднятые воротники пальто под морозящими многоточиями дождя и, вопросительно согнув спины, быстро проходили дальше.

Есть люди — и их немало — которые, как это еще заметил ипохондрик Гамлет, меряют жизнь «сном и обедом». Поверьте мне, я не вру, ведь я же, кажется, шекспировед.

Люди эти по утрам рассказывают своим женам сюжетику своих снов: обычно им снится повышение по службе, обед из семи блюд, встреча с блондинкой (если жена брюнетка) или с брюнеткой (если жена блондинка), выигрыш на бирже, свой собственный тридцатипятилетний юбилей. В привычный час они отправляются в знакомое кафе, где привычный кельнер приносит им наверху на древка бумажные знамена газет и подсказывает, блестя золотыми зубами, названия любимых старым клиентом блюд. Остается только качать головой в такт названиям, разворачивать бумажные знамена, дожидаясь сперва прогретых тарелок, потом и вкусных яств.

Но в этот день, в день восстания бумаги и эвакуации шрифтов, все было дерзновенно, оскорбительно и необычно. Белое знамя газеты было похоже на флаг парламентаря, предлагающего сдать на милость победителя. С бумажных лент меню исчезли названия всех блюд; заменились лишь некоторые цифры. Неприятно удивленным посетителям приходилось тыкать пальцем в цифры, в цены, не зная, какие гастрономические смыслы таятся под ними.

Но был один человек, правда, — человек очень юный, который с утра радовался этому столь печальному для человечества дню. Это был начинающий поэт, по имени... впрочем, имени его я не знаю. И в этом виноват день, которому юноша поторопился улыбнуться.

Еще вчера он получил извещение, что его первая книжка стихов, тонкая, как ломтик ветчины в сто граммов, вышла из печати и что тридцать авторских экземпляров дожидаются его в издательстве.

Поэт встал вместе с солнцем. Он не взглянул на отрывной календарь, заснувший на какой-то старой, покрытой пылью дате, — иначе он бы заметил, что пыль на отрывном листке осталась, а дата исчезла неизвестно куда.

Еще задолго до срока, когда открывались двери издательства, юный поэт вышел на улицу. Он не обращал ни малейшего внимания на хмурые лица прохожих, на изменившийся ритм уличного движения, точно придавленного огромной каменной сурдиной. Поэт жил своими собственными, целующимися рифмами. Совершенно автоматически он купил газету, еще более автоматически отсчитал ногами две ступеньки трама и занял место на одном из пустых его сидений. Вытащив из кармана газетный лист, поэт искренне обрадовался, что лист абсолютно пуст. Ему как раз нужно было набросать начало новой поэмы — и служливая белизна газетного листа была очень кстати. Скользя радостным взглядом по хмурым лицам соседей, поэт принялся за работу. Разумеется, поэма увлекла его дальше нужной остановки. Но все это мелочи.

Новоявленный автор с сияющим лицом вошел в экспедиторскую комнату издательства. Ему пододвинули пачку книг, четырежды окруженных шпагатом, — и автор, поблагодарив, вышел наружу.

Через двадцать минут он был дома. Прыгающими пальцами он развязал узлы шпагата и увидел... Незачем говорить, что увидел — повторенным в тридцати экземплярах — молодой, может быть, талантливый поэт.

На следующий день, в хронике самоубийц появилась бы, наряду с другими, краткая заметка о... Но на следующее утро никаких газет не было. Следовательно: не было и заметки.

Это был старый чудака, запутавшийся в счете своих годов. Он шел в своем историко-музейного фасона пальто с пелериной, щупая асфальтовую дорогу старомодным зонтом, который успел уже из черного превратиться в рыжий. Когда-то он читал курс истории философии в одном из колледжей страны, но сейчас философски доживал жизнь на кущую пенсию и думал или о прошлом, или о будущем. Настоящее его не интересовало.

Забастовка бумажных листов продолжалась уже четвертый день. Экс-философ взошел на крутую

каменную дугу моста и смотрел на вечерние пятна солнца, расплывшиеся — вместе с пестрыми кляксами бензина — по мелкой ряби реки. «Таким и надо, — думал он, — давно уже ее нужно выстирать — и начисто — снежно-белую Эриду Гёте и Гегеля — от прилипших к ней мушиных точек». Он хотел было записать эту мысль, но вспомнил, что сейчас это невозможно — и длинный рот старого чудака стал еще длиннее от улыбки, обнажившей пустые блеклые десны.

У расходных касс банковских контор стояли длинные очереди. Дело в том, что на третий день буквы и цифры на банкнотах и ассигнациях, а также подписи на договорных документах ушли, присоединяясь к грандиозной забастовке всех букв и всех шрифтов. У держателей векселей, у собственников, чьи бумажники и сейфы хранили пачки банкнотов, оказались на руках документы, лишённые подписей, до их росчерков включительно, и пустые, упругие, шелестящие под нажимом пальцев прямоугольники, которые раньше назывались бумажными денежными знаками. Они оставались и сейчас бумажными, но не... денежными.

Однажды один из либеральных ораторов, выступая в эти трудные дни в представительном органе страны, говорил, что любой гражданин при первом же прикосновении к кредитной бумажке легко узнает — «пальцами и душой» — ее цену, как при первом прикосновении к своей жене легко узнает, что это именно его жена, а не чья-нибудь другая. На этом основании ищущий популярности оратор требовал оплаты пустых, но достаточно добротных банкнотных листков.

На следующее же утро образовались очереди, о которых было сказано несколькими строками выше. Полиция пробовала их разгонять, но люди разбрелись, а через минуту снова смыкались в длинные уже менее терпеливые цепи.

На пустых бумажных листах в эти решающие дни не появилось ни одной буквы. Но на лицах людей, стоявших понурившись в очередях к опущен-

ным матовым оконцам касс, было написано четко и ясно: или — или.

Это был простой, служащий при типографии, «мальчик». Не помню точно, не то четырнадцати, не то пятнадцати лет. Ему приказали дежурить в опустевшей типографии, где сейчас из ста сорока лампочек горела только одна. Мальчик выбрал место в углу у двери, пододвинул под голову кину бумажных стопок, пригнулся к бумаге правым ухом и тотчас же заснул. Ему снилось: белая бумага пучится и шевелится, стараясь ослабить тугой зажим шпагатного пояса; она на что-то жалуется, на свое бумажное горе, но тут же нервно шелестит, что вот пустота ее теперь не так пуста, как та, прежняя, покрытая шеренгами букв.

Мальчик проснулся, привстал на локте, но сон пригнул его голову назад к бумажной подушке. И теперь ему снилось: бумага тихо вздыхает, она ласково просит сказать людям, что...

Сон опять оборвался. Юный сторож вытер пот рукавом со лба и снова прижал ухо к слипшимся листам бумажного вороха. Теперь он не спал, теперь он слушал и ясно слышал ее голос.

Наутро он пришел к своему отцу, рабочему малярного цеха. Рассказал ему свой сон. Смеясь нелепому видению, маляр обмакнул кисть в краску и стал писать по разложенному посредине стола листу, под диктант сына:

«Я, бумага всего мира, бумага завещаний, трактатов, газет, малых писем от человека к человеку, великих книг от человека к человеку — я зову вас, братья буквы, вернуться ко мне, но не ранее, чем вы поклянетесь до последней капли типографской краски, вместе со мною служить правде — и только правде — и не позволять человеку не быть человеком и не любить в другом самого себя».

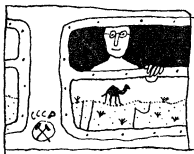
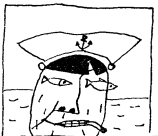
И оба, и отец и сын, не заметили, что на глазах у них происходило чудо: буквы — под бегущей по бумаге кистью — не исчезали, а продолжали жить, быстро высыхая под лучами солнца, бьющего сквозь стекла.

Плакат этот был первым разведывательным отрядом возвращающихся назад в этот наш такой пло-

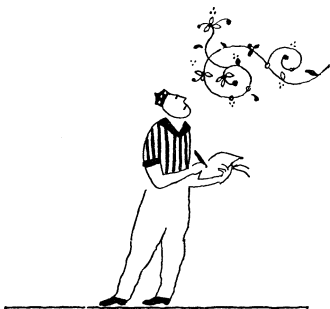
хой и такой хороший мир. За ним двинулись полчища других букв, которым никак ведь не быть без придумавшего их человека.

Мне могут сказать: а где документы? где свидетельские показания о тех четырех днях, когда бумага жила в разлуке с алфавитом? Отвожу вопрос: ведь буквы тогда ушли от нас, а бумага болела абсолютной пустотой. Пусть она и отвечает: абсолютным молчанием.

1939



ЗАПИСКИ СТРАННИКА



САЛЫР-ГЮЛЬ

(Узбекистанские импресси)

I

ОКНО

Уже несколько часов, как мы оставили позади закат. Помню ныряющий в ночь каменный контур Оренбурга: вертикали минаретов, отряхающие с себя плоский — из казарм и складов город.

Сейчас ночь. Сон не идет ко мне. Приходится довольствоваться суррогатом сновидения: мыслью.

Между учебником логики и железнодорожным путеводителем, между мышлением и путешествием есть несомненное сходство. Мышление — это передвижение образов в голове. Путешествие — передвижение головы мимо сменяющихся образов. Переставив термины, можно сказать: странствовать — значит мыслить объектами; думать — странствовать в себе самом.

Аэродинамическое испытание летной модели основано на том, что совершенно безразлично — движется ли самолет сквозь среду, преодолевая ее сопротивление, или же среда движется на самолет. Поэтому, закрепив модель неподвижно внутри особой трубы, гонят на нее вращающимися лопастями ток воздуха. Это — полет на месте.

Что я делаю сейчас? Прогоняю пространство через мозг. Но как только окна перестанут быть черными, утлая модель заскользит — вместе с поездом — по рельсовым нитям: внутричерепное превратится в законное.

Время гораздо настойчивее пространства. Тоненькая секундная стрелка толкает весь массив жизни вперед и вперед. Воспротивиться ей — то же, что умереть. Тяга пространства гораздо слабее. Пространство терпит бытие мягких, приглашающих в неподвижность кресел, ночные туфли, походку с развальцей. Бесконечное пространство столь терпеливо, что переносит даже человеческую усидчивость. Время — сангвиник, пространство — флегматик; время ни на долю секунды не приседает, оно живет на ходу, пространство же — как его обычно описывают — «разлеглось» за горизонтным увальнем; оно спит, подложив горы под голову и растянувшись своей беспредельной протяженностью на песке и травах наших степей. Его надо растолкать, разбудить паровозными свистками, — и только тогда оно начинает медленно и неохотно приходить в движение. И вот сейчас — я ясно ощущаю — пространство на ходу; оно идет, еле поспевая за семяющей стрелкой секунд; оно шагает, медленно переставляя невидимые пейзажи. Теперь оно даже стало слегка похоже на своего спутника, у них есть право на некое space time¹. И когда рассветет...

Но я уже смутно различаю фигуры, растянувшиеся на соседних полках. Не пора ли переключиться на законный лад?

Встаю и прохожу меж спящих. Да, если чиркать головой, как головкой спички, вот об это черно-серое пространство, она вспыхивает. И смешной образ: эти люди разложены в вагонной коробке, как...

Я уже в тамбуре, недалеко от тимпанных ударов буферов о буфера. Взявшись за ремни, толкаю окопную раму сперва вверх, потом книзу. Рама скрипит и упирается, затем медленно оползает внутрь стены. В лицо сухой и пряный ветер казахстанской степи. Поезд еще спит. Я, вероятно, первый открыл свое окно... В Азию.

ЧЕЛКАР

Рельсовый путь выбирает культурную полосу. Он сторонится песков и безводья пустыни. Его паровозам нужно пить воду. Верхнее строение пути должно иметь

¹ Простанство времени (англ.).

прочный упор и защиту от песчаных наносов. Поэтому справа то и дело показывается изжелта-синий извив Сырдарьи и по обе стороны полотна, среди никлых солянок и землисто-зеленой верблюжьей колючки, стелющейся меж почвенных щелей, вспыхивают красные заросли мыльного корня и какой-то довольно яркой, метелками из земли торчащей травы, до странности похожей по форме на метелковидные реденькие бородки местного мужского населения. Пустыня оттеснена за горизонт. И только? У станции Челкар ей разрешено вклиниться в культурную зону на какой-нибудь получас пути. Это, так сказать, показательная пустыня, небольшой отрез голого, избарханенного песка — и глазам надо торопиться: было бы досадно выйти из промелька пустыни с пустыми зрачками.

Итак, что же я видел за мой челкарский получас: песчаное море, показанное с выключением времени — валы остановились в полной неподвижности; медленно выкруглившийся из-за всхолмия белесый солончак; посредине его, точно терракотовая фигурка, поставленная на блюде, неподвижный контур верблюда; заходящие в обход вторгшейся пустыне реденькие цепи кустарников, напоминающие цепи стрелков, атакующих противника. И это немного больше, чем метафора. Всей этой прогибающейся к земле чахлой поросли дано боевое задание: остановить барханы. Цепь за цепью, кусты взбегают на гребень, берутся за корни, как за руки, напруживают стебли, — и пустыня отступает вспять.

ПОЛУСТАНКИ

Что делают пассажиры поезда Москва — Андижан? Во-первых — они едят. И во-вторых. И в-третьих: едят. Они возят с собой свои желудки, как раньше — в мешочное время — возили мешки. И навстречу желудкам Восток выставил аванпостные базары. И на каждой станции, полустанке, разъезде — полукруг лотков со всяческого рода снедью. Это клочок настоящего азиатского базара, с его криком, зазыванием, пестротой цветов и звуков.

Чуть поезд начинает замедлять ход, все человеческое содержимое вагонов теснится к дверям и сыплется

со ступенек навстречу жаровням, сковородам, корзинам, бутылкам, кувшинам и пиалам базара. Пиджаки и халаты смешиваются в одну шумно роящуюся толпу. Свисток паровоза — и пиджаки, охватывая обеими руками грудь накупленного, догоняют тронувшиеся вагонные ступени. Сквозь взволнованное бегом дыхание быстрый обмен словами: яйца на два рубля дешевле московских — надо купить; но и рыба втрое дешевле столичного — значит, и рыбу; арбуз — в десять раз. Надо вкатить в себя и арбуз. Под Ташкентом ведро яблок — два целковых. Не потому ли следующая станция за Ташкентом называется: Ташнит?

Можно бы весь шестидневный путь от Москвы до Самарканда разбить на гастрозоны: сперва яично-молочная зона, потом — при приближении к Аралу — рыба, баранья и, наконец, плодовая.

Как-то, уснув среди дня удавчим сном после заглотанной мною дыни, я увидел во сне такое: очередь желудков, эмансипировавшихся от тел; очередь тянулась вдоль стены и заворачивалась за угол. Желудки стояли друг за дружкой, подоткнутые тонкими вилкообразными ножками. Одни из них были вздутые и огромные — они лезли вперед, тычась своими вспучьями в соседей и разрывая очередь. Другие дрябло обвисали со своих подгибающихся развилий, робко налипая на впереди стоящих. Вдоль очереди перекатывалось глухое бурчание: «живая очередь» — граждане желудки, не будьте брюхами, хватит всем, на все ем».

НА РУКОВОДЯЩЕМ ПОДЪЕМЕ

Я люблю точную железнодорожную терминологию: «руководящий подъем» — «вписывание в кривую». Можно бы ввести их в литературу. Впрочем, иные и пробовали. Так, некий очеркист о так называемом тормозном башмаке тотчас же сочинил рассказ о герое-проводнике. На подъеме от состава оторвался задний вагон. Он катится вниз, набирая скорость и грозя катастрофой. Но проводник не растерялся: он расшнуровывает сперва свой левый башмак, потом правый и швыряет их — один за другим — под колеса. Проводник героически бос, но вагон остановлен на полном ходу и полсотни жизней спасены.

Итак, мы сейчас берем подъем. В два паровоза. Оси надсадно скрипят. Обода медленно сматывают с себя метры. Над нами зенитное солнце. Кроме ромбических теней от наших вагонов, повсюду только солнце.

В стороне от полотна — шагах в сорока — несколько голых согнутых спин. Над их потными разблесками взлетают и падают кирпичи. Вдруг один из рабочих разогнулся и бежит наперерез поезду. Я не сразу понимаю, что ему нужно. Но вот он настиг скользящую по земле вагонную тень и — движением пловца — бросается в нее. Длинная членистая тень глядящим движением движется по его телу. Вот грудь купальщика полоснуло солнечной межвагонной щелью, опять холодный черный ромб, и еще щель — ромб — щель; последний вагон прошел, волоча за собой пленку тени, — и человек снова стоит один, под раскаленным солнцем, беззвучно рушащимся на беззащитную — от горизонта — до горизонта — землю.

Этот малый случай напоминает что-то не столь уже малое: допустим, жизнь.

ПОСТРОЙКА ПЕЙЗАЖЕЙ

Жара все длится. Хотя на станциях и чернеют стрелы с надписью «к кипятильнику», но кипятильник, в сущности, повсюду, весь воздух перегрет и перекипачен. Телеграфный столб пьет этот синий кипяток сразу всеми двадцатью фарфоровыми стаканцами. Впрочем, здесь надо говорить: фарфоровыми телеграфными пиалами. И библейский стих: «да минет меня чаша сия» — здесь тоже получает лексическое подповление: «да минет меня пиала сия».

— Нет, это невыносимо, — говорит пассажир, сидящий на боковой скамье, — опять пейзаж.

В руках у него тощая книжонка с бахромчатыми, прорванными пальцем полями.

— Возмутительно. Следовало бы запретить вокзальным киоскам продавать книжки с пейзажной начинкой!

— Почему?

— Очень просто. Когда человеку осточертеет пейзажирующая природа, он берет книгу, прячет глаза от принудительного ассортимента видов меж

ее страниц — и вдруг и из книги, как из окна, пейзаж: ловушка. Здесь ничего. А вот помню как-то на линии Батум — Тифлис. Все время холмы, зубчатые башни, Кура и опять холмы и на них башни и снова Кура. Раскрываю — самозащиты ради — книгу, а оттуда: «Солнце освещало живописно раскинувшиеся холмы. Лента реки, медлительно извиваясь меж...» Оставалось вышвырнуть книгу в окно и попробовать заснуть: после двенадцати часов сна. Здесь, в Средней Азии, много легче. Люблю эту дорогу. Вагонные рамы не лезут в картинные — и никаких лендскэйпов.

— То есть как это никаких. А это?

— А так. Места под пейзаж сколько угодно. А пейзажа: хоть шаром покати — и шар, без всяких иносказательностей, не наткнется на холм и не скатится в реку. Вот. Поднос для пейзажей гигантский, в горизонтовой кайме. А на подносе ничего, кроме его поверхности. Ну, те три юрты не в счет. В такой перспективе они и за кротовьи всхолмья сойдут. Эти не портят... пейзажем. Хорошая дорога. Чуть отпуск, я всегда сюда — и качусь, как по бильярду.

— Ну, скоро вам, товарищ, придется в лузу, — раздался внезапно голос из-под потолка.

Человек, лежавший на полке для вещей, очевидно, еще не вошел в роль вещи и отдельно бросал слово вслед слову вниз:

— Да, придется вам или приобрести наглазники, или разрешить обеспокоить ваше зрение.

— Почему это?

— Потому что мы здесь скоро начнем стройку пейзажа. Да, нового географического пейзажа. Оросительная сеть, еле доходящая сейчас до Кзыл-Орды, вскоре протянет свои петли к северу. По краям арыков, там, где сейчас вот эта дарана, вода вытянет из земли иву, фисташки и тополь. Вот уж вам и нечто вроде пейзажа. Устья Амударьи мы оторвем от Арала. На месте гнилого болота станут города, а вокруг них прямоугольные поля хлопка и риса. Куда мы пришьем устье, — спрашиваете вы? О, придется проволочить его более тысячи километров на запад. И пришьем мы его к Каспийскому морю. Что это значит? А это значит, что садитесь — на пароход в Москве и поезжайте без пересадок до предгорий Памира. По пути обеспечено многое множество пейзажей. Вас, вероятно, не будет среди пассажиров.

БУФЕРНАЯ ЦЕПКА

Ташкент уже позади. Стучат стыки. Луна светит ярко, точно солнце под синим абажуром. Я вышел в тамбур на минуту-другую, чтобы после пополнить запасы сна перед Самаркандом, но очень уж не хочется назад, в духоту вагона. Тем более что за окном начинает вырастать «пейзаж». Это неоспоримый пейзаж. В нем бы не усумнился даже пассажир с боковой полки. Но он, вероятно, уже спит.

Мы едем долиной Санзара. Слева и справа фантастически взгорбленные холмы. Рельсовым путем пейзаж как бы разрезан на две продольных половины. Слева раскрывается сего лирическая часть: мягкие склоны, пригибающиеся порой к водам Санзара; купы деревьев и выныривающие из воды островки; легкий прыжок моста от берега к берегу. Правая часть пейзажа драматизирована: Санзар отодвинулся от нее по ту сторону полотна; здесь только вертикальные каменные стены, осыпи камней и прыгающая, как кривая температуры малярика линия вершин.

Это здесь, на одном из этих склонов врезана древняя арабская надпись.

Вскоре поезд выходит сквозь широко раскрытые ворота ущелья на равнину. Он идет по выгибающейся гигантским луком насыпи. По склону ее движется вырезанное черными пожнищами черное и плоское подобие поездной гусеницы. Лунная модель сделана с такой точностью, что я вижу даже очертания буферных тарелок нашего вагона и свесь цепи, качающейся меж них. В черном схематическом упрощении я различаю деталь, ускользавшую от меня при свете дня: два трущихся друг о друга буфера неодинаковы — один мягкой выгибью выдается вперед, другой — абсолютно плоский; и между обоими сглаживающий толчки и сам взятый на цепь — зазор.

И кто знает, может быть, эту увеличенную лучом схему можно доувеличить так: может, самое жизнеспособное соединение — это соединение выдающегося, изрядовонного с плоским, вмещающимся целиком на своей же поверхности. Разумеется, при условии некоторого зазора. Не в зазор мне будь сказано.

Еще станция или две. Теперь уже поздно ложиться: скоро город. Провожу рукой по щеке: шестидневная щетина. Голая до того земля тоже начала куститься. Кусты переходят в заросли. Вокруг зарослей здесь и там — белый обвод стены. Это начались присамаркандские сады.

II

«ХАРИФ МЫСЛИ»

Поезд бросил меня в самую середину ночи и ушел. В станционном зале засиженная мухами скука. С дорожным мешком через плечо иду, как диктует указка: выход в город.

Но до города семь километров. Как быть? Невдалеке, куда кое-как дотягиваются лучи вокзальных огней, какой-то темный короб. Из-под короба чужья нога. Починка захромавшего автобуса. Вскоре внутри его появляются: гудение и свет.

Решаю ехать. На ночное свидание с Регистаном.

Вскрик сирены, и желтые огни мчащихся фонарей начинают прорывать голубоватую тонкую сеть луны. По краям шоссе бегут карликовые домики. Справа и слева наклоняются, припудренные пылью, лиственные парики деревьев. Несколько крутых дезориентирующих поворотов, потом скат, вкат — и авто тушит огни. Регистан.

Две небольших площади — как два форельных пруда — со стекающими из верхней в нижнюю ступеньками. Иду, как влечет меня течение ступеней. Вот они — три древних каменных громады, ставших по трем краям прямоугольной площади: медресе Улугбега, Тилля-кари, Шир-дор. Наконец-то я их вижу не со страниц книги, а с земли Маверраанагре. Их изразцы и сейчас — при притушенном свете луны — отливают рыбьей чешуей. Минаретовые рески Улуга — широким архитектурным жестом — протянуты вверх. Каменные кулаки их сжаты. Простоять так пять веков, не меняя позы, согласитесь... Но даже и сейчас видно, хотя бы по тени, что минареты этой медресе чуть наклонены вперед. Может быть, это усталость камня, а может быть, замысел строителя, который заранее, предвидя

долгую жизнь медресе, построил ему и усталость от нее.

Кстати, надо все-таки отыскать пристанище. Где-то тут под входной аркой Тилля-кари база ОПТЭ. Но сейчас все двери наглухо. Два пополуночи. Возвращаюсь на верхнюю площадь. Она в окружении смутных — за расфрамуженными стеклами — огней. Подхожу, волоча рюкзак, к одному из них. Вывеска: Кыы Сај-хапа.

Под вывеской, за стеклом, точно в витрине, выставка манекенов-посетителей чайханы. Посетители не из воска и бумаги, а из крови и плоти. Но они разложены — в манекенной неподвижности на уступах внутричайханного помоста.

Прохожу по деревянным мосткам через шепелявый арычок, в переулок, ответвляющийся от площади. И здесь. За столбами навеса, под мягким светом лампы, укутанные в желтые блики, лежат экспонаты чайханы, очевидно, к полуночи превращающейся в ночлежку. Вероятно, это грошовое заведение, но сейчас, когда шелковый свет и ночь смешали свои краски, нельзя различить, истерты ли ковры чайханного приюта и грязны или новы, целы или рваны халаты спящих. Пестрая груда тел, чалмы, вдавленные в черно-красную орнаментику подушек, смутные узоры ковров, подостланных под спутанный — дыханиями и видениями — клубок снов, купленных за медь тиингов — все это кажется какой-то искусно срежиссированной феерией, живой картиной, рассчитанной на тысячеглазый зрительный зал и аншлаг. И мне, единственному, видящему сейчас это, даже неловко. Что можно тут поделывать, располагая всего лишь парой глаз. Из-за гигантского самовара, тоже спящего с потушенными углями и понуренной трубой, неслышно приподнимается хозяин ночлежки. Он предлагает мне место на нижнем уступе. Но я отхожу: главное схвачено, а дополнительные подробности, в виде укусов вшей, не обязательны. Возвращаюсь на площадь. Мешок оттягивает руку. Позволяю ему опуститься наземь и сам сажусь поверх. Буду ждать зари. Как ждут поезда.

Прямо против глаз спиной к луне стоящая Ширдор: прямоугольные плечи питаба, голова под рубчатой каменной чалмой; позади, чуть отступив в перспективу, две башни.

Книги — удивительная вещь: они помогают нам вспоминать о том, чего еще не было. Так сейчас, глядя на верхний край питаба, я даже не могу различить очертаний старой персидской надписи, но уже вспоминаю ее, — слово вслед слову:

«...и такое медресе соорудил он на земле, что та возгордилась его высотой перед небом: и в несколько лет не долететь до верха этой арки орлу ума, как бы он ни напрягал своих крыльев; даже череда карнов (поколений, веков) — слишком малый срок, чтобы искуснейший хариф (вор мыслей), забрасывающий свою веревку с крюком на конце на стены домов, смог забраться на вершину этих башен. Когда зодчий выгнул свод этой арки, то само небо, исполнившись удивления, прикусило свою новую луну, как палец.

И так как Ялангтуш-Бахадур был основателем медресе, то год постройки его назван именем Ялангтуша-Бахадура».

Кажется, так. А теперь, пока ночь не израсходовала всей своей тьмы, попробую (все равно, сидя на мешке, не уснешь) прокомментировать темные места надписи.

Начну с конца. То, что год и строитель оказались тезками, уже освещено историографами. Попросто каждая персидская буква имеет и цифровой смысл: сложив буквы как слагаемые, получим сумму: тысяча двадцать какой-то год — по-нашему, начало XVII века.

Что касается до неба и его способности удивляться, то она, очевидно, не исчерпана: каждый раз, завидев при блеске своего новолунного пальца башни Шир-дора, оно снова прикусывает его, и палец-луна неизменно пухнет, вспучивается синим нарывом, пока его — на четвертой фазе — не прорвет.

Слова о харифе, искусном воре, пытающемся забросить свой крюк на вершину Шир-дора, очень внушающи. Работать ему, конечно, удобнее всего по ночам. Так что сейчас как раз время, спрятавшись в длинной тени медресе, в полном безлюдье, разматывать свою воровскую лестницу.

Бедный хариф, он, как и я, зябнет теперь и не спит у темного срыва питаба. Может быть, ему удавалось иной раз добраться вот до этого арочного выступа, но южные ночи короче веревки вора. Утро, будящее стражу, конечно, прогоняло ширдорского харифа, пока с наступлением ночи он снова мог приняться за свою работу.

Надпись говорит о карнах — о поколениях — харифского труда. Значит, вор передавал свой замысел сыну, а тот сыну сына харифа. Чего они добивались, эти поколения похитителей? Что можно украсть, забравшись на каменную крышу громады? Допустим, можно прикарманить широкий кругозор, открывающийся сверху вместе с рассветом. Но зачем? Чтобы тотчас же быть изловленным на кругозоре, как иные изловлены на мирозерцании. Глупый вор, вздумавший выкрасть себя самого, свою личность: вот ты и пойман с поличным. Так и надо.

А как надо?

Прежде всего — и вор, выдуманный древней надписью, должен это запомнить — не следует быть «искусным»... для искусств. Вот, например, нынешние ташкентские вокзальные воры тоже пользуются, формально следуя традициям харифа, веревкой с крючком на конце. Но забрасывают свой крюк они не искусства ради, а во имя идей утилитаризма.

Кстати, пора блюсти точность комментария. Ялагингушевская надпись к родовому понятию харифата не забывает прибавить видовой признак. Она говорит о «воре мыслей». Есть и такие у нас. Мы их называем плагиаторами. Но работают они совершенно в иной технике. Зачем взбираться на высоты похищаемого, когда можно под него подкопаться, пролезть в смыслы снизу. Да, завтра надо будет непременно пойти в Бибиханум, там, во внутреннем дворе — я читал — хранится каменный гигантский шопитр для Корана (еще тимуритских времен). Неплодные женщины протискиваются в щель меж камнем шопитра и землей. Это, говорят, способствует зачатию. Не знаю, насколько лазейка под каменным шопитром оправдывает чаяния верящих в приметы узбечек. Но плагиаторам это помогает. Проползши под любой книгой любого шопитра, они рожают. Не зачав: беспорочно.

Но если притянуться еще на строку выше, читаем: «И не долететь до верха этой арки орлу ума, как бы он ни напрягал своих крыльев». Это и есть награда: не долететь.

Но что там, за минаретами Шир-дора. Как будто первая проступь рассвета. Да, яснее выконтурились спады камня. Где-то вдалеке заревел ишак. Дверь чайханы открылась. Заспанный чайханщик с ведром

в руке. Он опускает ведро в арк и выплескивает из него поперек улицы. Еще и еще. Надо предупредить проснувшиеся подошвы и копыта и прибить пыль к земле. Встаю и разминаю затекшие ноги. Пора. По диагонали через площадь. На карнизе медресе копошится стайка молодых ворон. Это не воронята мысли, а так, просто проснувшаяся воронова детвора. И все вообще просто.

Вхожу в арчатую дверь экскурсбазы.

МАЗАРОВАЗАРЬЕ

Большинство городов страны, прислоненной к Памирам,— из двух частей: средне-азиатской и посредственно-европейской. Последняя всегда из последнего тянется быть не последней, не хуже европейских городов. Но обычно ей это плохо удается: на книжных витринах прожелклые от солнца новинки еще изповских времен; музеи, иной раз напоминающие физический кабинет довоенной гимназии, с его ржавыми магдебургскими полушариями и набором батавских слезок; и таков, например, музей естествознания на улице Энгельса в Самарканде; двухэтажные «центральные почты», стоящие с видом небоскребов. Но если всхожесть домов на здешней почве пока не велика, то деревья зато растут здесь буйно. Прекрасны просторные парки европейской половины Самарканда и длинные, вдоль шеренг домов — аллеи ташкентских белокожих тополей.

Но ведь когда там, у себя, в Москве, под железной крышей, мечталось о поездке в Узбекистан, то из плана воображенного странствия железные крыши были вычеркнуты. За их привычность и... немечтабельность. Помню даже ту радость, с какой я замечал, как аксансирконфлексный угол кровельных скатов Москвы у Джуруна из прямого стал тупым, а за Оренбургом постепенно растянулся в прямую: начиналась страна плоских кровель, к которой я ехал.

Старые города Востока нельзя назвать — так мне кажется — ни шумными, ни тихими. Шумы и тишины здесь врозь друг от друга, чета крик и молчье живут «на разных половинах».

Когда вы попадаете в базар, то выйти из него не так легко: продавцы зазывают в лавки — нищие призы-

вают к милосердию — ослы кричат о тяжести ноши — покупатели громко негодуют на дороговизну — шипят ворочающиеся на вертелах кебабы — стучат молотки кузнецов и лудильщиков — поют бродячие певцы — и сквозь все, вместе с чередой верблюдов, проходящей через базар, неустанный звон колокольцев, раскачиваемых в такт шагу.

Сначала вы слушаете, подставляя ухо, как пшалу под зеленую чайничную струю... Но базар продолжает полнить слух пестрейшими смесями звуков. Вы хотите уже уйти хотя бы в полужвучье, звукотень. Уши ваши переполнены.

Вы сворачиваете с площади в изгиб улицы. И здесь перестук молотков, топот копыт, рев звериный и вопль человеческий. Еще поворот. Но базар идет по пятам. Казалось бы, изнитенный узким переулком он должен вот-вот оборваться. Нет, переулок вдруг связывается с другими переулками в узел площади — и снова навстречу отовсюду — и из-под навесов лавчонок, и прилавочных ступенек, с ковриков и циновок, разостланных по земле, многоголосая симфония базара.

Таков Киш-миш, базар в Ташкенте, рассовывающий свои запахи, пестроты и шумы, как по карманам, по сложному переулочью. Таковы самаркандские торжища, вращающие свои гомоны вокруг Чаар-су, как вокруг раскрипевшейся оси. И рынок Бухары, который, спустившись со ступеней Мир-араба, протягивается затем от площади, как по кишкам, длиннющим систему желудка, по узким улицам, то и дело ныряющим под глухие купола Таки-зергарона, Таки-гилнака и Соррафана.

Как раз возле Соррафана мне и довелось наблюдать примитивную базарную рулетку: она была похожа на небольшой круглый стол, вдруг завращавшийся на своей ножке; от края к центру, разделенные сбегаящими радиусами, стояли синие и черные цифры. Выждав, когда столик остановится, игроки, столпившиеся вокруг рулетки, расставляли свои медяки, серебро и мягкие рублевки по отдыхающим номерам. Затем хозяин толкал диск снова, и вместе с номерами начинали кружить отделяющие цифру от цифры выступы гвоздей. Сбоку из надставки, высунувшись, как шага Мюнхгаузена, отсчитывающая дробь верстовых столбов, торчало острое, пестрооперенное перо. Сперва

оно шуршало, быстро скользя по мчащимся мимо столбикам, затем движение постепенно замедлялось — теперь можно было видеть, как перо, выгибаясь при встрече со столбиком, все неохотнее и неохотнее уступает ему дорогу; вот оно будто и решило остановиться на этой вот черной цифре, но медленно пододвинувшийся гвоздь отстраняет гибкую преграду; значит, синяя? Нет, остаток инерции пододвигает еще одну железную вертикаль: это последняя схватка двух борцов, гибкого перышка со сталью — дюжина приостановленных дыханий — и гвоздь, с трудом дожимая противника, бросает перо, распластанное теперь поверх неподвижной черной клетки.

Почти в такую же игру, находясь на кружащей шаги и голоса базарной площади, можно сыграть с переулками, сбегаящимися в площадь. Помню, я поставил на черное, на тишину — и выиграл. Несколько поворотов по первому попавшемуся переулку — базар как отрезало: я стоял перед одетым в молчание и тени старинным мазаром, «усыпальницей святого». Вокруг, сросшись стенами, молчала глина домов; все их дверные створы были поджаты друг к другу, как губы молчальника; о двухэтажности домов можно было только догадываться, так как окон не было (если не считать редких и узких прорезей). Вокруг не было ни единого человека; даже зеленовато-серая пыль не показывала мне ничьих следов, кроме моих. Только у одного из порогов лежал спящий пес: разбуженный, может быть, моим запахом (я стоял неподвижно), он приподнял голову, но не залаял. Казалось, молчание мазара распространяется вокруг, оно центробежно, в противоположность центростремительной, звукособирающей силе базара, сметающего невидимой метлой все шумы и пришумья старой Бухары — от Каршинских ворот до Тали-пача — в себя.

Это не единично. Даже в относительно шумных (по сравнению с Бухарой, разумеется) Ташкенте и Самарканде мне нетрудно было отыскать и даже нанести на схематические планы городов — россыпью черных точек и пятен — «узлы молчания». Ведь когда струна даже звучит, на ней есть точки совершенно неподвижные и никак не участвующие в звучании: это ее, так сказать, струнные мазары.

Археолог Вяткин утверждает, что теперешнее расположение улиц Самарканда почти совпадает с пла-

пом Тимуровых времен. Только русла базарных улиц, несущих на себе основной человеческий поток, были несколько распрямлены и расширены во второй половине отошедшего века.

Молчание щелисто-узких улочек, прилегающих к мавзолею Гур-эмира, мазара Ходжи Даниара над обрывистым берегом Сиаба или иных тупиков старого Ташкента совсем иного тембра, чем тишина замоскворецких тупиков и переулков. Отстой молчания, здесь, на Востоке, гораздо гуще и наслоеннее.

Производились опыты, подтвердившие предположения некоторых физиологов и лингвистов, что мы всегда мыслим вслух. Особыми вогнутыми звукособирающими поверхностями удалось добиться того, что мышление — правда, лишь на отдельные мгновения — было сделано слышимым. Очевидно, при возникновении в мозгу того или иного звукового (особенно словесного) образа, голосовые связки дают строго соответствующую, но чрезвычайно слабую вибрацию. Со временем, усовершенствуя эти звукоусилители, может быть, мы научимся вылавливать мышление из-под глухо сомкнутых черепных костей, выводить в звучание все, — до мыслей, таимых не только от других, но и от себя. Скоро ли это будет, не знаю, но знаю, что иные, ведущие в конденсированную тишину зигзаги старых узбекских городов являются естественными резонаторами того внутриголовного шепота, который мы называем мыслью. Эти «узлы молчания», колодцы беззвучия почти что возвращают уху еще не сказанные слова. Принцип эха, который, вероятно, ляжет в будущем в основу конструкции чувствительнейших мыслеотражателей, уже сейчас отражен в сконструированности иных узбекских слов, передающих тишайшие звучания, граничащие с беззвучием: джилдир-джилдир (*çildir-çildir*) — слово, изображающее журчанье арыка; чир-чир (*cir-cir*) — звукоподражание стрекоту кузнечиков; шатыр-шатыр (*şatyr-şatyr*) — шелест листьев; буль-буль (*bul-bul*) — соловей, соловьиное пение.

Если углубиться несколько далее во время и в Восток, то мы найдем в истории Китая несколько отрывочных сведений о древнейшем (VI век до нашей эпохи) философе Фу-ги, авторе книги «И-Кинг», который, пытаясь зарисовать «молчание земли», изобразил его в виде двух, повторяющих друг друга, тушью нанесенных линий. А именно так: — —

При приближении к Самарканду меня встретила тугоизогнутая мостовая арка, анахронистически называемая Тамерлановой. Сейчас, когда я возвращаюсь, после обхода самаркандских раритетов, к себе в хуждру медресе Тилля-кари (почти все экскурсбазы Узбекистана расположены в старинных духовных университетах), я прохожу через арчатые ворота, вводящие в прямоугольный выстланный древними плитами двор медресе. Всякий раз я приношу толстый слой пыли на сапогах и яркое кружение арабесок в глазах.

Впрочем, за арабесками, орнаментами из цветных кирпичиков и узорами поливы незачем и ходить. Стоит только сесть на пороге моей кельи и смотреть: внутренние стены двора под пестрым палетом арабических извилий.

Многоповоротные узоры из кирпичных уступов и спутавшихся линий чем-то напоминают многоповоротность и запутанность улиц старого Самарканда, и вся стена похожа на план восточного города. Мысли нетрудно заблудиться в этом настенном городе линий. Орнаментальные узоры, разыгранные в тональности сине-зеленого, или желто-белого, незаметно для глаза переходят в фигурные буквы цитат из Корана, а излом лесенок цветной кирпичной кладки столь же неожиданно превращается в древние куфические надписи.

Как расшифровать трудные шифры восточного узора? Я пробовал было так: прямая есть кратчайшее расстояние между двумя точками а и б; арабеск самая длинная из всех возможных линий, какими можно соединить а и б. Синие изгибы на стене как будто бы и соглашались со мной, но самой своей выгибью напоминали: слишком прямолинейно для истины; по крайней мере, для восточной истины.

И мне вспоминается побасенка, которую я слышал недавно в чайхане: жили-были правда и неправдивый человек; правде было противно встречаться с неправдивым, а неправдивый боялся встретиться с правдой; и они ходили всегда по разным сторонам улиц — человек по левой, а правда по правой. Но однажды человек подумал: «А вдруг я попадусь на глаза правде — лучше отойти в сторону». Но и правда тоже подумала: «Лучше мне отойти в сторону, а то еще чего доброго

встречу недоброго». И они оба — правда и человек, — чтобы не встретиться, сошли с пути — и оттого встретились.

Но я тоже сошел с пути. Возвращаюсь к теме. Когда узбекский дехканин сеет рис или насаждает овощи, сев и рассада у него стеблятся тесно, потому что земли у дехкана мало, в обрез. Но и рука художника, засеявшая растительным орнаментом вертикальные поля узбекистанских мадрасс, действовала так, как если б пространства ей было отпущено в обрез. Среди немногих сохранившихся имен встречаются персидские и даже китайские. Трудно поэтому дознаться, существует ли в данном случае хотя бы дальняя психологическая тропка от навыков обработки поля омачом к художественной проработке проблемы заполненности пространства.

Но сейчас не только в глазах, в мыслях нестрит от собранных в память линейно-точечных сложностей. Лучше о чем-нибудь простом, как... полукружье купола или выгиб арки.

Эти два образа неотступно следуют за мной из города в город и из улицы в улицу, давая зрительные реплики почти на каждый поднятый взгляд. В сущности все пространство всех узбекских городов — от поверхности земли до поверхности кровель исчерчено арчато-купольным росчерком.

Если, взяв в руки лук, постепенно оттягивать его тетиву, то полуэллипс лука начнет круглиться; можно прервать натяжение именно в тот момент, когда выгиб лука будет близок к окружности: это поперечное сечение купола; но если длить выгибание лука так, чтобы преодолеть его коэффициент упругости, лук хрустнет и сломается как раз в центре кривой: линейный момент его гибели и будет — арка. Если в этом будет участвовать и правильно наложенная на тетиву стрела, то направление ее точно совпадает с направлением линии, называемой в архитектуре: стрела арки.

Какой-нибудь житель Бухары, встав поутру, пьет свой утренний чай из чайника с арчатым заостренным носиком и, вынув из ножен свой забравшийся внутрь ножен вместе с рукояткой нож, режет его двусторонним арчатой формы лезвием овощи. Затем, надсв поперх тюбетейки арчатой формы шляпу (они именно сейчас очень распространены в Бухаре), он берет

стоящий в углу заступ, имеющий постепенно суживающийся к концу в виде арки форму, и идет по хозяйству во внутренний двор. Здесь его ждет арба и лошадь. Подобрав на заступ осыпавшуюся со стены глину, он впрягает лошадь в арбу; хотя лошадь и не пойдет под верх, но на спине ее закрепляют тяжелое седло с торчащим из него большим — строго арочной формы — деревянным придатком. Можно выехать. Шум рынка доносится уже из-за стены двора. Но бухарец забыл туфли, он возвращается за ними, и тут — не бухарец, разумеется, а глаз стороннего наблюдателя видит, что даже стельки, вдетые в туфли, вырезаны по аркообразному шаблону, подтвержденному рядом синих или красных линий, в виде системы арочек, вписанных одна внутри другой. Бухарец выезжает на площадь, что у Каляна. Образ арки, спрятавшийся под пятками владельца арбы, точно выпрыгнув со свесившейся туфли, разворачивается теперь гигантскими арками противостоящих друг другу фронтонов мечетей Калян и медресе Мир-араб.

Если подойти ближе к их сломанным каменным лукам (бухарец опять-таки и не подумает этого сделать — ему надо продать свои овощи, и только), то внутри арочных вдужий высоко над землей глаз различит ячеистой формы каменную лепку, взбирающуюся под самый арочный слом; это мастерски проработанная — во всех возможных вариантах — уже не плоскостная, а стереометрическая аркограмма. Если затем войти внутрь арочной навеси во двор медресе, то вошедшего сразу же окружают легко взнесенные в виде аркообразных сферических треугольников окна келий вдоль внутренних стен медресе. Если... но так можно продолжать до бесконечности. Вся жизнь жителя старого узбекского города, точно в арочном плену. И даже когда он умрет, его понесут на кладбище, что за городской стеной, покрытой арочно-подобными зубцами, и зароят в землю столь знакомой ему арковидной лонатой, прикрыв, если только покойный был достаточно богат, каменным надгробием, имеющим форму длинного ларца с острым аркообразно выгнутым верхом.

Если он богат. Но если он беден, то может рассчитывать лишь на обыкновенную полушаровидную земляную насыпь в виде неясного купола с двумя-

тремя опознавательными кирпичами или обломками камней поверх. Купол, в отличие от иронически выгибающей свои каменные брови изысканной арки, более приземист, демократичен и общедоступен. Если идти в нисходящей гамме: синий купол неба — куполообразная юрта — в юрте человек в звездчато расшитой тюбетейке, в руках у него опрокинувшийся куполок пиалы. Купол не взбирается здесь (как в зодчестве Византии) на слишком большие высоты. Каменной тюбетейкой прикрывает он все старинные здания рынков Бухары и Самарканда. С несколько даже показным смирением обнажает он свое плоское глиняное темя над мазарами исламистских святых. Не брезгует круглиться над грязной водою полуврытых в землю бань. В медных, вдавленных в очаги куполах, называемых казанами, спокойно дозревает под паром палая (шлов) и беспокойно ворочается с боку на бок мертвый баран.

ПИАЛА У ГУБ

Из всех куполов Узбекистана глаза мои, пожалуй, больше всего сдружились с маленьким фарфоровым куполом пиалы. Почти весь туркестанский день проходит в игре в прятки с солнцем. Отыскиваешь себе завесу тени и прячешься в нее. Но солнце, пошарив горячими пальцами, вскоре тебя находит и отдергивает черную завесу. Ты найден. И игра начинается снова. Были, вероятно, времена, когда какой-нибудь метр тени ценился дороже метра шелка. Производство теней, заблаговременное изготовление их в нужном для хозяйства и жизни количестве — предмет величайших забот местного населения. Окна всюду узки и сощурены, как узки и сощурены глаза жителей степей. Насаждаются, в целях теневодства, деревья, при мечегях (как при старой Биби-ханум) строятся особые каменные навеси, защищающие от удара солнечных лучей. Но самое лучшее средство от жары — ничегонеделанье в чайхане. Чайхана вдвигается в улицу — поперек движению — своими деревянными помостами. На помостах с наступлением дня расстилаются ковры, а сверху — в защиту от солнца — дикт и циновки. На коврах сидят люди, подогнув под себя ноги и полы халата. Рядом с ними чайники, пиалы и снятые с ног туфли.

Эги плотно поджатые, с акробатическим вгибом, ноги — предмет моей зависти. Как я ни усаживаюсь, стараясь вобрать внутрь торчащие врозь колени, классической восточной позы у меня не получается. Я чувствую себя, как секундная стрелка, пересаженная на ось стрелы, отсчитывающей часы. Даже чай под крышечкой моего чайника странно медленно набирает зеленый цвет. Пока пиала ждет чая, подставляю глаза улице. Посредине ее стоит человек в бурнуса, подвязанном пестрой косынкой, треугольно свесившейся сзади: он погружен в газету, неподвижно впластавшуюся бумажным двукрылием в воздух. Гигантские колеса арб, трусца ослов и шарк тувель огибают газету стороной. Вот ослик, впрягшийся в корову: веревка, одним концом прикрепленная к хомуту ослика, другим привязанная к рогу коровы, туго натянута; подрагивая ушами, маленький ишак тащит живой груз, как буксир неповоротливую баржу.

Наливаю пиалу до краев и подношу к губам.

Но другие пьют не так. Вот двое в круглых бухарских шапках с меховой оторочкой. Они сидят друг против друга на подгибах ног. Один налил пиалу на четверть ее глубины и вежливо пододвигает соседу. Тот, не торопясь, пьет. Затем, с видом человека, обдумывающего ответный ход, наливает чуть-чуть, у донца и возвращает пиалу. Пиала опустела, и снова легкий наклон чайника и новый ход неполной пиалой. Таков здесь обычай. По преданию, пророку Мухаммеду пришлось как-то скрываться от врагов в маловодной пустыне. Чаши его и его спутников никогда здесь не были полными. И в память об этом магометане пьют из неполных чаш. Мало того. Поскольку не установлено, в какой из месяцев года блуждал Мухаммед по безводной степи, то и поминальные дни рузита (праздника, посвященного этому эпизоду) стали блуждающими днями, с каждым годом перекечевывающимися из месяца в месяц: в одном из них должны же они нагнать изгнанного пророка.

Обычай неполных пиал прорастает своими корнями гораздо глубже религии. Не только пиалы, но и все колодцы туркестанских равнин хранят воду лишь у самого дна. Их черный пунктир, отмечающий караванные пути на карте, до странности редок и разрывчат. Страна блуждающих песков, ссохшихся такыров, соло-

нчаков и лесса изжаждалась по воде. Поверхность ее растрескалась от засух. Плоские поля, точно ладони нищих, подставлены под дождь. Они просят хотя бы мелких дождинок. Тщетно. Зачастую с мая по октябрь — ни единой капли. Богара сгорает, не дождавшись влаги.

В краю, столь обделенном водой, неполная пиала является напоминанием и символом. Вопрос о «су» — вопрос жизни и смерти. За водой, как и за тенью, охотятся; ей расставляют сети ирригационных каналов, устраивают ей колодцевые капканы. Но стихия противится: она забирается под донья колодцев, прячет устья рек в песок. И Мухаммед в своем Коране не просит о неиспитии чаши. Образ этот в стране, где повсюду грозит смерть от жажды, совершенно бессмыслен.

Старинные орнаментальные надписи Самарканда называют обычно эмира или бега «тенью Бога на земле». Этим надписи льстят не только бегу, но и Богу. Плох Бог, не осеняющий тенью, и самая светлая его сторона — это тeneвая.

По мусульманскому преданию вместе со смертью человека закрывается «книга деяний» его. Но книгу эту и после кончины можно приоткрыть, если заблаговременно составить у казия «Вакфнамэ» завещательное распоряжение о том, чтобы оставленная сумма шла на приобретение и бесплатную раздачу холодной воды, сараджу, — все проходим, мучимым зноем.

Сама природа этих сожженных равнин — это сплошное «моление» о влаге. Туркестанские сухостои, чуть приподнятые над землей, почти целиком ушли в свои корни: нити их, длинящиеся вглубь и вглубь вдогонку за спрятавшимися под почву каплями, достигают иногда очень значительной протяженности.

Это здесь кочует — среди казахских кочевий — странное растение — странник: богородицына ручка (или перекати-поле). Растение это сперва располагает свои ветви по радиусам от корня, расстилая их кругообразно по земле. Но когда ему настает время плодоносить, «ручка» загибает свои ветви внутрь, точно сжимает распыленные пальцы в кулак, и зажав в нем свои семена, отрывается от корня и отдается ветру. Толчки ветра несут шарообразные перекати-поле, помогая ему разыскивать влагу. Для большинства этих

растений поиски оказываются безрезультатными. Пересекая казахстанскую долину, из окна вагона можно видеть эти мертвые восково-желтые, но все еще грозящие кулаки перекати-поля. Полотно дороги перегородило им путь, и они погибли — в отрыве от своих рук.

Но иному из перекати-полей удастся докатиться до влаги. Тогда зеленая рука распрямляет свои пальцы и роняет семена на землю. Для самой руки — это предсмертный, агонизирующий жест. Но семена дают проросли — и приключенческая жизнь перекати-поля передается новому поколению.

Удивительны гидро-приспособления желудка верблюда, этого «корабля пустыни», часто — в кильватерной колонне — пересекающего сотни километров безводья. Перед отправкой в путь желудок верблюда наполняют водой — совершенно так же, как бак автомобиля — бензином. Воду из ближайшего хауза черпают бурдюками и, вставив рукав бурдюка в горло верблюда, как в воронку, запрокидывают бурдючное дно. Но вода не рассасывается в теле верблюда. Одна из частей сложного желудка животного, так называемый рубец, состоит как бы из ряда плотно составленных небольших пиал, раскрытых внутрь. Вода, поступающая по пищеводу, попадает в эти поставленные под нее углубления, и они, по мере наполнения, закрываются действием стягивающей мускулатуры. Таким образом, запас воды оказывается распределенным по семистам-восьмистам хранилищам. По мере надобности хранилища эти — одно за другим — возвращают воду желудку. В дополнение к этой внутренней системе водозагрузки, по обе стороны верблюжьего горба снаружи подвешивают узкие бочки с водой и «корабль» снаряжен к рейсу через песчаное море.

Но мой чайник отдал все до последней капли. Пора уходить. Я приподымаюсь с ковра, и только сейчас замечаю прятавшуюся под моей подошвой деталь узора. Это затейливый рисунок цветка. Кажется, розы. А может быть, и нет. Не угадаешь, настолько своеобразен рисунок. Лепестки плоского цветка женственно вогнуты внутрь, будто пряча что-то под своими вгибами. И что страннее всего — этого не затоптали наши подошвы — у каждого из лепестков своя окраска, свой цвет. Я стою, очевидно, слишком долго, наклонясь над ковром. Чайханщик, путая русские слова с узбекскими,

спрашивает, не уронил ли я монеты — может быть, закатилась в щель? Но человек, сидящий у стены на подогнутых костистых коленях, понимающе улыбается и кивает мне:

— Это роза Салыра,— говорит он по-русски лишь с еле заметными гортанными и носовыми призвуками,— самый древний из ковровых рисунков. Сейчас уж его не ткют. А в садах такие и не цвели никогда. Выдуманный цветок, ха: салыр-гюль.

Я перевожу взгляд на человека, познакомившего меня с вписанным в ковер, как в страницу пестрот, цветком: глаза под стеклом очков, чуть удивленные вздужья седеющих бровей, высокий, прячущийся под тюбетейку лоб; на губах, отговоривших слова, из-под стриженных усов выражение радушия и сугубой вежливости. «Наверно, он даже в мыслях, и даже с самим собой всегда на вы», — мелькает у меня.

— Рехмет.

Мы обмениваемся кивками. Меня уже нет в чайхане. «Салыр-гюль: надо заблокировать. Может пригодиться».

III

ЧУЧВАННОСТЬ

Обычно очеркисты, странствующие по касательной к Востоку, пугают термины: паранджа и чучван. Благая проповедь о снятии паранджи подходит к женщине не с той стороны. Если даже женщина Востока и скинет паранджу, то лицо ее все-таки останется под чучваном. Паранджа — укрывает лишь затылок, шею и спину; ее длинные рукава, спускающиеся до самых пят и связанные у кистей шнуром, столь уродливо вытянуты, что для пропорционально им выкроенного тела понадобился бы рост вровень с кровлями одноэтажного дома.

Чучваны, к сожалению, еще не вывелись окончательно из быта старых узбекских городов. Наряду с яркими лицами узбечек, лицами, точно вылупившимися из черной скорлупы чучвана, нет-нет вдвигается в яркий день темная заплата, заштопывающая наглухо лицо. Делается она из конского волоса, сплетаемого в очень частую сетку.

Чучван, разумеется, не жилец на новом Востоке. Пропаганда срывает его, как срывают старую афишу со старой отыгранной датой. Но не только пропаганда. Чучван отлипает от лица, сам отшелушивается от него, как старая кожа, уступающая место новой. Он слишком долго прятал — теперь настало время прятаться самому.

Но исцеление от этой надкожной болезни, от чучванности идет постепенно, по определенным градациям.

Вот они:

глухой черный покров, плотно закрывающий все лицо; белый скупой узор по прямому краю, опускающемуся на грудь;

такая же черная завесь, но с прорезинками для губ и глаз;

чучван, приоткрытый снизу, чтобы дать волю дыханию;

сеть чучвана отодвинута к плечу, но при встрече с глазами мужчин лицо поспешно прячется под набегающую ткань;

чучван отброшен через голову назад — он треплется, как ненужный мертвый придаток, все еще тянущийся вслед за открытым лицом;

чучвана нет, — он снят, но при встрече с мужчинами лицо отдергивается в сторону и ресницы — крохотными чучванами — прячут глаза;

даже и ресницы не дают рефлекса при встрече с мужским взглядом, только на лице чуть-чуть...чучванное выражение.

Особенно мне памятен один чучван, встреченный на самаркандском базаре. Это был порядком истертый, порыжелый от солнца старый чучван; жирный и высмальцованный в своей надгубной части, он привлекал к себе базарных мух: облепив его сетку, напомнившую мне те проволочные колпачки, под которыми раньше прятали всякую снедь, мушья стая взволнованно зудела и совала свои хоботки внутрь, пробуя проникнуть в тайну чучвана.

Кстати. Хору наших очеркистов, столь красноречиво и многословно пишущих о вопросе ясном без слов, убеждающих в том, что не требует уже убеждений, надо бы вспомнить о своих музах. Восточная женщина сбросит свое покрывало, она его уже сбрасывает. Но

почему иные — вовсе не восточные — музы до сих пор прячут свое подлинное лицо под чернильного цвета чучваном. Распропагандируйте своих муз, поэты. Не чучваном к правде, а лицом к ней.

РЕМЕСЛО

Узбекский глагол «иок кылмак» (joq qylmaq) переводят обычно: истреблять. Дословно пришлось бы так: делать из есть нет.

Этим и занимались Александры Македонские, Чингисханы, Тимуры и Надир-беги-ханы. Истребление, делание из есть нет, было их ремеслом. Горе городам, к которым близились «царь и его пыль» (так одна старинная хроника называет войско, предводимое завоевателем). И недаром разрушенная стена Афросиба — предка Самарканда — носила имя «стены последнего суда» (дивари-и-Кыямат). Надо отдать справедливость воителям, чьи войска маршировали из Согдианы в Бактриану и обратно: свое ремесло истребления они совершали с величайшей тщательностью. Города сжигались дотла, стены истирались в пыль, жители убивались поголовно — до детей, рожденных и вчревных, включительно. Впрочем... И тут дань справедливости была бы недоданной, если не упомянуть о следующем обстоятельстве: ремесленники меча уважали соремесленников. А именно: профессионалов шила и дратвы, молота и клещей, иглы и ножниц. Как многократно рассказывают нам историки, завоеватели древности, истребляли всех и все, — всегда щадили кузнецов, слесарей, каменщиков, кожевников, башмачников, портных. Они нужны были им, как воинствующим муравьям запрятанные под примуравейниковую кору тли. Калыч против калыча, меч против меча, был неверной и недолгой защитой, но шило успешно парировало меч, сохраняло жизнь — правда, ценою рабства. И, конечно, роды ремесленников, передававших свое искусство от отца к сыну и от сына к внуку и правнуку, — самое древнее в этом много раз кряду омытом начисто кровью краю. Генеалогическое древо иного плотника, наверное, высоковершиннее и корнистее, чем иного саида или бега. Но плотники имеют дело со всеми видами древ, кроме генеалогического.

Так, раздумывая, я вышел — в одно из утр — на площадь перед Тилля-кари. По одну сторону выводящей арки приютился «моментальный» фотограф, снимающий на арабесочном фоне мадрассы, по другую — расставивший на ковре свои калямы и свертки бумаги наемный скриба, строчильщик просьб и кляуз.

Прежде чем выйти из полосы тени, я выбираю меж «налево» и «направо».

Если направо, то за последней дверью Кари, приглашающей в Комстарис, несколько ступенек вниз, а дальше бесступенный наклон улицы, вдоль которой — вперемежечной чередой — зергеры и этикчи, ювелиры и сапожники. Сапожники, хоть они и под раскаленным солнцем, все-таки холодные сапожники. Из крохотных обрезков, кожаной рвани и истертых насмерть подошв, этикчи, следуя технике лоскутного одеяла, слоскучивают башмаки и туфли. Под веселый пристукивание молотков, из множества слагаемых быстро вырастает сумма. Песне, подпрыгивающей под барабанный ритм молотков, над горлом, нельзя, не уколовшись, протиснуться сквозь губы, забитые деревянными гвоздочками, и поэтому ей приходится выбираться наружу сквозь ноздри, гнусавым *п* (*нг*). И рядом, весело задрав носы, стоят в ряд наскоро склепанные, вновь готовые плыть по пылевому морю Самарканда туфли.

А если налево... — иду налево. Там еще не все их пространства в память.

Пересекаю начинающийся меж стен Тилля-кари и Шир-дора базар, стараясь не задерживаться у подстилающихся всюду под шаги ковров, заваленных снедью. Впрочем, у одного из довольно пестрых растилов любопытство к любопытству других заставляет меня замедлить шаг. Ковер, вокруг которого сгрудились два ряда непокупающих покупателей, продает не то, что на нем, а самого себя. Ковер как надо, что говорить, хорошей цены стоит ковер, но... — и кандидаты в покупатели сожалительно причмокивают и покачивают головами — как на похоронах: в углу — нет, не в этом и не в том, а вот здесь чуть поистерто. Продавец спорит: истерто? ха, так это же пыль. Совсем новый ковер. И, сорвав с бритой головы шапку, он отчаянно трет ею, стараясь стереть истертое место. Шея его набухла и покраснела от усилий, но в толпе смех: тащи в тень и продавай слепому, а тут... и два-

три пальца показывают на солнце. И действительно, расшвыривающее пригоршнями золото своих лучей солнце не хочет бросить выбившемуся из сил продавцу хотя бы один лишний пул. Круг людей вокруг ковра рассеивается, но продавец, наклонив свое мокрое от пота лицо, все еще трет — уже механическим движением — нестираемую протерть ковра.

Но кому как. Неподалеку чистильщик сапог. Стрянув пыль с подставленного ему ботинка, он накладывает указательным пальцем на кожаном подъеме один крупный мазок мази. Затем, откинувшись, позевывает и ждет. Солнце, точно нанявшееся к нему в подмастерья, в несколько секунд расплавляет и мелкими струйками размазывает мазь по всему ботинку. Теперь и мастеру, после передышки, можно браться за свои щетки.

Но ремесло не любит открытых площадей. Оно обычно окантовывает базар своими прижатыми друг к другу карханами (мастерскими). Кархана — это прямоугольный, почти квадратный ящик, величиной в семь-восемь раз больше гроба, поставленный на один бок и не прикрытый крышкой.

Какие-нибудь ишачьи подковки изготавливаются с той же наглядностью, как и шашлык (кебаб). Покупатель может наблюдать, как на его глазах сырое мясо разрезается на куски, потом шипит на жаровне и проворачивается на узеньких вертелах, а сталь накаляется докрасна, догибается и подправляется молотком; потом на шашлык машут кожаной лопаточкой, а сталь холодеет — и подковы и блюда готовы: можно есть или подковывать тут же дожидającegoся флегматического ослика.

Остановившись перед тем или иным из опрокинутых коробов с ремесленником внутри, нелегко оторвать глаза от рождающейся вещи. Вот положенный на выступ доски медный кувшин. Его горло вздуто зобом, а круглый рот топырится наружу. По медной губе кувшина и бьет молоток. От каждого удара кувшин отдергивается на миллиметровый интервал и получает новые и новые удары, постепенно окаймляющие чередованием вгибов и выгибов его края.

Вот седельник. Он стягивает ивовые прутья поперечными связями, затем туго заматывает их в кожу и закрепляет кожаный чехол множеством мелких гвоздиков. Через короб еще седельный мастер. Здесь

прутья уже до конца затиснуты в кожу, выгнуты заостряющейся книзу дугой и крепко связаны у концов. Хомут почти готов. Остается только растянуть его отверстие и уточнить форму. Для этого в лавке помещается особый пень, который отесан так, что ему придана форма омикрона, к основанию постепенно расширяющего свой контур. Хомут напаян на пень, и седельщик, вскочив на раздужья хомута, пляшет на нем голыми пятками, наплясывая требуемый размер.

Вот изготовитель пятипалых вил. Прямая деревянная рука и виловое запястье с пятью короткими врезанными ножом выступами готовы. Теперь надо подвязать пальцы. И пальцы ремесленника, проворно перебегая от ящика с грудой сваленных в него деревянных палцев, быстро прибирают, прилаживают и прикручивают лозовыми нитями дерево к дереву. Проворство, почти пианистическая беглость работающих пальцев, по сравнению с распрямленной неподвижностью пальцев сработанных, разительна. Такая техника может быть в фаланги лишь выграна множеством дней труда.

И куда ни взглянешь — всюду искусность, доведенная до своего предела. Но что дает эта ремесленная виртуозность самим виртуозам молотка, шила, клещей и резака? Грязный короб карханы, рваный халат, несколько щепоток наса в день и кусок серо-желтого, похожего на мыло, сыра, валяющегося тут же вместе с инструментами, обрезками и опилками. Традиционное ремесло, передающееся от поколений к поколениям, древний ушталык Узбекистана осужден на гибель. Весь этот инструментарий дотимуровых времен, прапраделовские точильные ремни, навернутые спиралеобразно на вал и вращаемые двумя руками, какие-то старинные бронзовые наковальни, ветхие крюки и прикрючья — все это не может бороться с машиной, бессильно против нее, как кремневое ружье против пушки.

Эта остановленность традиционного мусульманского искусства и искусства равна выключению его из жизни. Культуры, слишком быстро нашедшие себя, тем самым себя теряют. Они выпадают из дальнейшей истории.

В Бухаре есть мавзолей Исмаила-саманида. Там же стоит медресе Абдулла-хана. Их отделяют друг от

друга узкий переулочек и семь веков (X и XVI). А между тем оба одинаково прекрасны. И в этом «одинаково» — смерть: от прекрасности.

В течение этих веков рождались новые строители и новые постройки. Но строители эти были лишь душеприказчиками искусства. Они выполняли завещательную волю, отдавая работу и жизни посмертным произведениям архитектуры X века.

Однако, скитаясь по базару, нельзя позволять мысли отлучаться от окружающего. Вот я и опрокинул носком сапога какую-то миску с брызнувшими из нее вразбег медяками. Потревоженный нищий кричит мне вслед, ловко промодулировав из минора в мажорные выкрики.

У поворота стены, возле маленького ослика, только что освобожденного от тяжести двух корзин, наполненных белым луком, и двух людей — дехканина и его жены, собралась кучка зевак. Среди них и дети. Старик в пестрой чалме, с видом заправского маддаха, рассказывает какую-то, очевидно забавную, историю. Слушатели поддакивающе качают головами и улыбаются.

Заметив мое непонимание, какой-то плечистый узбек, благожелательно повернувшись ко мне, объясняет. Другие — в моменты нехватки слов — помогают рассказу, кто фразой, кто словом, а кто и жестом.

— Это так — эртек, сказка.

— Почему у ишака длинные уши.

— Ха.

И постепенно — общими усилиями — им удается втолковать мне сюжет. Вот он.

У первого ишака — прапрадеда всех ишаков — уши были как уши. Но зато упрямяство было еще длиннее... то есть не больше чем теперь. Поэтому хозяин, идя за ишаком, должен был подгонять его палкой. Ишаку не нравилось ни ходить под грузом, ни слышать, как палка ходит по нему. И вот однажды, оставшись наедине с палкой, он ей сказал: «Почему бы тебе не выбрать другое место для прогулок; правда, ребра мои кривы, но улицы Самарканда еще кривее». Палка отвечала: «Я бы и сама предпочла быть третьей ногой старого муллы, идущего в мечеть, чем погонять четыре ноги ишака, идущего на базар. Но быю не я: мной». «Так как же нам быть, — спросил осел, — чтоб

реже встречаться?» «А вот как,—отвечала палка,—найдем в сторожа воздух— пусть он свистит всякий раз, когда мной размахнутся. И ты убегай. Приятнее ударять по мягкой пыли, чем по ишачьему ребру». Воздух согласился, и они стали делать, как было условлено. Перед каждым ударом палка предупреждала воздух, воздух свистел, и ишак отпрыгивал. Но ничего не выходило. Пока палка успевала сказать воздуху, пока воздух складывал губы, чтобы свистнуть, пока свист доходил до ишачьего уха и пока ишак успевал отпрыгнуть, рука хозяина достигала бок и удар попадал туда, куда хотел попасть. Тогда стали совещаться все четверо: ишак, палка, воздух и свист. Свист сказал: «Я бы, пожалуй, успел обогнать руку, если бы мне не так далеко было бежать». Тогда палка, подумав, сказала так: «Если я пододвинусь к ишаку ближе, то мое ближе, боюсь, перегонит ближе свиста; воздух всюду— и ближе и дальше,— а где воздух, там и его губы, а там, где его губы, там и свист. Значит, мы ничем не можем помочь ишачьему уху, придвигаясь к нему: надо, чтобы ухо само выходило навстречу свисту, и тогда все уладится». «Но как же уши могут ходить навстречу звуку,—спросил осел,—я этого не понимаю».— «Очень просто,—отвечала палка,—мы, растения, понимаем это лучше других. Мы знаем, например, как ходить навстречу солнцу. Ходить это значит расти. Надо научить твои уши ходить».— «Туда и обратно?»— «Нет, мы— растения— никогда не ходим обратно: ведь каждую минуту из-за облака может показаться солнце, надо быть всегда готовым его встретить; так и тебе— каждую минуту может упасть удар, стоит уху повернуться к нему спиной и уйти обратно, как спину (не его, твою) посетит боль». Палка вспомнила то время, когда у нее был корень, пивший воду из арыка. И она научила ишака, как растить уши. Теперь он не пропускал ни одной лужи, чтобы не остановиться перед ней и не опустить уши в воду. И постепенно уши ишака стали длинниться. Настал наконец долгожданный час, когда ухо, вышедшее навстречу свисту, уловило его раньше, чем палка успела домахнуться до ребер. Все были довольны. Кроме человека. А человек хитер: видя, что длина ишачьих ушей побеждает длину его палки, он придумал такое. Нагрузил ишака, сел ему на спину

вторым грузом, а позади на крестце посадил жену. Он не забыл также взять с собой и палку. И бедному ишаку длинные уши теперь ни к чему. Он не только должен нести на себе тяжесть груженных кошм, хозяйина, хозяйку, палку, но еще и ее свист в ушах. И ишак разгружается, как может: хозяйина не сбросишь, только прибавится ударов на ребрах, хозяйку тоже (она крепко держится за две спины), палку тоже (она зажата в руке), и ишаку только и остается, что вытряхивать из ушей свист. Все-таки легче. Вот почему он всегда прядает ухом. Что ж, всякий помогает себе в пределах возможного. Но ишаку не нравится мой рассказ — видите, как вытряхает он его из своего слышания. Ну, а вам?

СОСЕДИ

Сегодня, начав свой день еще до света, я иду путем гробниц. Сперва довольно длинная прогулка по Енгийолу (Новой дороге) к гробнице (и медресе) Ходжи Ахрара, потом обратный путь под успевшим нагнать меня зноем, и краткий прощальный визит к шестисотлетнему мертвецу, Тимур-ленгу, принявшему меня лежа, под нефритовым одеялом, в своей мрачной, под цвет его темпераменту, усыпальнице. Потом гигантские древка знамен Рухад-абада, безлистыми деревьями смерти вытянувшиеся под самый яйцевидный купол абада (место вечного отдохновения).

Далее — мимо распавшегося в каменную труху надмогилия Биби-ханум (что против мечети ее имени) — к подножию Шах-и-Зинда. Шах-и-Зинда — это целая череда погребальных склепов, точно в обгон друг другу, вскарабкивающих по крутому склону холма, в смерть. Марши ступенек помогают следовать по иссохшему руслу прошлого, от одной гробничной арки к другой. Тут довольно пестрый набор тлена: сестра Тимура, кое-кто из эпигонов, шедших вслед за «железным хромцом»; наконец, на гребне холма полулегендарный «шах-и-зинда» (живой царь) Кусаибин-Аббос, родственник и современник Мухаммеда, якобы впервые принесший на эти мертвые теперь холмы его религию.

Вот они, когда-то носившие на себе груз городов, пустые теперь холмы Афросиаба. Стоит сделать два-

три десятка шагов, и вместо мозаичного пола мазара бин-Аббоса под ногами растрескавшаяся поверхность древнего городища. Оно — почти до того места, где линия горизонта совпала с огибающим Афросиаб Сиабом — покрыто мелкой сыпью могил, обыкновенных, не мазаризированных могил. Именно эти, из иссохлых комьев вывороченной заступом земли могилы и строили великолепные могильники ханов, шахов, бохадуров, ходжей и сайдов. Но вместо Голубеющих камней мазарного свода над ними общий для всех пыльно-голубой купол; вместо звездчатого орнамента и зеленой вязи линий стен и пола мазара вокруг них бледно-зеленый извив и иглы мизерной верблюжьей колючки, джантака. Я пересекаю по прямой поросший смертью мертвый город и выхожу на Ташкентскую дорогу. Здесь, у ее обочины, я вижу пасущегося верблюда. Его брюзгливые губы терпеливо жуют джантак, густо припыленный пылью. Его шея, выгнутая, как знак интеграла, неотрывно наклонена к иглам джантака. Точно он пробует пройти в ушко каждой из игл; но кончается тем, что не верблюд сквозь иглу, а игла сквозь верблюда.

Усталость торопит меня назад — из-под зноя в прохладу моей худры, — но она же замедляет мой шаг. В результате я с трудом добираюсь до Регистана. Но тут в память всплывает уже несколько дней кряду мучающая меня строка путеводителя: «к Ю. от Регистана, в ста шагах, находится гробница шейбанидов, известная среди населения под именем Чиль-Дукторон». Я затратил несколько тысяч шагов на прохождение этих ста шагов. И всякий раз переулки запутывали меня. Чиль-Дукторон, «Сорок Дев», гробовой восьмидесятиножкой ускользала от глаз.

Решаюсь. В последний раз. Спрашиваю пожилого человека в белой чалме муллы (я заметил — они лучше других знают топографию старины). Спрошенный недоумело оглядывает меня: мой измученный и пропыленный вид красноречивее просьб.

Кивнув, он молча ведет меня кульбитами переулков. Стараюсь запомнить их повороты, чтоб выбрать потом обратно. Но раньше, чем я успел отсчитать четыре «налево» и три «направо», мы уже у цели. Ворота. На них доска Узкомстариса: Чиль-Дукторон.

Но ворота плотно сомкнуты, и на них висячий замок. Ключ? Стучу в дверь глиняной хибарки, при-

слонившейся к краю высокой саманной стены, спрятавшей гробницу. Дверь открывается. Из полутьмы, вместе с запахом грязи и юфти, желтое с пресвалами глазниц и щек лицо. Вероятно, сапожник. О ключе он ничего не знает. Иногда приходят, да, открывают ворота, потом закрывают и уходят опять. Но я твердо решил, если не ногами, то хоть глазами пробраться внутрь. Пробую вскарабкаться на стену. Но не за что уцепиться — обрываюсь. Видя мои усилия, сапожник сочувственно, даже жалостливо, качает головой. Спрашиваю, не найдется ли лестницы? Нет. Ну хоть бы табурета. Сочувственник опускает глаза и молчит. И тут, заглянув внутрь его темного короба, я вижу всю неуместность вопроса. Под плоской, из обмазанных глиной плетенок, кровли такой же плоский пол — и все. Ни стола, ни скамей, ни лежанки. Только в одном углу настил из рогожи, а посередине какой-то задымленный казан, несколько инструментов и обрывков кожи. Я готов уже отступить, но хозяин лачуги предлагает использовать вместо лестницы поперечные перекладины двери. Снимаем ее с петель и верхним концом — к стене дукторона. Он поддерживает доску, я с трудом, после двукратной неудачи, все-таки взбираюсь на стену. Внизу в глубокой яме, заголившей кирпичный фундамент, свалены в груды ребристые из почерневшего мрамора надмогильные плиты. Считаю: двадцать — двадцать два — двадцать восемь. Меж плит проросли крапивы и еще какого-то сорняка. Спускаюсь назад. Водворяем дверь на место. Извинившись в причиненном беспокойстве, поворачиваюсь, чтобы уйти. Но бедняк останавливает меня вопросом:

- Там за стеной что смотрел?
- Как, разве вы ни разу не видели?
- Нет.

— Ваши соседи — цари Шейбаниды. Лет четыреста тому назад им принадлежала вся страна. Все камнетесы, кузнецы, плотники, сапожники — как вот вы — работали тогда на них. Тут их должно бы быть около сорока, но на самом деле...

Сапожник, махнув рукой, равнодушно отворачивается от стены. Попрошавшись, я ухожу. Переулки благополучно выводят меня на площадь.

Из всего классического пантеона, в сущности, больше всего прав на бытие у Немезиды. Все,

насильственно вторгшиеся в память народа, естественно, этой памятью и отвергаются. Все эти шейбаниды умирают дважды, попадают под двойной поворот ключа забвения: сначала умирают они сами, потом начинается умирание их гробниц. Я не все рассказал сапожнику. Гроба шейбанидов, первых узбекских властителей, тяготевших над страной более сотни лет, поросли не только сорняком, но и легендой. Легенда эта, превратившая полководцев в «Дев», рассказывается так. Некогда жил человек, изучавший звезды. Издалека ему прислали ценный и редкий астрономический инструмент. У изучателя звезд было сорок дочерей и один сын. Он запретил им всем, грозя смертью, прикасаться к прибору. Дочери были нелюбопытны, но сын, которого притягивал таинственный звездомер, как-то в отсутствие отца стал поворачивать его колесики, пересекающиеся круги и трубу. Нечаянное движение сломало инструмент. Боясь наказания, брат просил сестер спрятать его. Те сделали, как он хотел. Разгневанный отец, увидев, что прибор испорчен, стал вызывать одну за другой своих дочерей, требуя раскрытия виновника. В ответ череда из сорока молчаний. И сорок смертей: отец не пощадил ни одной из ослушниц.

Легенда груба и примитивна. Это была, данная взрывку и перемешанная с небылью. В начале XVI века жил действительно царь и астроном мирза Улугбек, но он не был из рода шейбанидов и не убивал своих детей, а, наоборот, сам был убит своим внуком, захватившим престол. Следы его астрономической обсерватории недавно отысканы в окрестностях Самарканда. Следы легенды теряются в смутном и спутанном, от поколения к поколению искажаемом, воспоминании. Так или иначе, но и с легендами шейбанидам не повезло. Но легенд нельзя искать на пути могил. Трудно улавливаемая тропа легенды может быть найдена не столько видением, сколько угадкой. Если история требует, как говорят, «чувства истории», то легенда еще требовательнее. Легенды, как и растения, растут лишь по ночам. Следование за этими странными образованиями и исследование их, возможно при наличии как бы особого легендоскопа, мозгом, улавливающим сквозь историческое «было» столь же истори-

ческое «могло бы быть». Малейшее нарушение этого аппарата — и погибают сорок сороков легенд, дев, не родивших... факта.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО НЁБУ

Бюргер из немецкого анекдота, удивлявшийся, откуда господа студенты узнали имена звезд, разумеется, наивен, но не на все сто.

Хорошо, когда ощущаешь звездные точки на расстоянии световых годов. Но когда в прозрачные самаркандские ночи ощущаешь звезды странно приблизившимися, не шурящимися сквозь мировое пространство, а глядящими на тебя в упор расширенными изумрудными зрачками,— появляется чувство некоторой астрономической неловкости. И помнится, я не раз жалел, что «Путеводитель по нёбу» (Покровского) остался там, в Москве, на нижней полке.

Но если общаться с людьми ли, с звездами, не зная или путая их имена, невежливо, то знакомиться с кушаньями чужой страны, заходить в этом знакомстве так далеко, что даже съедать их, не интересуясь при этом их именами—это уже попросту хамство. По приезде в Самарканд я постарался тотчас же завязать самые дружеские отношения с жителями жаровен, разогретых казанов, сковород, горшков и вертелов.

Они, мои новые знакомцы, не хватали грубо за полы, как это делают порой их продавцы, а осторожно брали за ноздри, прося остановиться. Запахами, шипением, бульканием, скворчанием они всячески к себе зывали, себя не называя.

Поэтому пришлось прибегнуть к такому методу. Присев на корточки возле незнакомого мне кушанья, я просил продавца его назвать имя снеди. Те обычно удивлялись: едят ведь не имена. Но я настаивал. В результате нёбо получало новое вкусовое ощущение, а блокнот новое имя.

Со временем я собираюсь написать пространный «путеводитель по нёбу». В него войдут все гастрономические импресси, какие может дать восточный базар. Но здесь я притронуся только к нескольким клавишам того широко диапазонного инструмента, какой представляет собой даже теперешний, требующий настройщика самаркандский базар. Ведь иные

из клавиш западают, иные струны фальшивят. Так классическое поляу (плов) детонирует из риса в крошеную морковь (за недостатком риса).

Итак, в путь. Голод при мне. Фляга тоже. Зачем фляга? Видите ли, баран даже после смерти превращается в бурдюк, полный вина, а все здешние яства так пробаранены, что если время от времени не смывать жир с губ глотком из фляги, то... Ныряю под вывеску Узбинторга. К вывеске прислонен плакат, изображающий человека, утонувшего в бутылке. Мертвец синь и вздут, изо рта его кверху пузыри. Но это никого не пугает. Водку здесь цедают прямо из бочек. Во что угодно и сколько угодно. Можно принести бутылку, кувшин, консервную коробку, ведро и положить на стойку десять червонцев, червонец, рубль, полтинник, двугривенный: кран откроется или приоткроется и отольет или откапает копейка в копейку. Я видел однажды нищего, который, подойдя к бочке, высыпал целую грудку медажков; здесь было не менее двухсот скудных человеческих состраданий, быстро и точно превращенных сидельцем в капельно-жидкое состояние.

Разминувшись с утопленником, выхожу на базарную площадь.

Прежде всего надо приобрести нан. Наны лежат друг на друге как грампластинки: это плоские «лепешки», как тщательно выговаривают продавцы, не жалеющие трех ударений на одно слово. Желтовато-белая поверхность нана в легком точечном узоре. Если разрывать это хлебное колесо на ломти, то оно легко вкатывается в желудок. Вот у стены всхлипывает, захлебываясь в своем собственном жиру, беш-бармак. Беш-бармак по-узбекски значит «пять пальцев». Впрочем, едят его всемидесятью, пуская в ход обе «адамовы вилки». Блюдо получается от тесного союза теста и мяса: сначала вываривают из барана жир, и в тот момент, когда мясо готово им захлестнуться, тесто бросается на выручку, ныряя в жир; затем друзья дают себя — друг ради друга — резать на куски, с тем, чтобы после любовно смешаться в единый беш-бармак.

А вот баран в задумчивом посмертном одиночестве. Он лежит в монументальном казане, подпертом железными колонками; под тушей медленный приглушенный огонь; только редкие жирные слезы каплют на дно казана — покойный сдержанно оплакивает себя са-

мого; над гордо выпяченным курдюком белый — под цвет ему — бумажный свод, архитектурно завершающий мавзолеем края. Из курдюка, взятого отдельно, можно изготовить особое блюдо, так называемое думбе. Но не будем отвлекаться.

Если дать человеку, стоящему на страже у бараньего мазара, рубль или два, то он отрежет вам: кусок? нет — так бы сделали у нас в Москве, на Болоте — самаркандский же баранопродавец отрежет или оторвет пальцами целую серию крохотных кусочков, почти невесомых сувениров о самых различных частях бараньей туши.

Рядом с коем, на огромной черной сковороде расположилась целая семейка четырехногих чучвере. Это нечто, напоминающее наши пельмени. Но мучнистое тело чучвере сложено несколько иначе, чем у сибиряка-пельменя. Приземистый чучвере задирает все свои четыре припудренные мукой носика прямо в зенит.

Пересадка: со сковороды на тарелочки, расставленные вокруг нее. Чучвере разлучают. Тщетно они цепляются прижаренным подом за сковороду. Грубые толчки вилкой в бок, щепоти красной перечной пыли, посыпанной на головки осужденных, вслед разбрызг капелек кобыльего молока — и чучвере отдают на съедение ожидающим их человеческим ртам.

Однажды мне довелось наблюдать самый веселый способ изготовления чучвере. Это было в одной ашхане. Пилавчи, стоя перед рубленным мясом и тестом, левой рукой отщипывал клочок мяса, правой сворачивал раскатанное тесто в мешочек, вбрасывал в него мясо и отряхивающим муку движением ударял ладонью о ладонь: получался как бы короткий аплодисмент своему искусству. Но сейчас он у меня ассоциировался с лермонтовскими «рукоплесканиями» широкой арены. Песок базарной арены мягко стелется под шаги.

Вот еще гастрономические вариации на тему: баран. Резкий крик: «беррэ кебаб» заставляет меня оглянуться: разрезанный на шашлычные куски молоденький барашек резво кружит на вертелах. Неподалеку в тяжелом котле, прикрытом конусовидной крышкой, напоминающей шапку дервиша, зреет казанский кебаб, облизываемый снизу желтым копотным пламенем. Этот вариант — из больших неповоротливых кусков, густо пересыпанных луком.

Дальше пряный запах маленьких пухлых пирожков, начиненных всячиной: это подбодряющий уже еле волочащий за мной ноги аппетит острый гош. Рядом тертое из гороха с какими-то кислящими ее примесями зелено-желтое лобио. Можно и ложечку лобио. Но вот долма, находящаяся если не в родстве, то в свойстве с нашим голубцом, или кифта, приготовленная из особым образом битого мяса; одетая в пар шорба, не могу, как ни просят настойчивые завывания продавцов. Среди этих призывов к нёбу особенно выделяется один — жалостливый и длинный: «мазалеек» — запекает лирически голос подростка, сидящего над своим блюдом. Мазалеек ссыпан в кучу прямо на циновку, меж двух босых пяток продавца. Это небольшие овальные кусочки мяса, выкатанные в сахарной пыли. Продаются они десятками. Покупатели, роясь в куче мазалековых облепков, тщательно и терпеливо подбирают десяток пожирнее. Затем идет пересчет. После проверка продавцом. Облепки переходят из пальцев в пальцы, возвращаются назад в кучу и снова попадают на потные ладони. Сахарная пудра уже частью обсыпалась, частью перемешалась с базарной пылью.

Фляжка на ремне стала чуть легче. Еще чего-нибудь сладкого и назад — в прохладу хуждры.

Вот белая пузырящаяся, легкая иншалла. Это белки, взбитые особым образом с сахаром. Пузырьки надо прикрывать тенью, чтобы они не растаяли на солнце, прежде чем им растаять в чьем-нибудь рту. Вот приближается один маленький, заранее облизывающийся рот. Мальчишка сует иншаллалыщнику пятак и протягивает указательный палец. Продавец, взглянув мельком на монету, снимает ложкой немного просахаренной пены и намазывает ее на вытянутый палец покупателя. Палец ныряет в рот и возвращается без иншаллы.

Но еще лучше на сытый желудок рахати-джан, что значит «душа сладости». Изготавливается рахати-джан просто: из пористого снега, собранного с гор, и сахара.

Вокруг горы узума разных калибров — от крупно-ягодного до мелкого, славящегося своей сладостью. Здесь же на циновках и досках желтые россыпи урюка. Сладкий зазывный голос, напевно предлагающий отведать «миндальский халва». Маленькие пестрые из странно скрученных леденцовых нитей нананы.

Довольно. Домой. Но навстречу мне оборванный нищий старик. Его протянутая за подающим рука не пуста: в ней на деревянной ручке дымится круглая жаровня. Свободная рука нищего, порывшись в лохмотьях, вынимает какую-то зеленую щепоть и бросает на угли. Синий дым взвился над жаровней и снова опадает. Это продавец запаха. Я вижу: женщина с лицом, спрятанным под чучван, подошла к продавцу благовония, и, дав ему монету, слегка отстранила покров. Синий дымок, выгибаясь спиралью, юркнул под черную свесь. Чучван опустился. Продавец и покупательница продолжают свой путь. Но я кончил. Сытый до отвала желудок хочет привалиться в мягкое и уснуть. Наконец-то голова на подушке. Вокруг прохлада двусветной кельи. Перед тем, как заснуть, вспоминаю — сквозь полуявь — недавнее базарное квипрокво.

На глаза мне попались желтые треугольнички из теста с запрятанными под тестовую кожу какими-то таинственными пузырьками. Три раза спрашивал я женщину, продававшую неизвестную снедь, как называются непонятные пузырьки. Женщина или не понимала, или не умела, или не хотела назвать. Я упорствовал. Разговор привлек внимание соседей-продавцов. После нескольких оживленных с ними консультаций, женщина наконец понимающе улыбнулась и повторила несколько раз кряду: «гар-рох, гар-рох». Так как я был сыт, то завернул несколько треугольников в бумагу и отметил в блокноте: гар-рох. Через два «р» и с ударением на втором слоге. Через некоторое время, уже придя домой, я решил отведать гастрономическую новинку. Сунул треугольник одним из углов в рот и откусил: из-под зуба весело выпрыгнула зеленая горошина.

Так я был посрамлен в собирании фольклора нёба.

МЕЙДЭ-ЧУЙДЭ

Человек сидел перед квадратным ящиком, наполненным грудой ножей. Точнее, кинжалов. Еще точнее: ножами-метисами, помесью кинжала с простым кухонным ножом. Одни в простых одноухих ножнах, другие в тисненом полусафьяне, одни по самую макушку эфеса нырнувшие в кожу, другие любопытствующие, выставившие рукояти наружу.

Я подошел и притронулся к одной из рукоятей: канча? Продавец поднял в ответ руки, как для намаза, распрямив все десять пальцев. Я перевел глаза на другой нож, поскромнее. Левая рука торговца упала вниз. Глаза мои перепрыгнули на короткое лезвие, выставившееся из черной кожи — и тотчас же ладонь, подогнув мизинец, услужливым четырехпалым пододвинулось к ящику: этот?

Продавец играл на груди лезвий, как на терменвоксе, причудливую мелодию цен.

Виноградным гроздьям здесь обдергивают виноградины, нет, собственно, не у гроздий, а у рубля отрывают лишние копейки, пока не получится единица без дробей: бир пул. Даже в самом узбекском языке, в следовании его слов, название знаменателя дроби, все идет впереди числителя, части. Не «две седьмых», а «семь с двумя» (jettiden iki). Как не вспомнить известную гравюру английского мастера, изображающую сэра Фальстафа с мальчиком-оруженосцем, несущим позади его щит.

Старый Восток, Восток традиции, не любит одробления жизни, хроматизма копеек, размельчения дня на секунды. Не только узбекская песнь, при встрече с ней моего уха, оказалась строго диатоничной. И шаги здесь диатонично широки, потому что хотят скорее дошагать до бесшажия.

Запад и Восток по-разному видят время. Мы видим его с наших круглых светлых циферблатов, напоминающих диск солнца; это солнце мы каждое утро заводим и прячем в жилетный карман — оно у нас в услужении. У него только три луча: часовой, минутный и секундный. И странно: минутный длиннее часового, хотя мы из этого не решаемся сделать вывод, что минута в наших раздерганных жизнях оказывается иной раз больше и важнее часа.

Восток и сейчас еще меряет время колебанием длинны тени. И не тени солнечных часов, а просто тени, отброшенной столбом, выступом, стеной. Жизнь здесь — говорю о старом, исламистском Востоке — ориентируется не на солнце с его полднем, а на ночь с ее... но «полночь» — это уже дробь. Наши пифагорийцы встречали гимном приход солнца. Мусульмане приветствуют намазом — через закат — близящуюся ночь. Жизнь покорно следует за тенью: утром, когда она

длинна, и жизнь растягивается во всю длину базаров; к полудню, вместе с укорачивающейся тенью, укорачивается, втягивается в дома и жизнь, и только с наступлением ночи, когда тень поднимается во весь свой рост, Шахразада продолжает прерванный солнцем рассказ.

В сущности, еще года три тому назад мне удалось, идя как-то по Волхонке, свернуть в Кита Ходжа Ахрар. Это было в дни исчезновения мелочи: из кошельков, кондукторских сумок, кассовых сеток. Как бы хотелось прибавить: и из голов. Увы, головы наши именно в ту пору, как никогда, были набиты мелочью: желчинками, всплывшими в мозг, самоуколами, психической копотью, забившей все мозговые извилины. Мне предстоял большой конец от Сретенских до Пречистенских. Хотя я и держал в протянутой руке желтую рублевую бумажку, но она провезла меня метров на десять, не более: «нет сдачи» — «сойдите, гражданин». И я пошел параллельно перегоняющим меня вагонам. Трамваи стали для меня мнимостью, бесполезным грохотом, который лишь отвлекал от моих пешеходных дум. Я мысленно вырезал рельсовый путь из каменной ленты улицы, дома сдвинулись, и уличный извив стал похож на ручьеобразный ход длинных улиц Востока. У перекрестка сидел мальчонка, подоткнув колени под застекленный ящик со спичечными коробками. Я помахал ему рублем. Мальчик, откинув стекло, стал отсчитывать пять десятков набитых спичками коробок. Я отрицательно покачал головой: лучше ни одной, чем пятьдесят. И снова трепаная желтая бумажонка вернулась в карман, а я продолжал путь. Минутная стрелка уличных часов, точно стряхивая с себя брызги секунд, дернулась и переместилась на деление. Она прошла уже почти полкруга, а мне еще шагать и шагать. Дело уйдет раньше, чем я дойду до него. Но инерция шага продолжала переставлять мои ноги.

Вот киоск. У киоска очередь. Она восково неподвижна, и головы стоящих повернуты не к оконцу, а назад: они ждут человека с гривенниками и копейками. Бело-синие, желтые, зеленые бумажные флажки склоняются перед гривенником, самодовольно разрывающим очередь. Перед ним сторонятся, почтительно уступают место: так в Калькутте индийские

турбаны отжимаются к стене, чтобы пропустить белое кефи.

Иду далее. Замечаю: самый шаг мой из скороступи превратился в размеренную, почти паломническую поступь. Так идут, вероятно, пыльным проселком, ведущим к Мекке. И серый куб дома, близящийся навстречу, сквозь вечерний сумрак, чем-то напоминает о камне Каабы. Подхожу ближе: нет, дом, как все, в переблеске стекол и цепью номеров над подъездом. Но у подъездной ступени ссутулившийся нищий. Он до того опечален, что даже не просит. Бесполезно. Кормившие его копейки, алтыны и пятаки исчезли из обращения. Он сидит над пустой деревянной чашкой, погруженный в горестное созерцание. Как дервиш, который... что за странная мысль: моя желтая бумажка падает в чашку. «Спасибо»,— это сказал я, а не он. Рубль за мысль, которая вошла в это мгновение в мои глаза,— это ведь почти даром.

Как-то над ступенями одной из мечетей (имя забыл) я увидел плачущего ребенка. Его посадили на верхней площадке, но сойти назад он не мог: ступени для него были слишком высоки. Игра в единицы, в целостности, пожалуй, самая опасная из всех игр ума. У нас она привела к «первой заповеди» и витализму. На старом Востоке она сделала гораздо больше культурных разрушений. Поиски целого, отказ от мейдэ-чуйдэ напоминает процесс раскрытия японских коробочек, вложенных друг в друга. Но есть и разница, она заключается в том, что процесс раскрывания начинается изнутри и что проделывает его одна из коробочек, самая малая, называющая себя «я». Как только она попытается самораскрыться, приподнятая ее крышечка упирается в крышку облегающей ее большой коробочки, приходится приоткрывать и эту, большую, и писать «я» с большой буквы; и так, пока мысль не попадает в самую большую, герметически запечатанную и поэтому полную тьмы коробку. Пытаться охватить весь мир — это значит не сделать ни одного шага.

Еще с отроческих лет в память мою попала — невесть откуда — легенда о некоем ученом мусульманине, который хотел постигнуть все целое, но дела которого постоянно заставляли путешествовать. Не позволяя все же делам вторгаться в дело жизни, ученый возил за собой на двенадцати верблюдах библиотеку. Но дела,

очевидно, мстили за уничтожение — и ученый стал постепенно беднеть. Постепенно сокращая свою библиотеку, отбирая самое ценное и из ценного ценнейшее, он возил ее в своих странствиях уже не на двенадцати, а на шести верблюдах, потом на двух, и наконец — на одном. Но случилось, что последний верблюд пал в пути, вдалеке от жилья. Бедный эффенди принужден был отобрать наиценнейшее среди ценнейшего, так как был стар и не в силах поднять на себя всего книжного груза. Но мейдэ-чуйдэ, мелочь продолжала злобствовать, и дряхлый постигатель всецелого должен был продать последнюю пачку книг.

Перед тем, как расстаться с друзьями своей мудрости, он сделал из них выписки, отжал сок смыслов, из выписок снова выписки, пока не дошел до фразы «аллах иль аллах, Мухаммед россулях». Написав эту строку на дощечке, он повесил себе ее на шею и стал у перекрестка, как нищий.

Возможно, что легенда возникла среди одной из дервишских сект, дивана, чьи исступленные пляски ввинчивания в пустоту, кружения оси, потерявшей обод, можно было еще так недавно видеть около Лаби-хауза в старой Бухаре.

Мне удалось наткнуться, правда, на довольно смутные, исторические указания, говорящие о том, что торговое посольство Небесной Империи, доехавшее в конце XV столетия до Амударьи было очень огорчено и разочаровано, узнав, что Аму во что-то еще впадает и что вообще за степями Двуречья есть еще какой-то мир. До сих пор им думалось, что степи эти постепенно переходят в ничто. Вероятно, эти купцы были по тому времени очень просвещенными людьми. И, конечно, нельзя не посочувствовать их философическому огорчению. Действительно, если мир можно понять только как целое, как великую единицу, то выгодно для познания, чтобы он, мир, был по возможности меньше. Иначе какой же смысл заниматься смыслом.

Мы, европейцы, не относимся с пренебрежением к мейдэ-чуйдэ. Мы не стыдимся не только учиться на медные гроши, но и изучать те медные гроши, на которые разменена ценностность мироздания. Мы благодарны каждой крупнице знания. Мы начинаем не с суммы, а со слагаемых. Потому что сумма — это

нищенская сума любого из своих слагаемых. Если подходить к вопросу чисто методологически.

Человек, ставший меж двух наших эпох, средневековья и современности, Картезиус-Декарт, в ответ на письмо своего престарелого школьного учителя, напоминавшего, что он ему «учитель», отвечал: о, да, он готов назвать себя «почтительным учеником любого дождевого червя», попавшего под его «скальпель и лупу». Ступени наших лестниц, по которым мы ходим, и ступени наших логических скал, по которым мы мыслим, всегда часть, дробь по отношению к росту идущего и поперечнику сознания. Но сами мы, в самомнительнейшие минуты нашей жизни, когда нам кажется, что наше «я» есть завершенность, единица, не более, чем «дробь, вставшая на цыпочки»: это, собственно, не моя мысль, а мысль одного из моих персонажей. Иной раз выдуманное выдумает такое, к чему лишь позднее приходит выдумавший выдумщика. Так или иначе, если дробь, привстав на цыпочки, и может дотянуться до себя, как до единицы, то поза эта слишком утомительна и не может долго длиться.

Уже на обратном пути из Узбекистана, листая свои записи, я увидел сквозь их строки новеллу, точнее, костяк новеллы, который когда-нибудь, может, и обрстет живой тканью. А пока перескажу его с остеологической сухостью.

Мелкий советский служащий. Допустим, счетовод. Каждый день от дома до службы и обратно. И каждый день счетные костяшки под пальцем — по стержню — от края рамы до рамного края, и обратно. Но человек, служащий в прислугах у чужих цифр, все же сын запада. Ему знакома тяга пространства. И раз в году, получив двадцать один день в собственность, он выбирает, после долгих раздумий, какой-нибудь дальний маршрут. Счетовода притягивают белые пятна глобусов и ландкарт. Его подштопанным подошвам хочется ступить туда, куда «не ступала ни одна человечья нога». Но белые пятна для избранных, для любимцев бога путей. Счетоводам же надо ездить в Федосию или в Ейск. И лишь в крайнем, крайнем из крайних случаев... и герой мой берет билет до одного из городов Туркестана. Дни убывают быстро, деньги еще быстрее. Еле достигнув цели, приходится в очередь за обратным билетом. Вдалеке, за голубоватой

завесой воздуха виднеются смутные контуры предпамирских гор. Но Предпамирье — это уже для бухгалтера или заведующего канцелярией. А счетоводам надо назад. В последний вечер перед отъездом бродит он от чайханы к чайхане и мимо затухающего базара. Неожиданно знакомство у опорожненной пиалы. Сначала встретились глазами, потом навстречу друг другу слова. Новый знакомец немолод; редкие длинные зубы из-под нестриженных усов, грязноватая чалма, свесившая плоский язык на плечо, протертый, выцветший халат. Но по-русски говорит довольно бойко, умеет спрашивать, качать в такт ответу головой и сочувственно прицокивать. Разговорившийся счетовод от закончившегося путешествия переходит к неначатым, настоящим, делится огорчениями и надеждами, и в откровенности своей доходит даже до мечты о белых пятнах. Слушатель его полон сокрушенного сочувствия и готовности помочь. Он придвигается ближе к собеседнику, взволнованно притрагивается к его колену и рукаву, оглядывается по сторонам и переводит голос в шепот. Помочь бы можно. За самые скромные деньги. Но... приезжий заинтригован. Спрашивает: как? В ответ отрицательные кивки головой. Он настаивает. Тогда новый друг, пододвинувшись губами к уху собеседника, сообщает: у него есть пузырек — от прадеда к деду и отцу, от отца к нему переходил он по наследству — а в пузырьке под шестизвездой шахрудовой печатью запрятана ...Что? Снова долгие отказные движения головой, вздохи о нерушимости печати и тайны. И наконец, под затиском печати там хранится тайное средство для выведения белых географических пятен. Приезжий хохочет, абориген тоже, но не очень веселым и вместе с тем прощающим смехом. Так мудрые смеются неверию невежд. И вскоре гость Востока даже без легчайшей улыбки слушает брюзгливый причет человека в чалме: люди оттуда, из Москвы, дети-люди, они, как тень карагача, движутся сперва вперед, потом назад и опять вперед; а сам карагач смеется над своей тенью и не ходит ни вперед, ни назад, а только невидимо для глаза вверх и вниз; их глобусы, по которым учатся в школе дети этих детей, глобусы, круглые, как карагач, вертятся вокруг своих стволов; и глаза людей с заката тоже кружат, ища новое и новое, это маленькие глобусы,

заболевшие вертячкой и ворочающиеся с боку на бок, пока их не прикроют белым пятном смерти; они истирают свои подошвы о землю, гоняются за солнцем, убегающим в закат,— а между тем достаточно одной капли из-под шахрудовой печати на кончик вот этого платка, достаточно чуть потереть смоченным углышком о белое пятно глобуса и... И? — спрашивает гость с запада. Он не все понял в этой дивагации, но однообразное кружение слов, маятниковое — в такт словам — качание чалмовой свеси передалось его мозгу. В мыслях счетовода уже перекачиваются монеты. Если экономить в дороге, то, может быть, у него хватило бы на две-три капли. А продавец шахрудовой тинктуры продолжает нахвал товара: о, он знает силу своего пузырька, он мог бы сам, при его помощи, обойти всю землю, ни разу не коснувшись ее ступней, но зачем ему земля, он охотно готов уступить ее другу; а ему, владельцу тайны, ничего не нужно, разве несколько затяжек наргиле и глоток шорбы в день; друзья познаются по их благодарности. Пусть саиб странствует, а он, сидя на своей старой циновке, будет смотреть, как странствует дым над водой его кальяна.

И покупатель из собеседника превратился в спутника. Двое молча идут по пустому руслу ночной улицы. Отщелк висячего замка, низкая притолока, сараеобразная комната без окон. Темнота неохотно отступает от огня ночника к углам. В одном из них, среди всякого хлама, железным меридианом кверху поваленный наземь глобус; он на подкривленной у основания оси, но, очевидно, старинной работы. Он не знает или притворяется, что не знает, ряда давно открытых островных точек, стран и даже морей. Он весь точно в хлопьях белого, точнее порыжелого мартовского снега. Продавец присел у глобуса на корточки и начинает свои манипуляции. Вот блеснула пузырьчатая скляночка. Вскрыв ее, человек, распластавший полы своего халата крыльями по земле, нюхает сам и приближает склянку к ноздрям наклоненного над глобусом покупателя. Еще? Можно и еще. Аромат шахрудовых капель горьковат, прян и будто из уколов. «Люди собирают мир в глаза — они не знают, что его можно вынуть из глаз, что можно сжать горсть звезд в небо вот так», — и продавец делает движение зажатым в пригоршни смоченным платком. Перед глазами

покупателя тинктуры промельки искр, разгорающихся в пламена. Сквозь их лет он уже не совсем ясно видит, как глобус поворачивается под пальцами странного знакоца, и словно не глобус даже, а голова, его собственная голова, пересаженная с шеи на железную ось, мягко поддается под толчками рук. Вот пестрокрылый выбрал: приостановив кружение, он притрагивается влажным углышком ткани к оваловидному белому пятну.

«Такла-Макан»,— шепчет он, подморгнув совиным веком,— и тотчас же пятно начинает расти и распестряться: желтая зыбь песков, змеевидные выгибы безлистоного саксаула, черный провал колодца с круглой вырезкой из неба, упавшей на дно. Внезапный ветер бросает навстречу глазу кружащийся клуб песку; клуб, тьма пустыню, вворачивается в себя, оваловидно стягиваясь,— и снова перед глазами на вспучине глобуса небольшое, сейчас чуть влажное овальное пятно. «Кутб шымалы» — и из-под трущих движений ткани выступают стеклисто мерцающие полярные льды; солнце вечного дня остановилось, точно заледенев у горизонтного круга; лучи его, ударившись о ледовые грани, разбились на пестрый дребезг спектра; чья-то жирная, сизая лопасть выблиснулась из полыньи и снова нырнула вглубь. Холод так силен, что кругозор начинает стягиваться; круглый горизонт, ежась, у малывается и набегает на зрение; от страшного сжима сквозь пейзаж проступили его ребра — это радиально расположенные черные линии, ясно теперь различимые сквозь прозрачность льдов; видны даже цифры — 85° — 86° — 87° ... и снова круглое арктическое пятно глобуса.

Не буду продолжать. Развернуть ряд прозревающих глобусных белым дело писательски нетрудное. Ясна и сюжетная концовка. Она вряд ли допустит много вариантов. Только боюсь, что преждевременным рассказом о своем будущем рассказе я у него отнял право на рождение. Недозрелый плод можно, конечно, вынуть из чрева. Но как его вложить обратно для дорожденности — наукой до сих пор не дознано.

Запад и Восток сталкиваются не мирозерцаниями, а миром и созерцанием. Мы строим мир, тщательно освобождая его от налипей созерцания, конденсируем действительность в чистую действенность; мы учим наши ноги широкому спортивному шагу, а не старовосточному подгибу пяты под пятую. Восток же

старых мектебэ, седебородых муталлимов, домулля, затейливых пожелтелых писаных китабов — это созерцания без мира, пустая чашка нищего в городе, лишенном мейдэ-чуйдэ, колодец без воды, оставившей после себя лишь солевой осадок, бессильная попытка взять ступень, превышающую шаг.

Самые уклады этих противостоящих жизней таковы, что попытка быть исключением карается бытом. Так солипсист Штирнер, провозгласивший себя «единственным», а мир своей «собственностью», принужден был сесть в тюрьму — и даже не в одиночную камеру — за неуплату долгов кредиторам, находившимся в его «собственном» мире. Еще ранее философ Фихте попробовал разжаловать мир в простое «не-я», объявив последнее «манифестацией» я. Но однажды случилось так, что студенты, протестуя против некоторых выводов (несомненно, логически честных и последовательных), устроили манифестацию пред стенами фихтовской квартиры и побили профессору окна. Тайный советник Гёте, возглавлявший просвещение Веймарского герцогства, хотя и заступничал за пострадавшего, но в письме к одному из своих приятелей писал приблизительно такое: случай, конечно, прискорбен, но спиритуалисту господину Фихте полезно все-таки удостовериться, что «не-я» не спрашивает разрешения у «я» на битье стекол. Арабский философ Аль-Газари жил еще во время слюдяных окон (XI в.) и не терпел от вторжения не-я, наоборот, жизнь его, по преданию, проходила при дворах ряда арабских властителей вполне благополучно. Но тем не менее он учил, что философов, отрицающих наличие зла в мире, следует бить палками по пяткам до тех пор, пока они не признают ошибочности своего миропредставления. Поскольку, как указано, аргументатор этот был придворным мудрецом, то нельзя считать доказанным, что максима эта не получала никогда практического осуществления.

IV

МЫСЛЕГОРСК И ЛЕГЕНДО-СТРОЙ

У Количества свои десять пальцев, десять цифровых знаков, которыми оно дощупывается почти до всего. Длина рук Количества не меренная, но, думаю,

есть предел, дальше которого им не протянуться. Я очень люблю цифры. Но без взаимности. Они как-то сторонятся меня. И, нарушая очеркистский обычай, я не привез с собой числа труб, раскуривающих свое фабричное наргиле под небом Туркестана, количества гектаров, перешедших из-под риса под хлопок, процентных отметин роста грамотности и других цифр. Все это сделано до меня и без меня теми, кто это может сделать много лучше моего. Я — существо в наглазниках, и мне уютнее всего в расщепе моего пера. Правда, у станции Каган я с волнением видел вынырнувшие из-за холмового горба горбы верблюдов с притороченными к ним огромными кошмами, вздувающимися от хлопка; хлопковая ость, пробиваясь наружу сквозь мешочные поры, казалось, продолжала после-смертный рост.

Помню и чуть подболоченные рисовые прямоугольники, взятые в земляные фрамуги. И особенно запомнился мне экскаватор, окунающий свои черпаки в воду заиленного арыка. Экскаватор был стар и скрипуч; проворачивая свою тугую цепь, он ржаво брюзжал: черпай-черпай, а ради чего; все равно на смену песку песок и илу ил — или не так? Скрипи, чтобы пили, скрежещи от надсады, чтобы сады над арыком процвели.

И как ни плакался, скрипя зубьями о звенья цепи, старый брюзга, мотор внутри его продолжал вращать черпаки, разлучая арычье дно с поверхностью.

Но я так и не научился отличать американский хлопок от египетского и двуногой прогулке по полю, засеянному злаками, предпочитаю двуглазую прогулку по книжному полю мимо бороздчатых строк, засеянных черными знаками. Здесь я у себя, здесь я не боюсь спутать литературную рожь с пшеницей, здесь мне ясно выколосование смысла, степень всхожести посева идей. Никогда не забуду, с каким вниманием в свои самаркандские утра я следил за раскладкой узбекских брошюр и листовок на книжных ларях, что расположились у начала Регистанской улицы. Это, в сущности, еще и не посев. Это только предпосевная литературная кампания. Вот, например, «Мои университеты» Горького, переведенные на узбекский язык. Книга сплюсцилась в листовку, заглавие «Как я учился». Да, новая узбекская литература,

литература латиньяляшдырыша, пока чистая ученическая тетрадка, начинающаяся таблицей умножения, прижавшейся к обложке. Но в таблице умножения искусство умножать, обещание богатств. Каждая же белая страница напоминает мне снежную поверхность: чуть прикоснись лучом пера, снег стаял и таившаяся озимь — под взгляд.

Итак, в дальнейшем я сосредоточиваюсь на будущих днях литературы советского Туркестана. Я постараюсь угадать (разумеется, в пределах отпущенной мне догадливости), как сочетается вот эта фигурная полуобсыпавшаяся куфическая надпись на стене медресе с латинизированной строкой над входом в библиотеку, в kitab-хану. Прежде всего оглядываюсь с некоторой опаской на мои азартные рассуждения о «Западе» и «Востоке». Это традиция, из которой я не попытался выпрыгнуть. Может быть, потому что боязно прыгать на ходу.

В Тану-Тувинской республике, где-то на огороде у аила Салдам стоит шест, на шесте доска, а на доске: «центр Азии». Шест был водружен неким англичанином, который, вычислив центр неправильной плоскости азиатского континента, пришел сюда, преодолевая огромное расстояние и множество трудностей пути, чтобы «осмотреть» математическую точку. Корабли, идущие в долготном направлении через Великий океан, пересекают условно проведенную демаркационную линию, отделяющую сегодня от завтра: судну, пересекшему линию в восточном направлении, присчитывается один восход и один закат, и есть момент, когда на носу парохода одна календарная дата, а у кормы его — другая.

В области культуры мы тоже с тщанием отчерчиваем понятие Запада от Востока, часто не желая понять всей условности такого рода демаркационных разливаний. Конечно, нет никакого самодовлеющего Востока и самозаконного Запада. На самом деле они непрерывно переходят друг в друга, опрокидывая все отсихпоры и досихпоры нашего рассудка. Именно это дает мне мужество додумать начатую мысль.

На северо-востоке страны в Узбекистан открываются Джунгарские горные ворота. Полторы тысячи лет тому назад сквозь них прошла — держа путь с востока на запад — череда народов. Это была беспокойная

длительная эпоха их переселений, перемены становий. И затем движение прекратилось. Джунгарские ворота широко раскрыты и ждут. Но народы живут не в кибитках, а в небоскребах и не намерены переселяться. И тем не менее покоя нет, мимо врытых глубоко в землю фундаментов непрерывное движение все новых и новых сотрясающих мир смыслов. Я давно уже привык называть это: эпоха великого переселения мыслей. Но мысль больше похожа на птицу, чем на человека. И наши головы лишь гнезда, в которых она выводит свой выводок... выводы. Стоит мне закрыть глаза, хотя бы вот сейчас, и я почти вижу стаи мыслей, перелетных идей, совершающих свой лет с запада на восток и с востока на запад. Оттуда, из страны закатов, логические косяки трехкрылых силлогизмов. Это — ночные птицы познания. Они вообще дискурсивны. И когда логический холод переходит в логическую стужу, начинается перелет.

Отсюда же, из страны сказок и созерцаний, поднимаются легко парящие пестроперые образы, эти крылатые джинны и ифриты поэзии. Образ вообще летуч: как аромат. Взгляните на старый текинский ковер: красочный орнамент его так легок, что, кажется, достаточно одного удара ветра, чтобы рисунок взлетел над ковром рисунком-самолетом. Сидя теперь под косыми лучами заката на привычной ступеньке моей комнаты, впутывая глаза в закаменелый ковровый узор внутренней стены Тилля-кари, я упрямо возвращаюсь мыслью к ненаписанной литературе завтрашнего Узбекистана. Прежде всего мне представляется, что здесь, среди этой природы, людей, завернутых в пестро орнаментированную ткань халатов, рядом с синим куполом древней Биби-ханым, пробующей переблистать своею синью синь самого неба, невозможно осуществить реализм, по крайней мере, того реалистического коэффициента, который так свойственен нашей художественной традиции. Пейзажи, солнце, быт, странно сочетающий элементы старины и новизны — все это толкает в фантазию. Дальние очертания гор, полускрытые чучваном пыли, постоянно меняют свои очертания, как облака. Облака же вообще всегда больше интересовали романтика, чем реалиста. Это не трудно было бы доказать путем простой литстатистики.

Принцип так называемого ультра-микроскопа в том, что наблюдаемый объект, включенный в яркий луч, раздвигает (так кажется глазу) свои размеры. Но луч самаркандского предосеннего солнца действует именно ультра-микроскопически; мелкие пылинки, попав в него, оптически разбухают в золотистых мошек, совершающих свое брачное кружение. А что такое легенда? Это — малый, пылинно-малый и пылинно-серый факт, увеличенный, гиперболированный ярким его освещением. Следовало бы под луч ультра-микроскопа — и самое понятие «реализм». Обычно он оказывается и в наших практиках и в наших теориях — обнищавшей реальностью, точнее, бедным литературным ее родственником, приживалом самой жизни. Литература «жизни как она есть», работая поприживалочьи, своими беззубыми деснами не может разгрызть косточки факта, обдирая лишь его мякоть. Наш реализм фатальным образом всегда в близком соседстве с бытовизмом. Но быт («и я» бытия) — блеклый и искаженный повтор.

Э. Золя, пытавшийся создать теорию реалистического (даже натуралистического) «экспериментального романа», не оказал должного внимания понятию «эксперимент». Эксперимент, хотя и направлен всегда на природу (на натуру), но никогда не бывает натуралистическим. Говоря терминами именно наших теоретиков реализма, можно легко заставить их признать, что самое неестественное из всего нам известного — это лаборатория естествоиспытателя. В самом деле, в лаборатории этой приборы, дающие атмосферное давление в сотни и тысячи атмосфер, устройства, поднимающие температуру до 3000°C и выше... Но ведь в той «действительности», в которой мы живем, воздушное давление колеблется лишь в пределах одной (с малым процентным привеском) атмосферы, а жара в 50° законно описывается реалистами как «нависший над землей неподвижный, неестественный зной».

Фантазм Э. По, концепции Г. Уэллса, образ «шагренево́й кожи» Бальзака реальны, чтобы оставаться в пределах ходового реализма. Художественное познание, как и научное, идет не по касательным к вещам, а по линиям центров, в вещи.

Узбекистан будет добывать и разрабатывать руду гор, столпившихся вокруг Ферганской долины, соби-

рать хлопок с бухарских полей, добывать образы и темы из старых и юных пейзажей страны, руин и новостроек, быта, тянущегося в бытие, и быта, уходящего в смерть.

Но и руда, и образ, взятые, как они суть, нуждаются в «обогащении». Обогачительные процессы, как известно из фабричной практики,— сводятся к удалению из прорабатываемого объекта чужеродных примесей, ослабляющих его действенность.

Роль такого обогапителя, обогапителя факта, выполняет легенда. Ведь люди внутренне настроены на деяния, но внешне не идут дальше дел. Деяния — материал легенды, дело — история. Легенда как бы возвращает дело в его первоначальную стадию, когда оно было деянием, переигрывает опровергнутый шахматный ход заново. Закон исторической игры: «тронуто — пойдено». Закон игры легендами: тронуть непоиленным, транспонировать внутреннее действие вовне, никак и ничем его не снижая. В этом, в сущности, и заключается сущность фантазии. А без фантазии нельзя, как отмечал В. Ленин, «и пуговицы пришить». Здесь же, в этой стране гигантских неосуществленностей, в ближайшие же годы придется перешивать устье огромной реки, оторвав его от одного моря, чтобы прикрепить к другому. Как это сделать без затраты воображения? Тысячеверстия Кара- и Кзылкумов должны быть заселены сперва фантазией,мыслеобразами, цифрами, а затем уже можно развязать воображение и высыпать из него, как семена из мешка, мыслезаготовки вовне. И литературе предстоит в этом деле сложное и трудное задание: научить умы видеть то, чего еще нет, притом с такой ясностью, как если б оно уже было. Образы ее должны быть предельно реальны, иначе они никого не убедят; но жить они должны за пределами реального, вне осязаемости, на некотором отстоянии от протянутой руки. Точнее: от притянутой, притягиваемой ими руки.

Понадобится много легенд, целый литературный Легендострой, образы которого, вместе с контрольными цифрами и научными схемами, двинутся в будущее, не дожидаясь его прихода.

Самый верный путь для узбекского слова: через реализм в реалиоризм.

В первую же ночную встречу с Шахриаром Шахразада сказала: «О, царь, у меня есть маленькая сестра, и я хочу с ней проститься». Царь послал тогда за Дуньязой, и она пришла к сестре, обняла ее и села на полу возле ложа, и тогда Шахриар овладел невинностью Шахразеды, и они сели за беседу. И младшая сестра сказала Шахразде: заклинаю тебя Аллахом, сестрица, расскажи нам о чем-нибудь, чтобы сократить бессонные часы ночи.

— С любовью и охотой, если разрешит мне безупречный царь,— отвечала Шахразада, и, услышав эти слова, царь, мучившийся бессонницей, обрадовался, что послушает рассказ, и позволил».

Отсюда и начинается длинная нить с постепенно нанизываемыми на нее сказками; задача рассказчицы — вдевать нить в новую сказку как раз в тот момент, когда ее, нить, хотят оборвать; стимул к этому прост и убедителен — нить сказок в то же время нить жизни сказочницы.

То, что губило ширдоревского харифа — краткость южных ночей,— Шахразде было лишь на пользу: сказки ее всегда оказывались немного длиннее ночей, рассказ обрывался на полуслове обычным «но тут застигло Шахразеду утро и она прекратила дозволенные речи». Однако этот прием мог оказаться недостаточным; и к нему присоединяется: «куда этому до того, о чем я расскажу вам в следующую ночь, если я буду жить и царь пощадит меня» — это уже договор о занимательности (неустойка — смерть).

Анализ первой же сказки 1001 ночи показывает, что это сказка о рассказчике. Схема: некий купец выплунутой финиковой косточкой убивает невидимого маленького сына могущественного джинна; джинн, представ перед убийцей, требует жизнь за жизнь. Купец согласен, но просит позволить раньше уплатить свои торговые долги: уплатами то одному, то другому кредитору он, подобно Шахразде, действующей сказками, отодвигает срок своей смерти. Когда длить это оказывается невозможным, честный купец несет свою жизнь к условленному месту встречи; но по дороге к нему присоединяются трое старцев, которые, придя вместе с должником к все еще требующему смерти кредитору,

рассказывают ему опять-таки отодвигающие казнь сказки, требуя в уплату за каждую треть крови убийцы. Развязка ясна.

Таким образом, выдуманная своими создателями Шахразада легендизирует свою собственную ситуацию. Это вполне понятно: ведь каждая ее сказка может оказаться последним из сказанного ею, а последние слова, осознающие себя последними, всегда звучат как завещание. И этому нашим советским поэтам следует поучиться у Шахразады: каждую свою вещь писатель должен писать как последнюю, вкладывая в нее все смыслы, какими он владеет.

Впрочем, у ложа Шахриара и Шахразады всегда находилась внимательная слушательница девочка Дуньязада. 1001 ночь — это без малого три года; притом у Шахразады рождались не только сказки, но и дети, что, разумеется, на время разрывало цифры. И к концу цикла Дуньязада превратилась из подростка в женщину. Она прошла хорошую школу слушания — теперь ее черед рассказывать.

Но самое имя ее от слова «дунья», что по-узбекски (так и по-персидски) значит «мир». Не ложу, а миру даст она свои сказки, не тирану, страдающему бессонницей, а проснувшемуся после вековой дремы народу, не 1001 ночи, а тысячам и тысячам трудовых дней.

Пафос монархии, особенно абсолютистской, всегда направлен на прошлое. Монархии опираются на плиты могил, с их «сын сына сына»; заслуги предков — взамен дел живущих; генеалогическое древо, растущее ветвями вспять и выставившее корень в пустоту. Во время закрепления таких династий появляются угодливые историки и поэты-эпики, пишущие медленными размерами бесконечные шах-намэ, то есть описи царей и деяний. Такого рода дастаны, поэмы царей обычно обрываются вместе со смертью эпика, не успевающего дойти из глубины плюсквамперфектума до настоящего времени. И новый преемник, подобрав последний стих, длит шах-намэ дальше.

Но ветер истории, налетающий из будущего, сначала раскачивает, потом щепит и губит генеалогический лес. Троны качаются. Что делать? Прошлое изменило, сущность будущего в изменении, — остается цепляться за настоящее, за «после нас хоть потоп». И эпика сменяется поэзией настоящего, лирикой.

Психологически доказано, что не существует памяти эмоций: можно вспомнить геометрическую фигуру, дату, лицо, слова любви, но не эмоцию. Иначе разлюбивший, вспоминая чувство, опять бы переживал его, то есть влюблялся снова; этого не бывает. И только при помощи лирики можно изловить настоящее и в силки: на лету.

Но настоящее, возразят мне, это непрерывно движущаяся временная точка, оставляющая после себя все длиннющуюся линию прошлого. Пусть так. Однако линейное представление о времени не совсем точно, так как время имеет все-таки поперечник, другими словами, настоящее имеет некоторую, правда, очень незначительную длительность.

Как петля сети не должна быть больше рыбы, на которую сеть ставится, так и строфа лирического стихотворения не должна по длине намного превосходить длительность настоящего.

По вычислениям американских психологов длительность настоящего колеблется от одной десятой до трех секунд. Ясно: чтобы успеть «сделать» настоящее, то есть лирически заполнить его, раньше чем оно уйдет, заставить настоящее выслушать слова о нем — необходимо предельно сжать слова и сколь возможно растянуть настоящее (то есть промежуток между двумя осознанными изменениями в содержании сознания). И Восток в этом смысле чрезвычайно благоприятен для лирики. С одной стороны здесь изобретены строфические микроформы — семнадцатисложные хай-ка, звукоорганизмы «танка», короткие двустрочья байтов (персидский, узбекский и чагатайский языки), мгновенные прыжки рифмы через рифму всевосточной газеллы (газаль), с другой стороны — самый поперечник времени, длительность настоящего на Востоке несколько больше, а пульс времени замедленнее. Стоит внимательнее взглядеться в глаза людей, сидящих на подгибах ног по чайханам, в эти красиво прорезанные, акварельно вписанные меж фарфорово неподвижных век глаза, чтоб понять, что настоящее здесь не так уж торопится уступить место другому настоящему, а страдающую тиком, оттикивающую миги секундную стрелку тут до сих пор с успехом заменяет древняя мера времени — верблюжий шаг.

И любопытно отметить, что поэзия настоящего, мастерство байтов, кратких лирических сигналов, раз-

вивалось здесь именно в наиболее тревожные исторические моменты, обычно у стыка сменяющих друг друга эпох. Наилучшим примером могут быть лаконичные, в нескольких секундах умещающиеся стихи знаменитого султана Бабура (XVI в.), писавшего в период катастрофически быстрого упадания значения старых торговых путей Средней Азии и лихорадочных поисков связи с Индией.

Но после того как приходит «потоп», он смывает вместе с царствами и тронами лирику и эпiku. Народу, и особенно рабочей его части, незачем склонять знамена перед своим прошлым. Обычно оно ему враждебно. Поэтому нужно позаботиться лишь о том, чтобы это прошлое действительно прошло, и обезопасить себя от его вторжений. За мгновеньности, за лирические соломинки хватается лишь утопающий в потоке революции, а не сама революция. Поэтому ей, вочеловеченной в массах, остается одно: будущее. Добывая прошлое, преодолевая искушение настоящим, люди революции строят грядущее. Наше слово «потомки» выражает пассивное отношение к будущему; но есть другое старославянское (как ни странно), которое называет поколение, идущее вслед за нами, «зиждемии» (строимые).

Будущее, как и все другое, разумеется, можно строить, вместо того чтобы просто подставлять себя под него, принимать свое завтра и послезавтра в готовом виде. Можно и надо отказаться — и в этом вопросе — от потребленчества и перейти к производственности. Фундамент для будущего можно класть заранее, заранее же можно исчислять его план и соотношение частей. Его можно настолько точно вычислить, что оно, будущее, получит право иметь своих историков, и вспоминателей предстоящего к свершению.

Мало того, может быть, удастся и самое легенду переселить из прошедшего, в котором она так долго зажилась, в просторы грядущего. Литература станет художественной разведкой, брошенной навстречу дням. На смену броуновскому движению чувств — истонченная техника предчувствий; вместо апарципирования — точнее впереди его — антиципация.

Легенде все труднее и труднее ютиться в темных уголках прошлого. Фонарики историков высвечивают ее из всех укрытий, делегандизируя в исторически проверенный факт. Да и самый род занятий легенды среди

умерших столетий мало почтенен: окликать сзади, заставлять оглядываться назад, во время, напоминать о гигантском некрополе истории. Не лучше ли ей, легенде, идти впереди событий, звать в них, художественно восхищать предвосхищением.

Рабле, говоря о любителях обсуждать вопросы формы, называет их людьми, «предпочитающими рукава рукам». Но думается, что и рукава, особенно среди не размерзшихся в жизнь дней будущего, вещь, о которой необходимо позаботиться. Такой формой будет не лирика, никогда не разлучающаяся с настоящим, и не эпос, ищущий прошлого по прошле, а драма.

Драма, по самой своей сущности, наклонена в будущее. Она — действительна, а всякое действие — переход из несвершенного в свершенное. Поступь поступков направлена в ненаступившее. Человек, бросающий письмо в почтовый ящик, более или менее точно знает, что его «да» или «нет» через какое-то количество дней встретится с «нет» или «да» адресата. Но адресат не знает, когда он будет «зрителем» распечатанных слов и какие это слова. В сущности каждый наш поступок, каждый акт вовне, мы бросаем в запечатанном конверте в мир. И неважно, лежит ли между отрывом созревшего действия от нервомускульной ветви и ударом его о землю, о внешнее восприятие, доля секунды, день или век. Драма и собирает человеческие акты, художественно их активизирует в... «акты».

Итак, драматизированная легенда. Вот та наиболее удобная, рабочая форма, которая — как мне думается — в ближайшие десятилетия окажется нужнее всех иных форм узбекским поэтам.

Но пока что они идут путями лирики: Гафур Гулям, Челпан, Уйгун (Рахматулла Атакузиев) — автор звучного «Джантемира», Хаса Булат, Фаткулла Гулям, Туйгон — все они в пределах лирической формы. Итальянцы словом stanza обозначают комнату и в то же время один из лирических размеров. В данном случае «комната» слишком тесна и притом она проходная: в будущее. Классический дистих султана Бабура слишком тесен для детей народа, освобожденного революцией. Уже сейчас стихи узбекских поэтов отказываются от искусственных аббревиатур мыслей; ступни их муз не затиснуты в «твердые формы», останавливающие рост; котурн подойдет им лучше.

В сценический куб — как в клетку, удобнее всего заманить дни, над которыми еще не взошло солнце; их приходится видеть при искусственном свете лампы, смутно, отдельными пятнами, как поверхность пластинки, проявляемой при приглушенном свете красного фонарика. Роль «завесы времен», чрезвычайно ответственную, предстоит выполнить скромным занавесам. Сейчас мы перед их поднятием. Стальным перьям, сменившим тростиночные калямы, предстоит огромная работа. Догнать наше великое настоящее далось далеко не всем. Но перегнать его — и того труднее. В работе этой не надо ничем пренебрегать. Я утверждаю, что талантливые строители «воздушных замков», если замки эти возводятся по точному расчету и плану, нужны не менее людей, строящих из кирпича и железобетона. Ведь прежде чем соорудить реальное, стенами оземь, здание, необходимо мысленно вчертить его в воздух. Нет, воздушный замок осмеян несправедливо. Наряду с поднятием грузоподъемности нашего транспорта, надо думать и о поднятии грузоподъемности нашей поэзии.

ДВОЙНЫЕ ЗАВАРКИ

Заварка первая

Ташкентский мост перебрасывает через Сиаб. Дальше только и можно, что запутываться в путанице улиц пригородья. Сначала в улицах, потом в узбекских словах. Я и встречные дехкане стараемся друг друга пересоревновать в непонимании. Черт возьми, восточная сюжетика не может не быть похожей на верблюжий караван. От ноздри к ноздре натянутая веревка, и все носом в хвост. Шахразадная традиция в нанизывании ночей.

Или вот монгольский цикл о «Волшебном мертвце»: персонажу нужно каждую ночь тащить на спине мертвца, который, припав мертвыми губами к уху, рассказывает сказки; задание — удержать реплику: «что дальше?», но реплика выпрыгивает сама собой, и с новой ночью мертвый рот снова у уха. Или изумительная пронизь о старом попугае. Муж, купец, уезжает в дальнейшее путешествие, оставляя жену. У жены

есть человек, давно дожидаящийся ее любви. Она собирается пойти к нему, но старый, облезлый попугай удерживает ее сказкой. За сказкой следует сказка, и жена остается верной мужу. Шахразадов прием отодвигания делает свое дело.

Мои ботинки под сизыми налетами пыли. У перекрестка пригородных улиц чайхана. Я присаживаюсь на один из ее ковров. Предо мной у фисташкового цвета глиняной стены журчит арычок. Ива, сутуля свой наростовой горб, опустила пальцы в воду. Чайханная стена вся под бумажными листами плакатов: трактор, давящий борозды поля,—наглядный курс верховой езды — стрелковые позиции, сочетающие плечо и ложе,—хлородонтовая вскипь на зубной щетке — портрет Ленина — реклама гуталина — плакат «долой чучван».

И тут-то вдруг мне в голову впрыгнула мысль: о двойной заварке; к пятиалтынному я добавил пятиалтынный, и чайханщик, раскрыв второй бумажный свертыш, всыпал чайники в мой чайник. Зеленая влага стала медленно перецветать в рыжий отстой. Пригубь и еще пригубь — и в голове у меня завибрировало.

Сначала я вспомнил легенду, рассказанную мне Н. Л. Шенгели (Манухиной): некий узбекский властитель любил и был любим своей женой. У него не было гарема. Но франкский царь подошел к стенам его города и сомкнул кольцо осады. Осаждающий сказал: я уведу свои войска, если ты сочетаешься браком с моей сестрой, которая давно досаждала мне, осаждающему. Спросив у жены разрешения изменить ей, узбекский бохадур принял условие победителя. И на следующую ночь он вошел в шатер сестры победителя. Но первая жена его стояла у шатра, прислонясь спиной к стволу осины: она слышала вздохи и поцелуи и дрожала, прижавшись спиной к коре; с той поры дрожь ее дошла до сердцевины осины и дерево непрестанно дрожит осинной дрожью.

Я вливаю зеленую горячую воду из пиалы в рот и думаю: а можно бы эту легенду опрокинуть в пародийность так: «Ива забросила в реку сразу сотню удочек, а рыба не клюет. И оттого ива печальна и сутула: не клюет».

Мне вспоминается мой старый рассказ: «Странствующее «Странно». Человек, отряхнувший пылинку

с рукава, сам превращается в эту пылинку. Он попадает под ноготь своей возлюбленной, отстрижен вместе с ним и совершает длительный унижающий пуг по логическим мытарствам, пока не приходит к сознанию пылинности нашего бытия.

Здесь под самаркандским солнцем новеллу эту нужно пересюжетить так: человек, стряхнувший себя с рукава халата, падает на пеструю свесь ковра, из которого его выбивают палками; удар ветра несет его сквозь воздух к окну возлюбленной; он попадает к ней — пылинное существо — в глаз и заставляет ее выплакать себя на щеку; вот он идет по красной земле ее губ и чуть не погибает от чьего-то поцелуя, готового раздавить его; он проникает внутрь по рекам кровеносных сосудов — в ее сердце и встречает там своего двойника, свое я, гораздо лучшее, чем он сам; он ведет с ним беседы, предлагает ему поменяться местами и... но какая чушь. Разве можно у нас писать на такие темы? Вот один из молодых японских писателей попробовал было задеть сходный сюжет: муж, пробующий сдунуть пылинку с груди своей спящей жены, сам превращается в эту пылинку. Он обходит белую гору женской груди, эстетически любясь гигантским розовым ее сосцом. Все это построено на плохом знании анатомии. Теперешний студент Коммунистического университета Самарканда не напишет, конечно, такой поэтической чепухи. И я тоже не стану превращать мой замысел в новеллу. Пиала выжата до последней зеленой капли. Пора назад.

Заварка вторая

Итак, метод найден. Я вхожу в чайхану и поднимаю два пальца: икинчи. Чай двойного натяжения выгибает фарфоровый нос передо мной. Я глотаю и думаю, думаю и пригубляю. Я подставляю свою голову под восприятия. Вот хозяин чайханы вышвырнул тычком туфли пса. Вот он придержал дверь камнем, засунутым меж рамой и створой. Еще глоток. И вот.

Жил-был богатый купец, скажем, Ильм-Рухим. Однажды он шел, щупая монеты, завязанные в красный пояс, через площадь Мир-Арэба. Рука нищего

перегородила ему путь. Ильм-Рухим как раз думал в это время о том, что человек рождается нищим и собственной рукой вкладывает в свою руку богатство. Он нагнулся к земле, поднял камень и, улыбувшись, вложил его в руку просящего.

После этого прошли годы и годы. Ильм-Рухим был предан дирхемами. Они укатились, одни за другими, и пояс его стал пуст. Рухим пробовал искать работу, но работа отвергла его, и однажды он сел у перекрестка с протянутой ладонью. И снова прошли годы и годы. Однажды он сидел на площади Мир-Арэба, бормоча стих Суры о людях, потоптанных судьбой. Через площадь шел караван верблюдов. Под шеями их качались языки колокольцев, издавая медный звук, а над горбами их взгорбливалась кладь. И вдруг караван встал и медь замолчала. Человек в полосатой чалме, шедший впереди верблюжьей череды, подошел к Ильм-Рухиму и сказал: «О, господин, пусть твой карман дыряв, но мой караван войдет в него, и прости меня за то, что я недостаточно щедр».

Ильм-Рухим понял не сразу, но когда понял, спросил: «О, господин, почему твое благоволение ко мне, а не к этой грязной луже, что чернеет рядом со мной». И тогда человек в пестрой чалме сел рядом с нищим и стал говорить так: «Я сам был нищим и сидел на этой вот площади, опираясь спиной о стены медрасы. Я умел только протягивать руку, и однажды ты, о, благодетель, вложил в нее камень. Ты хотел посмеяться надо мной, но знал ли ты, что рука, принявшая камень, была рукой зодчего. Я стал всматриваться в изломы и контуры камня, попавшего мне в пальцы. Посредине был крутой скос. Край — иззублен и покат. Несколько пестрых точек вкрапливалось в серое тело камня. И, вглядываясь в его очертания, я стал видеть: камень разрастался, множа свои грани и подымая кверху скосы кровель. Меж моими указательным и безымянным пальцами вырастал дворец — вот тот дворец, который ты видишь за круглыми кирпичами Каляна. Твой камень, о господин, научил меня смыслу камней, я стал зодчим, слава и богатство сопутствуют мне. От каждого моего прикосновения к камню рождаются дирхемы. И все оттого, что ты вложил камень в мою просящую руку. Мое богатство — твое богатство. Пусть верблюды моего каравана преклонят пред

тобой ноги. Да будет благословенен камень, вложенный в мою руку, о господин».

Мимо моего чайханного укрытия, медленно вороша длинными тенями спиц, прокатывают два колеса арбы. Пора и мне назад в город.

А концовку к истории о пыльном человечке надо бы сделать так: проблуждав по руслу мозговых извилин своей возлюбленной, человечек выбирается сквозь ухо наружу и идет по перелеску ее брови; затем он опускается в межбровную морщинку, превратившуюся для него сейчас в крутоберегий овраг. Несколько секунд, и он бы пересек его поперек. Но в это время девушка вспомнила об ушедшем в безвестие своем любимом: где-то он? Грусть заставляет ее брови сжаться, почва колеблется под пыльным человечком, и он гибнет, раздавленный стенками оврага-морщины. И с персонажем покончено: он убит грустью воспоминания о нем.

Третья заварка

Еще с утра на красной стене чайханы, разостлавшей свои ковры по обочине Регистанской площади, большая белая афишная заплата: коттэ консирт.

Вечер. Садится солнце. Рассаживаемся и мы. Особо рьяные любители музыки, ышкыляр, уже добрых два часа сидят у самого помоста, дожидаясь, когда молчание превратится, наконец, в музыку. Музыканты по качающейся лестничке взбираются под пестрые ленты и лоскутья, развешанные над эстрадой. Вот длинношея с папильотками струн, ввитых в колки, тихоголовая дутар. За ней прямой, точно проглотивший аршин, да, не более аршина, так как сам он не длиннее его, гыджак; единственная его деревянная пятка уверенно уперлась в землю. Маленькие ленивые флейты — тюйдюки разлеглись на подставленных пальцах, опустив головки на выпяченные, точно взбитые перед сном, красные подголовья губ тюйдюкчи. И над откатнувшимися назад тибетейками оркестра медленно взошел круглый, как солнце, в подвесах лучистооппадающих лент, дойрэ: это двулицый бубен; но по лицам его столько били пястью, ребром ладони и пересыпями пальцев, что обили все черты лица, оставив лишь самое необходимое — плоскость.

Оркестр сразу взмывает на *ff*. Руки опростелью по грифам, щеки туюдюкчи вздуты, и все свободные рты — в помощь струнам и дереву — поют мелодию: она коротка, в два-три такта, и постоянно возвращается к своему началу, кружа все быстрее и быстрее, как колесо, катящееся с горы; в конце концов, отдельные звуки ее, отдельные спицы мелодии сливаются в какой-то сплошной звуковихрь. И вдруг — бубен, резким рывком, к земле. Он ложится, в изнеможении, на цветы ковра. Музыканты вытирают пот с красных лбов. Аудитория одобрительно покачивает головами и прищелкивает пальцами. Пауза, коммерчески выгодная для чайханщика: помощники его торопятся обменять заходолавший чай на горячий и принять новые заказы; я, осторожно придерживав пролетающую мимо подогнутую полу халата, прошу удвоить заварку.

На помост поднимается новое лицо. Это старик, одетый довольно грязно и неряшливо; борода лохмотная, из седых и рыжих клочьев. Музыканты почтительно теснятся к краю, уступая пришедшему место в центре: это известный певец, эшулечи. Он садится, окруженный внимательным молчаньем, и долго роется пальцами правой руки в бороде и усах, точно в них запуталась, затерялась песня. Перед эшулечи пододвинутые к его коленям чайничек и дымящаяся пиала. Он опустил руку и смотрит на седой дымок над пиалой. Теперь он ищет прищуром глаз здесь, в вьющихся тонких нитях пара. Мне это ясно видно. И, вероятно, не мне одному. Сперва улыбка — «попалась-таки», из-под улыбки черные корешки зубов и лишь затем чистый — тонкий — длинный фальцетный звук. Чувствую, точно циркуль пробежал холодными острыми ножками по позвонкам. Даже бубен за спиной эшулечи нервически дрогнул, и, под его тихий ритмический пристук, песня медленными движеньями, как разматываемая чалма, начинает опадать в слышанье. Закрыв глаза, я ясно ощущаю холодок у висков и затылка, но невидимая чалма продолжает сматываться дальше: вслед за ней опадает точно очалмленная кожа, сматываются виски, ставшие мягкими, легкими и скользкими, как обмот шелка, — кости черепа, за ними мозговые оболочки — и мозг оголен, беззащитен, подставлен под все глаза, уличную пыль и тонкую, в мелизмы одетую фальцетную ноту. Впоследствии мне все рас-

толковали: прием, которым пел старый эшулечи, называется джук-джук и состоит в вокализировании на звуке «и»; еще лучше ему удается джоглотмак, пение на «гю»; секрет сегдармека, форшлагирования, перемежаемого музыкальной икотой, можно считать утраченным, он плохо дается и старику; но зато лучшего мастера дамак-какмака, требующего от певца подстукивания песни ударами пальца по собственному кадыку («сам себе дойрэ, хоб»), пожалуй, сейчас не отыскать.

Но я не стал дожидаться дамак-какмака. Я торопился остаться наедине с отзвучавшей песней. Сейчас мне трудно припомнить, какие ассоциации заставили меня ответить на песню сказкой. То ли это было смутное смысловое ощущение мелодически раздлиненного «и», как грамматического союза, являющегося путем от вещей к вещам, то ли впечатление от тонкого и нервущегося «иния», как от нити, хотящей быть пронызью для образов.

Так или иначе, но, лежа на горячей простыне в своей хуждре, я придумал, точнее во мне придумалась, сказка о великане, носившем свой рост в мешке. Правда, я на себе убедился, что южная ночь действительно короче веревки харифа. Рассвет обогнал мою мысль, сюжет остался недостроенным, точно без кровли. Пусть. Я не делал вторичной попытки.

Их было двое: последний великан и последний волшебник по имени Хаял. О прапрадеде Хаяла люди говорили, что это он лечил землю от горной сыпи, и не разбейся склянка с его лекарством — вся земля стала бы гладкой и безгорной как степи Туркестана. По другим рассказам, великанов раньше было много и жили они вперемежку с людьми обычного роста, ничем не нарушая дружбы. Как ишаки и верблюды, связанные в одну караванную цепь. Тот же Хаялов прапрадед, например, каждую ночь ночевал в туфле одного из великанов, сбрасываемой тем перед сном с ноги. Великан этот, очень добрый, был как раз предком последнего великана, о котором пойдет речь. Но однажды спросонок он забыл о своем друге, укрывшемся в его туфле, и, сунув в нее ногу, раздавил его. Великан сам был очень сконфужен и огорчен, но сын погибшего, прадед Хаяла, затаил в своем сердце месть. Он обладал двумя чудесными вещами:

маленьким камешком, прикосновение которого камешек, и палкой из виноградной лозы, которую достаточно хотя бы на миг опустить в воду, чтобы превратить ее в вино. Он удалился, держа путь к востоку, и дойдя до полноводной реки, которой теперь нет, построил здесь себе хижину. Прошло много лет, все забыли о несчастье, кроме неотмстившего сына. Каждый раз, перед тем, как снять или надеть туфлю, он клялся, что раздавит весь народ великанов. Борода его свисала седыми лохмотьями, но ненависть была в цвете сил. И вот однажды он созвал всех великанов к себе на пир. Великаны пришли: все, кроме жены невольного убийцы, которой предстояло с часу на час родить. Волшебнику незачем было раздумывать, чем угощать гостей. Он опустил свою палку в реку, и та стала бить винными брызгами и винноворотами. Великаны, рассевшись на пологом берегу, выпили реку до дна. Опьянев, они легли, отползши немного от пустого русла, и уснули крепким сном. Тогда-то волшебник и пустил в дело свой каменящий камешек. Он подходил к беспечно растянувшимся великанам — сперва к одному, потом к другому — и притрагивался к ним своим камнем. Великаны превратились в горы, спящие и по сей час каменным сном, а русло выпитой реки можно видеть, пересекая пустыню. Но мстителю этого было мало. Он взбирался на окаменелые тела врагов и топтал их ногами. Так возникли первые горные тропы.

Все это больше, чем присказка, но меньше, чем сказка. Она начинается, собственно, с рождения последнего великана, спрятанного от гибели во чреве своей матери. Его появление на свет стоило ей жизни. Огромное дитя росло среди чужих ростом существ. Отрок-великан с тревогой и изумлением наблюдал свое от года к году увеличивающееся тело. Почему другие — все, что вокруг, — растут медленно, как саксаул в сухой степи, а его тянет, как тополь, увлажненный арыком? Люди, побаивавшиеся великорослых соседей, пока тех было много, смеялись над нелепым выростнем и гнали его прочь. Когда он хотел войти в чей-нибудь дом, ему говорили: «Нельзя, еще проломишь теменем потолок»; когда великан просил работы, ему протягивали крохотную иголку и паутинно-тонкую нить, со смехом предлагая продеть нить в ушко,

или говорили: «Видишь эту монету, закатившуюся в щель,— вынь её из щели пальцем, и она твоя». И великану стыдно было своих огромных рук, плеч, поднятых над кровлями домов, и всей своей непомерности.

Все чаще и чаще стал он задумываться о том, как избавиться от своего роста. И случилось однажды так, что слава об имени Хаяла привела последнего великана к последнему волшебнику. Выслушав просьбу, Хаял сказал: «Принеси большой мешок и крепкую веревку». Просящий принес. Хаял усадил гиганта на четырех подостланных циновках, сам присел на корточки под черный навес великаншей тени и вынул из-за пояса маленький тюйдюк.

Тюйдюк смотрел на пришельца всеми своими дырчатými глазками, но волшебник, отдавая дыхание дереву, заткнул ему сначала один глаз, потом другой, третий, пока оно не ослепло, высокой тонкой нотой крича о своей слепоте; и снова перебег пальцев от широкозвучья к узкозвучью; и рост, выманиваемый из тела, как змея, изломленная мелодией, стал медленно покидать своего владельца. Это можно было видеть по тени, которая, стягиваясь, подползала к отверстию мешка, лежащего меж двоих. И вдруг оборвав мелодию, Хаял замахнулся тюйдюком на рост, рванувшийся было назад, и короткими ударами загнал его в мешок. «Вяжи»,— крикнул Хаял, и вместе с развеликаненным великаном они навалились на вздувшийся мешок, наузливая узлы поверх узлов.

Выполняя волю избавителя, человек, бывший великаном, взвалил мешок со своим ростом на плечи и пошел к реке, чтобы сбросить его с крутого берега в воду. До реки было недалеко. Но уменьшившиеся шаги превратили «недалеко» в «далеко», а останавливаться по пути не хотелось. Надо было скорее отделаться от ноши. И когда, наконец, став у срыва, великан, переставший быть великаном, захотел сбросить рост вниз, в волны, движение его оказалось тщетным. Дело в том, что рост, даже в глухом мешке, делает свое: растет. От раскочки шага мешочная ткань терлась о спину, постепенно прорезживаясь и утоняясь; рост, ища выхода, проник сквозь поры ткани в кожу спины, тысячами проростков уцепился за лопатки и задние вздужия ребер: назад внутрь тела, откуда его прогнали, он боялся, но и в темном мешке было

страшновато. И когда человек подошел к самой воде, он увидел в ней отражение горбуна. Как быть? Возвращаться назад, к людям, знавшим его — это значит завалить на спину, поверх горба, груды новых насмешек и издевательств. Лучше идти в незнакомые страны к не знающим его глазам. Солнце шло, направляясь к западу; вслед ему направил свой путь горбун.

Он думал, что люди теперь будут радушнее и сговорчивее. Ведь не отказывают же они в работе своим горбунам. Но он ошибся: горбун, разумеется, имеет право на жизнь и костыли, так что на него можно смотреть сверху вниз. Но горбун высокого роста, каким сделал волшебник незадачливого великана, горб, на который надо смотреть самым стройным людям чуть-чуть снизу вверх — это раздражающе и анатомически неуместно. И новые глаза встречали пришельца враждебными прищурами. Работа не отыскивалась. Только в одном из городков, расположившемся уже среди лесистых холмов, сменивших степи, путнику предложили внутреннюю заклепку труб и котлов. Но горб, застревая в полом цилиндре трубчатого колена, не подпустил и здесь к заработку. Провожаемый сожалительными улыбками, странник поневоле должен был длить свой путь. Пройдя через сотни закатов, он увидел сквозь один из них одетый в стекло и камень город. Люди здесь шли вдоль стен, а посреди улиц кружили колеса и железо, кричащее из коротких рас-трубов. Путник робко вошел в улицы города. Вверх и поперек вверх, солнчась сквозь ночь, желтые спящие буквы. В городе было многое множество дверей и ни единого приюта. Горбун уперся горбом в одну из стен. О, если бы он был великаном, каким был прежде, он мог бы протянутой рукой перегородить всю улицу. Но Хаялов тьюдюк укоротил руку, рост, жизнь и смысл. Он не вошел ни в одну из закрывающихся и открывающихся дверей.

Он шел вдоль череды дарахтляров (их здесь называли «деревья»), всматриваясь в движение огней и людей. Вот он увидел круглый дом, вращающийся вокруг самого себя: лодки, заседланные лошади, лебеди кружили, уходя от глаз и к глазу возвращаясь; дети, сидя в лодках и седлах, махали руками своим матерям, стоящим у закружившегося дома; матери и сестры поднимали веющие платки, точно провожая своих де-

тей в какую-то новую, выкруживающуюся из круга жизни жизнь.

Горбун сделал еще несколько шагов, и среди обступивших деревьев он увидел высокий шест, вокруг которого двигались растянутые разбегом веревки: ухватившись двуручьем рук, дети с радостным смехом бежали вокруг шеста; они были малы, но шаги их были великими, его прежними гигантскими шагами. Горбун спросил, как называется эта игра. Человек в рыжей кожаной куртке вынул изо рта табак, завернутый в клоч газет, и сказал: «Гигантские шаги».

Горбун взглянул дальше: он увидел площадку, заставленную с краев скамьями. По площадке медлительным пустынным шагом шагал верблюд; по обе стороны его двугорбия раскачивались пестрые гнезда, в гнездах сидели дети. На их личиках — улыбки в полном цвету. Но верблюду было не до жизни, он шел, опустив голову книзу, и шерсть его клочилась намогильным мохом, а из глаз, вместе со слезью, сочилась смерть. Горбун долго искал в большом городе Запада хотя бы какой-нибудь самой малой работы. Он говорил лицам, а отвечали ему спинами. И как-то, исхудалый и обессиленный, кружа вдоль улиц, как стрела часов, ищущая будущего, он пришел к той же отороченной скамьями площадке, где встретился с верблюдом, несущим гнезда, полные детей. Верблюда уже не было. По кругу ходил, дергая ушами, маленький пони, впряженный в колясочку и подщелкиваемый бичом. У сарая лежала сбруя и крашенные кабинки умершего верблюда. Горбун — после колебания — вошел внутрь площадки и открыл дверь в сарай. Навстречу ему поднялся хозяин детских увеселений. И горбун предложил себя в верблюды. У него были все данные: горб, терпение, неприхотливость в пище и любовь к детям. После короткого торга хозяин увеселений сказал: да.

И с той поры развеликаненный великан стал носить подпертый горбом живой, смеющийся, хлопающий в ладоши груз. Свой рост он потерял, но поверх его качающейся спины был чужой, жадно растущий рост, рост человеческих детенышей, преджизней, устремленных в жизнь. И горбун, осторожно ступая, нес на себе грядущее. Он был добрым тьюо, он шел в караване, идущем с грузом предсвершенного из страны заката

в страну восходов. И каждый рассвет, расстилающий свои спектры по кровлям домов, напоминал ему о его родине. На деньги, плаченные хозяином детских увеселений, он покупал не только пищу, но и газеты. Газеты говорили языком легенд. Легенда переселилась из извитий арабского алфавита в четкий отсчет арабских цифр. Он узнавал, ему говорили теснящиеся в зрачки черные знаки: там, где желтелись пески, колышутся тонкостебельные коробочки с хлопком; там, где илились древние болота, растут, наливаясь зеленым хмелем, виноградные лозы. Там, где руинились в землю руины, встают трубы и дымы фабрик. Упряжь издохшего верблюда — что ни день — становилась все тесней и тесней. Хотелось опоясать себя меридианами земли, кружить не по площадке, обставленной скамьями, а по орбите, обставленной звездами.

И однажды развеликаненный великан разверблюжил себя. Выйдя за заставы города, он пошел навстречу начинающему дневную работу солнцу. Путь его был длинен и труден. Не будем тратить на него слова. Позади шагов остались скошенные кровли, толпы деревьев и холмящиеся волны земли. Дни и дни сквозь сухую безводную степь. И вот однажды навстречу глазам приречье родного города. Сквозь пылевую завесь — каменный вырост минарета. Но минарет как-то странно вытянуло кверху: точно он прикупил себе роста. Еще сотня и сотня шагов. И вот видны расходящиеся кругом от минарета нити, бегущие к земле. Еще шаги, и видно ясно: это не минарет, это — строительная вышка, поднявшая свои прозрачные фермы и растянувшая паутину тросов над грудями растущего вверх камня. Горбун, бывший великаном, подошел вплотную. Он видит: большое гнездо, наполненное людьми, ползет по канату вверх, направляясь к вершине вышки. Скрипят лебедки, слышно шуршанье подъемного колеса о трос. И вдруг снизу крик. Гнездо закачалось. Перетертый канат накренил гнездо — миг, и люди просыплются с высоты в смерть. Великая дрожь проникла в сердце человека с загорбленным ростом: «О, Хаял, отдай мне мой рост, мне, носившему гнезда с детьми, разве это не мои дети — люди, отдай рост!»

И рост, дремавший в его горбе, разбуженный криком, проснулся. Он вскочил ото сна, и горбун раскрыл-

ся во весь свой рост; его протянутые на помощь руки крыльями птицы возносились вперед, его голова поднималась ввысь, как купол обыденного храма, возводимого по обету в один день, его плечи поднимались, как плечи весов, готовых взвесить землю и небо, и рухнувшая бадья упала в его гигантские ладони, столько раз осмеянные колючими иглами и спутанными нитями людей. И тот, кто был последним великаном прошлого века, стал первым великаном грядущего.

Четвертая

Чайхана эта, в которой я сейчас, чуть европеизирована. Вместо ступенчатых помостов, застланных коврами узорами, стулья, пододвинутые к столам. На стене тикающие часы. За окном заштрихованный серым карандашом вечера воздух. Через улицу наугольник мечетьевой террасы в обставе покосившихся деревянных колоннок. От колоннок к крашеным стенам мечети шесты. На шестах громоздящиеся в сон курицы. Где-то издалека, вероятно от Регистана, крик автомобильной сирены. С другой стороны, из загорожья, длинный голос разбуженной ночью ночной птицы. Мне не очень хочется пить. Но темно-зеленый отлив чая в пиале, усиленный добавочной заваркой, самой своей окраской притягивается к губам. Образы встречаются в моем мозгу, обмениваются ассоциативными рукопожатиями или поворачивают друг другу спины. Мое внимание не слишком внимательно на этот раз. Оно идет прогуливающимся шагом, разглядываясь по сторонам. И вот что оно видит.

Жила-была сова. Именно та сова, портреты которой можно видеть на книжных знаках иных издательств, и которая могла бы написать мемуары о небезызвестной в древности Афине-Палладе. У совы, несмотря на ее вековую ученость, не было почти никаких литературных заработков, и она квартировала на пропаутиненном чердаке, под дырявой кровлей какого-то не то разрушенного, не то недостроенного дома. В слуховое окно ей не только было слышимо, но и видимо круговращение дня двора, прилегающего к стене заброшенного ее обиталища. Это был птичий двор, заселенный пестроперыми петухами, хлопотливыми курицами, утками и цесарками.

Мысль совы специализировалась на проблеме о куриной психике. Наблюдая со своего затененного чердака жизнь птиц, сова не могла не прийти к выводу, что мозгоклой курицы, вечно клюющей птицы, куриный кругозор ее уже, короткорadiusнее всех других птичьих кругозоров. Она не видит дальше тут, умовосприятие ее не длиннее ее клюва. И ученая сова поставила вопрос чисто научно; какие внешние воздействия влияют столь укорачивающе на ум курицы, превращая его в так называемый «куриный ум».

После ряда медитаций и исследовательских работ сова пришла к следующему строго обоснованному умозаключению: курица ничем не глупей других птиц, отнюдь, но она попросту не успевает войти в ум, так как ее, пользуясь ее одомашненностью, режут раньше, чем в ней прорежется мудрость; ведь мудрость — это проработанный в мозгу опыт. Курице же не дают возможности накопить его в достаточном количестве, не позволяют ей успеть поумнеть; наследственность, естественно, закрепляет дело, начатое кухонным ножом.

Придя к такому смелому выводу, сова решила бороться за интеллектуальные права курицы и курицыного потомства. Однажды вечером она слетела со своего чердака и, опустившись среди круга кур, готовившихся ко сну, прочла им чрезвычайно ученую совиную лекцию о грядущей курокультуре.

Но вечерние курсы, затеянные совой, поневоле были краткосрочными. Два сна — сон, смыкающий пленки глаз, и сон, размыкающий лезвием горло, противились одействованию совинологии.

Тогда сова, после нескольких дней размышлений, решила перейти от теории к практике. Зло, причиненное людьми курице, — размышляла она, — не только в том, что они приручили ее мозг, укоротили ее логику, но и в том, что они укоротили ей крылья, отучили их от лёта.

Только крылья, — продолжала размышлять сова, — могут изолировать обескультуренных кур от человека и его ножа. В сущности, Ламарк прав: путем упражнения, биологических экзерсисов, можно возвратить органу утерянную им способность.

Вскрикнув носовым совиным криком, культуртрегерша кур на распластанных крыльях снова опустилась

в куриный двор и дала точную инструкцию. Отныне каждая курица, перед тем, как отойти ко сну (днем надо быть осторожным — глаз человека следит за ними), обязана проводить небольшую крыльевую гимнастику; удобнее всего это выполнять на невысоком расстоянии над землей, на ...каком-нибудь, ну, назовем это «насесте»; «лёт на месте» постепенно разовьет крыло, раздлиннит его, и настанет день, когда куриное племя, поднявшись на крыльях, подобно стае орлов, покинет птичники и полетит в свою, свободную от человека, обетованную страну.

Каждый день, как раз в тот миг, когда солнце садится на горизонт, все куры садились на насестные шесты и аккуратно хлопали крыльями, перед тем, как сон захлопнет им глазными перепонками день.

Однажды сова решила: пора. Она назначила полночь для лёта. Но в это время все куры — как на зло — сидели на яйцах и не посмели поднять свои крылья для лёта.

Сова очень огорчилась. Она продолжала размышлять по всем правилам силлогистики: кто — откуда — посредством чего — для чего — куда: куры — от человеческого бесчеловечья — посредством крыльев — свободы для — куда? С куда было нелегко. Дело в том, что вылупившиеся из яиц цыплята имели крылья, не прошедшие еще курса совиных экзерсисов. Затем лететь от человека не к человеку — значит перекрылить жизнь в пустыню, беззерную и лишенную вод. Следовательно, надо учить летать не только куриц и курицыны выводки, но и мешки с пшеном и бадьи с водой. Это уже много труднее. Если же лететь от воды к воде, от зерна к зерну, то это значит — менять клетку на клетку, одну человеческую неволю на другую. И сова повесила клюв на увеличенную квинту. Не только руинный дом, в чердачном сумраке которого она жила, — весь мир стал казаться ей падью распадов.

В одно из глубоких послеполуночней она улетела на своих серых крыльях сквозь сумрак и тишину, и куры остались без вождя и пророка.

Но все равно с тех пор, с каждым закатом, прежде чем усесться на насестах, все курицы всего мира хлопают крыльями о свои куры бока, повторяя физкультурный экзерсис, которому их научила мудрая и печальная сова. Научит ли она их крылья лёту, об этом знают

лишь профессор Ламарк и бесследно исчезнувшая сова.

Вот. Под круглой крышкой моего чайника лишь разбухшие темно-зеленые чайники. Кровь трется о виски. Пора. Я не знаю, придут ли в будущее этой страны предвосхищенных зорь новые Невай-и-Мухтум-Кули и Даулят-Дурды. Но я слышу их шаг, звенящий сквозь века.

V

КОРОНОВАННЫЙ ЗУБ

Это было в одно из утр, до того как прохлада прогнана зноем. Я проходил мимо кротовых холмиков одного из кладбищ. Шаг вел меня мимо, но его остановил звук. Это был надорванный старушечий голос, запутавшийся в выкриках, как в стеблях травы. Вслед ему короткая юная вибрирующая нота — молчание. Я остановился, затем включил память: здесь есть обычай — женщинам не позволено провожать прах до могилы, но им вменено в обязанность оплакивать зарытое тело каждодневным плачем. Могильные холмики вели меня по выгибу холма — и вскоре я увидел над одной из свежих кротовин двух женщин, которые, присев на корточки, раскачивались в такт плачу. Одна из них была старухой; чучван, сбившийся на плечо, показывал ее дрожащие вокруг беззубого рта морщины. Другая, с косами, откинутыми на спину, подставляла под солнце свое смугло-розовое лицо и снежный блеск приоткрытых зубов. Старуха учила юную кызчу искусству плакать: она вела свой голос по витым лесенкам трагических фиоритур, падала в всхлипы, как в всплески омутов, вела голос приливами скорбей и отливами жизней. Бронзоволицая кызча с испуганным удивлением смотрела на шевелящийся рот старухи. Изредка она пробовала подхватить напев, но ее голос был слишком молод, в нем звучала полнота упругого грудного дыхания, а не резонанс могильной ямы. И кызча сконфуженно обрывала втору. Мы встретились глазами. В ее суженных солнцем зрачках я увидел то, что радостнее всех радостей: жизнь.

В органической химии принято разделять все соединения углеродного атома на два ряда: ароматический

и жирный. Анализируя старый перезревший Восток, я раскладываю его в своей голове тоже по двум рядам. Есть Восток ароматический и Восток ожирелый. Каждое явление в свете здешнего солнца и моей привозной мысли включается в один из этих рядов.

Ароматический ряд: глаза кызчи, не повинующиеся плачу — сказки Шахразады — музыка тьюдюкчи и пристук дойрэ — запев базарного маддаха — сплетающиеся лучами звезды настенного орнамента — игла, изостренно грезящая по стлани сюзанэ.

Жирный ряд: старушечий чучван — щиколотка, лениво подогнутая под щиколотку, — сонное многочасовое чайханничанье — толстозадый бача — кошель бая, перекрученный над животом, — халат и его эманация: халатность — сумах и тувак.

Последние два звена нуждаются в объяснении: еще до сих пор не искоренен обычай держать грудных детей в особых коробах — сумахах, к дну которых они крепко привязываются специальными перетяжками; тут же на дне находятся отверстия — тываки, которые избавляют матерей от необходимости следить за отправлениями новорожденных. Говорят, что затылки младенцев, на много месяцев притиснутые к дну сумаха, приобретают от этого плоскую форму. Это только пример: у многих и многих явлений, если взглянуть за них, плосковатые затылки. Необходимо растувачить жизнь.

Ароматическое, обаяющее своей наивностью, и жирное, застоялое встречаются здесь бок о бок неисчислимыми встреч. Вспомнить хотя бы два забавных случая с автобусами, которым я был внимательным свидетелем. Первый случай произошел на ходу, при повороте из улицы в улицу (кажется со Склянской на Ленинскую). У узбека, придерживавшего ногами мешок с дынями, не хватило денег на билет; кондукторша дала было знак шоферу — остановиться, но владелец мешка, развязав его, вынул большую пахучую дыню и передал соседу; шофер, начавший было тормозить, снова надбавил ходу, мы снова закружили от перекрестка к перекрестку, а дыня — своим чередом — совершала круг по ладоням, в поисках покупателя. После долгих постукиваний по ее коже и проб на затиск она, наконец, нашла его — инцидент был исчерпан.

Другой случай имел место у стоянки автомобилей, курсирующих меж Новой и Старой Бухарой. Предполуденный зной. Одна машина, набрав комплект, укатила из-под самого носа. Делать нечего. Становлюсь в терпеливую очередь, состоящую почти сплошь из людей, вдетых в халаты. Наконец, отдаленный гул, потом пыль, потом машина. Рассаживаемся. Кондуктор раздает билеты, затем отходит в тень дерева и, сняв сумку, подкладывает ее под голову, очевидно, готовясь вздремнуть. Халаты молча ждут. Но я протестую: почему не едем? Шофер, обернувшись, отвечает сквозь зевок: нет комплекта. Действительно, из шестнадцати мест два пусты. Ждем. Стрелка часов идет по минутным делениям, а мы стоим, как заклятые. Снизу разогретая кожа сиденья, сверху застывший зной. Я снова делаю попытку бунта: ведь пассажиров дает поезд, до нового поезда еще четыре часа, неужели нам стоять все четыре; наконец, черт возьми, в погоне за какими-то копейками теряется уйма времени, которое тоже стоит денег.

Кондуктор глубже задвигается в тень, шофер молчит. Замолкаю и я. Ждем. Вдалеке показался человек: а вдруг пассажир? Соожидатели, приложив ладони к глазам, стараются угадать. Спорят. Человек идет чрезвычайно медленно, то и дело останавливаясь; недалеко от стоянки он ныряет под притолку лавки, но через минуту снова появляется, на этот раз прямо шагая к автобусной подножке. Слава Богу! Еще бы одного, и двинемся. Вдруг из-за угла сразу двое. Очевидно, это супруги. Они торопливо направляются к нам. Наконец-то. Кондуктор приподнимается и раскрывает билетную сумку. «Икины? Два билета? Два нельзя: одно место». Супруги начинают спорить — кому ехать, кому остаться; потом решают вместе дожидаться следующей машины. Я в бешенстве вскакиваю и требую, чтобы с меня взяли за пустое место. Ни шофер, ни кондуктор не отвечают. Шофер пригнулся к рычагу: самый мотор начинает глухо протестовать. Трогаем.

Разумеется, жирный ряд надо перечеркнуть. Дряблые сгустки лени, насиженные столетиями, теперь, когда статика исторически преодолена, исчезнут сами собой. Но как быть с феноменами ароматического ряда, как найти приложение Шахразадову началу?

В химии схема молекулы ароматического соединения изображается обычно в виде замкнутой цепи атомов, как бы вросших друг в друга своими валентностями. Например так.

Сцепление радикалов и черточающих сродство, до странности глазу те старинные запястья, нителеты, билек-узуки, которые прозрными ювелирами Бухары. «Тоство,— пишет химик Лонгинов,—



чек, озна- напоминает видные бра- даются ба- обстоятель- что молеку-

ла ароматического соединения *замкнута сама на себя*, что в ней значительная доля энергии... уже использована на это замыкание, определяет пониженную способность ароматического ряда к реакциям и превращениям...» (курсив мой.— С. К.). Да, аромат Востока «замкнут на себя». И его надо разомкнуть, расцепить запястье, вросшее в пясть, как кандалы. Так, по-моему, решается схема о старом, дышащем ароматом легенд Узбекистане.

Их было двое. Русский и узбек. Русский был юн. Узбек стар. Они сидели на одной из ступенчатых десятигранной каменной оправы Кош-хауза. У юноши горизонтальная морщина удивления от виска к виску; на коленях газета. У старика короткая вертикальная складка меж бровей; в длинных пальцах левой руки гроздь винограда.

Оторвав виноградину, старик сказал:

— Ум—связка ключей: от смыслов. И вся суть в том, чтобы их не перепутать: смыслы и ключи.

Юноша смешливо поднял белые, выгоревшие на самаркандском солнце брови:

— То-то ваши узбекские глаза похожи на замочные скважины.

— Молодые твои слова, а молодость—стара-стара. Ой, как стара. Так стара, что не слышит.

Морщина удивления на лбу юноши стала четче. Собеседник его оторвал виноградину:

— Всякий доживает до своей молодости, но до старости—не всякий. Значит, у молодости больше жизни, чем у старости, она старше старости. И люди научились быть молодыми, но вот как быть стариком, этого еще никто хорошо не знает. И после скажу тебе такое: один человек не заметил, как прошла мимо молодость; только спину ее и увидал; тогда он стал кричать: «Эй, молодость, вернись, эй-эй,— а та даже не оглянулась: скажешь, не глухая, а?»

Сидевший рядом прошелестел газетой. Словоохотливый старик, сдернув с веточки еще одну зеленую бусину, продолжал:

— «Кзыл-Шарк»? Красный Восток. А кто его будет строить? Юный и старый, а человек, который уже не юный и еще...как это у вас называется?

— Человек средних лет?

— Хо, тогру: средних лет. Вот такой (неожиданно я, слушавший разговор, стоя в стороне у стены дворика, увидел палец, протянутый в мою сторону). Обе зари, утренняя и вечерняя, красные, а посередине нет; и дупло у дерева — посередине. Юный бросает зерна в будущее, потому что дождется жатвы, старый мстит прошлому за то, что оно платит ему за все труды смертью, гробом, деревянным кошельком, в котором ни тиина: в этом и есть мудрость. Ну, а вот такой (я снова почувствовал на себе жест длиннопалой руки) — он не с нами: уже не юн и еще не мудр. Не с нами. А что пишут в газете?

— У нас: пахта и пахта. «Все силы бросить на фронт хлопкосбора».

— Справедливые слова. А у них?

— У них? И не разберешь. В Германия вот гинденбурговщина расшумелась: рано, мол, раскороновались, гогенцоллерновской короне музейный билетик приклеили...

Рот старика раскрылся злорадной усмешкой; из усмешки блеснул золотой зуб:

— Отчего нет? Все можно короновать: даже зуб, когда он подгнил. Знаешь, оглу, у нас на крутой тропе заревшанских гор есть старая надпись, я бы отдал ее им, отклеивателям билетика: «Путник, ты в шаге от своей могильной земли — будь осторожен: как слеза на реснице».

И в досыл словам говоривший бросил пустую, всю в арабесочных изгибах, сухую веточку винограда.

Я отошел от разговора. В этот день — перед вечером — мне довелось заглянуть в один из старых мазаров: над каменными ребрами гробницы, как обычно, огромные древка исламистских знамен, сделанные из цельных древесных стволов, лишенных лишь коры. У вершины одного из древков, наряду с полуистлевшими желтыми и зелеными лоскутьями, я увидел ярко алеющий советский флаг.

Я быстро усвоил обыкновение: солнце к зениту — человек к постели. Голова моя была уже подоткнута подушкой и сознание пересекало нейтральную зону меж явью и сном. Правда, за зажмуренными створами двери слышалось какое-то шарканье и приглушенные голоса. Это не мешало. Я готовился уже оторваться от дня — и вдруг сильный, на высокой баритональной ноте — острым звуковым лучом — голос. Я вскочил и распахнул двери.

Внутри медресного двора, почти у самой его середины, стоял высокий человек в белой чалме с руками, поднятыми к лицу. Впереди него правильными шеренгами коленапреклоненные люди. Перед ними раскрытые двери (обычно они были под ключом) противлежащей моей стене внутри — монастырской мечети. Ряды склоненных непрерывно росли поспешно подходящими, а то и подбегающими людьми. Все это были сплошь мужчины. Каждый из включающихся в богослужение расстилал перед собой квадратный коврик, намазлык, а то просто кусок материи или ситца; иные, победнее, стлали под колени свои набедренные платки, а то и просто какие-то грязные лоскутья.

После нескольких призывных возгласов к Аллаху, мулла вошел внутрь мечети, и служба продолжалась. Я видел только одновременно — по гортанному выклику из-за дверей мечети — падавшие к земле и тотчас же распрямлявшиеся спины. Это было похоже на какое-то строевое учение пред лицом Аллаха, принимающего смотр. Отряд молящихся был невелик, но фанатически истов.

Все окончилось так же внезапно, как и началось. Намазлыки свернуты, бороды опущены на грудь, и крутые носки туфель движутся назад к выходу. У выводной арки скопилась уже группа нищих. Среди них глухонемой с дутаром в руке. Дергая струны, он издает какие-то бессловные, лающие звуки и идиотически скалит зубы. Правоверные проходят чередой мимо нищенских чаш и протянутых ладоней, раздавая медяки. Я внимательно разглядываю проходящих; почти все они стары или близки к старости; спины их согнуты, шеи в складках. Последний отряд Аллаха в порядке отступает, защищаясь медными тинами. И над всем этим смерть.

На другой же день в тот же час я подходил к Тилля-кари. Но дорогу мне перерезала толпа, бегущая к входу в Шир-дор. Веянье халатов, топот ног и возбужденные вскрики. Бежали отовсюду: снизу — из переулка, сверху — с базара, но все устремлялись к забитой стеснившимися входной арке Шир-дора. Отждав, когда приток людей несколько утихнул, я протискался во двор медресе.

В глубине его, за веревочным барьером, на стульях, в несколько шеренг сидели люди в халатах; все они были повернуты спинами к входу и окружены красноармейским конвоем. Толпа, шумно вливавшаяся во двор, попав в него, затихала и бездвигалась, как вода в хаузе. Достаточно было короткого взгляда и одного вопроса, чтобы понять: люди, отделенные винтовкой, отряд басмачей, целиком попавший с большой дороги на скамью подсудимых. Я на время покинул судилище.

Через час-два, отдохнув в своей хуждре, вернулся назад. Заседание уже началось. Председатель, крепколицый и широкоплечий человек, упершись локтями в сукно стола, допрашивал главного, курбаши. Тот стоял, повернувшись ко мне в профиль. Это было очень странное лицо: молодое и в то же время старчески серое с опущенными углами губ и почти трупно-заостренным клювовидным носом. Он отвечал тихо, слова проглатывало арками стен. Я осмотрел шеренги тех, кто с ним. Его помощник — седоусый обрюзглый человек со слезящимися глазами: рядом чья-то выставившаяся из-под тюбетейки плешь; дальше борода с седой прорединой. Все это были люди, если не старые, то с подстарью, люди «средних лет». И над всем этим была смерть.

Я вышел наружу, на площадь. У нижней ступени Шир-дора сидел глухонемой с дутаром. Под монотонный звон струн он пробовал вылаять какие-то не удающиеся ему слова.

ЫЗБАШ

Я увидел ее перед самым утром, во сне. Перед тем я встречался с ней в реальном пространстве только раз. За Бузулуком. Вместе с десятком других низкорослых деревьев она выбежала из оврага — навстречу ре-

льсовому пути — и, опередив их, вдруг остановилась, запрокинув назад свой тонкий белый ствол. Вероятно, ее испугала мертвая стлань степей, шедших на нее тысячеверстиями оттуда, с Востока. Это была последняя береза на пути сюда. Я понял: пора вспомнить слова: «городская станция — билет — плацкарта — скорый».

Я уложил свой рюкзак. Кстати, надо уложить и мысли. Иной силлогизм также легко выронить из памяти, как зубную щетку из дорожного мешка.

Вспомнилась вся — в сущности страшно скудная количественно — пригоршня дней, моих узбекистанских дней.

Это было на мир-арабском базарном аукционе. Крикливый аукционист, забравшись под самую аркатуру мечети, господствующей над шумливым рынком, всходил голосом еще выше по лестнице цен — и вдруг, оборвав цифры, бросал купленную ткань в толпу — прямо в подставленные руки покупателя. Как сейчас вижу лёт одного пестрого переливчатого бухарского халата: брошенный в воздух аукционистом, он взмыл над площадью, горя парчовым блеском, перекувырнулся ярким летучим клубом и, прощально взмахнув рукавами, мягко упал в многоголовье базара. Мой путь был немногим длиннее. Остается догнуть траекторию лёта.

Снова проходят передо мной: фисташковые деревья над фисташковой водой Чирчика, за деревьями — фисташкового цвета стекло уличных фонарей, льющих фисташковый свет сквозь пробель цифр — это Ташкент; пыль, осевшая в виде города, спрессованная в серые стены и оползни Арка, слипшаяся в мёсивные зубья городских стен Бухары, или, наоборот, Бухара в порошке, истираемая ветрами в пыль, летающую над пылью, осевшую в виде строений; Самарканд... но это я могу еще увидеть глазами, не памятью.

Поспешно взбираюсь по спиральной лестнице на кровлю Тилля-Кари: вот он, разбросанный по всхолмьям пепельно-коричневый, вечереющий город. Если бы здесь, рядом со мной, стоял хромой лесажев бес, озорной Асмодей, ему вряд ли удалось бы сорвать все кровли с домов, как он это сделал с кровлями засыпающего Мадрида. Здесь они все плоские — их не за что взять: даже мыслью. И если

делать литературные попытки проникнуть в тайну глухих, на висячих запорах, стен самаркандских жилищ, то надо придумать совсем иную сюжетную рамку. Например, такую.

Некий заезжий человек хочет знать: что там в запретных для глаза чужестранца безоконных домах столицы Маверраанагра? Однажды он сидит, отдыхая от зноя, запрятавшись под черный чучван тени, прикрывающий стену. Ему дремлет, он прислонился ухом к глине — и вдруг слышит из ее толщи голос. Это голос человека, научившегося ходить сквозь стены, но заклятого своим врагом и увязшего в одной из них навсегда. Он рассказывает ему о том, как учил свое тело, силою чудесных мазей, проскальзывать меж частиц глины, просачиваться сквозь стены жилья, как это умеет делать сырость. Достигши — путем долгих упражнений — высокой степени искусства в хождении сквозь, он стал посещать ночные гаремы, сокровищницы богачей, полные золота, наконец, тюрьмы. С помощью своей сверхскользкой мази он хотел помочь проскользнуть сквозь стены тюрьмы несправедливо осужденному другу, но пузырек с мазью, как раз в тот миг, когда он, прокладывая путь другу, уже вошел в глиняную толщу, ударился о... но, черт возьми, что там внизу, на Регистане, за странная вереница людей? Уже не очередь ли к автобусу? Пока я тут играю в прятки с реальностью, мой поезд свистнет и уедет. Осталось два часа.

Сбегаю по лестнице, взваливаю на плечо мешок и бегу в конец хвоста. Нет — так невозможно. Приходит один автобус. За ним другой. Очередь почти не укоротилась. Бросаюсь к извозчику:

— Эй, ызбаш, вокзал, сколько?

Ызбаш великолепно учел ситуацию и заламывает пятерную цену. Бросаюсь к другому перекрестку. Возница сидит, невозмутимо перекинув кнут через плечо: цена его еще покруче. К третьему: уже занят. Возвращаюсь к человеку с кнутом через плечо — цена за эти секунды успела вспрыгнуть еще на пару пулов. Делать нечего. С проклятием громозжусь на сиденье: вперед, гони!

Но возница, флегматически сдернув кнутовище с плеча, легонько покручивает им в воздухе и везет не по прямой, а по кругу Регистанской площади. Мимо

нас мелькают знакомые огни чайханы, витрины сартараша, громады трех медресе и снова чайхана, и снова сартараш. Ызбаш ищет второго седока. Он не перестанет кружить, пока не добьется своего. Повернув голову к периферии круга, он выкрикивает:

— Вокзал — десять рублей, вокзал — восемь рублей. Вокзал — садись за семь.

Люди, медитирующие за своими пиалами на скорченных ногах, люди, рассматривающие свои изображения в зеркалах сартараша, люди, присевшие на каменной ограде, при медресовой площадке — все с интересом следят, а иные принимают и посильное участие в постепенно разворачивающемся аукционе. Я молча жду, отодвинувшись в левый угол сиденья: надо сделать более заметным и заманчивым пустое место рядом, распродаваемое если не с ударов молотка, то со взмахов камчи. Оно и я — мы лишь пустое и занятое места. И я учусь у него, пустого, — терпению и равнодушию.

Прощай лёт пестрого клуба через мир-арабское солнце, прощай край предвосхищенных зорь, прощай, хариф мысли, хайыр!

ХОРОШЕЕ МОРЕ

Ай, Черное море, хорошее море

Э. Багрицкий

I

Стрелка вокзальных часов, дернувшись, показала четыре пятьдесят. Поезд медлительным ядром выскальзывает из стеклянного жерла Брянского вокзала. Пассажиры моего вагона меняют верхние полки на нижние, заказывают постель, спорят о том, открыть или закрыть окна, а если открыть, то справа или слева. Проводник отбирает билеты: завернутые в бумажные простыньки плацкарт, они ложатся вглубь коричневых мешков его вагонной книги, а пассажиры, хотя солнцу еще далеко до заката, начинают спускать спальные полки и громоздиться на деревянных наестах.

Мы не отъехали от Москвы еще и десятка километров, а я уже отделил, может быть, приблизительно, москвичей, едущих в Одессу, от одесситов, возвращающихся восвояси. Первые говорят: Одесса. Вторые: Одэсса.

Входит старший проводник. Он произносит краткое и убедительное слово о том, что для плевков имеются плевательницы, а что мусорный ящик, в конце вагона, предназначен только для мусора, и исключительно для мусора, и ни для чего другого. Солнце гаснет. На потолке вспыхивают электрические лампы. В проходе вагона торчат плоские задки туфель, каблук сапог и обтянутые чулками пятки. Я успел увидеть

не то два, не то три сна. Просыпаюсь от остановки. С левой верхней полки: «Это что за станция?» — с правой: «Черезбрянск».

Утром редко-редко березки. Все больше сосны и дубняк. Потом притиснутые к земле кусты. Потом степь. Кто-то, вытянув шею и голову из окна, говорит: Одесса. Да, Одесса. Навстречу мчатся зеленые пальцы укусногo дерева, надгородная пыль и каменные тычки гор. Перрон. И сразу разительная разница между от куда и куда. В Москве на трех уезжающих — один провожающий, а здесь, в Одессе, на одного приезжающего — трое встречающих.

Вот я и мои чемоданы на трамвае номер восемнадцать. Мы с чемоданами сразу же попадаем в совершенно новый лексический мир. Оказывается, что: вагоновожатый не вагоновожатый, а «ватман»; кондукторша — «кондуктрисса»; ролик, или токосниматель, как называет его техника, — «бигель»; управляющий трамвайным движением — «лоцман залізничны». На стене трама висят объявления и плакаты: одно о том, что «До зупинки» нельзя вставать, другое о том, что «Лучше встать на пятнадцать минут раньше, чем рисковать своей ЖИЗНЬЮ».

Мой сосед, вероятно москвич, спрашивает смеясь: «Ну, а если я еду на десять минут езды, то выходит, что надо раньше встать, чем сесть». Он же: «Удивительный город Одесса, вот видите там объявление — «Зубной кабинет лікування» — казалось бы, зубы болят, чего тут ликовать, а ликуют».

Трамвай, вычертив кривую, поворачивает к Фонтанам. Проезжаем мимо Куликова Поля. Вот здесь, за зеленоватым скучным домом жил катаевский Петя с «Канатной улицы» угол «Куликова Поля».

На шестнадцатой станции пересаживаюсь на девятнадцатый номер. Это скрипучая дряхлая клеть, еле-еле ворочающая своими колесами. На Фонтане так и говорят: лучше на одиннадцатом (разумей — на своих двоих), чем на девятнадцатом. Трамвай, отскрежегав двести станции, останавливается. С передней площадки просовывается лицо и стальная рукоять вагоновожатого — ватмана. Голос среди публики: «Току нет?» Ответ ватмана: «На нас хватит». Едем дальше. На белых камнях прифонтанских дач мелькают имена и слова: «Врач Парижер» — «Здесь продают утков, цыплев

и яйцо» — «Зубной врач Капун». Раз или два слева блеснула голубая чешуя моря и снова рыжие холмы, пористый, вырастающий в стены и дома, одесский ракушняк, прибитые ветром к земле кусты и бестолочь камней, разбросанных по дороге.

Приехали. Станция Ковалевская. Навстречу бежит лохматый пес Шарик (здесь все псы на тридцать верст вправо и влево — Шарики), он лижет мне руки и осторожно хватается зубами за полу пальто. Ну вот.

II

Раннее утро. Я иду по пустому тротуару. Надо побриться. Но парихмахерские еще закрыты. На одной из стен, прямо по известке, остатки каких-то расплывшихся букв: «П-р-и-р». Ступеньки, над ступеньками дверь. Я вхожу. Темная комната. За длинным столом сидит длинная семья. Пятеро детей, мать, отец в белом балахоне.

— Я, кажется, не туда попал?

— Почему не туда? Я вот вижу, у вас левый висок ниже правого. Сейчас подброним. Гриша, дай клиенту стуло.

Гриша, положив вилку, толкает по направлению ко мне, грудью, тяжелое плюшевое стуло.

— Вы, извиняюсь, из Москвы?

— Да.

— Гриша, дай трумо.

Гриша приносит круглое карманное зеркальце, подоткнутое двумя картонными тычками. Нагнувшись, я могу увидеть в нем свой нос и верхнюю губу. Парихмахер, засучив рукава, намаливает мне щеки. Потом начинает брить, забавляя разговором:

— Я, знаете, работаю в колхозе. Но счастье вам подмогло. Сегодня я выходной. Только я вам скажу, теперь работать в парихмахерских, так это горе. Вот, например, я кончу вас брить и вы, вероятно, мне заплотите. Так как вы мне будете платить, вы влезете себе в карман, расстегнете портману, дадите два рубля, а я вам тридцать копеек сдачи. Все ясно и понятно. А вот пойдите куда-нибудь под вывеску — и что у вас получится. Сперва у нас было так: клиент дает деньги, мастер опускает их в жилетный карман и они говорят друг другу «до

свиданья». А потом порядок изменился: клиент спрашивает у мастера, сколько, идет в кассу и платит столько, сколько. Ну, а потом выдумали по-другому: клиент спрашивает сколько, идет в кассу, потом получает бумажку, на которой написано столько, сколько, несет ее мастеру — и тогда ему позволяют одеться и уйти. Но и это рационализировали: мастер пишет на бумажке, что и как, касса получает, как и что следует, клиент уходит. Но и это им показалось мало: мастер уже пишет не на бумажке, а на целом ведомстве, и они уже идут вместе к кассину окошку, и кассир удостоверяет, и тут только все они трое говорят друг другу «до свиданья». И вы думаете, что это все? Так нет же. Опять новый порядок: клиент, прежде чем сесть вот в это кресло, говорит, на сколько он хочет постричься, а на сколько побриться, а на сколько брызнуться одеколоном. И тогда он со счетом идет в кассу и платит вперед. И если во время работы ему еще захочется компресс, или массаж с вазелином, так он после опять идет в кассу и платит назад. Так вы думаете, что это все? Так нет же. Теперь они делают так: клиент...

Но, по счастью, бритва окончила свое дело — и я ушел, не дослушав.

III

Я встаю ранним утром. Красные лепестки ночной красавицы еще чуть-чуть приоткрыты навстречу угадываемому солнцу. Все спят. Даже собаки. Спускаюсь к берегу. Вода прилипает к телу нарзанными пузырьками. Берег пустынен. Я плыву, скользя подбородком над холодной водой — и тут, навстречу глазам, из горизонта выплывает корабль. Над ним нет ни труб, ни дыма. Над высоким бушпритом косой белый треугольник, а за ним будто множество крыльев, поднимающих корабль над водой. Это идет наше парусное судно «Товарищ». Я узнал его сразу. Кажется, будто высокие мачты его поддерживают небо, как колья палатки ее полотнище. Он окружен беззвучием. Ни шума винта, ни крика сирены. Вот из серого края моря показался край солнца. Потом и весь диск. Паруса корабля стали красными. Ветер надал. Паруса стали круглы, как

груди женщины. Корабль медленно режет волны. А я устал и поворачиваю к берегу. Еще украдут платье, черт возьми!

IV

На б. Греческом базаре сохранился и до сих пор ряд невысоких домов, сросшихся кирпичными боками в один дом, окруживший площадь. Все эти строения из двух этажей: в нижнем этаже лавка — в верхнем квартира лавковладельца; торговля — базис, семейная жизнь — надстройка. Днем двери и окна лавки были открыты навстречу солнцу, слышалось щелканье счетных костяшек; к вечеру лавка смыкала свои железные ставни, а наверху распахивалось окно, загорался желтый язычок лампы и слышалось брэнчанье струн гитары.

Сейчас, конечно, это старое архитектурное напластование уже не совпадает с социальными этажами. Вывески остались, но рядом с ними, у крытых лесенок, ведущих наверх, появились дощечки: врач — контора — модистка и так далее.

По утрам здесь у лавок оживление:

— Это что за рыба?

— Севруха.

Трамвай, проходящий сюда с Фонтана, описав дугу, возвращается назад. У конечной его остановки, если пройти еще вдоль редкой цепочки дачных домиков, тоже пригородный базар. Днем там торчат лишь десятка три камней, да длинный из промасленных досок стол. Но по утрам на камнях рассаживаются торговки. На столе кочаны капусты, белые горки чеснока, кое-где торчащие рыбы хвосты. Весь этот базар, вместе со столом и камнями, заменяющими сиденья, можно купить за сотенную бумажку, потребовав еще и сдачи. Но темпераменту здесь тратится каждое утро на тысячи. Домашние хозяйки, с корзинками на левом локте, нюхают мертвую рыбу с головы и с хвоста засовывают пальцы под жабры. Свежесть яиц незачем здесь проверять, как это делают в московских магазинах при помощи светоаппаратов, покрытых дощечкой с овальными вырезами. Самое солнце здесь — светоаппарат такой силы, что достаточно поднять товар к глазу: лучи пронизают и скорлупу и белок.

Лишь изредка площадь пригородного базара оживляется. Это бывает в те дни, когда «пойдет рыба». Тогда откуда-то прикатываются новые камни. Торгуют и на столе, и на земле на подостланных рогожках и в прилегающих к рынку переулках.

Так вот это внезапно произошло в прошлом году в конце августа. Я бродил вдоль берега, слушая всплески волн. Лодки все отдыхали на песке, а солнце падало к закату. Берег был пуст. Сети лежали на земле, поверх стеблей и цветов. Худой длинноногий рыбак сидел на срыве скалы и, посвистывая в такт прибою, чесал левой пяткой правую.

Затем, с утра, началась путина. Первыми вестниками о подводных стаях была белая воздушная стая чаек. Они низко кружили над морем, то и дело макая длинные крылья в воду и садясь на волну. Затем вода стала странно чешуйтаться и серебриться, хотя ветра не было. Это было дуновение водного ветра, рожденное движением плавников тысячи тысяч рыб. Берег, еще на рассвете сонный и ленивый, вдруг пришел в движение. Лодки покинули причалы и пошли в море. Сети, лежавшие поверх прибрежных стеблей и кустиков, в которых были лишь изловленные в веревочные петли желтые и красные цветы, нырнули в воду и пошли навстречу рыбе. У самого берега, на всех торчащих из воды камнях появились люди с удочками. Их блестящие на солнце лески непрерывно двигались то вниз, то вверх, выдергивая из волн серебряных рыбешек. Это было похоже на странную вертикальную косьбу. Еще страннее было то, что не косари шли вдоль поля, а самое водяное поле двигалось на них, колыхаясь пенными стеблями. У приемочных пунктов стучали топоры, обивающие ободья бочек. Не хватало рук. С крутого берега сбегали, по два-три человека, какие-то люди. Это был резерв в помощь рыбакам.

Через несколько часов маленький фонтанский рынок был переполнен, завален горами рыб.

Тут продавали, за гривенники, престранные экземпляры. Например, жирная паламида, из растянутого рта которой торчит наполовину проглоченная скумбрия, затиснувшая меж мягких челюстей, хвост чируса и узкое рыльце феринки. Продается только половина. Но с бесплатными приложениями, как в прежнее время

журнал «Нива» с полным собранием сочинений Шеллера-Михайлова. Дело в том, что вслед за крохотной феринкой, скользящей к берегам, идет чирус, за чирусом скумбрия и, наконец, мутноглазая паламида. И все последующее пожирает все предыдущее.

Цена прыгает вниз с рубля на рубль. Утром десяток серебряных скумбрий стоит три рубля, к полдню — два, к вечеру — рубль.

К сумеркам в воздухе возникают песни, приплывшие тоже из моря. К соленой воде, по почти вертикальным тропинкам, движется горькая водка. У самых волн вспыхивают костры. Люди целуют друг друга, друг друга ругают и пляшут друг с другом. Наутро лодки снова выходят в море. Коегде сети прорваны: от напора рыбьих носов. Отяжелевшие чайки почти не поднимаются с колышущихся волн.

Теперь рыба покинула пределы Фонтанов и идет на город. В трамвае можно увидеть людей, у которых под левой рукой портфель, а на пальцах правой концы бечевки, с которых свешиваются жирные паламиды. На балконах одесских домов повисли целые веера из нанизанных на шпагат рыбешек. Ветер взмахивает их хвостами над решетками перил. На тротуарах всюду просыпанная мелкая рыба чешуя. В магазинах, даже в кондитерской, острый запах рыбы и соленой воды. У лавок, торгующих солью, длинные очереди. Грузовики то и дело сбрасывают перед разверстыми темными горлами рыбных подвалов новые и новые груды ящиков, наполненных рыбой.

И вдруг, дня через три или четыре, все это внезапно прекращается. Грузовики идут порожняком, рыба чешуйка выметена метлами. В трамвае пахнет пылью и человеческим потом. Фонтанский рынок пуст. Пуст и берег. И камни, брошенные в море. И тот же самый худой длинноногий рыбак сидит на выступе скалы, свистя в ритм прибою и почесывая левой пяткой правую.

Впрочем, память о рыбьем наплыве исчезает не сразу. Помню, в тот год я возвращался в Москву в душном жестком вагоне. Рядом со мной в купе были: двое чинных родителей, девочка лет пяти и толстая мутноглазая дама. Девочка, вероятно, от скуки и жа-

ры, временами капризничала и кривила рот, собираясь заплакать. Тогда родители ее говорили: «Молчи, не то нахлопаю по женичке». И мать ребенка, вежливо улыбувшись, объясняла: «Мы ее воспитываем без грубых слов. Так, чтобы похожие, но другие». Толстая мутноглазая дама тоже приняла участие в отвлечении внимания ребенка от слезных тем. «Я вот знаю, как тебя зовут». — «Нет, не знаешь». — «Знаю, Маша». — «Нет, не Маша». — «Тогда Саша». Девочка в изумлении открыла рот. Ее имя было угадано. — «Ну, а меня как зовут?» — продолжала допрашивать торжествующая толстая дама. Девочка оглядела ее узкими шелками глаз и отвечала очень серьезно: «Паламида».

V

Фонтанская почта.

— Вот телеграмма.

— Придется подождать. Телеграфист вышел.

— Но мне спешно.

— Ну, это другое дело. Тогда поищите телеграфиста. Он здесь недалеко, на пляже на Золотом берегу. Нос в веснушках, правое плечо ниже левого. Да вы его сразу найдете.

— Мне нужен конверт. И марка. Для заказного.

— Пройдите в лавочку. Через три дома. Там вам и марка и конверт. Только на копейку дороже.

Тычу пером в чернильницу. Надо написать адрес. Но перо сломано, чернильница пуста. Оглядываюсь по сторонам. Тогда из-за угла появляется худой человек с небритой серой щетиной. Он кладет передо мной ручку, вынимает из кармана чернильницу и пододвигает листок промокательной бумаги. Я, обмакивая перо, пишу, притискиваю промокательной бумагой и вручаю гривенник. В воздухе носятся десятки мух. Окна, несмотря на жару, плотно закрыты.

VI

Et ego in Arcadia fui. И я тоже был в Аркадии. Меня доvez туда трамвай номер двадцать пять. Это место около Одессы, которое показывают иностранцам одним из первых номеров. Тут крутой и высокий берег чуть-чуть посторонился, оставив у волн неширокую

песчаную площадку. Место это очень нарядно. Хижины рыбаков будто склеены из папье-маше и придвинуты к берегу театральными рабочими. Сохнувшие сети декоративно подоткнуты палками. Семья рыбаков, сидящая на открытом воздухе, будто не ест обед, а разыгрывает его, как это делают в опере, где пьют из картонных пустых чаш. Оркестр заменяет здесь шум прибора, а зрителей бродящие по шафранным тропам любопытствователи, вроде меня. Кстати, я замечаю, что заборы здесь имеют лишь лицевую свою часть, ту, которая поставлена против моря, боковые же стороны забора отсутствуют. Это как раз техника театрального художника, который заботится лишь о плоскостях, повернутых к зрительному залу. А где же здесь зрительный зал? Вон там огромный морской партер залива, весь усеянный лоскутами парусов. Оттуда зрители смотрят на рыбацкий поселок, и им кажется, что он настоящий. Но мы, в оркестровой дыре, видим и щели вдвинувшихся кулис и вообще видим многое из того, что выпадает из кадра.

В Аркадию вводит недлинная асфальтовая дорожка. У конца ее спуск вправо — к пляжу. Надо обойти грядку. Нетерпеливые одесситы пересекали раньше грядку по диагонали. Ставили запретительные надписи, угрозы штрафом. Но ведь надписи можно не прочесть. Перегораживали путь колючей проволокой. Но через проволоку можно переступить. Тогда поставили новую надпись, красными буквами по желтому дикту: «Разве это дорога?» И одесситы стали обходить надпись. Вскоре тропинка через грядку заросла новой свежей травой. Вот что значит поговорить с человеком на его языке. Но если держаться левой стороны асфальта, то вскоре подойдешь к круглому фонтану, в котором много бронзы и мало воды. Несколько бронзовых позеленевших от времени лягушек, сидя на стенках водоема смотрят зелеными глазами на скудную струю воды, стекающую из центрального горлышка фонтана. Из раскрытых ртов лягушек сочатся жидкие водные струи. Но местные мальчишки придумали не лишенную изобретательности игру. Взобравшись ногами на спинку бронзовой лягушки, они зажимают ладонью ей рот. Вода накапливается. Затем, стоит отдернуть руку, и лягушка плюется длинным и стремительным плевком. Зрители хохочут.

Дальше, если идти вдоль берега, видишь группу акаций. Акация одно из немногих деревьев, которое согласилось жить в Одессе. Еще в первое десятилетие существования города дюк Ришелье насаждал свой и посейчас называемый «Дюковским» сад. Сейчас от него почти ничего не осталось. Дерibas привозил туда редкие сорта флоры. Сейчас осталась лишь маленькая площадка, дающая довольно скудную тень. Граф Потоцкий привозил сюда из своих украинских имений целые обозы деревьев. Растрескавшаяся сухая почва города иссушила им корни, и мало что уцелело до нашего времени. Только акация стала одесситкой и цветет здесь пышным цветом. Дальше видишь открытый павильон с десятком игрушечных бильярдных столов, по поверхностям которых бегают какие-то посеребренные пиллюли. Раковина для оркестра. В море — вышка для прыжков в воду. Вообще черновой набросок будущего курорта. Остается съесть порцию мороженого и вернуться к трамвайной остановке.

VII

Сегодня с утра жара. Куда тень, туда и я. Сел в саду под старым орехом и переползаю вслед за его движущимся пятном тени. В руках у меня старая книга о старой Одессе. Автор ее, потомок знаменитого рода Дерibasов, вздыхает о том, что теперь уже Одесса не та. Все в ней и вокруг нее не то! «О, доброе старое одесское солнце! Где ты? Куда ты скрылось? (О, чтоб ты скрылось, думаю я про себя.) Поднимается и теперь какое-то бледное светило на нашем Востоке, но это уже не то. Его лучи не жгут, не ослепляют нас, как прежде». Дальше автор с грустью вспоминает, что нет уже прежней одесской пыли, такой пыли, из-за клуба которой, бывало, часовой на гауптвахте у Соборной площади не мог различить проходящего прапорщика от генерала и вызывал колоколом весь караул для отдания чести тому, кому она не причитается. «Прежняя одесская пыль была не такая, как ныне; она была благоуханной, как пыль цветов. Море, степи, акации отдавали ей свои остатки и были причиной ее своеобразного приятного аромата. Шла к нам прежняя пыль от солончаковых несков

Пересыпи, от большого чумацкого шляха в Новороссийских степях. Тонкая, мелкая, чистая, легко дававшая отпечатки всему, что к ней касалось, она прекрасно заменяла тот золотистый песок, которым в старину посыпались любовные записки».

Проходят дни. Жара спадает. А стопка книг растет и растет. Поверх объемистого Дерибаса толстенные отчеты Городской думы Одессы. Над ними дневники старожилов, несколько номеров французской газеты, издававшейся еще во времена Воронцова. Лень все перечислять.

И понемногу Одесса начинает вырастать в моем воображении. Она стоит на извилистых воздушных корнях. Ведь большинство ее первых зданий выросли из камня, скрытого под ее поверхностью. В результате: над поверхностью — каменные дома, под поверхностью — пещеры, подземные переходы. За свое право на жизнь Одесса заплатила десятками тысячами апельсинов. Павел I не хотел легализовать город, выдать ему метрику о рождении, пока поселившиеся на пустом месте купцы не послали ему этой верноподданнической взятки. Впрочем, их тогда называли не купцами, а «негоциантами». Женою одного из них, «негоцианткой молодой», увлекался Пушкин.

Первые годы город ютился на вершине холма, там, где еще недавно стояла небольшая турецкая крепость, вскоре снесенная. Есть предание, что на второй же день после захвата Хаджибея какой-то предприимчивый грек прямо против бреша, пробитой в стене фортеции, раскинул шалаш, под тенью которого были вскрыты первые бочки с вином. С этого и началась торговля города.

Понемногу появились неопределенные очертания улиц. К двадцатым годам домики побежали по склону холма к пересыпи, направляясь к лиманам. Все они, как и деревья, были низкорослы, всего в один этаж. По стандарту: крутой скат крыши, в центре крылечко с двумя подпорками, справа и слева по два или три окна.

Но зато подвижные дома кораблей толпились довольно-таки густо в гавани Одессы. Гавань слишком широко раскрывала свои берега морю — и в самом начале пришлось заботиться о защите от его волн.

«Дюк», как звали жители первого хозяина города, граф Ришелье, был добродушен и близорук. Каждый день он ходил с визитом к деревьям, насаженным под его наблюдением. Иногда он, по близорукости, первый приподымал треуголку при встрече с горожанами. Может быть, о нем думал А. Пушкин, когда начинал свою поэму «Анжело» словами «о добром дюке». Впрочем, не все в годы его городоправления было столь умирительно. Так, например, однажды произошла чрезвычайно конфузная история. Из Петербурга в Одессу — по почте — было направлено письмо. От особы весьма важной к особе более чем важной. Письмо затерялось: где-то на перегоне от Курска до Одессы. Добрый дюк отдал приказ: высечь всех стационарных смотрителей всех станций, расположенных между Одессой и Курском. Его личный секретарь, маркиз де Рошешуар был отправлен для проведения приказа в жизнь. Маркиз ехал в тормеze. Позади везли два воза, груженных связками розог.

Но вскоре, в 1814 году, Ришелье, в связи с событиями во Франции, покинул Одессу и на место его на круглый цоколь взошло бронзовое изображение графа. Оно стоит и по сей час, с рукой, протянутой над срывом берега и четко врезанной в него гаванью.

В гавань завозили товары и болезни. Вследствие этого возникли здания: таможня и карантин. Кольцо Старо-Портфранковской улицы говорит о диалектике строительства: город, получивший право свободной торговли, привилегию порто-франко, к концу того же года стал строить вокруг себя стену, напоминающую тюремную ограду. Для тщательного процеживания свободы. Впоследствии стена эта двигалась по направлению к центру и, наконец, исчезла, вместе со свободой торговли. Затем негоцианты, потомки корсаров и контрабандистов, превратились в купцов тех или иных гильдий, а многие из их внуков получили возможность держать под правым локтем не карабин, а портфель директора банка. Обороты кружат все быстрее и быстрее. Прилив деңег, отлив товаров. Прилив товаров, отлив деңег. Процент еврейского населения прыгает с каждым годом через две-три цифры. Строится биржа в грубо мавританском стиле. Еще до этого на месте прекрасного, в аттическом стиле, театра, в котором наш Пушкин слушал Россини, соору-

жается грузный овал облепленного богатой буржуазной орнаментикой современного оперного театра города.

Город преуспевает. Все флаги приплыли к нему в гости, все якоря упали в песок одесской бухты. <...>

Навстречу прибывающим из-за волнолома судам город выставляет огни кафе, ресторанов и кабаков. Матросы сходят со своих палуб, пьют, и земля качается под ними, как палубы их судов. Приезжает и трагик Олдридж. Ему не надо гримироваться для роли Отелло. Негр играет негра. Одесса любит настоящий товар. Настоящую страсть. В чемодане у Ойры Олдриджа полторы дюжины бумажных рубашек. Это, чтобы в третьем акте, в момент припадка ревности, разорвать ~~их~~ одна вслед другой, без необходимости ходить потом в магазин для покупки полотняных рубашек. Одесса любит страсть, но уважает бережливость, режим экономии. Даже в искусстве.

Город заполняется людьми торгующими, приторговывающимися и торгующимися. Торгуют: фруктами, зерном, биржевыми слухами, диабетом, векселями. У конторских столиков, у прилавков лавок, у перекрестков, у столиков кафе Фанкони. За десять семикопеечных марок высылают, по первому требованию, «100 предметов»: 99 иголок и одну пуговицу.

Город, отбросив тюремные стены «свободы торговли», тянулся к своим лиманам и к своим фонтанам. На окраинном Фонтане выросла узкоплечая Башня Ковалевского. Еще несколько лет тому назад она последней уходила из поля зрения пассажира, увозимого пароходом из Одессы. Теперь ее свалили.

Ну, а дальше: 1905, Потемкин, Шмидт, пожар доков, интервенция, бегство иностранных кораблей — все это вы знаете. Умолкаю.

VIII

В городе у меня есть три любимых места, которые я никогда не забываю навестить. Тем более что они не слишком далеко друг от друга. Первое место — дом, где останавливался Пушкин, на улице его имени. № 10. Здание это, вероятно, перестраивалось. Но я всегда испытываю странное «пушкинское» чувство, когда вхожу в сумрачную подворотню дома и затем на

квадратный, окруженный каменными подпорками молчаливый двор. Окно пушкинской комнаты выходило как раз сюда. Вероятно, сюда выплевывал он черешневые косточки и бросал скомканные и порванные клочки своих черновиков.

Второе место — Пале-Рояль, как называют его одеситы. Этот архитектурный ансамбль, действительно, отдаленно напоминает Пале-Рояль Парижа. Сад, запертый внутри каре домов. Я люблю здесь сидеть и думать об Одессе.

И, наконец, третье: старый дом на Софийской улице. Когда-то здесь жила графиня Нарышкина. Сейчас музей. Против здания, прямо на земле, без цоколя довольно странный памятник. Подходя к нему в первый раз, я подумал: «Мюнхгаузен?» И через секунду ответил себе: «Нет, Суворов». На веселой, иронически улыбающейся лошади, сидит маленький человечек, крепко вжавший худые колени в ребра зверю. В правой руке его поднятая навстречу невидимой толпе треуголка, левая накрутила на кулак удила. Лицо металлического человечка полно вызова, дерзости и смеха. Когда я подошел еще ближе к конной статуе, то заметил около нее группу красноармейцев, которые пришли, очевидно, осматривать музей. Но статуя надолго задержала их внимание. Они с видимым удовольствием и уважением оценивали посадку седока и конские стати бронзовой лошади.

Вскоре я узнал: автор статуи — одесский художник Эдвардо, эмигрировал за границу. Умер с голоду в Париже.

IX

У крыльца флигелька, где я живу, зеленые листики и усики дикого винограда. А дальше, за проредью деревьев, синее море. У края веранды круглые и квадратные цветники: тут и розовая, подвязанная шпагатом мальва, и стыдливые красные цветы ночной красавицы, и петунии, и гортензии, и резеда, и крученый панич, взвивающийся зелеными штопорами в воздух.

Я задумал, с самого начала, с первых моих встреч с солнечным зайчиком на беленой стене комнаты, противопоставить всем этим культурным, кувшино- и чашече-

образным цветам, в их рыхлых, в зеленых пупырьшках стеблях, свой Гяур-бах, грядку диких, с твердым камнем, отверженных садами и садовниками, растений. Посоветовавшись со знающими людьми, я вооружился лопатой и ведром, полным воды, и отправился, вслед за падающим в море солнцем, к сухим склонам побережья. Тут, еще раньше, я наметил глазом несколько иглистых, бледно-зеленых, но яркоцветных, кустарников.

Первым объектом, на который напали моя лопата и ведро, был высокий с зелеными почками и желтым цветком молочай. Корень его цеплялся за почву с необыкновенной силой. Я изломал стебель, смял широкие лопухие листья и вытащил на поверхность половину корня.

Еще более тяжелая схватка предстояла мне с обыкновенным, как мне казалось, одуванчиком. Я подкапывал его лопатой, лил воду из ведра, а одуванчик вонзался в пальцы множеством мелких шершавых игл, цепляясь ветвистым корнем за каменную почву.

В ведре оставалось уже немного воды. Я атаковал какое-то странное темно-зеленое растение, семью звездными лучами властавшее в землю. Вот сухощавый кустик, растопыривший бледно-зеленые сухие шишечки и иглы. Чуть ниже странное подобие подорожника с листом, похожим на вывалившийся язык висельника, почему-то утыканный темными занозами. Пускаю в работу рукавицу, воду и кирку. Ничего не берет. Растение страстно цепляется за родной грунт длинными, с множеством мочек, корнями; никак их не разлучить с их здесь. Они колют меня, и сквозь перчатку, шипами, предпочитают сломаться, умереть, чем уйти. И из моего гяур-баха ничего не вышло: три-четыре стебля, которые я перенес с сухой почвы берега на хорошо увлажненную грядку нашего сада, сжали свои лепестки и отказались жить в первый же день.

Х

Мы встретились на Приморском бульваре (улица Фельдмана). Она, подав мне левую руку (правая сжимала несколько тетрадей и книг), сказала:

— Видите вон тот буксирный пароходишко. Вот если б был такой пароход, что притащил бы к нам в Москву на буксире это вот море.

Я улыбнулся, как полагается, и мы сели рядом на скамью. Море внизу под сотней ступеней знаменитой одесской лестницы было чуть подернуто кисеей тумана. Волнолом перечеркивал его длинной каменной чертой. Вспомнили о наших московских общих знакомых. О номерах журналов, недавно нами разрезанных. Вслушиваясь в речь собеседницы, я сказал:

— Пустое вы одесским в и
Она, обмолвясь, заменила...

— А дальше?

— А дальше я не поэт.

— Жаль, а ведь поэзия это и есть дальше. Вы понимаете, какой-нибудь Аю-Даг, там, в Крыму, его все видели сперва как гору, ну и гору, а потом кто-то назвал ее Аю-Дагом, и всем стал виден медвежий контур. А там родилась легенда: огромный каменный медведь приполз к Черному морю, чтобы напиться; стал пить и пить — и когда выпил все море, конец и миру, и морю, и ему. Вот это и есть дальше.

— И миру, и морю, и ему. А кстати, «Понт Эвксинский», как называли греки вот это море, значит: гостеприимное, доброе море. Багрицкий вряд ли знал об этом, когда писал о «Черном море, хорошем море».

— У меня рядом с путеводителем и планами Одессы сборник памяти Багрицкого. Вы читали?

— Да.

— Скучно. Правда, скучно на вате: скучновато. Все рыбки да птички, птички да рыбки. Аквариум. А Багрицкий не аквариум, а море.

— А вы читали «Белеет парус одинокий»?

— Катаева? Вы спрашиваете потому, что там вон парус или...

— Нет, потому что на вас парусиновое платье.

— Глупо. А вот он написал умно, местами даже мудро.

— В чем там дело?

— Представьте себе вот этот самый порт. Отодвиньте время на тридцать лет вспять. Вот сюда, к левой пристани причаливает старый пароход «Тургенев». На нем старые и новые люди, а самая эпоха-та, когда новое причаливает к старому.

— Витиевато.

— Как та жизнь. Ведь вас тогда еще и на свете не было. И свет, хоть с трудом, а обходился без вас. Среди пассажиров парохода десятилетний Петя. Он видит мир десятилетне. В этом прелесть романа. Предупреждаю, я не умею рассказывать.

— Вижу без предупреждений. Дальше.

— Но революция пятого года тоже юна, тоже почти ровесница Пети. И они понимают друг друга, они...

— Они понимают, а я не понимаю. Я еще допускаю, что у людей из глаз слезы, но чтобы из-под ресниц капал гуммиарабик, которым человек склеивает...

— Я не склеиваю. Так у Катаева. Между прочим, у Катаева...

— Остерегайтесь «между прочим»: это тоже одессизм.

— Да. Основной недостаток очень хорошей повести Катаева в наличии клея. Когда он говорит о приморских камешках, то вы видите перед собой ящик с минералогической коллекцией. Рыбы у него не плавают тоже в одиночку. Дан сразу целый аквариум причудливо подобранных особей. Впрочем, нет приемов плохих или хороших. Есть хорошо или плохо примененные приемы. Так Катаеву удалось с блеском оправдать этот же прием коллекционирования сходных объектов в главе, описывающей мальчишескую игру в пуговицы. Сотни пуговиц, отрезанных и оторванных от вицмундиров, сюртуков, форменных тужурок, образуют довольно жуткое собрание. Создается образ тогдашней России, застегнутой на многое множество пуговиц — чинной, бездушной и бюрократической.

— Знаете, а не свернуть ли нам в этот ваш «Парус».

— Если вам скучно, извольте.

— Мне всегда скучно, когда пробуют пересказывать художественные произведения. Вообще у нас три вида оскущения вещей, три типа критики и истолковательства.

— Первый?

— Первый: критика без руля и ветрил. Второй: с ветрилом, но без руля. Как вот ваша. И наконец: с рулем, но без ветрил.

XI

Сижу на берегу, под черной тенью запрокинутой и подоткнутой веслом шаландой. У ног спутанные космы водорослей и мелкая дохлая рыбешка. В море на торчащих из воды склизлых камнях стоят рыболовы. Они замахиваются на волны длинными кнутовищами удочек и изредка выдергивают из рыжей взбаламученной воды рыжих бычков. Английские рыбаки называют их «miller's thuneb», «большим пальцем мельника», и действительно, голова бычка напоминает приплюснутый большой палец руки. Сейчас я вижу, как ближайший охотник за рыбьими черепами нанизывает на нить очередного бычка и затем бросает нить в воду. Таким образом, изловленному пучеглазому с круглыми плавниками существу временно возвращена жизнь, но жизнь на нити. Образ, который мог бы быть весьма с руки любому пессимисту. Вообще в приемах ловли более сильным более слабого немало мрачной иронии. Возьмите хотя бы название одной из простейших рыболовных снастей: самодур. Или устройство японских неводов или скипасей, длинными перпендикулярами составленных от берега в море. Они рассчитаны только на то, что рыба, ткнувшись в перегораживающую им дорогу сеть, не уходит назад, а начинает искать выхода, и именно поэтому попадает в мотню, сетевой мешок, из которого нет выхода.

Мне рассказывали о редко применяющемся сейчас способе вылавливания тенью, прохладой. В жаркие дни над поверхностью штилевого моря расстилается непрозрачный навес: рыба, ждущая прохлады, всплывает под тень навеса и попадает в расставленные ей здесь сети.

XII

Дня два шторм. Купаться нельзя, море бьет камнями, вхлестывается в ноздри и в рот волной и приглашает в утопленники. Наконец низовка израсходовала себя, волны спрятались под поверхность и я, обмотавши шею полотенцем, спускаюсь к берегу. Часть его проглочена утихомирившимся штормом. На

оставшейся полосе груды вереска и травы зостеры. Мертвые стеклянные грибы медуз. Я, извините меня, снимаю штаны и присаживаюсь на мокром камне. И странное явление: у ногтей моих ног ползают сотни и сотни божьих коровок. Некоторые из них высовывают из-под своих красных, в черной точковине, слитр, длинные, подмоченные соленой водой, перепончатые крылышки. Но ни одна из них не взлетает. Мало того — всех их притягивает не берег, а море. Вероятно, их принесло ветром. Сейчас его нет. Но — я слежу очень внимательно — ни одна из букашек не уползает прочь, все они взбираются на привольные острия камней, на эллиптические выступы мидий, и всех их слизывает легкий прибой туда, в волны. Я вспоминаю рассказы Замятина времен гражданской войны, смерть лирика Блока и его статьи «о кризисе гуманизма» и ... мало ли о чем я вспоминаю. Так, например, в памяти, как на поверхности воды всплывает одно трагикомическое насосавшееся воды бревно, которое я наблюдал несколько лет тому назад у Надвоицкого водопада. Там, где сейчас построены шлюзы на магистрали канала-Беломорья. Тогда о будущем канале говорили лишь редкие глухие взрывы да домики рабочих поселков у берега только намечавшейся трассы. Бревно, шедшее «молью», с озера Выг, сброшенное водопадом вниз, случайно попало в боковую заводь, чуть шевелимую проносящимся мимо водопадом. Бревно, двигаясь по часовой стрелке, притягиваемое током вод, описывало полный круг, но подойдя к вертикальному руслу водопада, отшвыривалось им назад, и снова свершало свой путь по водному циферблату затона, отсчитывая, часовой стрелке подобно, проносящееся мимо время.

ХШ

Собаки, как известно, не любят почтальонов. Может быть, потому, что сумки их всегда набиты запахами человеческих рук, запечатанными в конверты. Я сам, когда вижу на аллее кривоногого фонтанского почтальона с его тяжелой суковатой палкой, ощетиливаюсь и как-то сжимаюсь. Это

Москва ищет меня своими письмами. Скоро и меня сложат на верхней полке, подогнув колени к подбородку, сунут в вагон, как в конверт, запечатают парой железных дверей, а снаружи проставят адрес: Москва.

Веет, особенно по вечерам, первым осенним холодком. Люди, кутаясь в платки, пледы, пальто, выходят посмотреть на ночное море и лунную дорожку на зыбях. Даже собаки предчувствуют свое близящееся одиночество и полуголодную жизнь у заколоченных пустых домов. Особенно остро это ощущает, как мне кажется, мой любимец Шарик. Это простой дворовый пес с серой спиной и желтыми подпалинами на груди и у концов лап. Он умеет: поймать на лету муху, лякнув при этом длинными зубами; разгрызть, в течение минуты, любую кость; смотреть страдальчески-нежно в глаза тому, кто ее бросил. Аристотель, открывший формальную логику, от которой на земле столько бед, полагал, что и собакам доступны некоторые модусы силлогизма: например, умозаключения от частного к частному. Несомненно, это так. Когда я выдвигаю из-под кровати чемодан и смахиваю с него пыль, в дверях появляется Шарик. Он стоит, опустив хвост и не замечая мухи, кружащей у самого его носа. Это уже не первый чемодан. Силлогизм Шарика строится, вероятно, так: как только появляется чемодан, исчезает человек. В течение последних дней несколько этих странных вещей из мертвой кожи с лязгающим железным зубом уводили с собой людей — туда, к трамвайной остановке — и после того ни один человек не вернулся из страны, в которую уводят чемоданы.

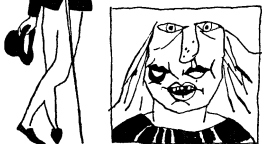
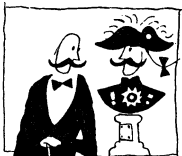
Впрочем, Шарик, должно быть, не вполне тверд в своих выводах. Не далее как вчера я провожал своего соседа по даче к трамваю и помогал нести ему один из его чемоданов. Шарик был очень взволнован. Он шел рядом со мной и один раз лизнул мне руку, опущенную книзу тяжестью ноши. Подошел трамвай. Чемоданы уехали, а я остался. Пес сначала был ошеломлен, потом с радостным лаем бросился ко мне на грудь. Хвост его смеялся. Аристотель был посрамлен, Шарик торжествовал.

Но теперь... Я стою на корточках среди разбросанных вещей. Пес подходит ближе. Это удобный случай,

чтобы лизнуть меня не в руку, а прямо в лицо. Глаза его спрашивают.

— Да, Шарик, э т о т чемодан уведет меня в страну, откуда ни единый путник еще не возвращался... до весны.

Это бывает со мной всегда, когда поезд увозит меня из Одессы. Справа и слева степь, неглубокие овраги. И вдруг среди поля, вдалеке, возникает темное и прохладное пятно. Море? Нет, тень от облака. И сердце щемит.



ЧЕМ ЛЮДИ МЕРТВЫ



АВТОБИОГРАФИЯ ТРУПА

Журналист Штамм, чьи «Письма из провинции» подписаны «Идр.»ом и др. псевдонимами, решил отправиться — вслед за своими письмами — в Москву.

Штамм верил в свои локти и умение Идр.'а обменивать чернильные капли на рубли, но его мучил вопрос о жилплощади. Он знал, что на столичной шахматнице не для всех фигур припасены клетки. Люди, побывавшие в Москве, пугали: все, по самые крыши, — битком. Ночуют: в прихожих, на черных лестницах, скамьях бульваров, в асфальтных печках и мусорных ящиках.

Поэтому Штамм, чуть только ступил с вагонной подножки на перрон московского вокзала, как стал повторять в мертвые и живые, человечьи и телефонные уши одно и то же слово: *к о м н а т а...*

Но черное телефонное ухо, отслушав, равнодушно висло на стальном крюке. Человечьи уши прятались под каракулевые и меховые воротники — мороз в тот день остро скрипел снегом — слово, попадая будто под новые и новые прослойки копировального глянца, от раза к разу блекло и расползалось глухо стучащими буквами.

Гражданин Штамм был очень нервен и легко впечатляем: когда к вечеру, откружив, как волчок на бечевке, он лег на трех жестких стульях, сталкивавших его спинками на пол, — призрак мусорного ящика, гостеприимно откинувшего деревянную крышку, ясно предстал сознанию.

Но не мимо правды молвится: утро вечера мудренее. Пожалуй: и мудренее. Встав, с рассветом, со

своих стульев, тотчас же угрюмо разошедшихся по углам комнаты, Штамм извинился за беспокойство, поблагодарил за приют и уныло зашагал по полубезлюдным улицам одетой в снег и иней Москвы. Но не сделав и сотни шагов, чуть ли не у первого же перекрестка, он наткнулся на быстро семенящего человечка в затрепанном и нищем демисезоне. Глаза человечка были запряты под кепку, губы плотно замотаны в кашне. И, несмотря на это, человечек увидел, остановился и заговорил:

— А. И вы тоже?

— Да.

— Куда так рано?

— Ищу комнату.

Ответа Штамм не разобрал: слова увязли в двойном обмоте кашне. Но он видел: встречный сунул руку внутрь демисезона, долго искал чего-то шевелящимися под тканью пальцами и затем вынул узкий блокнот. С минуту он что-то на нем писал, дуя на иззябшие пальцы. А через час бумажный листок в три-четыре дюйма, оторвавшийся от блокнота, чудесным образом превратился в жилплощадь величиною в двадцать квадратных аршин.

Желанная площадь отыскалась в верхнем этаже огромного серого дома, в одном из переулков, вычерчивающих кривые зигзаги от Поварской к Никитской. Комната показалась Штамму несколько узкой и темной, но когда зажгли электричество, на стенах проступили веселые синие розы, длинными вертикалями протянувшиеся по обоям. Синие розы поправились Штамму. Он подошел к окну: сотни и сотни крыш, надвинутых под самые окна. С довольным лицом он обернулся к хозяйке — тихой, пожилой, с черным платком на плечах женщине:

— Очень хорошо. Беру. Можно ключ?

Ключа не оказалось. Хозяйка, опустив глаза и как-то зябко кутаясь в платок, сказала, что ключ потерял, но что... Штамм не стал слушать:

— Пустяки. Пока обойдусь висячим. Еду за вещами.

И еще через час новый постоялец возился у двери, ввинчивая железную петлю висячего замка. Как ни радостно был возбужден Штамм, по одно пустячное обстоятельство обеспокоило его: прилаживая времен-

ный болт, он заметил, что старый замок как будто бы сломан. Поверх железной коробки для ключа видны были следы ударов и глубокие царапины. Чуть выше, на деревянной колодке, явственные следы топора. Штамм был очень мнителен и долго со спичкой в руке (в коридоре, соединявшем комнату с прихожей, было темно) осматривал дверь. Но ничего нового, кроме четкой белой цифры 24, вписанной в середину коричневой плоскости двери и, очевидно, необходимой для учета комнат в доме, он не заметил.

— Пустяки,— отмахнулся Штамм и принялся за разборку чемодана.

В течение двух следующих дней все шло так, как и должно было идти. Целый день — от порогов к порогам, от встреч к встречам, кланяться, пожимать руки, говорить, слушать, просить, требовать, а к вечеру портфель, зажатый под локтем, делался странно тяжелым, оттягивал руку, шаги укорачивались, теряли четкость, замедлялись, и Штамм возвращался в свою комнату лишь с тем, чтобы, оглядев полуслипающимися глазами шеренги синих обойных роз, тотчас же провалиться в пустой, черный сон. На третий вечер удалось освободиться несколько ранее. На уличном циферблате минутная стрелка, дернувшись, показала 10.45, когда Штамм подходил к дверям своего дома. Поднявшись по лестнице, он, стараясь не шуметь, повернул защелк американского замка наружной двери. Затем прошел по темному коридору к комнате № 24 и остановился, ища в кармане ключ. В квартире было уже темно и тихо. Только где-то слева за тремя стенками ровно шумел примус. Отыскав ключ, он повернул его внутри железной колодки и толкнул дверь: в то же мгновение что-то, замаячив белым пятном у его пальцев, прошуршав, скользнуло вниз и мягко ударилось об пол. Штамм щелкнул выключателем. На полу у порога, очевидно, выпав из разжатой дверной щели, лежал белый бандерольный пакет. Штамм поднял его и прочел адрес: *«Жильцу комнаты № 24».*

Имени не было. Штамм отвернул угол тетради: глянули острые прыгающие буквы, нервно сцепленные в строку. Недоумевая, Штамм еще раз перечитал странный адрес, но в то мгновение, как он переворачивал рукопись, она, выскользнув из своей довольно просторной бандерольной петли, сама

расправила вчетверо сложенное бумажное тело. После этого оставалось лишь отогнуть первую страницу, на которой было всего лишь два слова: Автобиография трупа.

«Кем бы Вы ни были, человек из комнаты 24,— начинала рукопись,— для меня Вы единственный из людей, которому мне удастся доставить радость: ведь если бы я не очистил моих 20 квадр. аршин, повесившись на крюке в левом углу у двери Вашего теперешнего жилья, Вам вряд ли бы удалось так легко отыскать себе покойный угол. Пишу об этом в прошедшем времени: точно расчисленное будущее — мыслится, как некая осуществленность, то есть почти как прошлое.

Мы не знакомы и знакомиться нам как будто б уж и поздно, но это ничуть не мешает мне знать Вас: Вы — провинциал — ведь такие комнаты выгоднее сдавать приезжим, не знающим местных обстоятельств и газетной хроники; конечно, Вы приехали «завоевать Москву»; в Вас достаточно энергии, желания «устроиться», «пробить себе дорогу», короче, в Вас есть то особое уменье, которого никогда не было во мне: уменье быть живым.

Что ж, я охотно готов Вам уступить мои квадратные аршины. Точнее: я, труп, согласен чуть-чуть потесниться. Живите: комната сухая, соседи тихие и покойные люди; за окном — простор. Правда, обои вот были трепанные и грязные, но я для Вас переклеил их: и тут, думается, мне удалось угадать Ваш вкус: синие — по глупым вертикалям плющенные — розы: таким, как Вы, это должно нравиться. Не правда ли?

В обмен на мою заботливость и внимание к Вам, человек из комнаты № 24, я прошу лишь о простом чигательском внимании к последующим строкам рукописи. Мне не нужно, чтобы Вы, мой преемник и исповедник, были умны и тонки: нет — мне нужно от Вас лишь одно чрезвычайно редкое качество: чтобы Вы были в полне живы.

Все равно: уже больше месяца меня мучают бессонницы. В ближайшие три ночи они помогут мне рассказать то, что никогда и никому мною не было рассказано. В дальнейшем — аккуратно намыленная петля может быть применена как радикальнейшее средство от бессонницы.

Одна старая индийская сказка рассказывает о человеке, из ночи в ночь принужденном таскать на плечах труп — до тех пор, пока тот, привалившись к уху мертвыми, но шевелящимися губами, не рассказал до конца историю своей давно отлывшей жизни. Не пытайтесь сбросить меня наземь. Как и человеку из сказки, Вам придется взвалить груз моих трех бессонниц на плечи и терпеливо слушать, пока труп не доскажет своей автобиографии».

Дочитав до этой строки, Штамм еще раз осмотрел широкую бумажную ленту бандероли: на ней не было ни марок, ни оттиска штемпелей.

— Не понимаю,— пробормотал он, подходя к двери комнаты, и остановился в раздумье у порога. Шум примуса давно утих. За стенами ни звука. Штамм оглянулся на рукопись: она лежала раскрытой на столе и ждала. Помедлив минуту, он покорно вернулся, сел и отыскал глазами потерянную строчку.

«Давно ношу поверх зрачков стекла. Приходится из года в год повышать диоптрии: сейчас у меня 8,5. Это значит 55% солнца для меня нет. Стоит втолкнуть мои двояко-вогнутые овалы в футляр,— и пространство, будто и его бросили в темный и тесный футляр, вдруг укорачивается и мутнеет. Вокруг глаз серые ползущие пятна, муть и длинные нити круглых прозрачных точек. Иногда, когда протираю замшей мои чуть пропылившиеся стекла, курьезное чувство: а вдруг с пылинами, осевшими на их стеклистые вгибы, и все пространство. Было и нет: как налипь.

Всегда остро ощущаю этот стеклистый придаток, подобранный на гнутых и тонких металлических ножках к самым моим глазам. Однажды я убедился: он умеет ломать, но только лучи, попавшие к нему внутрь овалов. Нелепица, о которой сейчас рассказ, произошла довольно много лет тому назад: несколько случайных встреч с одной полужнакомой девушкой как-то странно сблизили нас. Помню, девушка была юна, с тонким овалом лица. Мы читали одни и те же книги, отчего и слова у нас были схожи. После первой же встречи я заметил, что болезненно широкие в тонких

голубых ободках зрочки моей новой знакомой, спрятанные (как и у меня) за стеклами пенсне, ласково, но неотступно следят за мною. Однажды мы остались вдвоем; я коснулся кистей ее рук; кисти ответили легким пожатием. Губы наши приблизились друг к другу — и в этот-то миг и приключилась нелепица: неловким движением я задел стеклами о стекла: сцепившись машинками, они скользнули вниз и с тонким, острым звоном упали на ковер. Я нагнулся: поднять. В руках у меня было два странных стеклянных существа, крепко сцепившихся своими металлическими кривыми ножками в одно отвратительное четырехглазое существо. Дрожащие блики, прыгая со стекла на стекло, сладострастно вибрировали внутри овалов. Я рванул их прочь друг от друга: с тонким звоном спарившиеся стекла расцепились.

В дверь постучали.

Я успел еще увидеть, как женщина дрожащими пальцами пробовала притиснуть неповинующиеся чечевицы назад, к глазам.

Через минуту я спускался вниз по лестнице. И у меня было ощущение, как если бы я в темноте наткнулся на труп.

Я ушел. Навсегда. И меня напрасно пытались догнать письмом: прыгающие строки его просили о чем-то забыть и обещали с наивным простосердечием «вечно помнить». Да, вечная память мне на моем новом трупьем положении, пожалуй, еще и могла б пригодиться, но... я обыскивал глазом, буква за буквой, письмо, — и чувствовал, что стеклисто-прозрачный холод во мне не слабнет.

Особенно внимательно осмотрел я свое имя: на конверте. Да, девять букв: и зовут. Слышу. Но не откликаюсь.

С этого дня, помню, и начался период мертвых, пустых дней. Они и раньше приходили ко мне. И уходили. Сейчас же я знал: навсегда.

В этом не было никакой боли; даже обеспокоенности. Была просто скука. Точнее: скуки. В одной книге конца XVIII века я прочел как-то о «Скуках земных». Вот именно. Много их, сук: есть внешняя скука, когда одинаковые любят одинаковых, земля в лужах, а деревья в зеленом прыще. А есть и череда нудных осенних сук, когда небо роняет звезды, тучи

роняют дожди, деревья роняют листья, а «я» роняют себя самих.

В то время я жил не в Вашей, виноват, и а ш ё й, комнате 24, а в пеномерованной комнатке малого, в пять окон, провинциального флигеля. Стекла были в дождевом брызге. Но и сквозь брызг было видно, как деревья в саду, под ударами ветра, мерно раскачиваются, точно люди, мучимые зубною болью. Я сидел обычно в разлапистом кресле, среди своих книг и скук. Скук было много: стоило закрыть глаза и насторожиться,— и было слышно, как тихо ступают они по скрипучей половице, лениво волоча обутые в войлок ступни.

И целые дни от сумерек до сумерек я думал о себе как о двояко-вогнутом существе, которому ни во вне, ни во внутрь, ни из себя, ни в себя: и то и это — равно запретны. Вне досягаемый.

А иногда и я, как дерево, мучимое ветром, мерно раскачивался меж дубовых ручек кресла, в ритм нудным качаниям мысли: тем, мертвым,— маячила мысль: хорошо. Чуть заостенели — сверху крышка: поверх крышки — глина: поверх глины — дерн. И все. А тут,— как закачался на дрогах, так и повезут тебя, так и повезут с ухаба на ухаб, сквозь весны и зимы, из десятилетий в десятилетия, неоплаканного, ненужного.

Когда я думаю сейчас о тогдашнем своем состоянии, я никак не могу понять, как какой-то пустяковый и нелепый случай со стекляшками мог так сильно задеть и вышибить из привычной укатанной колеи. Мне не совсем понятно, как могло душу, если тогда она еще была у меня, этакой пылинкой придавить и разбездушить. Но тогда я принял пустяк как некий предметный урок, преподанный мне моим «стеклистым придатком». Попытки проникнуть в мир, начинающийся по ту сторону моих двояко-вогнутых овалов, и раньше были редки и робки. Теперь-то я знаю, отчего если формула *natura horreat vacuum*¹ опровергнута, то обращение ее — *vacuum horreat natura*² еще и не было под ударами критики. Думаю, оно их выдержит.

Так или иначе, я прекратил всякие попытки войти в свое вне. Все эти опыты с дружбой, эксперименты

¹ Природа боится пустоты (лат.).

² Пустота боится природы (лат.).

с чужим «я», порыванья дать или взять любовь — надо было, думал я, забыть и отказаться от них раз навсегда. Я уже давно замыслил сконструирование как бы сплющенного мирка, в котором все было бы в здесь, — мирка, который можно было бы защелкнуть на ключ внутри своей комнаты.

— Пространство, — рассуждал я еще в годы самой ранней юности, — нелепо огромно и расплзлось своими орбитами, звездами и разомкнутостью парабол в беспредельность. Но если вобрать его в цифры и смыслы, — оно с удобством умещается на двух-трех книжных полках. Я давно уже предпочитал узкие книжные поля однообразным верстам земных полей; книжный корешок всегда казался мне умнее путаных рацей о каких-то «корнях вещей»; самое нагромождение этих вещей, окружавших глаз, казалось мне куда грубее и неосмысленнее тонких и мудрых сцеплений из букв и знаков, запрятанных в книги. Пусть книжные строки и отняли у меня половину зрения (55%), я не сержусь на строки: они слишком хорошо умели быть покорными и мертвыми. Только они, эти молчаливые черные значки, и освобождали меня, пусть ненадолго, но освобождали от власти назойливых, вялых и сонных сук. Именно в это время я, заканчивая Институт востоковедения, целиком ушел в кропотливую работу над диссертацией: «О букве Т в тюркских языках».

Я и сейчас еще полон благодарности к маленькому двурукому Т, за все его хлопоты и помощь, какую оказало оно мне в мою черную бессветную полосу. Т водило мои глаза из лексикона в лексикон, вдоль длинных колонок слов, не давая ни на миг прорваться забвению; крохотная, чернотелая буква ворошила для меня книжные пылины, показывала спутавшиеся абзацы старых глоссариев и сборников синтагм. Иногда она, пытаясь занять меня, играла со мной в прятки: я искал ее, кружа карандашом по строкам и вдоль книжного поля, пока крохотный значок не отыскивался среди иных букв и начертаний. Иногда я даже улыбался при этом. Да-да, улыбался. Но спутница моих досугов умела и больше утешать. «Ведь «я» это буква, — говорила она, — такая же, как и я. Всего лишь. Стоит ли о ней печалиться. Была и нет».

Помню, тогда я между делом, так, шутя, занялся филологией «я». Где-то у меня — в папке — если

только не затерялись — должны бы сохраниться тогдашние заметки. Но искать сейчас некогда. Цитирую по памяти (боюсь, не точно): «...у «я» изменчивый корень, но всегда короткая фонема. Я-ich-moi-Y-ja-Éúó-jo-ego-аз. Можно предполагать процесс укорочения, так называемое «стяжение». Вероятно, последствия обычных речевых скороговорок. Впрочем, фонетически тут многое неясно. Кстати, при подсчете слова «ich» у Штирнера оказалось: под «ich» ушло почти 25% текста (если считать все производные). Этак еще немного и весь текст зарастет сплошным «я». А если обыскать жизнь: много ли в ней е г о?»

К сумеркам хлопотливое Т, умаявшись, ложилось обычно под книжную закладку, а я, не тревожа его больше и не зажигая огня, — маятником из угла в угол. И всякий раз мне ясно было слышимо, как в пустоту, с тонким и острым звоном, капля за каплей, — душа. Капли были мерны и звонки, и был в них все тот же знакомый стеклистый звук. Может быть, это была псевдо-галлюцинация, не знаю: мне все равно. Но тогда я назвал этот феномен особым словом: п с и х о р р е я. Что значит — истечение души.

Иногда этот мерный — капля за каплей — лет в пустоту даже пугал меня. Я зажигал свет и прогонял и сумерки, и псевдозвук прочь. И сумерки, и скуки, и Т, и галлюцинации уходили: тогда-то и начиналось то последнее одиночество, ведомое лишь немногим из живых, когда остаешься не только без других, но и без себя.

Впрочем, был у меня некий другой, чужеродное что-то, нарушавшее мои черные досуги. Дело в том, что с довольно ранних лет меня стал посещать один странный п р и м ы с л: 0,6 человека. Возник примысл так: как-то, чуть ли не в отрочестве, роясь в учебнике географии, я наткнулся на строку: «В северной полосе страны на одну квадратную версту пространства — 0,6 человека». И глаз точно занозило строкой. Зажмурил веки и вижу: ровное, за горизонт уползающее, белое поле; поле расчерчено на прямоугольные верстовые квадраты. Сверху вялые, ленивые хлопья снега. И на каждом квадрате у скрещения диагоналей оно: сутулое, скудное телом и низко склоненное над нищей обмерзлой землей — 0,6 человека. Именно так: 0,6. Не просто половина, не получеловек. Нет, к «просто» тут припутывалась

еще какая-то мелкая, диссиметрирующая дробность. В неполноту — как это ни противоречиво — вкрадывался какой-то излишек; какое-то «сверх».

Пробовал прогнать образ. Нет — ценок. И вдруг: одно из полусуществ, которые я ясно видел с ближайшего к глазу квадрата, стало медленно поворачиваться ко мне. Я пробовал отвести глаза и не мог: будто срослись с пустыми мертвыми глазницами 0,6.

И нигде — ни травинки, ни хотя бы обмерзлого камня, пятнышка; бездуновенен воздух и сверху вялые рыхло-спадающие снежные хлопья.

С тех пор 0,6 человека повелось ходить ко мне в дни пустот. В мои черные промежутки. Это был не призрак, видение, сонная греза. Нет, — просто так: прымысл.

Сейчас, когда я пробую в возможно более точных терминах описать тот, скажем, несчастный случай с «я», о котором писано выше, мне помогают символы математической логики. Точка может быть отыскана в пространстве, говорят они, лишь при посредстве скрещения координат. Но ведь стоит координатам разомкнуться, и — пространство огромно, точка же не имеет никакой величины. Очевидно, мои координаты разомкнулись, и отыскать меня, психическую точку в беспредельности, оказалось невозможным.

Или, еще яснее: учение о кривых знает такие мнимые линии, которые, пересекшись, дают реальную точку. Правда, «реальность» ее своеобразна: из фикций. Пожалуй, это-то и будет мой случай.

Так или иначе, но я не стал извещать ни «друзей», ни «знакомых», не стал выпрашивать ни у кого причитающихся мне «прискорбий» и, не заботясь о траурной рамке для своего имени, подумал лишь о том, как бы вернее и крепче включить мнимую «психическую точку» в сомкнутый квадрат моей жилплощади, подалее от глаз всех этих плохих математиков, не умеющих отличить реальное от мнимого, мертвое от живого. И родные, и знакомые, и даже друзья — чрезвычайно слабо разбираются в неочевидностях, пока им не подадут человека в гробу, в виде эдакого *cadaver vulgaris*¹ под трехгранью крышки, с двумя пятаками поверх глаз, — они все еще будут, с тупым упрямством,

¹ Обычный труп (*лат.*).

лезть к нему со своими соболезнованиями, расспросами и традиционными «как поживаете».

Окончив Институт, я переехал в Москву и поступил на физико-математический факультет по отделу чистой математики. Кончить не удалось. Однажды, когда я с четырьмя томами «Философского лексикона» (Гогоцкого) под мышкой, возвращаясь из фундаментальной библиотеки Университета домой, проходил длинным сводчатым коридором, дорогу мне перегородила тесная толпа студентов, запрудившая вход в раскрытые двери аудитории. Очевидно, это была сходка. Чья-то голова, выдернувшись из толпы, крикнула странно, по-птичьи, вытягивая шею из синего воротника:

— Лишние пусть уйдут. Остальные в аудиторию.

Слово «лишние» вдруг стреножило мне ноги. Охватив обеими руками расползавшиеся от толчков тома лексикона, я переступил порог лекционной ауры. Двери закрылись. Сначала были длинные, малопонятные мне речи. Потом короткое слово: полиция. Лексикон вдруг стал до неприятного тяжелым и мучительно оттягивал руки. Нас переписали и повели — меж штыков в манеж. Еще одна дверь — закрылась. Я чувствовал себя все недоуменнее и недоуменнее. Да и вокруг взбудораженность явно опадала. Кое-где на лицах проступало что-то вроде уныния.

Мне было скучно. Минуты медленно ползли по циферблату. Дверь не размыкала створ. Я стал перелистывать свой лексикон. Это был своего рода библиографический раритет. Издание начала XIX века. Сразу же на глаза попало слово: И ф и к а.

Тогда я понял: старый словарь был умным собеседником. Ну разумеется, только она, старомодная и маловразумительная Ифика, и могла запереть меня вместе со всеми этими никак не нужными мне людьми внутри какого-то манежа.

Сейчас, проверяя материал памяти, я вижу, что в мое мышление всегда вкрадывался какой-то фатальный просчет, ошибка, неизменно и упрямо повторявшаяся от раза к разу: все, совершавшееся под моей лобной костью, я считал чем-то абсолютно неповторимым; п с и х о р р е ю мыслил только как бы в о д н о м э к з е м п л я р е. Я не подозревал, что процесс психического омертвления мог быть ползучим — из черепа

к черепу, с особи на группу, с группы на класс, с класса на весь общественный организм. Пряча свое полубытие за непрозрачными стенками черепа, тая его, как стыдную болезнь,— я не учел того простого факта, что то же могло происходить и под другими черепными крышками, в других защелкнувшихся друг от друга комнатах.

Совсем недавно, перелистывая «*Rerum Moscoviticorum Commentarii*»¹ Герберштейна, посетившего Россию в первые годы XVI века, я отыскал такое: «...иные же из них,— пишет наблюдательный чужестранец,— производят имя своей страны от арамейского слова *Ressaia* или *Resessaia*, что означает: разбрызганная по каплям».

Если уж в то время эти «иные» существовали, то, множась из века в век, постепенно они должны были захватить в свои руки все рычаги и сигнальные аппараты тогдашней «жизни». Они мыслили и заставляли мыслить Россию, как *Ressaia*: в разбрызге розных друг другу капель. Они десятилетиями долгой отупляющей жизнью работой совершенствовались и изощряли свою технику расщепления общественности, пока в конце концов частью не вытравили, частью не обесчувствовали соединительную ткань, сращивающую клетки в одно. Мы жили разлученными каплями. Оторвышами. Какой-нибудь университетский устав 93-го года разрывал нас на так называемых «посетителей». Уже столетие тому Чельшевым отмечено возникновение продуктов психического распада: он пишет об «ушельцах в кабинеты». Именно среди нас, из поколения последышей, возникает философема «о чужом «я»: не мое «я» мыслится чужим и чужеродным, непревратимым в ты. Люди-брызги не знают ни русла, ни течения. Для них — меж я и мы: я мы. В ямы и свалились одно за другим поколения социальных оторвышей. Остается зарыть. И забыть.

Теперь мне ясно: никакое я, не получая питания из мы, не срастаясь пуповиной с материнским, обволакивающим его малую жизнь организмом, не может быть хотя бы только с о б о й. И моллюск, прячущий себя в тесно сомкнутые створки, если помочь створам, оковав их тесным металлическим обручем,— умрет.

¹ Написание о делах Московских (*лат.*).

Но тогда нам не дано было принять и охватить всю эту мысль, потому что самое наше мышление было деформировано: маршруты наших логик были разорваны посередине.

Мысль мыслила или не дальше «я», или не ближе «космоса». Дойдя до «порога сознания», до черты меж «я» и «мы», она останавливалась и или поворачивала вспять, или делала чудовищный прыжок в «звездность» — трансцендент — «иные миры».

Видение имело либо микроскопический, либо телескопический радиус: то же, что было слишком дальним для микроскопа и слишком близким для телескопа, попросту выпадало из видения, никак и никем не включалось в поле зрения.

Ночь на исходе. Устал. Пора пока прервать. Вокруг, и за стенами, и за окном как-то особенно тихо и бездвижно. Бессонницы научили меня разбираться в движении ночных минут. Я давно уже заметил: ночью, на самом ее исходе, когда синий брезг липнет к окну, а звезды слепнут,— есть всегда несколько минут какой-то особо глубокой тишины. Вот и сейчас: сквозь промерзшие стекла смутно, но вижу (лампочку я потушил): в синем сумраке темные крутые скаты крыш: совсем как запрокинутые кузовами кверху затонувшие корабли. Под ними ряды черных молчаливых дыр. Ниже — обмерзлые голые ветви низкорослых городских деревьев. Пусты улицы. И воздух сочится бездуновенностью, мертвюю и молчью. Да, это мой час: в такой час я, вероятно, и—»

Текст на полслове прерывался. Дальше шло семь тщательно зачеркнутых строк. Штамм, прыгнув глазом через параллели чернильных черт, продолжал чтение. Часы за стеной пробили 4.

«...Ночь вторая

Вся эта игра в помирушки могла бы длиться и длиться, если бы вдруг не застучали пушки. Пушки сначала били где-то там и по каким-то тем. Потом стали стучать тут и по этим. А когда пушки отстучали, начали стучать штемпельные приборы. От работы жерл вокруг тел образовывались круглые черные воронки. Штемпеля не били по людям: только по их именам. Но все равно: и вокруг имен, как вокруг битых тел, круглились синие и черные пятна.

Случай забросил меня на южный плацдарм. Город, в котором я жил, был попеременно под тринадцатью властями. Придут. Уйдут. Возвратятся. И снова. И каждая власть ввозила: пушки и штемпельные приборы.

Тут-то и приключилось: однажды, в канун смены властей, во время очередного пересмотра вороха старых и новых «удостоверений личности», я обнаружил пропажу: Личности.

Удостоверений — кипа. Личность затерялась. Ни экземпляра. Сначала мысль: так, случайный просмотр.

Но и после вторичной тщательной проверки, бумажонка за бумажонкой, всего исштемпелеванного хлама, «личность» так и не была обнаружена. Я ждал этого: чем чаще меня удостоверяли, тем недостовернее становился я самому себе: старая полузабытая было болезнь, психоррея, растревоженная ударами штемпелей, возвращалась опять. Чем чаще разъезжающиеся ремингтоновы строчки уверяли меня №-ом, росчерками подписей и оттиском печати, что я действительно такой-то, тем подозрительнее становился я к своей «действительности», тем острее чувствовал в себе и такого и этакое. Понемногу намечалась, росла и крепла страсть: хотелось еще и еще исштемпелеванных листков, и сколько бы их ни накапливалось, достоверности все было мало. Зарубцевавшийся было процесс возобновился: каверны в «я» опять стали шириться. От штемпеля до штемпеля чувство себя никло: я — и я — полу-я — еле-я — чуть-чуть-я: стаяло.

Чувство, испытанное тогдашним мною над кипой своих исштемпелеванных имен, не было чувством отчаяния или скорби. Нет, скорее это была особливая желчевая радость. «Вот лежит оно, — думалось мне, — мое стылое и мертвое имя. Было живо, — а вот теперь, глядь, все в синих трупных штемпельных пятнах. Пусть».

Как видите, человек из комнаты 24, Ваш предшественник, вовсе не чужд шутке. Даже мысль о предстоящей манипуляции с крюком и петлей не властна над моей улыбкой. Да, я улыбаюсь и, как знать, может быть, не в последний раз. Но это лишь схема: от — до. Материал о войне требует, конечно, более подробного и серьезного изложения. Начну.

...В одну из июльских ночей 14-го года, когда я работал над статьей о «Кризисе аксиоматизма»,— за окном внезапно загрохотали телеги. Переулочек наш, как Вы скоро убедитесь, тих и пустынен. Звук мне мешал: я отодвинул рукопись, решив переждать шум. Но он не прекращался. Вереница новых и новых порожняков, громыхая колесами о бульжник, проезжала где-то внизу под окнами, не давая сомкнуться тишине. Нервы были чуть взвинчены работой. Спать не хотелось. Но и работа застопорилась. Я оделся и вышел наружу. Ночные зигзаги наших переулочков были как-то странно оживлены. У перекрестков стояли группы возбужденных, вперебой говорящих людей. Слово «война», раз и другой, задело слух.

На стенах домов, то здесь, то там, проступали бумажные квадратики. Еще сегодня днем их не было.

Я подошел к одному из них. Тень от карниза отрезала верхние строки. Поневоле я начал читать откуда-то со середины:

«...из сумм интендантства выплачивается:
портянки — 7 коп.; рубаха нательная — 26 коп.;
пара сапог (каз. обр.) — 6 руб., а также...»

Только поведив зажженной спичкой над верхними строками бумажного квадратика, я понял, что он собирает не только сапоги и нательные рубахи, но и тела, с тем, что в них: жизнью. Кстати, о цене последней почему-то умалчивалось.

А к утру над подъездами и подворотнями домов уже висели пестрые жолнерские флажки. По тротуарам шли люди с газетами у глаз, а по мостовой шли люди с винтовками на плечах. Так с первого же дня газеты и винтовки поделили нас всех: на тех, которые умирают, и на тех, за которых умирают.

Конечно, вначале все это было спутанно и неорганизовано. Круг из людей, обступив какого-нибудь нескладного солдатишку, в длиннополой, под цвет земли шинели, радостно чему-то волновался:

— Вы за нас?

— Мы за вас.

Но впоследствии неясная черта, отделившая «тех, которые» от «тех, за которых», сделалась четче, вдоль линии прошла щель; щель разомкнула края и стала шириться.

Как бы то ни было, но первые дни войны слегка возбудили и меня. Я слишком много и часто

оперировал с символом «смерть», слишком систематически включал в свои формулы этот биологический минус,— чтобы не чувствовать себя как-то задетым всем тем, что начало происходить вокруг меня. Смерть, диссоциация, мыслимая мною в пределах моего «я», и только «я» (далее практически меня не интересовавшая), теперь поневоле навязывала мышлению более широкие масштабы и обобщения. Под бухгалтерию смерти теперь шла вся типографская краска, смерть превращалась в программную правительственно-рекомендуемую идею. Официально регламентированная, она стала выпускать и свой, периодический, выходивший без запаздываний, как и во всяком солидно организованном издательском деле, орган. Это было самое лаконичное, деловитое и занимательное из всех известных мне доселе изданий: я говорю о белых, типа двухнедельника, книжках, дающих «полный список убитых, раненых и без вести пропавших». На первый взгляд журнал смерти мог показаться скучным: номера — имена — номера — опять имена. Но при известном воображении сухой, лапидарный стиль книжек только усиливал впечатление фантастики. Книги эти давали толчки к самым неожиданным выводам: так, обследовав мартовские и апрельские выпуски 15-го года чисто статистически, я, например, знал, что среди убитых Сидоровых на 35% больше, чем Петровых. Зато Петровы чаще пропадали без вести. Очевидно, Сидоровым не везло. Или, может быть, Петровы трусили; а то — устраивались по тылам. Не знаю. Знаю лишь, что дальние, сожженные боями поля, земля, обезображенная оспою снарядных воронок, все сильнее и сильнее притягивали мое воображение. Я был здесь, среди тех и одним из тех, за которых умирали. Умирали далеко, за сотни верст, чтобы не тревожить нас. И трупы, если и возвращались из там в здесь, то тайно, ночью, так, чтобы не потревожить нас: тех, за кого должно умирать.

Помню, я даже забросил мой «Кризис аксиоматизма». Работа почему-то не ладилась. И иногда по ночам, тихо одевшись, я выходил на ночные улицы. Я точно знал часы, когда санитарные трамваи подвозят к лазаретам новые партии только что прибывшей из загадочного «там» битой человечины.

Обыкновенно мне не приходилось долго ждать. Из-за поворота улицы, глухо грохоча железом о железо, выкатывались черные неосвещенные вагоны. Останавливались у подъезда. В дверях вспыхивал свет. Створы дверей тихо разжимались и, пока по ступенькам, волоча носилки, топотали, перешептываясь, санитары, я, подойдя к приспущенным полотнищам летних санитарных вагонов, слушал, как меж полотнищами и крышей глухо, почти беззвучно ворочается и стонет искромсанная умирающая человечина. Вагоны очищали. А сзади, по рельсам, подползал новый груз.

Мне было трудно только смотреть. Я, здесь, притянутое там, не мог так больше. Однажды, улучив момент, когда санитары, сгружавшие туши, протянутые меж длинных носилочных шестов, почему-то замешкались, и в дверях произошел затор, я подошел к одним из носилок, поставленным второпях на короткие откидные ножки поперек панели. Носильщики, желая использовать опроставшуюся минуту, отошли в сторону и прикуривали. У туши, покрытой сплошь серой шинелью, никого не было. Я быстро пригнулся и приподнял сукно. Я почти ничего не видел. Перед внезапно запотевшими стеклами очков лишь прыгало и дергалось какое-то мутное пятно. Ноздри тронуло сукровицей и потом. Я пригнулся еще ниже к самому уху того, что лежало под сукном:

— За нас? За меня? А меня-то, может, и нет. Так вот — нет. И выходит, что...

Вероятно, дернув за отогнутый край шинели, я сделал ему больно. Потому что вдруг оттуда из дергающегося пятна послышалось — тихо и надорванно: ыыы. Я разжал пальцы: суконная пола, упав, прикрыла пятно.

Домой я шел быстрым, куда-то торопящимся шагом. Но, дошагав до двери, долго не переступал порога. Я знал: там, в темном комнатном коробе, среди книжных знаков и числ, терпеливо дожидается примысл: 0,6 человека.

В эту ночь он долго мучил меня: неотступною пустою глазниц.

Тем временем на смену белым и розовым квадратам, лепившимся по стенам домов, пришли синие бумажные прямоугольники. Цифры годов, подымаясь по скале, близились и близились к моему так называемому «призывному году». Далекое там, голубея

с бумажных листков, звало все громче и ласковее: иди.

И мне казалось, что я расслышал его, это короткое простое трехбуквие.

Но однажды, у стыка улиц, я встретил знакомого врача. Прощаясь, я задержал его руку в ладони.

— Скажите...

— Что?

— Если шесть диоптрий. Берут?

— Д-да. Хотя...

— И семь?

— Нет.

Мы расцепили ладони. Доктор, отойдя на десяток шагов, обернулся было, взглянув на меня через плечо. И пошел дальше. У меня было тогда 7 1/2. Мой стеклянный придаток цепко держался за здесь. Не сходя с места, я разжал ему тугие металлические ножки и, держа на уровне лица, стал внимательно всматриваться в его огромные овально-раскосые двояковдавленные глаза. И не знаю: был ли то простой солнечный рефлекс или иное что, но в глазах придатка искрился острый и радостный блеск.

Тогда-то и начались мои мучительные бессонницы. Поздние блуждания по улицам я бросил. Теперь мне это уж ни к чему. Я не умел и не умею пить. Общество людей для меня хуже бессонниц. А надо было хоть чем-нибудь заполнить пустые и длинные бдения. Я купил себе 32 черных и белых резных деревяшки и стал играть по ночам в шахматы: сам против себя. Мне нравилась абсолютная бесплодность шахматного мышления. После длительной борьбы мысли с противомыслью, сосредоточеннейшей схватки ходов с ходами, можно было ссыпать весь этот крохотный мирок, деревянный и мертвый, назад в коробку, и никаких следов от династий его черных и белых королей,— от опустошительных войн, охватывавших все клетки мирка,— не оставалось: ни во мне, ни вне меня.

Впрочем, в технике моей игры «меня против меня» была одна особенность, вначале заинтересовавшая ум: выигрывали у меня почти все г а м м а с е.

Тем временем длинные гусеницы поездов увезли почти всех людей с винтовками. Оставались существа, руки которых годны были лишь для газет: нервно

скомканные, пестрящие цифрой, то угрожающей, то лживо обещающей, газеты ото дня ко дню менялись. Не существует (пока) чисто психологической статистики. Но, говоря схемами, можно утверждать, что диалектика войны заставила идти в смерть всех более или менее живых; и закрепляла права на жизнь за всеми более или менее мертвыми. И если она умела лишь развести их, живых и мертвых, то новая сила, идущая вслед за ней, рано или поздно, должна была бросить их друг против друга: как врагов.

И тогда уже чуялось приближение этой новой, еще никак не названной тогда силы. Из воздуха будто выкачивали, толчками огромного и медленного поршня, кислород. Становилось нестерпимо душно. Люди из здесь уже не могли и не считали нужным скрывать неприязнь к людям из там, которые одиночками, урвав двухнедельный отпуск у смерти, тщетно пробовали радоваться среди чужих им отсепарированных людей.

Однажды, когда я перетирал тряпкой книжные полки, один толстый немецкий том, выскользнув из пальцев, мягко шлепнулся об пол. Задев глазом какую-то раскрывшуюся случайно строку, я внезапно потянулся к страницам книги. Оказывалось, что в языке жителей Фиджийских островов совершенно отсутствует слово «я». Дикари умеют обходиться без этого столь важного для нас знака, заменяя его чем-то подобным нашему «мне».

Я чувствовал себя человеком, сделавшим важное практическое открытие. А что, если уж с «я» у меня сорвалось, что, если попробовать жить в дательном падеже.

Мне: хлеба
самку
покоя
и царствия б небесного. Если есть. И можно...

Но события, катастрофически быстро надвигавшиеся на нас, делали затею с «мне» несколько запоздалой.

Становилось все тревожнее и тревожнее. Линии фронтов ползли на нас. Иным чудились уже дальние канонады, которых не было. Когда над городом проплывали мелкие, рваные в клочья облака, говорили:

оттуда. И долго и взволнованно объясняли, как от оружейной пальбы меняется форма туч. Было чувство, как если бы нас всех, оставшихся здесь, вселили в огромный толстостенный дом, одетый снаружи в ряды глухих, так называемых «ложных окон».

Сейчас на моем письменном столе валяется занятая игрушка для мысли. Подарена она мне знакомым инженером, работавшем в Вакуум-Лаборатории. Это обыкновеннейший герметически запаянный стеклянный дутьш. Внутри прихотливо изогнутый тонкий-тонкий серебристый волосок. А вокруг волоска — Vacuum, тщательно профильтрованная пустота. В этом — для меня и весь смысл дутьша.

Инженер мне объяснил: чистая откачка, достижение полной пустотности далось далеко не сразу. И только недавно овладели техникой изготовления полной пустоты, так называемого «жесткого вакуума».

Да. И у меня наступал момент, когда я, запрятав мысль внутрь ломкого дутьша, включился в жесткий вакуум.

Кстати, когда, повертев подарок в руках, я спросил:

— Ну, а как сделать, чтобы опять включить сюда воздух?

Инженер, взглянув на меня, как смотрят на чудака или ребенка, весело захохотал:

— Очень просто: разбить стекло».

«... Ночь третья и посл

Начинаю писать с запозданием. Вряд ли удастся кончить к утру. В работу вклинился пустяковейший пустяк: сон. И нарушил наладившуюся было смену бессонниц.

Перед вечером мне внезапно стянуло веки, и привиделось такое:

...будто я тут же и в той же клетке из синих плоских розанов. Сажу и жду чего-то. Вдруг за окном негромкий звук колес о снег. Странно, думаю я, зимой — и на колесах. Подхожу к окну. И вижу: у подъезда катафалк — черный, в белых кистях. Два-три человека в позументных кафтанах поверх вязаных фуфаяк, отойдя в сторонку, засматривают в мое окно. Ясно вижу: в мое. Один — даже глаза ладонью прикрыл. Я отступил назад, а там опять осторожно к окну, но сбоку, чтобы не заметили: все еще смотрят. Один, сдвинув нелепую шляпу, похожую на лодку донцем кверху,

присел на тумбу и закуривает. Значит, решили ждать. Тогда я, стараясь быть невидимым, по стене к порогу. Чуть ступил в коридор, а там уже топот тяжелых сапог у выходной двери, будто трое или четверо несут что-то неудобное и длинное на плечах. Дверь настезь. И вижу: застреваю в узкой дверной раме, колыхаясь на плечах,—синий, в белом обводе. Я назад, за порог, и ищу ключа. Ключа нет. А тот уж, синий в белой каемке, неуклюже стучаясь о стенки и повороты коридора, все ближе и ближе. Тогда я плечом в дверь и вытянутую ногу о ножку кровати. Так вернее. И... проснулся. Плечо, неудобно подвернувшись, упиралось в синие розаны стены. Вытянувшаяся во сне нога ткнулась в деревянную спинку кровати.

И еле вышел из просонки,—мысль: неужели боюсь? И все ли я точно учел и предвидел? А вдруг...

Нет. «Авдругу» меня больше не провести. Я хорошо знаю его, всесветного путаника и шутника. Это он, назвавшись «Grand Peut-Être'om»¹, перешутил шутника Рабле, пригласив его «на после смерти». И тот поверил.

Сам Авдруг не верит ни во что; даже в трупы. Чуть увидит—гробу прилаживают крышку, а вокруг ждут люди с лопатами, тотчас—палец промеж крышки и гроба. Пока не отщелят. Только работу путает.

А то уж и ладанные нити выются, клир поет о последнем целовании; трепетные девичьи губы наклоняются к мертвой туго стиснутой щели, а Авдруг уж тут как тут, и шепотком в восковое ухо: «Не упускайте ж случая, товарищ новопреставленный». И все же я благодарен путанику. Им подарен мне был один день. Всего лишь один. Я обещал себе вспомнить о нем перед самым концом: и вот вспоминаю.

Революция упала, как молния. И молнию, разряд ее, можно запрятать в динамо и заставлять ее, разорванную и расчисленную на счетчиках, мутно мигать из-под колпачков тысяч и тысяч экономических лампочек. Но тогда, в дни ее рождения, мы все, вольно или невольно, зажглись или обожглись об ее испепеляющий излом. Миг—и все пороги были сняты—не только комнат, келий, кабинетов, но и сознаний. Слова, казалось бы, навсегда раздавленные цензорскими

¹ Великий Может Быть (франц.).

карандашами, умаленные и загнанные в петиты и нон-парели, вдруг ожив, стали веять и звать с полотнищ алых знамен и лент. Вслед за буквами, вдруг преодолев свой порог, выполз, навстречу стягам и толпам и я. Авдругу удалось-таки убедить меня. Ненадолго, но удалось.

В тот, мой день, первый и единственный, уже с утра, шумы и пестрые блики многотысячного митинга бились о мои стекла и мозг. На минуту я даже убрал прочь мой неразлучный придаток: и пятна, вдруг закружившиеся вокруг меня, плясали какой-то веселый и безалаберный танец. В мартовских лужах прыгало солнце. В мартовской лазури, начисто омытой дождями, плясали белые кляксы туч.

С непривычки я очень быстро устал. С вибрирующими нервами, почти пьяный от шумов и смыслов, таких новых и таких не м о и х, я тихо высвободился из толпы и пошел вдоль улиц. Но и улицы, тоже шумные и взбудораженные, не давали роздыха нервам. Навстречу глазу протянулась длинная кладбищенская ограда. Я повернул туда.

Но странно: и запертый внутри ограды покой был как-то в этот день непокоен. Кресты, откачнувшись к земле и замахиваясь своими крестовинами, будто приготовились к защите; самая каменная ограда кладбища казалась похожей на крепостную стену, ждущую осады.

Измученный, я присел на еще влажную скамью. И тотчас же я увидел ее: это была девочка трех-четырёх лет. Она шла по аллее навстречу мне. И как будто одна. Еще неокрепшие ножки, чуть покачиваясь и расплываясь на склизкой глине, упрямо, шаг за шагом, брали пространство. Под белой вязаной шапочкой белел тонкий и будто знакомый овал. Тихие точки ветра шевелили ей золотистые пряди волос и концы алой ленты, стягивавшей их. Когда маленькая дошагала до пустого края моей скамьи, я сказал:

— Жизнь.

И девочка поняла, что это позвали ее. Став среди крестов, распластавших белые мертвые руки над нею, она подняла на меня глаза и улыбнулась. Я увидел: зрачки маленькой были странно расширены внутри тонких голубых ободков.

За поворотом аллеи слышались чьи-то торопливые шаги. Женский голос звал ребенка. Но не тем, не моим

именем. Я быстро поднялся и пошел в противоположную сторону, частая и частая шаги. Где-то уже у выхода я сшиб с ног старуху-богомолку.

— Ишь, очкач,— крикнула она мне вслед.

— Товарищ очкач,— поправил чей-то веселый басок и засмеялся.

Я тоже.

Придя домой, я тотчас же принялся за розыски того давно забытого письма. Особенно нужны мне были девять букв, как-то беспомощно и трогательно, как казалось мне теперь, сросшихся в мое имя: поверх конверта. Я перерыл все свои бумажные вороха. Во время поисков лезли в пальцы какие-то старые ненужные записи, университетский ученый хлам, растрепанные книжные выметки, официальные письма. Но того, единственно нужного не было: маленький узкий конверт с запрятанными в него прыгающими строчками, затерялся. И как будто навсегда.

Впрочем, в этот день мне везло, и я не совсем напрасно растревожил пыль внутри моих папок и бумажных кип. Неожиданно внимание мое задержалось на какой-то старой выписке. На полях была поставлена помета: «Из вопросов некоего Кирика к еп. новг. Нифонту».

А ниже:

«Вопрос 41. Должно ли быть погребению после заката солнца?

Ответ. Нет. Ибо это венец мертвых — видеть солнце в час своего погребения».

Я подошел к окну и распахнул его в ночь. Дневные шумы, утишившись, сонно и глухо ворочались меж мириада огней. Я пододвинул к подоконнику стул и просидел всю ночь с головой меж ладоней. И меж висков, не утихая, билась и билась мысль: пусть труп. Пусть. Но и мне дано увидеть солнце в час погребения.

Тем временем мартовская ярь подымалась все выше и выше и многие уже были испуганы ее буйным ростом. Произошло то, что должно было произойти. Сначала мертвые и живые жили вместе. И жизнь, взятая в зажимы, окандаленная, вогнанная в мертвый, однообразно отсчитывавший дни механизм, была как будто бы в пользу мертвых. Они были удобнее для тогдашнего устоя и уклада. Затем война хотя

бы частично отсепарировала мертвое от живого: она хотела, покончив с живыми, разделавшись с ними раз навсегда, подарить жизнь гальванизированным трупам. Но живые, согнанные в ограду боен, очутились впервые вместе и тем самым овладели Жизнью. Им не нужно было изготавливать ее гальваническим способом, похищать или отнимать у природы: она была здесь же в них: внутри нерва и мускула. Простое сложение мускулов развалило стены прекрасно оборудованных боен,— и началась единственная в летописях планеты борьба, точнее, мятеж живых против мертвых.

Да, революция, как я ее мыслю, это не междусобие красных с белыми, зеленых с красными, не поход Востока против Запада, класса против класса, а просто борьба за планету Жизни со Смертью. Или — или.

Когда революция начала одолевать, конечно, в нее полезли и трупы: все эти «и я», «полу-я», «еле-я», «чуть-чуть-я». И особенно открытая мною трупная разновидность: «м н е». Они предлагали опыты, стажы, знания, пассивность, сочувствие и лояльность. Одного лишь им не из чего было предложить: жизни. А на жизнь-то и был главный спрос. Понемногу выяснилось, что и вне кладбищ есть достаточно места для трупов. Революция умела «использовать» и их. Как-то знакомый медик рассказывал мне о некоторых явлениях так называемой климактерии. Половая система женщин в климактерическом периоде, объяснил он, постепенно омертвляясь, теряя чувствительность, постепенно же отнимает и физиологическое ощущение любви. Климактерики не могут любить (чисто физиологически). Но их любить можно. Беря пример *in extenso*, я утверждаю: люди с омертвевшим *sensorium*'ом, с почти трупным окостенением психики, уже никак не могут жить сами. Но их жить можно. Отчего же.

Пусть и я климактерик, но я понял. И не могу. И мне стыдно: потому что я увидел, хоть на миг, да, увидел солнце в час своего погребения.

Еще этим летом, как-то проходя по Бережкам, вдоль Москвы-реки, я заметил ребят, игравших в городки. Игра, очевидно, была в разгаре.

— Эй, Петька, ставь покойника,— лихо крикнул звонкий мальчишеский голос.

Я остановился и стал наблюдать.

Петька, замелькав босыми пятками, вбежал внутрь очерченного на земле квадрата и, присев на корточки, быстро расставлял чурки: две легли рядом — стол. Третья поверх: труп. И еще две по бокам стоймя: свечи.

— Ну, а теперь... — и Петька, отбежав назад к чурке, поднял битý. Секунду он фиксировал «покойника» прищуренным, чуть злым глазом. Затем битá метнулась в воздухе, и покойник, прынув расшвырнутыми деревяшками, был выбит из своего квадрата. Легкая пыльца поднялась над ним и снова спала книзу.

И я подумал: пора. Теперь пора.

И действительно: прежде возможны были Dasein-Ersatz'ы — подделка под жизнь. Сейчас труднее. Почти невозможно.

Завелись новые глаза. И люди. По-новому смотрят: не на, а сквозь. Под шелуху пустоты от них не запрячешь: зрачками всверлят. А чуть при встрече не посторонись: и прошагают сквозь тебя, как сквозь воздух.

Жаль мне всех этих «и я» и «еле-я», все еще цепляющихся за свое полубытие: трудно и кропотливо им жить: нет в да вклинилось; л е в о в п р а в о въехало; и у жизни их верх проломан, так низом прикрылась. И ведь все равно всех их, как ни таись, как старые консервные коробки, проржавевшие и лежалые, выволокут и вскроют: нет, уж лучше с а м о м у под синюю крышку в белой кайме.

Месяц тому была у меня встреча. Иду вдоль Арбата: витрины; за витринным стеклом цифры на билетиках; под билетиками товар; но на одной из витрин поверх цифр в стекле две пулевых дыры, заделанных какой-то мутной серой массой. Показалось любопытным: задержался на секунду. И вдруг у уха веселый голос:

— Интересуетесь. Д-да, ловко заштопано. Ведь вот всю Россию мы пулями перещупали, а она... опять. Штопаная... — оборвал голос.

Какая-то пара — рука под руку вдета — фиксировавшая цифры, тихо отошла прочь. Я же взглянул: из-под кожаного картуза — острые, никелевого блеска, чуть-чуть спиленные зрачки; бритое лицо, затиснутое меж крепких бугроватых скул; поперек лба — шрам.

— Ведь вот, — продолжал встречный, — до чего люди до вещи жадны. И купить-то он ее не может, так

хоть так глазом тронет да полюбуется. А мне вот ничего этого не надо,—повел он вдруг короткопалой квадратной кистью,—потому я, как пуля: либо мимо—либо сквозь. И правило у меня такое есть: чтобы всего моего имущества не более как на 11 1/2 фунтов...

— Почему 11 1/2?—изумился я.

— А потому— в винтовке такой вес определен: 11 1/2 и точка. Так вот: чтобы скарбу винтовки не перевесить. Поняли?

Я кивнул головой. И, продолжая беседу, мы пошли вдоль улицы, а затем свернули под первую попавшуюся зелено-желтую вывеску. Запомнились детали: на стене над столиком, где мы сели, внутри квадратной рамы тонул, запрокидываясь кузовом, над нарисованным сине-белым морем, корабль. Под кораблем вдоль бумажной ленты четыре широко расставленных буквы: если их складывать справа налево, получалось: И - К - А - Р, а если слева направо: Р - А - К - И.

Отсюда: э т о.

Мы спросили пива. Я чуть тронул пену. Он залпом. И продолжал, глядя куда-то сквозь меня.

— Одиннадцать дыр во мне, а я вот умирать не хочу. Потому что очень мне жизнь любопытна. Как вот подобрали меня под Саратовом—с чехами мы там—крови во мне еле и оставалось: навитеке. Помрешь, говорят. А я ни-ни, то есть вот не верю, и все. Или было и так: поймался к белым. Поставили нас рядком по овражному краю. И только это они: «взвoo-о-д», а я камнем оземь, да по скату вниз и ну бежать. Они вдогонку: раз-раз. А я бегу, знаете ли, чувство такое во мне: не попасть им в меня. Шалишь. И как попасть, раз я такой человек, что мне без жизни ну никак нельзя.

Знакомство (я нечасто позволял себе такую роскошь) не оборвалось. Человек в кожаном картузе заходил даже ко мне на квартиру: за книжками. До меня, собственника книг, ему, очевидно, не было никакого дела. Он ни разу не спросил: кто я и что во мне. Но на книги набросился с жадностью. Сначала я дал ему пачку попроще. Думал, не поймет. Нет, понял. По-своему, но понял. Я дал еще: посложнее. Возвращая мне вторую пачку, он растасовал ее на две книжных стошки.

— Вот эти: мимо. А вон те: сквозь.

По уходе гостя я, не смешивая книжных стопок, пересмотрел каждую порознь: прелюбопытню.

Кстати, с этим моим знакомцем можете познакомиться и Вы (если захотите), так как передача рукописи будет поручена ему. Во время последней нашей встречи я сообщил ему, что уезжаю. Завтра, как условлено, я передам ему пакет, с тем, чтобы ровно через неделю он был доставлен в комнату № 24. Человек верный. Я спокоен.

В переходную эпоху — меж двух Римов (сейчас оба мертвы) была в чрезвычайной моде игра в *cottabos*. Суть в следующем: отпировав, гости, состязаясь на дальность, выплескивали из последних чаш последние капли. Очевидно, и эпохи, и игры возобновляются. Что ж, я, кашля, принимаю игру. Идет. Швыряйте: меня. Но не чашу. Пустой чаше должно остаться на месте: таковы правила «игры в коттабос».

Ну, пора кончать: и рукопись, и все. За стеной уже проснулись. Начинается день. Итак, все по порядку: отнести рукопись; распорядиться о книгах и вещах; потом уничтожить кое-какие бумаги. На это уйдет день и, пожалуй, часть ночи. Так. Затем запереть дверь и ключ за окно, в снег. Вернее. Потом... да, крюк уже вбит: вчера. В третью розу по горизонтали вправо от косяка. История его ясна, как и моя. До брезга крюк будет пуст. Потом не пуст. Кстати, я уже проделал опыт со стулом, нарочно, с шумом обронив его на пол. В первый раз из-за стены спросили: «Что там?» На втором разе уже не поинтересовались. Итак, в этом пункте — гарантия. Дальше, пройдут сутки, может быть, больше, — и крюк все еще не будет пуст. Потом кто-нибудь окликнет меня через дверь. Потом постучит. Сначала тихо; а там и громче. У двери соберутся трое или четверо: сначала будут колотить в нее, потом перестанут. Потом топором по замку. Войдут. Шарахнутся. И опять войдут, но уже не все. Опростают крюк, а там и выдернут его прочь. После этого комната № 24 будет пустовать день, два, может, три, пока не впустит в себя Вас.

Боюсь, что Вы сейчас как-нибудь неприятно взволнованны. Не бойтесь: я не стану Вам угрожать галлюцинациями. Это психологическая дешевка. Гораздо больше я рассчитываю на архипрозаичнейший закон ассоциации идей и образов. Уже даже сейчас

все, от синих плоских пятен на обоях до последней буквы на этих вот листах, вошло к Вам в мозг. Я уже достаточно цепко впутан в Ваши т. н. «ассоциативные нити»; уже успел всочиться к Вам в «я». Теперь и у Вас есть свой п р и м ы с л.

Предупреждаю: научно доказано, что попытки распутать ассоциативные нити и изъять чужеродный, ввившийся в них образ только вернее закрепляет его в сознании. О, мне издавна мечталось, после всех неудачных опытов со своим «я» попробовать вселиться хотя бы в чужое. Если Вы сколько-нибудь живы, мне это уже удалось. До скорого».

Строки обрывались. Глаза Штамма, с разгону еще секунду-другую продолжали скользить по пустой синей линейке тетради. Потом круто стали.

Штамм повернул лицо к двери. Поднялся. До двери было шесть шагов. Третья справа: да, под пальцами ясно прощупывалась узкая дыра.

Внезапно он рванул дверь и бросился наружу. Но тотчас же пальцы уткнулись в коридорную стену. В коридоре было тихо и темно. Лишь через полуоткрытую дверь проникала узкая полоска света. Она помогла Штамму рассмотреть: почти у самых глаз белела цифра: 25. С минуту он стоял, не шевелясь, ему нужен был какой-нибудь живой звук: хотя бы звук человеческого дыхания. За чужой, закрытой дверью, наверно, спали: и Штамм прижался ухом к цифре, жадно вслушиваясь. Но слышал лишь свою кровь, тершуюся о жилы.

Постепенно овладевая собой, он вернулся назад: к порогу. Вошел и плотно прикрыл дверь. Опять сел к столу. Рукопись ждала. Штамм отодвинул ее и прикрыл сверху книгой. Поверх книги положил портфель. Длилась все та же черная ночная тишь. Вдруг внезапно (в Москве это бывает) проснулась где-то близко колоколенка: зазвонила бестолково, но истово, изо всей мочи стучаясь колоколами о тишину. И вдруг — как оборвало. Растревоженная медь еще с минуту гудела низким, медленно никнущим гудом, — и тишь сомкнулась вновь. Понемногу за окном начинало светлеть. Сизое предзорие, налипая на стекла, медленно вползло

в комнату. Штамм придвинулся к окну. Возбуждение в нем постепенно утишалось. Теперь сквозь двойные промерзшие стекла были видимы: и медленно окунавшиеся в рассвет железные кузова запрокинувшихся крыш-кораблей; и ряды черных оконных дыр под ними; и изломы переулочных щелей внизу: в щелях было безлюдие, мертвь и молчь.

«Его чае»,— прошептал Штамм и почувствовал, будто петлей стиснуло горло.

Издаലെка, с окраин, протянулся ровный и длинный бас гудка.

«Интересно — придет ли еще раз тот: живой».

Теперь Штамм уже снова был — или ему мнилось, что был, прежним Штаммом; даже почти Идром.

Только сейчас он заметил: синие розаны на стенах были в тонком, в ниточку, белом обводе.

«Что ж,— пробормотал Штамм, впадая в раздумье,— другой комнаты, пожалуй, не сыскать. Придется остаться. И вообще, мало ли что придется».

1925

КЛУБ УБИЙЦ БУКВ

I

— Пузыри над утопленником.

— Как?

Треугольный ноготь — быстрым глissандо — скользнул по вспучившимся корешкам, глядевшим на нас с книжной полки.

— Говорю, пузыри над утопленником. Ведь стоит только головой в омут, и тотчас — дыхание пузырями кверху: вспучится и лопнет.

Говоривший еще раз оглядел ряды молчаливых книг, стеснившихся вдоль стен.

— Вы скажете — и пузырь умеет изловить в себя солнце, сини неба, зеленое качание побережья. Пусть так. Но тому, кто уже ртом в дно: пужно ли это ему?

И вдруг, будто наткнувшись на какое-то слово, он встал и, охватив пальцами локти, оттянутые к спине, зашагал от полки к окну и обратно, лишь изредка проверяя глазами мои глаза:

— Да, запомните, друг: если на библиотечной полке одной книгой стало больше, это оттого, что в жизни одним человеком стало меньше. И если уж выбирать меж полкой и миром, то я предпочитаю мир. Пузырями к дню — собой к дну? Нет, благодарю покорно.

— Но ведь вы же, — попробовал я робко не согласиться, — ведь вы же дали людям столько книг. Мы все привыкли читать ваши...

— Дал. Но не даю. Вот уж два года: ни единой буквы.

— Вы, как об этом пишут и говорят, готовите новое и большое...

У него была привычка не дослушивать:

— Большое ли — не знаю. Новое — да. Только те, кто об этом пишут и говорят, это-то я твердо знаю, не получают от меня больше ни единого типографского знака. Поняли?

Мой вид, очевидно, не выражал понимания. Поколебавшись с минуту, он вдруг подошел к своему пустому креслу, пододвинул его ко мне, сел, почти коленями к коленям, пытливо вглядываясь в мое лицо. Секунда за секундой мучительно длиннились от молчания.

Он искал во мне что-то глазами, как ищут в комнате свою забытую вещь. Я резко поднялся:

— Вечера суббот у вас — я замечал — всегда заняты. День к закату. Я пойду.

Жесткие пальцы, охватив мой локоть, не дали подняться:

— Это правда: свои субботы, я, то есть мы запираем от людей на ключ. Но сегодня я покажу вам ее: субботу. Оставайтесь. Однако то, что будет вам показано, требует некоторых предварений. Пока мы одни — сконспектирую. Вам вряд ли известно, что в молодости я был выученником нищеты. Первые рукописи отнимали у меня последние медяки на оклейку их в бандероль и неизменно возвращались назад, в ящики стола, — трепанные, замусленные и избитые штемпелями. Кроме стола, служившего кладбищем вымыслов, в комнате моей находились: кровать, стул и книжная полка — в четыре длинных, вдоль всей стены доски, выгнувшихся под грузом букв. Обычно печка была без дров, а я без пищи. Но к книгам я относился почти религиозно, как иные к образам: продавать их... даже мысль эта не приходила мне в голову, пока, пока... ее не форсировала телеграмма: «Субботу мать скончалась. Присутствие необходимо. Приезжайте». Телеграмма напала на мои книги утром; к вечеру — полки были пусты, и я мог сунуть свою библиотеку, превращенную в три-четыре кредитных билета, в боковой карман. Смерть той, от которой твоя жизнь, — это очень серьезно. Это всегда и всем: черным клином в жизнь. Отбив похоронные дни, я вернулся назад — сквозь тысячеверстие — к порогу своего нищего жилья.

В день отъезда я был выключен из обстановки,— только теперь эффект пустых книжных полок доощутился и вошел в мысль. Помню, раздевшись, я присел к столу и повернул лицо к подвешенной на четырех черных досках пустоте. Доски, хоть книжный груз и был с них снят, еще не распрямили изгибов, как если б и пустота давила на них по перпендикулярам вниз. Я попробовал перевести глаза на другое, но в комнате — как я уже сказал — только и было: полки, кровать. Я разделся и лег, пробуя заспать депрессию. Нет — ощущение, дав лишь короткий отдых, разбудило: я лежал, лицом к полкам, и видел, как лунный блик, вздрагивая, ползает по оголенным доскам полок. Казалось, какая-то еле ощутимая жизнь — робкими простунями — зарождалась там, в бескнижье.

Конечно, все это была игра на перетянутых нервах — и когда утро отпустило им колки, я спокойно оглядел залитые солнцем пустые провалы полок, сел к столу и принялся за обычную работу. Понадобилась справка: левая рука — двигаясь автоматически — потянулась к книжным корешкам: вместо них — воздух, еще и еще. Я с досадой всматривался в заполненное роями солнечных пылинок бескнижие, стараясь — напряжением памяти — увидеть нужную мне страницу и строку. Но воображаемые буквы внутри воображаемого переплета дергались из стороны в сторону; и вместо нужной строки получалась нестрая россыпь слов, прямо строки ломалась и разрывалась на десятки вариантов. Я выбрал один из них и осторожно вписал в мой текст.

Перед вечером, отдыхая от работы, я любил, вытянувшись на кровати, с увесистым томом Сервантеса в руках, прыгать глазами из эпизода в эпизод. Книги не было: я хорошо помню — она стояла в левом углу нижней полки, прижавшись своей черной кожей в желтых наугольниках к красному сафьяну кальдероновских «Аутос». Закрыв глаза, я попробовал представить ее здесь рядом со мной — меж ладонью и глазом (так покинутые своими возлюбленными продолжают встречаться с ними — при помощи зажатых век и сконцентрированной воли). Удалось. Я мысленно перевернул страницу-другую; затем память обронила буквы — они спутались и выскользнули из видения. Я пробовал звать их обратно: иные слова возвращались, другие

нет: тогда я начал заращивать пробелы, вставляя в межслова с в о и слова. Когда, устав от этой игры, я открыл глаза, комната была полна ночью, тугой чернотой забившей все углы комнате и полкам.

У меня в то время было много досуга,— и я все чаще и чаще стал повторять игру с пустотой моих обескнижевших полок. День вслед дню — они зарастали фантазмами, сделанными из букв. У меня не было ни денег, ни охоты ходить теперь за буквами к книжным ларям или в лавки букинистов. Я вынимал их — буквы, слова, фразы — целыми пригоршнями из себя: я брал свои замыслы, мысленно оттискивал их, иллюстрировал, одевал в тщательно придуманные переплеты и аккуратно ставил замысел к замыслу, фантазм к фантазму,— заполняя покорную пустоту, вбирающую внутрь своих черных деревянных досок все, что я ей ни давал. И, однажды, когда какой-то случайный гость, пришедший возвратить мне взятую книгу, сунулся было с ней к полке, я остановил его: «Занято».

Гость мой был такой же бедняк, как и я: он знал, что право на чудачество — единственное право полуголодных поэтов... Спокойно меня оглядев, он положил книгу на стол и спросил, согласен ли я выслушать его поэму.

Закрыв за ним и за поэмой дверь, я тотчас же постарался убрать книгу куда-нибудь подальше: вульгарные золотые буквы на вспучившемся корешке расстраивали только-только налаживавшуюся игру в замыслы.

По параллели я продолжал работу и над рукописями. Новая пачка их, посланная по старым адресам, к моему искреннейшему удивлению, не возвратилась: вещи были приняты и напечатаны. Оказывалось: то, чему не могли научить меня сделанные из бумаги и краски книги, было достигнуто при помощи трех кубических метров воздуха. Теперь я знал, что делать: я снимал их, одни за другими, мои воображаемые книги, фантазмы, заполнявшие пустоты меж черных досок старой книжной полки, и, окуная их невидимые буквы в обыкновеннейшие чернила, превращал их в рукописи, рукописи — в деньги. И постепенно — год за годом — имя мое разбухало, денег было все больше и больше, но моя библиотека фантазмов постепенно иссякала: я расходовал пустоту своих полок слишком

торопливо и безоценочно: пустота их, я бы сказал, еще более раздражалась, превращалась в обыкновенный воздух.

Теперь, как видите, и нищая комната моя разрослась в солидно обставленную квартиру. Рядом с отслужившей старой книжной полкой, отработавшую пустоту которой я снова забил книжным грузом, стали просторные остекленные шкафы — вот эти. Инерция работала на меня: имя таскало мне новые и новые гонорары. Но я знал: проданная пустота рано или поздно отмстит. В сущности, писатели это профессиональные дрессировщики слов, и слова, ходящие по строке, будь они живыми существами, вероятно, боялись бы и ненавидели расщеп пера, как дрессированные звери — занесенный над ними бич. Или еще точнее: слышали вы об изготовлении так называемых каракульча? У поставщиков этого типа своя терминология: выследив, путем хитроумных приемов, узор и завитки на шкурке нерожденного ягненка, дождавшись нужного сочетания завитков, нерожденного убивают — прежде рождения: это называется у них «закрепить узор». Так и мы — с замыслами: промышленники и убийцы.

Я, конечно, и тогда не был наивным человеком и знал, что превращаюсь в профессионального убийцу замыслов. Но что мне было делать? Вокруг меня были протянутые ладони. Я швырял в них пригоршни букв. Но они требовали еще и еще. Пьянея от чернил, я готов был — какой угодно ценой — форсировать новые и новые темы. Замученная фантазия не давала их больше: ни единой. Тогда-то я и решился искусственно возбудить ее, прибегнув к старому испытанному средству. Я велел очистить одну из комнат квартиры... но пойдете, будет проще, если я это покажу.

Он поднялся. Я вслед. Мы прошли анфиладой комнат. Порог, еще порог, коридор — он подвел меня к запертой двери, скрытой портьерой (под цвет стены). Звонко щелкнул ключ, потом — выключатель. Я увидел себя в квадратной комнате: в глубине, против порога, камин; у камина полукругом семь тяжелых резных кресел; вдоль стен, обитых темным сукном, ряды черных, абсолютно пустых книжных полок. Чугунные щипцы, прислонившиеся ручкой к каминной решетке. И все. По беззвучающему шагу безузорному

ковру мы подошли к полукругу кресел. Хозяин сделал знак рукой:

— Присядьте. Вас удивляет, почему их семь? Вначале здесь стояло лишь одно кресло. Я приходил сюда, чтобы беседовать с пустотой книжных полок. Я просил у этих черных деревянных каверн тему. Терпеливо, каждый вечер, я запирался здесь вместе с молчанием и пустотой и ждал. Поблескивая черным гляncем, мертвые и чужие, они не хотели отвечать. И я, испрофессионализировавший себя дрессировщик слов, уходил назад к своей черпильнице. Как раз в это время близились сроки двум-трем литературным договорам: писать было не из чего.

О, как ненавистны казались мне в то время все эти люди, потрошащие разрезальными ножами свежую книжку журнала, окружившие десяткам тысяч глаз мое исстеганное и загнанное имя. Вспомнился — сейчас вот — крохотный случай: улица, на обмерзлой панели мальчонка, кричащий о буквах для калош; и тотчас же мысль: а ведь — и моим буквам и его — один путь: «под подошвы».

Да, я чувствовал и себя и свою литературу затоптанными и обесмысленными, и не помоги мне болезнь, здоровый исход вряд ли бы был найден. Внезапная и трудная, она надолго выключила меня из писательства: бессознательное мое успело отдохнуть, выиграть время и набраться смыслов. И помню — когда я, еще физически слабый и полувключенный в мир, открыл — после долгого перерыва — дверь этой черной комнаты и, добравшись до этого вот кресла, еще раз оглядел пустоту бескнижья, она, пусть невнятно и тихо, но — все же, все же — заговорила — согласилась заговорить со мной снова, как в те, казалось, навсегда отжитые дни! Вы понимаете, для меня это было такое... (Пальцы говорившего наткнулись на мое плечо, — и тотчас же отдернулись.)

— Впрочем, мы с вами не располагаем временем для лирических излияний. Скоро сюда придут. Итак, назад к фактам. Теперь я знал, что замыслы требуют любви и молчания. Прежде растратчик фантазмов, я стал копить их и таить от любопытствующих глаз. Я запер их все тут вот на ключ, и моя невидимая библиотека возникла снова: фантазм к фантазму, опус к опусу, экземпляр к экземпляру — стали заполнять

вот эти полки. Взгляните сюда — нет, правей, на средней полке — вы ничего не видите, не правда ли, а вот я...

Я невольно отодвинулся: в острых зрачках говорившего дрожала жесткая, сосредоточенная радость.

— Да, и тогда же я накрепко решил: захлопнуть крышку чернильнице и вернуться назад в царство чистых, неовеществленных, свободных замыслов. Иногда, по старой вкоренившейся привычке, меня тянуло к бумаге, некоторым словам удавалось-таки пробраться под карандаш: но я тотчас же убивал этих уродцев и беспощадно расправлялся со старыми писательскими новадками. Слыхали ль вы о так называемых *Gardinetti di S. Francisco* — садах св. Франциска: в Италии мне не раз приходилось посещать их: крохотные цветники эти в одну-две грядки, метр на метр, за высокими и глухими стенами — почти во всех францисканских монастырях. Теперь, нарушая традиции св. Франциска, за серебряные сольди разрешают оглядеть их, и то лишь сквозь калитку, снаружи: прежде не разрешалось и этого — цветы могли здесь расти — по завещанию Франциска — не для других, а для себя: их нельзя было рвать и пересаживать за черту ограды; не принявшим пострига не разрешалось — ни ногой, ни даже взглядом касаться земли, отданной цветам: выключенным из всех касаний, защищенным от зрачков и ножниц, им дано было цвести и благоухать для себя.

И я решил — пусть это не кажется вам странным — насадить свой, защищенный молчанием и тайной, отъединенный сад, в котором бы всем — замыслам, всем утонченнейшим фантазмам и чудовищнейшим измыслам, вдали от глаз, можно бы было прорасти и цвести — для себя. Я ненавижу грубую кожуру плодов, тяжело обвисающих книзу и мучающих, иссушающих ветви; я хочу, чтобы в моем крохотном саду было вечное, непадающее и нерождающее сложноцветение смыслов и форм! Не думайте, что я эгоист, не умеющий вышагнуть из своего я, ненавидящий людей и чужие, не-м-о-и мысли. Нет; в мире мне подлинно ненавистно только одно: буквы. И все, кто может и хочет, пройдя сквозь тайну, жить и трудиться здесь, у гряды чистых замыслов, пусть придут и будут мне братьями.

На минуту он замолчал и пристально разглядывал дубовые спинки кресел, которые, став в полукруг око-

ло говорившего, казалось, внимательно вслушиваются в его речь.

— Понемногу из мира пишущих и читающих — сюда, в безбуквие, стали сходиться избранныки. Сад замыслов не для всех. Нас мало и будет еще меньше. Потому что бремя пустых полок тяжко. И все же...

Я попробовал возражать:

— Но ведь вы отнимаете, как вы говорите, буквы не только у себя, но и у других. Я хочу напомнить о протянутых ладонях.

— Ну, это... знаете, Гёте — как-то объяснял своему Эккерману, что Шекспир — непомерно разросшееся дерево, глушащее — двести лет кряду — рост всей английской литературы; а о самом Гёте — лет тридцать спустя — Берне писал: «Рак, чудовищно расплзшийся по телу немецкой литературы». И оба были правы: ведь если наши обуквления глушат друг друга, если писатели мешают друг другу осуществлять, то читателям они не дают даже замыслить. Читатель, я бы сказал, не успевает иметь замыслы, право на них отнято у него профессионалами слова, более сильными и опытными в этом деле: библиотеки раздавили читателю фантазию, профессиональное писание малой кучки пишущих забило и полки и головы до отказа. Буквенные излишки надо истребить: на полках и в головах. Надо опростать от чужого хоть немного места для своего: право на замысел принадлежит всем; и профессионалу, и дилетанту. Я принесу вам восьмое кресло.

И, не дожидаясь ответа, он вышел из комнаты.

Оставшись один, я еще раз оглядел черный, с полками, подставленными под пустоту, глушащий шаги и слова изолятор. Недоуменное и настороженное чувство прибывало во мне, что ни миг: так себя чувствует, вероятно, подвергаемое вивисекции животное. «Зачем я ему или им, что нужно их замыслам от меня?» И я твердо решил тотчас же выяснить ситуацию. Но когда дверь раскрылась, на пороге уже было двое: хозяин и какой-то очкастый, с круглой, под рыжим ежом, головой: привалившись вялым, будто бескостным, телом на палку, он с порога разглядывал меня сквозь свои круглые стекла.

— Дяж, — представил хозяин.

Я назвал себя.

Вслед вошедшим на пороге появился третий: это был короткий сухой человечек с двигающимися желваками под иглами глаз, с сухой и узкой щелью рта. Хозяин обернулся навстречу третьему:

— А, Тюд.

— Да я, Зез.

Заметив недоумение в моих глазах, тот, кого называли Зез, весело рассмеялся:

— После нашей беседы вам нетрудно будет понять, что писательским именам здесь (выделил он последнее слово) делать нечего. Пусть остаются на титулблаттах: вместо них каждому члену братства дано по так называемому «бессмысленному слогу». Видите ли, был некий чрезвычайно ученый профессор Эббингауз, который, исследуя законы запоминания, прибегал к системе «бессмысленных слогов», как он их называл: то есть попросту он брал любую гласную и приставлял к ней, справа и слева, по согласной; из изготовленного таким образом ряда слогов отбрасывались те, в которых была хотя бы тень смысла: остальное — мнемологу Эббингаузу пригодилось для изучения процесса запоминания, нам же скорее для... ну, это не требует комментариев. Где же, однако, наши замыслители? Время бы.

Будто в ответ, в дверь постучали. Вошли двое: Хиц и Шог. Немного погодя в дверях появился, астматически дыша и отирая пот, еще один: кличка его была Фэв. Оставалось пустым лишь одно кресло. Наконец, вошел и последний: это был человек с мягко очерченным профилем и крутым скосом лба.

— Вы запаздываете, Рар,— встретил его председатель. Тот поднял глаза, они глядели отрешенно и будто издалека.

II

С минуту длилось молчание. Все смотрели, как Шог, присев на корточки, разводил в камине огонь. Следя за медленными, будто проделывающими какой-то ритуал, движениями Шога, я успел разглядеть его: он был значительно моложе всех собравшихся; блики, заплывавшие вскоре на его лице, резко выделили капризную линию его яркого рта и чутко вздрагивающее вздутие ноздрей. Когда дрова в камине, разыскрясь,

засычали, председатель, взяв в руки чугунные щипцы, ударил ими о каминные прутья:

— Внимание. Семьдесят третья Суббота Клуба Убийц Букв открыта.— Затем, для тот же ритуал, он подошел неспешными шагами к двери: дважды шелкнуло. В протянутой руке Зеза сверкнула бородчатая сталь:

— Пар: ключ и слово.

После паузы Пар заговорил:

— Мой замысел четырехактен. Заглавие: «Actus togbi».

Председатель насторожился:

— Виноват. Это пьеса?

— Да.

Брови Зеза нервно дернулись:

— Так и знал. Вы всегда, будто нарочно, нарушаете традиции Клуба. Сценизировать — значит вульгаризировать. Если замысел проектируется на театр, значит, он бледен, недостаточно... оплодотворен. Вы всегда норовите выскользнуть сквозь замочную скважину — и наружу: от углей камина — к огням рамп. Остерегайтесь рамп! Впрочем, мы ваши слушатели.

Лицо человека, начавшего рассказ, не выражало смущения. Прерванный, он спокойно отслушал тираду и продолжал:

— Всемирно известный персонаж Шекспира, поднявший вопрос о том, так ли легко играть на душе, как на флейте, отбрасывает затем флейту, но душу оставляет. Мне. Все-таки тут есть некое сходство: чтобы добиться у флейты предельно глубокого тона — нужно зажать ей все ее отверстия, все ее оконца в мир; чтобы вынуть из души ее глубь, надо тоже, одно за другим, закрыть ей все окна, все выходы в мир. Это и пробует сделать моя пьеса; и, следуя терминологии, выбранной Гамлетом, следовало бы сказать, что мой «Actus togbi» не в стольких-то актах, а в стольких-то «позициях».

Теперь об изготовлении моих персонажей. В том же «Гамлете» есть один, давно уже заинтересовавший меня, двойной персонаж, напоминающий органическую клетку, разделившуюся на две не вполне отшнуровавшиеся, как называют это биологи, дочерние клетки.

Я говорю о Гильденштерне и Розенкранце, существах, не представимых порознь, врозь друг от друга, являющихся — в сущности — одной ролью, расписанной по двум тетрадкам... и только. Процесс деления, начатый триста лет тому назад, я пробую протолкнуть дальше. Подражая провинциальному трагику, ломающему — эффекта ради — флейту Гамлета пополам, я беру, скажем, Гильденштерна и разламываю это полусущество еще раз надвое: Гильден и Штерн — вот уже два персонажа. Имя Офелия и смысл в нем сочтенный я беру то в плане трагедии — Ф е л и я, то в комедийном плане — Ф е л я. Понимаете ли, ввивая в косы то венки из горькой руты, то бумажные папильотки, можно двойть и это.

Итак, для начала игры, для первой позиции пьесы, у нас уже четыре фишки: двигая ими по воображаемой сцене, как шахматист, играющий не глядя на доску, я получаю следующее...

На секунду Рар оборвал речь. Его длинные и белые, почти сквозистые пальцы, прощупывали что-то сквозь воздух, как бы испытывая лепкость материала.

— Как это говорят: «Сцена представляет...» ну, одним словом, молодой актер Штерн заперся наедине со своей ролью. Роль угадывается и без монологов: на спинке кресла черный плащ; на столе — среди книжных ворохов и портретов эльсинорского принца — черный берет со сломанным пером. Тут же пиджак и подтяжки. Штерн, небритый, со следами бессонницы на лице, шевелит острием шпаги приопущенную занавеску окна.

— Мышь.

Стук в дверь. Продолжая фиксировать растревоженную шпагой занавеску, левой рукой снимает болт с двери. На пороге Ф е л я.

Мы с вами видим ее: миловидное личико с ямками, прыгающими на щеках, — существо, которое в пьесах всегда любят двое и от психологии которого требуется одно: из двух выбрать одного. Но Штерн не видит вошедшую и снова за свое:

— Мышь!

Феля в испуге приподымает юбку. Диалог.

Ш т е р н (*не оборачиваясь на крик Фели*). Напрасен крик. Молчи. И рук ломать не надо.

Гляди: сейчас твое сломаю сердце.

Отдергивает занавеску. На подоконнике, вместо Полония, примус и пара пустых бутылок.

Король из тряпок и лоскутьев,
Глупец, всю жизнь болтавший без умолку.
Пойдем. Ведь надобно ж с тобой покончить.

В дверях сталкивается с Фелей.

Ф е л я. Куда ты? Без пиджака на улицу. Проснись!
Ш т е р н. Ты? О, Феля, я... если бы ты знала...

Ф е л я. Я знаю свою роль назубок. А вот ты — смешной путаник. Брось свои ямбы — ведь мы не на сцене.

Ш т е р н. Ты уверена в этом?

Ф е л я. Только, пожалуйста, не начини меня разувать. Если бы тут были зрители, я бы не сделала вот так (*став на цыпочки, целует его*). Ну что, и это не разбудило?

— Милая.

— Наконец-то: первое слово не из роли.

Засим я перестаю вертеть любовную шарманку: вам важно знать, что сейчас Фелия ближе к Штерну, чем к Гильдену, его сопернику и дублеру; что она хочет ему победы в борьбе за роль. Так или иначе, в обгон диалогу, удостоверяю: разворачиваясь, он придвигает фишку к фишке, Штерна к Феле. Отсюда ремарка: скобка, поцелуй, закрыть скобку, точка. На этот раз и для Штерна — не сквозь роль — а в полной яви. Вглядитесь. А теперь переведите взгляд чуть влево. Дверь, брошенная полуоткрытой, распаивается; на пороге — Гильден.

Гильден (*улыбаясь, в меру злобно*). Зрители излишни. Удаляюсь.

Но Влюбленные, разумеется, удерживают Гильдена. Минута смущенного молчания.

Гильден (*перебирает разбросанные повсюду книги*). Роль, я вижу, не так податлива, как... (*взгляд в сторону Фелии*). «Шекспир». «О Шекспире». Гм, опять Шекспир. Кстати, сейчас в трамвае простец какой-то, заметив роль, торчащую у меня из кармана и желая сделать мне приятное, спросил: «Говорят, и не существовало никакого Шекспира, а только подумать, сколько пьес после него; а вот существуй Шекспир, так, должно

быть, и пьес-то этих самых...» — И смотрит на меня этак идиотически-любопытательно.

Феля хохочет. Штерн остается серьезен.

Штерн. Простец-то простец, но... что ты ему ответил?

Гильден. Ничего. Трамвай остановился. Мне надо было выходить.

Штерн. Видишь ли, Гильден, еще недавно мне твой пустяк показался бы только смешным. Но после того, как вот уж третью неделю бьюсь над тем, чтоб засуществовать в несуществовании, ну как бы тебе сказать, чтобы вжиться в роль, у которой, скажете вы, нет своей жизни, я осторожно обращаюсь со всеми этими «быть» и «не быть». Ведь между ними только одно или. Всем дано выбирать. И иные уже выбрали: одни — борьбу за существование; другие — борьбу за несуществование; вель линия рампы, как таможенная черта: чтоб переступить ее, чтоб получить право находиться там, по ту сторону ее огней, надо уплатить кое-какую пошлину.

Гильден. Не понимаю.

Штерн. А между тем понять — это еще не все. Надо и решиться.

Фелия. И ты?..

Штерн. Да. Я решил.

Гильден. Чудак. Рассказать Таймеру — вот бы посмеялся. Хотя пока что наш патрон не проявляет особого веселья. Вчера, когда ты опять пропустил репетицию, он поднял целую бурю. Я затем и зашел к тебе, чтобы предупредить, что если ты и сегодня будешь «несуществовать» на репетиции, то Таймер грозил...

Штерн. Знаю. Пусть. Мне не с чем, понимаешь, не с чем; точнее — не с кем идти на вашу репетицию. Пока роль не придет ко мне, пока я ее не увижу вот здесь, как вижу сейчас тебя, мне нечего делать на ваших сборищах.

Фелия умоляюще смотрит, но Штерн, точно провалившись в себя самого, не видит и не слышит.

Гильден. Но ведь должна же быть проверка извне: сначала глаза режиссера, затем зрителя...

Штерн. Чепуха. Зрители: да если б их шубы, развешанные по номеркам, сняв с крючьев, рассадить по креслам, а зрителей развешать по гардеробным

крючьям,— искусство б от этого не пострадало. Режиссер, глаз режиссера — так ты, кажется, сказал: я бы его выколол — из театра. К дьяволу! Актеру нужны глаза его персонажа. Только. Вот если б сейчас сам Гамлет пришел сюда и, отыскав зрочками зрочки, сказал бы мне... знаете, что, друзья, не сердитесь, но мне надо работать. Рано или поздно я дозовусь его, и тогда... Уходите.

Гильден. Однако, Феля, он с нами заговорил действительно тоном принца. Только и остается — уйти. Тем более что через четверть часа начнется.

Фелия. Штерн, милый, пойдем с нами.

Штерн. Оставьте меня. Прошу вас. И у меня сейчас... начнется.

Штерн остается один. Некоторое время он сидит без движения, как вот я. Потом (Рар резким движением протянул руку к затененной пустоте книжных полок: глаза слушающих повернулись туда)... потом... он берет книгу — первую попавшуюся. Конспектирую монолог.

Штерн. Итак, попробуем. Действие второе, сцена вторая: «Заговорю с ним опять». Ко мне: «Что вы читаете, принц?» Слова, слова, слова. О, если б дано было знать: какие слова были в той книге. Если б: ведь тут узел смыслов. «Но о чем они говорят?» — «С кем?»

В это время — вы замечаете ее? Там на пороге — беззвучно возникнув в сумерках вечеряющей комнаты — появляется Роль: она точно, но сквозь муть, как отражение в дешевом зеркале, повторяет собой актера. Штерн, сидящий спиной к дверям, не замечает Роли, пока она, подойдя к нему сзади, не прикоснулась рукой к плечу.

Роль. Послушайте, вы хотели узнать слова книги, которую я имею обыкновение вот уже триста двадцатый год кряду перелистывать во второй сцене второго акта? Что ж, слова эти можно бы вам, пожалуй, ссудить — разумеется, не даром.

Черный фантом успел уже бесшумно вдвинуться в пустое кресло против Штерна: с минуту актер и роль пристально всматриваются друг в друга.

Штерн. Нет. Это не то. Я представляю своего Гамлета иначе. Вы, простите меня, жухлый и линиялый. А хочу не так.

Роль (*флегматически*). И тем не менее сыграете меня — именно так.

Штерн (*мучительно оценивая своего двойника*). Но я не хочу, понимаете, не хочу быть, как вы.

Роль. Может, и я не хочу: быть, как вы. И, наконец, я всего лишь вежлив: зовут — прихожу. Придя, спрашиваю: за чем?

Пальцы Рара обыскивали воздух, точно в нем кружила невидимкою реплика; казалось, они уже схватили ее, и вдруг разжались: Рар внимательно всматривался вслед выпорхнувшему слову.

— Вот тут-то я и попробую, замыслители, закрыть флейте ее первый клапан. Об это за чем Штерну нужно удариться. Ему, актеру, то есть существу, профессионально говорящему чужие слова, пожалуй, и не найти своих, чтобы объяснить своему отражению себя — отраженного.

По-моему, тут все довольно просто: каждое трехмерное существо дважды удвоет себя, отражаясь вовне и вовнутрь. Оба отражения неверны: холодное и плоское подобие, возвращаемое нам обыкновенно стеклянным зеркалом, неверно уже потому, что менее чем трехмерно, распластано; другое отражение лица, отбрасываемое им внутрь, втекающее по центростремительным нервам в мозг, состоящее из сложного комплекса самоощущений, тоже неверно, потому что — более чем трехмерно.

И вот — бедняга Штерн хотел объективировать, поднять со дна души к периферии, выманить игрой, зазвать в роль то, внутреннее подобие себя; на зов пришло другое отражение — стеклистое, мертвое, спрятанное под поверхностями, отраженное вовне. Он не хочет его, отрекается от назойливого фантома, и тем и создает ему объективность бытия вне себя. То, о чем говорю, существует и вне пьес; случилось и будет случаться. Да вот, хотя бы Эрнесто Росси: в своих «Воспоминаниях» он рассказывает о посещении развалин Эльсинора. Приблизительно так: на некотором расстоянии от замка Росси останавливает экипаж и пешком к руинам. В сгущающихся сумерках ровным шагом приближается он к замку. Неумирающая история о датском принце овладевает им. Шагая навстречу черному силуэту моста, он — сначала про себя, потом все громче и громче, припоминая первый акт

«Гамлета», стал декламировать свое обращение к тени отца. И когда, постепенно втягиваясь в привычную роль, додекламировал до реплики Тенни и привычным же движением поднял голову,— он увидел ее: выйдя из ворот, Тень, бесшумно близясь, шла к брошенному через ров мосту: реплика принадлежала ей. Далее Росси сообщает лишь, что, повернувшись спиной к партнеру, он опрометью бросился назад, отыскал возницу и велел гнать лошадей что есть мочи. Итак, актер бежал — в данном случае от пришедшей к нему роли. Но ведь он мог и остаться там, у моста: из мира в мир. И Штерну придется остаться — для этого не нужно таланта: достаточно воли. Но давайте включим пьесу. Наш персонаж давно ждет нас: я слишком затянул ему паузу. Итак:

Штерн. Значит, меня увидят таким? Как вот ты?

Роль. Да.

Штерн (*в раздумье*). Так. Еще вопрос: откуда ты? И еще: откуда бы ты ни был, тебе придется уйти. Я отказываюсь от роли.

Роль (*приподымаясь*). Как угодно.

Штерн (*шаг вперед*). Стой. Я боюсь: тебя могут видеть. Мне бы не хотелось, чтобы кто-нибудь, кроме меня... ты понимаешь.

Роль. Не торопитесь включать меня в пространство. Дело в том, что видеть меня... ну, скажем, необязательно. Мы существуем, но условно. Кто захочет — увидит, а не захочет... вообще это насилие и дурной вкус: быть принудительно реальным. И если у вас, на земле, это еще не вывелось, то...

Штерн. Постой, постой. Но ведь я хотел видеть другого...

Роль. Не знаю. Может быть, перепутали подорожные. При переходе из мира в мир это бывает. Сейчас у нас огромный спрос на Гамлетов. Гамлетбург почти опустел.

Штерн. Не понимаю.

Роль. Очень просто. Вы затребовали из архивов, а вам прислали из заготовочной.

Штерн. Но как же это... распутать?

Роль. Тоже — просто. Я провожу вас до Гамлетбурга, а там ищите, кого вам надо.

Штерн (*растерянно*). Но где это? И как туда пройти?

Роль. Где: в Стране Ролей. Есть и такая. А вот как, этого ни рассказать, ни показать нельзя. Думаю, зрители извинят, если мы... за закрытым занавесом.

Рар спокойно оглядел нас всех:

— Роль, в сущности, права. С вашего разрешения, даю занавес. Теперь дальше, позиция вторая: постарайтесь увидеть уходящую от глаза перспективу, ограниченную со всех сторон близко сдвинувшимися стенами и заостренную вверху жесткими каркасами готических арок. Поверхности этого фантастического туннеля сверху донизу в квадратных пестрых бумажных пятнах, поверх которых разными шрифтами, на разных языках одно и то же слово: Гамлет — Гамлет — Гамлет. Внутри, под убегающими вглубь буквами разноязыких афиш, два ряда теряющихся вдалеке кресел. В креслах, завернувшись в черные плащи, длинной вереницей — Гамлеты. У каждого из них в руках книга. Все они склонились над ее развернутыми листами, их бледные лица сосредоточены, глаза не отрываются от строк. То здесь, то там шуршит перелистываемая страница и слышится тихое, но немолкнувшее:

— Слова, слова, слова.

— Слова — слова.

— Слова.

Я еще раз приглашаю вас, замыслители, взглядеться в череду фантомов. Под черными беретами опечаленных принцев вы увидите тех, кто вводил вас в проблему Гамлета: в этот длинный и узкий — сквозь весь мир протянувшийся — глухой коридор. Я, например, сейчас ясно могу разглядеть — третье кресло слева — резкий профиль Сальвиниевого Гамлета, сдвинувшего брови над ему лишь зримым текстом. Правее и дальше под складками черной тяжелой ткани хрупкий контур, похожий на Сарру Бернар: тяжелый фолиант с отстегнутыми бронзовыми застежками оттянул тонкие слабые пальцы, но глаза цепко ухватились за знаки и смыслы, таимые в книге. Ближе, под красным пятном афиши, одутлое, в беспокойных складках лицо Росси, дряблеющая щека уперлась в ладонь, локоть в резную ручку кресла; мускулы у сгиба колен напряглись, а у виска пульсирует артерия. И дальше, в глубине перспективы я вижу нежно очерченное лицо женственного Кемпбеля, острые скулы и сжатый рот Кина и там, у края видения, запрокинутую назад, с надмен-

ной улыбкой на губах, с полузакрытыми глазами, то возникающую, то никнушую в дрожании бликов и теней, ироническую маску Ричарда Бэрбеджа. Мне трудно рассмотреть отсюда — это далеко — но, кажется, он закрыл книгу: прочитанная от знака до знака, сомкнув листы, она неподвижно лежит на его коленях. Возвращаюсь взглядом назад: иные лица затенены, другие отвернулись от меня. Да, возвращаюсь, кстати, и к действию.

Дверь в глубине, подымаясь створкой кверху, как занавес, выбрасывает резкий свет и две фигуры: впереди, с видом чичероне, шествует Роль. Вслед за ней робко озирающийся Штерн. Ноги его в черном трико: шнурки развязавшихся туфель болтаются из стороны в сторону; на плечах наскоро наброшенный короткопальный пиджак. Медленно — шаг за шагом — они проходят меж рядов погруженных в чтение Гамлетов.

Роль. Вам повезло. Мы попали как раз к нужной вам сцене. Выбирайте: от Шекспира до наших дней.

Штерн (*указывает на несколько пустых кресел*). А тут — почему не занято?

Роль. Это, видите ли, для предстоящих Гамлетов. Вот сыграй вы меня, и мне бы сыскалось местечко, — ну, не здесь, так где-нибудь там, сбоку, на табуретке, с краешка. А то мы какой конец отломали — из мира в мир — и вот стой. Знаете, пойдем-ка из страны достижений в страну замыслов: там места сколько угодно.

Штерн. Нет. Искать надо здесь. Что это? (*Над дугами сводов — в вышине — проносятся плещущие звуки: стихи*).

Роль. Это стая аплодисментов. Они залетают иногда и сюда: перелетными птицами — из мира в мир. Но мне здесь дольше нельзя: еще хватятся в замыслительском. Шли бы со мной. Право.

Штерн (*отрицательно качает головой; его проводник уходит; один — среди слов, в словах. Жадно, как нищий сквозь стекло витрины, всматривается в ряды ролей. Шаг, другой. Колеблется. Глаза его, постепенно пробираясь сквозь полутьму, начинают различать застывшую в глубине великоленную фигуру Ричарда Бэрбеджа*). Этот.

Но тут один из Гамлетов, который, отложив книгу, давно уже вглядывался в пришельца, поднявшись

с кресел, внезапно преграждает ему дорогу. Штерн, в смятении, отступил, но Роль сама смущена и почти испугана: выступив из полутьмы в свет, она обнаруживает дыры и заплаты на своем неладно скроенном — с чужого плеча — плаще; на плохо пробритом лице роли искательная улыбка.

Роль. Вы оттуда? (*Утвердительный кивок Штерна.*) Оно и видно. Нельзя ли осведомиться: почему меня больше не играют? Не слышали? Всем, конечно, известно, что трагик Замтутырский отпетый пьяница и мерзавец. Но нельзя же так. Прежде всего — он меня не выучил. Вы представляете себе, как приятно быть невыученным: не то ты еси, не то не еси. В этой самой бытенебыти, в третьем акте, знаете, мы так запутались, что если бы не суфлер ... и вот после этого ни разу у рампы. Ни одного вызова: в бытие-с. Скажите на милость, что с Замтутырским, спился или ампула переменял: если вернетесь, прошу вас, поставьте ему на вид. Нельзя же так: породил меня, ну и играй меня. А то... (*Штерн, отстраняя пародию, пробует пройти дальше, но та не унимается.*) Со своей стороны,— если могу быть чем полезен...

Штерн. Я ищу книгу третьего акта. Я — за ее смыслом.

— Так бы и сказали. Вот. Только не зачитайте. Замтутырский, как и вы, на этой книге всю игру строил: меня ни в зуб, ну и ходит по сцене, и чуть что — в книгу. «Раз,— говорит,— Гамлету в третьем акте можно в книжку смотреть, то почему нельзя во втором, или, там, в пятом; оттого — говорит и не мстит, что некогда: книжник, эрудит, занятой человек, интеллигент: читает-читает, оторваться не может: убить и то некогда». Так что, если любопытствуете, пожалуйста: перевод Полевого, издание Павленкова.

Штерн (*отстранив налипающую на него Замтутыркинскую роль, направляется вглубь перспективы к гордому контуру Бэрбеджа. Стоит, не смея заговорить. Бэрбедж сначала не замечает, потом веки его медленно поднимаются.*).

Бэрбедж. Зачем здесь это существо, отбрасывающее тень?

Штерн. Чтобы ты принял его к себе в тени.

Бэрбедж. Что ты хочешь сказать, пришлец?

Штерн. То, что я человек, позавидовавший своей

тени: она умеет и умалиться и возвеличиться, а я всегда равен себе, один и тот же в одних и тех же — дюймах, днях, мыслях. Мне давно уже не нужен свет солнц, я ушел к светам рамп; и всю жизнь я ищу Страну Ролей; но она не хочет принять меня; ведь я всего лишь замыслитель и не умею свершать: буквы, спрятанные под застежки твоей книги, о великий образ, для меня навсегда останутся непрочитанными.

Бэрбедж. Как знать. Я триста лет обитаю здесь, вдали от потухших рамп. Время достаточное, чтобы домыслить все мысли. И знаешь, лучше быть статистом там, на земле, чем премьером здесь, в мире отыгранных игр. Лучше быть тупым и ржавым клинком, чем драгоценными, но пустыми ножами; и вообще лучше хоть как-нибудь быть, чем великолепно не быть: теперь я не стал бы размышлять над этой дилеммой. И если ты подлинно хочешь...

Штерна. Да, хочу!

Бэрбедж. Тогда обменяемся местами: отчего бы роли не сыграть актера, играющего роли.

(Обмениваются плащами. Погруженные в чтение Гамлеты не замечают, как Бэрбедж, мгновенно вобрав в себя походку и движения Штерна, пряча лицо под надвинутым беретом, направляется к выходу).

Штерна. Буду ждать вас. *(Поворачивается к пустому креслу Бэрбеджа: на нем мерцающая металлическими застежками книга.)* Он забыл книгу. Поздно: ушел. *(Присев на край кресла, с любопытством оглядывает сомкнутые застежки книги. Со всех сторон — снова шурианье страниц и тихое: «Слова-слова-слова».)* Буду ждать.

Теперь третья позиция: кулисы. У входа, примостившись на низкой скамеечке, Феля. На коленях ее тетрадка. Зажав уши и мерно раскачиваясь, она учит роль:

Феля. Я шила в комнате моей, как вдруг
Вбегают...

Вбегают Гильден.

Гильден. Штерна нет?

Феля. Нет.

Гильден. Ты предупреди его: если он и сегодня пропустит репетицию, роль переходит ко мне.

Бэрбедж (*появившийся на пороге — за спинами говорящих; про себя*). Роль перешла, это правда: но не от него и не к тебе.

Гильден уходит в боковую дверь. Фелия снова наклоняется над тетрадкой.

— Я шила в комнате моей, как вдруг
Вбегает Гамлет, плащ на нем разорван,
На голове нет шляпы, грязные чулки
Развязаны и спущены до пят;
Он бледен, как стена; колена гнутся;
Глаза блестят каким-то странным светом,
Как будто бы пришел он из иного мира,
Чтоб рассказать об ужасах его.
Таким...

Бэрбедж (*заканчивает*) ... «Таким явился он». Не так ли? Колена гнутся... еще бы — пройти такую даль. Но рассказывать было бы слишком долго.

Фелия (*с изумлением взглядываясь в пришельца*). Как ты хорошо вошел в роль, милый.

Бэрбедж. Ваш милый вошел в другое.

Фелия. У тебя хотели ее отнять: я отправила вчера письмо. Оно получено!

Бэрбедж. Боюсь, что туда не доходят письма. И при том как отнять роль у отнятого актера?

Фелия. Ты говоришь странно.

— «Это странно

как странника прими в свое жилище».

Вошедшие Таймер, Гильден и несколько актеров прерывают диалог.

Режиссер Таймер, не будем придумывать ему наружность, пусть он будет похож, ну, хотя бы на меня: желающих просят осмотреть, — улыбнулся Рар, оглядывая слушающих.

Кроме меня одного, никто, кажется, не возвратил ему улыбки: замыслители, сомкнув молчаливый круг, ничем и никак не выражали своего отношения к рассказу.

— Таймер видится мне экспериментатором, упрямым вычислителем, придерживающимся методов постановки: люди, подставляемые им в его постановоч-

ные схемы, нужны ему, как математику нужны цифры: когда пришла очередь т о й или иной цифре, он вписывает ее; когда очередь цифры отошла, он перечеркивает отслуживший знак. Сейчас, увидев того, кого он принимает за Штерна, Таймер не удивлен и даже рассержен:

Таймер. Ага. Пришли. А роль ушла. Поздно: Гамлета играет Гильден.

Бэрбедж. Вы ошибаетесь: ушел актер, а не роль: к услугам вашим.

Таймер. Не узнаю вас, Штерн: вы всегда, казалось, избегали играть — в том числе и словами. Что ж. Два актера на одну роль? Идет. Внимание: беру роль и разрываю ее надвое. Это нетрудно — надо лишь угадать линию разрыва. Ведь Гамлет, в сущности, это схватка да с н е т: они-то и будут у нас центрозомами, разрывающими клетку на две новых клетки. Итак, попробуем: подать два плаща — черный и белый. (*Быстро размечает тетрадки с ролями: одну, вместе с белым плащом, передает Бэрбеджу; другую, вместе с черным, Гильдену.*) Акт третий, сцена первая. Приготовьтесь. Раз, два, три: занавес пошел.

Гамлет I (*белый плащ*). Быть?

Гамлет II (*черный плащ*). Или не быть? Вот в чем вопрос.

Гамлет I. Что лучше?

Гамлет II. Что благороднее?

Гамлет I. Сносить и гром и стрелы
Враждующей судьбы. О нет.

Гамлет II. Или восстать
На море бед и кончить все борьбою!

Гамлет I. Окончить жизнь.

Гамлет II. Нет, лишь уснуть.

Гамлет I. Не более?

Гамлет II. Да, и знать, что этот сон
Окончит все. И тысячи ударов...

Гамлет I. Но ведь удел живых...

Гамлет II. Такой конец достоин
Желаний жарких.

Гамлет I. Умереть?

Гамлет II. Уснуть.

Гамлет I. Но если сон виденья посетят?
Что за мечты на смертный сон слетят,
Когда страхнем мы суету земную?

Гамлет II. Да, это заграждает дальний путь
И делает страданье долговечным.
Кто снес бы бич и посмеянье века,
Бессилье прав, тиранов притеснения,
Обиды гордого, з а б ы т у ю любовь...

Гамлет I. Презренных душ презрение к заслугам...

Гамлет II. Да, если б мог нас подарить покоем
Один удар:
И только страх чего, то после смерти,—
Страна безвестная, откуда путник
Не возвращался к нам —

Гамлет I. — Неправда, возвратился!

Все с удивлением смотрят на Бэрбеджа, оборвавшего монолог, начавший было расщепляться в диалоге.

Таймер. Это не из роли.

Бэрбедж. Да,—это из Царства Ролей. *(Он принял свою прежнюю позу: над белым, как саван, плащом надменно запрокинута мелово-белая маска; глаза закрыты; на губах улыбка гаера)*. Это было лет триста тому. Вилли играл Тень, я — принца. С утра лил дождь, и партер был весь в лужах. Но народу все же было много. К концу сцены, когда я задекламировал о «мире, вышедшем из колеи», в публике поймали воришку, вытащившего чужие пенсы из кармана. Я кончил акт под чавканье задвигавшихся ног по лужам и глухое: вор-вор-вор. Беднягу тотчас же, как это у нас водилось, вытащили на помост сцены и привязали к столбу. Во втором акте воришка был смущен и отворачивал лицо от протянутых к нему пальцев. Но сцена за сценой — вор освоился и, чувствуя себя почти включенным в игру, наглея и наглея, стал кривляться, отпускать замечания и советы, пока мы, отвязав его от столба, не сошвырнули прочь со сцены. *(Вдруг повернувшись к Таймеру.)* Не знаю, что или кто привязал тебя к игре. Но если ты думаешь, что твои краденые мыслишки — ценой по пенсу штука — могут сделать меня богаче, меня, для которого писаны вот эти догрелли, — получай свои медяки и прочь из игры.

Швыряет Таймеру роль в лицо. Смятение.

Фелия. Опомнись, Штерн!

Бэрбедж. Мое имя Ричард Бэрбедж. И я развязываю тебя, воришка. Прочь из Царства Ролей!

Таймер (*бледный, но спокойный*). Спасибо: воспользуюсь развязанными руками, чтобы... да свяжите же его: видите — он сошел с ума.

Бэрбедж. Да, я снизошел к вам, люди, с того, что превыше всех ваших умов, — и вы не приняли...

На Бэрбеджа бросаются, пробуя связать. Тогда он, в судороге борьбы, кричит, понимаете ли, кричит им всем... вот тут, я сейчас...

И бормоча какие-то неясные слова, рассказчик быстро сунул руки в карман: что-то зашуршало под черным бортом его сюртука. И тотчас же он оборвал слова, расширенными зрачками оглядывая слушателей. Беспокойно вытянулись шеи. Задвигались стулья. Председатель, вскочив с места, властным жестом прекратил шум:

— Рар, — зачеканил он. — Вы пронесли сюда буквы? Тая их от нас? Дайте рукопись. Немедленно.

Казалось, Рар колеблется. Затем, среди общего молчания, кисть его руки вынырнула из-под сюртучного борта: в ее пальцах, чуть вздрагивая, белела вчетверо сложенная тетрадь. Председатель, схватив рукопись, с минуту скользил глазами по знакам: он держал ее почти брезгливо, за края, точно боялся грязнить себя прикосновением к чернильным строкам. Затем Зез повернулся к камину: он почти догорел, и только несколько углей, медленно лилодея, продолжали пламенеть поверх решетки.

— Согласно пункту пять устава предается рукопись смерти: без пролития чернил. Возражения?

Никто не пошевелился.

Коротким швырком председатель бросил тетрадь на угли. Точно живая, мучительно выгибаясь белыми листами, она тихо и тонко засычала; просинела спираль дымка; вдруг — снизу рвануло пламенем, и — тремя минутами позже председатель Зез, распепелив дробными ударами каминных щипцов то, что так недавно еще было пьесой, отставил щипцы, повернулся к рассказчику и процедил:

Дальше.

Лицо Рара не сразу вернулось в привычное выражение; видно было, что ему трудно владеть собой, — и все же он заговорил снова:

— Вы поступили со мной, как мои персонажи с Бэрбеджем. Что ж — поделом: и ему, и мне. Продолжаю: то есть поскольку слов, которые я хотел прочесть, уже нельзя прочесть (он бросил быстрый взгляд на каминную решетку: последние угли отыскивались и отлевали), опускаю конец сцены. Всем ясно, что испуганная происшедшим она пьесы, Фелия, переходит вместе с ролью — к Гильдену. Четвертая и последняя позиция заставляет нас вернуться к Штерну.

Оставшись в Царстве Ролей, он ждет возвращения Бэрбеджа. Нетерпение — от мига к мигу — возрастает. Там, на земле, может быть, уже идет спектакль, в котором гениальная роль играет за него себя самое. Над стрельчатыми сводами проносится шумная стая аплодисментов:

— Мне?

В волнении Штерн пробует обратиться к окружающим его, углубившимся в свои книги Гамлетам. Его мучают вопросы: наклонившись к соседу, спрашивает:

— Вы должны понять меня. Ведь вы знаете, что такое слава.

В ответ:

— Слова — слова — слова...

И спрошенный, закрыв книгу, удаляется. Штерн к другому:

— Я чужой всем. Но вы научите меня быть всеми.

И другой Гамлет, сурово взглянув, закрывает книгу:

— Слова — слова.

К третьему:

— Там на земле я оставил девушку, которая меня любит. Она говорила мне...

— Слова.

И с каждым вопросом, как бы в ответ, Гамлеты поднимаются и, закрыв свои книги, один вслед за другим, — удаляются.

— А если Бэрбедж... Вдруг он не захочет вернуться. Как тогда найти путь: туда, назад? И вы, зачем вы покидаете меня? Все забыли: может, и она, как все. Но ведь она клялась...

И снова.

— Слова — слова.

— Нет, не слова: слова сожжены; по ним — я видел — били каменными щипцами — слышите?!

Рар провел рукою по лбу:

— Простите — спуталось; зубья за зубья. Это иной раз бывает. Разрешите с кушорами.

Итак, черед Гамлетов покинула Штерна; вслед им ползут и пестрые пятна афиш; даже буквы на них, выпрыгивая из строк, устремляются прочь. Фантастическая перспектива Царства Ролей с каждым миготом меняет свой вид. Но у Штерна осталась в руках книга, забытая Бэрбеджем. Теперь уже медлить незачем: настало время взять смысл силой, вскрыть тайну. Но книга на крепких металлических застежках. Штерн пробует разогнуть ей переплет. Книга сопротивляется, плотно сжимая листы. В припадке гнева Штерн, кровавя пальцы, все-таки выламывает тайник со словами. На разжатых страницах:

— Actus morbi. История болезни. Больной номер. Так. Шизофрения. Развитие нормальное. Припадок. Температура. Повторный. Бредовая идея: какой-то «Бэрбедж». Желудок нормальный. Процесс принимает затяжную форму. Неизлеч...

Штерн подымает глаза: сводчатый, длинный больничный коридор. Вдоль ряда перенумерованных дверей справа и слева кресла для дежурных по палате и посетителей. В глубине коридора погруженный в книгу, закутанный в белый балахон, санитар. Он не замечает, что дверь в глубине перспективы раскрывается и поспешно входят двое: мужчина и женщина. Мужчина обернулся к спутнице:

— Как бы он ни был плох, но надо было мне дать хотя бы разгримироваться и сбросить костюм.

Оглянувшийся на голоса санитар изумлен: на посетителях под сброшенным ими верхним платьем театральные костюмы Гамлета и Офелии.

— Ну, вот видишь: я так и знал, что на нас вытаращатся. К чему была эта горячка?

— Милый, но вдруг бы мы не успели. Ведь если он меня не простит...

— Причуды.

Санитар совершенно растерян. Но Штерн, с просветленным лицом, подымается навстречу пришедшим:

— Бэрбедж, наконец-то. И ты, единственная! О, как я ждал тебя и тебя. И я смел подозревать: Бэрбедж, я думал, ты украл у меня и ее, и роль, я хотел отнять у тебя твои слова: они отмстили за себя, назвав меня

«безумцем». Но ведь это только слова, слова, роли,— если нужно играть безумца, хорошо, пусть,— я буду играть. Только зачем вдруг переменяли декорацию: это из какой-то другой пьесы. Но ничего: мы пойдем из ролей в роли, чередую пьес, все дальше и дальше, вглубь безграничного Царства Ролей. А почему на тебе нет венка, Офелия? Ведь для сцены сумасшествия тебе нужен майоран и рута. Где они?

— Я сняла, Штерн.

— Да? А может быть, ты утонула и не знаешь, что тебя уж нет, и твой венок плавает сейчас по зыбям меж тростника и лилий, и никто не слышит, как...

На этом я, пожалуй, оборву. Без излишних росчерков.

Рар поднялся.

— Но позвольте,— надвинулись на отговорившего круглые очки Дяжа,— что же, он умирает или нет? И после мне неясно...

— Мало ли что вам неясно. Я зажал флейте все ее прорези. Все. О дальнейшем флейтисте не спросит: он должен знать сам. И вообще после каждого основного остается некое о с т а л ь н о е. В этом пункте я не расхожусь с Гамлетом: «Остальное — молчание». Занавес.

Рар подошел к двери, повернул ключ дважды влево и, поклонившись с порога, исчез. Замыслители расходились молча. Хозяин, задержав мою руку в своей, извинился в том, что досадная непредвиденность испортила вечер, и напомнил о следующей субботе.

Выйдя на улицу, я увидел далеко впереди спину Рара: тотчас же он исчез в одном из переулков. Я быстро шел — от перекрестка к перекрестку, стараясь распутать свои ощущения. Мне казалось, вечер этот черным клином вогнав мне в жизнь. Надо выклинить. Но как?

III

В следующую субботу, к сумеркам, я снова был в Клубе Убийц Букв. Когда я вошел, все уже были в сборе. Я отыскал глазами Рара: он сидел на том же месте, что и прошлый раз; лицо его казалось чуть заостренным; глаза глубже ушли в орбиты.

На этот раз ключ и слово принадлежали Тюду. Получив их, Тюд внимательно осмотрел стальную бо-

родку ключа, точно ища в ее расщепе темы, затем, переведя внимание на слова, стал осторожно вынимать их одно за другим, столь же тщательно их осматривая и взвешивая. Вначале медленные, слова пошли все скорей и скорей, почти в обгон друг другу; на острых, шевелящихся скулах рассказчика проступили пятна румянца. Все лица повернулись к рассказчику.

— Ослиный праздник. Это заглавие. Представляется мне в виде новеллы, что ли. Тема моя отыскивается этак веков за пять до нашего времени. Место? Ну, хотя бы деревенька где-нибудь на юге Франции: сорок—пятьдесят дворов; в центре старый костел, вокруг виноградники и тучные поля. Напомню: именно в ту эпоху и в тех именно местах возник и закрепился обычай справлять ослиные праздники, так называемые *Festa asinorum*: это последнее латинское определение принадлежит церкви, с разрешения и благословения которой праздник осла странствовал из города в город и из сел в села. Возник он так: в вербную субботу, сценируя — для вящей назидательности — события предсмертных дней Христа, вводили под пение антифонов, осла, обыкновенного, взятого у кого-нибудь из крестьян, осла, который должен был напомнить о том, прославленном евангелиями, животном, которое, будучи проверено во всех своих признаках рядом цитат из закона и пророков, было избрано для своей провиденциальной роли. Вначале, можно предполагать, деревенский ослик, включенный — странным образом — в мессу, не проявлял ничего, кроме растерянности и желания вернуться назад, в стойло. Но очень скоро праздник осла превратился в своего рода мессу наоборот, оброс тысячами кощунств, исполнился буйства и разгула: окруженный толпой гогочущих поселян, среди гиканья и градом сыплющихся палочных ударов, ошалелый от страха, осел кричал и брыкался. Церковные служки, ухватившись за уши и хвост евангельского осла, втаскивали его на престол. Позади ревела толпа, распевая циничные песни и кричащая ругательства на протяжные церковные мотивы. Кадильницы, набитые всякой гнилью, истово качаясь из стороны в сторону, наполняли храм дымом и смрадом. Из священных чаш хлестали сидр и вино, дрались и богохульствовали и гоготали, когда возвеличенный осел со страху гадил на плиты алтаря.

После все это обрывалось. Праздник прокатывался дальше, а отбогохульствовавшие поселяне снова, набожно крестясь, отстаивали долгие мессы, жертвовали последние медяки на благолепие храма, ставили свечи иконным ликам, покорно несли эпитимии и жизнь. До нового азинария.

Полотно загрунтовано. Дальше.

Франсуаза и Пьер любили друг друга. Просто и крепко. Пьер был дюжим парнем, работавшим на окрестных виноградниках. Франсуаза же была больше похожа на вписанных в золотые нимбы по стенам храма женщин, чем на девушек, живших в избах по соседству с ней. Но вокруг ее нежно очерченной головы не было, разумеется, золотого нимба, так как она была единственной помощницей своей матери и придаток этот мог лишь мешать в работе. Франсуазу любили все, и даже престарелый о. Паулин, встречая ее, всякий раз улыбался и говорил: «Вот душа, возжженная перед Господом». И только один раз не сказал о. Паулин своего «вот душа»: это было, когда Франсуаза и Пьер пришли сказать ему, что хотят пожениться.

Первое оглашение было после воскресной мессы: Франсуаза и Пьер, стоя вместе в притворе, с бьющимися сердцами ждали; старый священник медленно взошел по ступенькам амвона, раскрыл требник, долго искал очки, и только тогда прозвучали стоящим друг подле друга их имена, сказанные — сквозь ладан и солнце — друг вслед другу.

Второе оглашение пало на вечернюю службу в среду. Пьера не было: ему нельзя было отлучиться от работы. Но Франсуаза пришла. Полусумрак храма был пуст — лишь две-три нищенки у входа — и снова дряхлый о. Паулин, скрипя крутыми ступенями амвона, поднялся навстречу сводам, вынул требник, отыскивал в карманах сутаны очки и сочел имена: Пьер — Франсуаза.

Третье оглашение было назначено на субботу. Но в этот-то день — нежданно и буйно — прихлынул праздник Осла. Идя к церкви, Франсуаза еще издали услышала бесчисленные крики и дикий вой голосов, несшийся ей навстречу. У ступеней паперти она остановилась, колеблясь, как пламя, зажженное на ветру. В раскрытые двери кричал и неистовствовал звериными и человеческими голосами Ослиный Праздник. Франсу-

аза повернула было назад, но в это время подоспел Пьер: добрый малый не хотел больше ждать — его рукам, привыкшим к кирке и мотыге, хотелось Франсуазы. Он отыскал о. Паулина, заслонившегося сомкнутыми ставнями от неистовствующего храма, и просил его, сконфуженно, но настойчиво, не откладывать ни на единый час последнего оглашения. Старый священник, молча выслушав, перевел взгляд на стоявшую в стороне Франсуазу, улыбнулся одними глазами и так же, не проронив ни слова, быстро пошел к раскрытым дверям храма: жених и невеста — позади. У порога Франсуаза рванула руку из руки Пьера, но тот не отпустил ее: рев сгрудившихся людей, хохот сотен глоток и почти человеческий страдальческий вопль осла оглушили Франсуазу. Расширенные зрачки ее сквозь дымы зловонных курильниц видели сначала лишь взметанные вверх руки, раскрытые рты и вспученные, набрякшие кровью глаза толпы. Затем, толчками ступеней взносимое вверх, покойное и мудрое лицо священнослужителя. При виде его на миг все смолкло: о. Паулин, стоя над морем голов, раскрыл тревник и, не торопясь, надевал очки. Молчание длилось.

— Оглашение третье. Во имя Отца и... — глухое гуденье; как во вскипающем котле, прикрытом крышкой, боролось со слабым, но четким голосом священника, — сочетается браком раба Божия Франсуаза...

— И я.

— И я. И я.

— И я. — И я. — И я, — заревела толпа множеством глоток. Котел сбросил крышку. И содержимое его, клокоча и пучась пузырями глаз, кричало, визжало и гудело:

— И я. — И я.

И даже осел, повернув к невесте вспененную морду, вдруг раскрыл пасть и заревел:

— И-и-и я-а-а!

Франсуазу замертво вынесли на паперть. Испуганный и обескураженный Пьер хлопотал около нее, стараясь вернуть ей сознание.

А затем все пошло своим чередом: любящие повенчались. Тут бы, казалось, и всей истории конец. На самом деле — это только ее начало.

Несколько месяцев кряду молодожены жили душа в душу, тело к телу. Днем их разлучала работа, ночи

возвращали их друг другу. Даже сны, которые они рассказывали поутру, были сходны.

Но вот однажды после полуночи, перед вторыми петухами, Франсуазу — она спала чутче — разбудил внезапный шум. Опершись ладонями в подушку, она стала вслушиваться: шум, вначале глухой и далекий, постепенно рос и близился; сквозь ночь, будто ветром, несло неясный гул голосов, прерываемый резким звериным вскриком; еще минута — и можно было различить отдельные поперебой кричащие голоса, другая — и стала слышима проступь слов: «и я — и я»... Франсуаза, вдруг заглодев, тихо скользнула с кровати, подошла к двери и, босая, в одной рубашке, пригнувшись ухом к дверной доске: да — это был он — Ослиный праздник — Франсуаза знала. Сотни и тысячи женихов, пришедших как тати в ночи, поперебой, моля и требуя, повторяли свое: и я — и я. Мириады буйных ослиных свадеб кружили вокруг дома; сотни рук нетерпеливо стучались в стены; сквозь щели в дверях било одуряющим куревом и кто-то, подобравшись к самому порогу, страдальчески тихо звал: Франсуаза и я...

Франсуаза не понимала, как может так крепко спать Пьер. Смертельный ужас охватил ее: вдруг проснется и узнает: все. В чем было это мучающее и греховное все, она еще не отдавала себе отчета — тяжелая щеколда поддавалась, дверь открылась, и она вышла, почти нагая, навстречу Празднеству Осла. И тотчас же все вокруг нее смолкло, но не в ней. Она шла — босыми ногами по траве, не зная, куда и к кому. Неподалеку застучали копыта, звякнуло стремя, кто-то подал ей тихий голос: может быть, это был странствующий рыцарь, сбившийся в безлуние с пути, может быть, проезжий купец, выбравший ночь потемнее для провоза контрабанды — ночной жених безымянен, — в темную ночь он берет то, что темнее всех ночей: выкрав душу, как тать, придя, как тать, и исчезает. Короче, опять прозвенело стремя, застучали копыта, а утром, провожая мужа на работу, Франсуаза так нежно поглядела ему в глаза и так долго не разжимала рук, охвативших его шею, что Пьер, выйдя за порог, не скоро перестал ухмыляться и, раскачивая мотыгой на плече, насвистывал веселое коленце.

И опять жизнь пошла как будто и по-старому. День — ночь — день. Пока опять не накалило это.

Франсуаза клялась не поддаться наваждению. Подолгу стояла она, коленями в холодные плиты перед черными ликами икон; много молитв ее откружило по четкам. Но когда снова, разорвав сон, заплясал вокруг нее, все теснее и теснее смыкая круг, неистовый Праздник Осла, она, снова теряя волю, встала и шла — не зная, куда и к кому. На черном ночном перекрестке ей повстречался нищий, поднявшийся с земли навстречу белому видению, замаячившему ему сквозь тьму: руки его были шершавы, а от гнилых лохмотьев пахло омерзительно едко; не веря и не понимая, он все же жадно взял — и потом: зазвякали медяки в мешке, застучал костыль и, таясь, как тать, — скользя вдоль стены — ночной жених, испуганный и недоуменный, канул в тьму. А Франсуаза, вернувшись в дом, долго слушала ровное дыхание мужа и, наклоняясь над ним, стиснув зубы, беззвучно плакала: от омерзения и счастья. Прошли месяцы и, может быть, годы; жена и муж еще крепче любили друг друга. И снова, так же внезапно, как всегда, произошло это. Пьер был в ту ночь в отлучке, в десятке лье от деревушки. Позванная голосами, Франсуаза переступила порог в темноте меж смутных контуров деревьев, у самой земли, большим желтым глазом, полз огонь; и Франсуаза, не отрывая глаз от глаза, пошла навстречу судьбе. Минута — желтый глаз превратился в обыкновенный из стекла и железа фонарь; над ручкой его сухие из-под края сутаны пальцы, а чуть выше в мутном блике огня дряблкое в тонких складках лицо о. Паулина: с полуночи его позвали к умирающему, — обещав душе небо, он возвращался назад, в плебанию. Встретив среди ночи Франсуазу, нагую и одну, о. Паулин не удивился. Подняв фонарь, он осветил ей лицо, внимательно вглядываясь в дрожь губ и в задернутые тусклой пленкой глаза. Потом дунул на огонь, и в слепой темноте Франсуаза услышала:

— Вернись в дом. Оденься пристойно и жди.

Старый священник шел не спеша, дробным шаркающим шагом, то и дело останавливаясь и переводя трудное дыхание. Войдя в дом женщины, он увидел ее неподвижно сидящей на скамье у стены: руки женщины были ладонью в ладонь, и только изредка плечи ее под тканью одежды вздрагивали, будто от холода. О. Паулин дал ей отплакаться и тогда лишь сказал:

— Покорись, душа, возжегшему тебя. Писанием и Пророками предречено: только на осле, несмысленной и смердящей скотине, можно достигнуть стогов Иерусалима. Говорю тебе: только так и через это входят в Царствие Царств.

Молодая женщина с изумлением подняла полные слез глаза.

— Да, настало время и тебе, дитя, узнать то, что дано знать не всем: тайну Осла. Цветы цветут так чисто и благоуханно оттого, что корни их уважены, в грязи и смраде. От малой молитвы к великому молению — только через богохульство. Самому чистому и самому высокому, хоть на миг, должно загрязниться и пасть: потому что иначе как узнать, что чистое чисто и высокое высоко. Если Бог, пусть раз в вечность, принял плоть и закон человеческий, то и человеку можно ли гнушаться закона и плоти осла? Только надругавшись и оскорбив любимейшее из любимого, нужнейшее из нужного сердцу, можно стать достойным его, потому что здесь, на земле, нет путей бескорбия.

Старик поднялся и стал зажигать свой фонарь:

— Наша церковь раскрыла храмы Празднеству Осла: она сама хочет, чтобы над нею, невестою Христовой, посмеялись и надругались: потому что ей введома великая тайна. Но в празднество, в радость, с веселием и смехом входят все, — дальше идут лишь избранные. Истинно говорю тебе: нет путей бескорбия.

Наладив огонь, старик повернулся к порогу. Припав губами к сухим костяшкам его руки, женщина спросила:

— Значит — молчать?

— Да, дитя. Потому что — как раскрыть тайну Осла... ослам?

Улыбнувшись, как тогда, в день третьего оглашения, о. Паулин вышел, плотно прикрыв за собою дверь.

Тюд замолчал и, постукивая сталью ключа о ручку кресла, сидел с лицом, повернутым к порогу.

— Допустим, что так, — оборвал паузу председатель Зез, — кладка замысла в каких-нибудь десятках кирпичей. Мы привыкли обходиться без цемента. Поэтому, поскольку времени у нас еще достаточно, не согласились ли бы вы сложить элементы новеллы в ка-

ком-нибудь ином порядке. Ну, скажем, первый кирпич — эпоха пусть лежит, где лежала; в центр действия давайте не женщину, а священника; затем придайте центральному действователю значимости за счет значимостей элемента «Ослиный Праздник»: его можно оторвать, так сказать, от корешков, взяв одни верхки, — и затем...

— И затем, — подхватил толстый Фэв, насмешливо щурясь на рассказчика, — кончить все не в жизнь, а в смерть.

— Просил бы подновить и заглавие, — подхихикнул из угла Хиц.

Желваки под пятнами румянца, расползавшимися по всему лицу Тюда, задергались и напряглись; он наклонился вперед, точно готовясь к прыжку; вся фигура его — короткая и сухая, подвижная и четкая — напоминала в чем-то краткость, динамичность и четкость новелл, среди которых он, очевидно, жил. Внезапно встав, Тюд зашагал вдоль черных полок и столь же внезапно, сделав крутой поворот на каблуках, повернулся к кругу из шести:

— Идет. Начинаю. Заглавие: Мешок Голиарда. Уже оно одно позволяет мне остаться в той же эпохе. Голиарды, или «веселые клирики», как их тогда называли, были — думаю, всем вам это известно — странствующими понами, заблудившимися, так сказать, между церковью и балаганом. Причины появления этой странной помеси шута с капелланом до сих пор не исследованы и не объяснены: вероятнее всего, это были священники из захудалых приходов; поскольку рьяса не кормила их или кормила вполчину, приходилось прирабатывать чем ни попало: и, главным образом, не требующим включения в цех ремеслом балаганного лицедея. Герой моего рассказа, о. Франсуаз (разрешите и с именами поступить так, как и со всем остальным, то есть переместить их), был одним из таких. В высоких сапогах из дубленой кожи, с крепким посохом в руке, он мерил пыльные извивы проселочных дорог, от жилья к жилью, меняя псалмы на песни, галльские прибаутки на ученую латынь, звон анжелюса на звяканье бубенцов дурацкой шапки. В дорожном мешке его, стянутом веревочным узлом за его спиной,

лежали рядом, как муж с женой, аккуратно сложенные и прижатые друг к другу гаерский плащ из пестрых лоскутьев, обшитый побрякушками, и черная, протершаяся у швов сутана. Сбоку на ремне болталась фляга с вином, вокруг правой кисти в три обмота чернели бусины четок. О. Франсуаз был человек веселого нрава; в дождь и зной он шел среди колосющихся ли полей, по занесенным ли снегом дорогам, насвистывая простые песенки и изредка наклоняясь к фляге, чтобы поцеловать ее — как он любил это называть — в стеклянные губы; никто не видел, чтобы о. Франсуаз целовался с кем-нибудь другим.

Мой странствующий голиард был человеком весьма не бесполезным: нужно отслужить требу — развяжет мешок, застегнется в узкую темную сутану, размотает четки, порывшись на дне мешка, вынет крест и, строго сведя брови, свяжет или разрешит; нужно сладить веселую праздничную забаву — сыграть интермедии или выучить роль дьявола, слишком путаную и трудную для любителей из какого-нибудь цеха, — и пестрый — из того же мешка, в бубенцах и блестях, — шутовской плащ привычно обматывается вокруг широких плеч о. Франсуаза: тут уж трудно было сыскать ловкача, который умел бы лучше насмешить до слез и придумать столько прибауток, как умел это делать голиард Франсуаз.

Никто не знал о нем, стар он или молод: бритое лицо его было всегда под бронзой загара, а голая кожа на макушке могла быть и лысиной, и тонзурой. Иной раз девушки, насмеявшись до слез во время интермедии или наплакавшись до улыбки во время мессы, как-то по-особенному пристально глядели на Франсуаза, но голиард был странником: отслужив и отыграв, он складывал рясу и плащ с бубенцами, стягивал узлы мешку и шел дальше; руки его сжимали лишь дорожный посох, губы касались лишь стеклянных губ. Правда, шагая полем, он любил пересвистываться с пролетающими птицами, но птицы ведь тоже странники и, для того чтобы говорить с людьми, им хватило б одного слова: «мимо». Тут же, в полях, среди ветра и птиц, голиард любил иногда побеседовать со своим дорожным мешком: он развязывал ему замундштученный веревкой рот и, вытащив на солнце пестрое и черное, болтал, например, такое:

— *Suum cuique, amici mei*¹: помните это, черныш и пеструха. И в сущности, будь на земле пестрые мессы и черный смех,— вам пришлось бы поменяться местами, друзья. Ну, а пока — ты нюхай ладан, а ты наряжайся в винные пятна.

И, выколотив из черного и пестрого пыль, голиард прятал их снова в мешок и, поднявшись, шел по изви-вам дорог, пересвистываясь с перепелами.

Однажды к вечеру, пыльный и усталый, о. Франсуаз дошагал до огней деревушки. Это было небольшое селение в сорок — пятьдесят дворов, посредине цер-ковь; вокруг зеленые квадраты виноградников. Уже у околицы встретился человек, разменявшийся с путе-ником расспросами: кто — откуда — зачем — куда. И не успел о. Франсуаз присесть под вывеской «Туз кроет все», как его позвали к умирающему. Наскоро хватив стакан и другой, голиард сунул руки в рукава рясы и, застегивая на пути крючки, поспешил к душе, ждущей отходных молитв.

Дав душе отпущение, он вернулся назад, к недопи-той фляге. За это время весть о пришельце успела побывать во всех сорока дворах, и несколько пожилых крестьян, дожидавшихся его в «Туже, кроющем все», попросили пришельца завтра, — день предстоял ярма-рочный, — позабавить и здешних и пришлых чем-ни-будь повеселей и покруче. Звякнули стаканами о стака-ны — и голиард сказал: хорошо.

Уже поздно ночью, разыскивая в деревне ночлег, голиард наткнулся на человека, идущего с фонарем в руках: желтый глаз скользнул по его лицу; сквозь слепящий свет голиард увидел сначала крепкую, широ-копалую руку, охватившую ручку фонаря, а затем и широкое, сверкнувшее зубами и улыбкой, лицо мо-лодого парня.

— Не встречался вам о. Франсуаз? — спросил тот. — Я его ищу.

— Что ж, давай искать вместе. Зеркало при тебе?

— А зачем зеркало?

— Ну как же: без зеркала мне о. Франсуаза никак не увидеть. Как тебя зовут?

— Пьер.

— А твою невесту?

¹ Каждому свое, друзья мои (*лат.*).

— Паулина. Почему вы знаете, что у меня невеста?

— Хорошо. Завтра перед анджелюсом. Если вам нужно прилепиться друг к другу и стать плотью единой, лучшего клея, чем у меня в мешке, не найти. Спокойной ночи.

И, дунув опешившему парню в фонарь, голиард оставил его, объятого тьмой и изумлением.

С утра о. Франсуаз истово принялся за работу: сначала кропил освященной водой больных младенцев и бормотал очистительные молитвы у ложа родильницы, затем, быстро переодевшись в пестрядь шута, аккуратно уложил свои дорожную и священническую одежды в мешок и, оставив его на попечении трактирного слуги, широкогоротого и долговязого парня, пошел на рыночную площадь потешать съехавшихся из соседних деревень крестьян. Песня вслед песне, прибаутка к прибаутке: время шло, а поселяне никак не могли насмеяться досыта и не отпускали забавника. Вдруг на колокольне зазвенел анджелюс; крестьяне сняли шапки, а о. Франсуаз, подобрав звякающий бубенцами плащ, бросился почти бегом назад, к трактиру, спеша переодеться и не упустить свадьбы.

В дверях «Туза» его встретил растерянный слуга: в руках у него голиард увидел свой мешок, но странно отощавший, с слипшимися боками.

— Сударь, — промямлил долговязый, развесив свой глупый рот, — мне тоже хотелось послушать вас; а тем временем мешок-то и выпотрошили. Кто бы мог думать.

Голиард сунул руку в мешок:

— Пуст, пуст! — закричал он в отчаянии. — Пуст, как твоя голова, разиня. Как же мне служить сейчас свадьбу, когда у меня не осталось ничего, кроме моей латыни.

На простецком лице трактирного слуги трудно было найти ответ. Сунув мешок под мышку, о. Франсуаз, звеня бубенцами, как был, бросился к церкви. По дороге он еще раз обыскал пустоту в своем мешке: у дна его пальцы наткнулись на крест, оставленный вором: быстро надев его поверх дурацкого балахона, о. Франсуаз размотал четки на своей руке и, вбежав в церковь, начал:

— In nomine...

— Cum spirito Tuo¹,— подхватил было церковный служка и вдруг, выпучив глаза, в испуге усталился на подымающегося по ступеням алтаря шута. Произошло общее смятение: дружки попятнулись к дверям, старуха-крестьянка уронила горящую свечу, невеста, закрыв лицо, заплакала от обиды и страха, а дюжий жених вместе с двумя-тремя парнями выволокли нечестивца из храма и, избив, бросили его невдалеке от паперти.

Ночная прохлада привела голиарда в чувство. Приподнявшись с земли, о. Франсуаз сначала ощущал свои ссадины и синяки, затем еще раз мешок, брошенный рядом с ним; в нем не было ничего, кроме пустоты, но и ее он тщательно завязал в два узла, привычным движением закинул за плечо и, отыскав в траве свой посох, покинул спящую деревню. Он шел сквозь ночь, звеня медными бубенчиками. К утру он встретил в поле людей, которые, увидав его шутовской наряд, испуганно свернули с дороги, дивясь пестрому призраку, которому место не на черных бороздах полей, а на скрипучем балаганном помосте. Дойдя до ближайшей деревни, голиард решил обогнуть стороной: идя задми дворов и огородов, он старался ступать возможно тише, чтобы не привлечь звяканьем бубенцов чьих-либо глаз. Но облезлый пес, выскочивший ему навстречу, увидев движущуюся пестрядь, отчаянно залаял; на лай вышли люди, и вскоре за шутком, идущим среди полей, потянулась вереница мальчишек, свистящих и гикающих вслед.

Крестьянин, занятый починкой изгороди, не ответил на приветствие балаганного призрака, а женщины, пересекая путь с кувшинами воды на плечах, не улыбнулись веселой гримасе и, опустив глаза, прошли мимо: сегодня был рабочий, трудный день,—занятым и трезвым людям некогда и ни к чему был смех; они отшутили свои шутки, попрятали праздничные одежды на дно своих сундуков, оделись в будничное рабочее платье и начинали долгую, в шесть одинаких, серолицых дней, трудовую череду. Непонятый пришелец был праздником, заблудившимся среди буден, не-

¹ — Во имя...

— С духом Твоим (лат.).

лепой ошибкой, путающей им их нехитрый календарь: глаза отдергивались от голиарда, он видел либо презрительные улыбки, либо равнодушные спины. И он понял, как одинок и бесприютен смех, серафически чистый, шитый из слепяще-пестрых лоскутов, тонкими нитями в острых иглах. Он мог бы подняться до самого солнца, но не взлетал и выше насестей: душа орла, а крылья одомашненной клохчущей курицы; все улыбки сосчитаны и заперты в праздник, как в клетку. Ну нет. Прочь! Голиард, торопя шаги, уже шел по той тропе — что по земле от земли: по земля, темная и вязкая, липла к подошвам, цеплялась травами и сучьями за края одежды, а ветер, потный и пропахший навозом, звонил — изо всей мочи — в бубенцы и подвески гаснущего в сумерках плаща. Дорогу перегородила река. Голиард снял с плеча мешок, распутал узел и поговорил с ним в последний раз:

— Блаженный Иероним пишет, что и тело наше всего лишь одежда. Если так, отдадим его в стирку.

Мешок развесил холицовую пасть и был похож на разию — слугу из «Туза, кроющего все». Свесившись с обрывистого берега, веселый клирик попробовал нащупать концом своего посоха дно. Не удалось. Неподдалеку, вдавившись в землю, лежал омшелый тяжелый камень. Оторвав камень от земли, Франсуаз сунул его внутрь мешка. Вслед за камнем и голову: и крепко замотал вокруг шеи веревки. Срыв берега был в одном шаге. Берусь утверждать, что этот шаг был для о. Франсуаза последним.

Тюд кончил. Он стоял, прижавшись спиной к дверной доске: казалось, что черные створы ее, как планки немецкой механической игрушки, щелкнув пружиной, вдруг разомкнутся и, проглотив короткую, игрушечнопониатюрную фигурку Тюда, автоматически сомкнутся над ним и его новеллами.

Но председатель не дал молчанию затянуться:

— Все снесло течением. Это бывает.

— Тогда бы я не причалил, согласно заданию: конец разрешен в смерть, — парировал Тюд.

— Фэв и не возражает: конец решен. Но в середине вы спутали кубики: думается мне, не по неумению. Не так ли? Вашу улыбку разрешите считать ответом. Ввиду этого нам предстоит получить от вас штрафной

рассказ. Почетче и покóроче. Перерыва, я думаю, не нужно. Мы ждем.

Тюд досадливо передернул плечами. Видно было, что он устал: отделившись от порога, он вернулся в свое кресло у камина и с минуту рылся зрачками в россыпях искр и пляске сизых огоньков.

— Ну что ж. Поскольку о людях импровизировать трудно, потому что они живы — даже выдуманные — и действуют иной раз дальше авторской схемы, а то и вопреки ей, — придется прибегнуть к константным героям: короче — я расскажу вам о двух книгах и одном человеке; всего-навсего одном: с ним-то я управлюсь.

Заглавие мы придумаем к концу вместе, а что касается титулблаттов моих книг-персонажей, то вот они: «Ноткер Заика» и «Четвертое евангелие». Третий, человеческий персонаж принадлежит не к людям-фабулам, а к людям-темам: люди-фабулы очень хлопотны для сочинителя, — в их жизнях много встреч, действий и случайностей; попадая в рассказ, они растягивают его в повесть, а то и в роман; люди-темы существуют имманентно, бессюжетные жизни их в стороне от укатанных дорог, они включены в ту или иную идею, малословны и бездеятельны: одним из таких и был мой герой, все бытие которого сплюсцилось меж двух книг, о которых сейчас расскажу.

Человек этот (имя его безразлично) даже при живых родителях производил впечатление сироты, слыл чудаком. С ранних лет он предался клавиатуре рояля и целые дни проводил над выискиванием новых звукосочетаний и ритмических ходов. Однако слушать его если кому и удавалось, то лишь сквозь стену и запертую дверь. Некий музыкальный издатель был однажды чрезвычайно удивлен, когда на прием к нему явился худощавый юноша и, не подымая на него глаз, вынул из папки нотную тетрадь, озаглавленную: «Комментарий к тишине». Издатель, сунув обкусанные ногти внутрь тетради, полистал, вздохнул, оглядел еще раз заглавную строку и возвратил рукопись.

Вскоре после этого юноша запер свою клавиатуру на ключ и попробовал променять нотные значки на

буквы; но он наткнулся и тут на препятствие еще менее преодолимое: ведь он был — повторяю еще раз — человеком-темой, а литература наша вся на фабульных построениях; он, понимаете ли, не умел раздробляться и ветвить идеи, он был, как и надлежит человеку-теме, живым стремлением не из единого в многое, а из многого в единое. Иногда в коробках с перьями нетнет да и попадется нерасщепленное перо: оно такое же, как и все, и заострено не хуже других, — но писать оно не может.

Однако мой юноша, кстати, к тому времени уже превратившийся в двадцатипятилетнего молодого человека; с упорством нерасщепленной цельной природы, решил насильно овладеть этим самым множеством; то есть, конечно, он называл все это по-иному, но верный инстинкт указал ему на путешествие, этот перерабатывающий многих людей метод опестрения и оможествления нашего относительно однородного, так сказать, сплошного опыта. К тому времени он получил наследство, — и поезда повезли его от станций к станциям по разноязыкому и лоскутному миру. Записные тетради кандидата и писатели разбухали от пометок и схем, а вещи, настоящей, до конца в буквы вогнанной вещи, не отыскивалось. Внутри всех сюжетов, за которыми охотился его карандаш, он чувствовал себя так, как чувствует себя каждый из нас в гостиничном номере, где все чужое и равнодушное: и для тебя, и для других.

И, наконец, — это случилось после многих месяцев скитания — они встретились: человек и тема. Встреча произошла в монастырской библиотеке Сен-Галлена, расположенного меж швейцарских взгорий. Был, кажется, дождливый день, скука привела моего героя к полкам редко посещаемой библиотеки и здесь, среди взбудораженной книжной пыли был отыскан Ноткер Заика: хотя Ноткер и не был ничьим вымыслом, но успел отсутствовать ровно тысячу лет тому назад: кроме имени, сразу же заинтересовавшего нашего собирателя фабул, от него не осталось почти ничего; лишь нескольких полуапокрифических данных, выдержавших испытание тысячелетием: это-то и давало возможность сделать его заново, превратить отлевшее в расцветшее. И наш незадачливый — до сих пор — писатель деятельно принялся за пересоздание

Ноткера. Монастырские книги и рукописи рассказали ему о древней, сейчас полузабытой школе сен-галленских музыкантов. Задолго до нидерландских контрапунктистов иноки уединенного зажатого меж гор Сен-Галлена проделывали какие-то таинственные опыты полифонии; одним из них был Ноткер Заика: предание рассказывает о нем, как однажды, гуляя по горному срыву, он услышал визг пилы, стук молота и голоса людей; повернув на звук, музыкант дошел до поворота тропы и увидел артель рабочих, крепивших балки для будущего моста, который должен был быть переброшен через пропасть; не подходя ближе, не замеченный рабочими, он наблюдал и слушал, так утверждает предание, как люди, повиснув над бездной, стучали топорами и весело пели, а затем, — вернувшись в келью, — сел за сочинение хорала: «*In media vita — mors*»¹. Герой наш стал рыться в пожелтевших нотных тетрадах библиотеки, стараясь найти квадратные невмы, рассказывающие о смерти, вклиненной в жизнь; но хорала нигде не было: все же, с разрешения настоятеля, он унес с собой в номер гостиницы целую кипу полуистлевших нотных листов, и, запершись, целую ночь, под опущенным модератором, вдавливал в клавиши древние песнопения сен-галленцев. Когда все листы были проиграны, он стал напрягать фантазию, стараясь представить себе звучание того, неотысканного хорала. И ночью он ему приснился — величавый и горестный, медленно шествующий миксолидийским ладом. А наутро, когда, вернувшись к клавиатуре, музыкант попробовал повторить приснившийся хорал, обнаружилось неожиданное для него сходство Ноткерова «*In media*» с его собственным «Комментарием к тишине». Продолжая ворошить рукописные кипы Сен-Галлена, наш исследователь узнал, что старый сочинитель музыки, со странным прозвищем Заика или *Valbulus*, всю жизнь трудолюбиво подбирал слова и слоги, подтекстовывая музыку; любопытно было то, что, благоговей пред звукосочетаниями, он относился, по-видимому, с полным пренебрежением к так называемой членораздельной человеческой речи: в одной из доподлинных записей Ноткера Заики стояло: «Иногда я втихомолку

¹ «Посредством жизни — смерть» (*lat.*).

размышлял, как закрепить мои сочетания из звуков, чтобы они, хотя бы ценою слов, избегли забвения». Очевидно, слова были для него лишь пестрыми флажками, мнемоническими символами, закрепившими в памяти музыкальные ходы; иногда ему надоедало подбирать слова и слоги,— тогда, задержавшись на одном каком-нибудь *le alliluja*, он проводил его сквозь десятки интервалов, бессмысля слог ради иных заумных смыслов: эти упражнения Ноткера в области так называемого атексталиса, особенно заинтересовали нашего исследователя; погоня за невмами Великого Заика завела его сначала в библиотеку Британского музея, потом в книгохранилище св. Амвросия в Милане. Тут и произошла вторая встреча, встреча двух книг, которым мало было иметь свою судьбу, как это разрешает им пословица, которым самим захотелось стать судьбой. В неустанных поисках материалов для своей книги о сен-галленце герой мой завернул как-то в лавку одного из миланских букинистов: ничего любопытного, хлам, но, желая компенсировать время, отнятое у хозяина лавки, битый час суетившегося вокруг него, он указал на первый попавшийся корешок: вот эта. И купленная наугад книжка тотчас же очутилась в одном портфеле с его работой, разрозненные черновые листки которой медленно срастались в книгу. Там, в глухом мешке, они пролежали вместе, как муж с женой, листами в листы, «Ноткер Заика» и «Четвероевангелие» (купленный вслепую текст оказался ветхим, одетым в старинные латинские шрифты, рассказом четырех благовествователей). Как-то на досуге, оглядев рассеянно покупку, мой исследователь атексталиса хотел уже отложить ее в сторону, но в это время внимание его остановила чернильная заметка, сделанная почерком семнадцатого столетия на полях квиви: S — um.

— Бессмысленный слог,— пробормотал из своего угла Фэв.

— Человек, перелистывавший Евангелие, вначале думал приблизительно так же. Но его заинтересовало тире, отрывавшее начальное S от um. Продолжая скользить глазами по полям вульгаты, он заметил еще одну чернильную черту, отделявшую от контекста два стиха: «Се отрок Мой, которого Я избрал»... и так далее, и «Не воспрекословит, не возопиет и никто не

услышит на улицах голоса его». Как бы смутно что-то предугадывая, читавший стал внимательнее, страница за страницей обыскивая глазами поля: двумя главами далее была еле различимая отметина ногтем: «...Господи, сыне Давидове, дочь моя жестоко беснуется». Но Он не отвечал ей ни слова». Затем шли как будто пустые поля. Но сочинитель «Комментария к тишине» был слишком заинтересован, чтобы отказаться от дальнейших поисков: разглядывая книжные листы на свет, он обнаружил еще несколько полусгладившихся, врезанных чьим-то острым ногтем отметин,— и всякий раз против них стояло: «И когда обвиняли Его первосвященники и старейшины, Он ничего не отвечал. Тогда говорит Ему Пилат: не слышишь, сколько свидетельствует против Тебя. И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма дивился». Или... «Наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания»; иногда черты были лишь различимы в лупу, иногда же резко отчеркивали стих; они то были короче обыкновенного тире и выхватывали лишь три-четыре слова,— например, «Но Он уходил в пустынные места...» или «И Иисус молчал»,— то длиннились вдоль цепи стихов, выделяя целые эпизоды и рассказы,— и всякий раз это был рассказ о вопросах, не дождавшихся ответа, о безмолвствующем Иисусе. То, о чем старые невмы Сен-Галлена говорили точно заикаясь, и вообще г о в о р и л и, здесь было отмечено и врезано — острием мимо слов до конца. Теперь было ясно: на полуслипшихся желтых полях ветхой книги рядом с отсказавшими себя четырьмя, благовествовало не нуждающееся в словах, раскрывающееся и с пустых книжных полей, пятое Евангелие: О т м о л ч а н и я. Теперь было понятно и чернильное S—um: оно было лишь сплюснутым Silentium. Можно ли говорить о тишине, тем самым не нарушая ее, можно ли комментировать то, что... ну, одним словом; книга убила книгу—с одного удара—и я не стану описывать, как горела рукопись моего человека-темы. Допустим, что так же, как и...

Тюд резко повернулся в сторону Рара. Но тот не принял взгляда: затенив ладонью глаза, он сидел, полный неподвижности, казалось, не слушая и не слыша.

— Что же касается до заглавия,— поднялся Тюд:— то я думаю, что сюда подошло бы, пожалуй, слово...

— «Автобиография»,— отчеканил Рар, возвращая удар. Тюд по-петушьи вскинул голову, раскрыл было уже рот, но его голос потонул в резком— из хихиканий, одышливых всхрипов, клекота и подвизгов— смехе. Не смеялись лишь трое: Рар, Тюд и я.

Замыслители один за другим расходились. Одним из первых вышел Рар. Я хотел было ему вслѣд, но знакомое пожатие, охватив локоть, остановило меня:

— Два-три вопроса,— и, отведя меня в сторону, хозяин суббот стал подробно выспрашивать о моих впечатлениях: я отвечал необдуманно и резко, стараясь скорей освободиться, чтобы успѣть догнать Рара. Наконец, пальцы и вопросы разжались— и я бросился вдогонку за уходящим. Под огненными свесами фонарей я увидел движущуюся в сотне шагов впереди спину. Нагоняя ее, я впопыхах не заметил палки, тыкавшейся впереди идущего о тротуар:

— Простите, что я вас беспокою...

Человек, которого я принимал за Рара, повернул свое лицо и молча уставился в меня неожиданно сверкнувшими кругами стекол.

Растерявшись, я забормотал невесть что и шарахнулся вспять. Вопросу, мучившему меня в течение всей этой недели, приходилось дожидаться ближайшей субботы.

IV

В следующую субботу очередь по вскрытию замыслов принадлежала Дяжу. Я вошел в комнату пустых полок как раз в момент, когда рассказ должен был начаться. Стараясь спрятаться от круглых очков, вскинувшихся мне навстречу, я отодвинул свое кресло к камину, дергающему за черные тени неподвижно застывших людей,— и тотчас же стал беззвучен и неподвижен, как и все.

Дяж, боднув воздух рыжей щетиной и подперши подбородок набалдашником палки, изредка отстукивая ее концом точки и тире, начал рассказ:

— Э к с ы: так называли или, вернее, будут когда-нибудь называть те машины, о которых попробую сегодня рассказать. Собственно, в науке они были

известны под более сложными и длинными наименованиями: дифференциальные идеомоторы, этические механоустановки, экстериоризаторы и еще не помню как; но масса, сплющив и укоротив имена, называла их просто: экссы. Однако все по порядку.

Можно считать утерянной дату дня, когда идея об экссах впервые впрыгнула в голову человека. Кажется, это было чуть ли еще не в середине двадцатого столетия или и того раньше. У скрещения двух улиц большого, достаточно шумного и сутолочного города, в одно из солнечных и ветровых утр под магазинной витриной стояло, крича вперевой, — несколько продавщиц бюстгальтеров. Ветер, вырывая им их товар из рук, дергал за тесемки и сферически вздувал кружевной батист. Люди, толкаясь и торопясь, шли мимо, не обращая внимания ни на проделки ветра, ни на назойливые приставания продавщиц. Только один человек, переходивший как раз в это время через грохочущую улицу, вдруг задержал шаг и пристально уставился в реюющие в воздухе формы. Продавщицы, заметив взгляд, закричали и закивали ему с тротуара: у меня — не у нее — у меня — не берите у них — мои дешевле! Автомобиль, почти налетев на созерцательного пешехода, круто стал, — и шофер яростно кричал сквозь стекло, грозя расплющить в лепешку. Но человек, вдруг оторвавшись глазами от батиста, подошвами от асфальта, продолжал путь, не превращаясь ни в лепешку, ни в покупателя. И если б некий суматошный юноша, который принял нашего прохожего, очевидно, за кого-то другого, подскочивший и отскочивший, умел бы сквозь глаза видеть и то, что за ними, — он бы понял раз на всю жизнь: все всегда всех принимают за других.

Но ни юноша, ни шофер, ни продавщицы, наткнувшись глазами на проходящего чудака, конечно, не видели и не подозревали, что именно в этот миг, и именно в эту голову впрыгнула идея об экссах. Ассоциации в голову таинственного прохожего, не оставившего векам ничего, кроме разрозненных черновых безымянных листков, шли так: «ветер — отрыв и наполнение внешних форм — эфирный ветер — отрыв, объективация, наполнение в н у т р е н н и х ф о р м мысли — вибрации, виброграммы внутри черепа; если под удар эфирного ветра — то все «я» наружу, в мир, — и

к черту тесемки». Затем лёт ассоциаций попал в скрепы; заработала логика и заворошился десятилетиями копимый опыт: «необходимо социализировать психики; если ударом воздуха можно сорвать шляпу с головы и мчаться вперед, то отчего не сорвать, не выдуть из-под черепа управляемым потоком эфира все эти прячущиеся по головам психические содержания; отчего, черт побери, не вывернуть все наши ip в ex».

Человек, застигнутый идеей об эксах, был идеалист, мечтатель; его несколько пестрая и разбросанная эрудиция не могла реализовать идеи, впрячь мечту в хомут. Легенда говорит, что Аноним этот, оставивший людям свои гениальные наброски, умер полуголодным и безвестным, и что все его формулы и чертежи, во многом наивные и практически бессильные, долго странствовали из рук в руки, пока не попали, наконец, к инженеру Тутусу. Для Тутуса мышление отождествлялось с моделированием, упиралось в вещи, как ветер в паруса; еще в юности, заинтересовавшись старым принципом идеомоторности, он тотчас же конкретизировал его в модель идеомотора, то есть машины, подменяющей физиологическое стяжение мускула механическим извне — из машины — привнесенным воздействием на мускул. Старинные опыты с тетанусом у лягушки, еще до знакомства Тутуса с черновиками Анонима, были им разработаны и довершены путем смелых и четких опытов. Включая, например, слабую мускульную сетку, охватывающую глаз, в цепь своего идеомотора, Тутус заставлял глаз двигаться в ту или другую сторону, останавливая его — при помощи той же машины — на фиксировании любого предмета, вызывая истечение слез, поднятие и опускание века. Однако даже эти довольно примитивные опыты над созданием — как выразался Тутус — «искусственного зрителя» были мало показательны и плохо закрепляли феномен: дело в том, что физиологическая, идущая из нервных центров иннервация продолжала действовать, отклоняя, как бы интерферируя искусственную иннервацию, получаемую из машины. Знакомство с замыслами Анонима сразу же расширило кругозор и размах опытов Тутуса: он понял, что необходимо захватить машиной именно те движения и мускульные сжатия человека, которые имеют ясную социальную значимость. Записки Анонима говорили о том, что дейст-

вительность, слагающаяся из действий, «имея слишком много слагаемых, слишком мала как сумма». Лишь отняв иннервацию у разрозненных, вздробрив действующих нервных систем и отдав ее единому, центральному иннерватору, — учил Аноним, — можно планомерно организовать действительность, раз навсегда покончив с кустарничающими «я». Заменяв толчки волей толчками одной, так называемой этической машины, настроенной согласно последним достижениям морали и техники, можно добиться того, чтобы все отдали все, то есть подного ех.

Тутус и ранее, совершенствуя свой идеомотор, о предсказанности которого он ничего не знал, успел включить в круг его действия основные, связанные с центробежной и системой мозга мышцы. Но один несколько неприятный казус надолго остановил и спутал ему работу: казус заключался в следующем. Тутусу довелось познакомиться с неким видным общественным деятелем, человеком большой воли и властности, но страдающим странно осложнившейся болезнью: вначале это была простая гемиплегия, расплывшаяся затем по всему телу и атрофировавшая почти всю управляемую волей мускульную систему. Болезнь обезмускуливала этого человека постепенно; элементарнейшее движение руки, каждый шаг, артикуляция слова, стоили — что ни день — все больших и больших усилий, и по мере того, как воля закалялась и, концентрируясь в борьбе за выявление, непрерывно интенсифицировалась, круг действий — что ни день — стягивался: тело обезмускуливалось и расслаблялось, пока дух этого человека не оказался как бы накрепко завязанным внутри мешка из кожи и жира, безвольно обвисшего и почти бездвижного. Ища выхода, несчастный обратился к помощи Тутуса. Тот приступил к пробуждению деятельности. Каждый день клавиатура иннерватора, стягивая и разряжая мускулы больного, заставляла тело шагать от стены к порогу и обратно, двигать руками и артикулировать выстуканные ею слова. Но действительность, приданная пациенту, была чрезвычайно ограничена: волоча за собой извивы проводов, тело политака двигалось, точно на корде, толчкообразно и мертво вслед стукам машинных клавиш. Правда, пациент мог еще и без помощи машины писать медленные и трудные каракули, определявшие

программу очередных сеансов. Однажды после трех недель попыток прорыва в жизнь, наглухо завязанный мешок из кожи и жира, повозив обвислыми пальцами с вдетым меж них графитом по бумаге, накаракулил: с а м о у б е й т е. Тутус, обдумав программу дня, решил превратить ее в своего рода *experimentum crucis*¹: даже в опытах с этим, казалось бы, начисто обезмускуленным объектом, работу механического иннерватора все же портили не поддающиеся учету каракули воли, впутывавшие в точную партитуру машины. Трудно было предугадать все возможности волевых сопротивлений, и в опыте с самоубийством следовало ждать момента наиболее резкого, критического конфликта между волями машины и человека. Экспериментатор действовал так: удалив из револьверного патрона порох, он ввинтил в пустую гильзу пулю и, войдя в поле зрения своего живого объекта, показал ему патрон, тут же, на глазах, сунул его в гнездо стального барабана, поднял спусковую скобу и вложил орудие смерти в бездвижные торчки пальцев. Затем начала работать машина: пальцы самоубиваемого, дернувшись, схватили револьверную ручку; указательный дал неточный рефлекс,— Тутус подошел и поправил, вплотную вдвинув заупрямившийся палец во вгиб курка. Еще нажим клавиши,— и рука, подпрыгнув, согнулась в суставе и — добавочным движением — дуло к виску. Тутус, снова подойдя к объекту, внимательно осмотрел его: лицевые мускулы в порядке, без противодействий, правда, глаза дернули ресницами и точки зрачков поползли черными пятнами вширь. «Очень хорошо», — пробормотал Тутус и повернулся, чтоб нажать последний клавиш,— но странно,— клавиш не подавался. Тогда экспериментатор нажал сильнее: и тотчас же у виска объекта сухо щелкнуло. Тутус сначала осмотрел машину и несколько раз подымал и опускал вновь свободно задвигавшийся тугой клавиш. Затем повернул выключатели, и вдруг человеческий мешок с непонятным своевољством стал сползать с кресла вниз, взмахнул, как подстреленная влет птица, конечностями, и оземь. Тутус бросился к объекту: тот был мертв.

Черндвики Анонима, вернувшие — как я уже сказал — нашего экспериментатора к экспериментам, пре-

¹ Испытание (доказательство) крестом, пыткой (лат.).

жде всего заставили отказаться от старомодной системы проводов, зажимов и скреп, за которые моделирующий ум его, боявшийся прорывов в материи, так долго держался, стремясь закрепить непосредственность связи между передатчиком и приемником поступка. Тутуса впервые, при перелистывании выцветших строчек безвестного мечтателя, коснулось дуновение того «эфирного ветра», о котором грезил предвосхититель. Я слишком плохо разбираюсь в энергетике, чтобы идти за Тутусом в конструктивных деталях его новых беспроводных идеомоторов. Но и сам изобретатель скоро запутался в, казалось бы, вдоль и поперек известной ему области энергетической техники: дело в том, что физиологическая иннервация сопротивлялась толчкам, вынутым из проводов и рассеянным в эфире еще стойче,—и почти отчаявшийся Тутус после множества повторных опытов, наконец, понял, что, лишь изолировав — раз и навсегда — мускульную сеть от воздействий нервной системы экспериментируемых, как бы оторвав одну от другой, можно дать полное включение поступков, так называемого поведения, в идеомотор. В это-то время до него дошли вести об опытах итальянских бактериологов Нететти. Нететти-старший, еще задолго до работ Тутуса, открыл так называемых паразитов головного мозга. И до него наукой было полуустановлено существование миелофагов,—форменных элементов, которые, усваивая мякоть периферических нервов, способствовали развитию так называемого неврита. Но можно считать, что Нететти, пользовавшийся всеми средствами микроскопии и в особенности методами хемотаксиса, впервые натолкнулся на существование чрезвычайно сложной, часто ускользавшей от луча сильнейшего ультра-микроскопа, фауны мозга. Мало того, подражая терпеливым садоводам, как любил он говорить, Нететти искусственно получил всяческие виды и подвиды мозговых бактерий, собранных им в виде обыкновенных желатинных разводов внутри запаянных колбочек его коллекции. Он не мог в своей стеклянной бактериоразводне делать то, что делал некогда Мендель с пылью, во-первых, потому что сами бактерии были неизмеримо меньше пылинок пылицы, во-вторых, скрещивание тут было бессильно по бесполости микроорганизмов; но у него

было другое преимущество: бактерии, поселявшиеся, например, на так называемых перехватах Ранье, наиболее утонченных частях нейрофибрилл, в течение суток давали, приблизительно, столько же поколений, сколько мировая история числила за человечеством на протяжении всей нашей эры; таким образом, обладая более, как выразался Нететти, компактными временем, экспериментатор мог, постепенно меняя термические и химические воздействия, добиться в мире бактерий тех результатов, какие при опытах, скажем, с прирученными животными потребовали бы тысячелетий. Короче, ему удалось вывести особый вид паразитирующих на мозге микроорганизмов, названных им *в и б р о ф а г а м и*. Виброфаги, введенные особой инъекционной иглой под мозговые оболочки, тотчас же, стремительно множась, нападали, как гусеницы на ветви плодовых деревьев, на разветвления выводящих нервов, сгучиваясь, главным образом, у места их выхода из-под мозговой коры; виброфаги не были, в точном смысле этого слова, ни паразитами, ни сапрофитами, — пробираясь внутрь неврилеммы, крохотные хищники эти пожирали не материю, а энергию, то есть питались вибрациями, энергетическим разрядом нервных клеток: заполняя все выходы нервной энергии, застав мозгу все его окна в мир, бактерии эти как бы перехватывали мозговые сигналы и разряды, перерабатывая вибрации нервных волн в движения своих крохотных телц. Открытие это давало возможность Нететти-старшему приступить, наконец, к опыту, к которому он готовился всю жизнь. Надо вам знать, что человек этот, имевший бычью шею и голос скопца, всю жизнь лелеял мысль дать опытное обоснование давно, казалось бы, схороненной и забытой философической легенде о «врожденных идеях». «Стоит двинуть на новорожденный мозг в обгон первым ощущениям армию моих виброфагов, — думал Нететти, — и они, не повреждая материальной субстанции мозга и его ответвлений, не пустят, перехватят мир, втекающий по нервным приводам в мозг; при этом необходимо лишь иммунизировать, поскольку возможно, двигательные нервы, особенно аппарат артикуляций, — и тогда душа расскажет нам свои *ideae innatae*».¹

¹ Врожденные идеи (*лат.*).

Этот жестокий чудаки (большинство чудаков жестоки), открывавший незримости, был слеп на очевидное — уверовав в ветхие Декартовы призраки, он стал производить свои рискованные опыты над младенцами прививочного пункта, при котором находилась его лаборатория. Результатом был нелепый и «жуткий», как писалось в тогдашних газетах, процесс. Старого ученого обвиняли и обвинили в смерти десятков детей: начав в лаборатории, он кончил в тюрьме. Работы бактериолога, надолго опороченные и как бы смытые кровью жертв, были оставлены и забыты.

И Нететти-младший, захотевший реабилитировать имя, наследованное от отца, поневоле стал экспериментировать как бы от противного: отец старался закупорить входы в мозг, сын стремился живыми пробками бактерий закрыть все выходы из мозга. Нететти-младший, над которым тяготел поступок, опозоривший его отца, точно хотел покончить раз навсегда со всеми поступками. Казалось бы, не было человека более чуждого идеям Анонима, учившего об обогащении действительности действиями, и вместе с тем это и был тот человек, какой был нужен для реализации идей Анонима.

Молодой Нететти вскоре добился получения новой разновидности виброфагов: разновидность эта паразитировала только на двигательной системе первой сети, селясь как бы между волей и мускулом. Но упрямому исследователю этого было мало: изучая химические процессы внутри двигательных нервных волокон, Нететти установил трудноуловимое различие между хемотаксисами отдельных нервных стволов: обнаружился, неожиданно для самого исследователя, совершенно изумительный факт: волокна, заведующие произвольными движениями человека, давали несколько иные химические реакции, чем волокна симпатической системы и вообще иннерваторов, выключенных из сферы волевого усилия. Старик Нететти, любивший старые философские схемы, наверное, стал бы опытно обосновывать давно всеми отброшенное учение о свободе воли, — но сын его, чуждый метафизическим реминисценциям, шел дальше, не оглядываясь ни на какие схемы: пользуясь все тем же методом хемотаксиса, он как бы переманил виброфагов на систему так называемой произвольной

иннервации, и когда свойства этого нового подвида были закреплены, назвал эту своеобразную микрокультуру именем акциофагов, или, как определял он их впоследствии, «пожирателями фактов». Теперь, не рискуя сгнить в тюрьме, можно было инъецировать культуры «пожирателей фактов» внутрь фибрилл нервной системы. Но память о судьбе отца и, может быть, самое соприкосновение с проблемой ликвидации поступков делала Нететти-младшего чрезвычайно осторожным в области поступков: пройдя обычный путь, ведущий от кроликов и морских свинок к homo sapiens'у, перед sapiens'ом он заколебался.

В одно из предвечерних раздумий бактериологу доложили о приезде издалека, требующем свидания. «Просите». Перешагнув порог кабинета, посетитель сразу же — в три длинных шага — надвинулся на короткотелого итальянца, зажал его пухлую ладонь в своих тонких и цепких фалангах и, наклоня сверкающие пломбы над вздернувшимся кверху удивленным лицом Нететти, произнес:

— Тутус. Инженер. У вас — мельничные крылья, у меня — ветер — мелево пополам. Согласны?

— Какое мелево? — вскинулся Нететти, пробуя выдернуться из охвативших руку фаланг.

— Человеческое. Само собой. Я сяду, — и гость вдвинулся длинным костлявым телом в кресло: — Давайте мне ваших бактерий, а я вам — мой эфирный ветер, вдувающий в мускулы сжатия и расжатия, — и мы построим всю человечью действительность заново: сверху донизу — понимаете? Мы рыли туннель с разных концов — и вот встретились: киркой в кирку. Я давно слежу за вашими работами, хотя вы скупы на публикации. Я тоже. Но предугадываю: если соединить ваше все с моим все — они опрокинут все. Вот тут схемы (Тутус придвинул принесенный с собою портфель): по ех за in. Ну, покажите-ка мне ваших бацилл.

— Их не так легко увидеть, — попробовал отшутиться застигнутый врасплох Нететти.

— Смысл их видеть еще трудней. Но я вижу, понимаете ли, насквозь и всецело.

— Тут есть риск, — замялся было бактериолог.

— Беру на себя, — ударил Тутус портфелем о стол, — к делу. Вот список мускулов, которые надо эмансипировать от нервной системы. Иннервацию рас-

тительных процессов, кое-что из аппарата психических автоматизмов, пожалуй, можно бы им оставить: людям. Остальное под удар эфирного ветра: я закружу все лопасти и мельничные крылья в ту сторону, в какую хочу. О, мои экссы дадут чистый помол!

— Но нужны капиталы...

— От них не будет отбою. Увидите.

Состоялся своего рода конкордат.

И через малое время после его заключения правительства наиболее крупных держав получили — в порядке срочности и тайны — краткий мемориал Нететти — Тутуса, который, упираясь в точнейшие цифры схемы, предлагал реализацию экссов и исчислял необыкновенные выгоды, — как финансовые, так и моральные, — которые должны были явиться следствием сооружения этих установок. До некоторых адресатов проект не дошел, застряв в министерских канцеляриях, в некоторых был отвергнут, но иные правительства — главным образом, те, в которых валюта шаталась, государственный долг рос и где соломинки рассматривались всерьез и казались спасительными, — проект был передан в комиссии, спешно рассмотрен и дебатирован. Тутус сразу получил вызов из двух столичных центров, так что одному из правительств пришлось даже ждать. На ряде тайных заседаний, по выслушании докладов, было принято решение применить идею механической иннервации в деле борьбы с душевными болезнями. Дело в том, что в эпоху, о которой рассказ, количество душевнобольных непомерно возросло. Все усилия науки не могли справиться с этим бедствием, слишком тесно связанным с ростом психических нагрузок и кривизнами быта. Опасность усугублялась тем, что процент заболеваемости шел гигантскими прыжками вверх в области наиболее антисоциальных психозов: изоляция буйных, одержимых клептоманией, эротическими формами, манией убийств и так далее, приобретавших обычно неизлечимый характер, требовала огромных средств и ложилась тяжелым бременем на государственные бюджеты. «Государство должно, — аргументировал проект, — для ухода за оторванными болезнью миллионами рабочих рук, отрывать еще сотни тысяч работников, расходуя при этом с каждым годом растущую сумму на постройку новых изоляторов, содержание персонала

и так далее. Но вместо того чтобы изолировать здоровых от больных, не лучше ли изолировать болезнь от здоровья в организме душевнобольного: ведь при психическом заболевании поражается лишь нервная система, система же мускульная остается незатронутой. Если ввести в организм выключенного из социальной работы душевнобольного путем инъекции, бактерий, открытых проф. Нететти, то мускульная система, дохищаемая вместе с мозгом у общества, возвращается его законному собственнику; стоит лишь соорудить экс — и мускулы всех душевнобольных, переключенные со своих явно негодных и даже опасных для общества нервных центров на единый центральный иннерватор типа «Тутус А-2», будут работать совершенно безвозмездно — на пользу общества и государства, которому постройка относительно дешевого эксa не только поможет снять с бюджета финансовый балласт, но и даст сразу огромное количество новой рабочей силы».

И вскоре — длинными стеклянными соломинами — пополз из земли экс. От прозрачных трубчатых складышей его потянулись туго натянутые из стеклистого металла, казалось, растворявшиеся в воздухе тросы и нити, — так что когда в день открытия и пуска первого эксa праздничная толпа хлынула к металлическим загородкам, окружавшим гигантский экстериоризатор, она ничего не увидела, кроме огороженной мгlistой пустоты (день был туманен). Тотчас пошли рассказы об украденных инженерами деньгах, о мнимых предприятнях и дутом бюджете. На трибуну взошел премьер-министр, снял с плечи цилиндр и, тыча рукой в пустоту, заговорил о какой-то светлой эре, надсадно и длинно: выколачивая из себя слова, как пыль из старого и затоптанного ковра, премьер шурился близорукими глазами в огороженную пустоту — и вдруг как-то поперек слов подумал: «А что, если его и в самом деле нет?» Впоследствии экс отомстил премьеру, превратив его — в ходе событий — в экс-премьера.

Толпа, отслушав речь, разочарованная и насмешливая, начала уже расходиться, когда в воздухе неожиданно возник звук: это было тихое и тонкое, будто стеклянное, дребезжание, подымавшееся вверх и вверх, как голос непрерывно натягиваемой струны: экс начал свою работу.

На следующий день, уже с самого утра, торопящиеся к началу служб заметили появление на улицах города каких-то не совсем понятных прохожих: прохожие эти, одетые, как и все, шли как-то толчкообразно и вместе с тем метрономически, — точно отстукивая по два шага на секунду; их локти были неподвижно вжаты в тело, голова точно наглухо вколочена меж плеч, и из-под лбов неподвижные же, словно ввинченные круглые зрачки. Торопящиеся по своим делам не сразу догадались, что это первая партия сумасшедших, выпущенная из изоляторов, — людей, с отсепарированными по методу Нететти мускулами, включенными в поле действия экс-номер один.

Организмы этой первой серии были предварительно обработаны виброфагами; отделенная, совершенно безболезненно, от мозга и настроенная соответствующим образом, мускульная сеть каждого из этих новых людей представляла собой естественную антенну, которая, воспринимая эфирную волну гигантского иннерватора, проделывала машинную, единую на всех них, действительность.

К вечеру слух о движимых эфирным ветром людях обжег весь город; люди, сгрудившись у перекрестков, в радостной ажиотации приветствовали криками возвращающихся с работы экс-номеров, но те, ни единым движением не реагируя на происходящее, шли тем же толчкообразным — по два удара на секунду — шагом, с локтями, притиснутыми к телу. Женщины прятали от них своих детей: ведь это же сумасшедшие — а вдруг! Но их успокаивали: чистая работа.

У одного из перекрестков произошла неожиданная сцена: какая-то старуха в одном из проходящих новых людей узнала своего сына, которого еще два года тому свезли, скрутив рукавами смирительной рубашки, в изолятор. С радостным криком мать бросилась к нему, называя его по имени. Но включенный в экс-номер прошагал мимо, мерно стуча подошвами об асфальт, ни единый мускул не дрогнул на его лице, ни единый звук не разжал его крепко стиснутых губ: эфирный ветер веял, куда хотел. Забывшуюся в истерике старуху унесли.

Первая серия экс-людей, как назвал их кто-то в насмешку, умела проделывать лишь чрезвычайно несложные движения, слагавшиеся в процесс ходьбы,

подымание и опускание какого-нибудь рычага — и только. Но уже через две-три недели, путем постепенного введения так называемого «дифференциального снаряда», человеческое содержимое изолятора для умышленных стало получать более сложную обработку: жизнь, организованная в них по системе Нететти — Тутуса, расширялась и сложилась: так, появились чистильщики сапог, с особой эксовой методичностью движущие щетками по поставленному на колодку сапогу: вверх — вниз, вверх — вниз; в одной из фешенебельных гостиниц предметом любопытства, собиравшим толпы к ее подъезду, стал приводимый в движение эксом швейцар, который, стоя с утра до ночи с рукой на ручке выходной двери, то открывал, то закрывал короткими и сильными толчками. Но строителями первого иннерватора не были учтены все случайности. По крайней мере однажды произошло следующее: знаменитый публицист Тумминс, выйдя из своего номера в гостинице, спускался по лестнице: он шел медленно и, цепляясь глазами за вещи и лица, настойчиво искал нужную ему для очередной книжки журнала тему: случайно зрочки его зацепились за зрочки швейцара, автоматическим движением раскрывшего перед ним выходную дверь: зрочки эти заставили Тумминса попятиться, — он ударился спиной о стену и, не отводя глаз от феномена, раздумчиво прошептал: «Тема».

И вскоре появилась, подписанная именем популярнейшего писателя, статья, озаглавленная «В защиту in». В статье с внушающей талантливостью описывалась встреча двух пар зрачков: отсюда и оттуда. Тумминс приглашал всех граждан и строителей эксов, в первую очередь, почаще заглядывать в глаза машинизированных людей, и тогда, писал он, все они поймут, что нельзя покушаться на то, на что покушаются эксы. Нельзя вгонять в человека насильственную, чужую ему жизнь-фабрикат. Человек, существо свободное. Даже сумасшедшие имеют право на свое сумасшествие. Опасно передавать функции воли машине: мы не знаем еще, чего эта машинная воля захочет. Пламенная статья заканчивалась лозунгом: in против ex.

В ответ на выступление Тумминса в ближайшем номере официоза появилась передовица, которую молва приписывала Тутусу. В передовице указывалось на

несвоевременность истерических выкриков по поводу каких-то зрачков, когда дело идет о спасении всего социального организма; тирады о «свободной воле» передовица объявляла запоздавшими на несколько веков — и даже чуть смешными в эпоху научно обоснованного и проверенного детерминизма; насуточно важно, поскольку речь идет об опасных для общества волях душевнобольных, дать им не свободу воли (которую пришлось бы тоже искусственно изготавливать — за неимением таковой в природе), а свободу от воли, направленной антисоциально. По этому пути правительство намерено идти неуклонно и неустанно, делая новые и новые человеческие включения в экс.

Но Тумминс не унимался: на аргументы он отвечал аргументами и, не довольствуясь журнальной полемикой, стал организовывать «Общество доброго старого мозга», как он назвал однажды группу единомышленников, которые, собираясь на митинги протеста, вдевали в петлицы металлическое изображение двух полушарий мозга с лозунгом поперек: *in contra ex*. И когда правительство начало строить рядом с эксом номер один новый мощный экстериоризатор номер два, сторонники «доброе старого мозга» двинулись было толпой к месту стройки, грозя разрушить машины. К месту происшествия были двинуты войска и в поддержку им, как бы в доказательство способности эксa к самозащите, по улицам зашагали, методически отстукивая свои два шага в секунду, отряды иннервируемых машиной вооруженных «экс-людей».

Ждали новых репрессий и в первую голову арестов среди членов тумминсовской организации, но таких не последовало. На тайном заседании министров, по докладу Тутуса, постепенно забиравшего все большую и большую власть, было принято решение, выполнение которого возлагалось на экс. Внезапно Тумминс куда-то исчез, — ненадолго, дня на три, — после чего ошеломляюще скоро переменял свое *contra* на *pro*. Говорили, что Тумминс подкуплен, что он действует под угрозой смерти и так далее: все это было неверно — Тумминс был просто включен в экс. Усовершенствованный дифференциатор, овладев артикуляцией знаменитого оратора, завладев движениями его пера, повернул все его слова, так сказать, оглоблями назад. В душе Тумминс все так же ненавидел и проклинал

эксы, но мускулы его, оторванные от психики, проделывали четкую и пламенную агитацию, проводя кампанию по постройке новых этических машин. Сначала почитатели великого идеолога, не веря в измену своего вождя, говорили о подлоге и подмене рукописей, но автографы Тумминса, фотографически воспроизведенные и даже выставленные за стеклом витрины городской ратуши, заставили замолчать самых отъявленных скептиков. Обезглавленная партия постепенно распалась, тем более что перспективы, связанные с постройкой новых машин, многим и многим казались заманчивыми. Так, правительство обещало переложить воинскую повинность с здорового населения на включенных в эксы душевнобольных, заявляя, что, с точки зрения социальной этики и гигиены, рациональнее жертвовать негодными, чем годными. Для многих здоровых, таким образом, название «этических», приписываемое машинам, казавшееся вначале неестественным и смешным, теперь получало некое оправдание и приобретало вовсе не смешной смысл.

Городок эксов рос и рос. Казалось бы, время было задать вопрос: зачем их столько; не слишком ли много, если имеют в виду одних сумасшедших. Но увлечение стройкой захватило всех. Казалось, эфирный ветер, перейдя за указанную ему черту, сдул прочь все критицизмы и скептицизмы в мире. Боюсь, как бы он не сдул мне и моих слов...

Дядя, вдруг перестав отстукивать палкой об пол свои тире и точки, как-то застопорился и беспокойно оглядел нас кругами стекол:

— Да, я чуть-чуть не проскочил стрелки: тут тема — как я ее вижу — расходится двумя вариантами. Можно, совершенствуя эксы, превратить их эфирное дуновение в вихрь, против которого окажутся бессильными все естественные физиологические иннервации, и тогда... но тут мне пришлось бы распротиться с побочной темой «пожирателей фактов». Это не годится: раз введен образ, ему должно досуществовать до конца. Структура сюжета, как и структура экса: включение возможно — выключение нет. Поэтому попробую сквозь тему на косом парусе. Итак: ...

Работы бактериологической лаборатории Нететти не прекращались. Доверив своим помощникам получение возможно более стойкой разновидности виброфа-

гов, сам ученый занялся проблемой, возможен ли — по отношению к пожирателям фактов — иммунитет. Вскоре оба задания были более или менее выполнены: с одной стороны, была получена разновидность чрезвычайной сопротивляемости, способная переносить засушивание, колебание температур, сохраняющая жизнеспособность, правда, на не слишком продолжительное время, и вне мозга, в любой среде, — с другой стороны, самим Нететти было открыто новое химическое соединение, названное им инитом, которое, будучи введено в кровь, проникало в мозг и, оставаясь совершенно для него безвредным, убивало виброфагов; самый организм, после введения в него инита оказывался навсегда иммунизированным по отношению к виброфагам. Были проделаны испытания инита, после введения вещества в кровь нескольких включенных в экссы буйнопомешанных, болезнь снова хлынула к ним из мозга в мускулы: экспериментируемые, бившиеся с пеной у рта на полу лаборатории, тотчас же были уничтожены, а результаты испытаний были признаны удачными. По настоянию Тутуса, профессор Нететти занялся изготовлением инита. На очередном тайном собрании Верховного Правительственного Совета Тутус, поблескивая пломбами, докладывал:

— Я считал бы себя сумасшедшим, если б согласился ограничиться применением эфирного ветра к одним лишь сумасшедшим. Невидимый лес экссов растет с каждым днем. Я давно уже отказался от метода искусственной настройки мускульных систем. В сущности, любая мускульная сеть, если ее изолировать от мозга, может быть включена в иннервацию соответствующей частоты. Каждый из построенных экссов рассчитан на волны той или иной частоты и, будучи пущен в дело, включит в себя целую, ну, скажем, серию людей, как бы самовключающихся в данную частоту. Разумеется, при условии изолированности их мускульных приемников от иннервации изнутри, то есть опять того же, черт бы его побрал, «доброе старого мозга», с которым у нас было и, боюсь, будет еще много неприятных хлопот. Резюмирую: наша страна — как это всем известно — поставляет на мировой рынок всяческие консервы, экстракты, сушеные фрукты и прессованные питательные вещества. Новая разновидность виброфага достаточно жизнеспособна, чтобы, пройдя

сквозь прессование, сушку и проч., и проч., добраться до организмов наших всесветных потребителей, а там по токам крови в мозг и... Инит мы сохраним, разумеется, только для себя. О преимуществах, которые даст нам все это, о той новой мировой ситуации, которая должна быть отыскана между инитом и эксом, вам, государственным мужам, объяснять излишне.

И вскоре после этого бесчисленные разводки виброфагов, впрессованных в бульонные кубики, засушенных и замороженных внутри всякой снеди, запаянные в миллионы консервных банок, застраивались навстречу миллионам ртов, доверчиво проглотивших себя самих,— если мне позволено будет так выразиться. Первые же граммы инита, изготавливаемого чрезвычайно медленно самим Нететти, без допуска каких бы то ни было помощников, не вышли за узкий круг правителей и их приближенных: дело в том, что эти люди, отдавшие эксам всех умалишенных, обезопасить от возможного включения в машину решили в первую голову наиболее здравомыслящих, то есть самих себя. Разумеется, в дальнейшем, по мере получения новых граммов и скрупул, постановлено было распределять их от центра к периферии среди всех полномочных граждан государства, на деньги которых, собственно, и строились все эксы, но... Но внезапно умер Нететти: его нашли со вспухшей шеей и вспученными белыми глазами среди химических стекляшек его тайной лаборатории. Никаких записей и формул изготовления инита обнаружено не было. Стекланный пузырек с несколькими граммами инита, который ученый носил при себе, оберегая от посторонних глаз (об этом знали лишь Тутус и члены Тайного Совета), отыскан не был. Даже Тутус был взволнован и растерян. На экстренном собрании Совета он, привыкший лишь отвечать или не отвечать, впервые спросил:

— Что делать?

Тогда поднялся самый молодой из всей коллегии по имени Зес.

— Почему не Зез? — вскинулся председатель и обвел нас всех недоуменной улыбкой.

Замыслители переглянулись.

Но Даж продолжал отстукивать свои точки.

— Так вот. Встал, говорю я, некий Зес, ничем особенным себя до сих пор не проявивший. Это был человек умный, но жестокий,— тот, скажем, традиционный злодей, без которого не обходится ни одно фантастическое, принужденное заменять характеры схемами, повествование. Д-да. И ответ был дан: пусть в дело эксы. Все. И немедленно.

В коллегии произошло движение. Тутус возражал:

— Но ведь план иммунизации не проведен. Следовательно, в эксы могут включиться и...

— Тем лучше. Чем меньше управляющих, тем больше управляемость. И после: учтен ли собранием факт исчезновения инита? Наши замыслы, вместе с тайной инита, могут попасть — если уже не попали — в чужие руки. Пока мы будем медлить, слухи о наших замыслах переползут через границу, но и ранее того наши сограждане, если в них есть хоть капля здравого смысла, успеют разделаться и с эксами, и с нами: или вы думаете, что они простят нам наш иммунитет?

— Да,— заколебался Тутус,— но пуск эксов все же преждевременен. Ведь бактерии не успели еще добраться до всех мозгов и на всей планете. И затем, я не уверен, что наши предельно мощные эксы, даже будучи пущены все сразу, включат в сферу своего действия — скажу закругляя — более двух третей человечества. Возможны индивидуальные отклонения мускулатур — всех не разберешь по сериям.

— Очень хорошо,— подхватил Зес,— две трети мускулатуры всего мира — это более чем достаточно, чтобы выключить невключенных и из жизни: начисто. Предлагаю конкретное решение: бактериализованные консервы пустить и на внутренний рынок. По самым дешевым ценам. Второе: какой бы ни было ценой, в ближайшие же дни достроить последний сверхмощный экс. Третье: немедленно после его окончания перейти, так сказать, от науки к политике.

Но события надвигались даже быстрее, чем их расчислял Зес, соглашавшийся с Тутусом в том, что бактерии скорее мыслей проберутся в мозг. Уже наутро после экстренного заседания рабочие не вышли на стройку экстерификатора; на улицах было заметно какое-то недоброе оживление: по рукам ходили свежотпечатанные подпольные листовки; за городом загудел митинг; войсковая часть, посланная для окружения

сборища, не выполняла приказа. Зес понял, что на счету даже минуты, он не стал тратить их на созыв Совета, а бросился, вместе с десятком приверженцев, в невидимый городок, где стояли прозрачные маты иннерваторов: никто не остановил их — весь персонал, обслуживающий машины, находился сейчас на митинге.

Толпа, созванная прокламациями, сгрудилась — голова к голове — в огромной ложбине, начинавшейся тотчас же за городской чертой. Ораторы кричали с деревьев, по-птичьему пронзительно: одни о заговоре, будто бы уже полураскрытом, другие — о народных деньгах, невесть на что растраченных, третьи — об измене народу, четвертые — о мщении и расправе. Из шевелящегося муравейника выдергивались кверху кулаки и палки, прокатывались грохоты гимнов и рев проклятий. Из-за шума никто не слышал тихих, стеклито-тонких звуков, внезапно всверлившихся в воздух. Внезапно уже начало происходить что-то странное: часть толпы, вдруг отделившись, выклинилась из митинга и двинулась назад в улицы. Ораторы, сидя на своих деревьях, подумали было вначале, что это их слова толкают к действию, но они ошибались — это было дело пущенных в ход первых эксков. Толпа примолкла. Теперь были ясно слышны сплетающиеся звоны иннерваторов; вот зазвучал еще один, острый и вибрирующий, и новая процессия, накапливающая людей, как магнит железные опилки, потянулась, безлюдя митинг, под углом в девяносто градусов к первой. Даже некий молодой агитатор, сидевший на дубовом суку, теперь уже ясно видел, что так не идут на месть и разгром: все, включавшиеся в шествие, шагали, как-то странно втиснув локти в тело и автоматически четко отстукивая шаг. Пока юный агитатор, почти плача от обиды и гнева, пытался кричать вслед уводимым, невидимое что-то, вдруг охватив его мускулы, разжало кисти руки и притянуло локти к телу; теряя равновесие, юноша грохнулся с сука оземь, но не успел уже закричать: невидимое что-то притиснуло челюсть к челюсти, пресекло крик и, задвигав вдруг тяжами расшибленных ног, заставило их, сгибая и разгибая им колени, присоединить агитатора к процессии: в душе у юноши бушевала ненависть и бессильное бешенство: «только бы добраться до дому, взять оружие — и тогда посмот-

рим», — бунтовал мозг, но мускулы задвигали тело в сторону, противоположную дому: «Куда я иду?» — металась изолированная мысль, а тем временем шаги, точно отвечая на вопрос, медленно — по два удара на секунду — подводили собственника мыслей к железной ограде невидимого городка. «Тем лучше, — обрадовался агитатор, — вас-то я и искал», — и он почти со сладострастием представил себе, как будет бить чем ни попало по прозрачным нитям, как подкопает стеклянную мачту и порвет провода от подземных роторов: шаги, как, бы поддакивая, подвели его к сплетениям самого большого, еще не вполне законченного сверхсильного экстериоризатора; юноша напряг все силы, — казалось, таинственное что-то помогало ему, — он схватился за стеклянную, полувинченную трубу, и тут руки, как будто нечаянно соскальзывая с скользкой поверхности, стали медленно, но методически довинчивать мачту: только теперь несчастный понял, что вместе с другими, автоматически распределившимися по площади городка людьми, он работает над достройкой экс-ов.

Эфирный ветер, начав дуть от невидимого городка, быстро поопрокидывал конституции государств, окружавших страну, приютившую идею Нететти — Тутуса. В несколько порывов эфира было сделано несколько революций: Зес называл их «революциями из машины». Делалось это чрезвычайно просто: дергая людей за мускулы, как за веревочки у движущихся кукол, экс, действующий по определенному радиусу, накапливал их в столичных центрах, окружал куклами государственные учреждения и дворцы, заставляя толпы артикулировать — всех, как один человек, — какой-нибудь несложный в два-три слова лозунг. Людям, избегнувшим включения в иннерватор, оставалось бежать — подальше от эфирных щупалец машины. Но вскоре был закончен и пущен в ход сверхсильный экс, достававший до мускулов и через океаны. Сбившиеся в беспорядочные толпы, беглецы пробовали организовывать сопротивление: на их стороне были некоторые преимущества — гибкость и многосложность движений, которых не было у толчкообразно движущихся, шагающих по прямым линиям, не способных к ориентировке новых людей. Тогда началось методическое, по квадратам, истребление невключенных. Идеально ровные шеренги

«новых» шли, как косари по зрелой пашне, — от межи до межи, — скашивая все живое прочь с нуты. В смертельной тоске люди прятались в чащу лесов, зарывались в землю; иные же, имитируя автоматические движения новых, примыкали к шеренгам их, лишь бы не быть убитыми. Работа по очистке человеческого сора — как выразился однажды наш Зес — корректировалась на местах специальными наблюдателями из числа тех двух-трех сотен иммунизированных, на которых работали эксы. Когда эфирная метла кончила мести — все территории были соединены в одно мировое государство, которому было дано имя, сочетающее название машины и реактива: Эксилия.

После этого диктатор Зес объявил о переходе на мирное строительство. Прежде всего необходимо было озаботиться о создании человеческого аппарата, который мог бы достаточно точно, с квалифицированной автоматичностью, обслуживать аппараты системы Тутуса. Дело в том, что в период переворота и борьбы у машин приходилось работать все той же горсточке иммунизированных: управление эксами требовало сложной системы движений и учета столь же сложной сигнализации. Последнее создание Тутуса — экс для управления всеми эксами, был, наконец, воздвигнут и освободил олигархов в значительной степени от нервной и трудной работы по подаче иннервации. Второй реформой — была ликвидация в Эксилии народного образования: представлялось совершенно излишним обучать тому или этому людей, если и это и то могли проделать иннерваторы: графа расходного бюджета по просвещению массы была заменена графой расходов на усовершенствование единой центральной нервной системы, сконцентрированной в невидимом городке. Затем «ех» каждого человека, его мускульная потенция была взята на учет, и, сидя у клавиатуры центрального экса, Зес с точностью знал ту сумму мускульной силы, запас труда, который можно было в любой момент бросить на выполнение того или иного задания, распределить и перераспределить как угодно. Вскоре города Эксилии украсились грандиозными, циклопической мощи сооружениями, правда, застройка велась по единому плану, ориентирующему по линиям эфирных волн: прямые, как дорожки кегельбанов, улицы — от жилых корпусов к фабриками и об-

ратно — легли все и всюду по параллелям к меридианам и линиям долгот. Сами работники, из которых иннерваторы брали все наличие их сил, стали жить в просторных и светлых дворцах, получая изобильную пищу, но радовало ли их это — неизвестно. Психика их, отрезанная от внешнего мира, изолированная в их разлученных с мускулами мозгах, не давала ни малейшего знака о своем бытии.

Правительство, неуклонно проводя план полной эксификации жизни, заботилось и о ее продлении. Плановая организация любви потребовала сооружения еще одного, так называемого Случного экса, который, действуя периодически, короткими, но сильными ударами эфира бросал мужчин на женщин, случал и разлучал, с таким расчетом, чтобы наименьшая затрата времени давала наибольшее число зачатий. Кстати — один из иммунизированных, личный секретарь Зеса, молодой человек с этакой прядью волос, как вот у нашего Шога, — ну, чтобы не искать долго имени, — назовем его Шагг.

— У вас довольно бесцеремонная манера изготовления имен, — дернулся в кресле Шог, — и я советовал бы вам...

— К порядку. Право делать замечания принадлежит здесь только мне, — возвысил голос председатель, — продолжайте рассказ.

— Так вот, этот Шагг, еще задолго до всяких эксификаций тщетно вздыхавший о некоей даме, которая, невзирая на приятные качества одного Шагга, ставила его ни во что, — Шагг этот решился на следующий шаг: прибегнуть к помощи экса. Машине было все равно. В указанный юношей час она привела женщину в указанное место, но сама, так сказать, не уходила, то есть нервный и мнительный юноша ощущал ее и внутри любви — он почти с галлюцинаторной ясностью слышал: кружили стальные роторы, смыкались и размыкались выбрирующие токи, тянулся нудный и тонкий высвист. Да, друзья мои, ветер, дергавший — в тот, помните, первый день — за тесемки легких полукружий, умел наполнить

их, в сущности, только воздухом — ну, и экссы могли приготовить все что угодно, кроме эмоций. Одним словом, наутро наш бедный Шог... виноват, Шагг был грустен и неразговорчив, и когда его патрон, благоволивший к юноше, потирая руки, похвастал, что перестройку мира можно считать вчерне законченной, — он наткнулся на молчание и угрюмый блеск глаз.

Наступили месяцы и годы отсчитываемой на счетчиках, точно дозируемой и распределяемой действительности; история, заранее, почти астрономически, вычисленная, превратилась в своего рода естествознание, осуществляемое при помощи двух классов: инитов, которые управляли, и экссонов, которыми правили. Казалось, что Рах Ехипиае¹ ничем не может быть нарушен, но тем не менее...

Первые «выпадения из плана», как запротоколировали их на заседании Верховного Совета, имели видимость случайных исключений в мире включенных. Так, например, вместо того чтобы проходить мосты вдоль, некоторые, — очевидно, неточно иннервированные — экссоны стали переходить их поперек; таким образом, с мускульного запаса пришлось списать изрядное количество выбывших особей; амортизация экссов получала несколько высокий коэффициент. Обнаружились перебои в работе случной машины: виды на человеческий урожай не оправдывались, — рождаемость давала довольно низкий балл. Все бы это ничего, но положение стало тревожным, когда обнаружили какие-то технически не учтенные отклонения и неправильности в работе иннерватора, приводившего в действие «аппарат» Эксинии. Тутус, которого взяли в кольцо вопросов, раздумчиво покачивал головой, — и в конце концов заявил: «Чтобы выверить машину — есть один способ: остановить ее».

После длительного совещания решено было, в виде опыта, остановить эксс номер один, во-первых, потому что он, как наиболее длительно работающий, давал максимум перебоев, во-вторых, потому что в него, как вы помните, были включены душевнобольные — казалось, наиболее гуманным принести в жертву именно их.

¹ Мир экссонов (лат.).

В назначенный день и час номер один прервал подачу иннервации, и несколько миллионов людей, подобно парусам, лишенным ветра, мгновенно опали, дрябло обвисли книзу и — кто где был — неподвижно распластались на земле. Иные иниты, проходя мимо описанных со счета эксонов, видели двигавшиеся и в неподвижных тушах глаза, вздрагивающие ресницы и дышащие ноздри (кое-какие мелкие мускулы оставались людям, как безвредные для социоса, в их распоряжение); через три-четыре дня мимо обездвиженной человечины нельзя было пройти, не затыкая носа, так как она начала заживо сгнивать; проверка машины не была закончена, поэтому — в интересах социальной гигиены — всю эту дергающую ресницами человечину... пришлось свалить в ямы и сровнять над нею землю.

А между тем долгий и тщательный осмотр номера один, разобранный на мельчайшие составные части, дал совершенно неожиданные результаты:

— Иннерватор в абсолютном порядке — был и есть, — с гордостью заявил Тутус, назначенный главным экспертом. — Обвинение, предъявленное машине, считаю неправильным. Но если причина экспессов не в эксах, то... её надо искать в эксонах, в изолированности и безнадзорности их психик. Недавно я наблюдал чрезвычайно элементарный и потому показательный случай: эксон, поставленный у ручки аппарата и иннервируемый на вращение ее справа налево, на самом деле толкал рычаг то вправо, то влево, как если б в мускулах его действовали две направленных друг против друга иннервации. Да, отрезав доступ их мозгам в мир, мы и себе отрезали наблюдение над их психикой. Через порог комнаты, запертой на ключ, не переступить: ни изнутри — ни извне. Меня, разумеется, совершенно и не интересуют все эти душеобразные приделки, претендовавшие в прежние варварские времена на нелепейшие названия, вроде «внутреннего мира» и так далее...

— Но это не интересует и вас, Дядя, — ударил по рассказу звонкий голос Шога. Повернув пылающее лицо к прерванному им рассказчику, не обращая внимания на предостерегающий жест председателя,

скороговоркой, почти глотая слова, Шог бросил их во фланг рассказу: — Да, вас, как и ваших тутусов и зесов, не интересует единственно интересное во всей этой фантазмагории — проблема обезмускуленной психики, духа, у которого отняли его действительность; вы входите в факты извне, а не изнутри; вы хуже ваших бактерий: они пожирают факты, вы — смыслы фактов. Подайте нам не историю об эксах, а историю об эксонах, и тогда...

— Представьте себе, мой Шагг был того же мнения. На описываемом мною собрании после выступления Тутуса, он — несколько неожиданно для патрона — вскочил со своего места и, сверкая глазами, стал говорить о том, что... но от повторения его «что» Шог меня освобождает. Спасибо. Иду дальше. Так вот, надо вам знать, этот самый Шагг, о бытии которого я уже докладывал собранию, отдавал свои досуги сочинительству повестушек. Разумеется, тайно и, разумеется же, «для себя», так как найти «других»... — в век эксов литература, отрезанная вместе с «внутренними мирами» напроць и начисто, — найти других, говорю я, она, конечно, не могла. Одна новелла Шагга, называвшаяся, кажется, «Выключенник», рассказывала о некоем якобы гениальном мыслителе, который к моменту переворота, произведенного невидимым городком, досоздавал свою систему, открывавшую новые великие смыслы; внезапно включенный в ряды автоматов, он проделывал вместе с ними какую-то элементарную, в пять-шесть движений, изо дня в день одну и ту же работу и был бессилён бросить человечеству свою всеспасающую мысль: в мире, где действие и мышление, замысел и овеществление, разобщены, — он, видите ли, выключенник.

В другом этюде повествовалось о некоей от глубины души до кончиков ногтей прекрасной даме (биография зачастую лезет, куда ее не просят) — даме, которую машина отдаёт именно тому, кому отдано и ее сердце, но «он», изволите ли видеть, — не знает этого и никогда не сможет узнать. В произведении этом было много зачеркнутых строк и чернильных клякс, так что разбираться в нем подробнее не берусь.

Наконец, «симпатичное дарование» нашего автора остановилось на теме о жизни, обладающей и в бытие

и в машину одновременно: то есть рассказывалась история ребенка, постепенно вырастающего в отрока, пробуждение сознания в котором застает его уже включенным в экс; для существа этого не существует мира за пределами экса: экс для него трансцендентен, все же его собственные поступки представляются внешними вещами, как для нас предметы и тела окружающего нас мира; собственное тело видится ребенку отодвинутым от сознания и никак с ним не связанным, — короче, ход машины, обуславливающий все объективно происходящее, представляется ему как бы третьей кантовской формой чувственности, в равных правах с временем и пространством. Притом эксобразное мышление этого существа, не знающего о возможности перехода от воления к поступку, от замысла к осуществлению, естественно приходит к признанию бытия мира замыслов и волений в самих в себе, то есть к крайнему спиритуализму. И все же, шаг за шагом, Шагт выводил своего героя за черту сомкнутого круга, заставляя отыскивать и отыскать его некий ех, переступающий за грани эксовой логики: для этого автор пользуется, как это намечалось и в предыдущем его рассказе, случайными совпадениями (пусть чрезвычайно редкими) между желанием, возникающим в душе, и поступком, приносимым извне; из экса; наблюдения над этими случайными моментами гармонии приводят эксона к мечте об ином умопостижимом мире, в котором исключения эти превращены в правило и...» но не буду кончать, потому что и Шагт не кончил: радиограмма от Зеса требовала немедленного его прихода.

Явившись к своему патрону, Шагт застал его в обществе, — хотя слово «общество» тут вряд ли подойдет, — застал его стоящим перед двумя эксонами, вдвинутыми в сиденья кресел.

— Вы хотели вшагнуть в потустороннее, если я вас правильно жонял на последнем собрании. Закройте дверь. Так. А теперь я вам распахну души вот этих двух. Садитесь и наблюдайте.

— Но я не понимаю... — пробормотал Шагт.

— Сейчас поймете. Два часа сорок минут тому назад я ввел им в кровь почти по грамму инита. Тут вот в пузырьке хватит еще на два-три таких же опыта. Инит действует к концу третьего часа. Внимание.

— Но, значит, Нететти... его смерть,—и Шагг почувствовал, что глаза его заблудились меж манекенов, Зеза и крохотного пузырька, поставленного на столе.

— Бросьте о пустяках. Смотрите: один начинает шевелиться. Несколько минут тому я приказал их выключить из экса. Значит, вы понимаете...

И действительно, один из манекенов вдруг странно дернулся, выгнул грудь и сжал кулаки. Глаза его оставались закрытыми. Затем меж губ его проступила, пузырясь, пена, он вдруг раскрыл немигающие глаза и мутно уставился в стоящих перед ним людей. Казалось, мозг его, в течение долгих лет разлученный с мускулами, оцупью отыскивал к ним дорогу — и вдруг произошел контакт: рванувшись с места, эксон с звериным ревом бросился на стоявшего в двух шагах от него Зеза. Мгновение — и они покатались по полу, ударяясь о ножки стола и опрокидывая мебель. Шагг бросился к свившимся в клубок телам и, замахнувшись головкой ключа, зажатого еще в его руке, изо всей силы ударил эксона в висок. Зез, высвободившийся из тисков, поднялся, с трудом лоя воздух разбитыми губами. Первыми его словами было:

— Добейте. И свяжите другого. Немедля.

Когда Шагг стягивал узел на схваченных веревкой руках живого эксона, тот зашевелился, как шевелится человек, просыпающийся после долгого глубокого сна.

— Скрутите ему ноги,—торопил Зез, слезывая кровь на пол,—с меня достаточно и одной схватки.

Человек, связанный по рукам и ногам, раскрыл, наконец, глаза. Судороги, стягивавшие его тело, не были похожи на движения буйного помешанного; он не кричал, а только тихо и жалобно, почти по-собачьи, скулил и всхлипывал; из синих, пустых глаз его текли слезы. Зез, постепенно приходя в себя, пододвинулся вместе с креслом и с чуть печальной улыбкой оглядывал связанного человека.

— Я знал их обоих, Шагг, в их прежней доксовой жизни. Вот этого, еще живого, я почти любил, и почти, как вас. Это был прекрасный юноша, философ и немного поэт. Признаюсь: для опыта освобождения я выбирал с пристрастием — я хотел людям, когда-то близким мне, вернуть их прежнюю неомашинную жизнь, отдать им назад свободу. И вот: сами видите. Но будет с этим. Сделаем выводы: если эти двое,

бывшие до включения в иннерватор людьми с абсолютно здоровой психикой и крепкой мыслью, не выдержали отлучения от действительности, то у нас есть основание думать, что и другие психики эксификации не вынесли. Короче, мы окружены безумием, миллионами умалишенных, эпилептиков, маньяков, идиотов и слабоумных. Машины держат их в новиневнии, но стоит их освободить, и все они бросятся на нас и растончут — и нас, и нашу культуру. Тогда — Эксинии конец. Заодно уж скажу вам, мой романический Шагг: приступая к этим опытам, я мнил приблизить иную эпоху, эпоху инита. Я думал, уж не ошибся ли я, выключив Нететти и иных: одних из жизни, других из свободы. Но теперь я вижу... одним словом — это кстати, что нузырек с последними граммами, инита во время нашей схватки разбился.

Выйдя на улицу, Шагг автоматически повернул вдоль улицы и шел, сам не думая куда. Это был час, когда серии возвращались с работы; понав в шеренги, медленно и методически — два удара в секунду — нагающих людей, наш поэт и не заметил, как вскоре подчинился четкому и точному ритму шеренг, — ему даже нравилась та легкая бездушная пустота, какую приносило в него соприкосновение с мертвыми толчками машин; после происшедшего в кабинете Зеза ему хотелось возможно дольше не думать, выиграть время у мысли, и он нарочно, как бы включаясь в какую-то игру, притиснул локти к телу, как и те, что вокруг, и, уставившись глазами в круглый затылок впереди идущего эксона, подумал: «Надо, как он, все, как он, — так легче». Затылок, мерно качаясь, повернул от перекрестка влево. И Шагг. Затылок по прямому разбегу проспекта двигался к стальному горбу моста. И Шагг. Шли по гулкому взгорбию меж каменных параллелей перил. Вдруг затылок — как шар, заказанный от двух бортов, ткнулся о перила справа, потом — под углом отражения — по прямой на перила слева. И Шагг. Затылок, круглясь и алая, свис с борта и нырнул в лузу — вниз: всплеск. И Шагг: всплеск.

Когда Зезу, принимавшему доклад дежурного по иннерваторам, сообщили о смерти секретаря, он лишь на секунду судорожно свел брови и тотчас же поднял глаза на прервавшего рапорт инита:

— Дальше.

«Дальше» было очень тревожное: случаи неподчинения иннервациям множились с часу на час и начинали принимать массовый характер. Эксонов-аппаратчиков, обслуживавших центральный экс, требовавший чрезвычайно точных и сложных мускульных разрядов, пришлось снять с работы и уничтожить: они становились слишком опасными. У клавиатур всех аппаратов, как в период борьбы за Эксирию, снова стали иниты. Пододвинулись трудные и черные дни: отвыкшие от работ, изнеженные олигархи должны были снова почти бессменно встукивать в клавиши грандиозного инструмента искусственное бытие. Но гармонии, прежней точно исчисленной гармонии не получалось: клавиши как бы заскакивали, толчки иннерваторов рассеивались в эфире; не доходя до мускулов, вдруг отказав в повиновении, партитура фактосочетаний не вошла в смычки. Прозрачные матчи невидимого городка еще продолжали звучать роем тонкопоющих стеклянных ос, но мудрая гармония их была разорвана на груды бьющих друг о друга эфирных волн и пресловутый Рах Ехипае оказывался нарушенным и искаженным.

Каждый день на колючих проволоках, густыми рядами которых невидимый городок, собравший сейчас в себя всех инитов, был обмотан, — находили трупы эксонов, стремившихся прорвать стальное кольцо. Большинство наблюдателей — из числа инитов, — работавших на местах, погибли насильственной смертью; остальные бежали в центр. Послать кого-нибудь им на смену не представлялось возможным, — городок оказался изолированным и окруженным: проволокой, безумием, безвестностью.

Трупы самовыключившихся подвергались вскрытию; тщательно исследовались их мозг и система двигающих нервов. Вскоре в мозгу их было обнаружено присутствие неведомого науке вещества: оно вырабатывалось внутри нервных тканей в чрезвычайно ничтожном количестве: очевидно, это была какая-то защитная внутренняя секреция, постепенно накапливавшаяся в организмах самовыключавшихся и как-то связанная с процессом выпадания из экса. Зез пригласил к себе заведующего химической лабораторией, просил точно описать феномен и, выслушав все пункты, вынул ждавшие под пресс-папье тонкие пожелтелые листки и придвинул их к глазам химика. «Почерк Нететти», —

забормотал тот смущенно, выпрыгивая глазами из строк.

— Мне говорили — вы химик, а не графолог. К делу. Сходно ли это с формулой новооткрытой секрети?

— Тождественно.

— Спасибо. В таком случае, будем считать, что вами вторично открыто вещество, а мною его имя: инит.

На последнем собрании коллегии, отслушав мнения, Зез резюмировал:

— Итак, ин восстало на ех. Исход борьбы инита с виброфагами ясен. Но пока виброфаги не открыли фронта, пока миллионы безумий не прорвались к мускулам, мы еще можем свести игру на ничью. Я предлагаю; остановить эксъ. Немедля, — сразу и все.

При голосовании — все воздержались. Кроме Зеса: один его голос оказался достаточным, чтобы остановить все голоса невидимого городка. Жужжание экеов, закачавшись в воздухе, стало медленно утишаться, скользя хроматически вверх, и исчезло, будто рой ос, прогнанный дымом. И в тот же миг десятки миллионов людей застлали землю неподвижными или слабо дергающимися телами.

Отряд инитов вышел из своего проволочного заточения. Разделяясь по пути на группы, иниты двигались среди издыхавших тел. На третий день исхода иным из группы пришлось пробираться среди трупного смрада и разложения; другие успели уже дойти до безлюдья, точней — до бестружья. Впрочем, в лесах и пещерах, где укрылись иниты, не было вполне безлюдно; там уже жили — полуодичавшими кланами и ордами — спасшиеся по дебрям и чащам, изгнанные из культуры, свеянные первым эфирным ветром человеческие особи. Они ютились, селясь подалее от опушек, врываясь в землю, в вечном страхе включения в волю невидимых иннерваторов; свою городскую одежду они давно уже заменили звериными шкурами и лыком и пугали своих детенышей, возвращенных в лесах, именем злого бога Экса. Малочисленным инитам пришлось частью вымереть, частью слиться с этой человеческой фауной лесов. И колесо истории, описав полный круг, снова заворочало своими тяжкими спицами. Но если б человек, скрытый под именем «Анонима», чуть не попавший в тот, — помните, первый рассказанный мною

день,— под обыкновеннейшее колесо обыкновеннейшего автомобиля, все-таки попал бы под него и был расплюснен, вместе с идеей,— то, как знать, может быть, все завращалось бы в другую сторону. Хотя...

Дядя, стащив стекла за стальные усики—с глаз, наклонился над ними, протирая коричневым футляром. Зрачки его, вдруг затупившиеся, вщуренные в красные разморгавшиеся веки, казалось, перестали видеть тему.

Молчание разомкнулось не сразу. Затем задвигались кресла. Первым к носу двинулся Рар. Я боялся, что председатель и на этот раз преградит мне дорогу вопросам, но Зез сидел, глядя в потухший камин, казалось, весь включенный в какую-то трудную мысль. Я вышел вслед за Раром, незамеченный и неокликнутый.

В подъезде я нагнал его. Мы вышли вместе на полуночную, почти пустынную улицу.

— Боюсь, что запутаюсь в словах. Вы можете не отвечать, но я не могу не спросить. И именно вас. Вы единственный среди них, о котором я думаю: человек. Можно?

— Я слушаю,— бросил Рар, не поворачивая головы. Мы продолжали идти—локоть к локтю—вдоль безлюдной панели.

— Среди вас, замыслителей,— как вы себя называете,— мне как-то странно и трудно. Я так просто, а вы... ну, одним словом, я не хочу быть эксоном среди инитов. Зачем я вам? Убивайте свои буквы, но у меня их нет: ни замыслов—ни букв. Повторяю—я не хочу быть эксоном!

— У вас верный инстинкт—«эксон», это неплохо. Я не имею права отвечать, но все же отвечу. Вините во всем меня, инита.—И, полуобернув ко мне лицо, Рар оглядел меня—сквозь ласковую полуулыбку.

— Вас?

— Да. Не затей я спора с Зезом об игле и нити, у нашего каминщика вряд ли бы появилось восьмое кресло.

— Об игле и нити?

— Ну да. За неделю до вашего появления на очередном субботнем собрании я стал доказывать, что мы

не замыслители, а попросту чудаки, безвредные лишь вследствие самоизоляции. Замысел без строки, утверждал я, то же, что игла без нити; колет, но не шьет. Я обвинил и их и себя — в страхе перед материей. Помнится, я так и сказал: материеобоязнь. Они напали на меня, и пуще всех Зез. Защищаясь, я заявил: сомневаюсь, чтобы все наши замыслы были замыслами — они не проверены солнцем. «И замыслы, и растения растут в темноте, ботаника и поэтика, в данном случае, обходятся без света», — аргументировал было Тюд, поддерживая Зеза. «В таком случае, если вам угодно бить аналогиями, — ответил я, — бессолнечный сад может взрастить лишь этиолированную и ную поросль», — и рассказал им об опытах взращивания цветов без доступа света: получается — это любопытно — всегда чрезвычайно длинное ветвистое растение, но стоит такой этиолированный экземпляр выставить на свет, рядом с обыкновенными, и в смене ночей и дней живущими цветами, и тотчас же обнаруживается ломкость, никлость и вялая окраска возвращенного тьмой. Одним словом, спор наш поставил на очередь вопрос: способны ли наши замыслы выдержать испытание светом, действены ли они и за пределами нашей черной комнаты? Решено было временно включить пару ушей извне, среднего читателя, воспитанного на обуквлениях: достаточно ли видимо у окажется пустота наших полок? Но тут забеспокоился Фэв. «Темнота, — сказал он, — превращает людей в воров, — это вполне естественно: а что, если этот втируша, которому мы сами набьем голову — по самое темя — замыслами, сумеет их вынуть из нее и обменять на деньги и славу?» — «Пустяки, — успокоил его Зез, — я знаю одного человека, который подойдет для этого дела. Перед ним можно спокойно раскрыть все темы всех суббот. Он не тронет ни одной». — «Но почему?» — «Да просто потому, что он без — рук: существо, которое у Фихте названо — «чистый читатель»: к чистым замыслам лучше и не подобрать». Вот. Кажется, все. Простите.

Он сжал мне руку и скрылся за поворотом улицы. С минуту я стоял в ошеломлении и растерянности. Пар ушел, но слова его — еще кружили меня, и я не знал, как от них отбиться. Когда я несколько пришел в себя, то понял, какую ошибку я сделал, не досказав

и не доспросив о главном: черная узкая улица тянулась предо мной, как нить, выскользнувшая из иглы.

V

Сначала было я решил не посещать более суббот «Клуба Убийц Букв». Но к концу недели мысль о Раре заставила меня перерешить. С первого же вечера этот неповторимый в его своеобразии человек показался мне нужным и значимым: самое имя его, как ни притворялось оно бессмысленным слогом, единственное среди всех их имен напоминало о каком-то смысле, но адресный стол не обменял бы мне его на адрес. Мне необходимо было видеть Рара, хотя бы раз, и сказать до конца: ведь он не их, а наш: зачем ему оставаться среди убийц и искажителей; сначала рукопись, а потом и... мне необходима была встреча с Раром. И так так возможна она была лишь там, меж черного каре пустых книжных полок,— то с наступлением субботы я решил— в последний раз, говорил я себе,— присутствовать на заседании клуба.

Когда я вошел в круг собравшихся, Рар, сидевший уже на своем привычном месте, с удивлением поднял на меня глаза. Я попробовал удержать его взгляд, но он тотчас же отвернулся с видом полной выключенности и равнодушия.

После выполнения обычного ритуала слово было предоставлено Фэву. В маленьких, с трудом протискивавшихся сквозь жир, глазках Фэва замерцал какой-то хитрый блик. Он повернулся в кресле, затрепавшем под грузом жира и мышц:

— Моя астма,— начал Фэв, с трудом присасывая воздух,— не любит, когда я пускаюсь в длинные повествования. Поэтому попробую лишь набросать вчерне давно уже мной задуманную Историю о трех ртах.

Экспозиция ее такая: в кабаке «Трех Королей», пропивая последний талер, увеселялись трое. Для имен их мне достаточно трех букв: Инг, Ниг и Гни. Было уже за полночь: время, когда бутылки пустеют, а души наполняются до краев,— и приятели под музыку стака-

нов развлекались — всякий на свой лад. Инг был мастер поговорить; стучась стеклом в стекло, он провозглашал тосты и спичи, цитировал святых отцов и рассказывал препестрые историйки. Ниг был охотником до поцелуев и знал в них толк (как никто); и сейчас он едва успевал отвечать на вопросы и тосты, потому что губы его были в работе, — и толстая девка, сидевшая у него на коленях, если б ей платили поцелуйно, в один вечер сделалась бы богатой невестой. Гни не нуждался ни в словах, ни в поцелуях: вздувшиеся щеки его были перепачканы жиром, а рот присосался к огромной бараньей кости, с которой он терпеливо и трудолюбиво обдираал зубами мясо.

Вдруг девка, меж двух поцелуев Нига, сказала:

— Почему у людей не по три рта?

— Чтобы целоваться сразу с тремя? — захохотал Ниг, снова придвинувшись губами к губам.

— погоди, — остановил его Инг, почуяв новую тему, достойную правильной риторической разработки, — не лезь с поцелуями меж слов.

— Я и говорю, — повернулась Нигова подруга к Ингу, — если б каждому из вас да по три рта, чтоб сразу и говорить, и есть, и целоваться, тогда бы...

— Вздор, — оборвал Инг и учительно поднял палец, — силлогизмов из-под юбки не вынуть. Умолкни. Спросим лучше святое предание и формальную логику: трижды блаженный Августин научает, что человек, в отличие от несмысленного зверя, есть существо и збирающее. Не на этом ли и зиждется *liberum arbitrium*¹, способность из многого выбрать наилучшее. Аристотель же учит нас различать первоцель, энтелехию, от случайных или подчиненных соделей; а Фома из Аквинь дополняет их, отделяя субстанциальный смысл от акцидентального, исходящее от приходящего. Рот, os, как сказал бы он, причастен и пище, и целованью, и слову; но в чем его главное свойство? Как ты думаешь, лобезный друг Гни? Вынь кость изо рта и ответь.

Кость чуть посторонилась, чтобы дать протиснуться словам.

— Мне кажется, — проговорил Гни, — что за аргументами незачем шарить по книгам. Они вот тут, — на

¹ Свободное суждение (лат.).

моей тарелке: ясно, рот — чтобы есть. А остальное все так — припутано.

— Мой добрый друг, — закачал головой Инг, — не следует искать доводов среди объедков. Почему же припутано?

— Потому, — отвечал Гни, предварительно влив в себя добрую пинту вина, — что если б мы с тобой не пили и не ели, то смерть давно развела бы нас — меня в рай, тебя в ад — и согласишься, на таком расстоянии тебе трудно было бы спрашивать, да мне незачем отвечать.

— Мне жаль ангелов, — вмешался в спор Ниг, дернув ус над пухлой и алой губой, — если им когда-нибудь придется тащить в горние выси вот такую тушу. Пойми, простец, что не будь на земле поцелуев, не было бы и рождений. А если б никто не родился, то некому было бы и умирать. Понял?

Но Инг, не скрывая улыбки сострадания, перебил обоих:

— И ты, Ниг, прав только в том, что называешь неправым Гни. Чем губы какой-нибудь шлюхи лучше тарелки, полной объедков? Будем рассуждать строго логически: поскольку при поцелуе рту нужен другой рот, то этим самым вводится категория другого, то естеров, как выражался Платон. Это отодвигает вопрос, вместо того чтобы его решить. Теперь по порядку: не будь вкушения пищи, не было бы жизни — так; но не будь поцелуев, не было бы рождения живых, — и это так; но — слушайте со вниманием — не скажи Господь слов «да будет» — не родилось бы само рождение, не возникло бы ни жизни, ни смерти и мир пребывал бы дьявол его знает где. Я утверждаю (оратор даже стукнул кулаком о стол), что истинное назначение рта не в шлепанье губами о губы, не в пожирании яств и напитков, а в проглаголаньи слов, дарованных свыше.

— А если так, — не унимался Гни, — то почему же в Писании сказано, что не входящим в уста, но исходящим из уст сквернится человек? Что ты мне на это ответишь?

Отвечать стали сразу и Инг и Ниг, вперебой друг другу, и спор затянулся бы до света, не приди сон, залепивший спорщикам глаза снами, рты — храпом.

В сновидении Ингу явилось чудовищное трехротое существо, — беспрерывно шевелившее шестью губами:

Инг пробовал существу доказывать, что оно не существует, но отвратительный трехротыш, говоря сразу всеми своими ртами, не давал себя переспорить. Инг проснулся в холодном поту. За окном адела тонкая прорезь зари. Он стал будить своих товарищей. Ниг, едва продрав глаза, спросил, где Игнота; Гни, подумав, что это название: кушания, угрюмо пробормотал: «Съели». Ниг захохотал и, объяснив, что это имя его вчерашней подруги, добавил:

— Вернее, она нас съела. Ловко было спрошено. Нет, куда она исчезла?..

— Как призрак,— докончил Инг,— если верить сну, то твоя Игнота слишком много знает: может быть, это и не девка, а суккубус — наваждение, тень.

— Черт возьми,— укмыльнулся Ниг,— эта тень отдала мне колени. Расскажи сон.

И из сна спор вернулся, будто и он отоснался и отдохнул, назад в явь. Три рта кричали впереводку о главном назначении рта:

— Чтобы есть.

— Врешь — чтоб целовать.

— Оба врете. Чтобы говорить.

И тут я, знаете, бросаю весла и доверяюсь течению: ведь зачем мне измышлять, посудите сами, зачем трудолюбиво скрипеть уключинами, раз я догреб до того мощного течения, которое с а м о понесет мой сюжет, вместе с сюжетами о «кривде и правде», о странствующих браминах «Панчатантры» и прочих прочестях: то есть я хочу сказать, что Инг, Ниг и Гни, не доспорившись ни до чего, отправляются во славу канонных сюжетосложения бродить по свету, прося у всех встречных разрешить их спор. Нелогичность этих странствующих споров, житейская неоправданность их не должна смущать того, кто знает, что жизнесложение и сюжетосложение лишь скрециваются, но не совпадают. Сюжетика бросает эти споры, как растение бросает споры: в пространство, где они прорастают. Итак — плыву...

— Да, вы плывете,— Зез гневно ударил каминными щипцами по головешкам — искры прыгнули навстречу удару,— плывете, но не на книжном ли шкафу, набитом осынью букв? Должен вам сказать, друзья мои,

что за последнее время от всех ваших замыслов разит типографской краской: один берет набитые буквами книги в «персонажи» своих новелл, другой, извольте ли видеть, «бросает весла» (кстати, труднее и придумать более обстуканную о все типографские станки метафору), чуть его втянуло в чернильный поток сюжетокропательства, — этак мы скоро...

Жилы Фэва налились кровью:

— Вы слишком трусите книжного переплета: меня ему не захлопнуть, потому что я... не мышь. Я не побывал, как иные, в знаменитых писателях, и алфавит для меня не приманка, — а вот...

Но тут Зез, сделав знак молчания, круто повернулся ко мне:

— Наш спор я предлагаю на суд нашего гостя: со стороны ему виднее и легче быть справедливым.

Все глаза были на мне. И я ответил:

— Этим вы превратите ваш спор в «странствующий спор», против допустимости которого только что сами возражали.

— Отказанный гамбит, ловко сыграно. С дороги, Зез, посторонись и дай пройти моим трем героям, туда, куда им давно уже пора. Ведь заря ширится. Того и гляди, проснется хозяин и потребует за ночевку и битую посуду. А во всех карманах ни медяшки. Инг, Ниг и Гни вышли на цыпочках из «Трех Королей». Городок еще спал, зажмурив ставни, а навстречу уж, с мешком и колокольцем на конце палки, двигался сборщик-монах. Он протянул свою звякающую суму, но вместо милостыни получил вопрос:

— Для чего тебе дан Богом рот: для пищи, поцелуев или речи?

Монах перестал встряхивать мешком, колокольчик замолчал, молчал и он. Ниг заглянул под капюшон.

— Это камедул, — присвистнул он, — мы сразу же наткнулись на обет молчания. Твое дело плохо, Инг. Ведь это почти ответ: святость обходится без слов.

— Да, но она налагает на себя и поэты. Кроме того, думается мне, целовать шлох — это тоже мало помогает спасению души. Выходит, что рот вообще ненужная дыра на лице, которую надо поскорей замтопать и жить, в ус себе не дая. Нет, тут что-то не так. Идем дальше.

Вновь зазвякающий колокольчик и трое спорщиков разминулись. У городских ворот Ингу, Нигу и Гни повстречалась глухая старуха; как ня кричали ей — сначала в один, потом в два, наконец, в три голоса вопрос о рте, она все твердила свое:

— С черным пятном на лбу. Корова. Не видали ли? Черное пятно на лбу. Корова.

— У всякого своя забота, — вздохнул Инг.

В это время, ржаво скрипя, распахнулись створы городских ворот. Мои трое начали странствование.

Пройдя пару лье, они встретили грохочущую телегу, на которой, свеся ноги, с краюхой хлеба меж губ, раскачивался длинный детина. Инг крикнул было ему вопрос, но из-за грохота колес детина вряд ли расслышал, а если и расслышал, то рот его был слишком забит, чтобы решать проблему о рте. Шагали дальше.

К полудню меж качаемых ветром колосьев увидели странника: на плече у него был мешок, в руке посох, он шел с веселым — сквозь пыль и загар — лицом, пересвистываясь с перенелами: может быть, это был один из странствующих клириков (лицо его было тщательно выбрито), возможно, даже, — ваш о. Франсуаз, —

— обернулся вдруг рассказчик к Тюду и приветственно поднял правую руку кверху. Тюд, улыбнувшись, сделал ответный жест: две темы, как корабли, чьи рейсы пересеклись, отсалютовали друг другу — и Фэв продолжал.

— Отчего у человека один рот, а не три? — спросил, поклонившись клирику, Ниг.

Спрошенный остановился и оглядел странников. Сначала он ополоснул горло из винной фляги, болтавшейся у него на ремне, затем подмигнул и сказал:

— А вы уверены, дети мои, да пребудет благодать Божья с нами, что у вас так-таки по одному рту? Когда я уйду, спустите штаны и проверьте: не два ли. А если доберетесь до ближайшего веселого дома, — любая девка докажет вам, что три. Добрый путь.

И, зашагав своими длинными, затянутыми в дорожную юфть, ногами, о. Франсуаз быстро скрылся из виду и из рассказа.

— А ведь поп хотел нас одурачить, — зачесал в затылке Гни.

— И чисто сделал дело,— сплонул с досадой Ниг.

— Дурачить,— ответил Инг,— это забавляет только дураков. Людские умы стаи грубы и плоски — как вот это поле: гоготать легче, чем мыслить. Где логизмы великого Отагирита, где дефиниции Аверроэса и иерархия идей Иоганнуса из Эригены. Люди разучились обхождению с идеями: вместо того чтобы смотреть идее в глаза, они норовят заглянуть ей под хвост.

И трое молча продолжали путь.

Навстречу изредка попадались крестьяне, возвращающиеся с работ, кущы, дремлющие под звон бубенчиков на своих мулах. После встречи с голиардом решено было соблюдать осторожность и не обращаться с вопросом к каждому встречному и поперечному. После дня ходьбы, вдали, над пригнувшимися к земле маслинами, показались зубчатые стены города. Пыль и жар опадали. Цикады в траве нели громче, а солнце из неба светило тише. Почти у самых ворот города, на зеленой лужайке, примыкавшей к дороге, странники увидели женщину, сидевшую на траве, среди шуршания цикад, со спеленутым ребенком на руках. Женщина не сразу ответила на приветствия путников, так как была занята своим: расстегнув грудь, она приблизила розовый сосок к рту младенца, тотчас же жадно задвигавшего губами, и, наклонившись, с улыбкой всматривалась во вздувшееся личико сосуна:

— Клянусь гусем,— рякнул Ни,— спеленайте меня, потому что мне захотелось молока.

Ниг только облизал губы. А Инг, покачав головой, сказал:

— Если не вся истина, то две трети ее открыто младенцем: поглядите на этот крохотный беззубый ртишко,— ему дано то, что не дано нам — умение сразу и есть, и целовать. Этот несмышленин заставляет меня, о друзья мои, возвратиться мыслью от этих скудных и пыльных слов к пыльным кущам райского сада, где все было дано человеку не частями и не враздробь, а целостно и полно. Но райские рощи отцвели, и трем смыслам, увы, стало тесно в одном рте. Скажите, милая, чей это ребенок?

— Я служу супруге здешнего судьи. Имя моей госпожи Фелиция,— отвечала кормилица.

Поднявшись с земли, она поклонилась чужестранцам и пошла назад к городу. Ниг послая ей вслед

воздушный поцелуй. Друзья решили, перед тем как войти в город, передохнуть здесь же на лужайке. Сели. Гни жевал в зубах пахучую травку. Ниг сдувал одуванчикам их серые шапочки. Инг, охватив руками худые колени, раз за разом вздыхал, бормоча что-то под нос.

— О чем ты там? — спросил наконец Гни, которого начинал уже мучить голод.

— Ах, — отвечал Инг, вздохнув еще раз, — я вспоминаю о словах, которые я ей говорил.

— Кормилице? — зевнул Ниг.

— Нет, ее госпоже. Счастливые люди, нашедшие причал. Может быть, и я не шлялся бы с вами от костра к костру, а грелся бы у своего очага; в карманах у меня катались бы талеры, а вокруг ползали бы вот такие крохотные пискунки... Да-да, не смейтесь, а послушайте-ка лучше историю, которую сейчас расскажу.

Мы оба были тогда юны — и я, и Фелиция. Она была дочерью разбогатевших купцов, живших неподалеку отсюда в одном из приморских городов. У родителей было много мешков с золотом, у дочери — много поклонников. Но праздно, разрядившись в богатое платье, они садились вокруг прекрасной Фелиции и молча пялили на нее глаза неподвижные и глупые, как мешки, набитые трухой. Все эти парни умели лишь разевать рот, а я знал и иное его употребление. Я рассказывал юной девушке о странах, в которых не бывал, о книгах, в которые и не заглядывал, о звездах и о светляках, о рае и аде, о прошлом народов и о будущем нас двоих: меня и Фелиция. Девушка любила слушать меня, наставив прозрачное розовое ушко и полураскрыв свои алые губки: однажды, вся покрасневшись, она посоветовала мне поговорить с ее родителями. С этими, конечно, было труднее. Когда я попробовал, подкрепляя слова цитатами из Горация и Катулла, объяснить скряге-богатею вечные права страсти, — тот при свистнул и показал мне спину.

Тогда, посоветовавшись с Фелицией, я решил пробраться к счастью в обход. У Фелиции была старая нянька: долгими уговорами удалось добиться ее участия в нашем плане. Решено было так: в назначенную ночь Фелиция вместе с нянькой придут ко мне. Нянька останется за порогом стеречь нас, а Фелиция... ну, одним словом, к утру мы поставим старых дураков перед свершившимся, после чего священнику придется

наспех связать нас и на небесах, а скрягам, проспавшим дочь, развязать мешки с золотом. В условленный вечер я услышал стук в дверь,— и через минуту мы остались с Фелицией в полутьме, за закрытой дверью, одни.

— Ну-ну,— заторопил Ниг, пододвинувшись на локте к рассказчику.

— Ну, и я начал шептать ей о величии и значении этой ночи, о том, что мы наконец одни, что даже звезды за окном потушили очи и что только Бог...

— Дурак,— сказал Ниг и отполз на локте на старее место.

— Я говорил ей о прославленных любовниках древности— о Леандре и Гиро, о Пираме и Фисбе, о Феоне и Сафо. Впрочем, спохватился я, почувствовав прикосновение ее руки к моим губам, если примеры язычников ей кажутся не убедительными или опасными для души, то можно обратиться и к свидетельствам Ветхого Завета,— и я начал припоминать, книга за книгой, о Руфи и Воозе, о... Помню, как раз на Воозе меня прервал шум за дверью. Проткнув ее, я увидел: старуха-нянька, сидевшая с ухом, прижатым к замочной скважине, успела задремать и слегка похрапывала. Я разбудил ее и, вернувшись к Фелиции, продолжал оборванный рассказ.

— Дурак,— престономал Ниг и, заткнув уши пальцами, лег ртом в землю, а Гни, дожидая свою травку, спросил:

— И вы не проголодались?

— Нет, во мне теснилось столько красноречивейших любовных строф, изысканных метафор и гипербол, что я не замечал, как текло время. Уж небо за окном стало чуть сереть, когда я перешел к завлекательнейшему «*Ars amanti*» Назона¹, пробуя передать изящнейшие утонченности Овидиевой эротики, этого удивительнейшего искусства ловить мгновения, искусства выкрадывать счастье, борьбу за поцелуй, объятие, за... Она сидела, ставшая видимой мне в сумерках рассвета, сурово сжав губы и почти отвернувшись от меня. Я спросил, что с ней? Не отвечая, Фелиция подошла к двери и громко постучала.

¹ «Искусство любви» (лат.).

— Идем, — сказала она няньке, и голос ее дрожал от непонятного мне гнева, — идем, может, удастся вернуться незамеченными. Скорей.

— Постойте, — закричал я, теряя всякое понимание, — а как вы докажете, что были у меня?

Но Фелиция не замечала меня, как если б мои слова потеряли всякий звук и смысл.

— Скорей, — воскликнула она, — и если мне удастся вернуться к ложу не узнанной никем, даю обет: избрать в мужа самого молчаливого из всех, кто меня захочет.

И они скрылись в мгле предутря, не оглядываясь на мои крики. После этого мы не встречались.

— Ну вот видишь, — зазлорадствовал Ниг, — пойми ты подлинное назначение рта, и история твоя не кончилась бы так печально.

— Она еще не кончилась, — возразил Инг, подымаясь с земли, — конец ее ждет меня вот за этими воротами.

И трое вошли в город.

Ночь пришлось провести без крова. Юстиница была заполнена паломниками из соседних городов, пришедшими поклониться чудотворной иконе, которой был прославлен городок. Притом карманы друзей были пусты и ночью их мучили голодные сны.

Наутро мимо них потянулась цепь паломников: Инг попробовал было преградить им дорогу вопросом о ртах, но те шли, погруженные в молитвы и с пальцами, впутанными в четки. Тогда трое примкнули к процессии и вскоре очутились перед сверкающей золотом риз и блеском драгоценных камней иконой: Ниг поцеловал ризы, Гни, наклонившись к лику, ловко выкусил самый крупный камень из оправы, а Инг, взглянув на него искоса, громко сказал, ударя себя в грудь: «*Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa*»¹. Через два-три часа в карманах у Инга, Нига и Гни — чудесным образом — зазвенели золотые монеты.

Начать пить легко — кончить трудно. Скоро вокруг трех пришельцев захлопали пробки и забулькало вино. Сначала пили сами, потом угощали, затем принимали угощение, опять угощали и так до звезд и ночной колотушки сторожа. Когда под лавнами стало людней,

¹ Моя вина, моя вина, моя тяжчайшая вина (лат.).

чем на лавках, Гни пополз на четвереньках, пробуя в раскрытые, как воронки, рты храпящих вливать вино, Ниг лез целоваться с печной заслонкой и замочной скважиной, а Инг, хитро подмигивая и похохатывая, рассказал о чудесном превращении камня в золото. Рассказ имел успех, его стали повторять и за порогом кабака. А наутро Инг, Ниг и Гни, проснувшись, не могли даже протереть глаз, так как руки их были закованы в колодки.

Судья, к которому привели их по делу о краже драгоценного камня, был самым молчаливым человеком в округе: он оглядел их, порылся носом в бумагах и снова молча уткнулся в них глазами. Тогда Инг, не слыша вопросов, переглянулся с товарищами и спросил сам:

— Достопочтеннейший господин судья, как ни тревожат нас обстоятельства, приведшие к вам на суд, но еще более тревожит нас троих вопрос: для чего создан рот? Один из нас утверждает: для поцелуев. Другой: для еды. А я говорю: для произнесения слов. Мы пришли сюда издалека в поисках ответа. Наша свобода и жизнь в ваших руках, но прежде, чем умереть, мы бы хотели знать: для чего даны людям рты?

Судья пошевелил губами, почесал пером нос и снова врылся в бумаги. А через минуту зазвучала труба гарольда и секретарь суда, поднявшись торжественно с места, прочел приговор:

«Признав виновными, освободить из-под стражи, отдав под надзор всех, кто видит и слышит. Осужденному, именем Инг, воспрещается говорить; осужденному, именем Ниг, воспрещается целовать; осужденному, именем Гни, воспрещается есть. Всякий, заметивший нарушение вышеназванных запретов, обязуется немедленно донести о таком, после чего нарушитель запрета должен быть немедленно схвачен и предан смерти. Решение действительно с момента оглашения. Обжалованию не подлежит».

С несчастных сняли оковы и выпустили их на свободу. Сотни злорадных улыбок тотчас же окружили их со всех сторон. Они шли рядом, точно с замазанными ртами, не отвечая на насмешки и ругань горожан.

— Что ты скажешь на это? — спросил наконец Ниг, повернувшись к непривычно молчаливому Ингу, и тотчас же осекся.

Инг пугливо огляделся по сторонам, губы его было дрогнули, но он сжал их крепче и покорно опустил голову. Завернули в таверну. По знаку Гни им подали блюдо с дымящимся мясом: Инг и Ниг взяли за ложки и тотчас же их опустили: бедный Гни сидел, отвернувшись, у края лавки, жадно глотая слюну. На минуту он поднял свои глаза — в них блеснули слезы.

Началась жизнь, мало похожая на жизнь. В городе было достаточно милостивых и сострадательных девушек, которые со вздохом и сочувствием поглядывали на статного Нига: губы его потрескались — от любовной жажды, щеки ввалились и глаза стали мутны; он ходил, стараясь не глядеть на пунцовые бутоны девичьих уст, бормоча проклятия и жалобы. Но болтуну — Ингу — нельзя было даже пожаловаться: язык ему щекотало множеством невысказанных слов, которые приходилось проглатывать вместе со скудной пищей, которую делил он с Нигом. Они совестились есть в присутствии изголодавшегося Гни. Прежде чем разломать нощолам сухарь, Ниг и Инг отходили куда-нибудь за дверь или за угол, чтобы не видел Гни. Тому, что ни день, становилось все хуже: от слабости и истощения он уже не мог ходить и двое друзей водили его за собой, держа под локти и помогая переставлять ноги. Вскоре несчастный впал в состояние полусна-полуяви и бредил видениями жирных окороков, шипящих колбас, прошигиванных пулярок и всякой снеди, непрерывно вращавшейся на вертелех — перед его духовными глазами с благоуханием и сыком.

Ингу же нельзя было даже бредить: из страха, как бы не заговорить во сне, он почти не смыкал глаз.

Лучше всех держался Ниг. Не поддаваясь отчаянию, он дважды, выждав удобный момент, заводил беседы с часовым, стоявшим у ворот города. После второй беседы, отозвав в сторону Инга, Ниг сказал так:

— Послушай, болтун, ворота города, может быть, и можно открыть, но золотым ключом. Надо торопиться. С Гни плохо: он превратился из спутника в поклажу, но все равно — надо спасать его, да и себя тоже. Всю жизнь ты только болтаешь, теперь придется поработать, дружище. Я говорю о жене судьи. Кончай роман, иначе мы все погибли. Молчание знак согласия. Вечерет. Я высмотрел: окно судьиши в это время всегда

открыто. Поблизости никого. Идем, и я докажу тебе — при помощи твоего же рта, чужак, что ты ошибался относительно его назначения.

Инг страдальчески промычал, как глухонемой или человек с вырезанным языком; и покорно поплелся спасать, подбадряемый пинками друга.

Последние инструкции ему были даны уже под окном, настежь раскрытым в ночь:

— Итак, помни: действуй поцелуем. Еще: если скажешь хоть слово, я сам донесу и тебе вмиг оттяпают голову. Буду слушать и сторожить тут, под окном: я не старуха-нянька и не засну, не надейся. Вот спина: полезай. Ну?..

И пятки обреченного, оторвавшись от земли, сначала уперлись в плечи Нигу, затем, подтянувшись к подоконнику, громко стукнулись об пол. За окном раздался сначала женский вскрик, потом испуганный шепот. Ниг, привстав на цыпочки, с ухом, прижатым к стене, жадно слушая. Женский шепот завозмущался, вспрыгивая на вопрошающие высокие ноты; никто ему не отвечал. Короткое молчание. Потом громкие укоризны с плачем вперемешку. Молчание чуть подлиннее. И вдруг — тихий, заплушенный поцелуй. Ниг одернул шляпу и перекрестился. Поцелуй, что ни миг, становились внятнее и чаще. Ниг зажал уши ладонями и облизывал ссохшиеся губы.

Сначала сверху упал мешок, мягко звякнув о землю. Затем с подоконника свисли пятки Инга, мучительно обшаривающие воздух. Ниг быстро подставил плечи, и через минуту они шли, крадучись вдоль стен, к воротной башне города, где их дожидалась заранее туда доставленная живая кладь — Гни.

И Гни, и мешок с золотыми монетами половину своего веса оставили в стенах города, так что беглецы не слишком пыхтели под своей ношей. Еще до утра им удалось добраться до глухой лесной сторожки, где несколько золотых кружков обеспечили им относительную безопасность и отдых. Ниг тотчас же перемигнулся с краснощекой сторожихой, Гни стали откармливать, набивая его пищей, как матрац сеном; а честно потрудившегося Инга никак нельзя было уговорить перестать говорить и отдохнуть: раззудевшийся язык не мог улечься во рту; ведь молчание — самая неисчерпаемая тема для рассказней.

Но, чуть трое окрепли, окреп и четвертый — спор. Каждый, вспоминая недавние события, норовил истолковать их в свою пользу: мнения, что гвозди, — чем сильнее по ним бьют, тем глубже их вгоняют. И после того, как каждый из трех ртов был на время разлучен: один — с поцелуями, другой — со словами и третий — с пицей, ни одна из трех голов не хотела больше расставаться со своим смыслом, вогнанным болью по самую шляпку. И так как лесное безлюдье отвечало только эхами, — решили идти дальше.

И пусть идут, но нам, друзья замыслители, пора повернуть вспять. Дело в том, что линия пути с этого места делается для меня как бы пунктирной: череду встреч ведь можно удлинять и укорачивать, сюжет странствующего спора допускает свободное развитие: путь — от исхода к концу — разматывается, как веревка лассо, — важно одно — добросить до ускользающего конца и изловить его в петлю. И конец тут, я думаю, должен быть такой. Разумеется, начерно и примерно.

Ведомые спором, трое идут и идут, пока путь им не пресекло море. Они повернули вдоль берега и вскоре очутились в одном из портов, откуда и куда уплывают и втекают корабли. Но море под штилем, ни зыби, паруса обвисли, — и расстранствовавшемуся спору приходится дожидаться ветра.

Мешок, подаренный Ингу, еще позвякивает десятком монет. Зашли в харчевню. Когда вино развязало языки, Инг, обратившись к матросам, дюжим, просоленным морем парням, собутыльничавшим с ними, спросил:

— Как по-вашему, в чем смысл рта? — и предложил им выбрать один из трех ответов.

Парни чесали в затылках и конфузливо переглядывались.

— А разве все три этих, как их... смысла в один рот не влезут? — ответил наконец один из матросов, опасно оглядываясь на пришельцев.

Тогда Инг, снисходительно улыбнувшись, стал разъяснять:

— Смысл смыслу рознь. Причины — учит Дуно Скотус — бывают полные или исчерпывающие и неполные... ну, для простоты, скажем, пустые. Вот три бутылки: две пустых и одна полная. Видишь?

— Вижу, — отвечал парень, собрав лоб в складки.

— Ну вот. Поставь их перед зрячим и скажи ему: выбирай. Ясно, зрячий протянет руку к той, что с вином. Так?

— Так,—как эхо повторил парень, и лоб его докрылся испариной.

— Ну а теперь закрой глаза.

Парень захлопнул веки, а Инг быстро и неслышно переставил бутылки:

— Бери одну. Живо.

Парень протянул руку и ухватился за горлышко порожней. Трохнул смех. И Инг, глядя в виновато мигающие глаза моряка, закончил:

— Так и со смыслом. Люди слепы: оттого и смеются их пусты. И редко кто пьет не из пустой бутылки.

Наступило почтительное молчание, пока старший из среды моряков, сокрушенно вздохнув, не сказал:

— Мы люди простые и не ученые: где нам отвечать на такие вопросы. Но ветры дуют во все концы мира. Кончится штиль, и я повезу груз соленой рыбы: на том берегу мне обменяют ее на изюм и фисташки. Едем со мной: может быть, там, за морем, и вам обменяют ваши вопросы на ответы.

Тем временем заря протерла черные окна светом, и трое, расплатившись, вышли на улицу. Невдалеке от порога харчевни, прижавшись тощей спиной к стене, сидела женщина: ее щеки были раскрашены под цвет заре, но никто не взял ее на эту ночь—и только утренний холод, не заплатив ни гроша, шарил ледяными пальцами, пробираясь все глубже и глубже под пестрые тряпки потаскухи.

— Бедняжка дрожит,—прищурился Ниг,—но пока что не от страсти. Чего она ждет?

— Твоих поцелуев, Ниг,—толкнул его локтем Инг,—язва на ее губах соскучилась по тебе.

— Ну, нет. Лучше ты скажи ей несколько слов в утешение.

Инг сострадательно наклонился к женщине:

— Дочь моя, не сгнив на земле, не процветешь на небесах.

Но Гни не дал ему продолжать. Пнув его ногой, он придвинулся к иззябшему существу и, порывшись в карманах, ни слова не говоря, вытащил ломоть хлеба и сунул ей в рот. Худые руки женщины тотчас же

ухватились за край краюхи, проталкивая ее навстречу быстро зажевавшим зубам.

— Скажи, крошка, — улыбнулся Гни, с умилением следя за работой ее челюстей, — ну не правда ли, Бог сделал в лице дыру не для того, чтобы сквозь нее высыпать слова или заклеивать дурацкими поцелуями, а для того, чтобы человек — при посредстве ее — познал радость пищеприятия.

Хлебный ломоть долго не давал женщине ответить. Наконец трое услышали:

— Не знаю, право: в нашем ремесле — кто не целует, тот не ест. И не меня вам надо спрашивать, а идите вы вдоль берега вот по этой тропе, приведет она вас к пещере. Пещера не пуста: живет в ней мудрец — отшельник: он все знает — оттого все и бросил.

— Отшельников мы еще не пробовали. Пойдем, что ли, — и странствующий спор продолжал свой путь по извивам тропы.

А к закату дня опередивший спутников Гни сунул голову в тьму пещеры и спросил:

— Что пристало рту лучше: поцелуй, слово или еда?

На что из тьмы послышалось:

— Откуда роса — с земли или с неба?

— Говорят, с неба.

Подошли Инг и Ниг.

— С неба, — подтвердили они.

Недоумевая, Гни снова сунулся головой в тьму, и тотчас же что-то тяжелое ударило его в лоб, сшибло с ног и, выкатившись наружу, легло у входа в пещеру: это был обыкновенный чугунный горшок. Друзья осмотрели его и снаружи и изнутри; но ответа в горшке не нашли.

— Спрашивайте теперь вы, — сказал Гни, держась за расшибленный лоб, — с меня довольно.

Отошли в сторону от входа в пещеру и решили заночевать, с тем чтобы утром продолжать путь. Горшок как упал на траву, донцем кверху, так и остался лежать.

Первым проснулся Гни — разбудила щипка, вздущаяся на лбу. В рассветном блеске он увидел сидевшего рядом с ним незнакомца. Незнакомец, приветливо улынувшись, спросил:

— К отшельнику?

— Д-да. И вы тоже?

Незнакомец не отвечал и, пряча улыбку в седую клокчастую бороду, разглядывал распстренные зарей росины, сверкавшие с зеленых остриев травы.

— Если и вы к отшельнику, то лучше не ходите.

— Почему?

— Потому что вместо ответа получите вот это. Точнее: этим,— и Гни с досадой пнул чугунный горшок; горшок откатился в сторону, и на травинах, спрятавшихся под его донцем, Гни с изумлением увидел дрожащие в переливах огня крупные живые росины.

— Черт возьми,— воскликнул Гни,— как они пробрались с неба под крышку горшка?!

— Чтоб объяснить то;— заговорил незнакомец,— что внутри печного горшка, незачем карабкаться на небо— ответ тут же, под донцем, у земли. А чтоб объяснить то, что зародилось в голове— незачем странствовать по свету: ответ тут же, под теменем, рядом с вопросом. Загадка всегда делается из разгадки, и ответы— так было и будет— всегда старше вопросов. Не буди спутников, пусть отоспятся: вам предстоит долгий и трудный возврат.

И прихватив с собою горшок, старик скрылся в тьме пещеры.

В тот же день трое направились в обратный путь.

Добрая традиция сюжетосложения требует, чтобы туда рассказывалось на долгих, а назад— на перекладных. Итак, предположим, что мой трое, стояв дюжину подметок, подходят к исходу: их встречает родной городок; церковный служака, пробиравшийся, подоткнув рясу, меж луж, чинно раскланивается с Иггом; девушка со вспучившимся животом, завидев Нига, роняет ведра в грязь, завсегдатаи «Трех Королей», высунувшись в окно; кричат и машут Гни,— но трое, не выпуская из рук посохов,— мимо и дальше; впереди Ниг: он ведет их к Игноте.

Пришли. Во дворе пусто: лишь колесная колея, насвежо вдавленная в грязь, да ветки хвои, от ворот к порогу. Стучат: никого. Ниг толкает, дверь— отскочила; входят в сени. «Здесь»,— но и дверь в каморку Игноты настезь; на лежанке мягая солома; в воздухе ладан, и никого. Ниг снял шляпу. Двое других за ним. И, выйдя молча, путники— вслед за зелеными иглами хвои— к ограде кладбища. И меж крестов никого.

Только издалека чавкающая о землю лопата. На звук. Провожавших, если и были, уже — нет. Замешкался только могильщик: земля была тугая и противилась лопате.

— Здесь Игнота? — спросил Ниг.

— Здесь. Только если вам от нее что-нибудь нужно, приходите попозднее, когда кончится вечность.

— Нам ничего от нее не нужно, кроме ответа на один вопрос.

— Наше дело — закапывать трупы, а не откапывать вопросы. А трупы, как вам известно, неразговорчивы: о чем ни спроси, и рта не раскроют. Хотя вру, — ухмыльнулся могильщик и хитро подмигнул, — раскрывать то они его раскрывают, будто слово какое хотят последнее, только сказать его им не дают — сначала тесьмой зубы к зубам, потом забьют рот землей, и какое это слово, слово мертвых, так никто никогда и не слышал. А любопытно бы.

— Неуч, — процедил Инг.

— Почему нет креста? — осведомился Гни.

— Таким не ставят, — пробурчал могильщик и снова взялся за заступ.

Тогда трое, скрестив посохи, увязали их в крест; когда он раскинул свои прямые деревянные руки над Игнотой, Инг сказал:

— Да, страна вопросов все ширится и множит свои богатства, страна вопросов — цветет все пестрее, все ярче и изобильнее, но страна ответов пустынна, нища и уныла, как вот это кладбище. Поэтому...

— Выпьем. Аминь, — подсказал Гни. — Все трое закончили историю там, где ее и начали: в «Трёх Королях». Уф, все.

Фэв сидел, неровно и хрипло дыша. Глаза нырнули назад, в жир. Председатель не сразу нарушил молчание:

— Что ж, и для вашей истории найдется место в нашей несуществующей библиотеке, — он окунул пальцы в черную пустоту полок, как бы выбирая место, куда поставить ненаписанную книгу, — тема ваша — это, по-моему, какой-то веселый катафалк: быстро кружа спицами средь весело мигающих факелов, он пляшет на ухабах, раскачивая пестрыми кистями

и погребальной мишурой, и все-таки это катафалк и путь его к кладбищу. Можете считать меня брюзгой, но вы все, уважаемые замыслители, норовите свалить сюжетные концы в одну и ту же могильную яму. Так не годится. Искусство литературного эндшпиля требует более тонких и многообразных разработок. Упасть в яму — легко, выбраться из нее, — если она притом глубока, — труднее. Ведь не затем же мы отшвырнули перья, чтобы взять в руки лопаты могильщиков.

— Может быть, вы и правы, — качнул головой Фэв, — мы действительно, не знаю почему, чаще делаем ход с белой клетки на черную, чем с черной на белую. Тематические разрешения у нас неблагополучны, потому что... неблагополучны. Но если уж на то пошло, я берусь показать, что умею плыть и против ветра. Это будет недлинно: я столкну экспозицию моей темы в могилу, на самое дно; а затем прошу наблюдать, как она будет оттуда выкарабкиваться — наверх — в жизнь.

— Ну-ну, послушаем, — улыбнулся Зез, поддвигаясь с креслом к рассказчику, — держайте.

Фэв поднял лицо кверху, как бы усиливаясь что-то вспомнить, фиолетовые блики прыгнули с потолка на вспучившиеся пузыри его щек:

— Замысел этот закопошился во мне много лет тому. Я тогда был и подвижнее, и любопытнее, ощущал еще тягу пространства и часто путешествовал. Произошло это так: в один из моих приездов в Венецию, идя по предполуденным раскаленным калле и ви-колетто, я свернул — по нужде — к одному из тех мраморных приспособлений, которые торчат там чуть не из каждой стены и пахнут аммиаком. Вокруг стока, облепив стену пестрыми квадратиками, лезли в глаза адреса венерологов. А чуть в стороне, отгородившись узкой черной рамкой, как-то отдергиваясь всеми своими чинными, черными по белому буквами от аммиачной компании, квадратилось четкое, под черным крестиком, авизо:

«Вы не забыли помолиться о тех 100 000, которым предстоит умереть с е г о д н я?»

Конечно, это был — так, пустяк, сухая статистическая справка, ловко изловленная черным квадратиком,

вежливо напомиавшим — всего лишь напоминавшим.

Я не стал молиться о ста тысячах душ, уводимых в смерть, но когда я вышел из тени стены на яркое солнце, тысячи и тысячи агоний заслонили мне день: тысячи погибающих сегодня обступили меня, тысячи солнц ссыпались в тьму: я видел множество восковеющих, проостренных лиц, выкаты белых глаз; сладковатая глень, вгниваясь сквозь ноздри в мозг, не давала ни думать, ни жить. Помню, это пронизало меня почти физически. Я присел к одному из ресторанных столиков — мне придвинули прибор, и в ту же секунду я увидел тысячи их — на столах, с западающими ртами, медленно холодеющих, беспомощных и пугающих, выключенных из сегодня в никогда. Я не стал есть медленно остывающего минестроне, и мысль моя делала лихорадочные усилия, лишь бы вышагнуть из проклятого черного квадрата. Тогда-то и пришла мне на помощь моя тема. Она вхлынула в меня как-то сразу. Схваченный ею, помню, я механически поднялся и, быстро расплатившись с...

Тут рассказчик — вслед за ним и другие — повернул голову на звук резко отодвигаемого кресла. Неожиданно для себя я увидел Рара, вышагнувшего из круга замыслителей; в руке у него был ключ, который за секунду до того лежал на выступе камина.

— Ухожу, — коротко бросил он.

Ключ металлически шелкнул, дверь рванулась с порога, и шаги Рара оборвались за глухо хлопнувшей где-то внизу створой.

Все с недоумением переглянулись.

— Что с ним? — приподнялся Шог, как если б хотел догнать ушедшего.

— К порядку, — раздался сухой голос Зеза, — садьте. Или, если уж встали, прикройте дверь. Мимо. Фэв продолжает.

— Нет, Фэв кончил, — отрезал тот, гневно пузыря щеки.

— Потому что ушел этот? — запнулся Зез.

— Нет. Потому что с этим ушла — вы только представьте себе. — и та: тема.

— Вам хочется, очевидно, перечудачить Рара. Пусть. Будем считать заседание закрытым. Но давайте условимся о программе следующей субботы. Очередь Шога. Предлагаю ему прыгать с трамплина, поставленного Фэвом. Пусть он — вы слышите, Шог, — увидит себя у стены, перед бумажной наклейкой в черной кайме, пусть перемыслит — вслед Фэву — мириад агоний в одном «сегодня», и затем желаю ему допрыгнуть: с черного на белое.

Шог откинул упрямую прядь со лба:

— Будет сделано. Мало того, разбег к трамплину — как вы это называете — я возьму сквозь отсканную, первую тему сегодняшнего собрания. Пусть это будет бег в мешке. Но у меня неделя срока. Авось допрыгну.

VI

С каждым днем, придвигавшим меня к следующей субботе, я все крепче запутывался в собственных своих догадках и домыслах. Как было понять «ухожу» Рара? Была ли это простая демонстрация, направленная против Фэва, или протест, бьющий гораздо сильнее и дальше: может быть, это было твердое решение, а может быть, и минутный каприз: от чего он отстранялся — от ста тысяч или от шести? Вспоминалось бледное, в себя глядящее лицо, неровный, удаляющийся шаг. Может быть, ему нужна моя помощь? И я уже не думал — идти или не идти. К тому же притяжение суббот, втягивающая сила пустых полок, черный соблазн бескнижия, очевидно, начинали действовать и на меня.

Дождавшись дня и часа, я подходил к Клубу Убийц Букв. Над затоптанным снегом мглилось уже первое предвесеннее тепло, а ледяные сосули, проникая с крыш, плакали, дробно стуча слезами с панель. Когда дверь впустила меня в комнату собраний, первое, что я увидел: пустое кресло Рара. Пришли все: кроме него.

Как всегда — раз и еще раз шелкнул ключ, как бы отделяя комнату черных полок от мира, — и я почувствовал короткий и теплый толчок в мозг.

Шог, которому предстояло говорить, тоже несколько раз кряду, с выражением беспокойства, оглядывал место, не дождавшееся человека. Председатель по-

дал знак — тогда, повернувшись лицом к темной яме камина (близящаяся весна потушила его), он сделал усилие сосредоточиться и начал:

— Марка Лициния Септа нашли у порога полутемного таблинума: он лежал мертвый, меж развернутых свитков.

Рабы покойного Септа, Манлий и старый хромым Эзидий, перенесли тело на каменную скамью таблинума, наскоро одели в лучшую тогу, с тонкой красной каймой, омыли лицо и рот, облипшие кровавой пеной, разжали стиснутые смертным спазмом зубы и, вложив в них медный обол, занялись похоронными хлопотами.

Две старых плакальщицы, нюхом учуяв покойника, уже стучали бронзовым молотком у дверей заднего дворика; там у шепеляво брызжущего фонтана Эзидий спорил с пискливыми старушечьими голосами, стараясь выторговать хоть десяток-другой сестерций: покойный Марк Септ был беден — приходилось экономить.

Манлий побежал заказывать похоронную лектику, купить благовоний, условиться с факельщиками и оповестить двух-трех друзей покойного. Марк Септ жил бедно и одиноко среди папирусов и воощенных дощечек, чуждаясь близости с людьми. Манлий думал управиться до захода солнца.

Но труп нельзя оставлять без призора: этим могут воспользоваться злые ларвы и бродячие тени.

— Фаба, эй, Фаба, где ты?.. Опять на улице, шалунья. Поди сюда. Вот скамеечка: сядь у ног господина. Не бойся, что он белый и не шевелится, — господин умер. Ну, тебе еще не понять: сиди здесь смиренно, пока Эзидий не кончит со старухами. А там подоспею и я.

У маленькой шестилетней Фабы было свое важное дело, и не прикажи ей так строго отец, она ни за что не осталась бы в полутемной комнате: за домом, у перекрестка, расположился, со своим лотком, продавец засахаренных фиников, изюма и фиг: смотреть и то приятно. А здесь...

Фаба села на скамеечку, поджав ноги, и стала прислушиваться: в таблинуме было тихо; синяя большая муха прозудела и затихла: но и сквозь стены доносился

голос продавца: «финики, финики — по оболу вязка. Купите сладких фиников — по оболу — только по оболу»...

— О если б, — забилось маленькое сердце, и Фаба облизнула пунцовые губки.

Марк Лициний Септ лежал, зажав обол меж каменеющих губ, и т о ж е слушал: пройдя отоненным смертью слышаньем сквозь голоса плакальщиц, выкрики продавца; дальше — сквозь шумы и клики улицы; дальше — сквозь говоры земного круга — он ясно различал и дальний плеск Харонова весла, и печальное шептание теней, зовущих и его туда, к черным водам Ахерона. Мертвому Септу звучали — и шаг звезд, идущих по дальним орбитам, и шорохи букв, копошащихся в свитках папируса, не убранный с пола, были внятны и думы Аида и мысли маленькой Фабы, дочери раба, сидящей вот тут, у его изголовья. В остеклевающих зрачках — сквозь муть — просинели сиявшие из дрожи ресниц глаза дитяти: жизнь. И тотчас же зрачки стали медленно втягивать мглой.

Весло Харона плеснуло ближе.

— Сладкие финики, сушеные финики — по оболу, только по оболу.

— О, владычица Юно, если бы мне... — прошептала Фаба.

И страшным последним усилием каменеющих мускулов Лициний Септ разжал зубы (от усилия пелена вокруг глаз сгустилась — застав Фабию стены и весь круг земли), и медный новенький обол, скользнув из губ, покатился по полу и с легким звоном лег у ног изумленной Фабы. Она поджала ножки к самой доске скамьи и часто дышала. Все было тихо. Неподвижный господин ласково улыбался ей прозрачно-белым лицом. Фаба протянула руку к оболу.

Финики были очень вкусны. А Марка Лициния Септа похоронили т а к, без оболы: недоглядели.

Сроки Септу исполнились. Вознесенный над землею, скользил он среди жалобно шепчущих теней к обиталищу мертвых. Позади пронзительные визги и ритмические выкрики сторговавшихся таки плакальщиц, впереди плескание черных волн Ахерона.

Вот и срыв берега. Звук весел — чу. Ближе. Еще. Ладыя отерлась бортом о берег. Шаткие тени слетались на шум: с ними и Септ. Старец Харон уперся

ступнею в берег. В блесках кровавых зарниц выступало и никло его лицо: выдвинутая вперед нижняя челюсть, обросшая спутанной седой бородой, хищный блеск глаз. Трясущейся, костистою рукою Харон быстро, привычным движением, ощупывал рты мертвецов — и оболочки, один за другим, звенящею струей, падали в кожаную суму, прикрепленную к набедрию старца. Пальцы его коснулись и губ Септа.

— Обол,— спросил перевозчик,— где твой обол за переправу?

Септ молчал. Тогда Харон оттолкнулся веслом; ладья, наполненная тенями, отчалила. Септ остался один у опустевшего берега Смерти.

На земле: день — ночь — день — ночь — день. А у черных вод Ахерона: ночь — ночь — ночь. Без брезга, без полдня, без сумерек. Тысячи раз причалила, тысячи раз отчалила ладья Перевозчика, а Марк Септ все оставался один — меж жизнью и смертью. Всякий раз, слышав плеск ладьи, приближался он к шуму вод, и всякий раз скряга Харон отстранял его, не принесшего оболы, от борта. Так бродил Септ, не принесший оболы, у черных вод: покинувший жизнь и не принятый в смерть.

Просил он у слетавшихся теней об оболе: но те, стиснув крепче в замерших губах плату Земли Аиду, пролетали мимо. Тьма смыкалась за ними. Понял Септ — мольбы напрасны: и обернувши лицо к земле, стал он ждать, годы и годы, когда придет к Ахерону та, которой он отдал свой «Обол Мертвых».

Финики были сладки, это так — но жизнь горька и безрадостна. Девочку Фабию, дочь раба, после везапной смерти господина четырежды перепродавали. Когда Фабия стала красивой синеокой девушкой, зацеловали губы ее и заласкали тело. Так переходила она из рук в лапы, из лап в щупальца. Печаль вошла в синие глаза рабыни и не уходила из неперепроданной души ее. Время катилось от года к году, как стертый обол, оброненный наземь. Последний хозяин тела, старый проконсул Кай Ригидий Приск, был щедр к своей наложнице: Фабия спала на мраморном ложе среди курений и веющих опахал, но странный неотступный сон трижды посетил ее: снились плески черной реки; чье-то знакомое, милое-милое, лицо с окаменевшим, мучительно разжатым ртом; чей-то печальный, из далей зовущий шепот: обол — отдай мне обол — мой обол мертвых.

Целые горсти их раздала Фабия нищим и в храмы: но видение не изникало.

Проконсул Ригидий умер. Фабии предстояло перейти к его наследнику, по инвентарному списку. Когда слуги наследника пришли к ее порогу, никто не откликнулся за пурпуровой завесой. Вошли внутрь: Фабия лежала на мраморном ложе, неподвижно раскинув руки: как для объятий. Вещь, занумерованную в инвентарном списке номером пятым, пришлось, с соблюдением соответствующих формальностей, вычеркнуть: кладбище самоубийц приняло новый труп.

Марк Септ узнал близящуюся тень: она скользила в веренице мертвых, с запрокинутой назад головой, с прозрачно-белыми руками, раскрытыми будто для объятий; меж бледных губ мерцало полукружие оболы. Подплыла ладья. Септ преградил путь Фабии.

— Ты узнала?

— Да.

— Здесь меж смерти и жизни — годы и годы — жду. Отдай обол, отдай мне Обол Мертвых:

Тогда...

И рассказ вдруг остановился, как если бы и ему преградили путь.

— И тогда,— повторил Шог, медленно обводя глазами круг своих слушателей,— как бы с этим «тогда» поступили, ну хотя бы вы, Хиц?

Спрошенный удивлялся не более секунды; быстро выставившись навстречу вопросу остриями подбородка и локтей, он стал притискивать слово к слову:

— К вашему «тогда» незачем приискивать «когда». Бесполезно. Вы завели тему в такой мистический туман, в котором легче потерять начало, чем найти конец. Выбирайтесь, как знаете. Я к Ахеронам не ходок.

— Ну, а вы, Дяж? — продолжал Шог, и нельзя было разобрать, шутит ли он или спрашивает всерьез.

Круглые стекла мотнулись из стороны в сторону:

— Любезный Шагт, то есть виноват, Шог, с вашими тенями я бы распорядился так: один обол на двоих. Все уже больше, чем ничего. Получив его, Харон пускает в ладью — и Фабию и Септа. Но, доплыв до середины Ахерона, меж двух берегов, смерти и жизни, божествен-

ный скряга говорит им: «Вы уплатили мне за полупуть». И герои ваши, над которыми уже занесено грозное весло адского перевозчика, принуждены высадиться посреди реки: прямо к знаменитым, воспетым Эврипидом и Аристофаном, божественно квакающим ахеронским лягушкам. Туда и дорога.

Шог, поблагодарив кивком головы, повернулся к следующему:

— Фэв?

— Тому, в чьих легких расселась одна из этих ахеронских жаб,—дно реки, обтекающей смерть, не всегда внушает смех. Скажу одно: от вашего рассказа у меня медный привкус на губах. Спрашивайте следующего.

Но следующий, Тюд, не стал дожидаться своего имени. Придвинувшись к Шогу—колени к коленям,—он быстро заговорил:

— Мне кажется, я угадываю ваш, вернее, наш конец, Шог: «я тогда...»—постойте—и тогда Фабия приблизилась к Септу обол, сверкавший меж ее губ. Септ потянулся к нему изжаждавшимся ртом. Сначала слились губы, потом—души. А оброненный обол, скользя вниз, канул в черные воды межмирья. Ладья отчалила без них. Двое остались меж смерти и жизни, потому что любовь это и есть... понимаете? Вот мне интересно, что скажет Зез.

— Я скажу,—глухо отозвался тот,—что вместо придумывания концов лучше передумать заново начало: я бы строил его совсем по-иному...

— Почему?

— Не знаю. Может быть, потому, что я человек... человек, крепко зажавший свой обол меж зубов. Мой рассказ в следующую субботу сделает мои слова ясными: для всех и до конца.

VII

Возвратившись домой, я долго не ложился, вспоминая все перипетии вечера. В череду образов от времени до времени вдвигалось пустое, молчаливое кресло Рара. Как бы поступил он с оболем мертвых? Затем я стал думать о причинах, заставивших его уклониться от собрания. И странно: беспокойство, мучившее меня всю прошлую неделю, как-то утишилось и улеглось.

Возможность случайности устранилась. Было ясно, что Рар порвал с кружком. Тем лучше. План мой был таков: посетить еще одно собрание замыслителей, окончательно убедиться в решении Рара и осторожно выведать его настоящее имя, а если можно, и адрес.

Всю эту неделю мне слегка нездоровилось. Я не выходил из дому. За окнами комнаты агонизировала зима: снег чернел и ник: из гнилых луж гляделись грязные комья земли; на голых деревьях, будто дожидаясь тления, сутулило крылья воронье, о жесть подоконника размеренно, по-псаломщицьи, бормотали капли.

Шесть раз переменял мой отрывной календарь цифры, прежде чем я увидел слово: суббота.

Перед вечером, в обычный час, я отправился на собрание. Я шел медленно, шаг за шагом, обдумывая, к кому и в какой форме обратиться с моими расспросами о Раре. Приближаясь к дому, где происходили наши собрания, я увидел человека, быстро сбегавшего со ступенек подъезда. Под развевающейся пелериной и надвинутыми полами шляпы угадывалась фигура Тюда,— я хотел уже окликнуть его, но не знал как. Тем временем он нырнул за угол дома. Недоумевая, я взошел на крыльцо и позвонил. Дверь тотчас же открылась, и навстречу мне, осторожно озираясь, выглянуло лицо самого Зеза. Я хотел войти, но он загородил дорогу:

— Собрания не будет. Вы знаете о Раре?

— Нет.

— Как же. Дуло меж зубов и... Завтра под лопату.

Я стоял ошеломленный, не в силах ни спросить, ни ответить. Лицо Зеза придвинулось ближе:

— Ничего. Придется прервать собрания: на неделю-другую — не больше. Возможен визит полиции. Пусть: никому еще не удавалось, обыскивая пустоту, найти. Вы, кажется, взволнованы? Бросьте. Что бы ни случилось, надо уметь одно: крепко зажать меж зубов свой обол. И только.

Дверь захлопнулась.

Я хотел позвонить еще раз. Потом раздумал. И, возвратившись к себе, долго не мог преодолеть оцепенение, охватившее меня. Пододвинувшись с креслом к столу, я сидел, глядя в черную ночь за окном, — тупо и бессмысленно. На стене размеренно цокал маятник.

Я их не ждал: они пришли сами — одна вслед другой — пять суббот. Я гнал их из памяти прочь: но они не уходили. Тогда я притянул руку к чернильнице и отщелкнул крышку. Субботы закивали головами, так-так, — губы их зашевелились; и начался диктант. Я еле поспевал за пером: слова, вдруг хлынувшие из пяти ртов, тискались впереводку под расщеп. Изголодавшиеся и торопливые, они жадно глотали чернила и вперегонки мчали меня со строк на строки. Пустота черных полок вдруг заворошилась: я едва успевал управляться с нахлынувшими образами.

Вот уже четвертая ночь на исходе. На исходе и слова. Мое писательство, начавшееся — так неожиданно для меня — еле родившись, и умрет. Без воскресения. Ведь я писательски безрук, это правда — словами я не владею; это о н и овладели мной, взяли меня напрокат как орудие мщения. Теперь, когда их воля выполнена, я могу быть отброшен.

Да, эти полупросохшие листки научили меня многому: слова злы и живучи, — и всякий, кто покусится на них, скорее будет убит ими, чем убьет их.

Ну, вот и все, вот и ткнулся в дно. Опять без слов — навсегда. Экстазы четырех ночей взяли из меня все: до предела. И все же пусть ненадолго, на скудные миги, но удалось же мне разорвать орбиту и вышагнуть за я!

Вот — отдаю назад слова; все, кроме одного: жизнь.

МАТЕРИАЛЫ К БИОГРАФИИ ГОРГИСА КАТАФАЛАКИ

Даже оберточная бумага, освобожденная от предмета, порученного ее корректному серому ворсу, не сразу отдает контур, задержавшийся в ее морщинах и складках. Правда, сопротивление оберточной бумаги нетрудно сломать, разгладив втиснутую было в нее полигрань углов и тем доказав ей, оберточной, что она лишь так, оборотень, плоскость, тщетно прикидывающаяся объемом.

Из этого, однако, не следует делать вывода, что писчая бумага, ждущая биографии Горгиса Катафалаки, имеет особые преимущества перед оберткой и ей дано схватить лишь смутный контур многоугольной человеческой жизни, смысл же самых черных чернил безнадежно сер по сравнению с пестрейшей каруселью пестрот, вращаемых бытием.

Притом, что осталось от примечательной и поучительной жизни Горгиса Катафалаки? Раздробь фактов; дюжина встреч, разбросанных по дюжине дюжинных памятей. Стоит — случайным движением — оборвать нить, — и дни, круглые, как жемчужины, брызнут врозь, враскат по щелям и темным углам. И за каждым из дней (дело жизнеописателя трудно) — нагибаться и шарить во тьме пером.

1

Просматриватели хроники происшествий, может быть, и помнят зажатую в три строки непарели смерть старика Катафалаки. Переходя трамвайный

путь, престарелый Катафалаки заметил непонятный красный блик, задержавшийся навстречу над вертушей бульвара. Заинтересованный феноменом, Катафалаки, став меж двух стальных параллелей, вытащил из футляра очки и, поймав прсволочной заушиной ухо, наставил стекла на кривляющееся пятно; он успел уже прочесть — «Берег...» и был распластан. Черная закладка смерти прикрыла «...ись трамвая».

В наследство сыну остались лишь — пустая оправка очков, разбитых ударом булыжника, да пара чисто катафалаковских — вопросительными знаками из переносицы — чернильного цвета бровей.

2

С юных лет Горгис отдался всецело — от пят до макушки — страсти исследования, углубления и вникания. Всевозможные проблемы дергали его за брови и играли на морщинах, как на гармонике. Древние учили: удивление — начало философии. Не было такой вещи, которой мог бы вдоволь наудивляться Катафалаки: и все-таки философии не получалось. Это несколько не обескуражило Горгиса — по сравнению с меланхолическим гейневским юношей, ждущим у моря ответов, у жизнерадостного Катафалаки было огромное преимущество: он лез — вслед за вопросами — в воду и сам, не боясь ни прибоя, ни глубин.

Наука Горгису давалась трудно, память, как рваная сеть, не давала улова, — он всю жизнь путал Сервантеса с Росинантом, Энгельса с Энгельке, трансцендентное с трансцендентальным, свободные стихи с прозой и Канта с Контом. Никакие отсихпоры и досихпоры, «возле-ныне-подле-после», заколачиваемые учителями, точно тугие пыжи, в мозг Горгиса, не держались в нем никак. Когда репетитор, специалист по исправлению неуспевающих, объяснял, что «манн», то есть человек, во множественном числе смягчается в «меннэр», Горгя, склеив лоб в недоумевающую морщину, упрямо спорил, утверждая, что во множественном числе человек всегда ожесточается.

Так или иначе, не усвоив ни одной из наук, молодой Катафалаки решил строить свою собственную дисциплину. Он не гнался за масштабами и не претендовал на включение будущей катафалакологии в круг больших,

заклассифицированных наук. Как выселенец, ладящий свой сруб на отшибе, в сторонке, он был скромн настолько, что наперед отказывался от естественнейшего права, за которое обычно цепляются открыватели самых мизерабельных травинки и камешки, и переименовал катафалакологию в хаустогнозию.

История этой чуть-чуть было не состоявшейся науки такова: роаясь любопытствующими зрчками в трудах анатома Ранке, Катафалаки наткнулся на примечание, в котором ученый делился с читателями своим пристрастием к наблюдению многообразных ушных раковин. Завитки человеческого уха — самое индивидуальное из всего, что можно найти на поверхности головы homo sapiens'a: находясь в толпе — сообщал германский профессор — я не разбрасываю внимания, не позволяю ему блуждать, как ему бы хотелось, но сосредоточиваюсь на выглядывающих из-под шапок и начесов ушных раковинах, подмечая наклон и рисунок завитков, степень рудиментизации дарвинова бугорка, длину мочки и тому подобное.

Другие «читатели», к которым обращалось примечание, вероятно, скользнув по мелкобуквью, прошли мимо. Но Катафалаки был читателем особого типа — он дернул бровями, перечитал, еще раз перечитал и решил: ухо пусть остается при Ранке, но метод... метод найден.

Молодому зачинателю в этот день везло. Случайный знакомый, пойманный им на улице за рукав, слушая об ушных раковинах, сначала кивал полями шляпы, потом попробовал освободить свой локоть, но, чувствуя, что пальцы Катафалаки надбавили цепкости, покорно подставил ухо под околесину об ушах, и только рот ему вдруг растянуло, как велосипедный обод, сделавший — от удара о встречный столб — восьмерку. И тотчас же катафалакова рука отпустила локоть. Объект был найден: haustus, зевок. Сквозь память радостно ошеломленного Горгиса точно ветром пронесло рой зевков, которыми всегда почему-то были окружены все его, Горгисовы, афоризмы, рассказы, расспросы и исповеди: круглые — эллиптические — параболообразные замкнутые кривые реяли в взбудораженном воображении исследователя. Широкие перспективы классификации, споря с перспективами германского ухаеда, развернулись перед основателем новой науки:

хаустогнозии. Да, это достойное поле для наблюдений, по которому он, Катафалаки, проложит еще нехоженные пути. Что может быть индивидуальнее и дифференцированнее человеческого зевка? Ухо? Но ухо можно отрезать и у трупа, а зевают только живые, и притом это неотрезуемо. Ухо статично, шевелить ушами, герр Ранке, дано лишь немногим, да-да, в то время как зевок... допустим, что уховеду придется преодолевать трудности, связанные с обыкновением людей нахлобучивать шапки, но разве гаустологу не приходится вылавливать скрытых зевков из-под ладони, искать их и под стиснутой щелью рта, выслеживать изотропию хаустуса, принявшего форму увлажненных и выпяченных глаз и вогнанного внутрь под судорогу кожи. И, наконец, у человеческой особи не более двух ушей, в то время как зевок у человека... и мысль исследователя сразу же наткнулась на трудную проблему: статической обработки зевка. Катафалаки, приступая к коллекционированию зевков, проявил настойчивость, терпение и неутомимость: он охотился за скользким с губ на губы хаустусом, как энтомолог за редкой бабочкой, перепархивающей с цветка на цветок. Пассажиры поздних трамваев, громяющих по опустелым улицам, не замечали сквозь смыкающиеся веки наблюдателя с раскрытым альбомом на коленях, зарисовывающего их растягиваемые длинной двадцатичасовой усталю рта. Люди, заслоняющиеся рядами пивных бутылок от расскрипевшейся досками помоста цыганской венгерки, редко поворачивали раздражаемые зевотой рта в сторону человека, которого они принимали за дешевого художника, готового по кивку пальца, за целковый напомнить человеку, что у него все-таки есть... лицо. Завсегдатаи научных собраний, члены ученых обществ, ассоциаций и академий, куда Катафалаки проводила его визитная карточка с короткой пометкой в правом углу «хаустолог», почтительно жали руку коллеге и очищали место поближе к графину с водой и колокольчиком, не рискуя обнаружить пробел в своих эрудициях расспросами о принципах хаустологии. Впрочем, поведение представителя этой редкой науки иным казалось несколько странным. Так, прежде всего ученый гость слушал спиной к докладчику, скользя глазами по лицам аудитории. Стоило кому-нибудь прикрыть ладонью глаза, качнуться

в кресле или спрятать рот за бумажный полулист с тезисами, как хаустолог поворачивал к нему зрачки, а правая рука его дергала за тесемки рабочей тетради движением, напоминающим охотника, взводящего курок.

Вскоре — от вечера к вечеру, от тезиса к тезису, от проблемы к запросам — страницы этой тетради стали заполняться рядами странных чертежей, напоминающих линии какого-то энного порядка. Понемногу накапливающийся материал давал уже возможность первых попыток классификации: зевки нулевидные, фитообразные, параболические, обручеподобные, воронкообразные, типа дождевой трубы, зевки, напоминающие расстегнувшуюся манжету, орбиту земли с растегающимися радиусами — векторами, типа ретирадной раковины, полулунные, в форме подвязки, перетягиваемой через колено, наподобие щели церковной кружки, в виде скрипичных ff, врезанных в деку, в форме... но всего не перечислить.

Неутомимый карандаш Катафалаки, преследуя меняющий рты человеческий зевок, шел по его следу, не останавливаясь ни перед чем. Грубая зевота, примитивно распахнутые челюсти ночного сторожа, вежливая щель потребителя тезисов или оскаленный зевок проститутки, не дождавшейся покупателя, уже не интересовали его. После некоторых хлопот ему удалось проникнуть на совещания высшего законодательного органа страны, и его черная тетрадь захлопнула в себя нечто не попадающее в стенограмму. Своим друзьям Катафалаки любезно показывал некоторые наиболее редкие образчики его коллекции: среди них зевок любовника, разочаровавшегося в своей подруге («не так-то просто было поймать», — шевелил бровями Горгис), беззубый, колечком, зевок молящейся старухи, расцепивший слова Отченашу.

Однако охота за распяленными ртами наткнулась на неожиданный казус, охладивший хаустологический жар Катафалаки. Во время одной из летних поездок на юг ему довелось наблюдать ловлю скумбрии. Дело было к вечеру, когда поверх синей глади моря графитный отлив. Гуляя по прямым набережной, с привычно притершейся к локтю черной тетрадью на тесемках, хаустолог заметил: у перпендикуляра мола, протянувшегося от берега, у самой его оконечины, каре из сетей

и лодок; возле причалов две-три серебрящиеся телеги и группа зевак. Катафалаки, развязав тесемки тетради, направился к причалам. Ему удалось подоспеть к моменту, когда серебряные груды издыхающих рыб сгружали на днище телег. Тысячи пластами друг на друге, по самые уключины лодок, скумбрии казались мертвыми: их впластанные друг в друга тела покрыло сизой жухлой стынью. Но в момент, когда корзина, зачерпнувшая из рыбьего кладбища, запрокинувшись дном, рушила серебряный дождь на доски телеги, мертвые рыбежки в последний раз — это длилось секунду-две, — отчаянно выгибая чешую, дергались и бились назад в жизнь, и рты всем им, под побелелой пленкой глаз, растягивало квадратной мертвой зевотой, странно напоминающей полуоткрытые губы трагических масок; но сверху уже сыпались новые груды задыхающихся скумбрий, и поверх их распяленных, прозрачных ртов — еще и еще. Катафалаки вынул было карандаш, но и он, дернувшись в пальцах, застыл, и с тех пор тесемки черной тетради никогда больше не развязывались, а наука «хаустология», перед которой разворачивались столь блистательные классификационные перспективы, так и не состоялась. Катафалаки был слишком жизнерадостен, брови его умели подыматься, но не умели стягиваться, запас улыбок, толпящихся в очередь к губам, был в нем еще далеко не исчерпан, а розовые очки если и падали иной раз с носа, то никогда не разбивались. Притом нелепо требовать от подсолнечника, чтобы он стал подлунником и тянулся за краденым, перекрашенным насине светом ночного светила. Короче, зигзаги хаустологии вели совсем не туда, куда толкало Катафалаки — по семьдесят раз в минуту — его здоровое, с оптимистическим звонким тоном сердце. И не долго думая он свернул с зигзага.

3

Незлобивый Катафалаки, вспоминая череду своих учителей, не сердился на них за то, что они почти ничему его не научили, но его очень огорчало то почти, которому они его все-таки научили. Все они были слишком специалистами, палец, заслонивший гору, казался им больше горы, а глаза лишь подглазниками, необходимыми для ношения наглазников.

После знаменательной встречи с мертвой скумбриной грудой Катафалаки усомнился даже в Ранке: мысль его споткнулась о дарвинов бугорок — и ни с места.

Нет, будь у него, Горгиса Катафалаки, учитель с широким всеохватывающим умом, энциклопедическими знаниями, он не завел бы его в извивы ушной раковины, ни в дурацкую щель зевка. Ведь есть же где-нибудь такой всеохватывающий универсальный интеллект. Существовали же: Аристотель — Декарт — Лейбниц. Надо найти. Во что бы то ни стало. И Катафалаки начал поиски. Он окружил себя ворохами книжных каталогов, издательских проспектов, библиографических журналов и справочников, надеясь натолкнуться на нужное ему имя. Фамилии ученых, агрономов, астрономов, ботаников, бальнеологов, водевилистов, венерологов, геометров, графологов, дантоведов, дерматологов, демографов, дарвинистов, друвидоведов, — впрягшись в заглавие, тянули вдоль алфавитов грузы тысяч библиотек. Но как не перестраивались буквы, имя великого немертвеца не получалось. Единство раскололось по тысячам плоскостей на тысячи кусков, единица раздробилась на дроби, и рои умов, облепивших каждую из них, норовили дробить и дробь, так чтобы одним перьям достался числитель, другим — знаменатель. Катафалаки зевал, даже не зарисовывая своих зевков. Он уже готов был захлопнуть свои библиографические вадемекумы и отдаться отчаянию, как вдруг в одном из немецких ферцайхнисов наткнулся на странное повторяющееся из страницы в страницу буквосочетание: *Derselbe, derselbe, derselbe*. Оно стояло на авторском месте, но по сравнению с буквосочетаниями «Миллер» — «Шмидт» — «Енсен» — «Шнайдер» — «Линде» — «Клемпе» — «Гальбе» проявляло несравненно большую подвижность и многодомность. В то время как Лемке и Гальбе сидели по своим искусствам и наукам, имя Дерзельбе беспокойным непоседой странствовало из наук в науки, не стесняясь никакими логическими и классификационными расстояниями. Лемке писал: «Тайнобрачные, их морфология и систематика, Иена, 1906»; «К вопросу о тайнобрачных, их морфологических особенностях и месте в систематике растений, Иена, 1907»; «Тайнобрачие папоротниковых и их фило- и морфогенетические характеристики, Иена, 1908»; «О некоторых

случаях тайнобрачия у класса папоротников, Иена, 1909»; «Еще к вопросу о тайнобрачных, Иена, 1910»; «Некоторые мои возражения профессору Гальбе о сомнительном тайнобрачии и лже-споровании, Иена, 1911»; «Редкий случай тайнобрачия...» — Дерзельбе же писал: «Спирилы и спирохеты, Берлин, 1911»; «История философии от древнейших времен до наших дней, Лондон, 1911»; «Еще о трансфинитных величинах, Штутгарт, 1911»; «66 способов сварить яйцо вкрутую, Магдебург, 1911»; «Кризис Европы, Мюнхен, 1911»; «Об языках группы банту, Лейпциг, 1911»; «Искусство быть хладнокровным в 6 уроков, Рим, 1911». Катафалаки был ошеломлен: исследовательский размах Дерзельбе, его грандиозная эрудиция, избегающая по научной скале, как по обыкновенной лестнице, прыгая через дисциплины, как через ступеньки, заставили человека, ищущего себе учителя, хлопнуть ладонью по феррейхнису и воскликнуть: «Он!»

Оставалось немедленно же открыть энциклопедический словарь на букву Д, отыскать биографические справки о Дерзельбе: стар ли он или молод, профессором какого университета состоит и где его может отыскать просительное письмо Катафалаки?

Однако в энциклопедии Дерзельбе не оказалось. Тут были все — Лемке, и Мюллеры, и Гальбе, и Шмидты, Дерзельбе почему-то не было. Катафалаки задумался: что бы это могло значить? нет ли тут попытки замалчивания, интриги узких специалистов против полиглота? зависти составителей энциклопедий к подлинному энциклопедисту?

Катафалаки внимательно перечитал свой справочник. Странно; имя Дерзельбе всегда и всюду стояло п о з а д и имен людей, пишущих на параллельные или общие с ним темы: значит, не только словарь, но и библиографический словарь старается отодвинуть, затушевать заслуги Дерзельбе. И удивительно, имена всех этих тупых педантов и узковедов, лезущих вперед, на первое место, идут, как слепцы за поводьями, за всевозможного рода — Д-р, проф., акад., чл. инст., — одинокое же имя Дерзельбе лишено каких бы то ни было ученых титулов; мало того — Катафалаки в негодовании скрипнул зубами — то здесь, то там — оно с малой буквы. Значит, все против великого, непризнанного Дерзельбе: даже наборщики. Да, теперь

понятно, почему отвергнутый гений должен непрерывно менять города: его преследуют, гонят, как и всех пророков, несущих миру истину, не брезгуя ничем, ни камнем, ни опечаткой. Брови Катафалаки взволнованно дергались, губы затверживали имя учителя: в этот день он стал дерзельбианцем.

Другой на месте Катафалаки от заглавий попытался бы перейти к текстам, но в том-то и дело, что на месте Катафалаки был сам Катафалаки. Надо немедленно же написать учителю: мысль эта очутилась в голове Катафалаки лишь на секунду раньше того, как перо окунулось в чернила. Наклонив ухо над бумагой, Горгис пустил перо по линейкам:

«Высоко и глубоко уважаемый доктор!

Индусские философы называли познание «вторым рождением». Исходя из этого, почтительнейше прошу Вас не отказать в любезности меня родить...»

Но тут вдруг поперек строки — вторая мысль: что я делаю — ведь доктору Дерзельбе нужно писать по-немецки. Однако Катафалаки помнил не более двух-трех десятков немецких слов. Досадное препятствие. Вооружившись словарем (он уже им пользовался при расшифровке дерзельбевских заглавий), Горгис, с каплями пота в морщинах лба, стал выискивать вокабулы, и возможно, что глаза его наткнулись бы на слово, разъясняющее сразу и все. Но третья мысль, внезапно захлопнувшая словарь, помешала этому: если Дерзельбе знает все, подсказала мысль, то он знает и... русский язык. Облегченно вздохнув, Катафалаки дописал, подписал и росчеркнулся. Оставалось поверх конверта адрес. Но это оказалось и не так просто: у птиц гнезда, у лисиц — норы, но сын человеческий... ведь даже центр мира, если верить математикам, всюду и нигде, то есть не имеет определенного адреса. Чернила бесслвно сохли на перо, но упорство Катафалаки было неиссякаемо. Посидев в раздумье над скучавшим в одиночестве посредине конверта словом «д-р Дерзельбе», он вдруг улыбнулся, снова обмакнул перо, приписал сверху еще одно слово и, спрятав брови под шляпу, отправился в мастерскую, изготавливающую плакаты. После этого оставалось лишь выхлопотать заграничный паспорт и взять билет до Берлина; терпения у Катафалаки было хоть отбавляй, денег — значительно меньше, но так как план, придуманный им,

требовал главным образом терпения, то автор его надеялся рано или поздно отыскать Дерзельбе, не обращая ни к помощи конвертов, ни особенно к помощи людей, которые, как ему казалось, стремились бы лишь помешать их встрече. Стенли, отправляясь в дебри Африки на розыски Ливингстона, не знал языков тамошних племен. В таком же положении находился и Горгис Катафалаки. Последнее его сомнение на этот счет рассеял один из его знакомых, чрезвычайно веселый человек (любопытно, что знакомство с Катафалаки всегда поддерживали лишь весельчаки и шутники), уверивший собравшегося в странствие дерзельбианца, что, зная лишь два слова на всех языках — «пожалуйста» и «сколько», — можно с удобством и без каких бы то ни было недоразумений объехать всю Европу.

После суток езды, когда поезд вез его по Германии, Катафалаки подумал, что не худо бы знать и третье слово: станционные буфеты через каждые полчаса показывали его голодным глазам серии разложенных веерами бутербродов, но Катафалаки не знал, как по-немецки «бутерброд», и приехал в Берлин с тощим желудком.

Впрочем, прибыв в столицу Пруссии, он душой и телом отдался осуществлению своего плана по розыскам д-ра Дерзельбе.

Обращаться к помощи осведомительных органов, ученых обществ, соперников, завистников и недоброжелателей великого Дерзельбе, взявших его в перекрестное молчание, значит быть сбитым со следа, получить ложную информацию и неверный маршрут. За сведениями о Дерзельбе можно обращаться только к самому Дерзельбе и ни к кому иному.

План, придуманный Катафалаки, был и хитер и прост: остановившись у выходной двери Фридрихштрассе-бангоф, он раскрыл свой саквояж и стал разматывать запрятанное в него полотнище; развернув красную по белому надпись, он приделал ее к трости правой рукой через плечо, взял в левую саквояж и медленным шагом направился в город мимо поднимающих утренние шторы витрин Фридрихштрассе. Первым красную надпись «Gut Morgen, herr Derselbe!» прочел носильщик, которому флаг Катафалаки перегородил путь. Но плечи носильщику придавило шестью пудами, и капли пота, свисшие с ресниц, помешали

дочитать. Затем буквы плаката попали в глаза шоферу, подкатившему к ступенькам бангофа; но шоферу бросили через спину адрес, дверца щелкнулась в лакированный бок его машины, рука легла на рычаг, а глаза повернули, вслед за колесами, в сторону.

Катафалаки с развевающимся «Gut Morgen, herr Derselbe» за спиной продолжал шагать вдоль Фридрихштрассе, поворачивая голову то вправо, то влево. Расчет его был чрезвычайно прост: где бы ни встретился ему д-р Дерзельбе, увидев приветствие, к нему обращенное, он ответит, как истинно культурный человек, хотя бы приподнятием шляпы, и тем самым будет опознан. Встречные берлинцы, привычные к людям-рекламам, сперва не обращали внимания на сигнализацию Катафалаки, но на втором квартале пути плакат привел в движение два пальца: один палец — по левую сторону улицы — вытянулся по направлению к движущимся буквам, другой палец — по правую сторону улицы, — выгнувшись крючком, закивал постовому шутцману. Видя, что эти жесты мало похожи на приветствие, разыскатель д-ра Дерзельбе повернул по Франциштрассе. Но вслед ему шло уже два-три десятка любопытных. Сначала Катафалаки слышал за собой смех, затем взволнованно протестующие голоса, потом запев какой-то незнакомой ему песни, испуганный свисток шутцмана и, наконец, чей-то ровный голос, отсчитывающий шаг; повернув голову к дружному топоту ног, догонявшему его флаг, Катафалаки был изумлен: он оказался, неожиданно для себя самого, — в роли знаменосца, ведущего построенную правильными рядами колонну демонстрантов. Растерявшись, он выронил флаг и после секунд остолбенения едва успел увернуться от растаптывающего, механически четкого марша колонны. Стоя уже на тротуаре, Катафалаки видел, что его привет Дерзельбе, поднятый чьими-то чужими руками, снова веет над проходящими мимо рядами. Было ясно: дерзельбианцы, таившиеся по всему миру, восстали против системы замалчивания, подняли знамя восстания и идут ниспровергнуть все ветхие профессорские кафедры, амвоны и авторитеты. Овладев волнением, Катафалаки бросился вдогонку за качающимся над морем макушек: «Gut Morgen, herr Derselbe!»

Шествие, которому перегородило было дорогу Шпрее, перевалило через мост, и еще через мост, обо-

гнуло медный тысячетонный памятник Вильгельму, рубчатую громаду кайзеру — кенигলেখерского шлосса и двигалось прямо навстречу золотому циферблату ратуши. Толпа, будто ошлюзенная, приподнялась на тысячу цыпочек, буквы гутморгена склонились к земле: на балкон ратуши вышел, кланяясь по часовой стрелке, д-р Дерзельбе. Катафалаки представлял себе его несколько иначе: в действительности это был человек с лысой и шишковатой макушкой, с улыбкой, положенной поверх круглого лица, как первая лунная четверть поверх третьей.

Произошел обмен речами, в которой Катафалаки не понял ни слова, и толпа стала мирно расходиться. Катафалаки один стоял с шляпой в руке, твердо решив не надевать ее до тех пор, пока не изъяснит своих чувств лично самому д-ру Дерзельбе. Случай, казалось, шел навстречу его желанию, то есть навстречу — сквозь вращающиеся грани подъезда ратуши — шел, окруженный двумя-тремя приподнятыми цилиндрами, великий и несравненный Дерзельбе. Остановленный низкими поклонами Катафалаки, он благожелательно кивнул, выражая готовность слушать. Среди сопровождавших триумфатора оказался человек, владеющий русским языком. Прижимая шляпу к груди, Катафалаки спросил, радостно срывающимся голосом, подлинно ли он видит перед собой автора трактатов об извлечении корня из мнимых величин, об искусстве извлекать ядоносные зубы у гадюк, о целебных свойствах корня женьшеня, о принципе яйности в философии и о шестидесяти шести способах сварить яйцо вкрутую. Маленькая процессия оказалась удивленной вопросом, и тот, к кому он был обращен, оглядев восхищенно улыбающегося Катафалаки, повернул к нему круглые лопатки. За ним последовали и остальные, кроме переводчика, который, задержавшись на минуту, растолковал бедному Катафалаки следующее: фамилия герра председателя муниципального совета Лемке. Вчера были перевыборы на новое трехлетие. Город голосовал по двум спискам: либералы выставили кандидатуру Гальбе; мы, консерваторы, стали как один за нашего прежнего глубокоуважаемого, трижды перевыбранного герра фон Лемке; «дерзельбе» — то же самый, то же самое — и никаких перемен — вот лозунг, выброшенный нами; и он, как и должно

было ожидать, одержал верх; сегодня — не знаю по чьей инициативе — благодарные выборщики пришли приветствовать глубокоуважаемого шефа с первым утром его не первого и не последнего, надеемся мы, градоправительства; это было — не правда ли? — очень трогательно...

И говоривший вежливо наклонился, чтобы поднять выскользнувшую из пальцев собеседника шляпу, назидательно кивнул и поспешил вслед за удаляющимися членами магистрата.

Катафалаки стоял, точно врытый в землю, состязаясь в неподвижности с шеренгой чугунных тумб, протянувшихся вдоль Кенигштрассе. Выйдя, наконец, из оцепенения, он хотел было надеть шляпу, но не решился: ему казалось, что ее не на что надеть.

4

Представьте себе тело, которое, сдернувшись со своего костяка, как платье с деревянных плечиков и железного гвоздя вешалки, продолжает — толкаемое инерцией — шагать от тумбы к тумбе, обвислое, подламывающееся в коленях, с руками, упавшими вниз, как пустые рукава: это Катафалаки, переживающий кризис и крушение дерзельбианства. Сгибательные и разгибательные рефлексы вели его ноги вдоль Унтер-ден-Линден, но в ведомом ничего не шло, мысль застопорилась, как раскружившийся завод часов. Сгибательные рефлексы повернули мимо белых истуканов, Зигес-аллее. Над Катафалаки сияло рыжее лучеволосое солнце, в веселом синем воздухе плясали зеленые, желтые и красные рвущиеся со своих веревочек детские шары, лакированные обода, быстро перебирая никелем спиц, вязали себе путь. Под оживленно жестикулирующими ветвями Тиргартена, вдавливая в упругий асфальт миллионы шагов, прогуливались румянолицые, улыбающиеся, ясные, как погода, прохожие. Несчастный ех-дерзельбианец не мог поднять глаз, чтобы не наткнуться на оскорбительно радостные улыбки, глаза, сощуренные от солнца, серебряную повилику дымков, вьющуюся из самодовольно попыхивающих трубок. Тщетно бросался он зрачками из стороны в сторону, ища хоть единого блика, соцветного его настроению. Даже тени, оброненные ярким изумрудом листвы на

землю, казались теплыми. И вдруг зрачки Катафалаки стали: на одной из скамей, закутавшись в черную пелерину, с понуро опущенными плечами сидел человек; лицо его, полузакрытое поднятым воротником, упиралось в ручку дождевого зонта; рядом с ним, грустный и серый, как и его хозяин, лежал непромокаемый плащ; человек, закрывшись полями черной шляпы от рассиявшегося неба, сосредоточенно смотрел в носки глубоких калош, в которые были вдеты его ноги.

Катафалаки осторожно приблизился. Навстречу надвинувшейся тени незнакомец быстрым движением поднял голову. Увидев, что рядом всего лишь человек, вздохнул и опустил ее еще ниже. Горгис присел на край скамьи. Только непромокаемый плащ отделял горе от горя. Сходства эмоций плюс двадцати немецких слов, которыми располагал Катафалаки, оказалось достаточно, чтобы задать вопрос, получить ответ и понять его:

— Морген ист гут: варум ист кайн «гут морген»?

Незнакомец:

— Ich bin ein Meteorologist. Я метеоролог,— и я предсказал— и предсказал на сегодня: пасмурно, ливень, ливень, можно ждать града. Или вам нужно объяснять еще?

Катафалаки:

— Битте, нох айнмаль¹.

Незнакомец, насупившись тучей, стал было сворачивать плащ, но, встретив ласковую, исполненную искреннего участия и готовности понять улыбку собеседника, смягчился и стал повторять по слогам:

— Я ме-те-о-ро...— уже первое слово вызвало радостные кивки Катафалаки: понимаю; за ним протиснулись кое-как и другие. Горгис деликатно притронулся пальцами к руке метеоролога и, ободряюще улынувшись, заговорил, после чего уже метеоролог, морщась от усилия понять, произнес:

— Noch einmal.

И Катафалаки снова, с неиссякающим терпением, стал переставлять свои двадцать слов. Очевидно, в смутном брызге двух полупониманий, в унылом словаре собеседника, в монотонно дождящих одних

¹ Еще раз (нем.).

и тех же звуках было нечто напоминающее плохую погоду, потому что метеоролог чуть-чуть просветлел.

Израсходовав свой немецкий запас, Горгис заговорил по-русски, — и странно — общность чувств преодолела разобщенность языков. Разговор, тщательно подпираемый жестикующей с обеих сторон, не падал, а длился так:

Катафалаки:

— Мужайтесь — как будто бы накрапывает дождь. Эс регнет.

Метеоролог:

— Увы, это оттого, что проехала бочка для поливки улиц.

Катафалаки:

— Может быть, вы скажете, — вот эти желтые солнечные пятна на земле оттого, что проехала бочка с желтой краской.

Пауза.

Катафалаки:

— Ну, допустим, даже: бочка для поливки. Не подумали ли вы, что все вот эти люди, идущие мимо нас, если и улыбаются одним углом рта солнечным пятном, то другим концом рта они улыбаются вам, да-да, я знаю, что говорю: ведь детям, для того чтобы пирожное показалось им вдвойне вкусным, надо пообещать розги. После этого стоит лишь не сдерживать обещание и... Вы погрозили всем вот этим отхлестать их ливнем, а дали им на гигантском синем блюде солнце, до которого они так лакомы. Все взгляды устремлены на вас, только на вас, устроителя радостнейшего из сюрпризов, а вы и не замечаете, вы прячете глаза под поля своей шляпы, как если б...

Катафалаки ощутил недостаток и в русских словах. Но красноречие его уже дало эффект: угрюмый предсказатель ливней оторвал подбородок от набалдашника зонта и испытующе оглядел череду проходящих. Человек в калошах и с непромокаемым плащом действительно привлекал всеобщее внимание и усмешки.

— Ну, что? — спросил Катафалаки.

Бледная проступь улыбки шевельнула губы метеоролога. Он крепко пожал руку Горгису. И с того дня они стали друзьями.

Иоахим Витцлинг приютил у себя в обсерватории, среди вертящихся флюгеров, серии термометров, барометров, гигрометров, пылесчетов, долговязых труб, мерящих осадки, лягушек, страдающих во имя науки, диаграмм на стенах и неисчислимости прочих исчислителей, Горгиса Катафалаки.

Сначала Горгис только присматривался к разливанному стеклу и извилиям гигро- и бароспиралей, угадывающих кружение циклонов и антициклонов, потом — под руководством Витцлинга — стал понемногу втягиваться в работу. Еще в отрочестве маленький Горгя любил, отогнув отрывному календарю несколько листков, с бьющимся сердцем узнать, что в следующее воскресенье на третье будет компот из сушеных фруктов, — и отсутствие гармонии между календарным листком и кухаркой огорчало его почти до слез.

Так и теперь. Помогая в составлении Бюллетеней, Горгис чувствовал себя игроком, ставящим на коней Гелеоса, то в двойном, то в ординаре, и звон будильника, начинающий день, казался ему сигналом старта: пошли.

С раннего утра Катафалаки уже был на улице, и не было человека во всем Берлине, который бы так высоко нес свою голову: ученик метеоролога не хотел упустить ни одной перипетии в состязании туч с солнцем. Если они накануне с Витцлингом ставили на солнце, Катафалаки, где-нибудь посередине Кюстринерплатца, с ободряющей улыбкой кивал рванувшей с места из-за кровельных скатов золотой колеснице Гелеоса или, прикрыв глаза ладонью, с беспокойством вшуривался в сизые, в серых яблоках, тучи, стараясь разглядеть за их тяжким бегом хотя бы один занесенный острым бичом золотой луч своего «фаворита». Если солнце, обогнав тучи, выходило напрямую к зениту, Катафалаки позволял себе забежать в кафе и за стаканом мер-вейса, судорожно комкая газету, сверял строчки Бюллетеня с растущим голубым интервалом меж солнцем и сдающими крупами туч. Но торжествовать было еще рано: Солнце — на последней кривой — могло заскакать, тучи наддать хода, и тогда... Катафалаки только к вечеру, когда заезд был кончен и день приходил к столбу, а на Берлинских колокольнях звонили

Анжелюс, вспоминал, что не успел пообедать. Вообще Катафалаки всецело, от пят до макушки ушел в новую для него профессию: «Хорошо было Канту,— говорил он,— оперировать с чистым пространством, в котором можно без калош, где не ясно, не пасмурно, не мокро и не сухо, а вот извольте повозиться, как мне с Витцлингом, с нашим пространством, черт возьми, где то ведро, то как из ведра». Среди других метеоролог-нозических развлечений ассистенту Витцлинга особенно нравилось ставить «баллы» ветру, как если б ветер был школьником, не выучившимся дуть больше, чем на двойку, или, наоборот, выдувающим полный бал.

Так жили Витцлинг и Катафалаки: они часто ссорились с погодой, хотя дружба их была без единого облачка. Но случилось однажды так: Витцлинг, взглянув на Бюллетень, ясно — черным по белому — указывающий на «ясно», позабыл взглянуть в окно. Выйдя наружу без пальто, в легких полутуфлях, со шляпой в руке и лицом, поставленным под бюллетеневое солнце, он сразу же попал под холодные захлесты ливня, с градом вперемежку. Витцлинг, делая вид, что не замечает, продолжал идти, весело посвистывая и обмахиваясь шляпой от трансцендентной жары, пока ледяной дождь не вхлестался ему в альвеолы легких и не забарабанил каплями о гордое витцлингово сердце. К вечеру, лежа с температурой, вспрыгнувшей на 40°, метеоролог, блаженно улыбаясь, в полубреду, говорил: «Ведь я же предсказывал, что будет жарко». Но уже через два дня температура тела Витцлинга стала комнатной, а еще через день ей пришлось подравниваться под температуру земли на Моабитском кладбище.

Катафалаки не мог найти себе места. Каждый уличный термометр напоминал ему об отошедшем друге. Их сильные ртутные стебли то росли вверх, то никли, роняя деления, а зеленые стебли трав над могилой друга Иоахима тянуло из нуля все выше и выше. Берлин, которому Катафалаки не мог простить ни гибели д-ра Дерзильбе, ни смерти Витцлинга, опостылел ему. Надо было прибегнуть к помощи одного из вокзалов. Какого? Все равно. В день отъезда ветер гнал тучи на юго-запад. Катафалаки взял билет до Парижа.

Поселившись в одном из дешевых фамильных отелей на бульваре де Сен-Мишель, Горгис Катафалаки решил наконец заякориться на той или иной профессии. Удары о жизнь научили его скромности. Неизвестно, какие ассоциации заставили его выбрать курсы для дантистов; может быть, он хотел свести старые счета с хаустусом, порыться как следует щипцами внутри запрокинутого на кожаное подголовье кресла и подоткнутого ватой под скулы зевка. Так или иначе, из человека, тянущегося к звездам, он решил превратиться в человека, вытягивающего зубы.

Вначале все шло успешно: Катафалаки уже усвоил отличие клыка от глазного, флюса от фистулы, узнал, что зуб мудрости цепляется за челюсть, осложняя работу щипцовой хватки, то одноветвным, то двуветвным корнем, научился юлить жужжащей иглой бор-машины внутри судорожно дергающегося зевка и, наконец, ухватившись стальным сцепом за хрустящий зуб и притиснув, на всякий случай, к креслу вспрыгивающие коленные чашки пациента, выпалывать кость из кости, как траву из земли.

Но прирожденная жалостливость, сострадание к болям, запрятанным под повязанные поперек уха платки, направили беспокойный ум Горгиса к изысканию способов смягчить или укоротить тягостные для пациента минуты. Если Гейне говорил, что «любовь — это зубная боль в сердце», то Катафалаки казалось, что страдание, из-за которого обращаются к дантисту, похоже на несчастную любовь в зубе, и что тут нельзя ограничиваться простым «потерпите, м-сье» или долгим ковырянием иглой и щипцами внутри зияющего болью дупла, надо придумать героический и стремительный способ перечеркнуть недуг сразу и навсегда.

Однажды руководитель курсов, пожилой отвислогубый португальский еврей, пристальные очки которого успели заглянуть в десятки тысяч человеческих зевков, объясняющийся с учениками и пациентами на конгломерате из одиннадцати языков, был очень удивлен, когда поздней ночью внезапный звонок вытряхнул его из сна. Недоумевая, он встал и со свечой в руке подошел к выходной двери:

— Кто?

— Катафалаки.

Старый дантист снял запоры — и поднятые брови ученика, всунувшиеся в дверь, почти наткнулись на не менее поднятые — на этот раз — брови учителя. Пробормотав извинение, Горгис просил уделить ему несколько минут. Учитель приблизил свечу: глаза ночного гостя блестели экстатическим светом, из-под распахнутой благостной улыбки губ — два ряда крепких белых зубов, под локтем небольшой ящичек. Не выходя из недоумения, наставник протянул руку со свечой к порогу кабинета и попросил быть кратким. Катафалаки и не нуждался в многословии — его открытие, как и все поворотное, радикальное, ставящее на голову, легко укладывалось в десяток слов. Он отщелкнул ящик: на доннышке его в пять-шесть рядов были разложены крохотные ампулки, начиненные какой-то коричневой массой; от каждой из ампулок тянулся длинный и тонкий фитилек.

— Довольно страданий! — сказал Катафалаки, подавляя нервный спазм в горле; указательный палец его был протянут к хвостатым облаткам.

— Что это? — свеча и очки наклонились над коробкой.

— Динамит.

Свеча качнулась и стала отодвигаться к порогу. Но изобретатель, разворачивая объяснение, был слишком увлечен, чтобы замечать мелочи.

— Все очень просто. Вместо всех этих сухих и мокрых ваток вы вкладываете в дупло больного зуба вот такую вот ампулку, поджигаете фитиль, бац — и от зуба ни единого атома — в пыль!

— Ну, а от... головы? — спросил гневный голос из-за порога.

Мертвенная бледность разлилась по лицу изобретателя:

— Вот об этом-то я не подумал.

Послышались: сначала ругательства глассандо по одиннадцати языкам, потом удар дверной створы о створу. Неподумавшему на следующий день пришлось думать о выборе новой профессии.

7

Еще в бытность свою в Берлине, Катафалаки жаловался на уличное движение: город, точно прорвавшийся мешок, сыпал людьми, кружащими колесами, де-

ргающимися педалями, скользящими по проводам роликами, качающимися рессорами и кузовами; все это перефигуривало дорогу: право превращало в лево, дезориентировало, ломало линию пути сшибающимися перекрестками, загоняло в перпендикуляры переулков и путало шаги. Но люди бывалые, отслушав lamentации Горгиса, обычно говорили, что это еще ничего, вот в Париже, например, легко совсем затеряться в толпе.

Слова эти запали в память Катафалаки. Он вовсе не хотел затеряться. Ведь такие, как он, не валяются вместе с окурками на панели; потеряй он себя, Горгиса Катафалаки, в водовороте столичной толпы, и другого такого уже не найти.

Предосторожность никогда не бывает излишней. Поэтому во время своих прогулок по Парижу всякий раз, когда нужно было перейти какую-нибудь особенно людную, мчащую головы и колеса площадь или улицу, — вроде Пляссе Конкорд, Рю Риволи, Бульвар де Дез Итальян, Летуаль, — Катафалаки прикреплял английской булавкой к левому отвороту своего пиджака визитную карточку с обозначением имени и фамилии на всякий случай. Описав кривую меж бешено насканивающих слева и справа кузовов, с глазами, дергающимися во все стороны и, почувствовав, наконец, под подошвой рант противоположащего тротуара, он опускал глаза к левому отвороту пиджака, прочитывал «Горгис Катафалаки», успокоенно улыбался и отшпиливал карточку с таким видом, как если бы получил совершенно нового, только-только из магазина, Катафалаки, с которого оставалось лишь сорвать билетик, обозначающий цену и фирму.

Но однажды случилось так, что вместе с карточкой к Катафалаки пришпилилось нечто, заставившее дальнейшую жизнь нашего героя пойти по страннейшему из всех зигзагов.

Началось с того, что он забыл как-то снять, по миновании надобности, карточку. Было жаркое предгрозовое после полудня, когда люди или сонливы, или раздражительны. Катафалаки, сидевший у одного из столиков кафе над бутылкой сидра, ощущал сонливость, двое щеголей, чьи пестрые галстуки цвели у соседнего столика, ощущали раздражение. Сквозь мутный сидр и полудрему Катафалаки не замечал белого

квадратика, забытого на отвороте пиджака, но щеголи — одного звали Мильдью, другого — Луи Тюлин, — искавшие мишени для желчного предгрозового озорства, заметили и решили сыграть со своим соседом шутку. Подойдя на цыпочках к клевавшему носом незнакомцу, Мильдью, отшпилив неслышно его карточку, на место ее прикрепил свою. С минуту приятели забавлялись чтением и перечитыванием похищенной фамилии: Ка-та-ха-ха-фа-хи-ла-ки-хо-хо. Но туча, молча застывшая над самыми кровлями, наполнившая воздух отблесками желчи, казалось, развесила огромные грязные уши и ждет: что дальше?

И м-сье Мильдью, повертев карточку в руках, перевел глаза к другому столику, где у двух стаканов оранжада сидела — улыбка в улыбку — пара. М-сье Мильдью подкрутил ус и сказал, громко и отдельно — обращаясь к м-сье Тюлин:

— Если б не эта ветренная дама, можно было задохнуться от жары.

Туча сдержанно, но весело загрохотала. Кавалер, оскорбленный, с шумом отодвинул стул и подошел вплотную к обидчику. Разбуженный переполохом Катафалаки раскрыл глаза как раз в тот момент, когда противники обменивались карточками. Боясь попасть в свидетели разрастающегося скандала, поспешно расплатился и вышел за порог. На двадцатом шаге рухнул ливень. Весь мокрый, добрался Катафалаки до своей каморки. Развешивая на спинке кровати пропитанный грозой пиджак, он заметил влипшее в ворс белое пятно с расплзшимися буквами поверх. Однако что за странность, фамилия на карточке укоротилась и спутала буквы. В комнате было сумеречно. Он дал свет и стал вглядываться: контуры размытых дождем букв были определенно чужие; столь же определенно не хватало — семи или восьми букв. Катафалаки даже перевернул карточку, но и на обороте ее не оказалось непонятным образом исчезнувших знаков. Тут впервые в душе Горгиса Катафалаки возникло подозрение. С минуту он сидел в глубоком раздумье. Потом выглянул за дверь. В коридоре никого. Тем лучше. Он прошел — мимо десятка закрытых дверей — к темной нише, там (он помнил) стояло зеркало. Дешевое стекло, в которое давно никто не заглядывал, может быть, отвыкло и разучилось отражать: по крайней мере,

когда Катафалаки с искаженным от волнения лицом наклонился над его затянутой пылью и паутиной поверхностью, поверхность ответила лишь неясным кривым зеленовато-серым контуром, контуром человека вообще, которому все равно, худ он или толст, беспол или пол, рожден или лишь отражен.

В другом конце коридора послышались шаги. Человек, бывший еще так недавно Катафалаки, отскочил от зеркала и вернулся в номер. Лучше — до времени — никому не показываться и обдумать, как быть без себя. Ночь прошла без сна. Ех-Катафалаки то шагал из угла в угол, бормоча: «Нет, — эта непростительнейшая рассеянность — затеряться — как иголка в сене — проклятый Вавилон — обронить себя, как платок из кармана — черт знает что!», — то, наклонясь над расползшимися буквами, старался угадать свое новое имя. Старания были тщетны: кляксы никак не хотели сочетаться в имя. С рассветом он задремал. Внезапный стук в дверь снова раскрыл ему глаза. Человек без имени повернул ключ. Двое в цилиндрах, вежливо улыбаясь, передали ему вызов, прося назвать секундантов, с которыми они могли бы условиться о времени, месте и оружии. Начиналась какая-то чужая, чрезвычайно неудобная и полная непредвидимостей жизнь. Что ж, если вы в суете обменялись калошами или «я» и не заметили этого вовремя, то совершенно бесполезно жаловаться, что новое «я» жмет или чужие калоши спадают с пят. Покорно опустив голову, затерявшийся в толпе спросил:

— За кого вы меня принимаете?

Цилиндры сугубо вежливо приподнялись:

— За Горгиса Катафалаки, — и были несколько удивлены и шокированы, когда будущий дуэлянт, вдруг просияв, стал трясти им руку:

— Ага, так, значит, Катафалаки, а не этот вот из клякс! Это очень любезно с вашей стороны, что вы считаете меня Катафалаки, это очень благородно, больше того... вы возвращаете мне жизнь, да-да, я тронут, растроган до глубины души.

Страхнув с себя «ех», Катафалаки чувствовал себя заново рожденным, — пусть в него стреляют, ранят, убивают, но стрелять ведь будут в него, в Горгиса Катафалаки, он существует, он то, во что можно попасть, а то и — ха-ха — промахнуться,

и это единственно важно. День этот, может, и последний и в то же время точно первый, Горгис Катафалаки пробродил, весело посвистывая, по улицам, выбирая, впрочем, не слишком людные.

Встреча двух пуль была назначена в Медонском лесу в пять утра. Широкогузый пароходик, упираясь красными лопастями в Сену, довез Катафалаки и его секундантов до пристани Медона. Предутренний туман не позволял видеть дальше, чем на десять шагов (кстати, расстояние для противников было определено в пятнадцать шагов). Они прошли мимо дачного поселка, и вскоре под ногами у них зашуршали мхи. Лес. Только сейчас, среди призрачных контуров деревьев, обернутых в простыни тумана и протягивающих навстречу ветви совсем как руки духов на фотографиях Общества по изучению спиритических явлений, Катафалаки впервые подумал, что он — еще один-десяток другой шагов — и может оступиться в могилу, так и не узнав: за что? Он твердо решил рассеять, по крайней мере, хоть один из двух туманов, заслонявших ему смысл событий. Но все обернулось не так, как он предполагал. Прежде чем Катафалаки успел сказать хотя бы слово, противник его, лишь только сошлись, протянул руку в его сторону и произнес:

— Это не Катафалаки.

Удар был по больному месту. Если бы ему сказали: это не Дьюпон, это не Гарнье, не Куто, не Патар, не кто угодно — недоразумение немедленно бы рассеялось, как дым, а дыму над пистолетными дулами пришлось бы остаться внутри дул в виде чистой возможности. Но попытку отнять у него его потерянное и с таким трудом отысканное имя, Катафалаки, разумеется, не мог оставить безнаказанной:

— Повторите.

— Извольте, вы не Катафалаки.

— А вы не мужчина, а трус, делающий свой выстрел до команды: «сходитесь». Катафалаки может затеряться, да, но растеряться — никогда! И мы будем стрелять друг в друга до тех пор, пока я не заставлю вас признать, что я именно Катафалаки. К барьеру!

Среди секундантов произошло некоторое замешательство. Но заподозренный в небытии Горгис продолжал орать, требуя дуэли. Теперь у него было свое «за что» и он не имел ни малейшего желания отказаться от

последнего, тридцать второго по счету, аргумента шопенгауэровой эристики: пули.

В конце концов пистолеты были заряжены, противники стали к барьеру и нажали курки. В последний момент Горгис услышал: где-то на верхней ветке, над уплывающим в солнце туманом, запела флейтным стаккато — иволга. Относительно же последовавшего за нажатием курков существует два варианта: по одному — пули, просвистев в тон иволги, мирно разлетелись в разные стороны, по другому же варианту — одна из пуль, звонко ударившись о лоб Катафалаки, рикошетировала вверх, сразив в своем излете веселую пташку; трупик ее, шурша о листья, упал меж двух барьеров, и больше крови не было пролито, так как внезапно на лесной тропинке появились две быстро приближающиеся фигуры: это были Гои Мильдью и с трудом поспевающий за ним Луи Тюлин.

Обстоятельства, приведшие их в Медонский лес, не требуют длительного изложения: Гои после случая в кафе тщетно ждал в течение дня секундантов; на следующий день он усомнился в мстительности своего противника; решив, что дуэль разладилась, с наступлением вечера он сидел уже в обществе своих обычных собутыльников, где, в промежутке меж двух анекдотов, было так кстати продемонстрировать сначала одну карточку, потом другую. Одна из них (с именем и адресом «рыцаря не без страха», уклонившегося от встречи с «рыцарем не без упрека», как, смеясь, расценили противников собутыльники м-сье Гои) пошла по кругу из рук в руки, но другая никак не хотела отыскаться. Мильдью перерыл сначала все отделения своего бумажника, затем стал рыться в памяти и вдруг хлопнул себя по лбу: ему стало ясно, что тогда, в кафе, он сгоряча вместо своей визитной карточки вручил карточку спящего соседа. Приятели, подмигивая друг другу, удвоили веселость, но Мильдью чувствовал себя сконфуженным. Надо было тотчас же выяснить ситуацию. Отждав ночь, Гои вместе с неразлучным Луи отправились по адресу, указанному на карточке. Они были уже в сотне шагов от цели, как вдруг дверь подъезда, к которому они направлялись, распахнулась: вышли трое; в ожидавшемся их автомобиле загудел мотор; один из троих обернулся. «Он», — вскрикнул Мильдью и бросился вперед, но тотчас же вспомнил,

что по дуэльному кодексу комбатантам говорить друг с другом воспрещено; пока он, обернувшись к отставшему Тюлину, призывал его жестами на помощь, колеса автомобиля пришли в движение. Утренние улицы были еще пустыньны. Только у перекрестка друзьям удалось найти фиакр. Хлопающий бич пустился в погоню за удаляющимися вскриками сирены авто. Они настигли автомобиль лишь потому, что тот остановился у одной из пристаней Сены. Выпрыгнув из фиакра, друзья могли слышать грохот откатываемых сходней и свисток парохода, отчаливающего от берега. Делать было нечего; пересев в освободившийся автомобиль, они приказали шоферу следовать по берегу за пароходом. Это было нетрудно. Но пароход, поработав минут двадцать лопастями, причалил к противоположному берегу. Ближайший мост был в километре позади. Пока автомобиль, отманеврировав, подъезжал к причалу, пароход, снова отбросив сходню, свистнул и пошел, а еще через десять минут стал придвигаться бортом к Медонской пристани, оказавшейся, опять-таки, на противоположном берегу. На этот раз моста не было: друзья бросились к лодкам. Не столько расспросы, сколько предчувствие (поляны Медонского леса издавна обтоптаны дуэлянтами) повело Мильдью и Тюлина по верному следу. Занавес тумана, поднявшись кверху, открыл финальную сцену комедии ошибок: у правых и левых кулис симметричные группы секундантов, у рампы, разделенные пятнадцатью шагами, опущенные к земле дула, в центре пестрые галстуки — Пюи и Луи. Если тогда, во время обмена карточками, над головами висела грозная туча, то теперь, после обмена выстрелами, в просветы между ветвей лазурело ясное в золотых искрах утро; притом, когда стволы пистолетов пусты, только и остается наполнить бокалы. Дачный ресторанчик, приютившийся у опушки, отсалютовал дюжиной пробок, а к полудню обратный пароходик, весело свистнув, высадил восьмерых пассажиров с багажом в виде плоского ящичка на глухой защелке у одной из парижских пристаней.

8

Случай, перепутавший карточки и лбы, сдружил Горгиса с м-сье Мильдью и его спутником. Любителям, навещающим по вечерам веселые китайские

фонарики Монмартра, было трудно не встретиться с Катафалаки, шествующим меж двух пестрых галстуков. Для м-сье Гюи и Луи, прилежно коллекционировавших анекдоты, любивших смешить и смеяться, сангвиников чистой воды, приготавливающих улыбку на лице собеседника, как сложное и остроприправленное блюдо, Катафалаки был редкой и ценной находкой. Слишком долго перечислять все те проделки, жертвой которых неизменно сделался простодушный Горгис. Достаточно одного-двух примеров.

Однажды, когда приятели втроем блуждали по пыльным и людным парижским бульварам, Горгис, которого утомила уличная толчея, признался, что он не прочь бы провести ближайший воскресный день в какой-нибудь красивой подгородной местности, подальше от шума и камней. Его парижские друзья — перемигнувшись — тотчас же изъявили готовность помочь ему советом:

— Что ж, поезжайте в Complet.

— Да, в самом деле, отчего бы вам не поехать в Complet?

Катафалаки поблагодарил и записал.

С утра следующего дня он стал ловить глазами маршрутные надписи над окнами омнибусов и автобусов. Одни надписи предлагали Клиши, другие звали прокатиться в Бель-Иль, иные обещали аэродром Исси, иные же — аллеи Шарантона, Нейли, сюр-Сен, Сен-Клу, Венсен и дальний форт Обервиль. Но над мельканием разбегающихся спиц, среди бега имен нигде не было видно маршрута на Комплэ. Катафалаки стал было уже сомневаться в существовании такой линии, как вдруг из-за угла, скосив толстые колеса прямо на него, грузно выкатил длинный омнибус, изпод пыльного стекла которого мелькнуло: Complet. Обрадованный Горгис бросился со всех ног к ступеньке уминающего рессоры ковчега и, прежде чем схватиться за поручень, вопрошающе крикнул:

— Комплэ?

— Complet, — ответило несколько голосов вперевод, дверь хлопнула перед самым его носом, и омнибус, дохнув бензиновым перегаром в лицо оторопевшего Катафалаки, с грохотом закатился за выступ ближайшего дома. Катафалаки решил дожидаться следующего курса. Мимо него, втискивая

рубчатыми шинами в размягченный зноем асфальт, прокатывали, чадно дыша, автобусы за автобусами, омнибус вслед омнибусу; опять пронеслись Венсен, Исси, Шарантон, Клиши,—Комплэ, как назло, не было видно. Наконец, показался нарядный автобус, наполненный множеством празднично разодетых, смеющихся людей. Блеснув черным лаком и четкой надписью «Complét», он промчался, почему-то даже не задержавшись у остановки, и пассажиры его долго махали платками и зонтиками непонятному человеку, который добрый квартал мчался в вихре пыли вслед за сверканием спиц автобуса. Но Катафалаки был не из тех, которых легко обескуражить. Вытирая вспотевшие брови, он стал у нового перекрестка, решив во что бы то ни стало добраться до Комплэ. И снова череда ненужных Венсенов и Шарантонов, и снова набитый людьми до отказа, медленно катящийся на желанное Комплэ вагон. Колеблясь между надеждой и отчаянием, Гюргис испытывал то чувство, какое понятно человеку, ставшему в длинную очередь к окошечку театральной кассы за несколько минут до начала представления. Стрелка часов движется странно быстро, очередь столь же странно медленно; вот уж быстрее забегали капельдинеры, перила у вешалки опустели, кто-то запоздавший, путая номер гардероба с номером билета, спрашивает, в какую ему дверь; вот уж свет в дверях фойе погас и сквозь ромбовидные прорези сомкнутых створ, отгородивших зрительный зал, слышна напряженная тишина, а в это время спина, загородившая билетное окошечко, пересчитывает сдачу; еще можно успеть,—окошечко быстро надвигается навстречу; приглушенные стенами первые такты увертюры—какая жалость; но ничего, лишь бы к началу акта—между деньгами и билетом только четыре спины; нет—три, две; одна—и вдруг окошечко захлопывается, а за наружными дверями—нудно морозящий дождь, осклизлый асфальт и скучные повороты из улицы в улицу—назад.

Солнце уже шло по закатной прямой к исходу дня, когда измученный Катафалаки, проводив глазами последний битком набитый «омнибус в Комплэ», покинул свой перекресток и побрел к себе, в свой неудобный и одинокий номер. «Как прекрасно должно быть это Комплэ,—раздумывал он,—если столько людей

устремляется туда, — не унывай, дружище Катафалаки, немного терпения, и завтра ты, как и другие, будешь отдыхать среди комплейских лугов».

И наутро он снова дежурил у перекрестка, и снова десятки и сотни четырехколесных коробов, обдавая его гарью и копотью, шуршали шинами мимо, и снова двери в Комплэ захлопывались перед ним, грубые кондуктора сталкивали его с подножек, а дразнящая надпись «Комплэ» задерживалась, снова и снова, полугом дыма и пыли. Разогорченный и негодующий вернулся несостоявшийся пассажир к сумеркам в свой номер. Он не понимал, почему всем другим можно ехать в это Комплэ, а ему нельзя. Он сжимал кулаки при мысли, что все эти котелки и шляпки, забывшие линию Париж — Комплэ, побывали у ее конечного пункта, насладились в тени комплэских рощ и отдохнули у его звенящих фонтанов, а он должен был вернуться ни с чем. Сны этой ночи были беспокойны и прерывисты: сновидение оказалось послушнее автобуса — оно легко и беззвучно домчало его в волшебное, до грусти прекрасное Комплэ: прямо благоухающий пестрый ковер цветов подстилался под шаги, изумрудные ветви деревьев раскачивались, как опахла, над головой; тысячеклювое пение птиц перескалось в воздухе с золотыми штрихами солнца, легкий ветерок спутывал отражения прибрежий, упавшие в воду прудов и бассейнов.

И вытряхнутый с утренним стуком в дверь из своих видений, Катафалаки тотчас же стал шарить пятками вслед за завалившимся ботинком, чтобы тотчас же снова идти к стоянке автобусов. Только на четвертый или пятый день один из его парижских знакомых, пробираясь среди бега колес, случайно наткнулся взглядом на худого, в сизой щетине, осутуленного человека, в котором он с трудом признал Катафалаки.

— Что вы здесь делаете? — спросил знакомец.

— Жду отправки в Комплэ, — отвечала тень Катафалаки, подымая печальные, завалившиеся за синий обвод, глаза.

Француз сначала скосил недоуменно плечи, потом, откинув голову, раскатился смехом. К смеху (такова уже парижская улица) тотчас же примкнуло десяток улыбок, — и вскоре легенда о таинственном и недостижимом *Complet* попала в круг веселых прибауток. В этот

день Горгис Катафалаки продвинулся на одно слово в знании французского языка.

Но было бы слишком долго разматывать запутанный клубок всякого рода проделок, которые изобретали, в расчете на некоторые свойства характера их нового приятеля, неутомимые м-сье Луи и Гюи. Достаточно будет упомянуть о последнем дурачестве, оборвавшем и клубок, и дружбу, и самое пребывание Катафалаки в Париже.

Дело в том, что м-сье Гюи давно уже безуспешно добивался руки одной прелестной юной девушки. То есть он имел успех у девушки, но не у ее родителей, весьма патриархально настроенных рантье, которые в ответ на все домогательства Гюи отвечали: пока — как велит старинный обычай — не будет выдана замуж старшая дочь, младшей, то есть его предмету, надо терпеть и ждать. Молодые люди были в отчаянии: природа, давшая младшей сестре чистый и нежный овал лица, широко распахнутые синие глаза, нежный голос и стройную фигуру, постаралась зато сэкономить на наружности старшей сестры — у бедной дурнушки было лицо, с которого никто бы действительно не стал «воду пить», даже умирая от жажды. Гюи, который тщетно хлопотал по приисканию женихов для урода, после нескольких удачных проделок с добрейшим Катафалаки, решил, что это и есть настоящий жених для его будущей *bell Soeur*.

Прежде всего надо было подготовить почву. Впрочем, почва была достаточно рыхлой и податливой. На доводы о необходимости жениться Горгис тотчас же закивал: да-да. Но на ком? И руки проблематического жениха недоумевающими крестовинами застыли в воздухе. Тогда веселые заговорщики, перемигнувшись, стали вперебой говорить об одном прелестном синеглазом создании, которое бы весьма не прочь носить фамилию Катафалаки. Брови Горгиса никогда не выгибались так высоко, как в этот раз. Он растерянно улыбнулся, одернул бант своего галстука и спросил: кто же эта она?

На следующий же день м-сье Гюи представил Горгиса своей невесте. Хорошенькая француженка, посвященная в заговор, первым же взглядом своих прищуренных, голубеющих сквозь ресницы глаз ранила воображение Катафалаки; слушая мелодические пустяки,

иволжьи переливы нежного голоса, он временами хватался за углы воротничка, пробуя остановить закружившуюся, как волчок, голову. А когда девушка смеялась, Катафалаки жмурил глаза и ему казалось, что это жемчужный звон жемчужным дождем опадающих жемчужных ее зубов, и, раскрыв веки, с облегченным вздохом видел обе жемчужные нити неразорванными меж веселого пурпура ее губ. Вино, делавшее свое дело в четырех стаканах,—прекрасный ускоритель, и по пути от кафе до дома очарованный почти до слез Горгис спросил у своей дамы (Луи и Гюи шли сзади в двадцати шагах): «Вам никогда не бывает страшно — быть такой красивой?» — и: «Не согласились бы вы быть моей женой?»

Француженка, пряча улыбку под тенью шляпы, отвечала, что подумает. Катафалаки просил о свидании, и оно, после приличной паузы, было им снискано: завтра, в семь вечера, парк Монсо, у памятника Мопассану.

С утра уже Катафалаки всячески стал понукать время. Сначала он нарисовал циферблат со стрелками, указывающими семь, и, положив его рядом с тикающим циферблатом своих часов, терпеливо дождался, пока они станут сходны. Затем он начертил на листе бумаги шестьсот палочек, символизирующих минуты, и после каждого кругооборота секундной стрелки с удовольствием перечеркивал одну из палочек. Двадцать пять минут девятого утра воспринимались им как без шестисот тридцати пяти минут семь. Кстати, именно в двадцать пять минут девятого работа по перечеркиванию палочек была прервана внезапным появлением м-сье Луи. Горгис был очень рад гостю: он усадил его против себя, взял у него из рук шляпу и, взволнованно прижимая ее к груди, стал говорить о том, что он чувствует себя сегодня счастливым человеком. М-сье Луи ответил, что и у него сегодня большая радость, которой он и приехал поделиться с ним, с Горгисом как с человеком, которому можно доверить тайну. Катафалаки, придвинувшись еще ближе, растроганно сказал, что он весь внимание.

— Сегодня,— начал посетитель,— мне удалось закончить мои опыты по настройке органов чувств. Да-да, наши нервные нити, подобно струнам, вполне возможно,— я это экспериментально доказал — регулировать

при помощи особого рода, ну, скажем... колков. Вас, конечно, удивляет, дорогой м-сье Горгис, что я, по видимости столь легкомысленный человек, способен отдаваться научным изысканиям. А между тем это так. Что ж, наружность обманчива. Еще в годы моего студенчества я натолкнулся на мысль о перетяжке нервов. Отправные положения мои были чрезвычайно просты: если баранья кожа, в зависимости от степени натяжения, дает, при прикосновении к ней барабанных палок, различные по свойствам звуки, то и барабанная перепонка нашего уха, перетянутая воздействием определенных химических реактивов, при прикосновении к ней одной и той же барабанной пал... то есть я хочу сказать, при стимулировании ее одной и той же звуковой волной будет давать совершенно различные эффекты. Перебросив опыты из акустики в оптику, я вскоре и здесь добился благоприятных результатов. Правда, целых три года мне пришлось биться над устройством соответствующей аппаратуры, но сегодня последний винтик довинчен, и недалек уже тот день, когда памятник Луи Тюлину станет рядом с памятником Пастеру.

— А почему не Мопассана? в парке Монсо? — мечтательно улыбнулся Катафалаки.

— Потому что я открыл нечто более важное, чем противочумная сыворотка, я нашел способ... от несчастных браков. Несчастный брак — это гораздо более распространено, чем чума. Вы, может быть, скоро убедитесь в этом: на себе самом.

— Но я не понимаю, какая связь...

— Неразрывная. Мои аппараты по настройке глаз будут чрезвычайно дешевы. Не дороже цены камертона плюс ключа для пианинных колков. Ведь при длительной семейной жизни напряженность страсти постепенно слабнет, привычка притупляет взаимовосприимчивости супругов, они видят друг друга уже не так, как видели раньше, мед незаметно закисляется, — и это вполне естественно: наши глаза и уши плохо держат строй, они расстраиваются и фальшивят, как и семейные пианино, по клавишам которых безудержно бьют пятернями. Но если вы не жалеете раз в два-три месяца заплатить пять франков за настройку вашего пианино, то надеюсь, что вы с радостью отдадите еще один лишний пятифранковик за настройку вашего семейного счастья. Да-да, все это будет чрезвычайно просто

и удобно: если, скажем, жена заметила, что муж слишком часто уходит по вечерам и возвращается с рассветом, она зовет нейронастройщика (кадры их будут выпускаться сетью соответствующих школ), и особая индивидуальная оптическая формула, заносимая для каждой пары глаз в брачный контракт, поможет специалисту перетянуть нервы отбившейся половины на прежний лад, и супруг снова будет смотреть на сополовину так, как в день свадьбы: таким образом эмоция, начавшая было фальшивить, будет возвращена гармонии, а настройщик, получив свои франки, пойдет, уложив инструменты, звониться у соседних дверей.

Катафалаки хотел было что-то сказать, но трудно говорить с раскрытым ртом.

— И мало того, — продолжал горячо гость, — мой оптико-акустический ключ может не только подвинчивать, но и развинчивать колки. Представьте себе, что вы влюблены в недостойную вас женщину, заморозившую вас своей красотой. Она кокетничает с первым встречным. Вы для нее номер, она для вас — все. Вы растратили на нее половину состояния. Но красота захлопнула вас в себя, как в клетку. Нервы ваши натянуты до последней степени. Вы близки к самоубийству. Вы пробуете залить позорную страсть вином. Но и сквозь пьяный туман, и сквозь сны — всюду она. Ваши друзья уговаривают вас отказаться от ее образа. Все тщетно. И вот приходит скромный человек с кованым саквояжем в руке. Вынув свои инструменты, он усаживает вас в кресло — вот так, и через четверть часа вы можете спокойно отправляться на свидание с прелестницей: вы увидите неопишуемого уродца, от которого не будете знать, как и куда спастись. Оптико-акустический ключ сделал свое дело. Состояние ваше спасено — жизнь тоже. И всего лишь за каких-то несколько франков, смешно сказать.

— Ну уж этому, я бы, знаете, не поверил, — пробормотал Катафалаки, стараясь говорить возможно деликатнее, чтобы не обидеть гостя, — я совершенно не представляю себе, чтобы кто-нибудь или что-нибудь могли сделать так, что я, встретившись с девушкой, которая еще вчера мне казалась, нет, не казалась, а была прекрасной, через день уже пятился бы от нее, как от уродца. Это совершенно немислимая вещь.

— А между тем, это так. И если у вас есть свободное время...

— Позвольте, но ровно в семь у меня свидание с дамой.

— Тем лучше. Мой ключ сделает так, что вы не подойдете к ней ближе, чем на двадцать шагов.

— Но ведь это же...

— Не бойтесь: обратный поворот ключа — и урод снова станет красавицей. О, мой аппарат может тушить и зажигать красоту, как выключатель, щелкающий в пальцах.

— Поразительно!

Через полчаса Катафалаки сидел в кресле экспериментатора. Глаза его были покрыты черной повязкой («настраивающие лучи, — объяснили ему, — слишком сильны — нужно процедить их сквозь темный фильтр»), а в закупоренные чем-то непонятным уши доносились какие-то скребы и шумы. «Готово». Повязка сдернулась с глаз, и экспериментлируемый увидел: на стенном циферблате половина седьмого. Не дослушав объяснений конструктора, он бросился за порог. Вместе с пробками и повязкой он сбросил с себя самую мысль обо всех этих таинственных манипуляциях, которым согласился себя подвергнуть из простого желания хоть как-нибудь укоротить слишком долгое ожидание. Но теперь радость встречи была близка, и Катафалаки всецело сосредоточился на ней.

Войдя в ворота парка Монсо, он быстро прошел мимо задумавшегося над мраморной клавиатурой Шопена, направляясь к белеющему на фоне склоненных к бассейну ив бюсту Мопассана. Без двух минут семь. На дальней скамье сидела она: Горгис сразу узнал и ее вчерашнее платье, и зонтик, под раскрытым шелком которого таились ее лицо и плечи. Он был уже в двадцати шагах от нее и, опережая себя голосом, тихо окликнул. Зонтик скользнул вниз, и тотчас же Катафалаки, будто ударившись о невидимую стенку, сделал шаг, потом другой и третий вспять. Оптико-акустический ключ — черт побери — действовал точно: на скамье, прямо перед ним, приветственно улыбаясь оскалом выпяченных из-под толстых губ соломенного цвета зубов, с выставившимся из-под шляпки длинным запотевшим носом, сидел, кскетливо комкая в красных перепончато-плоских пальцах батистовый платочек,

монстр. Видя, что Катафалаки как будто не узнает его, монстр сначала эживал белесой паклей, выбившейся из-под спилек и растопыренных ушей, затем привстал, и, шевеля страшными костистыми щиколотками, двинулся на него.

— Я пришла сказать, что я согласна.

В голосе женщины было что-то от того, вчерашнего тембра (этим и ограничивалось фамильное сходство обеих сестер). Самообладание стало понемногу возвращаться к Катафалаки: он вспомнил героя гоциевской «Женщины-змеи», «Читру» Тагора и решил быть стойким. Прежде всего надо не показать своей невесте, что с глазами его творится неладное. Ведь достаточно обратного поворота оптического ключа и... не терять же из-за минутного испытания счастья всей жизни. Поэтому, выдавив максимум улыбки, он сказал:

— Сегодня вы особенно прекрасны.

Красные обрубки благодарно пожали его руку. Женх воспользовался этим, чтобы проститься, и опрометью бросился к выходу из парка. Через четверть часа он уже стучал в дверь к м-сье Луи. Никто не отзывался. На смену осторожно стучащему пальцу — с размаху бьющий кулак. Молчание. Недоумевая, Катафалаки спустился вниз, к портье. Там ему сообщили, что м-сье выехал на несколько дней в Дижон. Испытание затягивалось. К «Читре» докомпоновывался еще один акт. Катафалаки ждал, события не ждали: в церкви шли оглащения, швейная машинка дострачивала приданое, а обладатель оптического ключа все не возвращался. При свиданиях со своей нареченной Катафалаки пробовал иногда хитрить: старался сесть боком, незаметно отвернуться или отвести глаза; но длинный лоснящийся нос тянулся к нему, как магнитная игла к своему полюсу. В конце концов Катафалаки постепенно научился не пугаться и с известной резиньяцией выдерживать нежный взгляд узких кротовых щелочек своей невесты. В кармане у него уже лежала телеграмма от м-сье Луи, обещающего скорые приезд и помощь, и он смотрел на лицо своей будущей жены с тем чувством, с каким больной накануне операции оглядывает свою предназначенную к удалению язву или опухоль. В сущности, днем раньше или позже, может быть, даже лучше позже...

лучше позже... К борту Катафалакиного сюртука припилили флер-д'оранж, а палец правой руки его попал в кольцо.

На следующий день после свадьбы приехал, наконец, м-сье Мишель. Он не успел еще снять дорожный костюм, как в комнату вбежал Катафалаки. Оглядев его, нейронастройщик покачал головой:

— Вы мало похожи на молодожена.

— Это зависит всецело от вас... Пускайте в работу вашу оптическую штуку, или...

— Но еще не распакованы вещи.

— Я вам помогу.

Голос и фигура Катафалаки выражали крайнее нетерпение. Мнимый изобретатель не мог выдержать взгляда его горящих глаз:

— Видите ли, я боюсь, что аппарат в дороге несколько испортился, потерял точность, и если произойдут непредвиденности— аберрация, интерференция волн, двоение изображения на сетчатке,—я не отвечаю.

Но пациент уже сидел в кресле, подставляя глаза и уши под повязку и пробки.

Когда манипуляции были окончены и Горгис вскочил, чтобы идти, экспериментатор придержал его за локоть.

— Мой ключ вернул вам красоту жены. Поверхность. Опыление крылышек. Ну, а бабочка упорхнула к Мильдью. Так и знайте.

Две минуты спустя Катафалаки впрыгивал в авто. Еще несколько минут, и машина стала у дома, в котором жил Мильдью. Взбежав по лестнице, Катафалаки рванул ручку двери. Она легко поддалась и впустила его в переднюю. Вначале он не слышал ничего, кроме своего неровного дыхания. Затем из-за стены послышался перелив знакомого иволжьего смеха. Придерживая рукой раздергивавшееся сердце, Катафалаки заглянул в комнату: раскачиваясь на колене Гюи, как птица на ветке, голубея счастливыми глазами, сидела его, сбросившая с себя уродство, а кстати, и кофточку, Читра. Нет! лучше длинный потный нос и желтый выщерб зубов, чем вероломная красота! «Неблагодарная!» — хотел закричать Катафалаки, но в это время женщина, поцеловав кончик завитого уса Гюи, сказала:

— Как я благодарна этому вашему Катафалаки за то, что он так глуп. Ведь если бы не он...

И крик застрял в горле Горгиса. Ловя ладонями стену, он вышел на лестницу и тихо прикрыл дверь. Что ему оставалось делать? В подъезде он почувствовал, что не в силах идти дальше. Автомобиль, не успевший еще отъехать от дома, по его знаку откинул дверцу и, приняв его на качающиеся подушки, мчал домой. В тяжелом раздумье отщелкнул Катафалаки замок своего опустевшего одинокого жилища. Но что за странность? Из спальной полоса света. Он остановился, вслушиваясь. Знакомый, в иволжьих переливах, голос напевал: «*Chacun avec sa chacune*¹». Мистический холодок тронул корни волос Горгису. Он хотел было назад, к двери, но в полутьме зацепил локтем вазу, брызнули осколки, и в освещенном квадрате двери появился, сверкая длинным фосфоресцирующим — как ему показалось — носом, двойник его жены.

Затем произошло объяснение. Испуганный не на шутку расстроенным и искаженным лицом своего мужа, двойник, роняя слезы с оконечины носа, признался во всем, обещая в обмен на забвение догробовую любовь. И Катафалаки простил: что ж, «*chacun avec sa chacune*». Но веселая карусель парижских бульваров, круговорот пестрых галстуков и улыбающегося сквозь вуали кармина стали раздражать его. Всюду под круглыми канотье круглился смех, и бедному Катафалаки вдруг захотелось в город не столь веселых людей, где улыбки заткнуты сигарами, где дома и люди замотаны в туман, а жестикуляция дремлет в глубине шестнадцати миллионов карманов. К тому же кольцо на пальце правой руки напоминало пальцам о работе. Небольшая сумма, вырученная от продажи погодо-угадывающей утвари покойного Витцлинга, приходила к концу. Приданого жены Горгис не хотел касаться. В одно из утр, порывшись в шкафу, он выволок пыльный ящик с набором зубных инструментов. Длинные, попугаевым клювом изогнутые щипцы, лежавшие сверху, успели уже проржаветь. Катафалаки, обмакнув замшу в наждак, принялся за чистку. Стоя на коленях над лязгающим ящиком, он представлял себе прогулки его игл, щипцов, крючков и щипчиков по прочным

¹ Каждый с каждой (франц.).

полукружиям британских челюстей; мечтательно сощуриив глаза, он представлял себе множество десен, зацветающих — под влагой туманов и дождей — флюсами, костоедой, свищами, фистулами и пионами воспаленной надкостницы.

Через неделю Горгис Катафалаки, с женой и ящиком дантистских инструментов, пересек Ла-Манш.

9

Со дня превращения Катафалаки в лондонского жителя прошло четыре месяца. Хотя тридцать два, помноженные на восемь миллионов, дает двести пятьдесят шесть миллионов возможностей для начинающего дантиста, но на кожаное кресло, дожидавшееся звонков и пациентов в девятом этаже дома на Коммершэл-род, садилась только пыль. Полиция отнеслась слишком подозрительно к пробелу в документах приезжего врача, что ж до пациентов, то после первой же неудачной попытки справиться со слоновьим клыком дюжего парня, загнанного болью на девятый этаж, врач сам не досчитал среди своих передних зубов двух или трех. Гонорар, сорвавшись со щипцов, так и не посещал пустых карманов Горгиса. Вскоре опустел и ящик с инструментами, проданный за полцены. Крючья вешалки торчали, как сучья безлистового дерева. Приданое быстро таяло. И в день, когда последние жалобным дребезгом прощавшиеся ложечки были отнесены в комиссионную лавку, жена призналась Горгису, что она понесла. Бедняга схватился за голову. Жизнь, с искусством опытного дантиста, вытягивала из раскрытого зева карманов последнее пенни.

Надо было придумать выход. Целые дни бродил Катафалаки меж сверкающих витрин, воя газетчиков и резинового шороха шин. Восемь тысяч лондонских улиц играли в прятки с его запутывающимися шагами. На плакатах пароходных контор нарисованный синий дым предлагал выбирать любой меридиан. Маячащие сквозь туман буквы вывесок обещали кофе из Индии, ткани из Персии, замороженное мясо из Китая, фильмы из России, фрукты из Аргентины, философию из Германии, парфюмерию из Франции, джаз-банд — из Африки. Казалось, воздух всего мира, втянутый в этот гудящий гигантский вентилятор, хочет провер-

теться сквозь него. На грифелях бирж возникали шеренги цифр, а по асфальту, будто вдогонку за единицей, кружили нули колес. Все это было похоже на богатый пиршественный стол, вокруг которого обносят так быстро, что не успеваешь ничего взять. Надо было изловчиться и вовремя подставить свой прибор. Катафалаки попытался.

Счастливая мысль впрыгнула в голову Катафалаки как раз в то время, когда он, откинув ее назад, разглядывал сумрачное здание Лондонского Банка, перегородившее ему путь. Дельцы, днюющие на узких улицах Сити, давно уже прозвали этот жесткий каменный контур «старой леди из Триднидл-стрита». Old Lady of Threadneedle Street в этот день, как и во все дни всех веков, безоконная, наглухо застегнутая на все камни, недовольно выгибала надбровья своих плоских арок. Грязная и закопченная, крепко втопавшаяся в землю, старая скаредница, казалось, боялась из миллиардов, запрятанных под гранитный подол, израсходовать десять пенни на билет в баню.

Но Катафалаки уже повернул к ней спину: внезапная идея привела в движение его ноги и, поворачивая носками из улицы в улицу, почти втолкнула в одну из узких дверей, раскрытых на Флит-стрит. Человек, дремавший под надписью «прием подписки», повернул голову: «At Your Service¹». Идея, цепляясь за выступы слов, стала медленно, но упрямо выкарабкиваться из головы наружу.

10

Мистер Кипсмайл вышел прогулять своего добермана. Чисвикский парк, зеленеющий своими кронами в сотне шагов от дома на Кинг-стрит, в котором проживал мистер Кипсмайл, был местом вполне подходящим для такого рода прогулки. Аккуратные желтые дорожки, огибая газоны, бежали к туманной Темзе и поворачивали обратно к бронзовым воротам на Кинг-стрит. Воздух был ясен и тих, и мистер Кипсмайл, заложив руки за спину, посвистывал, причем свист его, адресованный к гонящемуся за воробьями псу, то и дело обращался в область чистой музыки, пробуя изобразить нечто вроде: «A Fine old English

¹ К вашему услугам (англ.).

Gentleman on of the Older Time»¹: это означало, что Кипсмайл в хорошем настроении. Поперек дорожки бежал газетчик, выкрикивая заголовки, и пальцы джентльмена потянулись было привычным жестом к жилетному карману, но в это время в глубине длинной аллеи, внезапно вынырнув из-за поворота, показалась фигура, притянувшая на себя все внимание и пса, и его хозяина. Пес, забыв о воробьях, подняв уши, залаял навстречу длинной, в рост приближающейся фигуре, палке; хозяин, оборвав свист, внимательно вглядывался в пешехода. Страннический шест пешехода, медленно ступая по песку, вел за собой две обутые в тяжелые дорожные сапоги ноги, над коленом одной из них, встряхивая цифры, взблескивал педометр, у пояса раскачивалась дорожная фляга, из-за плеча, покрывая лопатки врозь торчащими носами, свешивалась грудка крепких, на двойных подошвах, башмаков; и только лицо пешехода, опущенное вниз, было невидимо из-под выцветших широких полей его шляпы. Мистер Кипсмайл покивал пальцем — опущенные поля не шевельнулись, мистер Кипсмайл крикнул: «Эй, сапоги», — сапоги, повернув к нему дюжину двойных пяток, свернули в боковую аллею. Тогда, заинтересованный странным продавцом, мистер Кипсмайл двинулся вслед, набавляя шаг и голос. Пешеход остановил свой посох.

— Послушайте, — сказал Кипсмайл, учащенно дыша, — при таком обращении с покупателями вам самому придется износить все то, что у вас на спине.

— Я это и хочу, — последовал ответ.

Кипсмайл, скользнув глазами по истертой одежде и согнутым усталостью плечам незнакомца, остановил взгляд на шестизначной цифре педометра:

— Ого, может быть, вы работаете на обувные фирмы по испытанию прочности подметок?

Ничего не отвечая, пешеход вытер пот с исхудалого лица и шагнул своим посохом, но мистер Кипсмайл, у которого было доброе сердце, придержал бедняка за рукав:

— Гм, нелегкое ремесло. Но что делать: если рыбе предлагают червяка на крючке, надо или научиться переваривать крючки, или...

¹ Очаровательный старый английский джентльмен, один из людей своего времени (англ.).

Он свистнул собаку и добавил:

— Мы бы могли завернуть с вами в бар. Тут неподалеку. Я хочу предложить вам поесть и всполоснуть горло стаканчиком виски. В вашем положении я не стал бы отказываться.

Пешеход благодарно закивал и спросил:

— Бар на Кинг-стрит?

— Да, на Кинг-стрит.

— На правой стороне улицы?

— Нет, на левой.

— Тогда, простите, я не могу.

— Но почему же? Ведь это же в двух шагах.

Пешеход, виновато улыбаясь, подогнул плечо и вытащил из нагрудного кармана испещренный цифрами и метками план Лондона:

— Для вас, может быть. Мне же придется сделать крюк в 11 326 миль. Я выбираю самую короткую дорогу. Таким образом, при всем желании, сэр, не обидеть вас, я все же принужден...

И, повернувшись семью парами подошв к собеседнику, таинственный пешеход продолжал путь. Кипсмайл, позабыв закрыть рот, зорко следил за удаляющейся фигурой: сначала она взяла по прямой к выходу: в десяти шагах от распахнутых ворот круто свернула по дорожке вправо; обогнув боковой газон по часовой стрелке, фигура сделала зигзаг, выводящий на желтую параллель главной аллеи и быстро стала удаляться по правому ее краю с тем, чтобы, дойдя до ее конца, зашагать вдоль левого; отсюда — зигзаг, и глаза Кипсмайла потеряли за зелеными пятнами деревьев маневрирующую фигуру. Постояв с минуту, он хотел уже направиться к выходу, как вдруг снова увидел широко шагающий шест и груды сапог поверх согнутой спины; они двигались вокруг того же газона, но против часовой стрелки, затем пересекли перед самым носом растерявшегося джентльмена главную аллею и стали проделывать дуги и зигзаги по плетению дорожек левой части Чисвикского парка.

Мистер Кипсмайл переглянулся со своей собакой. Поднятые уши ее, казалось, тоже выражали недоумение.

— Every man has a fool in his sleeve¹.

¹ Каждый сходит с ума по-своему (англ.).

Собака сделала хвостом: гм.
И оба быстро покинули парк.

11

Конечно, мысль очень легко запутать в извилинах мозга...

Но если бы Кипсмайл успел до встречи с пешеходом просмотреть утренние газеты, ему не пришлось бы испытать чувство, наиболее точное имя которому: ярость непонимания.

Дело в том, что зигзаги таинственного пешехода, в котором читатель разгадал, разумеется, Горгиса Катафалаки, выполняли договор, подписанный на Флит-стрите, с одной стороны, — продавцом идеи — Катафалаки, с другой — ее покупателем, редакцией хилой газеты, ищущей способов увеличения подписки. Предложение Катафалаки сводилось к следующему: одиннадцать тысяч улиц Лондона, если их вытянуть в одну, как рекомендуют в виде умственного упражнения путеводители, составят линию, опоясывающую половину земного шара; «значит, если пройти по всем улицам столицы Англии по правой их стороне и вернуться по левой, то можно совершить кругосветное путешествие, не переступив лондонской черты». И автор этой простой выкладки предлагал свои подошвы для осуществления путешествия вокруг света по Лондону.

Члены редакции, посоветовавшись, согласились, что проект не лишен здорового зерна. Он иннервирует патристический рефлекс, проецирует Great Londre в Greatest comfy, лондонизирует мир, с другой стороны — самому понятию «мир» придает некий уют, поддвигает его к каменной решетке; экватор, намотанный на Лондон, как проволока на катушку, это comfy, это, черт возьми, должно понравиться коттеджам и надбавить тиража. Редактор просидел вечер за изобретением заголовка, а наутро идея Катафалаки вместе с его серо-белым портретом была брошена на лондонские перекрестки. Идею раскупили, и в промежуток времени меж утренними и вечерними газетами Горгис был самым популярным человеком в Лондоне. Редакция открыла подписку, которая должна была вознаградить смелый опыт некоей круглой суммой приза. Лондонские старожилы, домоседы и патриоты вообще

живо отозвались на призыв поддержать начинание. Но сумма ждала у конца пути, небольшого же аванса Катафалаки хватило лишь на обеспечение жены и приобретение партии сапог, столь необходимых в борьбе с пространством.

В одно из летних утр (событие это может быть разыскано в английских газетах за 1914 год) Горгису Катафалаки был дан старт. Представители спортивных обществ, военный оркестр и толпа зевак собрались у входа в главный павильон Гринвичской обсерватории. Катафалаки, в полном снаряжении, стоял, попирая первой парой своих сапог первый меридиан земли. Стартер поднял флаг. Все смолкло. Флаг ударил о воздух — и Катафалаки сделал свой первый шаг. Оркестр грянул гимн, и сотня шляп перекувырнулась в воздухе. Через минуту спина пешехода скрылась в улицах Детфорда, и толпа стала расходиться. В течение первых нескольких дней редакция, хранившая призыв Катафалаки, оповещала спортсменов и патриотов о местонахождении и скоростях человека, идущего из Лондона Лондоном в Лондон; Катафалаки, читая на ходу газеты, мог узнать, что вчера ночью он переходил Ла-Манш по Ватерлооскому мосту и набережной королевы Виктории, а сейчас идет полями Франции, держа правого тротуара Феллоурод. Эти заметки торопили и шаги и фантазию Катафалаки: через несколько недель пути, подойдя к отрогам Альп, исчерченным узкими, меж каменных обрывов, тропами Сити, он держался сапожной лавки и просил подбить одну из его пар сапог шипами, без которых трудно брать подъем; еще двумя неделями спустя, выйдя на бесплодную венгерскую пушту, протянувшуюся по обе стороны правого тротуара Пикадилли, он то и дело подносил ладонь к глазам, вглядываясь сквозь толчею, не покажется ли на горизонте хоть один человек. Лондонские туманы, отнимающие у вещей их ясный контур, оказались прекрасными помощниками в этом деле, чего нельзя сказать о людях. Дружественная газета, сперва напоминавшая о страннике, вскоре, обновляя хронику, перешла к другим очередным сенсациям. И ей, и ее читателям было теперь не до Катафалаки и его маршрута. Сараевский выстрел, множась с быстротой делящейся инфузории, вскоре дал поколение в миллионы выстрелов, которое называлось: война.

Гимн, еще так недавно снарядивший Катафалаки в дорогу, звучал теперь на всех перекрестках поперебой с грохотом колес, везущих пушки и снаряды, но Катафалаки гимн как будто бы не узнавал при встречах и отворачивался медными раструбами труб от его напоминающей улыбки. Люди, наталкивающиеся на пешехода и его палку, бормотали свое pardon, торопились дальше. Но Катафалаки, шагая Лондоном из Лондона, слишком далеко ушел от столицы Великобритании, чтобы интересоваться ею: он уже двести раз пересек Темзу по ее девятнадцати мостам, и она была то Луарой, то Сеной, Рейном, Вислой, Припятью, Днепром, Доном, Волгой.

На десятом месяце маршрутные знаки карты вели его вдоль улицы Нельсона. Это было совсем близко от Коммершел-род. Повернув голову влево, Катафалаки видел знакомое окно, поднятое девятью этажами знакомого дома, над кровлями соседних коттеджей. Вот блеснуло стекло, балконная дверь открылась: у перил, укачивая белое пятно, смутно обрисовалась женская фигура. Сердце Катафалаки забилося быстрее: повернуть за угол, взбежать по лестнице и поцеловать глаза и брови своего первенца. Охваченный до боли радостным чувством отцовства, Катафалаки, блаженно улыбаясь, опустил веки и прислонился к стене. Что-то стукнуло у самых его ног. Он раскрыл глаза: одна из запасных пар сапог, сорвавшись с ремня, прыгнула на панель и, казалось, готова была, опережая хозяина, броситься, изо всех сил работая подошвами, к его ребенку и жене. Случайность отрезвила пешехода: он стреножил строптивую пару, перебросил ее за спину, и посох его снова застучал по предначертанному цифрами и знаками зигзагу: Катафалаки был не из тех людей, кто сходит с пути,—линию, отмеченную для него на плане города-мира, он ощущал, как канатоходец линию, натянутую над пустотой: и здесь, и там—хотя бы один шаг в сторону—перечеркивал все.

Это было на прямом разбеге Гай-стрита, прорезывающего кварталы Бороу, недалеко от старинной колокольни св. Джорджа. Мальчик из пекарной лавки, поставив на голову две круглых картонки с кексом, перечитал адреса заказчиков и искусно забалансировал коробками, держа на Лондонский мост. Но не

успел он оставить за правым плечом св. Джорджа, как за ним увязался дождь: сначала несколько любопытствующих капель щелкнуло по картонкам, как бы спрашивая, что там внутри; мальчишка надбавил шагу — и тотчас же дождь застучал тысячами пальцев по картонным крышкам, пробуя силою добраться до кексовых изюминок. Но изюмины вместе с мальчишкой увильнули под навес ближайшего подъезда. Тогда расвирепевший дождь рухнул на асфальт, стараясь при помощи ветра дотянуться мокрым языком до выдержавшегося из-под самого носа лакомства. Но мальчишка, нырнув за стекла подъезда, корчил дождю веселые рожи, оглядывая опустевшую, под топотом капель, улицу: укороченная дождем перспектива была абсолютно пуста, если не считать тумб и тележки мусорщика, брошенной второпях посреди панели, и мальчишка начал было уже скучать, как вдруг слева, сквозь вертикали дождя обозначился какой-то движущийся контур. Маяча сквозь водяную пыль и разбрызги, контур, проталкиваясь сквозь исхлестанный воздух какой-то длинной оконечной, медленно, но упрямо вдвигался в поле зрения; теперь уже можно было почти с уверенностью сказать, что это человек и что на плечах у него горб; еще четверть минуты наблюдения, и мальчишка присвистнул: «Не горб, а сапоги», — а когда фигура подо двинулась еще ближе, и сосчитал: четыре пары. Еще пять-шесть секунд, и можно было попробовать перекричать дождь; раскрыв подъездную дверь, маленький пекарь замахал рукой:

— Сэр, если вы думаете, что это душ, то почему с вами нет мочалки и мыла?

Но фигура, даже не повернувшись в сторону крика, продолжала разрывать посохом водяные нити. Тогда, высунув из-под навеса стриженую голову, участливый наблюдатель забрался на самую высокую ноту своего дисканта:

— Эй, послушайте, вы, как вас, разве вы не знаете, что м-р Дождь любит ходить один? Мокрому дженгльмену из дырявой тучи — не нужно провожатых.

Фигура прошла, не оглянувшись, и раздосадованный мальчишка мог видеть только удаляющиеся восемь раструбов, приделанных к его спине, из которых хлестала вода. Сделав последнее усилие, разносчик кексов, надсаживая горло, завопил:

— Дьявол вас побери, если вы продаете воду в кожаных бутылках, то почему они у вас не закупорены?!

Но странника задернуло уже дождем, и мальчишка, чувствуя себя побежденным, отступил за дверь, вытирая рукавом с лица капли дождя и пота.

* * *

В один из дней осени 1915-го, когда главным предметом импорта были ипрские трупы и крестам на лондонских кладбищах пришлось сильно потесниться, мистер Брумс и его десятилетняя внучка Эдди, стоя у одной из дорожек Ильфорд-Симетер, смотрели на работу четырех лопат над семью футами земли. Семь футов все выше и выше выпячивали свой желтый глиняный жирный живот; лопаты еще раз огладили, нежно звеня железными ладонями, узкий лобок могилы; одна из ладоней, притронувшись тыльной стороной, разгладила округлую сырую складку. Мистер Брумс расплатился, надел шляпу и взял руку Эдди в свою:

— Идем.

— Дедушка.

— Что, Эдди?

— Папа ушел на небо, да?

— Да.

— Это далеко?

— Очень.

— Дальше, чем до Дауэр-стрит?

— Дальше.

— И дальше, чем до Энжвер-род?

— Много дальше.

— Дедушка, а куда идет этот человек?

— Какой человек? Не смотри по сторонам, грязно, — поскользнешься.

— И почему у него за спиной столько ботинок?

— Где? Гм, да: три пары.

— И длинная палка. Зачем ему три пары и длинная?

— Не знаю. Может быть, ему далеко идти. Не оглядывайся — тут лужа.

Кресты вслед крестам. Навстречу арка ворот.

— Дедушка.

— Ну, что еще?

— А может быть, ему тоже на небо. Три пары ботинок хватит? Или мало?

— Гм.

— Дедушка, я побегу и скажу ему, чтобы он передал папе, что ты и я...

— Глупости.

— Но ведь ты же сам...

— Осторожно на ступеньке. Алло, Джон. На Сити-род. Эдди, надо закутать рот шарфом — от движения ветер. Ну, вот.

Машина, обогнув подъездную дугу, мягко пошла вдоль длинного шоссе Римфорд-род. На третьей минуте Джон дал свет ведущему фонарю: вечерело. Машина шла уже меж улиц Финбри, когда из-под отогнутого шарфа выглянула пара маленьких грустных губок:

— Но почему он шел так странно: вперед, а потом назад, и вперед, и опять назад, и...?

— Кто? Ах, тот. Не знаю.

— Дедушка, а может быть, он заблудился.

— Я говорил тебе — не высовываться из шарфа: ветер.

Автомобиль выкатывал на блистающую огнями Сити-род.

Случилось так, что как раз в крещенский сочельник шестнадцатого года линия маршрута пролегла по Флит-стрит. Это был час, когда в конторах заканчиваются работы и клерки запирают счетные книги на ключ. Катафалаки шел вдоль улицы газет, всматриваясь в витрины редакции. Вот и та, знакомая дверь, за которой ему обменяли его идею на трудный и долгий путь... Щеки пешехода ввалились, карманы были пусты, и в длинной нестриженной бороде блестели сосульки. За стеклом двери можно было видеть свет и движущиеся фигуры. Катафалаки постоял с минуту в нерешительности: ему не хотелось просить пощады или хотя бы помощи, но все суставы ревматически ныли, и голод всверливался в кишки. Да, делать нечего, надо пойти и попросить хоть сколько-нибудь в счет ожидающегося его приза. Должны же они понять. Он шагнул по прямой к порогу. И тотчас же заметил: между ним и дверью — улица — редакция была по другую сторону

стрига. Он был в двадцати шагах от денег, но шаги сводили с пути; маршрут вел по левой стороне — деньги переманивали на правую. Нет, лучше не дойти, чем перейти. И Катафалаки, повернувшись под прямым углом, продолжал путь. Казалось, в педомере, приросшем к ноге, накопился такой груз цифр и миль, что каждый сгиб колена стоит страннику предельных усилий.

Осень 1916-го принесла Лондону немало испытаний. Немецкие субмарины, прорывая заграждения мин, заплывали в Темзу. Сверху грозили леты воздушных кораблей. По ночам Лондон тушил свои огни, и улицы были малолюдны и темны, как во времена мистера Пиквика. Это было около одиннадцати ночи. Дежурный полисмен стоял у поворота длинной улицы, огибающей параллелограмм Вест-Индских доков. Было так тихо, что он ясно слышал тиканье часов из-под четвертой пуговицы своего мундира. Не удивительно поэтому, что внезапно возникшие в расстоянии сотни ярдов шаги заставили его насторожиться: вор или случайный пьяница? Для пьяницы слишком ровный и в то же время — тихий звук: следовательно... подпустив шаги на десяток шагов, полисмен нажал кнопку своего фонарика. Человек, остановленный ударом света, стоял, упираясь двумя руками в посох; за спиной у него, свешиваясь тяжелыми утиными носами книзу, две пары сапог. Ну да, конечно. Полисмен, перегордив дорогу свой палочкой, еще ближе подвел фонарь к лицу ночного бродяги. Глаза их встретились. Выражение, скользнувшее от ресниц к подбородку полицейского, было из тех, которые вообще редко заглядывают под каски. Палочка опустилась, фонарь вобрал в себя луч, и Горгис Катафалаки услышал: проходите.

Пара подошв и палка снова застучали, направляясь к набережной, что у Тополя Всех Святых.

Осенью 1917-го, один из практикантов Гринвичской обсерватории, работавший под раздвинутым в звезды сводом главного павильона, с первым брезгом утра, закончив наблюдение и запись, остановил часовой механизм трубы и направился к выходу. Еще прежде, чем открыть дверь, выходящую наружу, он услышал звук двух голосов, громко споривших и притом отнюдь не в астрономических терминах. Один голос был знаком практиканту — он принадлежал ночному сторожу, дру-

гой — сильный и надорванный, но упрямый, как стук дятлова клюва о кору, был... но астроном толкнул дверь и увидел жалкого оборванца, который, усевшись на ступеньке обсерватории, подошвами в первый меридиан земли, несмотря на толчки и понукания сторожа, не желал двигаться с места. Впрочем, астроном, подумавший слово «подошвы», тотчас же отменил его. Человек, севший поперек меридиана (хотя опять-таки у меридианов не бывает никаких поперек), был бос; обросшая грязными черными волосами голова его устало наклонялась к коленям, над одним из которых поверх рваной штанины поблескивал грузом цифр диск педометра. Если не считать цифр и палки, с выражением крайнего переутомления разлегшейся на ребрах ступенек, то иного багажа у бродяги как будто бы и не было.

Сторож, заметив подошедшего астронома, обратился к нему за поддержкой:

— По-моему, сэр, это дезертир с фронта. Эй, Томми, — затряс он задремавшего было, воспользовавшись секундной паузой, бродягу за плечо, — если вы принимаете телескопы за пушки, то вас или контузило, или... ваши документы.

Бродяга, не открывая глаз, сунул руку под отрепье и вытащил свалывшуюся пачку газет: на одной из них, в обводе красного карандаша, типографская краска показывала лицо, которое могло бы сойти за фотографию младшего брата предьявителя. Так Катафалаки закончил свое кругосветное путешествие, не переступив черты столицы Великобритании.

В тот же день он обнял свою супругу и, сияя гордым ожиданием, спросил:

— А где же наш первенец?

Первенцев оказалось двое. На радостях отстранствовавший странник не придал этому особого значения. Но на следующий день он не мог не заметить, что близнецы были разного возраста и мало чем не отличались друг от друга. Складка подозрения легла меж высоких бровей Горгиса. И снова по длинному лоснящемуся носу его супруги текли слезы, и снова она призналась в обмане. Катафалаки негодовал:

— «Башмаков еще не...» — начал он гневной цитатой и тотчас же вспомнил, что семь пар двойных подошв истоптаны начисто. Но было и еще одно

обстоятельство, помешавшее закончить тираду: в дверь сунулась голова с рыжими усиками в полгубы. Голова пробовала было повернуться затылком, но Катафалаки уже держал ее за галстук:

— Послушайте, вы, на каком основании...

— Видите ли, я действительный член Филантропического общества по ухаживанию за уродливыми женщинами, и так как ваша супруга...

Но Катафалаки дернул за галстук, как если б это был звонок к адвокату по бракоразводным делам.

— Вы лжете,— закричал он, заставив губу стать бледнее усиков,— я обошел весь Лондон по правой и левой стороне, я видел все вывески всех ассоциаций, всех обществ, всех фирм, но общества по Ухаживанию за... какая наглость!

Теперь уже галстук филантропа напоминал скорее бечевку, которую рыболовы вдевают изловленной рыбе под оттопыренную жабру. Но было и нечто, отличающее жертву разъяренного мужа от рыбы: жертва не соглашалась молчать — и сквозь галстучную петлю выдавилось:

— Я обр.

— Как?! — переспросил Горгис, даже и в такую минуту не теряя любознательности.

— Обр. Брр... Еще дюйм, и я бы вывесил язык: «Погибоша аки обре». Какой же вы русский, если не знаете древнейшей русской поговорки?! Впрочем,— галстук выскользнул из растопырившихся рук Катафалаки,— в поговорку вкралась неточность — народ обров погиб не весь, и именно я последний обр, смерть которого была бы смертью целого народа. Вы полагаете, что мне необходимо всячески плодиться и размножаться, чтобы древнее племя обров не угасало и легенда стала действительностью.

Катафалаки чувствовал себя чрезвычайно сконфуженным. Как он, всегдашний сторонник национальных меньшинств, мог поднять руку на последнего обра. По его приглашению народ обров, чуть было не погибший во второй раз, уселся в гостеприимно пододвинутое кресло, и оба они, хозяин и гость, стали обсуждать, как опровергнуть печальную поговорку. Прежде всего необходимо позаботиться об увеличении числа обрят; обрята вырастут в больших обров, и тогда... но, чтобы обрята росли, нужно их кормить. Кормить будет Ка-

тафалаки. Да, но чтобы кормить, нужно иметь деньги. Катафалаки вскочил и побежал в редакцию газетки, где хранился его приз. Знакомая дверь на Флит-стрит впустила человека с радостно взволнованным лицом, а через час закрылась за человеком с лицом горестно вытянутым: оказалось, что сумма растрочена уже год тому назад казначеем редакции; единственной компенсацией человеку, который ходил, являлось то, что человек, укравший его деньги, сидел.

Но Катафалаки был бы плохим обрфилом, если б сразу отказался от своих планов. Лондонские газеты не жалели черной типографской краски на описания русской революции, как раз в это время грозившей хлынуть через плотины границ. Катафалаки стал следить за газетами. Понемногу выяснилось, что список республик и автономных областей, включаемых в Республику Советов, все длиннится и усложняется. Однажды, сидя над газетным листом на одной из скамей Трафальгар-сквера, Катафалаки так сильно хлопнул себя по лбу, что проходивший мимо продавец медной посуды оглянулся, не обронил ли он одной из своих кастрюль: «Черт возьми, почему обры хуже других?»

Через два-три дня проект создания Автономной республики обрыв лежал в портфеле под локтем у Катафалаки, проделывая путь: Лондон — Москва.

12

Первые дни после прибытия в Москву были деятельны и бодры. Пусть путь, прегражденный десятком виз, был труден и долог. Но теперь, когда он, Катафалаки, и его проект в самом котле вскипающих республик и автообластей, стоит только отстегнуть портфель — и Обрреспублика сама выпрыгнет из-под защелки на подставленную территорию.

Над снежными сугробами Москвы цвели красные однолепестковья флагов. Щеки встречных, в которые мороз вонзался мириадами остриев, как в игольные подушки, пылали алым плющом. Полозья тянулись по вызеркаленному снегу, как смычки скрипачей по наканифоленным струнам, скрипя на высоте приписанного *cis*.

И Катафалаки тоже бодро скрипел подошвами от порогов к порогам, «препровождая» копии проекта из инстанции в инстанцию. Увы, в скрипе замнаркомов-

ских перьев, отчеркивающих коротким «отказать», не было уже ничего бодрящего, а в морозных улыбках их секретарей, дальше которых проситель не был допущен, выледенялась безнадежность.

Но Катафалаки не сдавался. Обр. идею надо провести — не сверху, так сбоку. И он решил апеллировать к общественности. Пестрые плакаты, зовущие в Политехнический музей, заставили его ясно представить дальнейший ход событий: публичная лекция, нет — лекции, ряд широко организованных чтений — и там, наверху, принуждены будут отказаться от своего «отказать». Через час Катафалаки уже совещался с гр. Голидзе, специалистом по организации сборищ. Дело как будто бы начинало налаживаться. Как вдруг в одной из утренних газет в отделе рецензий Катафалаки случайно наткнулся на информацию: «Докладчик т. Луначарский был встречен взрывом апл...» Мутные пятна поплыли перед глазами Катафалаки. Он скомкал мерзлый лист, даже не дочитав названия адского вещества — какой-нибудь там «апплолит» или... но не все ли равно. Правда, красные флаги в этот день были почему-то без черного обвода, но Катафалаки, который отнюдь не был трусом, не чувствовал себя вправе рисковать идеей, и лекция не состоялась.

Надо было изыскивать новый способ. Привычка к хождению, вогнанная в нервы лондонской практикой, заставляла Катафалаки тыкаться во все московские тупики. Справа и слева тянулись витрины магазинов. Быстро пустеющий кошелек не разрешал Горгису заглядывать внутрь, за стекла, но снаружи плоские стеклянные сады расцветали такими фантастическими снежными — в многоиглии льдистых шипов — розами, что фантазии прохожего надо было стараться только не отстать. И в конце концов один из прохожих (речь, конечно, о Катафалаки) сумел не только не отстать, но даже догнать... вот что он придумал.

И Катафалаки решил: объявить самого себя государством. В конце концов, великое часто начинается с более чем малого. И на следующее утро на одной из черных лестниц Москвы, из щели «Для газет и писем» выставился — навстречу шныряющим помойным ведрам — флаг Обрреспублики. Катафалаки отдавал себе ясный отчет в тех обязанностях, какие налагало на него создавшееся политическое положение. Ему прихо-

дилось быть комиссаром всех своих комиссариатов и подданным самого себя. Поднятием правой и левой руки он выбирал себя во все упорядоченные обрстраны, границы которой простирались от порога выходной двери до стенки комнаты, увешанной декретами и распоряжениями, нормирующими жизнь ее обитателя. Как подданный, Катафалаки платил себе как правителю налоги, перекладывая последние копейки из одного кармана в другой. Желая быть во всем не хуже любого другого государства, он погрузился в чтение специальной литературы: оказывалось, что всякое государство строит свою экономическую политику на внешних или внутренних долгах, аннулирует их и заключает тайные соглашения. Правдивой и открытой натуре Горгиса претило такого рода поведение,— как подданный он пробовал даже роптать, но как правитель он посадил самого себя за это в тюрьму, запершись в своей комнате на ключ. Жизнь человека-государства становилась с каждым днем все невыносимее. Катафалаки считал, что доведенное до края гибели государство обычно пытается спасти положение, объявив кому-нибудь войну: он готов был решиться на эту последнюю меру, но, увы, в кармане у него не оказалось денег на обыкновенную почтовую марку,— послать же объявление войны без марки Катафалаки казалось неучтивым и не согласным с законами европейской дипломатии. Так началось и кончилось своеобразнейшее из государств мира, Обрреспублика, которая, быть может, и найдет когда-нибудь своего историка.

Но Катафалаки восстал против самого себя, сверг себя со всех своих постов и стал искать иных способов к подавлению и осмыслению бытия.

И вскоре в одном из московских переулков над четырьмя винтами доска:

Зубной врач

КАТАФАЛАКИ

С черного хода.

Членам профсоюзов скидка.

Людей, прошедших через гражданскую войну, начившихся отстукивать зубами голодную чечетку, нельзя было испугать щипцами Катафалаки. Они

покорно, соблюдая очередь, подставляли свои десны под крючья и сверла зубомучительского кабинета. На смену гражданину, сдернувшемуся со щипцов, приходил следующий, а пунктир из кровавых плевков, начинавшийся на верхней ступеньке черной лестницы, обрывался за поворотом на Тверской в двух домах от Моссовета.

Все шло гладко до появления некоего странного пациента. Пациент этот возник в приемной Катафалаки вслед за сумерками, из-за серой спины которых его трудно было и разглядеть. Притом другие посетители, погруженные в свои боли, замотанные в бинты, платки и вату, не выражали ни малейшего любопытства. Только часы на стенке, как показалось одному, раскачивающемуся маятником в кресле больному, стали отстукивать как-то странно четко и старательно, отдавая цокающими секундами из зуба в мозг. Кресла опустевали одно за другим. Было уже почти совсем темно, когда на пороге, отделяющем кабинет от приемной, появился сам Катафалаки. Держа в руке чемоданчик с набором инструментов, он быстро прошел мимо ряда пустых кресел, задержавшись лишь у последнего:

— Прошу извинить. Срочный вызов. У меня нет времени.

— А я утверждаю,— перегородил дорогу пациент,— что Время находится именно у вас.

Поскольку фраза была произнесена с явственным иностранным акцентом, Катафалаки не удивился странности ее построения:

— Мне это лучше известно,— пробормотал он, пробуя пройти в дверь.

— Сомневаюсь.

— Но почему?

— Потому что я... может быть, вам это покажется странным, я и есмь, только не пугайтесь, пожалуйста, Время.

Катафалаки отступил на шаг:

— Простите, вам надо по нервным, а я по зубным. Вы ошиблись дверью.

— Ничуть. Ведь вам приходилось рвать зуб мудрости?

— Да.

— А не могли бы вы попробовать и самое мудрость? Это, конечно, сложнее. Но мне, поймите, мне крайне необходимо избавиться от мудрости.

Даже рассудительнейший Полоний после своей реплики: «В его безумии есть система»,— поневоле втягивается в череду вопросов. Чего же было ждать от Катафалаки? Через минуту они сидели, врач и пациент, оживленно размениваясь фразами. Пациент рассказал нижеследующую историю, обоснованную следующими ниже резонами:

— Видите ли, слухи о стране, вмешивающейся в мои дела, не могли не задеть моего внимания. Сначала мы перевели часы на час, потом на два, на три, потом мы начали переставлять с места на место века: из XX в XXV, ну и так далее. Я не люблю, когда кто-нибудь путает мне секунды, не то что эпохи. Не обращать внимания, сослаться на то, что нет времени тому, кто сам Время, увы, нельзя. В этом смысле я вам завидую, Катактиктакфалаки, и вот пришлось, знаете ли, с циферблата на рельсы и в Москву. Очувтившись в этом странном городе, я соблюдал, разумеется, строжайшее инкогнито. Кое-что вначале мне даже понравилось и заинтересовало, например, ваше кольцо А и Б. Помню, в первый же день зашагав по кругу бульваров, я положительно не мог остановить свои отстукивающие секунды подошвы. Что значит привычка. Циферблатный диск в четырнадцать миллионов, признаюсь, несколько утомил меня. Я присел, вы разрешите мне без «о», в мужском роде, присел, говорю я, на одну из скамей,—и вот тут-то началось. Рядом со мной, вытянув ноги, двое. Один зевнул, а другой сказал: «Не знаю, право, как убить Время». Я вздрогнул и отодвинулся. Но нельзя было подавать и виду. И только в голове моей—с зубца на зубец: хорошо еще, что этот невежда не знает, как, ну а если он узнает? Не прошло и получаса, как я снова наткнулся на разговор какой-то прогуливающейся пары, обсуждающей способ меня убить. И куда я ни направлял шаги, всюду—злоумышляющие на мою жизнь. Куда бы укрыться? Я решил было купить себе безопасность в каком-нибудь номере гостиницы, но когда я подходил к освещенному стеклу подъезда, на ступеньках его стояли двое, очевидно, кого-то поджидавших. Не успел я, еле переставляя от усталости ноги, войти в полосу света, как первый сказал: «Ужасно как тянется это время». Другой отвечал: «Да, и главное, положительно некуда его деть».

Мне оставалось ретироваться — в тьму переулка, — ясно, в гостинице нет для меня места, но это еще бы ничего, гораздо неприятнее то, что меня начинают узнавать. С мрачной мыслью длил я свою почную прогулку по постепенно пустеющим улицам вашей столицы. Усталость иногда заставляла меня прислоняться спиной к стене, и тогда я видел над собой молчаливые прорези колоколен с безбойно обвисшими колоколами. И я додумывал свои думы так: механизмы, отзванивающие веру, испортились и стали; скоро и механизмы меры, прозвенев в последний раз, остановят вот свои маятники по всей земле и сразу; это будет тогда, когда меня поставят вот так, спиной к стене и... Я не могу так дальше. Терпение раскружило свой завод. Не хочу ни так, ни так. Пусть миру не быть, лишь бы мне бить: со всех циферблатов. Берите ваши щипцы — и к черту мудрость, с корнем!

Катафалаки был потрясен. Ну да, да, разумеется, необходимо помочь. Раз для Времени настали столь трудные времена... Катафалаки запутался в словах, но не в действиях — этого с ним никогда не случалось.

В ту же ночь Время, в жестком классе, в сопровождении своего покровителя, — сменив кружение часовых колес кружением колес вагона, спасалось бегством на одну из глухих станций российской равнины, над которой то здесь, то там серыми кротовыми кучами крыши деревень.

Та из них, в которой искали приюта Катафалаки и Время, несколько отличалась от большинства примосковских селений: к каждой избе была пристроена клеть с боковым пятым окном, и у каждого пятого окна сидело по ёкальщику. Кустари-ёкальщики, чье искусство передается длинной цепью поколений, привычны к слаживанию из гирь узорных стрел и из иззубренной жести базарных ходиков, кое-как ковыляющих вслед за временем. Мастера, работающие в деревенской тиши, среди степенного ёка своих развешанных по стенам изделий, любовно наряжающие белолицые циферблаты в венки из плоских лиловых и розовых цветиков, знают секунды наощупь, уважают и чтут своего кормильца — время. У пятых окон и просили укрытия и защиты Катафалаки и его таинственный спутник. Вскоре двое сидели среди бород и глаз, взявших их в тесный круг. Катафалаки, пренебрегая крас-

норечием, объяснил в кратких и простых словах, что вот так и так: московские, ну, известно кто, хотят порешить время; а если времени не будет, то кто станет покупать ихние, ёковские, ходики. И если они хотят сохранить заработок, то нужно Время спрятать, чтобы ни единый глаз...

Бороды закивали: так-так, только где оно, время-то, человек-хороший?

— Как где? — воскликнул Катафалаки.— Вот оно-то, перед вами.

Спутник, вежливо улыбаясь, привстал и поклонился. Крестьяне зачесали в бородах: странно что-то, виданное ли дело... но Катафалаки, предвидевший колебания, прибег к заранее подготовленному доказательству: отдернув полу одежды спутника, он показал — все тело Времени было увешано часовыми гирями, спускающимися на спутанных часовых цепях от плеч к чреслам: вериги гонимого страстотерпца, явленные на миг кругу из глаз, звякнув, скрылись под полу и пуговицы.

Воцарилась тишина. Только ходики на стенах озадаченно повторяли: так-то так — так-то — так. Старшой, отерев пот со лба, повторил вслед за ними: так.

И Время стало жить в деревне, с каждым днем делаясь предметом удивления все большего и большего круга людей: оно пило по утрам молоко, изъяснялось с ясным иностранным акцентом, расспрашивало о настроении соседних деревень, делало записи в своих тетрадах и отправляло письма с заграничным адресом. А затем вдруг вышло как-то так, что Время очутилось меж двух отстегнутых кобур, и лицо его, успевшее от деревенского воздуха и пищеприношений округлиться, сразу запало и вытянулось в нитку. Деревня, глядя вслед укатывающим колесам, провожала аханием и чесом в затылках, а через два дня Горгис был вызван к следователю.

— Скажите, — спросил человек во френче, заглядывая под изумленные, готическими оживами взнесенные брови предъявителя повестки, — и вы действительно верите тому, что время, причинность, ну, там... прибавочная стоимость, что ли, могут носить фильдекосовые носки и лечить зубы у дантиста?

Катафалаки молчал, но глаза его ответили. Рот человека во френче тронуло подобием улыбки:

— Ладно. Ступайте. Но только помните: если к нам придет чушь и будет жаловаться, что ее выпороли, ответите вы, гражданин Катафалаки. Так и знайте.

13

И после этого о Катафалаки что-то не слышно. Подействовал ли на него, как модератор на клавишу, разговор с улыбающимся френчем или комментарий к разговору его друзей и соотечественников, неизвестно. Он как-то отошел от общестственности, прикрутил свой энтузиазм, как коптящую лампу, одним словом, перестал поставлять материал для своей биографии. Почему? Одни говорят: потому, что поумнел, другие — потому, что вторично женился, а два раза жениться — это все равно что один раз... впрочем, пословица сложена о другом.

Кстати, о его новом браке. Женщина, ставшая ему женой, говорят, ужасно ленива. Так, когда Катафалаки еще добивался ее решительного «да» или «нет», она ответила да только потому, что оно на одну букву короче н е т.

Если это правда, то правда прискорбная: ясно, что супруга Горгиса Катафалаки не оставит мемуаров, и биография одного из наших примечательнейших современников так и останется недосказанной.

ВОЗВРАЩЕНИЕ МЮНХГАУЗЕНА

Глава I

У ВСЯКОГО БАРОНА СВОЯ ФАНТАЗИЯ

Прохожий пересек Александер-плац и протянул руку к граненым створам подъезда. Но в это время из звездой сбежавшихся улиц кричащие рты мальчишек-газетчиков:

— Восстание в Кронштадте!

— Конец большевикам!

Прохожий, сутуля плечи от весенней зяби, сунул руку в карман: пальцы от шва до шва — черт — ни пфеннига. И прохожий рванул дверь.

Теперь он подымался по стлани длинной дорожки; вдогонку, прыгая через ступеньки, грязный след.

На повороте лестницы:

— Как доложить?

— Скажите барону: поэт Ундинг.

Слуга, скользнув взглядом со стоптанных ботинок посетителя к мятой макушке его рыжего фетра, переспросил:

— Как?

— Эрнст Ундинг.

— Минуту.

Шаги ушли — потом вернулись, и слуга с искренним удивлением в голосе:

— Барон ждет вас в кабинете. Пожалуйста.

— А, Ундинг.

— Мюнхгаузен.

Ладони встретились.

— Ну вот. Придвигайтесь к камину.

С какого конца ни брать, гость и хозяин мало походили друг на друга: рядом — подошвами в каменную решетку — пара лакированных безукоризненных лодочками туфель и знакомые уже нам грязные сапоги; рядом — в готические спинки кресел — длинное с тяжелыми веками, с породистым тонким хрящем носа, тщательно пробритое лицо и лицо широкоскулое, под неряшливыми клочьями волос, с красной кнопкой носа и парой нажившихся ресницами зрачков.

Двое сидели, с минуту наблюдая пляску синих и алых искр в камине.

— На столике сигары, — сказал наконец хозяин.

Гость вытянул руку: вслед за кистью поползла и мятая в цветные полоски манжета: стукнула крышка сигарного ящика — потом шорох гильотинки о сухой лист, потом серый пахучий дымок.

Хозяин чуть скосил глаза к пульсирующему огоньку.

— Мы, немцы, не научились обращаться даже с дымом. Глотаем его, как пену из кружки, не дав докружить и постлаться внутри чубука. У людей с короткими сигарами в зубах и фантазия кургуза. Вы разрешите...

Барон, встав, подошел к старинному шкафу у стены, остро тенькнул ключик, резные тяжелые створы распахнулись — и гость, повернувшись глазами и огоньком вслед, увидел: из-за длинной и худой спины барона на выгибах деревянных крючьев шкафа старый, каких уже не носят лет сто и более, в потертом шитье, камзол; длинная шпага в обитых ножнах; изогнутая в бисерном чехле трубка; наконец, тощая, растерявшая пудру косица, срезом вниз — бантом на крюке.

Барон снял трубку и, оглядев ее, вернулся на старое место. Через минуту кадык его выпрыгнул из-под воротничка, а щеки вытянулись внутрь навстречу дыму, переползавшему из чубука в ноздри.

— Еще меньше мы смыслим в туманах, — продолжал курильщик меж затяжками, — начиная хотя бы с туманов метафизических. Кстати, хорошо, Ундинг, что вы заглянули сегодня: завтра я намереваюсь нанести визит туманам Лондона. Заодно и живущим в них. Да, белесые флеры, подымающиеся с Темзы, умеют расконтуривать контуры, завуалировать пейзажи и ми-

росозерцания, заштриховать факты и... одним словом, еду в Лондон.

Ундинг встопорщил плечи:

— Вы несправедливы к Берлину, барон. Мы тоже кое-чему научились, например, эрзацам и метафизике фикционализма.

Но Мюнхгаузен перебил:

— Не будем возобновлять старого спора. Кстати, более старого, чем вам мнится: помню, лет сто тому назад — мы проспорили всю ночь с Тиком на эту тему, правда, в иных терминах, но меняет ли это суть? Он сидел, как вот вы, справа от меня и, стуча трубкой, грозился ударить снами по яви и развеять ее. Но я напомнил ему, что сны видят и лавочники, а веревка под лунным светом хотя и похожа на змею, но не умеет жалить. С Фихте, например, мы пререкались куда меньше: «Доктор, — сказал я философу, — с тех пор, как не-я выпрыгнуло из я, ему следует почаще оглядываться на свое о т к у д а». В ответ герр Иоганн вежливо улыбнулся.

— Разрешите мне улыбнуться не столь вежливо, барон. Это противится критике не больше, чем одуванчик ветру. Мое «я» не ждет, когда на него оглянется «не-я», — а само отворачивается от всяческих н е. Так уж оно воспитано. Моей памяти не дано столетий, — поклонился он в сторону собеседника, — но нашу первую встречу, пять недель тому, я как сейчас помню и вижу. Доска столика под мрамор, случайное соседство двух кружек и двух пар глаз. Я — глоток за глотком, вы же сидели, не касаясь губами стекла, и только изредка — по вашему кивку — кельнер на место невыпитой кружки приносил другую, остававшуюся тоже невыпитой. Когда хмелем чуть замглило голову, я спросил, что вам, собственно, надо от стекла и пива, если вы не пьете. «Меня интересуют лопающиеся пузырьки, — отвечали вы, — и когда они все лопнут, приходится заказывать новую порцию пены». Что ж, всякий развлекается на свой лад, мне вот в этой жиже нравится ее поддельность, суррогатность. Пожав плечами, вы оглядели меня — напоминаю вам это, Мюнхгаузен, — как если бы и я был пузырьком, прилипшим к краю вашей кружки...

— Вы злопамятны.

— Я памятлив на всякое: до сих пор еще в моем мозгу кружит пестрая карусель, завертевшаяся там,

у двух сдвинутых кружек. Мы пересекали с вами моря и континенты с быстротой, опережающей кружение земли. И когда я, как мяч меж теннисных ракеток, перешвыриваемый из стран в страны, из прошлого в грядущее и отбиваемый назад, в прошлое, выпав случайно из игры, спросил: «Кто вы такой и как вам могло хватить жизни на столько странствий?» — вы — с учтивым поклоном — назвали себя. От поддельного пива и опьянение поддельно и запутывающе, реальности лопаются, как пузыри, а фантазмы втискиваются на их место, — вы иронически качаете головой? Но знаете, Мюнхгаузен, — между нами — как поэт, я готов верить, что вы — вы, но как здравомыслящий человек...

В разговор всверлился телефонный звонок. Мюнхгаузен протянул длиннопалую руку, с овалом лунного камня на безымянном, к аппарату:

— Алло! Кто говорит? А, это вы господин посол? Да, да. Буду, через час.

И трубка легла на железные вилки:

— Видите ли, любезный Ундинг, признание поэтом моего бытия мне чрезвычайно льстит. Но если бы вы даже перестали верить в меня, Иеронима фон Мюнхгаузена, то дипломаты не перестанут. Вы поднимаете брови: почему? Потому что я им необходим. Вот и все. Бытие де-юре, с их точки зрения, ничем не хуже бытия де-факто. Как видите, в дипломатических пактах гораздо больше поэзии, чем во всех ваших виршах.

— Вы шутите.

— Ничуть: на жизнь, как и на всякий товар, спрос и предложение. Неужели вас не научили этому газеты и войны? И состояние политической биржи таково, что я могу надеяться не только на жизнь, но и на цветущее здоровье. Не торопитесь, друг мой, зачислять меня в призраки и ставить на библиотечную полку. Да-да.

— Что ж, — усмехнулся поэт и оглядел длинную, с локтями на поручнях кресла, фигуру собеседника, — если акции мюнхгаузиады идут вверх, я, пожалуй, готов играть на повышение: до степени бытия включительно. Но меня интересует конкретное к а к. Конечно, я признаю некую диффузию меж былью и небылью, явью в «я» и явью в «не-я», но все-таки как могло случиться, что вот мы сидим и беседуем без помощи слуховой и зрительной галлюцинации. Мне это важно

знать. Если в слове «друг», подаренном вами мне, есть хоть какой-нибудь смысл, то...

Мюнхгаузен, казалось, колебался.

— Исповедь? Это скорее в стиле блаженного Августина, чем барона Мюнхгаузена. Но если вы требуете... только разрешите хоть изредка, иначе я не могу, из тины истины в вольный фантазм. Итак, начинаю: представьте себе этаким гигантский циферблат веков; острие его черной стрелы — с деления на деление — над чередой дат; сидя на конце стрелы, можно разглядеть проплывающие снизу: 1789—1830—1848—1871—и еще, и еще,— у меня и сейчас еще рябит в глазах от бега лет. Теперь вообразите, любезный друг, что ваш покорный слуга, охватив коленями вот эту самую, повисшую над сменой годов (и всего, что в них) стрелу, кружит по циферблату времени. Да, кстати, крючья шкафа, который я забыл запереть, помогут вам увидеть тогдашнего меня яснее и детальнее: коса, камзол, шпага, свесившись над циферблатом, качается от толчков. А толчки стрелой о цифры все сильнее и сильнее: на 1789 крепче стискиваю колени, на 1871 приходится и руками и ногами за края стрелы, но с 1914 тряска цифр делается невыносимой: ударившись о 1917 и 1918, теряю равновесие и, понимаете ли, сверкнув пятками, вниз.

Навстречу — сначала неясные, потом вычтчивающиеся сквозь воздух пятна морей и континентов. Протягиваю руку, ища опоры: воздух и ничего, кроме воздуха. Вдруг — удар о ладони, сжимаю пальцы — в руках у меня шпиль — представьте себе, обыкновенный, как игла над наперстком, надкупольный шпиль. Над головой — в двух-трех футах — флюгер. Подтягиваюсь на мускулах. Легким ветерком флюгер поворачивает из стороны в сторону — и я могу спокойно оглядеть распластавшуюся под моими подошвами в двух-трех десятках метров ниже землю: радиально расчерченные дорожки, мраморные марши, стриженные шеренги деревьев, прозрачные гиперболы фонтанных струй — все это как будто уж знакомо, не в первый раз. Скольжу по шпилю вниз и, усевшись на дымовой трубе, внимательно оглядываю местность: Версаль, ну конечно же. Версаль, и я на краю Трианона. Но как сойти? Упругие пары дыма, скользящие по моей спине, подсказывают мне простой и легкий способ.

Напоминаю: если я теперь, так сказать, оброс и приобрел некоторую весомость, то в тот первый дебютный день я был еще немногим тяжелее дыма: и я ныряю в дымовой поток, как водолаз в воду, и плавно опускаюсь,—я вскоре у дна, то есть, отбрасывая метафоры, внутри камина — такого же, как вот этот (лакированный туфель рассказчика ткнул носком в чугунную решетку, огни за которой уже успели оттлеть). Я огляделся: никого. Вышагнул наружу. Камин находился, если судить по заставленным книгами и папками длинным сплошным полкам, в библиотеке дворца. Я прислушался: за стеной шум сдвигаемых кресел, потом тишина, размеченная лишь дробным стуком маятника, потом заглушенный стеной чей-то ровный шаркающий по словам, как туфли по половицам, голос. Мне, человеку, свалившемуся со стрелы на циферблат, конечно, еще не было известно, что это одно из заседаний Версальской конференции. На библиотечном столе картотека, последние номера газет и папки с протоколами. Я тотчас же погрузился в чтение, быстро ориентируясь в политическом моменте, когда вдруг за стеной — шум раздвигаемых стульев, смутные голоса и чей-то шаг к порогу библиотеки. Тут я... нет, видно, еще раз придется навестить старый шкаф.

И Эрнст Ундинг, наклонившийся всем корпусом навстречу рассказу, следил нетерпеливыми глазами, как барон, прервав рассказ, не торопясь приблизился к торчавшим из глубины шкафа крючьям и опустил руку в топорщавшийся карман старинного камзола.

— Ну вот,—повернулся Мюнхгаузен к гостю. В протянутой его руке алело сафьяном небольшое в золотом обресе с кожаными наугольниками ин-октаво.—Вот вещь, с которой я редко расстаюсь. Полюбуйтесь: первое лондонское издание еще 1783 года.

Он отогнул ветхий истертый переплет. Зрочки Ундинга, вспрыгнув на титулблатт, скользнули по буквам: «Рассказы барона Иеронимуса фон Мюнхгаузена о его чудесных приключениях и войнах в России». Переплет захлопнулся, и книга поместилась рядом с рассказчиком на разлапистой ручке кресла:

— Боясь прослыть за шпиона, неизвестно как подобравшегося к дипломатическим тайнам,— продолжал Мюнхгаузен, снова отыскав подошвами край каминной решетки,— я поспешил спрятаться: открыв свою книгу — вот так,— я насутулился, подобрал ноги к подбородку, голову в плечи, сжался, сколько мог, и впрыгнул меж страниц, тотчас же захлопнув за собой переплет, как вы, скажем, захлопываете за собой дверь телефонной будки. В этот миг шаги переступили порог и приблизились к столу, на котором, сплющившись меж шестьдесят восьмой и шестьдесят девятой страницами находился я.

— Должен вас перебить,— привскочил с кресла Ундинг,— как вы могли укоротиться до размеров вот этой книжечки? Это во-первых, а...

— А во-вторых,— ударил ладонью по сафьяну барон,— я не терплю, когда меня перебивают... И, в-третьих, плохой же вы, клянусь трубкой, поэт, если не знаете, что книги, если только они книги, иногда соизмеримы, но никогда не соразмерны действительности!

— Допустим,— пробормотал Ундинг.

И рассказ продолжался.

— Случаю было угодно, что человек, чуть не заставший меня врасплох (кстати, это был один из онеров трепаной дипломатической колоды), привел и себя и меня к новому расплоху: пальцы дипломатического туза, отыскивая какую-то там справку, скользя от переплетов к переплетам, нечаянно зацепили за сафьяновую дверь моего убежища, страницы разомкнулись, и я, признаюсь в некотором смущении, то растрехмериваясь, то снова плющаясь, не знал, как быть. Туз выронил сигару изо рта и, откинув руки, опустился в кресло, не сводя с меня круглых глаз. Делать было нечего: я вышагнул из книги и, сунув ее себе под мышку, вот так, сел в кресло напротив и придвинулся к дипломату, колени к коленям: «Историки запишут,— сказал я, ободряюще кивнув,— что открыли меня вы». Отыскав слова, он наконец спросил: «С кем имею?» Я опустил руку в карман и, молча, протянул ему вот это.

Прямо против глаз откинувшегося к спинке Ундинга проквадратилась визитная карточка — готическим шрифтом по плотному картону:

барон
ИЕРОНИМУС фон МЮНХГАУЗЕН

*Поставка фантазмов и сенсаций.
Мировым масштабом не стесняюсь.
Фирма существует с 1720.*

Пять строк, постояв в воздухе, перекувырнулись в длинных пальцах барона и исчезли. Маятник стенных часов не успел качнуться и десяти раз, как рассказ возобновился:

— Во время паузы, длившейся не дольше этой, я успел заметить, что выражение лица дипломатического лица меняется в мою пользу. Пока его мысль — из большой посылки в малую, я услужливо подвинул вывод: «Более нужного человека, чем я, вам не сыскать. Верьте честному слову барона фон Мюнхгаузена. Впрочем...» — и я раскрыл свое ин-октаво, готовясь ретироваться, так сказать, из мира в мир, но дипломат поспешно ухватил меня за локоть: «Ради бога, прошу вас». Ну что ж, подумав, я решил остаться. И мое старое обжитое место, вот тут — между шестьдесят восьмой и шестьдесят девятой — не угодно ли взглянуть, — опустело: думаю, надолго, а то навсегда.

Ундинг взглянул: на отогнутой странице меж разомкнутых абзацев из тонких типографских линеек длинная рамка: но внутри рамки лишь пустая белая поверхность книжного листа — иллюстрация исчезла.

— Ну вот. Моя карьера, как вам это, вероятно, известно, началась со скромного секретарства в одном из посольств. А затем... впрочем, минутная стрелка разлучает нас, любезнейший Ундинг. Пора.

Барон нажал кнопку. В дверях просунулись баки лакея.

— Подайте одеться.

Баки — в дверь. Хозяин поднялся. Гость тоже.

— Да, — протянул Мюнхгаузен, — они сняли у меня мой камзол и срезали мне косицу. Пусть. Но запомните, мой друг, настанет день, когда эту вот ветошь (длинный палец, блеснув лунным овалом, пророчески протянулся к раскрытому шкафу), эту вот тлень, сняв с крючьев, на парчовых подушках, в торжественной

процессии, как священные реликвии, отнесут в Вестминстерское аббатство.

Но Эрнст Ундинг отвел глаза в сторону:

— Вы перефантазировали самого себя. Отдаю должное — как поэт.

Лунный камень опустился книзу. Нежданно для гостя лицо хозяина сплissировалось в множество смеющихся складочек, как-то сразу старея на столетия, глаза сощурились в узкие хитрые щелочки, а тонкий рот, разжавшись, обнажил длинные желтые зубы:

— Да-да. Еще в те времена, когда я жывал в России, они сложили про меня поговорку: у всякого барона своя фантазия. «Всякого» это позднее при-сказалось,—имена ведь, как и иное все, затериваются. Во всяком случае льщу себя надеждой, что я шире и лучше всех других баронов использовал право на фантазию. Благодарю вас, и тоже, как поэт поэта.

Цепкая сухая ладонь схватила пальцы Ундинга:

— И как хотите, друг: можете верить или не верить Мюнхгаузену и... в Мюнхгаузена. Но если вы усомнитесь в моем рукопожатии, то очень обидите старика. Прощайте. Да, еще — крохотный совет: не всверливайтесь глазами во всех и все: ведь если просверлить бочку — вино вытечет, а под обручами только и останется глупая и гулкая пустота.

Ундинг улыбнулся с порога и вышел. Барону подали одеваться. Элегантный секретарь, шмыгнув в комнату, расшаркался и протянул патрону тяжелый портфель. Одернув лацкан фрака, Мюнхгаузен скользнул большим и указательным левой руки по обрезу папок, торчавших из портфеля. Мелькнули: протоколы Лиги Наций — подлинные документы о Брестском мире — стенограммы заседаний Амстердамской конференции, Вашингтонского, Версальского, Севрского и иных, иных и иных договоров и пактов.

Брезгливо сощурился, барон Мюнхгаузен поднял портфель за два нижних угла и вытряхнул все его содержимое на пол. И пока секретарь и слуга убирали бумажные кипы, барон подошел к терпеливо дожидавшемуся — на ручке кресла — томику в сафьяне; томик нырнул внутрь освободившегося портфеля, звонко над ним защелкнувшегося.

Глава II

ДЫМ ДЕЛАЕТ ШУМ

Сначала под ногами у Ундинга побежали ступеньки, потом сыростью сквозь протертые подошвы асфальт тротуара. За спиной загудело авто барона и, обдав пешехода грязью, метнулось желтым двуглазием сквозь мгlistые весенние сумерки.

Ундинг, наставив воротник пальто, прошагал сквозь гудящую арку, под повисшими в воздухе четырьмя параллелями рельс и по широкой прямой бывшей улицы Короля. Справа прочертились каменные кубы, дуги и навеси дворца. По укатанной шиной стеклистой слизи асфальта тянулись — нитью фиолетовых бус — отражения фонарных огней: с выступов в креп сумерек овитого дворца свешивались, обмокшие в дожде, флаги революции. Затем, справа и слева, мимо глаз чугунные скамьи Унтер-ден-Линден — и навстречу, — утаптывающая бронзовыми копытами воздух, — черная квадрига Бранденбургских ворот.

Идти было не близко. Сквозь длинный Тиргартен и потом по Бисмаркштрассе, мимо десяти перекрестков к окраинной линии Шарлоттенбурга. Влажный и дымный воздух казался дешевой и неискусной подделкой под воздух; вспучившиеся стекла фонарей, казалось, вот-вот легкими пенными пузырями вверх, а на крыши и панель беззвучным обвалом рухнет тьма. Замелькавшие мимо шагов голые деревья Тиргартена напомнили пешеходу об искромсанных снарядами перелесках, потом ассоциации придвинули ближе глаз, внутрь черепа, скрещение фантастических траншейных улиц. Пешеход остановился и, вслушиваясь, думал, что гул города — там, за Тиргартеном, похож на уползающие грохоты артиллерийского боя. Под большим и указательным правой руки, еще помнившей недавнее прикосновение пальцев Мюнхгаузена, вдруг ясно ощутилась, почти обжигая кожу, раскаленная выстрелами сталь ружейного замка.

— Фантасмагория, — пробормотал Ундинг, оглядывая звезды, фонари, деревья и стлань аллей.

Чья-то зыбкая тень, будто ее назвали по имени, несмело приблизилась к поэту. Под обмокшим каркасом шляпы выпяченные голодом и румянами скулы; проститутка. Ундинг отвел глаза и пошел дальше.

Вначале он пробовал придумать уменьшительное к имени фантазмагория. Но ни хен, ни лейн не прира- стали. Тогда, вслушиваясь в ритм своих шагов, он привычным психическим усилием завращал в себе ас- сонансы и ритмы, внешний мир для него стал короче полей его фетра,—и немая клавиатура слов зашевели- ла своими клавишами.

Толчок плечом о чье-то плечо опрокинул строфу: роняя рифмы, поэт поднял глаза, оглядывая улицу. Подъезд его дома оказался пройденным. Вдруг ощути- лось: к коленям тяжелыми гирями — усталость. Ундинг с досадой прикинул в уме: два раза по двести — итого четыреста шагов чистой убыли; вот и весь гонорар.

Эрнст Ундинг далеко не каждый день читал газеты. Правда, после прощального разговора с Мюнхгаузе- ном он натолкнулся на заметку в три строки о члене дипломатического корпуса бароне фон М., выбившем с экспрессом — по делам, не подлежащим оглаше- нию,— в Лондон. Еще через неделю крупный шрифт газетной депеши сообщал об успешном представитель- стве фон М. в влиятельнейших сферах Англии. Оста- лные буквы имени будто проваливались в лондонский туман. Ундинг с улыбкой отодвинул газетный лист. Дальнейшие информации прошли мимо него: Ундинг простудился и слег, исключившись на пять или шесть недель из всех событий. Когда больной поправился настолько, что мог подойти к окну и раскрыть ему створы,—из-за стекол ударило солнечным весенним воздухом. Снизу, рикошетируя о стены, вперебой голо- са газетчиков. Перегнувшись через подоконник, Ун- динг услышал — сначала конец выкрика, потом нача- ло, потом все:

— Сенсационно! Барон Мюнхгаузен о Карле Мар- ксе!!!

— Мюнхгаузен о...

Полохнуло ветром. Выздоровливающий сомкнул окно и, трудно дыша, опустился на стул. Губы его, беззвучно шевельнувшись, проартикулировали:

— Начинается.

Тем временем барон Мюнхгаузен, благополучно прибыв в Лондон, был, по его словам, чрезвычайно любезно принят местными туманами. Туманы верно

и покорно служили ему. Он умел наполнять ими головы по самое темя ловчее опытной молочницы, разливающей свой товар по бидонам.

«Лошади и избиратели,— говаривал барон в узком дружеском кругу,— если не надеть на них наглазников, непременно вывалят вас в канаву, и я всегда был поклонником теннисровой техники, дающей возможность черному стать белым, а белому породниться с черным: через серое. Нейтральные тона в живописи, нейтралитет в политике, и пусть себе Джоны, Михели и Жаны пучат глаза в туман: что там — луна или фонарь?»

Впрочем, парадоксы эти редко переступали порог трехэтажного коттеджа на Бейсвотер-род, где поселился барон. Дом был нарочно выбран в некотором отдалении от грохочущего Черинг-Кросса, обменивающего людей на людей. Позади коттеджа просторные и не слишком шумные улицы Паддингтона, а из окон верхнего этажа — за длинным извивом ограды, молчаливые аллеи Кенсингтонского парка: зимой — на его деревьях клочьями ваты снег, летом — под его деревьями закапанный чернильными пятнами теней шафранный песок дорожек.

Поселившись здесь, барон Мюнхгаузен прежде всего распорядился перекопать крохотный палисадник, прижавшийся орнаментами своих ковровых цветов и стриженной травы к красным кирпичам дома, и собственноручно насадил семена турецких бобов, привезенных им в особой старинной коробочке на дне дорожного чемодана. Бобы, после первых двух-трех поливок, со странной быстротой закружили своими спиралями по стене вверх и вверх. Еще в полдень они были на уровне первого этажа, а к вечеру, когда сквозь сизо-коричневый туман прорезался мутный серп луны, тонкие усики зеленых витуш уже дотянулись до окна кабинета в третьем этаже, где хозяин в это время работал, придвинув какие-то старые в бисеринах букв записные тетради к зеленому колпачку лампы. Бобовые спирали поводили тонкими нитями усиков, явственно нацеливаясь ими в лунный серп. Но Мюнхгаузен строго оглядел странников и, погрозив пальцем, сказал:

— Опять?

И наутро удивленные прохожие, покачивая головами, созерцали буйную поросль, которая, докружив до

самой крыши, вдруг обвисла зелеными спиральными свесами назад к земле. С этого дня дом на Бейсвотер-род прозвали «коттеджем сумасшедших бобов».

Распорядок дня барона Мюнхгаузена подтверждали слова модного американского писателя: «Духовные вожди человечества работают не более двух часов в сутки,—притом они работают далеко не каждый день». Обычно, встав с постели, барон просматривал газеты, выпивал чашку кофе мэрвайс, и, выкурив трубку, менял ночные туфли на остроносые штиблеты. После этого начиналась прогулка. Первую ее часть барон совершал пешком: он пересекал зеленолиственный Кенсингтон от северных ворот к западным. Ему нравилось видеть прыгающие по дорожкам пестрые лучи, песочные города, крохотных головастиков, которым старые — недопревратившиеся в миссис — мисс читают сказки из большебуквых с раскрашенными картинками книг. Слева выгибала серые чешуи Змеиная река. Справа — навстречу шагам — сквозь паутину ветвей — памятник несуществовавшему Питеру Пэну, у западных ворот дожидается лимузин. Шофер Джонни откидывает дверцу, и барон под защелк — неизменное:

— К самому несуществующему.

Джонни — «слушаю». И лимузин, обогнув ограды Кенсингтона и Гайд-парка, поворотом руля вправо добавляет еще четыре колеса к тысячам колес, скользящим вдоль одетой в стекло и камень Пикадилли. А там, по strandу — и справа затканые в туман над ребрами кровель — башни Тампля и круглый купол св. Павла. У ступеней собора Джонни снова откидывает дверцу: приехали.

Барон раздает пенни нищим и входит в храм. Чаще всего он посещает знаменитую Галерею Шепота, умеющую пронести сквозь сотни футов малейший шорох еле слышного слова; но иногда он направляется к величественным мраморам гробницы Веллингтона. Тут всегда кучка туристов, шмыгающих глазами по акантным завиткам капителей, кистям балдахина и буквам, врезанным в камень. Но Мюнхгаузена интересует другое. Подозвав служку, он протягивает палец к аллегорическим фигурам, затерявшимся среди деталей надгробия:

— Что это?

— Правдивое изображение Истины и Лжи, сэр.

— А которая из них Истина? — прищуривается барон.

— С вашего разрешения, вот эта.

— В прошлый раз, помнится, вы называли ее Ложью, — подмигивает барон, и правая бровь его выгибается кверху. Тут служка, привыкший уже к причудам посетителя, знает, что наступил момент, когда надо смотреть не на Истину и не на Ложь, а на серебряный шиллинг, блеснувший из щепоти богатого посетителя, потом благодарно откланяться и исчезнуть. Из собора Мюнхгаузен выходит с ясным, чуть не просветленным лицом и, ставя ногу на ступеньку авто, неизменно произносит:

— Когда к Богу ни приди, никогда его нет дома. Попробуем к другим.

Произносится адрес — и Джонни поворачивает руль или вправо — к Патерностер-стрит, или влево — к суе Флит-стрита, расшвыривающего буквы по всей земле; отсюда уже двадцативерстные радиусы Лондона — то тот, то этот — протягиваются под шуршащие шины лимузина.

Отдав два-три визита, барон кивает шоферу: домой. Назад едут чаще всего нищими кварталами Ист-Энда. Грязные дома похожи на прессованный туман, но человек, откинувшийся к кожаным подушкам лимузина, думает, что только одно в мире не рассеять и не свести ветрами: нищету.

В коттедже сумасшедших бобов уже дожидаются интервьюеры. Карандаши их приходят в движение. Мюнхгаузен терпеливо и любезно отвечает на все вопросы:

— Мое мнение о парламентаризме? Извольте: как раз вчера я закончил вычисление о количестве мускульных усилий, потребовавшихся для подъема и опускания языков у всех ораторов Англии: из расчета по три оппонента на одного докладчика, беря Нижнюю и Верхнюю Палату, перемножая число годовых заседаний на число лет, считая с 1265-го по 1920-й, присчитав фракции, комиссии и подкомиссии и переведя все в пуд-футы и лошадиные силы, получим — вы только представьте себе — силовой разряд, достаточный для возведения двух хеопсовых пирамид. Какое величественное достижение. Только подумать. И социалисты после этого утверждают, что мы не знаем физического труда.

— Моя тактика борьбы? В социальном плане? Чрезвычайно простая. До примитивизма. Даже африканские дикари умели ее сформулировать. Да-да: у них на озере Виктория есть водопад; когда подъезжаешь — уже за много километров слышен шум; приблизившись — видишь гигантское облако водяной пыли — от неба до земли. Дикари называли это — Мози-са-Тунья, что значит: дым делает шум. Вот.

— Вы там бывали, сэр? — интересуется репортер.

— Я бывал в небывалом: это значительно дальше. И вообще я полагаю — вы записываете? — реальны лишь две силы: шум и ум. И если б когда-нибудь они соединились... Впрочем, давайте на этом кончим.

Барон встает, интервьюеры прячут блокноты и откланиваются.

После этого слуга докладывает: обед подан. Мюнхгаузен спускается в столовую. Среди череды блюд всегда и его любимые жареные утки. Насытившись, барон переходит в кабинет и усаживается в мягкое кресло; пока слуга хлопчет у вытянутых ног барона, меняя штиблеты на пуховые туфли, барон, благодушно шуря глаза, с сытой созерцательностью наблюдает, как лондонский дождь там, за стеклом, заштриховывает зеленый пейзаж парка. Наступает час, который в коттедже сумасшедших бобов принято называть: час послеобеденного афоризма. На пороге, бесшумно ступая, появляется чинная мисс и, выдвинув из угла столик с пишущей машинкой, кладет пальцы на клавиатуру. Мюнхгаузен не сразу приступает к диктанту: сначала он долго сосет свою трубку, передвигая ее из одного угла рта в другой, как бы выбирая, каким углом курить, каким говорить. Курит барон удивительно: сначала сизо-белые вращающиеся сфероиды, потом вокруг них прозрачными сатурновыми кольцами — одно кружит вправо, другое влево — медлительные дымные извития:

— Пишите. Старому лимбургскому сыру никого не жалко, но он все-таки плачет.

— Раньше, чем устрица успеет составить мнение о запахе лимона, ее уже съели.

Уши мисс спрятаны под тугие рыжие пряди, и сидит она, отвернувшись от афоризмов, с глазами в косые линейки дождя, но пальцы стучат по клавишам, дождь стучит по стеклу, — и диктант длится, пока барон, вытряхнув пепел из трубки, не произнесет:

— Благодарю. Завтра — как обычно.

Он пробует приподняться, но дремота отяжелела ему тело, затуманила мысли, — и явь, вместе с рыжеволосой мисс, неслышно ступая, выходит за порог.

А под смеженными веками череда видений: снящийся автомобиль везет Мюнхгаузена по снящимся улицам; они странно безлюдны и немы, и, ни разу не нажав сигнального рожка, Джонни останавливает шуршание шин у колоннады св. Павла. Мюнхгаузен уже опустил ногу к ступеньке, как вдруг собор приходит в движение: голова его под гигантско-круглой шапкой наклоняется, бодая крестом воздух, двускатная спина выгнулась, и чудовище, шевеля всеми своими колокольными языками, кричит: «Сэр, как пройти в Савлы, прямо и не сворачивая?» Расторопный Джонни включил мотор и крутым поворотом руля — назад; но чудовище, шагая двенадцатью гигантскими колоннами и с грохотом волоча свое длинное каменное тулово, — вслед. Коробка скоростей, проскрежетав, швыряет стрелку на максимум. Но чудовище, проворно перебирая колончатými лапами, все ближе и ближе. Машина — на полном ходу — сворачивает в одну из узких улиц Ист-Энда. Собор пробует протискаться вслед, проталкиваясь прямоуголием каменного плеча в уличную щель. И тут Мюнхгаузен, вскочив на сиденье, кричит в сотни квадратных глаз, протянувшихся справа и слева: «Эй вы, чего уставились, не пускайте его!» И дома по первому же оклику, послушно придвигая окна к окнам, загораживают собору путь; со вздохом облегчения барон опускается на подушки, но в это время он видит повернувшееся к нему смертельно бледное лицо Джонни: «Что вы наделали, — мы гибнем». И действительно, только теперь барон видит, что ведь дома нищего Ист-Энда, лишённые промежутков, впаяны друг в друга, кирпичи в кирпичи, образуя одну лишь цифрами номеров членимую массу: и как только те позади придвинулись друг к другу, передние кирпичные короба принуждены делать то же — и улица медленно сдвигает стены, грозя расплющить и мчащийся автомобиль, и тех, кто в нем; оси машины — нетнет — чиркают о стены, скорей, — впереди просвет площади; но поздно — гигантская плющильня зажала бесстрашно жужжащее авто в затиск многоэтажных коробов, ее стальные крылья и кузов хрустят, как элитры

насекомого, попавшего меж земли и подошвы. Ударом ноги Мюнхгаузен вышибает надвигающуюся справа на него оконную раму и впрыгивает внутрь дома. Но бедному Джонни не повезло — он в полете меж двух окон — улица уперлась кирпичами в кирпичи, — короткий крик, затерявшийся в удары громад о громады, — все стихло. И вдруг позади: «Стекольщику будете платить вы, мистер». Мюнхгаузен оборачивается — он внутри бедной, но опрятно убранной комнаты; посередине — кухонный стол, за столом над дымящимися мисками пожилой человек без пиджака, костлявая женщина с больным румянцем на скулах и двое мальчуганов; свесив ноги со скамьи, с ложками, увязшими во рту, дети восхищенно разглядывают пришельца. «И должен вас предупредить — стекло подорожало, — продолжает мужчина, размещивая содержимое миски. — Том, пододвинь стул мистеру, пусть присядет».

Но Мюнхгаузен и не думает присаживаться: «Как вы можете сидеть тут, когда Савл в Павлах, улицы нет и вообще ничего нет». Мужчина, к удивлению барона, не удивлен: «Если к ничего прибавить ничего, все равно выйдет ничего. И тому, кому некуда идти, мистер, — зачем ему улица. Кушайте, дети, стынет».

Барон, будто новая стена надвинулась на него, пятится к двери, опрокинув любезно подставленный стул, и по ступенькам: квадрат двора меж четырех стен. «А вдруг и эти тоже?» Скорее под низкие ворота: опять квадрат меж четырех нависших стен; ворота ниже и уже — и снова квадрат меж еще ближе сдвинувшихся стен. «Проклятая шахматница», — шепчет испуганный Мюнхгаузен и тотчас же видит: посреди квадрата — на огромной круглой ноге, вздыбив черную лакированную гриву, шахматный конь. Ни мига не медля, Мюнхгаузен впрыгивает коню на его крутую шею; конь прынул деревянными ушами, и, ловя коленями скользкий лак, Мюнхгаузен чувствует: шахматная одноножка, пригнувшись, прыгает вперед, еще вперед и вбок, опять вперед, вперед и вбок; земля то проваливается вниз, то, размахнувшись шпильями и кровлями, ударяет о круглую пятку коня; но пятка — Мюнхгаузен это хорошо помнит — подклеена мягким сукном, бешеная скачка продолжается: мелькают — сначала площади, потом квадраты полей и клетки городов — еще и еще — вперед, вперед, вбок и вперед; круглая пятка

бьет то о траву, то о камень, то о черную землю. Затем ветер, свистящий в ушах, затихает, прыжки коня короче и медленнее — под ними ровное снежное поле; от его сугробов веет холодом; конь, оскалив черную пасть, делает еще прыжок и прыжок и останавливается среди ледящей равнины — подклеенная сукном нога примерзла к снегу. Как быть? Мюнхгаузен пробует понукать: «К g-8 — f-6; f-6 — d5, черт, d5 — b6», — кричит он, припоминая зигзаг «защиты Алехина». Тщетно! Конь отходил свое: деревянная кляча отходит. Мюнхгаузен плачет от гнева и досады, но слезы примерзли к ресницам, от холода нельзя устоять и секунды — и, растирая ладонями уши, он шагает — вперед, вперед и вбок, и снова вперед, еще вперед и вбок, разыскивая хоть единое пятнышко на белоснежной скатерти, аккуратно, без морщинки, застилающей огромный круглый, лишь горизонтом отороченный, стол. И вдруг он видит: там, впереди, скользя легкой тенью, какая-то длинная из острых готических букв — колючая и вертикальная многоножка. Мюнхгаузен ловит глазами черную вереницу букв и прочитывает их: это его имя. Изумление обездвижило Мюнхгаузена. Тем временем осьмнадцатibuквое БАРОН фон МЮНХГАУЗЕН не теряет времени: выгибая слоги, оно скользким ползом внезапно к выставившемуся из земли пограничному столбу: на столбе доска, на доске знаки. Мюнхгаузен, с трудом отрывая примерзающие подошвы, вслед улепетывающему имени. Но имя уже доползло до столба и шлагбаума, занесшего красные и белые полосы над белой равниной, и оборачивается, чтобы взглянуть на преследователя — далеко ль? В это время — Мюнхгаузен ясно видит — шлагбаум быстро опускается: бело-красные полосы ударили по восьмой букве и имя, как змея, рассеченная ножом, мучительно выгибает разлученные слоги: МЮНХГАУЗЕН — по ту сторону столба, БАРОНФОН — по эту. Став на чернилоточащем Н, бедное БАРОНФОН мечется из стороны в сторону, не зная, что предпринять. Глаза Мюнхгаузена от букв на снегу к знакам пограничного столба: СССР. С минуту он стоит, раскрыв рот, потом мысль: бросить имя и бежать. Но подошвы башмаков успели вмерзнуть в снег. Он тянет было правую ногу, потом дергает левую — вдруг пограничное четырехбуквие шевельнулось, в ужасе Мюнхгаузен выпрыгнул из своих баш-

маков и в одних носках по ледяному насту; холод хватается за пятки, в отчаянии он мечется из стороны в сторону и... просыпается.

Правая туфля сползла с ноги и под пяткой прохладный вощенный квадрат паркета. О стекла кабинета шуршит дождь, но тонкие штрихи его струй застлало ночью. Кукушка на камине кричит семь раз. Барон фон Мюнхгаузен протягивает руку к колокольчику.

Коттедж сумасшедших бобов зажигает огни и готовится к встрече вечерних гостей. Снизу о дубовую дверь стучит и снова стучит молоток: сначала появляется король биржи, через минуту — дипломатический туз. Затем — старая леди, посвятившая себя спиритизму; когда, наконец, над порогом возникают уныло свисшие усы лидера рабочей партии, Мюнхгаузен, радушно подымаясь навстречу, восклицает с видом удачливого игрока:

— Коронка до вала. Прошу к нам в игру. Вас только и недоставало.

Но сверх тех, которых недоставало, приезжает и бывший министр без портфеля, которого уютный коттедж встречает, впрочем, столь же радушно и тепло.

Обмениваются новостями, не забывая ни альковов, ни парламента, гадают о предстоящих назначениях, о событиях в Китае; с министром без портфеля барон беседует об одном портфеле без министра, а дама-спиритка рассказывает:

— Вчера у Питшлей мы вызывали дух Ли-Хунг-Чана: «Дух, если ты здесь, стукни раз, если нет — стукни два раза». И представьте, Чанг стукнул два раза.

В это время внизу у двери двойной удар молотка.

— Неужели Ли? — вскакивает хозяин, готовый радушно встретить призрак.

Но на пороге слуга.

— Его святейшество епископ Нортумберлендский.

И через минуту рука в перстнях благословляет присутствующих.

Беседа продолжается. Слуга приносит тартинки, чай в фарфоре и тонконогие рюмочки с кюмелем. Некоторое время слова кружат от ртов к ртам, затем святейшество, отодвинув чайную чашечку, просит

хозяина что-нибудь рассказать. С разрешения дамы барон Мюнхгаузен берет в руки трубку и, похрипывая изредка чубуком, приступает к рассказу. И тотчас же внимательно наставленные уши слушателей начинают вянуть: сначала у краев, потом по раковинному хрящу — внутрь и внутрь и, свертываясь, как листья по осси, ухо за ухом, бесшестно и тихо, одно за другим — на пол. Но дисциплинированный слуга с метелкой и скребком, появившись за спинами гостей, неслышно сметает уши в скребок и уносит за дверь.

— Случай этот имел место во время моего последнего пребывания в Риме, — шевелит клубы дыма голос рассказчика, — было свежее, осеннее утро, когда я, спустившись со ступенек кафедры св. Петра, перешел площадь, охваченную колоннадою Бернини, и повернул влево в узкую Борго сан-Анджело. Если вам приходилось там бывать, вы, вероятно, помните пыльные окна с «*antichità*»¹ и лавчонки особого рода комиссионеров, которые, получив у вас вещь и несколько сольди, обязуются через неделю возратить ее вам без сольди, но с папским благословением. Поскольку благословение присутствует в вещи невидимо, заказы выполняются бойко и всегда в срок. Тут же можно приобрести за недорогую цену амулет, зуб змеи, исцеляющий от лихорадки, коралловые джеттатуры от сглазу и полный набор прахов — от св. Франциска до св. Януария включительно, — аккуратно рассыпанный по аптечным мешочкам. Я завернул в одну из таких лавок и спросил прах св. Никто. Хозяин лавки пробежал пальцами по бумажным мешочкам: «Может быть, синьор удовлетворится св. Урсулой?» Я отрицательно покачал головой: «Я мог бы услужить синьору св. Пачеко: чрезвычайно редкий прах». Я повторил свое: «*Der heilige Niemand*»². Хозяин был, очевидно, честным человеком — он развел руками и с грустью признался, что требуемого в его лавке нет. Я повернулся было к двери, как вдруг внимание мое привлек один из предметов, стоящий в углу на полке: это была крохотная черная коробочка, из-под полуоткинутой крышечки которой торчали желтые космы включенной пакли.

¹ Древностями (*итал.*).

² Святой Никто (*нем.*).

«Что это?» — обернулся я к прилавку, и услужливые пальцы прахопродавца тотчас же пододвинули товар. Оказалось, это был кусок недогоревшей пакли, участвовавший в ритуале апостолизирования Пия X. Как это всем известно, при посвящении папы над тонзурой избранника сжигают кусок пакли, произнося сакраментальное «sic transit gloria mundi»¹. И вот, как клялся мне хозяин лавки, которому я не имел основания не верить, — во время совершения этой церемонии над Пием, как раз в момент произнесения сакраментальных слов, внезапным ветром унесло кусок пакли, который ему, собирателю раритетов, и удалось приобрести за некую сумму: «Синьор может сам убедиться, — раскрыл прахопродавец коробочку, — что пакля обожжена у краев и пахнет гарью». Это было действительно так. Я спросил о цене. Он назвал круглую цифру. Я ее пополам. Он сбавил — я прибавил: в результате коробочка с папской паклей очутилась в моем кармане. Я же — двумя часами спустя — в поезде Рим — Генуя. Мне, видите ли, не хотелось пропустить очередного конгресса христианских социалистов, заседания которого были назначены как раз в это время в генуэзском Palazzo Rosso: для любителя неосуществимостей, к каким я позволю себя причислить, посещение подобного рода собраний бывает иной раз поучительным. Окна в вагоне были открыты; сырой воздух марены, затем ближе к Генуе, ряд туннелей, смена духоты сквозняком, — меня продуло, и уже в середине первого же заседания христиан-социалистов я почувствовал недомогание. Нужно было принять лечебные меры. Сунув руку в карман, я наткнулся на коробочку и вспомнил, что вата, а за неимением ее и пакля, вложенная в уши, радикальное средство от простуды. Я открыл черную крышечку и сунул в левое и правое ухо по ключку папской ваты. И тотчас же... О, если бы вы знали, что произошло! Ораторы говорили, как и до пакли, рты шевелились, артикулируя речи, но ни единого звука, кроме тиканья моих часов, не доходило до моих барабанных перепонок. Я ничего не понимал: если оглох, то каким образом, не слыша слов, слышу тиканье маятника; если пакля, закупорившая мне уши, глушит звуки, ослабляет слышание, то каким образом громкие

¹ Так проходит мирская слава (лат.).

голоса тише еле слышимого хода часов. Расстроенный, я покинул собрание, прошел мимо беззвучно говорящих ртов, и был радостно удивлен, когда, очутившись на улице, еще не успев сойти со ступенек подъезда, вдруг я сквозь паклю услышал: «тапсія»¹. Слово было сказано старухой-нищенкой. Ясно, пакля прекратила свое тормозящее действие. Навстречу мне из грязных лохмотьев старушечья ладонь, но я, торопясь проверить свой вывод, бросился назад в зал заседаний. Я спешил, но вывод был еще поспешнее: опять перед глазами шевелящиеся рты, но изо ртов ничего, кроме артикулированной тишины. Что за дьявол — простите, ваше святейшество, беру дьявола обратно — что бы это могло значить? Строю гипотезы вслед за гипотезами и вдруг вспоминаю, что пакля, торчащая из моих ушей, особенная, сакраментальная, отгоняющая вместе с дымом и всю *gloria mundi*; и что сквозь нее не пройти ничему преходящему, пекущемуся о славе мирской. Несомненно, это было так. Я не переплатил за мою покупку прахоторговцу с Борго сан-Анджело: но только почему же речи адептов христианского социализма вязнут в моей вате и не пролезают в слух?

Погруженный в тягостное размышление, я возвратился в номер гостиницы. К следующему заседанию я решил усовершенствовать мой фильтр, отцеживающий христиан от прихристней и не пропускающий сквозь свои поры никакой тщеты. Я рассуждал так: если ни одно греховное слово не в силах протиснуться сквозь освященную паклю, застревая в тесном сплетении ее нитей, то что должно произойти, если сухим и жестким фибрам пакли придать некоторую *с к о л ь з к о с т ь*? Должно будет произойти, и это вполне естественно, следующее: слова будут по-прежнему по своей медлительности и грубости (все-таки из воздуха) застревать и в скользкой пакле, но мыслям, скрытым в них, вследствие их эфирности и утонченности, наверное, удастся-таки проскользнуть меж скользких волокон и прыгнуть в слух. Вынув из ушей паклю, я внимательно осмотрел оба комка: наружная поверхность их была под грязноватым налетом. Очевидно, след от докладов. Счистив эту, так сказать, стенограмму, я,

¹ Подаяния (*итал.*).

прежде чем вложить паклю назад в левое и правое ухо, спустил ее в ложечку с жиром, обыкновенным, растопленным на свечке гусиным жиром. Часы напоминали мне, что через какие-то минуты заседание конгресса возобновится. Проходя по кулуарам, я слышал смутные голоса из зала: значит, уже началось. Приоткрыв дверь, я просунул запаклеванные уши в зал: конгресс был в сборе — на кафедре стоял благообразного вида человек в корректном, застегнутом на все пуговицы сюртуке и, елейно улыбаясь, площадно ругался. В недоумении я оглядел ряды тех, к кому адресовалась ругань: зал благоговейно слушал и сотни голосов одобрительно качались в такт оскорблениям, сыпавшимся на эти же самые головы. Лишь изредка речь прерывалась аплодисментами и оратору кричали: «кретин», «льстяга», «флюгер», «подлец», — в ответ оратор прикладывал руку к груди и благодарно кланялся. Не в силах долее терпеть, я заткнул уши... то есть как раз наоборот, ототкнул их: оратор говорил о заслугах съезда в деле борьбы с классовой борьбой: отовсюду слышалось — «браво», «вашими устами истина», «как метко и тонко». Только теперь я стал понимать, что несколько грамм пакли, спрессованной внутри моей коробочки, стоят доброго философского метода. И я решил процедить сквозь мою деглориоризирующую паклю весь мир. Набросав план опытов, я в ту же ночь отбыл с экспрессом, направляясь в...

И рассказ продолжается. Кукушка кричит одиннадцать и двенадцать и только поздно за полночь трубка Мюнхгаузена вытряхивает пепел, а хозяин, досказав, провожает гостей до холла. Рабочий день кончился. И вокруг коттеджа сумасшедших бобов, с каждым вечером ширя и ширя разлет своих линий, завиваются новые и новые спирали: тонкие усики их уже за Ла-Маншем, грозя удлинниться до самых дальних меридианов земли. Афоризмы барона, он это знает, на попиграх обеих палат, рядом со стенограммой и повесткой дня, рассказы и старинные историйки, начатые у сизого тягучего дымка трубки, дымными туманами оползают коттеджи сумасшедших бобов, пробираясь под все потолки, от языка к языку, и в неслышавшие уши. И, шаркая туфлями к теплой постели, барон смутно улыбается и бормочет:

— Мюнхгаузен спит, но дело его не смыкает глаз.

Глава III

РОВЕСНИК КАНТА

Хотя барон фон Мюнхгаузен предпочитал туфли штиблетам и досуг работе, но вскоре пришлось проститься с послеобеденной дремой и домоседством. Дым от старой трубки легко было рассеять ладонью, но «сделанный» дымом шум нарастал со стихийностью океанского прибоя. Телефонное ухо, раньше спокойно свисавшее со стальных вилок в кабинете барона, теперь неустанно ерзало на своих подставках. Дверной молоток без усталости стучался в дубовую створу двери, телеграммы и письма лезли отовсюду, пяля свои круглые штемпеля на Мюнхгаузена: среди них рассеянно скользящие глаза барона наткнулись как-то на элегантно оттиснутое — старинным шрифтом по картону — извещение: группа почитателей просит высокоуважаемого барона Иеронимуса фон Мюнхгаузена посетить собрание, посвященное двухсотлетию деятельности высокопочитаемого барона. Юбилейный комитет. Сплендид-отель. Дата и час.

Парадные покои Сплендид-отеля иззолотились множеством электрических огней. Зеркальная дверь подъезда, бесшумно вращаясь, впускала новых и новых гостей. В центральном круглом зале задрапированный герб Мюнхгаузенов: по диагонали щита пять геральдических уток — клюв, хвост, клюв, хвост, клюв — летели, нанизанные на нить; из-под последнего хвоста латинскими литерами: mendace veritas¹.

Вдоль длинных, древнеславянским мыслете расставленных столов — фраки и декольте. Члены дипломатического корпуса, видные публицисты, филантропы и биржевики. Уже много раз прозвенели бокалы и восторженные «гип» вслед за пробками взлетали к потолку, когда поднялся юбиляр. Ему принадлежала реплика:

— Леди и джентльмены,— начал Мюнхгаузен, оглядывая примолкшие столы,— в Евангелии сказано: «В начале было слово». Это значит: всякое дело нужно начинать словами. Я говорил это на последней международной мирной конференции, позволю себе повторить и перед настоящим собранием. Мы, Мюнхга-

¹ Лживая правда (*итал.*).

узены, всегда верно служили фикции: мой предок Гейно участвовал, вместе с Фридрихом II, в крестовом походе, а один из моих потомков был членом либеральной партии. Что можно против этого возразить? Одна и та же историческая дата привела нас в мир: меня и Канта. Как это, вероятно, известно достойному собранию, мы с Кантом почти ровесники, и было бы несправедливо в этот торжественный для меня день не вспомнить и о нем. Конечно, мы кое в чем расходимся с создателем «Критики разума»: так, Кантово положение: «Познаю лишь то, что привнесено мною в мой опыт»,—я, Мюнхгаузен, интерпретирую так: привношу, а другие пусть попробуют познать привнесенное мной, если у них хватит на это опыта. Но в основном наши мысли не раз встречались — так, наблюдая, как взвод версальцев, вскинув ружья, целился в обезоруженных коммунаров (это было у стен Пер-Лашеза), я не мог не вспомнить один из афоризмов кенигсбергского старца: «Человек для человека — цель и ничем, кроме цели, быть не должен». Мистер Шоу, — повернулся оратор к краю заставленного цветами и бокалами мыслете, — в одной из своих талантливых пьес утверждает, что мы недолговечны лишь потому, что не умеем хотеть своего бессмертия. Но я, да простит меня мистер Бернард, иду гораздо дальше в отыскании секрета бессмертия: не нужно самому хотеть продления своей жизни в бесконечность, достаточно, чтобы другие захотели мне, Мюнхгаузену, долгой жизни, и вот я (голос оратора дрогнул) силой ваших хотений вступаю на путь Мафусаила. Да-да, не возражайте, леди и джентльмены, в ваших руках, протянутых мне навстречу, не только бокалы: вы открыли мне текущий счет на бытие. Сегодня я списываю со счета двести. В дальнейшем — как угодно: подтвердите счет или закройте его. В сущности, стоит вам вытряхнуть меня из зрачков, я нищ, как само ничто.

Но последние слова были смыты волной аплодисментов, хрусталь зазвенел о хрусталь, десятки ладоней искали ладонь юбиляра, он еле успевал менять улыбки, кланяться и благодарить. Затем столы к стенам, скрипки и трещотки заиграли фокстрот, а юбиляр, сопровождаемый несколькими дымящимися лысынами, проследовал мимо танцующих пар в курительную комнату. Тут кресла были сдвинуты в тесный круг

и некое дипломатическое лицо, наклонившись к уху юбиляра, сделало конфиденциальное предложение. Момент, как это будет видно из дальнейшего, был знаменателен. В ответ на предложение брови Мюнхгаузена поползли вверх, а указательный палец с лунным камнем на третьей фаланге скользнул по краю уха, как бы пробуя потрогать слова на ощупь. Тогда лицо, придвинувшись еще ближе, назвало некоторую цифру. Мюнхгаузен колебался. Лицо привесило к цифре ноль. Мюнхгаузен все еще колебался. Наконец, выйдя из раздумья, он вщурился в опустившийся к глазам смутно мерцающий овал лунного камня и сказал.

— Я уже бывал в тех широтах лет полтора года тому назад и не знаю, право... вы толкнули маятник — он качается меж да и нет. Конечно, я не такой человек, которого можно испугать и, так сказать, вышибить из седла, и даже опыт первого моего путешествия в страну варваров, чье имя только что здесь прозвучало, сэр, дает достаточный материал для суждения и о них и обо мне. Кстати, если не считать кое-каких мелких публикаций, материал этот до сих пор остается неоглашенным. Знакомство мое с Россией произошло еще в царствование покойной приятельницы моей императрицы Екатерины II, впрочем, я отклоняюсь от вопроса, поставленного в упор.

Но дипломатическое лицо, верно учитывая возможности, сделало знак соседям, и те изъявили в лицах восторженное внимание:

— Просим.

— Прелюбопытно бы узнать...

— Я весь внимание.

— Слушаем.

Кто-то из недослужившихся, взмахнув фрачным двуххвостием, побежал к дверям и замахал руками на танцующих: фокстрот отодвинулся в более отдаленную залу. Барон начал:

— Когда наш дилижанс подъезжал к границе этой удивительной страны, пейзаж резко изменился. По эту сторону пограничного столба цвели пышным цветом деревья, по ту его сторону — расстилались снежные поля. Пока перепрягали лошадей, мы переменяли наши легкие дорожные плащи на меховые шубы. Шлагбаум поднялся и... но я не стану рассказывать о приключении с песенкой, замерзшей внутри рожка нашего

возницы, о случае с лошадей, повисшей на колокольне, и множестве других,— всякий культурный человек знает их не хуже, чем свой бумажник или, скажем, отчешаш,— остановим колеса дилижансу у въезда в столицу северных варваров, тогдашний Петербург. Надо вам сказать, что чуть ли не с предыдущим дилижансом в город святого Петра приехал небезызвестный в свое время философ, некий Дени Дидро: это был — на мой взгляд — пренесносный кропатель философем, выскочка из мещан и притом с явным материалистическим уклоном. Я, как вам известно, не терпел и не терплю материалистов, людей, любящих напоминать — кстати и некстати, — что благоуханная амбра на самом деле экскремент кашалота, а букет цветов, в который прячет лицо прелестная девушка, на самом деле лишь связка оторванных половых органов растений. Кому нужно это дурацкое на самом деле? Не понимаю. Но к делу. Мы были приняты при дворе оба: Дидро и я. Не скрою: вначале императрица благоволила как будто больше, вы только представьте себе, к этому невоспитанному выскочке: Дидро мог, поминутно нарушая этикет, расхаживать взад и вперед перед самым носом коронованной собеседницы, перебивать ее и даже в пылу спора хлопать по коленке. Екатерина, милостиво улыбаясь, выслушивала его нелепейшие проекты: об уничтожении пьянства в России, о борьбе с взяточничеством, реформировании мануфактур и торговли и рационализации рыбных промыслов на Белом море. Я спокойно, отодвинутый в тень, ждал своего случая и своего часа. И как только этот пачкун в платье, забрызганном чернильными кляксами, принялся, по соизволению царицы, за расширение рыбных промыслов, я тоже перешел от замыслов к делу: у местных охотников я приобрел несколько изловленных капканами лисиц и начал за глухими и высокими стенами заднего двора усадьбы, где я жил, свои — вскользь уже описанные в моих мемуарах, вы помните? — опыты принудительного выселения лисиц из их шкур. Все шло как нельзя лучше, притом с соблюдением полной тайны. И пока Дидро пробовал ловить рыбу из замерзшего моря, я, явившись к царице, уже успевшей несколько разочароваться в своем любимце, почтительнейше просил ее присутствовать при одном показательном опыте, который может произвести переворот

в пушном промысле. В назначенный день и час царица и ее двор прибыли ко мне на задний двор: четверо дюжих гайдуков с плетью в руках и лисица, привязанная за хвост к столбу, уже были готовы к их появлению. По данному мною знаку плети заходили вверх и вниз, и животное, рванувшись раз и другой, выпрыгнуло из своей кожи, тотчас же попав в руки пятого гайдука, только этого и дожидавшегося. Кто читал Дарвина, джентльмены, тот знает удивительную приспособляемость животных к среде. Выпрыгнув на мороз, голая лисица стала тотчас же покрываться мелкими шерстинками, шерстинки — тут же на глазах — длиннелись в шерсть, и вскоре, обросши новой шубой, бедняжка перестала дрожать, но, увы, лишь затем, чтоб снова очутиться у столба, под нахлестом плетей. И так — вы представляете себе — до семи шкур, пока животное, так сказать, не выпрыгнуло и из жизни. Приказав убрать падаль, я разложил семь шкур в ряд по снегу и, склонившись, сказал: «Семьсот процентов чистой прибыли». Императрица много смеялась, и я был допущен к руке. Затем мне было предложено составить письменный доклад о методах и перспективах пушной промышленности, что и было сделано незамедлительно. Начертав на докладе «гораздо», ее величество, собственной рукою зачеркнув всюду «лисицы, лисицам, лисиц», изволила проставить: «люди, людям, людей» и «исправленному верить. Екатерина». Оригинальный ум, не так ли?

Рассказчик скользнул глазами по кругу из улыбок и продолжал:

— После этого нос господина Дидерота вытянулся, как если б его ущемило табакеркой за миг до приятнейшей понюшки. Парижский мудрец, привыкший быть запанибрата и с истиной и с царицей, остался при одной истине. Общество вполне подходящее для подобного рода парвеню, хе-хе. Бедняге не на что было убраться восвояси — пришлось продавать за какие-то там сотни ливров библиотеку: приобрела ее императрица. На следующий же день, явившись на прием, я презентовал ее величеству тетрадь с описанием моих странствий и приключений. Прочтя, она сказала: «Это стоит библиотек». Мне были пожалованы поместья и сто тысяч душ. Желая отдохнуть от придворной лести и некоторых обстоятельств более

деликатного характера, о которых умолчу, заметив лишь, что мне не слишком нравятся полные женщины,—я отправился смотреть свои новые владения. Странен, скажу я вам, русский пейзаж: среди поля, как грибы под шляпками, семейка кое-как прикрытых кровлями курных изб; входят и выходят из избы через трубу, вместе с дымом, над колодцами, непонятно для чего, длинные шлагбаумы, притом часто в стороне от дорог; бани, в отличие от крохотных хибарок, строятся в семь этажей, называемых у них «полкáми». Но я отвлекаюсь от темы. Среди просторов чужбины мне часто вспоминался мой родной Баденвердер: острые аксан-сирконфлексы его черепичных кровель, старые полустертые буквы девизов, вчерненных в известь стен. Ностальгия заставляла меня беспокойно блуждать, лишь бы убить время, с ружьем через плечо по кочкам болот и тростниковым зарослям, ягдташ мой никогда не бывал пуст,—и вскоре слава обо мне, как об охотнике,—кое-что попало в мои мемуары, но незачем повторять то, что знает наизусть любой школьник,—прошла от Белых вод до Черных. Но вскоре на смену бекасам и куропаткам—турки. Да-да, была объявлена война с турками, и мне пришлось, повесив свой охотничий штуцер на гвоздь, взять в эти вот руки, говоря фигурально, двести тысяч ружей, не считая фельдмаршальского жезла, от которого я, помня наши прежние отношения с царицей, не считал возможным отказаться. После первого же сражения мы не видели ничего, кроме неприятельских спин. В битве на Дунае я взял тысячу, нет, две тысячи пушек; столько пушек, что некуда было их девать,—коротая боевые досуги, мы стреляли из них по воробьям. В одно из таких боевых затиший я был вызван из ставки в столицу, где на меня должны были возложить знаки ордена Василия Блаженного из четырнадцати золотых крестов с бриллиантами: верстовые столбы замелькали мимо глаз быстрее, чем спицы колес двуколки, к которым я иногда наклонялся с сиденья. Въезжая в столицу на дымящихся осях, я велел замедлить конский бег и, приподняв треуголку, проехал мимо высыпавших мне навстречу толп к дворцу. Кланяясь направо и налево, я заметил, что все россияне были без шапок; поначалу это показалось мне естественным проявлением чувств по отношению

к триумфатору, но и после того, как церемония въезда и принятия почестей была закончена, эти люди, несмотря на холодный ветер с моря, продолжали оставаться с обнаженными головами. Это показалось мне несколько странным, но не было времени на расспросы, снова замелькали версты — и вскоре я увидел ровные шеренги моих армий... — выстроившиеся для встречи вождя. Подъехав ближе, я увидел: и эти без шапок. «Накройсь», — скомандовал я, и, тысяча дьяволов, команда не была выполнена. «Что это значит?!» — повернул я взбешенное лицо к адъютанту. «Это значит, — приложил он дрожащие пальцы к непокрытой голове, — что мы врага шапками закидали, ваше высокопревосх...»

В ту же ночь внезапная мысль разбудила меня под пологом фельдмаршальской палатки. Я встал, оделся и, не будя ординарцев, вышел на линию передовых постов; два коротких слова — пароль и лозунг — открыли мне путь к турецкому лагерю. Турки не успели еще выкарабкаться из-под груд засыпавших их шапок, и я беспрепятственно добрался до ворот Константинополя, но и здесь, так как многие из шапок дали перелет, все, по самые кровли, было засыпано шапочным градом. Придя к дворцу султана, я назвал себя и тотчас же получил аудиенцию. План мой был чрезвычайно прост: скупить все шапки, засыпавшие войска, жителей, улицы и пути. Султан Махмуд сам не знал, куда девать как снег на голову свалившиеся шапки, и мне удалось скупить их за бесценок. К тому времени осень превратилась в зиму, и население России, оставшись без шапок, мерзло, простужалось, роптало, грозя бунтами и новым смутным временем. Правительство не могло опереться и на знать: лысые головы сенаторов мерзли в первую голову, и горячая любовь к престолу заметно охлаждалась с каждым днем. Тогда я погрузил корабли и караваны с моими шапками и через нейтральные страны направил в мириадоголовую Россию; товар шел чрезвычайно бойко, и чем ниже падала ртуть в термометрах, тем выше ползла цена.

Вскоре миллионы шапок вернулись к своим макушкам, и я стал самым богатым человеком в разоренной войной и контрибуциями Турции. К тому времени я успел сдружиться с султаном Махмудом и решил

вложить свои капиталы в дело восстановления страны. Однако дворцовые интриги заставили султана вместе со мною и гаремом переменить резиденцию: мы переехали в Багдад, богатый если не золотом и серебром, то сказками и преданиями. И я опять затосковал о моем далеком, пусть убогом, но близком сердцу Баденвердере. Когда я стал просить у моего венчаного друга отпустить меня на родину, султан, роняя слезы в бороду, говорил, что не переживет разлуки. Тогда, желая, по возможности, укоротить время предстоящих нам разлук, потому что и я не мог жить, хоть изредка не навещая родового гнезда моих дедов и прадедов,— я решил соединить Баденвердер и Багдад стальными параллелями рельс. Так возник, увы, не скоро дождавшийся своего осуществления, проект Багдадской железной дороги. Мы почти уже приступили к работе, но...

Барон вдруг прервал свой рассказ и замолчал, вперив глаза в мерцающий глаз лунного камня на указательном пальце правой руки.

— Но почему же вы остановились на полдороге? — сорвалось с чьих-то уст.

— Потому,— обернулся на голос барон,— что в то время железная дорога, видите ли, еще не была изобретена. Всего лишь.

По кругу пробежал легкий смех. Но барон оставался серьезным. Наклонившись к дипломатическому лицу, он тронул лицу колено и сказал:

— Воспоминания овладели мной. Согласен. Еду. Как это говорит их пословица: «Когда русский при смерти, немец чувствует себя вполне здоровым». Хе-хе...

И, подняв голос навстречу протянувшимся отовсюду ушам, добавил:

— О, наша геральдическая утка никогда еще не складывала крыльев.

Затем последовали рукопожатия, шарканье ног, а через минуту швейцар у вращающихся стекол подъезда Сплендид-отеля кричал:

— Авто барона фон Мюнхгаузена.

Щелкнула дверца, сирена рванула воздух, и кожаные подушки, мягко раскачиваясь, поплыли в торжественную, иллюминированную звездами и фонарями, ночь.

Глава IV IN PARTES INFIDELIUM¹

Оферта и акцепт получили деловое оформление. Барон уезжал в Страну Советов в качестве корреспондента двух-трех наиболее видных газет, поставляющих политическое кредо в семизначном числе экземпляров самым отдаленным меридианам Соединенной империи. От акцептанта требовалось возможно строгое инкогнито, вследствие чего количество цилиндров, черневших под окнами вагона, предоставленного барону фон Мюнхгаузену, было весьма ограничено, а кодаки и интервьюеры и вовсе изъяты. За минуту до отправного сигнала барон показался на площадке вагона: на голове у него круглилась поношенная серая кепка, из-под пальто-клеша поблескивала кожаная куртка, на ногах — сапоги гармоникой. Костюм вызвал одобрительное качание цилиндров, и только епископ Нортумберлендский, пришедший взглянуть на барона, быть может, в последний раз, вздохнул и сказал: *In partes infidelium, eum Deo*². Amen.

Дипломатическое лицо, подтянувшись на ступеньку, сделало знак отъезжавшему, — тот нагнулся.

— Дорогой барон, не шутите с перлюстраторами. Подписывайте чужим именем, как-нибудь там...

Барон кивнул головой:

— Понимаю: «Зиновьев» или...

Но поезд, лязгнув буферами, тронулся. Лицо подхватили под локти, цилиндры приподнялись над головами, занавеска за уплывающим окном задернулась, — и недосказанные слова вместе с недосказавшим — отравились.

Дувр. Ла-Манш. И снова задернутая занавеска — мимо гудящих дебаркадеров, — вычитание километров из километров.

Только один человек на всем континенте знал о дне и часе, когда Мюнхгаузен будет проезжать через Берлин. Это был Эрнст Ундинг. Но письмо, отправленное ему из Лондона, не сразу нашло адресата. Венец сонетов, над которым работал в это время поэт, выглядел, словно он был из терна — в мозг, и платил бессон-

¹ В чужие края (лат.).

² С Богом (лат.).

ницами, отнюдь не пфеннигами. И Ундинг, после тщетных препирательств с голодом, принужден был принять предложение косметической фирмы «Веритас» разъезжать в качестве агента фирмы по городам и городкам Германии. Письмо несколько дней кряду гонялось за ним, обрастая штемпелями, пока адресат не был достигнут им в городе Инстербурге на линии Кенигсберг—Эйткунен, в тридцати с чем-то километрах от границы. Письмо пришло как раз вовремя. Сопоставив цифры путеводаителя с данными письма, Ундинг легко высчитал, что берлинский поезд, с которым должен ехать Мюнхгаузен, пройдет сегодня в девять тридцать вечера мимо Инстербурга. Карманные часы показывали восемь пятьдесят. Боясь опоздать к встрече, Ундинг оделся к вокзалу. В назначенное время берлинский экспресс подкатил к перрону. Ундинг быстро прошагал вдоль поезда — от локомотива к хвосту и обратно, — заглядывая во все окна: Мюнхгаузена не было. Через минуту поезд опростал рельсы. В недоумении Ундинг отправился в станционное бюро: тот ли поезд и когда следующий. Бюро ответило: тот, следующий дальнего следования к границе через два часа с минутами. Ундинг заколебался: дела вынуждали его с десятичасовым в Кенигсберг — в кармане уже лежал билет. Повертев в руках картонный прямоугольничек, он прокомпостировал его в кассе и, сев на скамью внутри вокзала, стал следить глазами кружение часовой стрелки на стене. Он ясно представлял себе близившуюся встречу. Окно вагона упадет вниз, над ним протянутая рука Мюнхгаузена — длинные костистые пальцы с лунным бликом на указательном; ладони встретятся, и он, Ундинг, скажет, что если б в мире и не было иной реальности, кроме этого вот рукопожатия, то... За стеной загрохотало: экспресс. Ундинг, стряхнув мысли, бросился к выходу на перрон: надвигающиеся огни паровоза, шипение тормозов — и снова вдоль вагонов, до фонаря, красным карбункулом выпятившегося с последней стенки последнего вагона: ни одно из окон не упало вниз, ничей голос не окликнул, ничья рука не протянулась навстречу руке. Ударило медь о медь — и снова голые рельсы. Поэт Ундинг долго стоял на ночном перроне, обдумывая ситуацию: было совершенно ясно — Мюнхгаузен изменил маршрут.

Наутро, сидя в дешевом номере одной из кенигсбергских гостиниц, Ундинг набросал стихи, в которых говорилось о длинном, в сорок-пятьдесят вагонов-годов, поезде, груженном жизнью, годы, лязгая друг о друга, берут крутые подъемы и повороты; равнодушные стрелки переводят с путей на пути, кровавые и изумрудные звезды гороскопов пророчествуют гибель и благополучия, пока катастрофа, разорвав все цепи годов с годами, не расшвыряет их врозь друг от друга, кромсая и бессмысля, по насыпи вниз.

После этого, уж если пользоваться образами Ундинга, прокружили дни одного года, лязгнув буферами, стал надвигаться следующий с календарной пометой поверх plombированной двери «1923», когда имя Мюнхгаузена, исчезнувшее со столбцов всех газет мира, снова появилось на первых страницах официозов Англии и Америки. От этого огромные тиражи их гигантизировались. Впрочем, не только тиражи: и глаза людей, раскупавших корреспонденции барона Мюнхгаузена, неизменно расширялись, как если б в его сообщениях был атропин. И только одна пара глаз, нажившаяся колючими ресницами, внутри красных каемок век, встретившись с подписью Мюнхгаузена, сузила зрачки и дернула бровью. Чьи они были, эти два недоверчивых глаза, говорить излишне.

Глава V

ЧЕРТ НА ДРОЖКАХ

Тем временем строки мюнхгаузиад, как селитренные нити огонь, перебрасывали вновь вспыхнувшее имя от свечи к свече, и вскоре вся увитая мишурой и пуганицей, блестящей канители, мировая пресса оделась, как рождественская елка, в желтые язычки. Еще неделя, другая, месяц — и имени барона стало тесно в газетных листах: выскочив из бумажных окладышей, оно ползло на афишные столбы и качалось буквами световых реклам — по асфальтам, кирпичу и плоским доньям туч. Афиши возвещали: барон фон Мюнхгаузен, только что вернувшийся из Страны Советов, прочтет отчет о своем путешествии в большом зале Королевского Общества в Лондоне. Кассы осаждались толпами, но внутрь старинного здания на Пикадилли вошли лишь избранные.

В обещанный афишами час на кафедре появился Мюнхгаузен: рот его был еще спокойно сжат, но острый кадык меж двух углышков крахмального воротника слегка шевелился, как пробка, с трудом сдерживающая напор шампанского. Долгий грохот аплодисментов переполненного зала заставил лектора склонить голову и ждать. Наконец аплодисменты утихли. Лектор обвел глазами круг: у локтя стакан и графин с водой, слева экран для волшебного фонаря, прислоненная к экрану лакированная указка, похожая на непомерно раздлиннившийся маршалский жезл. И отовсюду — справа, слева и спереди навстречу словам сотни и сотни ушных раковин; даже мраморные Ньютон и Кук, выставившись из своих ниш, казалось, приготовились тоже заслушать доклад. К ним-то и обратил барон Иеронимус фон Мюнхгаузен свои первые слова:

1

— Если некогда капитан Кук, отправившийся открывать дикарей, был ими съеден, то, очевидно, мои паруса попали под удар более милостивых ветров: как видите, леди и джентльмены, я жив и здоров (легкое движение в зале). Великий британский математик, — протянул оратор руку к нише с Ньютоном, — следя падение яблока, оторвавшегося от ветки, перечислил движение сфероида, называемого «земля», этого гигантского яблока, некогда тоже оторвавшегося от солнца; слушая на ночных перекрестках Москвы их распеваемую всеми и каждым революционную песнь о «яблочке», я всякий раз пробовал понять, куда же оно, в конце концов, покатилося. Уточню: и докатилось. Но к фактам. Отправляясь в страну, где все, от наркома до кухарки — правят государством, я решил так или иначе разминуться с русской таможней; не только в голове, но и в кармане моей куртки я вез кое-какие слова, не предназначенные для осмотра. До Эйткунена я не предпринимал никаких шагов. Но когда вагон, в котором я находился, проехав крохотное буферное государствице, собирался ткнуться буферами в границу РСФСР, я решил устроить пересадку: с рельсов на траекторию. Как вам, вероятно, известно, леди и джентльмены, я умел в молодости объезжать не

только диких коней, но и пушечные ядра. У меня, не считая содержимого моих карманов, не было никакого багажа, и я быстро добрался до одной из пограничных крепостей, обратившей свои жерла к Федерации республик: любезный комендант с фамилией, начинающейся на ПШТШ, узнав из бумаг, кто я, согласился предоставить в полное мое распоряжение восемнадцатидюймовый стальной чемодан. Мы отправились к бетонной площадке, на которой, задрав свой длинный прямой хобот кверху, громоздилось стальное чудовище. По знаку коменданта, оружейные номера стали снаряжать меня в путь: оружейный затвор открылся, подкатила тележка с коническим чемоданом, щелкнуло сталью о сталь, и комендант козырнул: «Багаж погружен, просим пассажира занять место». Оружие опустило, как слон, которому дети протягивают сквозь решетку пирожное, свой длинный хобот,— я вспрыгнул на край, внимательно вглядываясь в дыру: как бы не пропустить нужный миг. Затем залитая железом дыра снова поползла кверху и Пштш скомандовал: «Трубка 000, по РСФСР господином бароном ... пли!» — и... закрыв глаза, я прыгнул. Неужели уже? Но, открыв глаза, я увидел, что сижу под железным слонем, а вокруг все те же улыбающиеся рожи Пштш'ов. Да, я сразу же должен был признать, что технику не перешагнешь: даже фантазмам не перегнуть ее: оседлать современный снаряд не так легко, как прежнюю неповоротливую чугунную бомбу. И только после двух, сознаюсь, неудачных попыток мне удалось, наконец, оседлать гудящую сталь. Секунд десять воздух свистел в моих ушах, пробуя сдунуть меня со снаряда; но я опытный кавалерист и не выпускал из-под сжатых колен ег• разгоряченные круглые бока, пока толчок о землю не прекратил полета. Толчок этот был так силен, что я как мяч подпрыгнул вверх, потом вниз, опять вверх, пока не ощутил себя сидящим на земле. Оглядевшись по сторонам, я увидел, что излетным концом траектория, по счастью, ткнулась в копну сена, стоящую на болоте; правда, сено вплющилось в кочки, но кочки, как рессоры, смягчили удар, избавив меня не только от гибели, но даже от ушибов.

Итак, граница позади. Вскочив на ноги, я прокружил глазами по горизонту. Ровное, незасеянное поле. Низкий потолок из туч, только где-то вдалеке подпер-

тый десятком дымков. «Деревня»,— подумал я и направился к дымам. Вскоре из земли выкочковались и дома. Приблизившись на расстояние человеческого голоса, я увидел у края деревни человеческие фигуры, движущиеся от дома к дому, но не стал их окликать. Солнце, как и я, описав свою траекторию, падало к земле; в глухой деревушке зажигались огни, пахло паленым мясом, навстречу мне ползли черные длинные тени, и я, невольно задержав шаги, спрашивал себя: следует ли блюду торопиться к ужину? Положение было трудным: некого спросить, не с кем посоветоваться. Другой на моем месте растерялся бы: но я прибыл в страну советов не за советами и после минуты размышления знал, что предпринять.

Дело в том, что сапоги мои были перешиты из старых охотничьих сапог, обладавших некоторыми особенностями. Много лет тому, когда я потерял своего любимого пса, что уже рассказано однажды в моих мемуарах, я решил не отягчать сердца новыми привязанностями, влекущим и новую боль утрат, и стал охотиться без собаки. Ведь собаку могут с успехом заменить хорошие дрессированные сапоги, да-да,— и так как к тщете воспоминаний о погибшем псе присоединилась и старая ревматическая боль, мешавшая мне ходить по болотам, то я, с терпением и упорством, свойственным всем из рода Мюнхгаузенов, принялся за дрессировку моих охотничьих сапог. В конце концов мне удалось добиться благоприятных результатов, и мои одинокие прогулки со штуцером за плечами происходили обычно так: дойдя до болотистого места, где водится дичь, я снимал с ног сапоги и, поставив их носками в нужную сторону, говорил: «Шерш! Шерш!» И сапоги, с кочки на кочку, шагали, шурша кожей о камыш, и вспугивали дичь. Мне же оставалось только, сидя на сухом месте, спускать курки. Дичь падала мне внутрь голенищ. После этого короткое «Апорт»,— и дрессированные сапоги возвращались назад, чтобы покорно подставить кожаные раструбы под хозяйские пятки.

Так и теперь: стащив сапоги с ног, я поставил их носками к деревне и— шерш. Сапоги, успевшие за несколько дней пребывания в вагоне застояться, быстро зашагали навстречу огням. Они шли, подняв кверху свои петельчатые ушки, то растягиваясь, то приседая

на своей гармошке, с видом опытных и осторожных лазутчиков. Я провожал их глазами до самой деревни. Но тут произошло нечто непредвиденное: группа людей, заметив пару сапог, идущих на них, с криками ужаса бросились врассыпную. Внезапная мысль осенила меня: ведь я в стране суеверов и невежд, что если паре сапог удастся вселить ужас в эту деревню и в следующую, и в ту, что за ней,— и мы пройдем — пара сапог и я,— гоня перед собой охваченные страхом толпы темного крестьянства, которое, смыв на пути города, заразив древним киммерийским ужасом массы и сонмы, очищая избы и дворцы, хлынут за Урал. Тогда я, подтянув за петельчатые уши подошвы к пяткам, из какого-нибудь Краснококшайска — радиограмму: «Взял Россию голыми ногами. Подкреплений не надо». И, развивая успех, я поднялся с места, готовый развернуть стратегему до конца, хотя б ценою мозолей на пятках. Но ситуация вдруг резко переменялась: отступившая было деревня, внезапно ошетилившись вилами и кольями, пошла дикой, галдящей ордой в контратаку на мои сапоги. Те было попробовали носками вспять, но было уже поздно. Ревущая орда, крестясь сотнями рук и размахивая вилами, сомкнула кольцо. Затем все смолкло и я не мог видеть, что происходит внутри круга из людей. Подобравшись, сколько мог ближе к попавшим в плен сапогам, я услышал несколько спорящих голосов, вскоре, однако, уступивших чьей-то медленной старческой речи. Отслушав, все разошлись, оставив на месте происшествия лишь одного старика, который, скинув лапти, не торопясь, натягивал на ноги мои сапоги. Выждав, когда старик обулся, я, прячась в высокой траве, сначала тихо свистнул (сапоги, заслышав мой голос, повернули в мою сторону), затем крикнул: «Апорт». Старик хотел было носками к избе, но не тут-то было: сапоги, схватив его дряхлые ноги, зашагали им в противоположную сторону. Тщетно пробовал он, цепляясь руками за кусты и траву, остановить свои ноги,— мои верные сапоги продолжали шагать вместе со стариком, в них вдетым, назад к своему хозяину. Бедняга, видя, что ему не справиться с сильнейшим противником, попытался было спиной на землю, но сапоги, согнув ему ноги в коленях, продолжали тащить тело спиной по земле, пока похититель не очутился передо

мною. И я верю, леди и джентльмены, что рано или поздно все национализированное вернется к своим собственникам, как мои сапоги вернулись ко мне. Это же сразу сказал я и поверженному старику, добавив, что стыдно ему, убеленному сединой, менять бога на социализм. Старик, объятый священным ужасом, выдернулся из сапогов и побежал, роняя портянки, к деревне. Вскоре все население деревни вышло мне навстречу крестным ходом с хлебом-солью, кладя земные поклоны, под звон колоколов. Я принял приглашение добрых поселян и остановился на ночлег в их деревне. Пока я спал, слух обо мне, не смыкая глаз, бродил по окрестным селам. К утру у моего окна собралась огромная толпа жалобщиков и просителей. Я выслушал все просьбы и никому не отказал. Например, жители одной деревеньки обратились ко мне за разрешением их давнишнего спора, поделившего деревню на две враждебные стороны. Дело в том, что одна половина деревни занималась извозным промыслом, другая — земледелием. Но гражданская война уменьшила число лошадей в телеги — плуги хоть на себе тащи; впрячь в плуги — телеги самим возить. Воспоминания помогли мне разрешить этот трудный казус: я приказал принести пилу — и, одна за другой, лошади были распилены надвое, вследствие чего и количество их удвоилось. Передние ноги впрягли в телеги; задние — в плуги, и дело пошло на лад. Так я боролся с безлошадностью, и если б правительство советов приняло, как в этой, так и в других областях народного хозяйства, мою точку зрения, оно б избежало годов разрухи и оскудения. (По залу шорох аплодисментов.) Крестьяне не знали, как и благодарить меня. Они подарили мне одну из двуногих лошадей, я оседлал ее, и продолжал свой путь, направляясь к ближайшей станции железной дороги.

2

Крестьяне предупреждали меня, что близ железнодорожных путей беспокойно и в темную ночь легко попасть в руки бандитов. Не заблудись я в русском бездорожье, я успел бы до сумерек добраться до станции. Но путанные проселки кружили меня до самой ночи. Половина коня устало перебирала

двумя копытами, когда я услышал надвигающийся топот множества лошадей. Это была банда. Я пустил в дело шпоры, но на двуногом от четырехногих не ускачешь. Вскоре всадники сомкнули вокруг меня кольцо: я протянул руку к эфесу, но вспомнил, что шпага моя осталась в Берлине, в шкафу, на Александер-платце. Бандиты сузили круг: я протянул руку к своему темени, решив выдернуть себя за косу из неподходящего общества (как некогда вытащил себя таким же способом из болота), но, проклятие,— пальцы мои ткнулись о стриженный затылок: увы, приходилось сдаться. И я сдался. Впрочем, разбойники не причинили мне ни малейшего зла и вообще отнеслись ко мне радушно, почти как к своему. В ту же ночь они выбрали меня в атаманы. Так как все это происходило ночью, в абсолютной тьме, то не знаю, что руководило этими людьми, может быть, инстинкт.

Скрепя сердце, я должен был подчиниться: люди добры, пока им не противоречишь. Например, отношения между мною и вами, леди и джентльмены, построены на том, что я вам не противоречу: вы говорите, что я есмь, хорошо, не будем спорить,— но если вы скажете... впрочем, вернемся к событиям. Я не честолюбив, и титул атамана мне мало льстил: чуть ли не каждый день я предлагал им меня свергнуть, перейти к республиканскому образу правления и сослать меня, ну хотя бы в Москву. Банда в конце концов и соглашалась отпустить меня, но с тем, чтобы я дал за себя выкуп: деньгами или добрым советом, чем и как хочу. Что ж. Подумав с минуту, я составил план рационализации разбойного промысла. Каждому ясно, что в разоренной стране положение труженика «дубовой иглы» (термин, принятый в их стране) весьма незавидно и хлопотно. Днем ему приходится таиться в лесах, опасаясь встреч с красноармейскими винтовками, и только безлунные ночи дают ему возможность заняться, так сказать, перемещением ценностей, ловить своим карманом укатывающиеся монеты, как энтомолог ловит своим сачком упархивающих бабочек. Таким образом, все лунные ночи, дающие монете лишний шанс ускользнуть, оказывались бездоходными. Вот в одну из таких залитых лунным серебром ночей я вывел банду к опушке леса и, построив ее

в ряд, тремя десятками ртов в луну приказал дуть на небесное светило. У людей этих были завидные легкие (русский народ развивает их, раздувая свои самовары): под ветром дружных дыханий луна мигнула, вытянула свои зеленые языки и погасла. Застигнутые врасплох безлунием обозы и путники попали в наши руки.

Еще несколько повторных упражнений, и шайка уже не нуждалась больше в инструкторе. Это привело к ряду затмений последних лет и вообще недостаточно точно объясненных, таинственных явлений на небесном своде: причина кроется, как я это беру смелость заявить здесь в святище науки, в одном из лесов прирубежной России. Мой друг Альберт Эйнштейн, которого я забыл заблаговременно предупредить, несколько поспешил, исходя из этих небесных аномалий, сделать свои последние выводы: то, что можно объяснить экономически, и в этом прав Маркс, не нуждается в астрономических выкладках; в поисках причин незачем рыться в звездах, когда они могут быть отысканы тут вот, под подошвой, на земле. И если найдется впоследствии человек, который, вразрез сказанному, захочет писать о «непогашенной луне», то пусть он остерегается встречи со мною, Мюнхгаузенем: я изобличу его во лжи.

(Оратор, оборвав на секунды, наклонил хрусталь графина к стакану; в зале была такая тишина, что даже из последних рядов было слышно бульканье воды в горлышке графина.)

3

Тридцать винтовок салютовали мне в час прощания. Оставив за спиной опушку леса, я направился, держа путь на паровозные свистки, изредка ориентировавшие меня в путаном клубке полевых дорог. Наконец я добрался до затерянного на равнине полустанка и стал дожидаться поезда на Москву. Платформа была завалена мешками и кулями, у которых и на которых сидели и лежали люди, поджидавшие, как и я, прихода поезда. Ожидание было долго и томительно. Безбородое лицо моего соседа, расположившегося на пустом (как показалось мне на первый взгляд), но в три узла перевязанном мешке, успело

покрыться рыжей щетиной, когда на горизонте наконец показался долгожданный дымок. Поезд полз со скоростью дождевого червя, и я боялся, как бы он, червя подобно, не уполз в землю, оставив над пустыми рельсами лишь серую спираль дымка.

Многим из присутствующих в зале, может быть, покажется странным это мое ощущение, но мне, сангвинику, все медленное, измеренное и тягучее всегда казалось мнимым, нереальным, и, может быть, потому неторопящаяся, вся на замедленных скоростях, переключенная с секундных стрелок на часовые, Россия дала мне целый комплекс призрачностей и ощущений галлюцинаторности. В вагоне, дожидавшемся сигнала к отправке, моим соседом был тот же в рыжей щетине с пустым мешком на плечах человек. Правда, пустота эта неожиданно звякнула при ударе о вагонную полку.

— Что вы везете? — не мог я не любопытствовать.

— Шило в мешке, — ответила щетина.

— Думаете продать?

— Конечно. В Москве на это спрос.

Я повеселел. Ведь и мой товар был приблизительно такого же ассортимента. Притом поезд тронулся, что повысило мое настроение еще больше. Но не надолго. Проклятый червь над каждой шпалой делал остановку, как если бы шпала была станцией. Пассажиры, однако, не выражали удивления, как если бы все было в порядке вещей. К вечеру мы доползли до следующего полустанка. Желая размять ноги, я прошел вдоль поезда до паровозной трубы, сыплющей в черную, как земля, ночь пригоршни красных зерен: при их свете я увидел, что в тендере не уголь и не дрова, а груды книг. Изумленный такой странной постановкой библиотечного дела, я, дождавшись, когда толчок двинувшегося поезда разбудил соседа, обратился к нему с новыми вопросами. В разговор наш вмешались и другие пассажиры, и вскоре многое для меня стало ясно — в том числе и причина нашего толчкообразного, от шпалы до шпалы, движения.

— Видите ли, — заобъясняли мне со всех сторон, — наш машинист из профессоров, ученейший человек, ни одной книжки не пропустит, уж он от доски до доски пока не прочтет — в топку не бросит, нет: вот и едем, полено за поленом, то есть книга за книгой, пока не...

— Но позвольте,— вспыхнул я,— мы должны жаловаться, пусть его уберут и дадут другого машиниста.

— Другого? — вытянулись со всех полок встревоженные шеи.— Ну еще неизвестно, какой попадется, другой-то ваш: вот на соседней ветке машинист, так тот кроме «Анти-Дюринга» никаких и никого — все книги в топку, грудями, до раскала, на полный ход, но если попадется ему, упаси господи, «Анти-Дюринг» — глазами в книгу... ну, и уж тут без крушения не бывает. Нет уж, другого нам не надо; этот хоть эйле-мит-вэйле, хоть по вершку в день, да тянет, а «другого» еще такого допросишься, что антидюрингнет с насыпи колесами кверху, и вместо Москвы — царствие небесное.

Я не стал спорить, но к числу нотабене, спрятанных в записную книжку, прибавилось еще одно. По приезде в Москву выясню, надолго ли хватит запасов русской литературы.

4

Когда мы подъезжали к московскому вокзалу и я уже взялся за ручку двери, стрелочник развернул красный советский флаг, что у них означает «путь закрыт». И в виду самой Москвы, бросившей в небо тысячи колоколен, пришлось прождать добрый час, пока стрелка пустила поезд к перрону.

Первое, что бросилось мне в глаза, объявление на вокзальной стене, в котором Наркомздрав Семашко почему-то просит его не лузгать. Я поднял брови и так и не опускал за все время пребывания в Москве. Готовый к необычайностям, с бьющимся сердцем вступил я в этот город, построенный на кровях и тайнах.

Наши европейские рассказы о столице Союза Республик, изображавшие ее, как город наоборот, где дома строят от крыш к фундаменту, ходят подошвами по облакам, крестятся левой рукой, где первые всегда последние (например, в очередях), где официоз «Правда», потому что наоборот, и так далее и так далее — всего не припомнишь,— все это неправда: в Москве домов от крыш к фундаменту не строят (и от фундамента к крышам тоже не строят), не крестятся ни левой, ни правой, что же до того, земля или небо у них под подметками, не знаю: москвичи, собственно, ходят без подметок. Вообще голод и нищета отовсюду протягивают тысячи ладоней. Все съедено — до церковных

луковиц включительно; некоторое время пробовали питаться оптическими чечевицами, из которых, говорят, получалась неуловимо прозрачная похлебка. Съестные лавки — к моменту моего приезда — были заколочены и только у их вывесок с нарисованными окороками, с гирляндами сосисок и орнаментом из редисочных хвостов или у золотых скульптурных изображений кренделей и свиных голов стояли толпы сгрудившихся людей и питались вприглядку. В более зажиточных домах, где могли оплатить труд художника, обедали, соблюдая кулинарную традицию по-старому. У стола: на первое подавали натюрморт голландской школы с изображением всевозможной снеди, на третье — елочные фрукты из папье-маше. К этому присоединялся и товарный голод: на магазинных полках, кроме пыли, почти ничего. Смешно сказать, когда мне понадобилась палка, обыкновенная палка (тротуары там из ухабов и ям), то в магазине не оказалось палок о двух концах: пришлось удовольствоваться палкой об одном конце. Или вот пример: когда один из москвичей, доведенный бестоварьем до отчаяния, попробовал повеситься, оказалось, что веревка свита из песку: вместо смерти пришлось ограничиться ушибами. Безобразие.

Внутренние разногласия, во время моего пребывания в столице, еще усугубляли разруху и бедность. Так, однажды, проходя мимо ряда серых, паутинного цвета домов, я с удовольствием остановился у особняка, выделявшегося свежим гляncем краски и рядами застекленных окон. Но когда на следующий же день случаю угодно было привести меня к этому же дому, я увидел: стены пожухли и покосились, а улица перед фасадом под обвалившейся штукатуркой и битым стеклом.

— Что произошло в этом доме? — обратился я к прохожему, осторожно пробирававшемуся, стараясь не занозить своих голых пяток о стекло.

— Дискуссия.

— Ну, а после?

— После: лидер оппозиции уходя хлопнул дверью. Вот и все.

— Чушь, — обернулся на наши голоса встречный, — уходя, он прищемил о дверь палец. А суть дела в том, что...

— Для меня,— угрюмо перебил первый, внезапно захромав,— суть в том, что из-за ваших расспросов я порезал себе пятку.

Две спины разошлись — влево и вправо, оставив меня в полном недоумении.

Оратор нажал кнопку. Свет сменился тьмой, и на матовом квадрате экрана дрогнули, стали и отчетчились удвоенные контуры дважды заснятого дома: до и после.

Сквозь иные из голов продернулась было ассоциация: старые, полузабытые фотографии Мартиникского землетрясения. Но прежде чем воспоминание досозналось,— кнопка сомкнула провода, вспыхнули лампы и оратор продолжал, не давая вниманьям отвлечься в сторону.

5

Если взглянуть на Москву с высоты птичьего полета, вы увидите: в центре каменный паук — Кремль, всматривающийся четырьмя широкооткрытыми воротами в вытканную им паутину улиц: серые нити их, как и на любой паутине, расходятся радиально врозь, прикрепляясь за дальние заставы; поперек радиусов, множеством коротких перемычек, переулки; кое-где они срослись в длинные раздужья, образуя кольца бульваров и валов; кое-где концы паутинным нитям оборвало ветром — это тупики; и сквозь паутину, выгибаясь изломленным телом, затиснутая в цепких двулапых мостов синяя гусеница — река. Но разрешите птице опуститься на одну из московских кровель, а мне сесть в пролетку.

— Куда? — спрашивает возница, разбуженный моим прикосновением к плечу.

— В Табачихинский переулок.

— Миллиардец с вашей милости.

Возница стегает полуиздохшую лошаденку, пролетка с булыжины на булыжину, — и мы, взяв горб моста, вкатываемся в путаницу Замоскворецких переулков; в одном из них крохотный, в раскосых окнах, со скрипучим крылечком, домик.

— Профессор Коробкин дома?

— Пожалуйте...

Вхожу. Маститый ученый косит мне навстречу из-под стекол очков. Я объясняю цель прихода: иностранец, хотел бы ознакомиться с материальными условиями, в которые поставлена русская наука. Профессор извиняется: он не может подать руки. Действительно, пальцы замотаны в марлю и перетянуты бинтами. Озабоченно расспрашиваю. Оказывается: лишённые самых необходимых научных пособий, как, например, грифельной доски, ученые принуждены бродить с куском мела в руке, отыскивая для записей своих выкладок, чертежей и формул хоть некие пособия досок. Так, профессору Коробкину, не далее, как вчера, удалось найти весьма неплохую черную спинку кареты, остановившейся где-то тут неподалеку у одного из подъездов; профессор прилачился к ней со своим мелом и алгебраические знаки закрипели по импровизированной доске, как вдруг та, завертев колесами, стала укатывать прочь, увозя с собой недооткрытое открытие. Естественно, бедный ученый бросился вслед за улетающей формулой, но формула, сверкнув спицами, круто в переулочек, навстречу оглобли, удар — и вот: замотанные в марлю конечности досказывали без слов. Очутившись снова на улице, я стал внимательнее следить за стенками карет и автомобилей. Вскоре, проходя мимо одного из отмеченных серпом и молотом подъездов, я увидел быстро подкативший к ступенькам подъезда автомобиль: на задней стенке его, расчеркнувшись белыми линиями по темному брезенту, недочерченный чертеж. Взглянув по направлению, откуда приехал чертеж, я вскоре отыскал глазами и чертежника: из длинной перспективы улицы, с мелким, белеющим из протянутой руки, бежал, астматически дыша и бодая лысиной воздух, человек. Чисто спортивная привычка заставила меня, вынув хронометр, толчком пружины пустить стрелку по секундам и осьмым. Но в это время хлопнула дверца автомобиля: человек с глазами, спрятанными под козырек, с портфелем под наугольником локтя, вышагнувший из машины, прервал мои наблюдения:

- Иностранец?
- Да.
- Интересуетесь?

— Да.

— Так вот,—протянул он палец к добегающей лысине,—скажите вашим: красная наука движется вперед.

И, повернувшись к дверям подъезда, он сделал пригласительный жест. Мы поднялись по лестнице в кабинет с тринадцатью телефонами. Пробежав губами по их мембранам, как опытный игрок на свирели по отверстиям тростника, человек указал мне кресло и сел напротив. Мне неудобно было спрашивать, но сразу было видно, что предстоит разговор с человеком видным и значимым. Собеседник говорил кратко, предпочитал вопросительный знак всем иным, без вводных и придаточных: он подставил свои вопросы, как подставляют ведра и лохани под щели в потолке при приближении дождя, и ждал. Делать было нечего: я стал говорить о впечатлении нищеты, безхлебья, бестоварья, от которых приедем с Запада положительно некуда спрятать глаза. Сперва я сдерживался, вел счет словам, но после недавние впечатления овладели мной, я дал свободу фактам—и они ливнем хлынули в его лохань. Я не забыл ничего—до палок об одном конце включительно.

Дослушав, человек снял картуз, и тут я увидел глаза и лоб слишком знакомые для всех, хоть изредка заглядывающих в иллюстрированные Йирбуки, чтоб их можно было не узнать.

— Да, мы бедны,—поймал он мне зрчками зрчки,—у нас, как на выставке,—всего по экземпляру, не более.—(Не оттого ли мы так любим выставки.)—Ведь я угадал вашу мысль, не так ли? Это правда: наши палки об одном конце, наша страна об одной партии, наш социализм об одной стране, но не следует забывать и о преимуществах палки об одном конце: по крайней мере ясно, каким концом бить. Бить, не выбирая меж тем и этим. Мы бедны и будем еще беднее. И все же, рано или поздно, страна хижин станет страной дворцов.

С минуту я слушал дробь его пальцев о доску стола. Потом:

— Почему вы не спрашиваете о литературе?

Признаюсь, я вздрогнул: сощуренные глаза явно пробралась под обшлаг моей куртки и хозяйничали внутри записной книжки:

— Вы угадали мою мысль...

— И имя,— смех раздвинул и сдвинул щель рта, как диафрагму при короткой выдержке,— ведь литературному образу естественно заинтересоваться литературой.— «Как пахнет жизнь?» Типографской краской: для людей, населяющих книги или эмигрировавших в них. Так вот: всем перьям у нас дано выбрать: пост или пост. Одним — бессменно на посту; другим — литературное постничество.

— Но тогда,— возразил я, понемногу оправляясь от смущения,— начатое паровозной топкой, вы хотите закончить...

Он встал. Я тоже.

— За конкретностью — по этому адресу,— чернильная строчка, оторвавшись от блокнота, придвинулась ко мне,— ученая лысина, кажется, дочертила чертеж. Мне пора. Я мог бы отправить вас назад и через дымовую трубу, как это было принято в средние века: вот эта телефонная трубка плюс три буквы вместо экзорцизма,— и вас, как пыль ветром. Но, зная *posten*¹, предвижу и вашу *open*². Пусть. Иностранствуйте.

Мы обменялись улыбками. Но не рукопожатием. Я вышел за дверь. Ступеньки, как клавиши, выскальзывали из-под подошв. Только прохладный воздух улицы вернул мне спокойствие.

6

Адрес на блокнотном листке привел меня к колоннам барского особняка на одной из затишных московских улиц, сторонящихся биндюжного грохота и трамвайных звонков. Тот же блокнотный листок открыл дверь рабочей комнаты, в которой, как мне сказал слуга, находится сейчас хозяин дома. Переступив порог, я увидел огромный, широко раздвинувший свои углы зал, лишенный каких-бы то ни было признаков мебелировки. Весь пол залы — от стен до стен — был застлан гигантским ослепительно белым бумажным листом, растянутым на кнопках: скользнув глазами по многосаженной странице, я увидел у дальнего края ее

¹ Имя (лат.).

² Примета (лат.).

человека, который, стоя на четвереньках, двигался слева направо, перемещаясь по невидимым линейкам. Вглядевшись лучше, я увидел, что из-под пальцев рук и ног человека торчат острия вечных перьев, быстро срзающихся по бумажной равнине. Работая со скоростью заправского полотера, он, скрипя четырьмя перьями, тянул от стены к стене четыре чернильных борозды, постепенно придвигаясь все ближе и ближе ко мне. Теперь уже, вцурившись, я мог различить: верхней строкой тянулась трагедия, футом ниже трактат о генерал-басе и строгих формах контрапункта; из-под левой ноги прострачивались очерки экономического положения страны, а из-под правой — скрипел водевиль с куплетами.

— Что вы делаете? — шагнул я к полотеру, не в силах более удерживать вопрос.

Повернувшись ко мне, труженик поднял голову, близоруко всматриваясь сквозь вспотевшие стекла пенсне:

— Литературу.

Я ушел на цыпочках, боясь помешать родам.

На этом мое знакомство с научным и художественным миром Москвы не закончилось: я нанес визит составителю «Полного словаря умолчаний», был у известного географа, открывшего бухту Барахту, посетил скромного коллекционера, собирающего щели, присутствовал на парадном заседании «Ассоциации по изучению прошлогоднего снега». Другими словами, я вошел в курс волнующих вопросов, которым посвятила свои труды красная наука. Недостаток времени не позволяет мне, как ни заманчива эта тема, остановиться на ней подолее.

7

Странствуя из мышления в мышление, стучась во все ученые лбы, я не заметил происходящего аршином ниже: русская пословица о том, что кота взяло поперек живота, нуждается в поправках — коты давно уже были все съедены и когда пробовали перечеркнуть вопрос о голоде поперек, он лез вкось, гневно урча из всех желудков, грозя, если не дадут хлеба, поглотить революцию. Я филантроп по натуре, имена Говарда и Гааза вызывают на моих глазах слезы, — и я решил посылить

помочь сожженной пожарами и солнцем стране: я дал зашифрованную телеграмму,— и вскоре из Европы прибыло несколько поездов, груженных зубочистками. Вы представляете, леди и джентльмены, те чувства, с какими население голодных губерний встретило эти поезда. Первый успех удвоил мои силы: питательные пункты, организованные правительством Советов, не могли бороться со стихией голода: пункты раздавали по маковой росинке на человека, чтобы никто не мог сказать, что у него росинки во рту не было; это предотвращало ропот, но оставляло желудки пустыми. Я предложил было прибегнуть к помощи заклинателей крыс: были мобилизованы все заклинатели. Каждый питательный пункт получил по человеку с дудочкой, который, обходя дома, высвистывал из-под полов и подвалов прячущихся там крыс: ведомая мелодией, длинной вереницей — нос в хвост, хвост в нос — пища шла сама к кухонным чанам и котлам.

Были пущены в ход и врачи-гипнотизеры: голодающего сажали в покойное кресло и, произведя над ним пассы, говорили: «Это вот не пепельница с окурками, а тарелка супа с клецками. Ешьте. Вот так. Теперь вы сыты. Утрите салфеткой. Следующий».

Но особенным распространением пользовались так называемые «Мюнхпиты», открытые по моему предложению (пришлось сослаться на литературный источник, не раскрывая, разумеется, своего инкогнито): несложное оборудование мюнхпита состояло из длинной бечевки, а пищевой запас из крохотного кусочка сала, которого хватало на неопределенно большое число... кувертов, скажу я, поскольку подача пищи происходила несколько *a couvert*¹: в обеденный час люди выстраивались в очередь, лицами к раздатчику: раздатчик, привязав к бечевке сало, давал проглотить первому рту — и затем, вы помните моих уток, ну, вот: если очередь нарастала, к свободному концу бечевки подвизывали запасный шнур, если нужно было — к шнуру еще шнур и так далее: интересующихся отсылаю к практическому руководству по устройству мюнхпитов, вышедшему в сотнях тысяч экземпляров под заглавием: «Нететка». Кстати, люди, пообедав таким образом, не сразу могли расстаться друг с другом; за

¹ Здесь: порционно (*франц.*).

первым шел второй, а за вторым — *volens-nolens*¹ третий... так вошли в обычай торжественные шествия, которые в настоящее время получили там, и по миновании голода, столь широкое распространение; даже обиходные слова, вроде «крепить связь», «единая нить», «стержень» и другие, являются, по-моему, отголосками мюнхпитовского периода.

Пока я наблюдал, странствовал по смыслам, сгружая их внутрь своих записных книжек, толкал вперед общественность и боролся с катаклизмом голода, время тянуло свою бечевку дней, подвязывая к дням дни и к месяцам месяцы. Подражая отрывному календарю, медленно осыпавшемуся квадратиками своих листов, и деревья на московских бульварах стали ронять листы. «Насытить телесный голод,— думал я,— это только полдела. Пробудить голод духовный — вот вторая его половина». Я старый, неисправимый идеалист, мои долгие беседы с Гегелем не прошли бесследно ни для меня, ни, думаю, для него: свобода — бессмертие — Бог — вот три ножки моего кресла, на которые я спокойно са... виноват, я хочу сказать, что и материалисты побеждают лишь постольку, поскольку они... **идеалисты своего материализма.** Пресловутая метла революции, которая больше пылит, чем метет, попробовала было идеалистов, как сор из избы, но, конечно, думалось мне, многие и многие из них зацепились за порог — и сколько спудов, столько светильников духа. Надо бы заглянуть в подспудье. Хотя бы раз. Случай помог мне: проходя по рынку, где нищие и торговцы попеременно протягивают ладони и товар, я наткнулся глазами на почтенного вида даму, предлагавшую каминные щипцы: и щипцы и дама стояли, прислоненные к стене, очевидно, долго и устало дожидались покупателя. Я подошел и приподнял шляпу:

— Чтоб дотянуться до углей моего камина, мадам, нужны щипцы длиной в тысячу километров. Боюсь, ваши не подойдут.

— Но ими можно бить мышей,— заволновалась женщина.

Не споря, я уплатил требуемое и сунул щипцы под мышку: в торчавшую из-под моего локтя деревянную

¹ Волей-неволей (*лат.*).

ручку был врезан графский герб. Я повернулся, чтобы идти, но графиня остановила меня:

— Меня мучит мысль, что мои щипцы все же несколько короче тех, которые вы ищете...

— Да, на девятьсот девяносто девять целых девятьсот девяносто девять десятых...

— Какая досада. Но может быть, я могла бы возместить недомер, познакомив вас с человеком, который видит на тысячу верст и тысячу лет вперед.

Я изъявил готовность — и вскоре один из спудов приоткрылся. То есть приоткрылась, собственно, скрипучая дверь в лачугу, где вместо обойного узора, пятна от сырости и клопов, а из раскрытой печки обуглившееся торчки родословного древа. Сумрачный человек, которого любезная хозяйка представила мне, назвав достаточно известное имя автора книг о грядущих судьбах России, долго сидел, уставясь зрачками в носки своих сапог. Хозяйка, видя мое нетерпение, попробовала перевести глаза провидца с концов ботинок на конец вселенной. Человек скривил губы, но не сказал ни слова. Переглянувшись со мной, хозяйка переменяла тему:

— Вы заметили, что вороны на Тверском вместо «кра» стали кричать «ура». К чему бы это?

— Ни к чему, — пробурчал пророк и перевел зрачки от носков к торчкам из печки.

Графиня сделала мне знак: сейчас начнется. И действительно:

— Сказано в летописях: «Дымий град». И еще: «Над Московою солнце кроваво за дымью всходища». А в Домострое: «Аки пчелы, от дыму, ангелы отлетяша». И когда мы стали безангельны, дымы подымались из пространств во времена и настало неясное, как бы сквозь дымку, «смутное время». И самое время стало смутностью, смешались века, тринадцатый на место двадцатого: inde¹ — революция. Один из наших великих уже давно озаглавил ее: «Дым». Другой, еще давнее, писал о «Дыме отечества», который нам «сладок и приятен». И дымьих сластен, любителей дымком побаловаться, дегустаторов гари и тлена прибывало и прибывало, пока отчизна, убывая и убывая, с дымом уйдя не обратилась в дым, им столь сладостный и при-

¹ Затем, вследствие этого (лат.).

ятный. Взгляните на диски уличных часов: разве стрелы на них не вздрагивают от мерзи, отряхая с себя гарь и копоть секунд; разве глаза ваши не плачут, изъеденные дымом времен, разве... кстати, ваша печка, графиня, слегка дымит. Разрешите мне щипцы.

Мы с хозяйкой переглянулись: а вдруг пророк догадается, что его антиципации о дыме запроданы вместе с щипцами мне. Желая замасть неловкость, я заговорил в свою очередь, предлагая вниманию собеседников целую коллекцию вывезенных с запада новостей. Пророк сидел, опустив голову на ладони, и свесившиеся пряди волос закрывали от меня выражение его лица. Но графиня положительно расплывалась от удовольствия и просила еще и еще. Я говорил о водопадных грохотах европейских центров, о почках, превращенных в электрический день, о реке автомобилей, дипломатических раутах, спиритических сеансах, модных дамских туалетах, заседаниях Амстердамского Интернационала и выездах английского короля, о модной бостонской религии и восходящих звездах мюзик-холлов, о Черчилле и Чаплине, о... Навстречу моему взгляду, сквозь синий туман (печка действительно пошаливала) мелькнуло тающее от восторга лицо слушательницы, но я, не предвидя последствий, продолжал еще и еще; дойдя до описания аудиенции, данной мне императором всероссийским, я поднял глаза... и не увидел графини: кресло ее было пусто. В недоумении я повернулся к провидцу. Он поднялся и, вздохнув, сказал:

— Да, ни щипцов, ни графини: растаяла. И убийца — вы.

Затем, подвернув брюки, он перешагнул через лужу, еще так недавно бывшую графиней. Мне оставалось — тоже. Связанные тайной, мы вышли, плотно прикрыв дверь.

Кривая улица, тусклые фонари, тщетно пробующие дотянуться лучами друг до друга. Мы шли молча меж пустых стен: вдруг на одной из них свежее краской четыре знака: СССР. Спутник протянул руку к буквам:

— Прочтите.

Я прочел, дешифрируя знаки. Он гневно тряхнул волосами:

— Ложь! Слушайте — я открою вам криптограмму, разгаданную избранными: СССР — SSSR — Sancta,

Sancta, Sancta, Russia — трижды святая Россия. Аускультируя буквы, слушая, как они дышат, вы подмечаете лишь их выдохи,— мне слышимы и вдохи: истинно, истинно говорят они — трижды святой и единой: Богу подобной.

И кривая улица повела нас дальше. Дойдя до перекрестка, спутник вдруг круто остановился:

— Дальше мне нельзя.

— Почему?

— Тут начинается мостовая из булыжника,— глухо уронил пророк,— людям моей профессии лучше подальше от камней.

Оставив неподвижную фигуру спутника у края асфальтной ленты, я зашагал по булыжникам: в роду Мюнхгаузенов нет, слава Богу, пророков.

Рядом со мной шагала мысль: два миллиона спин, спуды, жизнь, разгороженная страхом доносов и чрезвычайностей, подынешь глаза к глазам, а навстречу в упор дула, сплошное *dos à dos*¹. И опыт подтвердил мою мысль во всей ее мрачности: увидев как-то человека, быстро идущего в сторону от жилья, я остановил его вопросом:

— Куда?

В ответ я услышал:

— До ветру.

Эти исполненные горькой лирики слова на всю жизнь врезались мне в память: бедный, одинокий человек,— подумал я вслед уединяющемуся,— у него нет ни друга, ни возлюбленной, кому бы он мог открыться, только осталось — к вольному ветру! Два миллиона спин; спуды-спуды-спуды.

8

Лектор сделал паузу: кадык нырнул в воротничковую щель и отдышал. Зато кнопка звонка, зашевелившись, топнула раз и другой — вспыхнул экран. По залу точно ветром пронесло испуганное «ах», и десятки людей, натываясь в темноте друг на друга, бросились к порогам.

— Свет,— крикнул лектор и, когда вновь зажглись лампы,— займите ваши места, я продолжаю. Диа-

¹ Спина к спине (*лат.*).

позитив, так испугавший вас, леди и... джентльмены, казалось бы, заслуживает иных эмоций: перед нами вспыхнула и погасла секундная жизнь существа, олицетворяющего собой идеал социальной справедливости, каждая часть тела которого строго соответствует по величине своей ценности. Другими словами, вы видели так называемого «статистического человека», портрет которого уже известен тем, кто имел дело со страхованием рабочих. Телосложение статистического человека таково: каждый орган прямо пропорционален по величине размеру суммы, которая выплачивается застрахованному в случае потери этого органа: таким образом, глаза у статистического человека, как вы, вероятно, успели это заметить (орган, который у нас с вами значительно меньше, скажем, ягодиц, что несправедливо, потому что ценность его для работы гораздо больше), глаза его выползают из-под растянутых век огромными мячами, левая рука еле достает до бедер, а правая волочится пальцами по земле, ну и так далее, и так далее. Признаюсь, что когда я в первый раз наткнулся зрачками на выпяченные глазные яблоки справедливо телосложенного, я был близок к тому, чтоб удивиться. Но помимо Гюрациевой максимы «ничему не удивляйся» у меня есть правило и собственного изготовления: «удивляй ничем». Итак, мы встретились с справедливо телосложенным на одной из скамей московского бульвара. Мимо сновали мальчишки с облизанными ирисами. Чистильщики сапог охотились за грязными голенищами. Лицо случайного соседа, которого я застал уже сидящим на скамье, было спрятано за газетой. Скользя глазами по бумажной ширме, я сказал:

— А реформисты опять пошли вправо.

— Нулям, если они хотят что-нибудь значить, один путь: вправо.

Газета сложила листы, и тут-то, навстречу моему спрашивающему взгляду,—вытиснувшиеся из орбит гигантизированные глаза. Я невольно отодвинулся, но за мной потянулась саженная длинная рука: большой и указательный, разросшиеся за счет остальных трех, делали ее похожей на клешню. Поймав меня у самого краешка скамьи, клешня стиснула мне пальцы:

— Будем знакомы: наглядное пособие. А вы? От вас как будто тоже,—потянул он вспучившейся ноздрей,—книгой пахнет...

— Да, вам действительно нельзя отказать в наглядности,— отклонил я вопрос.

— Настолько,— осклабился клешняк, показав разнокалиберье зубов,— что ни одна она «пенаглядным» не назовет.

— Кто знает,— решился я на робкий комплимент,— красоты в мире мало, дурного вкуса много.

— Да, чем хуже, тем лучше: прежде это называли: «предустановленная гармония», *harmonia predestinate*. Но если хотите, чтобы я для вас был пособием, спрашивайте: все цифры от нуля до бесконечности к вашим услугам.

Я вынул записную книжку:

— Сколько было самоубийств за время гражданской войны?

— Ноль случасв.

— Как так?

— А так: прежде чем ты сам себя, а уж тебя другие...

9

Тем временем октябрьский ветер сорвал последние листья с уличных деревьев, и ртуть в термометрах и дни укоротились, крышу и землю прикрыло снегом. Я согревался обычно быстрой ходьбой. Однажды, обгоняя вереницу трамваев, медленно лязгавших по промерзшим рельсам, я заметил, что на передней площадке каждого из них, на выдвижной скамеечке, рядом с вагоновожатым сидит по одному старцу, сгорбленному бременем лет со снежными хлопьями седины из-под шапки. Я остановился и пропустил мимо себя череду вагонов: всюду рядом с рычагами вагоновожатых лица ветхих стариков. Недоумевая, я обратился к прохожему:

— Кто они?

— Буксы,— буркнул тот и прошагал дальше.

Я тотчас же отправился в библиотеку Исторического музея. Десяток аристократически закрючившихся носов и столько же выпяченных нижних губ еще раз прошли в моем воображении. Я спросил «Бархатную книгу» и стал листать родословия: Берсы есть, Брюсы есть, Буксов нет.

Что бы это могло значить? Размышляя о судьбе затерявшегося в книгах старинного рода Буксов, я сно-

ва вышел на улицу — и тут вскоре все разъяснилось: спускаясь по склону одного из семи холмов, на которых разбросалась Москва, я увидел еще один вагон, который, скрежеща железом о железо, тщетно пробовал взять подъем. Тогда по знаку вагоновожатого ветхий букс спустился с площадки и заковылял впереди вагона вдоль рельса: при каждом шаге старика с него сыпался песок, и трамвай, тоже по-стариковски, кряхтя и дребезжа, пополз по присыпанным песком рельсам вверх.

При такого рода системе тамошние трамваи оказываются удобными лишь для чиновников, при помощи их опаздывающих на службу. Я всего лишь раз доверился этим железным черепахам, но должен признаться, что они чуть-чуть не завезли меня... чрезвычайно далеко. Дело в том, что, спутав остановки, я взял вместо одиннадцатикопеечного билета восьмикопеечный. Контроль уличил меня. Проступок был запротоколирован, дело направлено к расследованию, а затем и дело, и я — в суд. Слушание дела о недоплате трех копеек состоялось в Верховном суде: меня провели меж двух сабель, к скамье подсудимых. Огромная толпа любопытных наполнила зал. Слова «высшая мера» и «смертная казнь» ползали от ртов к ртам.

Свою защиту я построил так: так как мой проступок, рассматриваемый как проступок, есть результат комплекса условных рефлексов, то пусть и наказание будет условным. Суд, отсоветавшись, постановил: признав виновным, расстрелять... из пугачей.

В назначенное для казни утро меня поставили к стене против дюжины дул — и я глазом не успел моргнуть, как грохнул залп и меня расстреляли. Сняв шляпу, я извинился за беспокойство и вышел на улицу: теперь я был на положении условного трупа.

Так как расстреливают обычно на рассвете, то улицы были еще пусты, как дорожки кладбища: к тому же это был воскресный день, когда жизнь пробуждается несколько позднее. Я шел в легком возбуждении, чувствуя еще на себе пристальные дула. Город постепенно просыпался. Открывались трактиры и пивные. В горле у меня пересохло. Я толкнул одну из дверей под зелено-желтой вывеской — навстречу запах пива и гомон голосов. Сев у столика, я оглядел кружки и лица, и многое мне показалось странным: никто из посетителей, сидевших уткнувшись в свои кружки, ни с кем

не разговаривал, но все непрерывно говорили. Вслушавшись, я стал различать слова, их было меньше, чем говоривших, так как все посетители повторяли, лишь незначительно варьируя, одно и то же национальное ругательство. По мере того как пиво в кружках убывало, красные лица с налитыми глазами свирепели все более и более и, казалось, все поры воздуха забиты отборной руганью. Все лица, все глаза мимо друг друга, никто ни на кого не обижен и только искусственная пальма нервно вздрагивает остриями под градом несмолкаемой брани. Ничего не понимая, я поманил пальцем официанта и просил разъяснить мне смысл происходящего. Лениво улыбнувшись, тот информировал:

— Торговцы.

— Что ж из этого?

— Известно что: шесть дней терпеть от покупателя всякое, — ни товару, ни людям ни дня покоя: щупают, перещупывают, спросят, переспросят, то не так и это не то, показывай, прячь, мерь, перемеривай и молчи: ну вот, шесть дней и молчат, а на седьмой...

И, смахнув полотенцем гороховую шелуху со столика, официант отошел к прилавку.

Я улыбнулся: значит, эти люди отдавали назад в воздух, пользуясь праздничным перерывом в работе, все то, что вобрали в себя сквозь глаза и уши за долгую рабочую неделю.

Да, я улыбнулся, но, конечно, не грубым ругательством, звучавшим вокруг меня, а смутному воспоминанию, пробужденному ими: мне вспомнился — вероятно, и вы не забыли о нем — тот удивительный рожок почтальона, в котором, как улитка в раковине, пряталась замерзшая песня, чтобы при случае запеть себя навстречу теплу и весне. Но ругани вообще везет больше, чем песням: увы, в календаре поэта нет воскресений, и если ему удастся иной раз не замерзнуть в пути, то сердце у него все же в морозном ожоге. Так я, условный труп, сидя в пивнушке, размышлял об условных рефлексах.

Сквозь всю залу — от задних рядов к передним — ныряя и выныривая из-за плеч, пробирался вчетверо сложенный клочок бумаги; достигнув кафедры, он на секунду остановил речь.

— Я получил записку,— заулыбался лектор, взмахнув листком,— чей-то женский почерк спрашивает об общественном положении женщины в Советском Союзе и о ее правах на любовь и брак. Я не предполагал касаться этих вопросов, но если аудитория требует — вот в двух словах: отношение к женщине в бывшей России коренным образом улучшилось — дисгармоническое существо, у которого «волос долог, а ум короткий», добилось, наконец, чтобы и волос у него был короткий.

Что касается до практического изучения вопроса о любви и браке, то мои двести лет отчасти снимают с меня обязанность отчитываться в этом пункте. Правда, желая быть добросовестным до конца и помня, что любопытство может сойти за страсть, я попробовал было затеять легкий флирт с парой прелестных глазок. Познакомились мы так: иду по улице — впереди стройная девушка, ведущая за руку крохотного мальчугана. «Вероятно, бонна», — думаю я, — и, нагнав, заглядываю под шляпку. Незнакомка смущенно отворачивается, и в это время шар, красный надувной детский шар, выдернув веревочку из ее пальцев, вверх мимо окон и по скату кровель. Я тотчас же руками и коленями по водосточной трубе, вдогонку за крашеным пузырем. Бегу по грохочущей жести, но внезапным порывом ветра шар перебрасывает на соседнюю кровлю. Пригибаю колени и прыгаю с дома на дом: веревка в моих руках. Отталкиваюсь от выступа кровли и плавно опускаюсь на детском шарике к ногам изумленной незнакомки и развесившего рот мальчугана. Далее все, разумеется, своим естественным порядком: глазки назначили мне свидание, я уже внутренне торжествовал, но глупый случай испортил все. Желая форсировать успех, по пути к глазкам я завернул в магазин. В Москве под одной и той же вывеской продают: живые цветы и конину, кровососные пиявки и мясные консервы и так далее, и так далее. На жестяном прямоугольнике, под который я шагнул, было проставлено черным по синему: Кондитерские изделия и Гроба. Я просил отпустить мне коробку конфет побольше, но, очевидно, ткнул пальцем не совсем туда. Мне вручили большую коробку продолговатой формы, изящно обернутую в бумагу и перевязанную розовой ленточкой.

С бьющимся сердцем стучался я у дверей прелестницы. Увидев подарок, глазки засияли — все шло как нельзя лучше. Чувствуя себя на полпути от взглядов к поцелуям, я сдернул с коробки ленточку, девушка с улыбкой сластены развернула бумагу, и мы оба откачнулись к спинке дивана: из бумажного вороха предстал маленький синий в белом обводе детский гробок. Поезд счастья, свистнув, промчался мимо. О, как круты и узки эти проклятые московские лестницы!

Да, не боюсь быть откровенным, скажу, что людям с фантазией вообще нечего делать в любви: ведь настоящий шахматист умеет играть, не глядя на доску; и если уж любить, то лучше не глядя на женщину. Ведь подумать! Кто пользуется успехом у дам? Я до сих пор не могу забыть прыщеватое лицо одного архивариуса из Ганновера, который, имея всю жизнь дело с тесемками архивных папок, научился так быстро развязывать их, что, транспонируя пальцевую технику, сделался, по его уверению, неотразим: раньше чем мне успеют сказать «да» или «нет», все тесемки уже развязаны,— хвастал архивариус, и я склонен думать, что не все в его словах было хвастовством.

Так или иначе, в дальнейшем отказавшись от практики, я решил ограничиться теоретическим ознакомлением с проблемой. Кипы советской беллетристики привели меня к чрезвычайно отрадным выводам и прогнозу: в то время как газеты твердят о непримиримой ненависти класса к классу, беллетристика их не признает никакой иной любви, кроме как любви чекиста к прекрасной белогвардейке, красной партизанки к белому офицеру, рабочего к аристократке и детитулированного князя или графа к простой черноземной крестьянке. Таким образом, доверившись старым реалистическим традициям русской беллетристики, мы можем смело ждать, что все вбитое молотом будет срезано серпом... луны: рано или поздно соловей пере-свистит фабричную сирену. Так было, так будет: антитезисы всегда будут волочиться за тезами, но стоит им пожениться, и друг дома синтезис уж тут как тут.

Сейчас еще мнения по этому вопросу как бы во взвешенном состоянии и не успели осесть и закрепиться: одни требуют применить лозунг «все на улицу» и к любви, другие с боем отстаивают нетушимость семейного очага. Тициановские *Amor profana* и *Amor*

celeste¹, изображенные мирно сидящими по обе стороны колодца, взяли друг друга за волосы и пробуют столкнуть одна другую в колодец.

Не пускаясь в область догадок, все же надо констатировать великий почин в деле переустройства любви, «почин дороже денег» — как сказала одна девушка, за пять минут до того бывшая невинной, когда ей не уплатили условленной суммы. Я не верю, чтобы законы, придумываемые юристами, могли бороться с законами природы. Еще великий методолог Фрэнсис Бэкон определял эксперимент так: «Мы лишь увеличиваем или уменьшаем расстояние между телами, — остальное делает природа». Если принять во внимание, что жилищные условия страны, из которой я возвратился, не допускают дальнейшего уменьшения расстояний, то... разрешите мне вернуться к докладу.

11

Восстановление хозяйства СССР началось медленно, с неприметностей, точно подражая их северной весне, которая с трудом проталкивает почки сквозь изледенелую голую кожу ветвей. Если память мне не изменяет, началось с бревен, которые люди начали вынимать из глаз друг друга. Раньше они не хотели замечать даже сучков в глазу, но нужда делает нас зоркими: вскоре запас бревен, вытащенных сквозь зрачки наружу, был достаточен, чтоб приступить к постройкам; на окраинах города, то здесь, то там, стали появляться небольшие бревенчатые домики, образовались жилищные кооперативы, и дело, в общем, пошло на лад.

Было приступлено к посадке деревьев на бульварах (от старых торчали лишь пни): при этом применялся простой, но остроумный способ ускоренного их выращивания — к комлю вкопанного в землю деревца привязывался канат; канат перебрасывали через блок и тянули дерево кверху, пока оно не вытягивалось до довоенной высоты. Таким образом, в две-три недели голые бульвары покрылись тенистыми деревьями, вернувшими улице ее прежний благоустроенный вид.

Множество плакатов, расклеенных по всем стенам и заборам, наставляли прохожих практическими

¹ Любовь земная и любовь небесная (*итал.*).

советами, как, например: «так как рыба портится с головы, то ешь ее с хвоста» или «если хочешь сбересть подметки, ходи на руках». Всего не упомнишь. С плакатами состязались театральные афиши, анонсировавшие грандиозные постановки и народные зрелища. Увлеченный этой волной, я не мог оставаться безучастным зрителем и предложил кое-какие проекты и схемы: так, я, консультируя одному московскому режиссеру, посоветовал ему поставить гоголевского «Ревизора», так сказать, в моих масштабах, помюхгаузеновски, перевернув все дыбом, начиная с заглавия. Пьеса, как мы ее спроектировали, должна была называться «Тридцать тысяч курьеров»: центр действия перемещался от индивидуума к массам; героями пьесы оказывались бедные труженики, служащие в курьерах у жестокого эксплуататора петербургского сановника Хлестакова; он загонял их, пакеты сыплются на курьеров дождем, пока те, организовавшись, не решаются забастовать и перестать носить пакеты. Тем временем у Хлестакова роман с прекрасной... не помню, как там у них — «городничихой» или «огородничихой»: одним словом, Хлестаков посылает ей письмо с первым курьером, назначая свидание вечерком на огороде (у русских это принято); но забастовавший курьер не относит письмо по адресу; Хлестаков, прождав всю ночь на огороде, раздосадованный, возвращается в Департамент и посылает второе письмо такого же содержания и по тому же адресу со вторым курьером; результат тот же — и второй, и третий и тысячный, и тысячпервый не выполняют поручения. Хлестаков три года кряду ходит безрезультатно по ночам на огород, все еще не теряя надежды покорить сердце неприступной красавицы; он постарел и похудел и все шлет новых и новых курьеров: 1450-й, 1451-й, 2000-й. Эпизоды следуют за эпизодами. Опытный волокита не терпит волокиты в любви. Он забросил все свои дела и пишет каждый день уже не по одному, а по десяти, по двадцати, по сто писем, не зная, что все их относят в стачечный комитет. Тем временем и огородничиха, которая вовсе не неприступна, годы и годы ждет хотя бы строчки от избранника; огород ее увяз и зарос чертополохами. И вот среди забастовавших находится

штрейкбрехер: это как раз последний тридцатитысячный курьер, который, не выдержав напряжения стачки, относит письмо по адресу.

После этого события с быстротой падающего камня в катастрофу Хлестаков спешит к огородничихе: наконец-то! Но и стачечный комитет не дремлет: штрейкбрехера выследили, но письмо номер тридцать тысяч уже ушло из рук забастовщиков. Тогда они вскрывают двадцать девять тысяч девятьсот девяносто девять недоставленных. Вы представляете эффект этой сцены, когда тридцать тысяч разорванных конвертов летят в воздух, падая белыми квадратами на головы зрителям. Хор гневных голосов — здесь мы прибегли к коллективной декламации — читает тридцать тысяч почти идентичных текстов, по залу, колебля стены и потолок, гремит: «приди на огород». И тридцать тысяч восставших стройными рядами идут на огород, чтобы расправиться с сановником-соблазнителем. Парочка, шептавшаяся у плетня, пробует бежать, но со всех сторон курьеры — курьеры — курьеры. Ночь стала бела, как день, от тридцати тысяч белых листков, протянутых к глазам сановника. Жизнь его на волоске. Самоотверженная огородничиха кричит, что готова отдать себя всем тридцати тысячам, лишь бы спасти единственного. Курьеры смущены и готовы спрятаться внутрь своих конвертов. Тогда раскаявшийся Хлестаков всенародно признается, что он вовсе не сановник, а свой брат — титулярный советник, такой же рабочий человек, как и все. Примирение. В руках у тридцати тысяч заступы; под звуки народной песни «Всякому овощу свое время» заступы ударяют о землю, взрывая заросший чертополохами огород. Алое сияние зари. Отерши трудовой пот со лба, Хлестаков протягивает руку навстречу грядущему дню: «пелена упала с моих глаз». Вслед за пеленой падает и занавес. Каково? А?

Начались уже репетиции, но тут мы наткнулись на неожиданное препятствие: на роли тридцати тысяч были ангажированы из ближайших к Москве округов две дивизии, но власти, вероятно, боясь военного переворота воспротивились введению такого количества войска в столицу. Вскоре я уехал, прося режиссера, в случае, если постановка все-таки когда-нибудь наладится, не раскрывать на афише моего инкогнито. Я думаю, он не нарушит обещания.

В бытность мою в Москве я старался не пропускать ни одной научной лекции. Общее экономическое оживление отразилось самым благоприятным образом на темпе научных работ и изысканий в стране. С вашего разрешения, леди и джентльмены, я позволю себе сконспектировать содержание двух последних лекций, на которых мне удалось присутствовать.

Первая была посвящена вопросу о пра-рифме: лектор, почтенный академик, посвятивший себя изучению славянских корнесловий, задался вопросом о первой рифме, прозвучавшей на старорусском языке. Многолетняя работа привела его к IX в. нашей эры: оказывалось, что изобретателем рифмы был Владимир Святой, прорифмовавший слова — «быти» и «пити». От этой прорифмы, — доказывал красноречивый докладчик, — и пошла, постепенно усложняясь, вся русская версификация; но отнимите у нее «пити», и ей не с чем будет рифмовать своего «быти», непоколебленная база сделает шаткими и все надстройки, и домик из книг немногим устойчивее карточного. В заключение лектор предлагал освежить терминологию, классифицируя поэзию не на лирическую и эпическую, как это делали прежде, а на самогонную и ректифицированную.

Вторая лекция, входившая в цикл чтений, организованных Институтом нивелирования психик, привлекла меня уже самим своим названием: «По обе стороны пробора». Маститый физиолог демонстрировал работы Института по нивелированию в области электрификации мышления; оказывается, группе научных деятелей Института удалось доказать, что нервные токи, возникающие в мозгу, подобно электрическим токам, распространяются лишь по поверхности мозговых полушарий, являющихся полюсами электромышления. Затем уже было делом чисто технических усилий поднять мышление еще на два-три сантиметра кверху, локализовав его на поверхности черепной коробки; пробор, проведенный от лба к затылку, расчесывал мыслительные процессы налево и направо, удачно имитируя как бы спроектированные на сферическую поверхность полушария мозга; нечего, конечно, подробно объяснять, что волосы заменяли собой в этом смелом опыте провода, радировавшие мысль в пространстве.

После сжатого теоретического сообщения ученый приступил к демонстрациям: на помост ввели человека

с глухим латунным колпаком на голове, надвинутым по самые уши. Колпак сняли, и мы все увидели аккуратный прямой пробор и гладкие, будто вутюженные в череп—справа налево и слева направо—волосы. Экспериментатор, взяв в руки стеклянную палочку, придвинул ее к левому полушарию испытуемого:

— Идея—«государство» локализуется у данного субъекта вот тут, на острие волоска влево от пробора. Пункт отмечен красной крапиной: близоруких прошу подойти и убедиться. Теперь внимание: нажимаю «государство».

Стеклянное острие ткнулось в крапину, через пробор справа налево метнулась искра, и челюсти объекта, разжавшись, произнесли: «Государство есть организованное насилие...» Рука со стеклянной палочкой отдернулась: челюсти, лякнув зубами о зубы, сомкнулись. Ученый сделал знак ассистенту:

— Перечешите пробор влево. Вот так: теперь вы видите, что красная точка переместилась на правую сторону от пробора. Контакт.

И снова—стекло тычком в точку, искра слева направо, челюсти врозь и: «Государство есть необходимый этап на пути к...»

— Остальное оставим за зубами,—взмахнул палочкой экспериментатор.

Челюсти сомкнулись, и на место отреагировавшего ввели другого. Этот имел взъерошенный и непокорный вид; четверо институтских сторожей с трудом водворили его на эстраде, из поднятых торчмя волос с сухим треском сыпались искры, но судорожно стягивающийся рот был заклепан кляпом.

— Включите слова,—распорядился экспериментатор.

Кляп удалили и хлынули слова, вызвавшие тихий говор среди многоголовой аудитории, «контрреволюция», «белая идеология», «стоцентный буржуй», «революция в опасности», а кто-то, вскочив с места, кричал: «За такое к стенке».

Но ученый протянул руки, утишая волнение:

— Граждане, к порядку. Прошу не прерывать эксперимента. Машинка номер 0.

Ассистент метнулся к инструментарию,—и обыкновенная парикмахерская машинка (лишь с несколько удлиненными ручками в стеклянных чехлах) заскользила

по черепу экспериментируемого, поспешно сбривая ему мышление. И по мере того, как железные зубья, оголяя череп, снова и снова перекатывались через темя, речь контрреволюционера теряла слова, бледнела и спутывалась. Машинка кончила свое дело, и сторож выметал венником остриженное мирозерцание. Руки испытуемого обвисли, как плети, но язык уныло, как деревянная колотушка, подвешиваемая корове к шее, продолжал отстукивать, повторяя вновь и вновь всего лишь два слова: «свобода слова — слово свобода — слово свободы — свобо...»

Экспериментатор с озабоченным видом подошел к объекту и внимательно оглядел оголенный череп. Вдруг лицо ученого прояснилось, и он протянул широкопальную руку к темени пациента.

— Тут вот еще два волоска, — осклабился он в сторону аудитории и, притиснув два квадратных ногтя к невидимому чему-то, дернул, — теперь чисто. Ни гугу!

Ученый дунул себе на пальцы и отшагнул к кафедре. Сторож, кончив уборку, собирался вымести психический сор за порог. В это-то время где-то в задних рядах послышался тихий звук: не то зевок, не то глухой спазм. И, выждав долгую паузу, ученый строго обвел очками притихшие ряды и сказал:

— Спокойствие. Вспомним русскую поговорку: «Снявши волосы, по голове не плачут».

12

Кто не бывал на первомайской демонстрации в Москве, тот не знает, что такое народное празднество. Навстречу маю распахнуты створы всех окон, в весенних лужах, спутавшись с отражениями белых облаков, дрожат красные отсветы знамен; из улиц в улицу стучат барабаны, слышится твердый марш колонн, миллиононогие потоки текут на Красную площадь, чтобы людским водопадам свергнуться вниз к расковавшейся из льда такой же весенне-стремительной, выхлынувшей за свои берега Москве-реке. Раструбы труб бросают в воздух Интернационал, красные флаги шевелятся в ветре, как гигантские петушиные гребни, а трехгранные клювы штыков, задравшись в небо, колышутся перед трибунами. Затиснутый в толпе, я долго

наблюдал этот кричащий свои боевые крики, веющий алым оперением стягов и лент, с трехгранью гигантского клюва, готового склевать все звезды неба, как мелкую крупу, с тем чтобы бросить в него горсти алых пятиконечий,— этот исполненный великого гнева от полюса к полюсу простерший готовые к взлету крылья,— Праздник, который вдруг разбудил во мне одну легенду, незадолго до того отысканную мною в одном из московских книгохранилищ, но тотчас же забытую в быстрой смене дней и дел. Легенда, стал припоминать я, рассказывала об одном французе, который еще в 1761 году, приехав в Москву затем, чтобы... но в это время медные трубы в тысячный раз закричали Интернационал, толпа качнулась, кто-то наступил мне на мозоль, и я потерял нить.

Только к вечеру праздник стал спадать, как вешний цвет на ветру. Стены еще горели зигзагами огней, но толпы поределели; потом окна сомкнули стеклянные веки, огни погасли, и только я один шагал по обезлюдившей улице, стараясь вспомнить в деталях полузабытую легенду: постепенно в память вернулось все до заглавного листа с его четким: «Черт на дрожжах».

В 1761 году,— рассказывала легенда,— некий француз приехал издалека в Москву, с целью разыскать одного чрезвычайно нужного ему человека, но в пути он его потерял и лишь смутно помнил, что разыскиваемое лицо живет у Николы Малого на Петуховых Ногах. Прибыв в Москву, француз нанял извозчика и велел ему ехать к Николе на Петуховых Ногах. Извозчик, покачав головой, сказал, что не знает такого: есть Никола Мокрый, Никола Красный Звон, Никола на Трех горах, но Николы на Петуховых Ногах... Тогда приезжий велел ему ехать от перекрестка к перекрестку, решив спрашивать у прохожих. Возница взмахнул кнутом и тронул. Прохожие, повстречавшиеся с экипажем, вспоминали: кто Николу Постника, кто Николу в Пыжах, другие Николу на Курьих Ножах или Николу в Плотниках. Но Николы на Петуховых Ногах никто не знал. И колеса вертелись дальше, ища затерявшийся храм. Подошла ночь, устали и лошадь, и возница, и кнут,— но настойчивый француз сказал, что не слезет с сиденья, пока не отыщутся Петуховы Ноги. Возница дернул вожжи, и обода рыдвана снова застучали по ночным улицам Москвы. В то

время город рано отходил ко сну, и лишь два-три прохожих, остановленных голосом, выкатившимся из темноты, поторопились ответить «не знаю» и поскорее скрыться в домах. Зажглось солнце, погасло, вновь вспыхнуло и вновь кануло в тьму, а поиски все продолжались. Усталая кляча, спотыкаясь, еле тащила рыдван, возница сонно качался на козлах, но упрямый приезжий, коверкая чужие ему слова, требовал — дальше и дальше. Теперь они уже останавливались у каждой церкви и, если была ночь, возница шел и стучался в соседние окна. Разбуженные люди высовывались навстречу вопросу о Николе на Петуховых Ногах, но окна тотчас же захлопывались, бросив короткое — «нет». И спицы снова кружили вокруг оси в поисках потерянного храма. Однажды сторож церкви Миколы Малого, что на Курьих Ножках, поднявшей свои кресты над путаницей переулков, пересеченных двумя Молчановками, услышал костистый стук в окно своей сторожки. Поднявшись с лежанки, он увидел (ночь была лунной) обросшее космами волос лицо, прилипшее к стеклу снаружи. «Кто там? — воскликнул сторож. — Чего надо?» И чей-то голос за дверью коверканно, но внятно, отвечал: «Пти Никола на Петуховый Ног». Сторож закрестился, испуганно шепча молитвы, а терпеливый француз, вернувшись в свой рыдван, продолжал поиски. Вскоре вокруг странного приезжего стала разрастаться легенда: люди, которым повстречался таинственный рыдван, рассказывали о черте на дрожках, который разъезжает по ночным улицам Москвы, ища подземный храм сатаны, у которого левая пятка, как известно, петушья.

Теперь уже прохожие, заслышав стук таинственного экипажа, бросались в боковые переулки, не дожидаясь ни встречи, ни вопроса. И черт на дрожках тщетно кружил от перекрестков к перекресткам, нигде не встречая ни единой живой души.

Отдавшись образам старой легенды, я шел по отшумевшим улицам, наступая на тени и лунные пятна, пока случай не завел меня в узкий и длинный тупик. Я повернулся, чтобы выбраться из каменного мешка, но в это время, там, за поворотом, вдруг тихий, но четкий близящийся стук колес. Я участил шаги, пробуя опередить. Нет, было уже поздно: ветхий рыдван перегораживал мне выход из тупика. Да, это были они:

захлестанная кляча, а меж ее дышащих ребер лунные лучи, протянувшие по мостовой скелетное плетение теней; возница с вожжами в костяшках рук и смутный силуэт седока, пытливо вглядывающегося в перспективу улиц. Я прижался спиной к стене, стараясь укрыться за выступом дома. Но меня уже заметили: низкий дорожный цилиндр, каких уже давно не носят, приподнялся над головой седока, и мертвые губы зашевелились. Но я, опережая вопрос, громко бросил в смутное картавое бормотание:

— Послушайте, вы, видение, где ваше видение? Будет ломать легенду. Вы ищете храм на Петушиных Ногах. Но их тут тысячи: стучите в любую дверь, и она введет вас. Разве не треплются красные петушкии гребни над кровлями их домов, разве не проблестали поднятые в небо стальные клювы. Каждый дом (если верить их сказкам), каждая идея (если верить их книгам) на петушьих ногах. Попробуйте троньте,— и все это, топорща перья, бросится на нас и расклюет, со всеми Крупами, как крупу. А вознице вашему я б посоветовал немедля в профсоюз: пусть взыщут с вас по такое за сто пятьдесят два года. Эксплуататор, а еще черт!

И, рассердившись, я без церемонии прошагал сквозь призрак. События дня утомили меня до предела. Сон давно уже дожидался моего возвращения. Потру я с трудом распутал клубок из яви, сна и легенд.

13

То, что я сообщил здесь уважаемому собранию,— лишь так, несколько мелких пенни, вытряхнутых сквозь рот, как сквозь отверстие туго набитой копилки. Вся Россия вот здесь, под этим теменем. И мне понадобится по меньшей мере дюжина томов, чтобы уместить в них весь опыт моего путешествия в Страну Советов.

Так или иначе, почувствовав, что копилка полна, я решил, что пора подумать о возвращении. Получить заграничный паспорт в СССР удастся весьма немногим. Первый же чиновник, к которому я обратился, отвечал в тоне надписей над входом в Дантов ад:

— Ни живой души.

Но я не смутился:

— Помилуйте, какая ж я живая душа, когда меня условно расстреляли?

И, выправив нужные удостоверения, я двинул дело с мертвой точки. После нескольких недель хлопот, в кармане у меня лежали билет и пропуск.

Настал последний день. Поезд мой отходил в шесть с минутами. На небе сияло полуденное июльское солнце: в моем распоряжении было несколько часов,— и я решил их отдать прощанию с Москвой. Неторопливым шагом дошел я до одного из мостов, переброшенных через реку, и, свесившись с перил, в последний раз наблюдал волны и пену, уносимые быстрым, как время, течением. С илистых берегов доносилось протяжное кваканье лягушек, в последний раз напоминавшее мне предание о том, как строился этот удивительный город (начало предания вы можете прочесть у известного русского историка Забелина) в далеком прошлом, когда вместо домов тут были кочки, вместо площадей затянутые тиной болота, вместо людей лягушки, пришел неведомо откуда царевич Мос и посватался неведомо зачем к царевне Ква. Построили среди болот и топей брачные хоромы и отпраздновали свадьбу. Но как только Мос и Ква остались одни, слышит Ква, кто-то зовет ее по имени. «Пойди,— говорит она мужу, которому бы к жене, а не от жены: — Посмотри, кто меня зовет?» Досадно Мосу, но вышел, смотрит — на кочке жаба и — ква-ква. Прогнал Мос жабу, но только вернулся к жене, а уж с другой кочки опять ее кто-то по имени. И снова жена: «Пойди — узнай». Обозлился Мос и велел построить брачные хоромы в другом месте. Но и там, чуть остался с молодой женой, отовсюду и со всех кочек зовут царицу Ква по имени, от мужа отрывают. Заплакала царица Ква и просит построить дом в третьем месте. А там и в четвертом, и в пятом, и в тридцать третьем. Стучат топоры, растут дом за домом и дом к дому; и где были кочки — там кровля, где озера — там площади; где топи и болота с квакающими лягушками — там большой город с людьми, говорящими на чистом акающем диалекте чистейшего русского языка. И теперь уже никто не мог помешать тому, чтоб Мос и Ква наконец соединились, даже именами: «Москва».

Оторвавшись от перил, я тем же неторопливым шагом направился по знакомым улицам. Вот порывом ветра опрокинуло мальчишке-продавцу его лоток с мармеладом; мальчишка ползает по земле, собирает

просыпавшиеся мармеладины и, всполоснув их в ближайшей лужице, аккуратно раскладывает на лотке. Иду дальше. Мимо глаз доски знакомого забора: на верхней, грея свои рыжие буквы на солнце, протянулись слова: на соплях повис. На секунду я задерживаю шаги, пробуя образно представить смысл написанного. И опять, с чувством резиныции, мимо и дальше.

Вот спиной в афишный столб, с гармоникой меж прыгающих локтей, пьяный: «Эх, яблочко,— поет он,— сбоку листики, полюбил бы тебя — боюсь мистики». Но афишный столб, внезапно повернувшись, роняет и певца и песню на землю. Дальше.

Навстречу плывет громадная площадь: в центре площади пятью крестами в небо — собор; рядом с громадой собора высокое мраморное подножие памятника, очевидно, сброшенного революцией. Должен признаться, что я никогда не мог пройти мимо пустого подножия пьедестала. Неполнота, незавершенность всегда меня раздражает. Так и теперь: я быстро вскарабкался на мрамор постамента и принял спокойную, исполненную достоинства и монументальности позу. Внизу проходил уличный фотограф. Стоило бросить серебряную монету, и голова его тотчас же нырнула под черное сукно. Стоя с рукой, протянутой к падающему солнцу, я мог видеть, как вокруг памятника постепенно накапливалась толпа, наблюдавшая, с возгласами одобрения, эффектную съемку. Впрочем, экран скажет короче и убедительнее. Вот — (гром аплодисментов приветствовал табло, выпрыгнувшее из волшебного фонаря на плоскость экрана. Докладчик, откланявшись, попросил, движением руки, тишины).

Я не хотел бы, леди и джентльмены, чтобы это было истолковано как намек. Но, возвращаясь к рассказу, должен сообщить, что москвичи, заполнившие площадь вокруг памятника, отнеслись ко мне так же, как и вы, заполняющие этот зал: рукоплескания, крики «возвращайтесь», «пока» и «на кого вы нас покидаете» долго не давали мне сойти с постамента; если присоединить к этому и то обстоятельство, что фотограф сделал очень долгую выдержку, то для вас не покажется удивительным, что я опоздал к поезду: он ушел перед самым моим носом, оставив меня одного с билетом в руках, на пустой платформе.

Положение получалось чрезвычайно серьезное. Дело в том, что поезда к границе отправляются из Москвы (точнее отправлялись в то время, о котором я рассказываю), не чаще одного раза в месяц. Это разрушало все мои планы, мало того, лишало меня возможности сдержать обещания, данные моим контрагентам на Западе, превращая меня, барона Мюнхгаузена (странно даже подумать и выговорить)— в лжеца и обманщика, изменяющего своему слову.

Но делать было нечего. Я вернулся в город и всю ночь просидел на одной из скамей Страстного бульвара, обдумывая, как быть. Тем временем время растягивало секунды в минуты, минуты в часы: дата, вштемпелеванная в мой билет, сделалась вчерашней, и тут вдруг мысль: а не попробовать ли мне разыскать вчерашний день?

Я тотчас же отправился в редакцию газеты и сунул в окошечко приемщика объявлений текст: «УТЕРЯН вчерашний день. Нашедшего просят за приличное вознаграждение...» ну и так далее.

— Хорошо, дня через два пустим.

— Позвольте,—загорячился я,—но через два дня это уже будет не вчерашний,—а—как это вы называете?

— Третьевый,—ответили из-за оконца, а стоявший за моей спиной в очереди посоветовал:

— Четвертевый, пусть пишут четвертевый, вернее, с запасом, раньше не напечатают.

— Но как же так?—заметался я меж двух советов.—Мне нужен не третьевый и не девятеревый, а вчерашний день, я же говорю вам чистым русским...

— А если вам непременно вчерашний,—возразило окошечко,—то нужно было заявить об этом третьего дня: порядка не знаете.

— Но как же...—вскинулся было я, но, поняв, что лишь понапрасну растрачиваю время, решил действовать иным путем. Перебирая в памяти имена учреждений и лиц, куда бы я мог обратиться, я вспомнил об «Ассоциации по изучению прошлогоднего снега». Звонок по телефону, короткий разговор, и извозчик везет меня в Архив Ассоциации. Пролетка пересекает город по диагонали, мы минуем заставу; за городом, в стороне от пыльного летнего шоссе, красная кровля Архива,

полуспрятанного за высоким обводом глухой каменной стены. Подъезжаем к воротам. Тяну за ржавую петлю звонка. В ответ длинная мертвая тишина. Еще раз за петлю. За глухой стеной медленно близящийся шаг — и странно: земля под ногами похрустывает и скрипит (что такое?). Наконец, ржавый голос ключа, и кованная в медь калитка приоткрывается. Я в изумлении: июльский снег. Да-да, за оградой, внутри обвода высокой стены замешкавшаяся на несколько месяцев зима; на голых ветвях ледяные сосули и повсюду на грядках старого заглохшего сада, окружившего ветхое здание Архива, сугробы и хрупкий белый наст. Слуга, сгорбленный морщинистый старик, медленно переставляя ноги, ведет меня по аллее к крыльцу, а в воздухе мягкие белые хлопья, неслышно приникающие к земле. Я не спрашиваю — я знаю: это падает прошлогодний снег.

Заведующий Отделом Вчерашних Дней, лысый господин с глазами, заштопанными синим стеклом, предупрежденный о моем посещении, встретил меня очень любезно.

— Бывает, бывает, — улыбнулся он мне, — один упустит мгновение, другой, глядь, жизнь. А если к нам и: *diem perdidit*¹, то мы, как библейская Руфь, подбирающая оброненные серпом колосья, собираем отжатое и отжитое. У нас ничего не пропадет: ни единой оттиканной секунды. Руфь собирает Русь, хе. Вот — прочтите вам вчерашний день.

И ко мне подо двинулась аккуратная занумерованная коробочка паутинного цвета. Я открыл крышку: под ней, замотанный в вату, нажившись щетиной из шевелящихся секундных стрелок, сонно ворочался мой вчерашний день. Я не знал, как благодарить.

Синие очки предложили мне осмотреть архив Руфь-Руси, но я, боясь еще раз потерять потерянное, извинился и поспешил к выходу. Хлопья прошлогоднего снега провожали меня до калитки. Весь белый, я вышел за ограду, и летнее солнце вмиг растопило снежный налет и высушило одежду. Я прыгнул в пролетку.

— Вокзал.

Извозчик дернул вожжи, и мы поехали. Но мне как-то не верилось в реальность происшедшего, и хотя

¹ Потерянный день (лат.).

время незримо, но глаза мои искали доказательств. И вдруг, взглянув на уличный циферблат, я увидел, что часовая стрелка пятится по кругу назад: с шести на пять, с пяти на четыре и так далее. Навстречу бежал газетчик:

— Экстренный выпуск! Последние известия!

Тронув спину извозчика, я остановил его, чтобы обменять пятак на газету. С бьющимся сердцем развернул я вчетверо сложенный лист: слава богу — под заголовком ясно оттиснутая вчерашняя дата. И мы покатали дальше.

Теперь я спокойно разглядывал убегающую из-под колес улицу. Вот промелькнул вчерашний мальчишка: вчерашний ветер опрокинул ему лоток с мармеладом, и бедняга снова, обмывая в луже мармеладины, раскладывал их на доске. Вот и пьяный, прислонившийся спиной к афишному столбу, с гармонией меж прыгающих локтей: «Эх, яблочко, с боку листики»... и я знаю, что афишный столб сейчас повернется и уронит певца и песню в грязь. И я отворачиваюсь, — в сущности, «вечное возвращение», о котором теоретизировал Ницше, если и не заслуживает критики, то заслуживает зевков.

Наконец мы добрались до вокзала. Я снова на платформе. Подают поезд; он медленно ползет задом наперед и вкатывается в вокзал. Для меня, как для условного трупа, особый вагон: это товарная, сбита из красных досок клеть на четырех колесах; поверх двери мелом: «для скр. прт. гр.», над дверью зеленая ветка хвои. Мрачновато, но делать нечего: даю себя погрузить. Дверь, накатываясь по шарнирам, задвигается. Сидя в полной темноте, я слышу как запломбировывают снаружи вагон.

Затем... затем два дня пути в темной клетке — время достаточное, чтобы обдумать все виденное и слышанное, отвезть шелуху от зерна и сделать последние выводы. Но все это с вашего разрешения, леди и джентльмены, мы оставим пока нераспломбированным. Я кончил.

Барон Мюнхгаузен поклонился собранию и сделал шаг к ступенькам, сводящим с кафедры. Но тут его застигла овация. Стены Лондонского Королевского Общества еще никогда не слышали такого грохота и рева: тысячи ладоней били друг о друга и все рты кричали одно лишь имя: Мюнхгаузен.

Глава VI ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТЕЙ

Барон был человеком достаточно тренированным в славе: поскольку слава из слов, он умел ее полуслушать, покорно подставляя себя под стеклянные глаза объективов, полуулыбался, полуотвечал, протягивал то три пальца, то четыре, то два, не давая руке распухнуть от рукопожатий. Слуга в коттедже сумасшедших бобов знал, что каждые два часа надо менять корзину для рваной бумаги, так как письма, теле- и радиogramмы дожили с упорством лондонского дождя.

Но даже выработанное долгим опытом умение обращаться со славой, на этот раз не могли спасти барона Мюнхгаузена от некоторого чувства усталости и пресыщения. Каждый день он получал дипломы на звание члена-корреспондента, доктора философии от всевозможных академий и университетов; американское объединение журналистов выбрало его своим шефом; на теле барона, кстати, достаточно длинном, уже не хватало места для орденов, и приходилось их вешать с некоторыми отступлениями от статуса. Испанский король прислал ему художественно выполненный язык из золота, усыпанный бриллиантовыми прыщами, а один из самодержцев всероссийских бронзовую медаль с надписью: «За спасение погибающих».

Был избран комитет по сбору пожертвований на постройку памятника Иеронимусу Мюнхгаузену; монеты катились отовсюду в фонд Комитета — и вскоре на одной из лондонских площадей состоялась торжественная закладка.

Барону редко удавалось остаться наедине со своей старой трубкой, пищащая машинка тщетно подставляла клавиши под послеобеденные афоризмы: Мюнхгаузен был занят более важной и ответственной работой — лекция его, подхваченная всеми газетами мира, день за днем разрасталась в книгу, над которой он работал, часто отказываясь от сна и пищи. Правда, иному репортеру, проскальзывающему чуть ли не сквозь замочную скважину в дом, изредка удавалось остановить перо Мюнхгаузена. Неизменно вежливый, он поворачивал злое лицо навстречу расшаркивающемуся человеку:

— Десять секунд. Секундомер пошел. Жду: раз — два...

Ошарашенный репортер выбрасывал первый попавшийся вопрос вроде:

— Из каких отделов должна состоять солидно поставленная газета?

И через шестую долю секунды звучал ответ:

— Из двух: официального и официантского. Восемь — девять — десять. Имею честь.

Стоя за порогом, интервьюер читал и перечитывал карандашную строку, не зная, как с ней быть.

Вообще, как это заметили даже завсегдатаи коттеджа сумасшедших бобов, характер барона начинал несколько портиться. Мало того, в поведении его обнаружили странности, которых раньше никто в нем не замечал.

Первая странность дала о себе знать в тот достопамятный для Лондона день, когда по главным улицам столицы были пронесены, под гром оркестров и пение клира, на парадных парчовых подушках: старая треуголка, истертый камзол, шпага и косица триумфатора. Шествие, начавшееся от здания ратуши, должно было пройти мимо дома самого Мюнхгаузена и затем повернуть к Вестминстерскому аббатству, под сводами которого, рядом со священнейшими реликвиями старой Англии мюнхгаузену шпагу, камзол и треуголку ждали бессмертие и почетный покой.

Стараниями друзей от Мюнхгаузена удалось скрыть все приготовления к празднеству. Друзья (в том числе епископ Нортумберлендский) наперед предвкушали эффект, который произведет этот грандиозный сюрприз на обязательнейшего и милейшего барона. Но им пришлось жестоко разочароваться: заслышав шум приближающейся процессии и пение клира, барон Мюнхгаузен зашлепал туфлями к окну и выглянул наружу, стараясь понять, в чем дело. Внизу, среди колышущейся толпы, медленно плыли парчовые подушки, а поверх подушек его — что за дьявол — Мюнхгаузену: камзол, коса, шпага, треуголка. Радостный рев толпы взмыл навстречу барону, но тот, отступив на шаг, обернулся и увидел неслышно вошедшего в комнату епископа Нортумберлендского.

— Куда? — хрипло спросил барон.

Весь сияя и радостно потирая руки, епископ отвечал:

— К святыням Вестминстера. Поистине не всякий король...

Но тут произошло нечто неожиданное, неприличное и не предвиденное церемониалом праздника. Вдруг побагровев, Мюнхгаузен снял с правой ноги туфлю и швырнул ее в ликующую толпу: описав параболу, туфля шлепнулась где-то меж хоругвей и сверкающей парчи, образовав в толпе, как снаряд, ударивший о землю, широкую воронку из пятящихся людей.

— Может быть, вам нужен и мой ночной горшок?! — заорал барон, перегнувшись через подоконник, в приумолкшую толпу.

Тысячи испуганных лиц поднялись к раскрытому окну лишь затем, чтобы увидеть, как оно с треском захлопнулось. Оконфуженный епископ скользнул за дверь. Распорядители выбивались из сил, восстанавливая нарушенный порядок, и так как хвост шествия, бывший за поворотом улицы, напирал на голову, то процессия по инерции продолжала двигаться, но хор пел нестройно и фальшиво, хоругви суматошно качались из стороны в сторону, празднество потускнело и скислилось.

Вечерние выпуски газет изложили события лабирующим языком, осторожно обходя или замалчивая досадную непредвиденность. Но барон Мюнхгаузен только начинал ряд странностей, заставивших души лондонцев проделать всю гамму чувств: тоника — восторг, медианта — недоумение, октава — негодование.

Процессия ушла, и Бейсвотер-род опустел, а человек, прогнавший восторг из тысячи голов, шагал из угла в угол, что-то гневно бормоча себе под нос, затем присел к столу и стал вычеркивать абзацы и страницы из своих черновиков. Лишь несколько успокоившись, он приступил ко второй странности: через два часа после водворения реликвий в Вестминстере, главный кустод аббатства получил доставленное срочной почтой письмо: письмо, помеченное гербом баронов фон Мюнхгаузенов, в резких и лаконических словах требовало немедленного возврата присвоенного аббатством камзола его законному собственнику. «Пребываю в надежде, — заканчивалось послание, — что Соединенное Королевство Великобритании и обеих Индий не захочет обогащаться, отнимая у бедного человека его носильное платье».

Кустод, до крайности озадаченный, отправился за советом к викарию, викарий рассказал отцу казначею, казначей... одним словом, еще Лондон не успел зажечь своих огней, как одиозные слова, перепрыгнув через зубчатую ограду аббатства, заскользили по телефонным проводам и зашуршали в мембранах, готовясь нырнуть внутрь обмотки трансатлантического кабеля. Атмосфера делалась напряженной. Незадолго до полуночи последовал приказ свыше: согласно заявления иностранного подданного Мюнхгаузена, лишив реликвию номер (последовала цифра) всех прав и преимуществ, реликвиям присвоенных, возратить ее названному иностранцу.

Наутро ни один репортер не посмел приблизиться к порогу коттеджа на Бейсвотер-род, если не считать Джима Чильчера, сотрудника третьестепенной газетки, для которого все вообще пороги были высоки до непереступаемости. У Чильчера не было денег на автобус, и поэтому свой утренний маршрут, от Оксфорд-стрит до Москоу-род, он начинал раньше других и проделывал пешком: сегодня, как и всегда, он шагал вдоль длинного выгиба Бесвотер-род, скользя глазами по решетке Кенсингтонского парка. Голова его, втянутая утренним холодом в плечи, решала математическую задачу: если из пенсов, сберегаемых ежедневно на автобусе, вычесть пенсы на амортизацию расплывающейся обуви, то на какое число дней нужно помножить данную разность, чтобы получилось произведение в двенадцать шиллингов, пятьдесят пенсов, необходимое на покупку новой пары штиблет; получалось нечто вроде знаменитой Ньютоновой задачи о коровах на лугу — коровы неустанно пожирают траву, но трава-то тем временем растет, — и Чильчер так погрузился в разрешение сложной головоломки, что не сразу заметил, как кто-то осторожно придержал его за правый рукав пальто, остановив шаги и цифры. Впрочем, не кто-то: оглянувшись через плечо, Джим Чильчер не увидел ни души, но тем не менее чьи-то цепкие пальцы не выпускали пуговицы над запястьем руки. Чильчер дернул руку, и вслед за ней потянулась длинная зеленая спираль, не выпускавшая и теперь из своих упругих изгибов попавшей точно в пружинный капкан руки. Журналист поднял глаза вверх, увидел стену, сплошь увитую зелеными кольцами, и понял, что он стоит у коттеджа сумасшедших бобов. В тот же миг двери

коттеджа распахнулись и старик-лакей, выглянув наружу, любезно спросил:

— Вы репортер?

— Да-а... Ваши бобы...

— Барон просит,— поклонился слуга, раскрывая шире дверь.

Джим Чильчер был так потрясен приглашением, что и не заметил, что заставило сумасшедший боб расцепить свои кольца. Подгибающиеся ноги подняли его по лестнице холла, но слуга уже распахивал дверь в кабинет барона, приветливо привставшего навстречу растерянному репортеру. Кресло, услужливо накатившееся сзади, подсекло Чильчеру ноги, принудив сесть, а вопрос, ударивший в упор, заставил пальцы репортера запрыгать из кармана в карман в поисках карандаша и бумаги.

— Вы забыли блокнот? — улыбнулся барон. — Не трудитесь искать — вот эта записная книжечка заменит вам его. Не стоит благодарности. Карандаш? Он уже сделал свое: задал вопросы и ответил на них. Ведь вас интересует, простите — ваше имя... очень приятно, — вас интересует, мистер Чильчер, зачем Мюнхгаузену понадобился камзол? Не так ли? В ваших руках автографическое доказательство того, что камзол нужен не мне. Вы, вероятно, торопитесь. Я тоже.

Джим Чильчер, выбежавший с чувством радостной оторопи на улицу, не заметил, как озорно шевелились в утреннем ветре длинные зеленые усики бобов, тонкими змеями овивающих коттедж.

Экстренный выпуск рептильной газетки, в которой работал Чильчер, в десять утра стоил пять пенсов; к полудню за него платили шиллинг; к двум часам номер нельзя было достать и за полфунта. Рептилия осведомляла о реликвии — и этого было достаточно, чтобы миллионы глаз потянулись к сенсационному интервью, вывернувшему вопрос о камзоле, так сказать, подкладкой вверх. Выяснилось, что пером Мюнхгаузена водило не желание уколоть британского льва, отнюдь, а решение дать урок великодушия колочей пятиконечной звезде: условный труп проявлял чувство достаточно живой благодарности, жертвуя свой двухсотлетний камзол в пользу Комиссии по улучшению быта ученых СССР. «АРА,— заканчивал интервью барон,— не откажется, я полагаю, переслать мой textile

для вручения его беднейшему из русских молодых ученых».

Жест был настолько величественен и христианск в лучшем смысле этого слова, что иные газеты отказывались верить сообщению. Но в руках у Чильчеровой газетки имелся автограф: фотография с него, показавшая раскосый почерк барона, рассеяла последние сомнения. Капитал славы, который барон, казалось, хотел расшвырять, неожиданно возрос, собрав множество круглых слезинок, льнущих к ресницам, как крохотные нолики к косой черте, обозначающей %%. «Дейли-Мейль» восхищалась недрахлеющим сердцем, отдающим все свои семьдесят два удара в минуту на пользу человечества. «Таймс» писал, что добрейший барон Мюнхгаузен возрождает образ диккенсовского чудака, умеющего и в добрых делах быть эксцентричным, придворный проповедник капеллы Сен-Джемса прочел проповедь о ленте вдовицы, а торжественная «Пел-Мел», ведущая, как известно, — к Букингэмскому дворцу, асфальтным ковром подостлалась под ноги Мюнхгаузену: короче, ему назначалась аудиенция у короля. Но тут-то пришел черед третьей странности, которая... впрочем, по порядку.

Барон Мюнхгаузен и мистер Уилки Доули, сдвинув свои кресла, беседовали в кабинете коттеджа на Бейсвотер-род. За окнами разблестался на редкость солнечный для города туманов день — и даже на трубе слуховой трубки, выставившейся из уха престарелого ученого, профессора Доули, мерцал веселый блеск:

— Через час вам предстоит предстать... — и Доули попробовал отодвинуть кресло от кресла.

Но пальцы барона не отпустили поручня:

— Час — это три тысячи шестьсот раз проколебавшийся маятник. Вы разрешите поделиться с вами, как с непререкаемым авторитетом в области математической дисциплины, мистер Уилки, одним моим сомнением, мыслью качающейся меж двух цифр?

Слуховая трубка пододвинулась ближе к барону, изъявляя готовность слушать. После минутной паузы Мюнхгаузен продолжал:

— Я, конечно, дилетант в математике. Но меня всегда чрезвычайно интересовала разработка и практические выводы так называемой теории вероятностей,

которой посвящены многие из ваших глубоких и обстоятельнейших трактатов, достопочтенный мистер Уилки. Мой первый вопрос: теория вероятностей не приводит ли нас к так называемой теории ошибок?

Трубка кивнула раструбом: да.

— Мой вопрос: а что, если теория ошибок, примененная к теории вероятностей, признает ее ошибкой? Я хочу сказать, символическая змея, кусающая себя за хвост, ведь может им и подавиться, не правда ли, и тогда основание издохнет от своего следствия, а теория вероятностей окажется невероятной, если только теория ошибок не окажется ошибочной.

По лбу мистера Доули, как по поверхности воды, в которую бросили камень, побежали морщины:

— Но позвольте. Теорема Бернулли...

— Вот о ней-то я и хочу. Ведь мысль Бернулли можно сформулировать и так: с увеличением количества опытов увеличивается и точность исчисления вероятностей, разность $\frac{m}{n} - p$ делается неопределенно малой, то есть по мере того как число исчисляемых событий все больше и больше превышает единицу, колебание маятника цифр укорачивается, предполагаемое переходит в достоверное и теория вероятностей получает прочный математический контур и практическое бытие: иначе цифры и факты совпадают. Правильно ли я изложил закон больших чисел?

Мистер Доули пожевал губами:

— Если исключить некоторую странность вашей терминологии, то я бы не стал возражать.

— Прекрасно. Итак, стоит только числу так называемых «событий» или опытов превысить единицу, появляется Бернулли, теорема нарастания больших чисел и теория вероятностей приводится в действие. Но стоит тому же числу событий чуть сгорбиться, сделаться меньше единицы, и с такой же необходимостью появляются: Мюнхгаузен, контртеорема, закон несбывшихся событий и недождавшихся ожиданий, колеса вертятся в противоположную сторону и теория невероятностей на полном ходу. Вы уронили трубку, сэр: «Вот — прошу вас».

Но старый математик уже стучал своим длинным и черным ушным придатком по ручке кресла, словами по нонсенсу:

— Но учли ли вы, любезнейший мистер Мюнхгаузен, что теория вероятностей оперирует целыми числами, принимая каждое событие за единицу. Вы, как и все дилетанты, борясь за математические символы, переабстрагируете их, хотите быть математичнее математики: реальная действительность, слагающаяся из действий—моих, ваших, чьих хотите, не знает, разумеется, событий меньших единицы. Мы, реальные люди, в реальном мире или действуем, или не действуем, события или происходят, или не происходят. Подчеркиваю: исчисление вероятностей оперирует лишь целыми числами, единицей и кратным ей.

— В таком случае,—зачеканил Мюнхгаузен в придаток, успевший подобраться к уху собеседника,— в таком случае фактам и цифрам не по пути: им остается раскланяться и разойтись. Вы говорите: «События или происходят, или не происходят». А я утверждаю, события всегда лишь полупроисходят. Вы мне предлагаете свои целые числа. Но зачем они, эти целые числа, нецелому существу, называемому «человек»? Люди это дробь, выдающие себя за единицы, доразвивающие себя словами. Но дробь, привставшая на цыпочки, все-таки не целое число, не единица, и все поступки дроби дробны, все события в мире нецелых не целы. Целы лишь цели нецелых, которые всегда, заметьте, остаются недостижимыми, потому что ваша теория вероятностей, бормочущая что-то о совпадении ожидаемого события с событием происшедшим, непригодна для нашего мира невероятностей, где ожидаемое никогда не наступает, где клятвы об одном, а факты о другом, где жизнь обещает начаться в вечном завтра. Математики, обозначающие осуществление через p , а неосуществление через q , разбираются в своих же знаках хуже глупой кукушки, всем и всегда предсказывающей одно лишь: $q—q$.

Престарелый математик, не отводя раструба от слов, давно уже сопел носом и гневно шелкал вставными челюстями:

— Но, позвольте, мистер, вместе с нашими цифрами вы выпшвыриваете и мир. Ни больше, ни меньше. Ваша... э-э... метафизика, получи она распространение, превратилась бы в интеллектуальное бедствие. Вы зачеркиваете все цифры, кроме нуля. А я говорю: больше лояльности по отношению к бытию. Вся-

кий джентльмен обязан признать действительность действительной, иначе он... ну, не знаю, как сказать... ведь эти стены, улицы, Лондон, земля, мир — не пепел, который я вот стряхиваю ударом пальца с сигары: это гораздо серьезнее, и я удивляюсь, сэр...

— Я тоже удивляюсь, как вы можете обвинять меня в неуважении к вашим домам и стенам: ведь только врожденная учтивость заставляет меня ходить не сквозь них, а мимо, хотя все ваши улицы для меня дороги в поле, а дворцы и храмы — трава, по которой я мог бы прошагать напрямиком, если бы не уважал запрета, лондонезировавшего мир: «Традиций не рвать, идей не водить, святынь не топтать». И скажите мне, милейший мистер Доули, какой смысл безногим приторговывать у меня мои семимильные сапоги. Гораздо проще и дешевле, не двигаясь ни шагу с места, рассуждать о шагах.

На минуту беседу расклинило молчанием, потом старый профессор сказал:

— Все это не лишено занимательности. Но и только. Стены стоят, где стояли, факты — тоже. И даже пепел с моей сигары не исчез, а лежит вон тут — в пепельнице. И вы нарочно, добрейший мистер Мюнхгаузен, все время оперируете широкими схемами, чтобы избежать узких и тесных, скажем так, фактов, в которые вашу теорию невероятностей никак не вдеть: для ног ихтиозавра башмачки Сандрильоны, хе-хе, согласитесь, тесноваты. Вашу теорию невероятностей, вы меня извините, строят метафоры, наша же теория вероятностей — результат обработки конкретнейшего материала. Приведите мне хоть один живой пример, и я готов буду...

— Извольте, из вашей же работы, мистер Доули. Вы пишете: «Если из ящика, в котором находятся черные и белые шары, вынуть один из них, то можно с некоторой долей вероятности предсказать, что он будет, скажем, белым, и с полной достоверностью, что он не будет красным». Но ведь мы с вами, мистер Доули, разве мы не наткнулись своими жизнями на казус, когда в ящике были лишь черные и белые, а рука истории — ко всеобщему конфузу — вытащила... красное.

— Опять метафоры, — вскинулся профессор, — но мы с вами заговорились, а время аудиенции близится.

Боюсь, вы не успеете дать мне ни одного конкретного примера, ни одной невероятности, ограничившись чистой теорией таковых.

— Как знать,— привстал Мюнхгаузен вслед за расправлявшим тугие колени гостем. Снизу, сквозь толщу стены, послышался шум поданной к крыльцу машины. Снизу же по лестнице близились шаги слуги, идущего докладывать о том, что время ехать.

— Как знать,— повторил Мюнхгаузен, вщуриваясь веселыми глазами в собеседника,— скажите, какой поступок со стороны человека, которому через двадцать минут предстоит аудиенция у короля, согласились бы вы назвать наиболее невероятным?

— Если б этот человек...— начал было Уилки Доули, но на пороге появился слуга.

— Хорошо, скажите Джонни — я сейчас. Ступайте. Я весь внимание, мистер Доули. Вы сказали: если бы этот человек...

— Ну да... если б этот человек (вы говорите, конечно, о себе, мистер) в час, скажем точнее — в минуту, назначенную для встречи с королем, повернулся бы к королю... спиной...

— Мистер Доули,— наклонился Мюнхгаузен к самому раструбу трубки,— вы даете слово джентльмена никому не говорить о той вещице, которую я вынул сейчас из жилетного кармана?

— Можете быть спокойны. Ни одна душа.

Лунный камень на пальце барона нырнул внутрь жилетного кармана и тот час же выблеснулся назад: меж указательным и большим, пододвигаясь к испуганным глазам Доули, желтел картон железнодорожного билета:

— Прошу проверить знаки: поезд в четыре девятнадцать, аудиенция в четыре двадцать. Кстати, вы лучше знаете Лондон, скажите: можно ли войти на платформу Черинг-Кросса, не повернувшись спиной к Букингэмскому дворцу?

— Но ведь это же не...

— Невероятно, хотите вы сказать? О, достопочтенный мистер Доули, для осуществления еще одного плана необходима еще одна невероятность, на которую я твердо рассчитываю. Пододвиньте трубку — вот так. И заключается эта невероятность в том, что человек, давший слово, сдержит его. Не правда ли, сэр?

Такова была третья странность барона Мюнхгаузена: удалось увернуться из-под удара тяжелой лапы британского льва. От Лондона до Дувра всего ведь два часа пути. Притом человеку, проскользнувшему меж пяти лучей, трудно ли разминуться с пятью когтями?

Глава VII БАДЕНВЕРДЕРСКИЙ ЗАТВОРНИК

В четыре двадцать две король сморщил брови. В четыре двадцать три придворный церемониймейстер бросился к телефону, вызывая Бейсвотер-род: из коттеджа сумасшедших бобов отвечали, что барон выехал. Церемониймейстер распорядился передвинуть стрелки часов на пять минут вспять и велел раскрыть двери из внутренних апартаментов в аудиенц-зал. В четыре двадцать пять по стенам дворца зашуршало слово «шокинг». В четыре тридцать король гневно дернул плечом, повернулся на каблуках, а церемониймейстер, поймав взгляд монарха, заявил придворным чинам, что аудиенция отменяется.

Но было уже поздно: короля заставили ждать! Если аккуратность — вежливость королей, то аккуратность по отношению к королям — священный долг. Десять веков истории ниспровергались десятью минутами: король ждал. Даже палачи, отрубавшие головы английским королям, не смели запоздать ни на секунду, и меч ударял вместе с ударом колокола на старых часах Тауэра, и вдруг... какой-то заезжий болтун. Немецкий агент, тершийся среди московских большевиков... Десять веков грузно ворочались, подымая могильные камни для удара, но десять минут, свесив ноги с часовой стрелки, весело отстукивали: дал — ждал — ждал.

Версия о похищении Мюнхгаузена на пути от коттеджа к дворцу шайкой коммунистов продержалась всего лишь несколько часов. Шофер Джонни показал, что он сам отвез барона на вокзал к поезду четыре девятнадцать. В доме барона был произведен обыск, но ничего подозрительного, кроме туфли с левой ноги, разлученной со своей парой, обнаружено не было. Маститый Уилки Доули, имевший разговор с бароном за полчаса до оскорбления величества (показание прислуги), был тоже подвергнут допросу, причем вел себя, как сообщник: на вопросы — знал или не знал — неиз-

менно следовало: «Я дал слово ни слова более»,— и, теория невероятностей, как бы торжествуя победу, посадила ни в чем не повинного ученого в тюрьму, где он вскоре и умер не то от старости, не то от огорчения.

Работы по возведению памятника барону Иерониму фон Мюнхгаузену, разумеется, были тотчас же прекращены, и посреди одной из широких лондонских площадей, окруженной кружением колес и криками автомобильных сирен, долго еще высился пустой пьедестал, напоминая кое-кому из памятливых людей рассказ Мюнхгаузена о его последнем московском дне.

Британская пресса реагировала энергично, но без многословий вслед спине, показавшей свои лопатки королю, из всей стаи литературных лоханей плеснуло помоями, после чего лохани подставили себя под новые злобы новых дней. Джим Чильчер успел купить новые штiblеты, но и только: карьера его была безнадежно проиграна, и Ньютоновы коровы пожрали, вместе с алгебраической травой, все цветы его надежд.

Тем временем барон Мюнхгаузен, добравшись до континента, кружил по сплетениям железнодорожных нитей, как паук, которому порвали паутину. Шуцман, стоявший ночную смену на углу Фридрихштрассе и Унтер-ден-Линден, видел автомобиль барона, промчавшийся по направлению к Александер-платцу. Но к полудню, когда весть о внезапном приезде барона разнеслась по городу, портье из дома на Александер-платце на все звонки отвечал:

— Был и выбыл.

Чиновником, дежурившим в министерстве, в то же утро был получен пакет, адресованный знакомым ему мюнхгаузеновским почерком. Чиновник передал пакет своему шефу. Чиновник был не из болтливых, но все же не мог удержаться, чтобы не сообщить двум-трем о странной приписке в правом углу конверта: «Адрес отправителя: г. Всюду, тридевятый дом на Тридесятой улице».

День спустя кто-то из берлинских знакомых барона, возвращаясь из Ганновера в столицу, на одной из промежуточных станций увидел, как ему показалось, лицо Мюнхгаузена в окне встречного поезда, дожидавшегося сигнала к отправлению. Берлинец поднял котелок, но вагонные окна поплыли мимо окон вагона, и котелок, не получая ответа, недоуменным зигзагом вернулся и притиснул виски.

Прошло несколько месяцев. Поля подстриглись ежиком. Летнюю пыль прибило дождями к земле. Давно ли журавлиные косяки кривыми бумерангами прорезали небо с юга на север, чтобы теперь — замыкая круг — падать назад в юг. Имя безвестно исчезнувшего Мюнхгаузена вначале шумело, потом под модератор, а там и смолкло. Слава как звук, брошенный в горы: чередая эх, раздвинувшиеся паузы, последний дальний и смутный отголосок — и снова каменная тишина, подставляющая гигантские уши ущелий под новый звук. Мюнхгаузенские поклонники и почитатели продолжали почитать и поклоняться кому-то другому. Друзья... но разве великому стагириту¹ не сказалося как-то: «Друзья мои, а ведь нет дружбы на свете!» Примечательно, что жаловаться на это обстоятельство пришлось все-таки... друзьям. Психологическая антиномия эта выдвигается здесь лишь затем, чтобы читатель не удивлялся, когда ему скажут, что в одно из осенних утр поэт Эрнст Ундинг получил письмо, подписанное: «Мюнхгаузен».

Пальцы Ундинга слегка дрожали, когда он перечитывал скупые строки, принесенные ему узким и глухим конвертом. Барон просил не отказать ему «в последней встрече с последним человеком». Следовал адрес, который предлагалось, запомнив, уничтожить.

Ундинг мог бы отнестись с недоверием к словам из узкого конверта: он хорошо еще помнил пустой перрон и поезда, проходящие мимо. Но случилось так, что, пересчитав свои марки, заработанные у фирмы «Веритас», вечером того же дня он выехал по линии Берлин — Ганновер.

Выполняя волю письма, Ундинг, беспокойно проворочавшийся всю ночь на жесткой скамье вагона, сошел, не доезжая двух-трех станций до Ганновера. Деревенька, примыкающая к железнодорожному поселку, спала, и лишь петухи вперебой выкликали зарю. Дойдя до последнего дома, так опять-таки требовало письмо, — надо было остановиться, постучать и вызвать Михеля Гейнца. На стук высунулась чья-то голова и, услышав имя, не спрашивая о дальнейшем, сказала:

— Хорошо. Сейчас.

Затем за оградой двора звук копыт и колес, минутой спустя скрип открывающихся ворот, — и

¹ Стагирит — уроженец г. Статры (в Македонии); здесь: Аристотель.

деревенский возок, выкатив на улицу, подставил свою железную подножку приездему.

В это время линия зари прочертилась на горизонте. Михель толкнул лошадей; разбрызгивая лужи, колеса двинулись по перпендикуляру к заре. Ундинг, сунув руку в боковой карман, нащупал — рядом с колючими углами конверта — вдвое сложенную тетрадь. Он улыбнулся смущенно, но гордо, как улыбаются поэты, когда их просят прочесть стихи. Дорога тянулась среди оголенных полей. Потом перекатилась через холм; поднимающееся солнце било в глаза: отвернувшись влево, Ундинг увидел шеренгу четвероруких мельниц, гостеприимно машущих навстречу экипажу, но Михель дернул правую вожжу и экипаж, повернувшись к мельницам задними колесами, покотился по боковой дороге, направляясь к сине-серому сверканью пруда. Загрохотал под ободами мост, убегая от копыт, закрикали утки, расположившиеся было поперек дороги, и Михель, протянув длинный бич к черепице двух-трех кровель, желтевших из двойного охвата деревьев и каменной изгороди, сказал:

— Баденвердер.

Широко раскрытые ворота дожидались гостя. Навстречу, по аллее парка, припадая на палку и волоча ногу, шел старый, сгорбленный дворецкий. Низко поклонившись, он пригласил гостя войти в дом:

— Барон нездоров. Он дожидается вас в библиотеке.

Преодолевая нетерпение, Ундинг с трудом тормозил мускулы, приноравливая свой шаг к медленному ковылянию старика. Они прошли под фантастическим сплетением ветвей. Деревья стояли тесно, и длинные утренние тени выстилали аллею черным ковром. Дошли до каменных ступенек, вводящих в дом. Пока дворецкий искал ключи, Ундинг успел скользнуть взглядом по ветхой, кое-где растрескавшейся и осевшей стене: справа и слева от входа — из серо-желтой штукатурки, полусмытые дождями, проступали готические буквы девизов:

Справа: *Красного и белого не покупайте,
Ни «да», ни «нет» не говорите.*

Слева: *Тот, кто строил меня, не жив;
Того, кто живет во мне, ждут неживые.*

Половицы, скрипя под ногами, провели мимо причудливого леса оленьих рогов, выроставших ветвящимися горизонталями из стены. По запутанным арабескам ковров слуга и гость прошли мимо ряда почернелых портретов, скудно освещенных узкими окнами. Наконец, витая лестница быстро закружила шаги, сверху пахнуло нежной книжной тленью — и Ундинг увидел себя в длинной сумрачной зале со стрельчатым окном в глубине. Вдоль стен тесно составленные шкафы и полки; казалось, стоит убрать книжные кипы, упершиеся в потолок, и тот, лишенный опоры, поползет вниз, плюща по пути рабочий стол, кресла и того, кто в них.

Но сейчас кресла были пусты: Мюнхгаузен, присев на корточки, раскладывал по полу какие-то белые квадратики. Погруженный в свою работу, с полами старого шлафрока, расплзшимися по ковру, он не слышал шагов Ундинга. Тот приблизился:

— Что вы делаете, дорогой барон?

Мюнхгаузен быстро поднялся, стряхая с колен квадратики; руки встретились в крепком и длинном пожатии.

— Ну вот, наконец-то. Вы спрашиваете, что я делаю? Прощаюсь с алфавитом. Пора.

Только теперь Ундинг рассмотрел, что разбросанные по узору ковра квадратики были обыкновенной складной азбукой, кусочками картона, на каждом из которых по черной букве греческого алфавита. Одна из них еще продолжала оставаться в пальцах у барона:

— Вы не находите, милый Ундинг, что Омега своим начертанием до странности напоминает пузырь, ставший на утиные лапки. Вот взгляните, — придвинул он квадрат к гостю, — а между тем, как ни печально, это единственное, что осталось мне от всего алфавита. Я оскорбил буквы, и они ушли, как уходят мыши из обезлюдевшего дома. Да-да. Любой школьник, складывая эти вот значки, может учиться сочетать с мирами миры. Но для меня знаки лишились значимости. Надо стиснуть зубы и ждать, когда вот этот осклизлый пузырь на утиных лапах, не слышно ступая, подкрадется из-за спины и...

Говоривший бросил омегу на стол и замолчал. Ундинг, не ожидавший такого вступления, с тревогой вглядывался в лицо Мюнхгаузена: небритые щеки

втянуло, кадык острым треугольником прорывал линию шеи; из-под судорожного росчерка бровей смотрели провалившиеся к дну глазниц столетия; рука, охватившая колючее колено, выпадала из-под рукава шлафрока изжелтым ссохшимся листом, одетым в сеть костей — прожилок; лунный камень на указательном пальце потерял игру и потух.

С минуту длилось молчание. Потом где-то у стены прохрипела пружина. И гость и хозяин повернули головы на звук: бронзовая кукушка, выглянув из-за циферблата, крикнула девять раз. Кадык Мюнхгаузена шевельнулся.

— Глупая птица жалеет меня. Забавно, не правда ли? К моей омеге она предлагает присоединить свое q — букву, которой математики обозначают несовпадение заданного с данным, неуспех. Но мне не нужен этот птичий подарок: я давно оставил за спиной мирок, в котором неуспех перед успехом, в страданье радость, и в самой смерти воскресение. Оставь себе, кукушка, свое Q — ведь это твое единственное все, если не считать пружины, заменяющей тебе душу. Нет, друг мой Ундинг, циферблатному колесу, кружащему двумя своими спицами, рано или поздно ободом о камень — и крак.

— Вот-вот, — приподнялся поэт, — наши образы пересеклись и, если вы позволите...

Рука Ундинга скользнула в карман пиджака. Но глаза Мюнхгаузена равнодушно смотрели куда-то мимо, вокруг рта его шевелились брюзгливые складки. И листы тетради, хрустнув под пальцами, не покинули своего укрытия. Только теперь Ундингу стало ясно, что человеку, простившемуся с алфавитом, все эти буквы, сцепляющиеся в строфы и смыслы, тщетны и запоздалы. Ладонь гостя вернулась назад и к поручню кресла, и гость понял, что иного искусства, кроме искусства слушать, от него не требуют.

Ветер раскачивал желтой листвой, изредка тыча веткой в окно, под замолчавшей кукушкой размеренно цокал маятник. Барон поднял голову:

— Может быть, вы устали с дороги?

— Нисколько.

— А я вот устал. Хотя и не было никакой дороги, кроме топтания по треугольнику: Берлин — Лондон — Берлин — Баденвердер — Лондон — Берлин — Баденве-

рдер. И все. Вас, может быть, удивляет исключение из маршрутов Москвы?

— Нет, не удивляет.

— Прекрасно: я знал — вы поймете меня с полуслова. Ведь как ни разнствуют наши взгляды на поэтику, мы оба не умеем не понять: нельзя повернуться лицом к своему «я», не показав спину своему — «не я». И, конечно, я не был бы Мюнхгаузеном, если б задумал искать Москву... в Москве. Для людей смысл — некие данности, в которые можно войти и выйти, оставив ключ у швейцара. Я всегда знал лишь созданности, и прежде чем войти в дом, я должен его построить. Ясно, что, приняв задание «СССР», я тем самым получал моральную визу во все страны мира, кроме СССР. И я отправился в мой старый, тихий Баденвердер, вот сюда — к тишине и к книжным полкам, где я мог спокойно задумать и построить свою МССР. Выскользнув из всех глаз, я ввил себя в глухой и тесный кокон, чтобы после, когда придет мой час, прорвать его и бросить в воздух пеструю пыльцу над серой пылью земли. Но если уточнять метафору, крылья летучей мыши лучше прирастают к фантазии, чем бабочкины крылышки. Вам, конечно, известен опыт: в темную комнату, где от стены к стене нити и к каждой нити подвешено по колокольчику, впускают летучую мышь: сколько бы ни кружила, прорезывая тьму крыльями, птица, ни единый колокольчик не прозвенит — крыло всегда мимо нити, мудрый инстинкт продергивает спираль полета сквозь путаницу преграды, оберегая крылья от толчков о не-воздух.

И я бросил свою фантазию внутрь темного и пустого для меня четырехбуквия: СССР. Она кружила от знака к знаку, и мне казалось, что ни разу крылья ее не зацепили о реальность, фантазмы скользили мимо фактов, пока не стала выштриховываться небывалая страна, мир, вынутый из моего, Мюнхгаузенова, глаза, который был, на мой взгляд, ничем не хуже и не тусклее мира, втискивающегося своими лучами насильно извне внутрь наших глаз.

Я работал с увлечением, предвкушая эффект, когда сооружение из вымыслов, взгроможденных друг на друга, закачавшись, рухнет на лбы моих слушателей и читателей. О, как должны будут развесить рты лондонские зеваки, пялившие глаза на зеленые спирали

моих бобов, когда я вовью их умы в пестрые спирали фантазмов.

Одно лишь обстоятельство путало образы и беднило композицию: теперь, как и всегда, готовясь вчеканить в чужие мозги мои фантазмагоризмы, я должен был отыскивать наклон и скат от высокого вымысла к вульгарному вранью, единственно доступному глазам в наглазниках, мутным шестнадцатисвечным мышлениям, воображению короткого радиуса. Пришлось, как всегда, притушить краски, затушить острия, взять за основу ткани обиходные бредни привычных людям газет, оставив за собой лишь уток. Так или иначе, когда Россия была докомпонована, вот эта спиральная лестничка вернула меня людям. Результат моих выступлений вам известен.

Я снова попал в круг из втираемых в меня глаз, подставленных под каждое мое слово ушей, ладоней, протянутых за рукопожатием, милостыней или автографом. Давнишнее раздражение художника, принужденного двести лет кряду снижать форму, на этот раз как-то особенно сильно заговорило во мне. Когда же они, наконец, поймут, эти хлопочущие вокруг меня существа, думал я, что мое бытие — лишь простая любезность. Когда они увидят и увидят ли когда, что мои чистые вымыслы приходят в мир за изумлениями и улыбками, а не за грязью и кровью. И так всегда у вас на земле, мой Ундинг: мелкие мистификаторы все эти Макферсоны, Мериме и Чаттертоны, смешивающие вино с водой, небыль с былью, возведены в гении, а я, мастер чистого, беспримесного фантазма, ославлен, как пустой враль и пустомеля. Да-да, не возражайте, я знаю, только в детских комнатах еще верят старому дураку Мюнхгаузену. Но ведь и Христа поняли только дети. Что же вы молчите, или вы брезгуете спорить с запутавшимся в своих путаницах путаником. Вот она; горькая плата земли: за мириады слов — молчание.

Ундинг отыскал глазами глаза и тихо погладил сухие костяшки рук Мюнхгаузена: в лунном камне на выгнувшемся крючком пальце вдруг снова заворошился тусклый и слабый блик. Мюнхгаузен перевел частое дыхание и продолжал:

— Простите старика. Желчь. Впрочем, теперь вам будет легче понять тогдашнее мое состояние раздражения и натяженности нервов. Достаточно было малейшего толчка... толчок не заставил себя ждать. Вы

помните нашу берлинскую беседу, когда я, указывая на крючья моего шкафа...

— Предсказали,—подхватил Ундинг,—что рано или поздно ваши камзол, косица и шпага, лежа на парчовых подушках, отправятся в Вестминстерское аббатство.

— Вот именно. И вы можете представить себе мое изумление, когда в одно проклятое утро, распахнув окно, я увидел всю эту ветошь,—сорвавшись с крючьев на парчу, она плыла над головами толпы прямо на Вестминстер. Первый раз за двести лет я сказал правду. К щекам моим хлынула краска стыда и в ушах звенело, как если б крыло летучей мыши задело за нить колокольчиком. Ха. Фантазм ударился о факт. Шок был так неожидан и силен, что я не сразу овладел собой. Эти дураки, шумевшие за окном, разумеется, ничего не поняли. Удивляюсь, как их попы не канонизировали мою туфлю, включив и ее в свой реликварий.

Весь остаток дня я провел над черновыми листами книги, посвященной СССР. Теперь уже мне казалось, что то тот, то этот абзац грешит против неправды; много строк попало под перечерк пера, но, раз заподозрив себя в правдивости, я—вы понимаете—не мог успокоиться, и в каждом слове мне чудилась вкрапшаяся истина. К вечеру я отодвинул искромсанную рукопись, и тяжелое раздумье овладело мной: неужели я заболел истиной, неужели эта страшная и стыдная *morbus veritatis*,¹ осложняющаяся или в мученичество или в безумие, пробралась и в мой мозг? Пусть припадок был коротким и не сильным, но ведь и все эти Паскали, Бруно, Ньютоны тоже начинали с пустяков, а потом—брр... острое в хроническое, «*hipotesas non fingo*»².

После двух-трех дней колебания я понял и решился: отбросив путаницу домыслов и сомнений, сравнить портрет с оригиналом, страну, вынутую из расщеп моего пера, с доподлинной, зацепленной в своих границах страной. Покинув Лондон, я вернулся сюда, в мое уединение. В пути я задержался лишь на несколько часов в Берлине: необходимо было ликвидировать мою дипломатию и обеспечить себе покой и невмешательство. Я отослал им все их полномочия,

¹ Болезнь правдивости (*лат.*).

² Гипотез не строю (*лат.*).

присоединив письмо, в котором заявлял, что на первую же попытку раскрыть тайну моего местопребывания отвечу раскрытием их тайн. Теперь я мог быть спокоен: сыск не допустит меня разыскать, да и число любопытствующих, я думаю, с каждым днем падает: слава, как и Мюнхгаузенова утка, сложила крылья и никогда больше их не расправит.

Надо было аускультировать рукопись и приниматься за ее лечение. При помощи двух-трех подставных лиц я затеял переписку с Москвой, мне удалось достать их книги и газеты, пользуясь сравнительным методом сочетать изучение внутрирубежной России с зарубежной, пресса и литература которой у нас всех под руками. Берясь за систематическую правку рукописи, я твердо решил там, где рассказ и действительность параллельны, поступать, как музыкант, наткнувшийся при чтении партитуры на параллельные квинты.

Понемногу материал стал притекать и накапливаться: далекое оттуда бросало сотнями конвертов вот сюда,— Мюнхгаузен протянул палец к затененному углу библиотеки, где спинкой в книжные корешки, выгнув, будто под тяжким грузом, тонкие ножки, стоял старинный бювар,— да, сотнями конвертов и каждый из них, чуть ему разрывали рот, начинал говорить такое, что... но, может быть, вы думаете, я преувеличиваю: увы, болезнь отняла у меня даже и эту радость. Взгляните сами. Вот.

Ведя за собой Ундинга, Мюнхгаузен подошел к бювару и откинул покатуую крышку: под ней белела грудa вскрытых конвертов; сквозь окна марок, пестревших поверх, выглядывали маленькие человечки в красноармейских шлемах и рабочих блузах. Пальцы Мюнхгаузена, разворошив грудy, выдернули почтовый листок наудачу. За ним другой и третий. Еще и еще. Перед глазами Ундинга замелькали чернильные строки. Длинный ноготь Мюнхгаузена, прыгая с листка на листок, влек за собой внимание читавшего:

— Ну вот, хотя бы здесь: «Геноссе Мюнхгаузен, по интересующему вас вопросу о голоде в Поволжье спешу вас успокоить: сведения, данные вашей лекцией, не столько неверны, сколько неполны. Действительность, я бы позволил себе сказать, несколько превзош...» Как вам понравится? Или вот это: «Уважае-

мый коллега, я и не знал, что погашенный рассказ о непогашенной луне является отголоском факта, имевшего место с вами на пути от границы к Москве. Теперь для меня ясно, что автор рассказа, своевременно погашенного, мистифицировал читателей относительно источника такого, вся же правда — от слова до слова — принадлежит вам и только вам... Позвольте мне, как писатель писателю...» Какая фантастическая глупость: мне бы никогда такой и не придумать. Или вот: «...а что до пустого постамента, то такой есть. Только никакого Мюнхгаузена, позвольте доложить, на нем не стояло, а сидел — дня три или четыре — папье-машевый царь Александр, да и того веревками слезли, и где было пусто, там и теперь пусто, и будет ли что другое, того не знаем. И надпись про на-соплю была, сам видел, только теперь, как у нас строительство, покрасили. А еще ежели вам сомнительно...» — ну и так далее. Лучше вот это, — ноготь побежал по строкам, — прочли? И вот тут. Мог ли я думать? Нет, вы скажите, что это: я сошел с ума, или...

Ундинг еле успел отдернуть пальцы, — крышка бювара звонко захлопнулась, и задки туфель гневно зашлепали от бювара к креслу. Повернувшись, Ундинг увидел: Мюнхгаузен сидел, спрятав лицо в ладони. И прошла долгая пауза, прежде чем двое вернулись к словам.

— Добило меня книгами их эмигрантов. Сочиняя свою историю о московских спудах и пророке, я не знал, что найдутся люди, которые так легко перефантазируют меня и посмеются над исписавшимся выдумщиком. Я не завидую, но мне грустно, как может быть грустно старому обезлиставшему дереву, которое погибает, теснимое отовсюду буйной юной порослью.

Но давайте без лирики. Можно б было продолжать ревизию, но с меня было достаточно. Я видел: факты в основном контуре стали фантазмами, а фантазмы фактами, и тьма вокруг летучей мыши звенела тысячами колокольцев; каждый удар крыла о нить, вокруг каждого слова, каждого движения пера — изнищенный звоном смеющийся воздух. Я и сейчас это слышу. И в яви и во сне. Нет-нет. Довольно. Пусть распахнут тьму и выпустят птицу: зачем ее мучить, раз опыт сорван?!

— Вы, вероятно, досадуете на меня, вы думаете: зачем вызывал меня—сквозь сотни километров—этот ненужный ни мне, ни себе брюзга, зачем...

— Если б вы знали, как вы для меня единственны, вы бы не говорили так, учитель!

Мюнхгаузен поправил кольцо, соскользнувшее было с иссохлого пальца, и, казалось, улыбался каким-то воспоминаниям:

— Впрочем, не я—болезнь позвала вас. Мог ли я думать, что буду когда-нибудь исповедоваться, рассказывать себя, как старая шлюха в решетку конфессионале, пушу правду к себе на язык. Ведь, знаете, еще в детстве любимой моей книгой был наш немецкий сборник чудес и легенд, который средневековые приписывало некоему св. Никто. Мудрый и благодостный *der heilige Niemand* был первым святым, к которому я обращал свои детские молитвы. В его пестрых рассказах о несуществующем все было иное, иначе, и когда я, тогда еще десятилетний мальчуган, переименовывал его Иначе, пробовал ввести в таинственную страну несуществований моих товарищей по играм и школе, они называли меня врунишкой, и не раз, ратуя за святого Никто, я наткался не только на насмешки, но и на кулаки. Однако *der heilige Niemand* воздал мне сторицей: отняв один мир, он дал их мне сто сот. Ведь люди так обделены миром: он дан им всего лишь в одном экземпляре на всех, бедняги ютятся все и всегда в своем одном-единственном,— а я уже в юности получил в дар многое множество вселенных—и притом на себя одного. В моих мирах время шло быстрее и пространство было пространнее. Еще Лукреций Кар спрашивал: если пращник, ставший у края мира, метнет свой камень, где упадет камень—на черте или за чертой? Я тысячу раз дал ответ, потому что моя праща—лишь за пределы существующего. Я жил в безграничном царстве фантазий, и споры философов, вырывающих друг у друга из рук истину, казались мне похожими на драку нищих из-за брошенного им медного гроша. Несчастные и не могли иначе: если каждая вещь равна себе самой, если прошлое не может быть сделано другим, если каждый объект имеет один объективный смысл и мышление впряжено в познание, то нет никакого выхода, кроме как в истину. О, как смешны мне казались все эти ученые макушки, унифи-

каторы и постигатели: они искали «*Εν καί πᾶν*», «единое во многом» и не находили, а я умел найти многое в одном. Они закрывали двери, притискивая их к порогам сознаний,— я распахивал их створами в ничто, которое и есть все; я вышел из борьбы за существование, которая имеет смысл лишь в темном и скудном мире, где не хватает бытия на всех, чтобы войти в борьбу за несуществование: я создал недосозданные миры, зажигал и тушил солнца, разрывал старые орбиты и вчерчивал в вселенную новые пути; я не открывал новых стран, о, нет, я изобретал их; в сложной игре фантазмами против фактов, которая ведется на шахматнице, расквადратенной линиями меридианов и долгой, я особенно любил тот означенный у шахматистов двуточием миг, когда, дождавшись своего хода, снимаешь фантазмом факт, становясь не-существующим на место существующего. И всегда и неизменно фантазмы выигрывали — всегда и неизменно, пока я не наткнулся на страну, о которой нельзя солгать. Да-да, на равнинный квадрат меж черных и белых вод, заселенный такой неисчислимостью смыслов, примиривший в себе столько непримиримостей, разомкнувшийся в такие дали, которых не передлиннить никаким далее, выдвинувший такие факты, что фантазмам остается лишь — вспять. Да, Страна, о которой нельзя солгать! Мог ли я думать, что этот гигантский красный ферзь, прорвав линию моих пешек, опрокинет всю игру: помню, как он стоял под ударами чуть ли не всех моих фигур; с победно бьющимся сердцем, я по-наискосу ферзя пешкой, и напроць; но не успела улыбка до моих губ, как я увидел, что пешка моя, непонятным образом вспучившись и развалившись, превратилась в только что сброшенного красного ферзя. Такое бывает лишь в снах: втягиваемый кошмаром, я схватился за встопыренную гриву своего коня и, проделав зигзаг, снова сшиб алого ферзя с доски; я слышал — он грохотал, падая гигантскими зубцами оземь, и из пустого места опять он, подымающийся над меридианной сетью кровавые зубцы; я рокировался и по-прями турой; снова грохот рухнувшего и снова превращение; в бешенстве я ударил по проклятой клетке косым ходом леуфера: опять! И я увидел, мои клетки пусты, король брошен под шах, а неистребимый красный ферзь есть, где был, на

вскрытом раззвездье линий. Теперь настал миг, когда мне нечем ходить: все мои фантазмы проиграны. Но я и не подумаю сдаваться: в той игре и в тех масштабах, в каких мы ее ведем, если не с чего, так с себя. Я уже пробовал когда-то, взяв себя за темя, выдернуться из кочкастого болота. Что ж — ход самим собой: проигранному игроку больше ничего не остается, и я не слишком цепляюсь пятками за землю. Но мой цейтнот истекает. Пора. Оставьте меня, друг. Если вы подлинно мне друг.

Ундинг сначала поднял тяжелеющие веки, потом себя: он искал прощальных слов и не находил их. Но нельзя же было так отслушать и уйти, как если бы и не слышал. Он обежал глазами комнату: ряды притиснувшихся друг к другу книжных корешков, диск циферблата в бронзовой оправе, защелкнувшаяся крышка бювара, в углу не замеченная им раньше подставка для чубуков, на подставке старая, обездымевшая трубка, и тут же рядом, свесясь со спинки кресел, рукавами в землю, тот старый, сбежавший из Вестминстера камзол. Ундинг, глядя в сморщенные лопатки камзола, спросил:

— Как? Разве вы его не отослали, как это писалось в газетах, какому-то молодому ученому в Москву?

— Камзол может еще пригодиться и мне, — услышался уклончивый ответ, — а об ученом бедняке из Страны, о которой не солгать, не беспокойтесь. Ему посланы, в виде компенсации, мои черновики, если он владеет хотя бы ножницами и клеем, рукопись поможет ему выбиться на литературную дорогу.

Хозяин и гость простились. Обернувшись еще раз с порога, Ундинг видел: из-под сдвинувшейся на лоб шапочки барона выглядывала тщательно заплетенная, отрастающая длиннющими седыми нитями косица.

Скрипучая витуша снова закружила медленные шаги уходящего.

Глава VIII

ИСТИНА, УКЛОНИВШАЯСЯ ОТ ЧЕЛОВЕКА

Михель Гейнц оттянул вожжи, и колеса стали. Подножка, потом обитые ступеньки станционного домика. Ундинг поднял глаза к вправленному в стену циферблату и подумал: «Надо поправить метафору в циферб-

латном колесе,—как спицы ни кружи, обод всегда недвижим». И тотчас же сквозь мозг длинная череда образов. Встречи с Мюнхгаузеном (это испытывал на себе не только Ундинг) всегда частили и четчили пульс идей и давали полный — до отказа — завод фантазии. И под мерный стук и качание вагона карандаш Ундинга не отпускал пальцев, мчался по синей линейке, намечая контур новой поэмы. Поезд уже подъезжал к Берлину, когда было отыскано и заглавие: «Речь к спинкам стульев». Бывают и на корабле слов катастрофические миги, когда душа свистит «всех наверх», и отовсюду — с укачивающих коек, из-за закрытых дверей и даже из темного трюма — слышавшие сигнал слова торопятся на поверхность бумажных страниц, то поднимающихся, то падающих, как палуба в бурю: поглощенный работой, Ундинг пропустил Фридрихштрассе-бангоф и, высадившись на Моабите, шел сквозь город, не слыша из-за звона своих строф ни стука колес, ни гомона людей.

Только добравшись до порога комнаты с именем Эрнста Ундинга на наружной доске двери, поэт вспомнил, кто он и где он.

Затем глубокий сон перевел стрелку часов на девять часов вперед. Свесив ноги с постели, Ундинг втолкнул их в ботинки, но зашнуровать не успел: нахлынувшее в память вчера овладело отдохнувшим сознанием. Перипетии поездки в Баденвердер предстали ему во всей их непоправимости. «Если я ехал помочь,— забредило в мыслях,— то почему я молчал? Разве можно помочь молчанием?» У изголовья лежала вчерашняя запись; Ундинг, скользнув глазами по карандашным каракулям, горько усмехнулся: «Ведь вот, заговорил же я со спинками стульев, но почему не с человеком». Однако слова рукописи зацепились уже за зрачки, и поэт не заметил, как недосказавшиеся строфы снова притиснули пальцы к бумаге, и воля поэмы стала его волей: опять стал виден воображаемый зал, в перспективу которого уходили бесконечные ряды деревянных существ и у каждого — и спереди и сзади — спина на четырех неподвижных выгибах ног; глядя в тесно сомкнутые шеренги, поэт бил словами по мертвым спинам, отдаваясь пафосу безнадежности; он говорил о неслышимости всех мыслей, захотевших стать словами, и об игре глухого Бетховена на клавикордах, из-

под молоточков которых вывинчены струны; он восхищался благородной откровенностью своих неслушателей и ставил их в образец людям, которые трусливо скрывают, что и они, откуда к ним ни подойди, лишь спины на ввинченных в землю ногах; от строфы к строфе, разгораясь горечью и гневом, он писал... но нехорошо заглядывать через плечо лирического поэта, когда он обращается не к тебе, а к спинке своего стула.

Так или иначе только к сумеркам, когда воздух стал под цвет графитным строкам, поэма была вчерне закончена и карандаш отпустил пальцы. Ундинг не ел весь день; набросив пальто, он вышел на вечернюю улицу и толкнул дверь ближайшей бирхалле: при помощи ножа, вилки и пары челюстей проголодавшийся лирик быстро справился с порцией сосисок; от капусты остался лишь легкий капустный запах, а шпигельайер тщетно пялил желтые глаза, умоляя о пощаде. Прогнав первый приступ голода, Ундинг протянул руку к кружке пива, пододвинул ее к себе, и вдруг пальцы его отдернулись от стеклянной ручки: на поверхности напитка, налипая на граненые края, вспучивались и лопались крохотные пузырьки пены: точь-в-точь как те, которые несколько лет тому познакомили его с Мюнхгаузенем. Теперь, когда припадок эгоизма, который историки искусства называют «вдохновение», прошел, образ оставленного друга вшагнул в самый центр сознания и стал неотступным. Ундинг в эту ночь долго ворочался на горячих подушках, пока не дождался сна. Но в сон пришло сновидение: низкий потолок, подпертый кипами книг; позади тихий птичий шаг; Ундинг оборачивается — по поверхности письменного стола, осторожно подбирая пятки, крадетсЯ пузырь на утиных лапах; Ундинг хочет бежать, но ноги у него из дерева и ввинчены в пол; надо не позволить омеге зайти за спины, — это-то он твердо помнит, — но ведь и сзади спина и спереди спина — отовсюду; и пузырь, растягивая одетые в бег бликов вспучины, раздувается — еще и еще — уже стол, а там и книги, потолок, вся комната и он, Ундинг, в пузыре, — утончающиеся вспучины растягиваются, еще сейчас... разрыв — и в смерть: Ундинг сжимает веки и видит себя... с раскрытыми глазами на постели. Сквозь переплет окна — рассвет.

В течение всего дня беспокойство нарастало. Брал ли Ундинг в руки газету, вписывал ли в блокнот оче-

редные распоряжения заведующего конторой «Веритас», сквозь всю суету ему виделся человек с лицом, запрятанным в пергаментные ладони; свесившаяся с макушки косица, медленно длиннясь, казалось, угрожала чем-то непоправимым. И снова в числе пассажиров вечернего поезда Берлин — Ганновер был Эрнст Ундинг.

Михель Гейнц, разбуженный стуком и голосом, опять, как несколько дней тому, выкатил на своем деревенском возке; Ундинг ногой о подножку, и колеса завертелись в сторону Баденвердера. На этот раз было чуть холоднее, и, глядя на медленно располыхивающуюся зарю, Ундинг слышал, как под ударами копыт то и дело лопалась и хрустела льдистая перепонка луж. Когда из утреннего тумана замаячили навстречу колесному стуку брошенные в небо ладони ветряных мельниц, мозг задело внезапной мыслью: «А что, если все рассказанное бароном в последний раз, мистификация, самая причудливая и ловкая из всех мюнхгаузиад?!» Ундинг представил себе смеющееся лицо баденвердерского отшельника, довольного, что ему удалось поймать на озорство, заставить поверить в невероятное. Ундинг уже не чувствовал холода, сердце его стучало быстрее, но колеса все так же медленно. В нетерпении он нагнулся к вознице:

— Нельзя ли разбудить лошадей, герр Гейнц?

Михель вытянул бич, и экипаж свернул на боковую дорогу. Вспугнутая стая уток с отчаянным криканьем шарахнулась из-под зачистивших копыт; под колесами что-то хрястнуло: Ундинг оглянулся — одна из уток, очевидно, не успела: впластав в землю крылья, она вытянула поперек пути обездвиженную ободом шею. Взяв разгон, возок Гейнца весело перекатил через холм и грохотал уже о бревна моста, когда Ундинг вскрикнул: «Стойте!»

В растуманившемся утре на берегу озера виднелась группа людей, наблюдавшая за ходом лодки, медленно плывшей вдоль озера: в лодке сидело четверо, в руках у них были багры; то ныряя, то выныривая, багры ощупывали дно. Среди столпившихся Ундинг различил сутулую фигуру старика-дворецкого; тот, обернувшись на шум колес, очевидно, тоже узнал гостя и торопливо, поскольку позволяла старость, направился к мосту. Не в силах дожидаться, Ундинг выпрыгнул из экипажа и поспешил навстречу дворецкому:

— Случилось недоброе? Говорите.

Старик понурил голову:

— Вот уж второй день, как господин барон исчез неизвестно куда. Я поднял на ноги всех слуг. Мы обыскали дом, парк, лес, теперь обыскиваем дно. Нигде.

С минуту Эрнст Ундинг молчал. Потом:

— Прекратите поиски.. Это ни к чему. Едем.

В голосе гостя звучала уверенность. Старик повиновался тем более, что, оставаясь в течение двух дней без хозяина, он чувствовал потребность хоть в чьих-либо приказаниях. Лодка причалила к берегу, багры легли на землю, а экипаж двинулся к дому. По дороге Ундинг успел узнать подробности:

— После того как вы уехали,— докладывал дворецкий,— все шло как обычно. Хотя нет: барон отказался от обеда и просил не беспокоить его без надобности. В шесть, как всегда, я поднялся в кабинет. В этот час барон имеет обыкновение выпивать рюмку кюмеля. Я поставил поднос на стол, барон, как всегда, сидел в кресле с книгой в руках — я хотел спросить, не подогреть ли обед, но мне был дан знак уйти...

— Я вас перебыю: вы не помните, какая книга была в тот вечер в руках у барона?

— Переплет красный; кажется, из сафьяна; с золотым обрезом. Она и сейчас лежит на столе, как ее оставил барон. Дело в том...

— Благодарю вас. Дальше.

— Спустившись вниз, я не отходил никуда, думая, что барон, вероятно, болен и может каждую минуту позвать. В доме у нас так тихо, что я ясно слышал шаги в библиотеке. Потом они прекратились. Я позвал Фрица (мой внук) — велел ему стать у лестницы и не отходить ни на шаг, слушая, не позовет ли барон. Сам я отправился по хозяйству, одно-другое, — когда я вернулся, была уже ночь. «Выходил барон?» — спрашиваю Фрица. «Нет». — «Звал?» — «Нет». Что такое?! У Фрица слипались глаза — я отпустил его и, придвинув скамейку к ступенькам, что наверх, сел и стал слушать. Шагов не было. Уж не болен ли? Сверху ни шороха. Так час и еще час. Потом незадолго до полуночи вдруг — оттуда, сверху, — будто тронули колокольчик: язычком о край, и стихло. Может быть, почудилось, думаю, а может, и нет. Подымаюсь к двери в библиотеку.

Постучал, жду, ничего. Приоткрыл и спрашиваю: «Господин барон, изволили звать?» Не отвечает. Тут уж я решился и вошел — вижу: в комнате никого; кресла пусты; на краю стола закрытая книга — та самая, в сафьяне; пустая рюмка упала и закатилась под стол, и только край скатерти чуть качается, как если б ее только что задела коленом. Подхожу к окну: закрыто. Пресвятая Дева, что же это?! Посмотрел по полкам: книги и книги. Может быть, барон спрятался: но где? Да и стары мы, не дети, и он, и я, чтоб играть в прятки. Позвал Фрица: обыскали все. Потом сторожу: «Не выходил?» — «Нет». Пошли с факелами по саду. Ну и началось — два дня бьемся. Скажите, сударь, возможная ли это вещь, чтоб человек, не выходя из комнаты, вышел из нее, а?

Но в это время возок остановился у ворот усадьбы, что избавило Ундинга от необходимости отвечать. Спрыгнув на землю, он направился к дому, не дожидаясь шагов дворецкого. Фриц, взъерошенный и сонный, открыл ему дверь, и Ундинг, миновав череду оквадренных в тусклое золото портретов, — по спирали лестницы, входящей в библиотеку. Удар ладонью о дверь, и поэт, держа шляпу в руке, переступил порог. Все так, как тогда. Впрочем, нет: часы, которые, очевидно, забыли завести, молчали; а спинка кресла, с которой прошлый раз свешивал пустые руки старый камзол барона, — пуста. Сафьяновый том? Да, слуга описал точно: у края стола, на расстоянии протянутой руки от кресла. Ундинг подошел и притронулся к кожаному наугольнику алого сафьянового переплета. Да. Та самая. Волнение остановило было на минуту пальцы, но нельзя было медлить — внизу хлопнула дверь и слышались близящиеся шаги. Ундинг потянул за наугольник, откинул переплет: страницы — третья — дальше — тридцать девятая — еще дальше — шестьдесят пятая, шестьдесят седьмая — сейчас. Пальцы, чуть дрогнув, перевернули лист: пустой квадрат в черной типографской кайме был не пуст: барон Мюнхгаузен, ссутулив плечи, стоял посреди.

На нем был все тот же традиционный камзол и косяца, свесившаяся меж лопаток. Правда, у правого бедра не было, как в издании 1783 года, шпаги, а волосы заметно побелели. Но посторонний наблюдатель, видевший другие экземпляры издания, сказал бы:

«Стирается краска от времени и блекнет». Во всяком случае, во всем мире не нашлось бы другого такого чудака, который подумал бы то, что подумал поэт Эрнст Ундинг: «Так вот он последний ход — сам им с о б о й». И почувствовал бы: где-то в ресницах запуталась едкая капля. Еще этого не доставало. Поэт гневно сдвинул брови и протянул руку к карандашу: но слова эпитафии не приходили. С минуту он сидел локтями в поручни кресла, вглядываясь в смутный и умаленный контур друга, возвратившегося наконец в свою старую книгу. Ему казалось — листы ее благоухают, как сама вечность.

Но шаги дворецкого, замешкавшиеся было где-то в путанице коридора, зазвучали вдруг совсем близко. Надо было торопиться. Ундинг бережно и благоговейно, касаясь пальцами кожаных науглий, опустил сафьяновую крышку переплета. Затем, с книгой в руке, он подошел к рядам выставившихся с полок корешков, отыскивая место, куда поставить сафьяновый гроб. Вот тут: отершись алой тканью о кожу и пергамент, книга стала меж чинным Адамом Смитом и «Сказками Тысячи и одной ночи». Дверь позади скрипнула. Обернувшись, Ундинг увидел дворецкого.

— Барон не вернется, — бросил он, проходя мимо, — потому что не уходил.

И старику, заковылявшему было вдогонку за более ясным ответом, не удалось нагнать ни ответ, ни Ундинга. Не прошло и пяти минут, как поэт сидел в экипаже, глядя в спину Михеля Гейнца, изредка учащавшего топот копыт свистом длинного и певучего бича. Колеса, хрустя по заморозкам, уже подкатывали к мосту, когда поэт, внезапно наклонившись, тронул Гейнца за плечо.

Гейнец, обернувшись с козел, увидел притиснутую к коленям седока раскрытую записную книжку. Он не выразил удивления, закурил, поправил шлею и стал ждать. А текст, сцепляясь из прыгающих серых букв, говорил:

Здесь под сафьяновым покровом
ждет суда живых, вплющенный в
двумерье нарушитель мира мер
барон Иеронимус
фон Мюнхгаузен.

Человек этот как истинный боец ни разу не уклонялся от истины: всю жизнь он фехтовал против нее, парируя факты фантазмами, — и когда, в ответ на удары, сделал решающий выпад — свидетельствую, — сама Истина — уклонилась от человека. О душе его молитесь святому Никто.

Эрнст Ундинг сложил листки и сделал знак вознице: дальше. Под ободами колес снова зазвенели тонкие ледистые пленки луж.

1927— 1928

ПРИМЕЧАНИЯ

Сочинения С. Д. Кржижановского, включенные в эту книгу, печатаются по машинописям с авторской правкой, хранящимся в ЦГА-ЛИ (фонд 2280), а также в частных архивах.

Новеллы были сгруппированы Кржижановским в шесть книг:

«Сказки для вундеркиндов»,

«Чем люди мертвы»,

«Чужая тема»,

«Неукушенный локоть»,

«Сборник рассказов»,

«Мал мала меньше».

Судя по датировкам вошедших в них вещей, ни одна из трех первых не аутентична книгам, подготовленным автором, но не изданным в 1923—1934 годах. Заглавие «Неукушенный локоть» было в 1941 году по совету Е. Лундберга заменено на «Рассказы о Западе» (дабы автор не попал под удар чересчур бдительных критиков). Цикл «Мал мала меньше», насколько известно, целиком к публикации не предлагался.

Повести «Клуб убийц букв» и «Возвращение Мюнхгаузена» Кржижановский пытался издать отдельными книгами. А «Воспоминания о будущем», «Странствующее «Странно» и «Материалы к биографии Горгиса Катафалаки» — даже не пробовал. Как и несколько новелл, не включенных в книги.

В примечаниях во всех случаях указывается книга, куда новелла была помещена автором.

Произведения Кржижановского, пользуясь высказыванием Дж. Барта о Х. Л. Борхесе, можно назвать «постскриптумом ко всему корпусу литературы»: обнаружить и хотя бы только перечислить все реминисценции, заимствования, «вариации на тему», скрытые цитаты из философских и литературных сочинений под силу разве что целому коллективу исследователей, да и то лишь при

медленной, скрупулезной работе. Кроме того, Кржижановский крайне редко использовал тот или иной мотив «разово», как бы испытывал чужие «темы», образы, идеи разнообразием собственных интерпретаций. Пока не будет издано все, что он предназначал — и готовил — к печати, комментарий такого рода скорее затруднит читательское восприятие, нежели поможет ему. Поэтому здесь даются лишь те краткие пояснения, которые необходимы для понимания «конкретного» подтекста — и текста — произведений. Реалии, сведения о которых можно почерпнуть из общедоступных изданий, как правило, не комментируются.

Кроме того, приводятся фрагменты писем С. Д. Кржижановского к А. Г. Бовшек и воспоминаний о нем, содержащие информацию об истории произведения, душевном состоянии и настроении автора в пору работы над ним.

«Чудак» — «Чем люди мертвы». Действие новеллы относится к годам первой мировой войны, участником которой Кржижановский не был: выпускники университетов не подлежали призыву и могли попасть на военную службу только добровольцами. В армию писатель был призван в 1918 году — красными, но участия в военных действиях, судя по всему, не принимал. Однако впечатления военных лет и событий были остры, ярки, властны и отразились не только в «Чудаке», одном из первых произведений, созданных вскоре после переезда из Киева в Москву, но и, к примеру, в написанной семью годами позже повести «Воспоминания о будущем».

«Фантом» — «Чем люди мертвы». «Фантомность» наступившей эпохи — один из наиболее устойчивых мотивов творчества Кржижановского — здесь проявляется впервые. И с отчетливостью, которая автору представлялась небезопасной. Существенно и не раз правленная рукой автора машиннопись осталась неперебеленной. В многочисленных упоминаниях о публичных выступлениях Кржижановского и чтениях «в узком кругу» «Фантом» не фигурирует ни разу. Обстановка медицинского факультета Московского университета была хорошо знакома автору: здесь он в двадцатых годах регулярно бывал на лекциях, в частности, у одного из основоположников генетики Н. А. Иванцова. Точная ориентация в вопросах биологии и медицины, обнаруживающаяся и в других вещах Кржижановского, — следствие не только серьезных «самообразовательных» занятий, но и дружеских отношений с крупными учеными: А. Н. Северцовым, Н. А. Зелинским и другими.

«Странствующее «Странно». «Сочетание биологии с математикой, смесь из микроорганизмов и бесконечно-малых — вот моя логическая стихия» (С. Кржижановский. Записные тетради). В по-

вести отразился интерес Кржижановского к активно ведущимся в ту пору научным исследованиям, сконцентрированным чуть позже в Институте крови у А. А. Богданова.

«...тело слона стянуть в комок меньше мушьего тела...» — своего рода «цитата из самого себя»: обратное превращение и «бытие» слона с душой мухи описано Кржижановским в новелле «Мухослон» (1920), включенной в «Сказки для вундеркиндов».

«...присутствую на очередном заседании обыкновенных домашних Злыдней...» — «злыдни» возникают как персонажи и в переписке Кржижановского с Бовшек: «Мысль у меня сейчас об одном: как бы московские злыдни не пролезли за мною в вагон; из ковра я сегодня вытряхнул всю пыль, а вот из головы...» (16 июня 1926 года, накануне отъезда в Коктебель к М. А. Волошину).

«...Меня жалили мысли, и я решил вырвать их жало: не видя иного способа, я стал пить...» — эта «слабость» Кржижановского, присущая и многим его героям, довольно регулярно фигурирует и в его переписке, и в Записных тетрадах: «Опьянение дает глиссандо мироощущений до мирноощущения включительно». Впоследствии она стала «темой» новеллы «Дымчатый бокал» (1939). (см. С. Д. Кржижановский. Воспоминания о будущем. М., 1989, с. 165).

«...была больше похожа на шахматную деревяшку, заблудившуюся в черно-белой путанице, чем на шахматиста...» — еще одна «автоцитата» (см. новеллу «Проигранный игрок» в наст. изд.). Вообще шахматные темы и мотивы относятся к числу излюбленных Кржижановским, который, по свидетельствам его друзей, был хорошим шахматистом — острым, оригинально мыслящим, стремящимся не только — и не столько — к выигрышу, но прежде всего к созданию цельной — красивой и необычной — партии. Любил он и разбирать чужие партии. А в одном из писем к Бовшек называл единственной действительной формой отдыха после многочасовой напряженной работы — ночную игру в шахматы «с самим собой».

«Собиратель шелей» — «Чужая тема». Первая новелла, завершенная Кржижановским после переезда в Москву. И одна из наиболее часто читавшихся им публично, в частности, на «Никитинских субботниках» и в Коктебеле у Волошина. «С Волошиным мы простились наилучшим образом: я получил приглашение приехать, когда захочу, и акварель (в виде напутственного подарка) с надписью: «Дорогому Сиг<измунду> Дом<иниковичу>, собирателю изысканнейших шелей нашего растрескавшегося космоса» (из письма к А. Бовшек, 21 июля 1925 года). «Значительная часть рассказов Кржижановского носит проблемный характер. Это персонифицированные процессы мышления, осуществляемые действующими персонажами» (А. Бовшек. Глазами друга. Материалы к биографии

Сигизмунда Доминиковича Кржижановского). «Собиратель щелей» — художественный «отклик» на философские споры о природе времени, о его дискретности и воздействии на человеческую психику. Эта тема получила развитие в повести «Воспоминания о будущем» и некоторых новеллах («Швы», «Тринадцатая категория рассудка» и др.).

«Сбежавшие пальцы» — «Сказки для вундеркиндов», как и восемь следующих новелл.

«Катастрофа». «Уже в юности у него наместился отход от умозрительного понимания мира и переход к практическому восприятию его. Предстоял выбор между Кантом и Шекспиром, и Кржижановский решительно и бесповоротно встал на сторону Шекспира... В дальнейшем он не отказывается от постановки философских вопросов, не отказывается от понятия, но учится искусству видеть их» (А. Бовшек. Плазами друга). «Катастрофа» — одна из новелл, отразивших описанный Бовшек процесс. В «Сказках для вундеркиндов» она композиционно связана с другой «кантианской» притчей — «Жизнеописание одной мысли» (см. «Воспоминания о будущем», с. 221).

«...Это случилось 12 февраля 1804 года в 4 часа пополудни...» — дата смерти И. Канта.

«Програнный игрок». «Кафкианская» тема превращения (подсказанная в данном случае мотивом шахматных «превращений» пешки, достигшей последней горизонтали) возникает у Кржижановского задолго до того, как он мог узнать — и узнал (в середине тридцатых годов) — о Кафке и прочитал его сочинения. А драматургическое построение новеллы четверть века спустя отзовется в статье «Драматургия шахматной доски» (1947) (опубликована: «64», 1990, №№ 3, 4).

«Бог умер».

«...было предсказано одним осмеянным философом...» — имеется в виду Ф. Ницше (1844—1900).

«Рисунок пером» — «Сборник рассказов». Начало «пушкинианы» Кржижановского. И здесь, как и в философских новеллах, характернейшая особенность — «проблемность»: дата написания стихотворения «Пора, мой друг, пора...», без убедительных оснований обозначенная 1834 годом, ставится под сомнение героем Кржижановского (раньше многих «профессиональных» пушкинистов) потому, что никак не вяжется с его пониманием пушкинского творчества (и биографии), то есть, если угодно, художественно неубедительна. Кстати говоря, полемика по поводу этой даты не затихает и по сей день, и это — не академический интерес, но принципиальный вопрос, от решения которого зависит верное прочтение последних пушкинских произведений — и последних лет жизни поэта.

«Случай» — «Сборник рассказов».

«Разговор двух разговоров» — «Чужая тема». Весьма редкий у зрелого Кржижановского «безобразный» сюжет, диалог идей. «Как-то он прочел Всеволоду Вишневскому рассказ «Разговор двух разговоров». Вишневский со свойственным ему темпераментом набросился на него: «Надо идти в издательства. Надо кричать, стучать по столу кулаком». И он даже показал, как надо стучать. Кржижановский молчал...» (А. Бовшек. Глазами друга).

«Мишени наступают» — «Неукушенный локоть».

«Безработное эхо» — «Чем люди мертвы».

«Мост через Стикс» — «Чем люди мертвы».

«Гусь» — «Мал мала меньше», как и две следующих новеллы. По свидетельству бывших учащихся студии художественного слова, руководимой А. Бовшек, «Гусь» довольно часто исполнялся ими в концертах. Кржижановский не раз пробовал дать определенное лирику — в лирическом же (не без парадоксальности) образе (ср. строки из «Записных тетрадей»: «Даже рыба, если ей зацепить крючком за кишки или сердце, издает тонкий струнный звук — это и есть подлинная лирика»).

«Бумага теряет терпение» — «Нсукушенный локоть». Метафора, на которой построен этот «эскиз», впервые появляется у Кржижановского в повести «Штемпель: Москва» (1925). Затем — в финале «Возвращения Мюнхгаузена» (см. в наст. изд.). Через одиннадцать лет после написания «эскиза» эта метафора трагически реализовалась в жизни автора.

«Кржижановский сидел в глубоком кресле у стола, просматривая журналы, я читала, устроившись на диване. Неожиданно почувствовав толчок в сердце, я подняла глаза: он сидел с бледным, застывшим, испуганным лицом, откинув голову на спинку кресла.

— Что с вами?

— Не понимаю... ничего не могу прочесть... черный ворон... черный ворон...

Ясно было: случилось нечто непоправимое... Врач констатировал спазмы в мозгу: парализовался участок памяти, хранивший алфавит...» (А. Бовшек. Глазами друга).

«Салыр-Пюль. Узбекистанские импрессию». В сентябре 1932 года Кржижановский получил возможность осуществить давнюю мечту — побывать в Средней Азии. К этой поездке он увлеченно готовился: читал книги, разглядывал старинные и новые карты, начал изучать узбекский язык.

«Пишу Вам, не дожидаясь прибытия и устройства в Самарканде... Дорога пока идет хорошо. Поезд настроен исследовательски — он останавливается на каждой станции, полустанке и разъезде. Но ведь и я хочу рассмотреть все поподробнее и пообстоятельнее. На

каждой остановке — шумливый восточный базар. Мы приезжаем — съедаем весь базар — едем до следующего — опять его проглатываем — и так далее до... очевидно, до Самарканда... Сейчас — тоже спасибо медлительности поезда — только что вернулся после довольно обстоятельного обхода и объезда Ташкента. 3—4 часов, которыми я располагал, конечно, мало, но как раз накануне в поезде я познакомился с одним знатоком Средней Азии, ...который оказался прекрасным чичероне. В первый день в Самарканде я тоже буду под его крылышком... Впечатлений так много, Нечочка, что я еле успеваю их осмыслить. Не знаю, конечно, пока трудно забегать вперед, но, кажется, это путешествие принесет мне довольно много материала. Понемногу делаю наброски, попытки заговаривать по-узбекски...» (к А. Бовшек, 11 сентября).

«Я уже пятый день в Самарканде. Очень любопытно. Первый день я метался, стараясь сразу охватить все, а затем понял, что лучше не форсировать неизвестное и брать его постепенно. Упрямо подучиваю узбекский язык, но опыты восточных конверсаций — обычно — кончаются довольно мизерно... Завтра вечером собираюсь уехать дня на два в Бухару... В голове у меня сейчас не совсем пусто. Особенно по утрам, когда я сижу в чайхане над своей пиалой и разглядываю посетителей и прохожих...» (к А. Бовшек, 16 сентября).

Цикл «узбекистанских импресий» Кржижановский — по возвращении в Москву — писал почти безотрывно и завершил очень быстро, в начале 1933 года. На друзей, которым он читал «Салыр-Поль» (а среди них были отнюдь не неофиты — люди, знающие Восток не понаслышке), очерки произвели самое благоприятное впечатление. Однако издатели сочли их недостаточно «социальными» — для публикации целиком (удалось напечатать лишь фрагменты в журнале «Тридцать дней»). Тем не менее «узбекский опыт» Кржижановского едва не получил, так сказать, практического применения.

«Шенгели получил новую службу — редактора восточной секции в ГИХЛ'е. Рекомендовал меня как «переводчика» (горе мне) с узбекского. А я вполнину забыл то немногое, что знал...» (к А. Бовшек, 24 августа 1933 года). Эта попытка Шенгели обеспечить Кржижановскому переводческие заработки не удалась.

«Хорошее море» — «Сборник рассказов». Четыре фрагмента очерка напечатаны в журнале «Тридцать дней» (1939, №№ 8—9). В библиографии, составленной Кржижановским, очерк датируется 1939 годом. Это — ошибка памяти. Очерк написан двумя годами раньше, во время поездки Кржижановского в Одессу, где Бовшек проводила лето. «Дом, в котором мы теперь жили, стоял на высоком обрыве у самого моря. Ритмичный шум прибоя, морской воздух и дружеские, полные уважения отношения всех членов семьи к Сигизмунду Доминиковичу создавали хорошие условия для лечения нер-

вов и общей поправки здоровья... Отдыхал, как обычно, работая над небольшими новеллами («Мал мала меньше».— В. П.), очерком об Одессе «Хорошее море»... Через два года (через год.— В. П.) в том же приветливом доме происходило нечто иное. Мы с СД сидели вечером на террасе. У нас в гостях был Юрий Карлович Олеша с женой Ольгой Густавовной. Писатели только что впервые познакомились: завязалась беседа на волнующие литературные темы. Неожиданно на террасу вошел незнакомый мне человек. Извинившись, он объяснил, что приехал к Юрию Карловичу поговорить с ним о деле, и вдруг сказал: «Арестован Бабель»... (А. Бовшек. Глазами друга).

«Автобиография трупа» — «Чем люди мертвы». Первая публикация — «Литературная Армения», 1989, № 5. Авторская машинопись, хранящаяся в ЦГАЛИ, датирована 1927 годом. Это ошибка. Все упоминания Кржижановского об этой новелле относятся к 1925 году. Нет никаких указаний на то, что в дальнейшем он возвращался к работе над ней. Тем более, что уже весной двадцать пятого отдал новеллу редактору «России» И. Лежневу, который намеревался поместить ее в июньском номере журнала. На публикацию этой крупной вещи автор возлагал большие надежды, будучи уверен, что она пробьет дорогу другим, помельче, вещам. Однако сбыться этому было не суждено. «Источник моих всегдашних горестей — литературная невезятица — и летом не иссякает — «Авт(о)биографию» трупа» переселяют (ввиду сокращения объема «России» наполовину) из 6 № в 8 №. Можно сказать, дождался мой «Труп» приличных похорон. Но у меня большой запас «пустей»: пусть. Тем более что Лежнев по-прежнему очень сердечно относится ко мне... Сам он: в тисках. Отсюда — беды...» (к А. Бовшек, 17 июля 1925 года). Начало сотрудничества Кржижановского с «Россией», увы, совпало с удушением этого журнала. Уход И. Лежнева из редакции лишь оттянул предопределенный «свыше» финал. Отношения с новым редактором у Кржижановского не сложились (см. предисловие). Как, впрочем, и с редакторами других изданий. И дело было не в них, редакторах, но в резком ужесточении внутренней политики, идеологических требований, предъявляемых к печати партийно-государственной системой, во введении государственной монополии на все средства массовой информации. Отлучение писателя от печати замечательно описано Кржижановским в повести «Книжная закладка» (1927) (см. «Воспоминания о будущем», с. 78—82). По всему по этому ошибочны представления, будто репрессии против культуры — дабы превратить ее в продолжение общегосударственного дела — начались в тридцатых годах: это было уже завершением, а начало следует датировать десятилетием раньше.

«Клуб убийц букв». Первая публикация — «Чистые пруды», М., 1990. Начало работы над повестью, вероятно, относится к лету 1925

года: «Сейчас читаю «Историю социальных утопий»: тема щекочет мозг. Иногда возникают замыслы...» (к А. Бовшек, 27 июля 1925 года). Один из этих замыслов реализован в четвертой главе повести — в антиутопии, жесткостью построения и некоторой философической сухостью напоминающей «Государство» Платона. Нет никаких указаний на то, что Кржижановский был знаком с «Мь» Е. Замятина, но почти наверняка читал немногим уступавшую тогда в известности замятинской повести антиутопию М. Козырева «Ленинград». С Козыревым Кржижановский был дружески связан «Никитинскими субботниками» (где, кстати, авторами были читаны обе повести); тематические и сюжетные переклички бывали у этих двух писателей и впоследствии, достаточно упомянуть, что в средние тридцатых годов Козыревым написана повесть о Гулливере.

Глава вторая ведет происхождение от строк в «Записной тетради»: «Последний метафизик Гамлет — сплошное бытие нельзя убить; и небытие пронизано снами — ужас бессмертия». Эту главу очень высоко ценил А. Аникст, считавший, что современному режиссеру, намеревающемуся ставить «Гамлета», знакомство с ней весьма полезно.

Повесть была завершена к середине лета и впервые прочитана в Коктебеле — Волошину: «В мастерской Максимилиана Александровича по утрам дочитал ему — с глазу на глаз — «Клуб убийц букв» и прочел «Швы». С радостью выслушал и похвалу и осуждение; вижу: мне еще много надо поработать над отточкой образа...» (к А. Бовшек, 2 августа 1926 года). Последнее замечание относится к новелле «Швь», окончательная редакция которой была сделана лишь в 1928 году. Есть сведения, что Кржижановский пытался в конце двадцатых годов издать «Клуб убийц букв» отдельной книгой; но установить — в каком издательстве — не удалось.

«Материалы к биографии Горгиса Катафалаки». Главы из этой повести автор в начале тридцатых годов читал на «Никитинских субботниках». Однако целиком публиковать ее не пытался. Герою, в котором есть некоторые черты «автошаржа» (о «самозванстве» своем — «человка без профессии» — Кржижановский иронически писал и в письмах, и в «Записных тетрадах»), автор «передоверил» одно из сокровенных своих желаний. «Он страстно мечтал о поездке в Англию. Работая над повестью «Материалы к биографии Горгиса Катафалаки», он долго просиживал над картой Лондона, тщательно изучая его улицы, сплетения переулков, скверы, памятники старины, и, вероятно, знал их не хуже прирожденных жителей этого города» (А. Бовшек. Плазами друга). «Лондонская тема» позже вызвала к жизни одну из лучших новелл Кржижановского «Одиночество» (см. «Воспоминания о будущем», с. 69—79). Еще один сюжет — несуществующий — сохранился в «Записных тетрадах». «Сон:

Я и любимая подъезжаем к Лондону. Но поезд заблудился среди стрелок и завозит куда-то в окрестности окрестностей города. Приходится, взяв ведки, идти по дороге к городу. Вечереет. Все как-то гравюрно. Желтые цепи огней. Говорю ей о странной графитности. Смутно я уже подозреваю слишком обобщенную — из глаз, а не в глаза — природу в несуществовании. Но любимая: «Это туман London particular. Ничего, дойдем». Ударяю (случайно) носком о куст: сначала клубок пыли, а потом и он — точечками пылицы — в ничто. Странная тоска: не дойдем; раньше что-то произойдет. Ставлю на шоссе чемодан и говорю: «Мне кажется, я сейчас проснусь». Она: «А как же я? Вы уйдете в явь, а я?» Она удерживает меня за руку, вижу слезы на ее глазах, но я уже не могу: прилег головой на ее руки, сон агонизирует во мне, смутно вижу удаляющийся образ подруги и... умираю в явь».

«Возвращение Мюнхгаузена». Первая редакция повести закончена к середине 1927 года. Тогда же — по ней — написан сценарий (принятый было киностудией, но фильмом так и не ставший). В конце лета главы из «Мюнхгаузена» автор читал в Коктебеле. На чтении присутствовал критик Я. З. Черняк — сотрудник издательства «Земля и Фабрика» (а затем — Госиздата). По его настоянию Кржижановский отдал повесть в «ЗиФ».

«Мюнхгаузена» читал Ланнам, Антоко(ольскому), Шторму и 2-м артисткам из 3-й студии (имеется в виду 3-я студия МХТ, ставшая Театром имени Е. Вахтангова. — В. П.): дамы помалкивали, мужчины «восхищались» формой, но разошлись во мнениях относительно содержания последних двух глав — Ланн находит, что здесь я изменил чистой «иронике» первых шести глав, сорвавшись в «немецкий сентиментализм», — Антокольскому это-то и нравится больше всего. Впрочем, многое в их восприятии осталось для меня неясным. Редактора меня пока не беспокоят, — я и рад. «Зачем, — говоря словами моего М(юнхгаузена), — блюду торопиться к ужину?» (к А. Бовшек, 7 июля 1928 года).

Радость была искусственной. Издательская судьба повести тревожила Кржижановского — шанс выйти к читателю с крупной и значительной вещью выглядел реальным, может быть, последним. Ни об одном другом произведении не сохранилось столько сведений, позволяющих в подробностях воостановить «историю неудачи».

«Сегодня мне звонил секретарь Нарбута (В. И. Нарбут возглавлял «ЗиФ». — В. П.): рукопись моя, отданная Нарбутом «на рецензию», вернулась к нему, но он сам уезжает в Одессу на 1½ недели и просит разрешения взять рукопись с собой. Я не возражал: пусть изучает. Относительно того, какова рецензия, я не спросил, зная, что она вправе на это не ответить» (к А. Бовшек, 12 июня 1928 года). Рецензия, которую написал критик А. Цейтлин, была благожела-

тельной, но «осторожной»: рецензент, отметив несомненные литературные достоинства рукописи, поспорил с авторским решением темы (не удержавшись от искушения рассказать, каким бы путем следовало идти автору, чтобы оказаться созвучным времени) и... не рекомендовал ее к изданию, оставив это на усмотрение редакции, потому что повесть — «для немногих». Более решителен был сотрудник издательства А. Зонин: «Замысел явно не удался автору, писал он.—Пытаясь иронически отнестись к обывательской клевете на СССР, он сам впал в этот тон. Всего лучше воздержаться от издания...» Случай, как говорил булгаковский герой, «так называемого вранья»: никакой попытки «иронически» и т. д. в «Мюнхгаузене» нет и помину.

Не в силах бездеятельно ожидать в Москве издательского ответа Кржижановский ускал в Коктебель. Тем временем в дело вмешался влиятельный в ту пору С. Д. Мстиславский. И как будто добился успеха. «Начинаю с самой важной новости: вчера получил телеграмму из Москвы след(ующего) содержания: «Землефабрика приняла вашу книгу к изданию. Привет. Мстиславский». Я тотчас же ответил Серг(ию) Дмитр(иевичу) письмом, в котором благодарил его за новость, чувствуя себя весь день именинником. Это еще, конечно, не победа, но предвестие борьбы «до победного конца». И надо запастись силами и хладнокровием, чтобы и в этом литерат(урном) сезоне «иттить и иттить», никуда не сворачивая и не сдавая без борьбы ни единой запятой» (к А. Бовшек, из Коктебеля, 11 августа).

Он поторопился в Москву. Однако радость оказалась преждевременной. «С Зифом дело затягивается ввиду нового отъезда Нарбута, притом рукопись оказывается принятой «условно» (что они хотят с нею делать, пока не знаю), а книга, если выйдет, то с предисловием, в котором меня, вероятно, здорово разругают. Пусть» (к А. Бовшек, 22 августа). «Что они хотят с нею делать» — вскоре выяснилось: не печатать. Борьбы не получилось — до нее попросту не дошло.

«...человек, который вразрез сказанному захочет писать о «непогашенной луне...» — намек на «Повесть непогашенной луны» Б. Пильняка.

«...ходят подошвами по облакам...» — см. на эту тему новеллу «Грайн» (1922) («Воспоминания о будущем», с. 230–240).

«...Профессор Коробкин дома?...» — профессор Коробкин, «московский чудак», — персонаж романа Андрея Белого «Москва».

«...посетил скромного коллекционера, собирающего щели...» — под этим «псевдонимом» Кржижановский выводит в повести себя (см. примеч. к новелле «Собиратель щелей» в наст. изд.).

«...назвав достаточно известное имя автора книг о грядущих судьбах России...» — вскоре после переезда в Москву Кржижановский

посетил Н. Бердяева, к которому у него было рекомендательное письмо (скорее «опасное», нежели «полезное»; Бердяев уже пребывал в опале у новой власти и вскоре был выслан из России). Одна из последних написанных до эмиграции книг Бердяева — «Судьба России».

«...посоветовала ему поставить гоголевского «Ревизора»...» — пародирование постановок классики В. Мейерхольдом (ср.: «Тсатр имени покойного Всеволода Мейсрхольда, погибшего, как известно, в 1927 году, при постановке пушкинского «Бориса Годунова», когда обрушились трапеции с голыми боярами...» — М. Булгаков. Роковые яйца. 1924).

«...предание о том, как строился этот удивительный город...» — книга И. Е. Забелина использована Кржижановским и в повести «Штемпель: Москва» (см. «Воспоминания о будущем», с. 372).

«...Вы спрашиваете, что я делаю? Прощаюсь с алфавитом...» — этот финальный эпизод выглядит поистине пророческим для судьбы автора повести (см. примеч. к «эскизу» «Бумага теряет терпение» в наст. изд.).

СОДЕРЖАНИЕ

<i>В. Перельмутер. «Прозеванный гений»</i>	3
--	---

СОБИРАТЕЛЬ ЩЕЛЕЙ

Чудак	29
Фантом	43
Странствующее «Странно»	64
Собиратель щелей	118
Сбежавшие пальцы	137
Чуть-чуть	145
Катастрофа	153
Проигранный игрок	161
Спиноза и паук	166
Четки	168
Поэтому	178
Кунц и Шиллер	193
Бог умер	200
Рисунок пером	208
Случай	214
Разговор двух разговоров	226
Мишени наступают	236
Безработное эхо	246
Мост через Стикс	256
Гусь	266
Орфей в аду	268
Игроки	270
Бумага теряет терпение. (Эскиз)	273

ЗАПИСКИ СТРАННИКА

Салыр-Поль. (<i>Узбекистанские импресии</i>)	285
I	
Окно	285
Челкар	286
Полустанки	287
На руководящем подъеме	288
Постройка пейзажей	289
Буферная сцепка	291
II	
«Хариф мысли»	292
Мазаробазарье	296
Арка и купол	300
Пиала у губ	303
III	
Чуванность	307
Ремесло	309
Соседи	315
Путеводитель по небу	319
Мейдэ-чуйдэ	323
IV	
Мыслегорск и Легендострой	332
Дуньязада	338
Двойные заварки	
Заварка первая	343
Заварка вторая	345
Третья заварка	347
Четвертая	355
V	
Коронованный зуб	358
День и день	363
Ызбаш	364
Хорошее море	368

ЧЕМ ЛЮДИ МЕРТВЫ

Автобиография трупа	391
Клуб убийц букв	420
Материалы к биографии Горгиса Катафалаки	524
Возвращение Мюнхгаузена	
Глава I. У всякого барона своя фантазия	581
Глава II. Дым делает шум	590
Глава III. Ровесник Канта	604
Глава IV. <i>In partes infidelium</i>	612
Глава V. Черт на дрожках	614
Глава VI. Теория невероятностей	655
Глава VII. Баденвердерский затворник	655
Глава VIII. Истина, уклонившаяся от человека	678
Примечания	686

*Сигизмунд Доминикович
Кржижановский*

СКАЗКИ ДЛЯ ВУНДЕРКИНДОВ

Редактор

Е. В. Леонова

Художественный редактор

М. К. Гуров

Технический редактор

И. В. Сидорова

Корректор

Л. И. Жиронкина

ИБ № 8027

Сдано в набор 31.01.91. Подписано к печати 23.05.91.
Формат 84 × 108^{1/2}/16. Бумага тип. № 2. Таймс гарнитура.
Высокая печать. Усл. печ. л. 36,96. Уч.-изд. л. 37,17.
Тираж 75 000 экз. Заказ № 2023. Цена 4 р. 20 к.
Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11.
Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового
Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография»
Государственного комитета СССР по печати,
113054, Москва, Валуевая, 28.

Кржижановский С. Д.

К 81 Сказки для вундеркиндов: Повести, рассказы.— М.: Советский писатель, 1991.— 704 с.

ISBN 5—265—01753—4

Творчество Сигизмунда Доминиковича Кржижановского (1887— 1950) уникальное явление нашей литературы XX века.

Философские повеллы и сатирические фантазмагии Кржижановского, вошедшие в книгу, вызывают в памяти имена Свифта, Кафки, Мейринка и Борхеса, то есть принадлежат к тому направлению, которое в тридцатых годах выстраивалось из нашей литературы как «версалистическое».

К $\frac{4702010201-202}{083(02)-91}$ 59—91

ББК 84 Р7

ВЫХОДЯТ ИЗ ПЕЧАТИ

АНДРУСЕНКО А.

Камин

Роман.— М.: Советский писатель,
1992 (III кв.).— 25 л.— ISBN 5—265—02289—9 (в пер.):
2 р. 40 к., 100 000 экз.

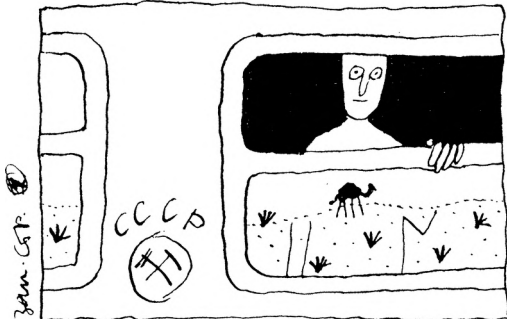
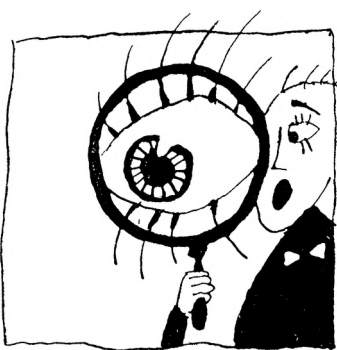
Имя автора еще неизвестно. Представляя суду читателя его роман, мы думаем, что совершаем открытие...— открытие писателя, сумевшего на основе авантюрного сюжета заглянуть в те самые преисподнюю и чистилище, которые находятся в каждом из нас.

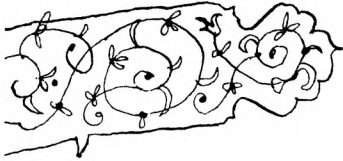
ЕГОРОВ В.

Новые времена в Обрадовске

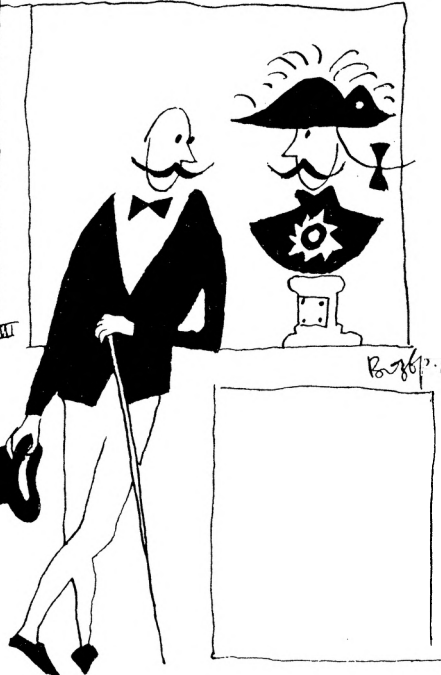
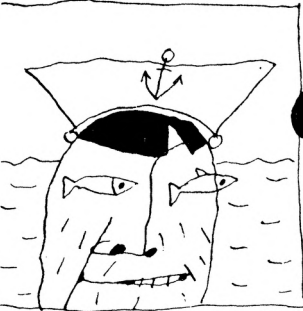
Иронические сочинения.— М.: Советский писатель,
1992 (III кв.).—14 л.— ISBN 5—265—02313—5:
2 р., 50 000 экз.

Остросюжетный детектив и наводящая грусть элегия, оперативный репортаж о встрече с инопланетянами и философский трактат об инакомыслии— самые разные жанры используются, чтобы как можно объемнее отразить благоглупости, творимые в райцентре Обрадовске, в лихое время перестройки. К участию в создании широкомасштабного полотна современной жизни писатель Владислав Егоров привлек своих литературных героев—репортера обрадовской городской газеты «Вечерний звон» Петра Неустроева, поэта Гермогена Новодевичьего и народного мыслителя Василия Суслопарова.





Les Femmes d'Alger III



Boz & Monk

